

Н.С.
ЛЕСКОВ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

Н. С. ЛЕСКОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ОДИННАДЦАТИ ТОМАХ



Под общей редакцией:

В. Г. БАЗАНОВА, Б. Я. БУХШТАБА,
А. И. ГРУЗДЕВА, С. А. РЕЙСЕРА,
Б. М. ЭЙХЕНБАУМА.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1958

Н. С. ЛЕСКОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ



ТОМ ДЕСЯТЫЙ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1958

Подготовка текста

Н. И. СОКОЛОВА

Примечания

А. М. БИХТЕРА и Н. И. СОКОЛОВА

ВОСПОМИНАНИЯ
СТАТЬИ
ОЧЕРКИ

ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА И ПОСЛЕДНЯЯ РАЗЛУКА С ШЕВЧЕНКО

В мяч не любил он играть никогда:
Сам он был мячик — судьба им играла.

А. Плещеев.

Итак, осиротела малороссийская лира. Лежит в гробу ее бездыханный поэт. Тараса Григорьевича Шевченко не стало. Сегодня гроб его опустили в сырую могилу на Смоленском кладбище, напутствуя его прощальным словом и братскою слезою. Не стану говорить, как велика эта потеря для малороссийской литературы в эпоху ее возникновения, в день рождения «Основы», которой покойный поэт сочувствовал всей душою. Значение Шевченко известно всякому, кто любил родное славянское слово и был доступен чему-нибудь высокому, изящному, — но не могу отказать себе в удовольствии поделиться с читателями «Русской речи» теми впечатлениями, которые оставили во мне последняя моя встреча с покойным поэтом и последняя моя разлука с ним у его могилы.

Из петербургских газет, я думаю, всем уже известно, что Т. Г. Шевченко прихварывал еще с прошлой осени, а в конце января этого года он уже почти не оставлял своей квартиры в доме Академии художеств. Квартира эта, отведенная ему после возвращения его в Петербург, состояла из одной очень узкой комнаты, с одним окном, перед которым Шевченко-*художник* обыкновенно работал за мольбертом. Кроме стола с книгами и эстампами,

мольберта и небольшого диванчика, обитого простою пестрой клеенкой, двух очень простых стульев и бедной ширмы, отгораживавшей входную дверь от мастерской художника, в этой комнате не было никакого убранства. Из-за ширмы узкая дверь вела по узкой же спиральной лестнице на антресоли, состоящие из такой же комнаты, как и внизу, с одним квадратным окном до пола: здесь была спальня и литературный кабинет Шевченко-*поэта*. Меблировка этой комнаты была еще скуднее. Направо в угле стоял небольшой стол, на котором обыкновенно писал Шевченко; кровать, с весьма незатейливой постелью, и в ногах кровати другой, самый простой столик, на котором обыкновенно стоял графин с водой, рукомойник и скромный чайный прибор.

Около года я не был в Петербурге и, возвратясь в конце января в северную Пальмиру, тотчас отправился поклониться поэту. Возле его дверей мне встретился солдат, который обыкновенно ему прислуживал. «Дома Тарас Григорьевич?» — спросил я его. «Нетути, — отвечал служака, — он нонеча рано еще уходил из дома». Я, однако, подошел ближе к двери поэта с намерением положить в створной паз мою карточку, как я прежде часто делывал, когда не заставал его дома, но, к крайнему моему удивлению, дверь от легкого моего прикосновения отворилась. В комнате, служившей мастерской *художнику,* никого не было, а наверх я не хотел идти, боясь обеспокоить *поэта,* и стал надевать мои калоши. «Кто там?» — раздалось в это время сверху. Я узнал голос Шевченко и назвал свою фамилию. «А... ходить же, голубчику, сюда», — отвечал Тарас Григорьевич. Войдя, я увидел поэта: он был одет в коричневую малороссийскую свитку на красном подбое и сидел за столом боком к окну. Перед ним стояла аптечная банка с лекарством и недопитый стакан чаю. «Извинить, будьте ласковы, шо так принимаю. Не могу сойти вниз, — пол там проклятый, будь он неладен. Сидайте». Я сел около стола, не сказав ни слова. Шевченко мне показался как-то странным. Оба мы молчали, и он прервал это молчание. «Вот пропадаю, — сказал он. — Бачите, яка ледащица з мене зробылась». Я стал всматриваться пристальней и увидел, что в самом деле во всем его существе было что-то ужасно болезненное; но ни малейших признаков близкой

смерти я не мог уловить на его лице. Он жаловался на боль в груди и на жестокую одышку: «пропаду», — заключил он и бросил на стол ложку, с которой он только что проглотил лекарство. Я старался его успокоить обыкновенными в этих случаях фразами, да, впрочем, и сам глубоко верил, что могучая натура поэта, вынесшая бездну потрясений, не поддастся болезни, ужасного значения которой я не понимал. «Ну, годи обо мне, — сказал поэт, — расскажите лучше мне, что доброго на Украйни?» Я передал ему несколько поклонов от его знакомых. Он о всяком что-нибудь спросил меня, и очень грустил о больном художнике Ив. Вас. Г⟨удовско⟩м, у которого гостил в последнее свое пребывание в Киеве. Говоря о Малороссии и о своих украинских знакомых, поэт видимо оживал: болезненная раздражительность его мало-помалу оставляла и переходила то в чувство той теплой и живой любви, которою дышали его произведения, то в самое пылкое негодование, которое он, по возможности, сдерживал.

На столе, перед которым он сидел, лежали две стопки сочиненного им малороссийского букваря, а под рукой у него была другая «малороссийская грамотка», которую он несколько раз открывал, бросал на стол, вновь открывал и вновь бросал. Видно было, что эта книжка очень его занимает и очень беспокоит. Я взялся было за шапку. Поэт остановил меня за руку и посадил. «Знаете вы вот сию книжицу?» — он показал мне «грамотку». Я отвечал утвердительно. «А ну, если знаете, то скажите мне, для кого она писана?» — «Как, для кого?» — отвечал я на вопрос другим вопросом. «А так, для кого? — бо я не знаю, для кого, только не для тех, кого треба навчіть разуму». Я постарался уклониться от ответа и заговорил о воскресных школах, но поэт не слушал меня и, видимо, продолжал думать о «грамотке».

«От як бы до весны дотянуть! — сказал он, после долгого раздумья, — да на Украйну... Там, може бы, и полегшело, там, може б, еще хоть трошки подыхав». Мне становилось невыносимо, я чувствовал, как у меня набегали слезы. Он расспрашивал меня о Варшавской железной дороге и Киевском шоссе. «Да! — сказал он, — когда б скорее ходили почтовые экипажи, не доедешь живой

на сих проклятых перекладных, а ехать нужно, — умру я тут непременно, если останусь».

Я стал прощаться. «Спасыби, що не забуваете, — сказал поэт и встал. — Да, — прибавил он, подавая мне свой букварик, — просмотрите его да скажите мне, что вы о нем думаете». С этими словами он подал мне книжку, и мы расстались... навсегда в этой жизни. Более я не видал уже Шевченко в живых, и весть о его смерти 26 февраля меня поразила, как громовой удар. Утром 27 февраля я с другим моим земляком и знакомым покойника, А. И. Н⟨ичипорен⟩ко, отправились в Академию. Дверь Шевченко была заперта и запечатана; мы догадались и пошли в академическую церковь. Там в притворе стояла белая гробовая крышка, а перед амвоном на черном катафалке виднелся гроб, обитый белым глазетом. У изголовья маленький человечек читал очень медленно и очень тихо. Я вспомнил, как год тому назад поэт хлопотал об издании псалмов, переложенных им на малороссийский язык, и всегда озабоченный заходил ко мне по дороге из Александро-Невской лавры на Васильевский остров. Теперь же ему читался один из переложенных им псалмов. Красные сторы у церковных окон, против которых стоял гроб, были спущены и бросали красноватый свет на спокойное лицо мертвеца, хранившее на себе печать тех благородных дум, которые не оставляли его при жизни. Три художника с бумагою и карандашами в руках стояли по левую сторону гроба и рисовали; две женщины с типами петербургских кухарок толковали, что и из хохлов тоже бывают умные люди и что покойник — вот майорского чина дослужился, а братья его так еще «помещицкие». Я вспомнил г. Флирковского, законного помещика семьи умершего поэта... Вскочил какой-то кавалерист, в мундире приятного цвета, звеня шпорами и саблей, но, пройдя несколько шагов по церкви, взял саблю в руки и, приподняв каблуки, пошел на цыпочках — весь шум, производимый оружием, прекратился. В церкви опять водворилась благоговейная тишина, и раздавался только слабый голос маленького господина, читавшего над малороссийским поэтом воздыхания бибилейского поэта-царя.

28 февраля по совершении в академической церкви заупокойной обедни по рабе божием Тарасие и после от-

певания по уставам церковным ближние покойника почтили его надгробным словом. Всех речей, если не ошибаюсь, было произнесено девять, — из них семь в церкви и две на кладбище. Общий смысл этих речей легко себе представить, и я не считаю нужным о них распространяться, потому что стенографировать их не было никакой возможности, а излагать их вкратце — значит портить их. Могу только сказать, что особенно сильно отозвалось в душе слушателей слово любимого нашего профессора Н. И. Костомарова и г. К⟨урочки⟩на, которому сдерживаемые слезы мешали произнесть свое короткое слово, дышавшее сердечной простотой и искренностью. Могилу для Шевченки вырыли за колокольнею кладбищенской церкви, к стороне взморья: до времени он самый крайний жилец Смоленского кладбища, и за его могильной насыпью расстилается белая снежная равнина, как бы слабое напоминание о той широкой степи, о которой он пел и которую измерил еще «малыми ногами». В могилу был опущен дощатый ящик, выстланный в середине свинцом, но так дурно запаянный в дне, что вода набралась в него прежде, чем гроб принесли на кладбище. И на третий день лицо поэта оставалось удивительно благообразным. Огромный лавровый венок окружал его благородное чело, — в руках у многих тоже были цветочные венки, которые они принесли, чтоб положить на свежую могилу поэта. Дам было очень немного, однако женская слеза из глаз г-жи Б⟨елозерской⟩ и старушки К⟨остомаровой⟩ не обошла могилы Шевченко. Многие очень жалели, что нет семьи Т⟨олсты⟩х, которые любили поэта и не забывали его в самые тяжелые минуты его многострадальной жизни.

Когда крышка ящика, в который поставили гроб, была запаяна, провожавшая покойника толпа стала расходиться. Снег повалил довольно большими хлопьями, какой-то господин с папкою в руках юлил между проходящими, предлагая литографированные портреты мертвого Шевченки, старухи из богадельни канючили на упокой душеньки — на душе становилось тяжче и тяжче. Давно ли Россия схоронила Хомякова, Аксакова, и вот опять новая могила. Не стало еще одного человека, целую жизнь думавшего честную думу и умершего накануне дня освобождения 23 миллионов, между которыми

до сих пор оставались родные и близкие сердцу поэта.

Но как поэтическая деятельность Шевченко останется в числе лучших страниц малороссийской словесности, так и самый день его погребения навсегда останется знаменательным в истории украинской письменности и гражданственности. Любимейшая мечта поэта сбылась и громко заявила свое существование. Малороссийское слово приобрело право гражданства, раздавшись впервые в форме ораторской речи над гробом Шевченко. Из девяти напутствований, сказанных над могилою поэта, шесть были произнесены на малороссийском языке. Из остальных трех речей две были произнесены по-русски и одна по-польски, как бы в значение общего горя славян, пришедших отдать последний долг малороссийскому поэту-страдальцу.

У малороссийского народа, слава богу, есть теперь своя литература, есть свои ораторы, свои историки, но *теперь* нет у нее такого лирика, каков был покойный Тарас Григорьевич Шевченко, справедливо названный в одной из сказанных над его гробом речей «батьком рідного слова». Oratores fiunt, poetae nascuntur. [1]

---

[1] Ораторами делаются, поэтами рождаются *(лат.)*.

НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ В ЕГО РОМАНЕ «ЧТО ДЕЛАТЬ?»

(ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЮ «СЕВЕРНОЙ ПЧЕЛЫ»)

Черт не так страшен, как его рисуют!

Роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?» кончился в майской книжке «Современника». Русская критика теперь занята: она думает, что ей делать с этим «Что делать?»

Кто читал самый роман и кого занимают отзывы, которые он должен вызвать у современной добросовестной критики, тот, разумеется, не станет искать этих отзывов в «Северной пчеле». Он станет искать их в так называемых *толстых журналах,* потому что в толстых журналах есть свои присяжные критики и в этих журналах места пропасть. Критику там можно разгуляться и тоску-скуку свою разогнать.

Но я, должно быть, не стану читать ни одной критики о романе г. Чернышевского. Этот труд для меня совершенно не нужен, потому что я чувствую, что́ о нем напишут в том или в другом из русских журналов. Это я чувствую не только потому, что я знаю симпатию и антипатию русских журналов, но и потому, что я даже слыхал уже кое-что об этом романе, от тех самых, которые критики пишут. Это ведь вовсе не секрет, да и о романе Чернышевского толковали не шепотом, не тишком, — во всю глотку в залах, на подъездах, за столом г-жи Мильбрет и в подвальной пивнице Штенбокова пассажа. Кричали: «гадость», «прелесть», «мерзость» и т. п. — всё на разные тоны.

Вследствие всех многоразличных соображений, комбинирующихся по поводу прочитанного романа, выслушанных толков и ожидаемых рецензий, я решился как можно поскорее сказать свое мнение о романе г. Чернышевского, или, лучше сказать, о г. Чернышевском в его новом произведении.

Над торопливостью моею нисколько не должно смеяться, ибо я вовсе не считаю моего отзыва о г. Чернышевском ни особенно верным, ни особенно необходимым, а спешу его написать, не читав еще ни одной критики, для того, чтобы написать мое *собственное* мнение, ни от кого не занятое, и никем не навязанное насильно, по системе новейшего либерализма.

Имея в виду сказать здесь только мое *собственное* мнение, которое может очень мало согласоваться с мнениями «Северной пчелы» или даже, может быть, вовсе с ними не согласоваться, я пишу не статью, а простое письмо, за которое «Северная пчела», разумеется, не принимает никакой ответственности.

Я не утомлю читателя, ибо все, что я намерен написать о романе г. Чернышевского, очень коротко и несложно.

У меня создались два главные убеждения, от которых я не могу отрешиться и которые здесь высказываю.

Роман г. Чернышевского — явление очень смелое, очень крупное и, в известном отношении, очень полезное. Критики полной и добросовестной на него *здесь* и *теперь* ожидать невозможно, а в будущем он не проживет долго.

Я не могу сказать о романе г. Чернышевского, что он мне *нравится* или что он мне *не нравится*. Я его прочел со вниманием, с любопытством и, пожалуй, с удовольствием, но мне тяжело было читать его. Тяжело мне было читать этот роман не вследствие какого-нибудь предубеждения, не вследствие какого-нибудь оскорбленного чувства, а просто потому, что роман странно написан и что в нем совершенно пренебрежено то, что называется *художественностью*. От этого в романе очень часто попадаются места, поражающие своей неестественностью и натянутостью; странный, нигде не употребленный тон разговоров

дерет непривычное ухо, и роман *тяжело* читается. Автор должен простить это нам, простым смертным, требующим от беллетристов искусства *живописать*. Роман г. Чернышевского со стороны искусства ниже всякой критики; он просто смешон. И лучшая половина человеческого рода, женщины, к которым г. Чернышевский обращается, как к чувствам, оказывающим более сметливости, чем обыкновенный «проницательный читатель», не могут переварить женских разговоров в новом романе.

Но г. Чернышевский не беллетрист; на изготовление романа его вызвали обстоятельства, от него не зависящие: потребность деятельности и невозможность ее в другой форме. Г. Чернышевский очень благоразумно оговорился, что он не художник и за художеством не гонится, а потому, кто станет пространно доказывать несостоятельность романа как беллетристического произведения, тот напрасно потратит труды и время. Об этом говорить не стоит.

Г. Чернышевский публицист, и публицист известной школы. Он не может напечатать статейку, например, в «Современнике» и в «Русском вестнике». В своем романе он вышел поборником той же самой школы, и эта последовательность есть первая его замечательность. Он в своем романе (труде для него непривычном) последовательно провел заповедные идеи своей школы. Мало этого, г. Чернышевский доказал, что он не такой заоблачный летатель, не беспардонный теоретик, который, по выражению одного московского публициста, хочет сразу создать новую землю и новое небо. Напротив, автор «Что делать?» доказал, что (и это самое главное) люди, живущие под этим небом, на этой земле, таковы, каковы они есть. Он помнит, что il faut prendre le monde comme il est, pas comme il doit être, [1] и говорит просто и ясно, что и в этом monde умные люди могут стать твердо и найти себе, *что делать*. Это самая важная заслуга г. Чернышевского. Вот основания, по которым я признаю роман г. Чернышевского очень полезным, и постараюсь это доказать несколько подробнее.

---

[1] Надо принимать мир таким, какой он есть, а не таким, каким он должен быть *(франц.)*.

Была (и это очень недавно) на Руси ужасная эпоха фразерства, страшного, разъедающего и все импонирующего фразерства. Тургеневский Рудин — сын этой эпохи и ее памятник. Началась другая эпоха. Пошел запрос на Инсаровых. Инсаровых оказалось очень мало. Потому как инсаровское дело нам непривычное. Явились Базаровы. Тургенев переживал эти метаморфозы и, стоя с мастерской кистью в руке, срисовал их в свой прелестный альбом. Все они стоят перед нашими глазами, от слабовольного, нравственного импотента Рудина, до сильного и честного Базарова. Тип Базарова многим нравится, многим не нравится. Мне лично он нравится, но я бы позволил себе пожелать ему быть несколько мягче, не мусолить собою без нужды непривычного глаза, не раздражать без дела чужой барабанной перепонки и даже, пожалуй, не замыкать сердца для чувств самых нежных, ибо они не мешают героизму.

Уроды Рудины, после предания этого типа посмеянию, шатались без дела. Неспособность к самостоятельному труду, неспособность «слепую бабку кормить» была в них очень уж ярка. В государственной экономии людям этим приходилась роль самая печальная. Инсаровыми они не могли сделаться по трусости, по эгоизму, по гадости своих тощих жизнелюбивых натурок. «Современник» начал разрабатывать другие теории. Теории эти, не касаясь их достоинств или недостатков, идут вразрез с стремлениями «Русского вестника», а следовательно, никак не могут сойтись с тем, с чем так искренно сошелся экс-англоманский журнал. Но неизвестно было, да еще и до сих пор неизвестно: сойдется ли «Современник» с тем, к чему он, по мнению многих, все гнет и ломит. Я много очень в этом сомневаюсь, а отставные Рудины сомневаются в этом несравненно более, чем я, чем все мы. Но им это направление подошло на руку. Тянуть за «Современник» — значит упираться, оппозицию делать; ну и потянули. Таким образом вы и либерал и не то, что Инсаров, и положеньице есть — безопасно. Однако все это шло еще без знамени, без клички, нестройной толпой, не знавшей, что́ она такое. Талантливым пером Тургенева обрисован Базаров, произнесено слово *«нигилизм»,* и завелись, или стали разводиться, думаете *нигилисты?* Нет, стали разводиться, или, лучше сказать,

никто не стал разводиться, а рудинствующие импотенты стали импотентами базарствующими.

Обществу не понравилось новое явление, да и никакому самому снисходительному обществу это явление понравиться не могло. По присущему каждому обществу консервативному началу, общество стало с своей стороны упираться и даже стало вспоминать о Рудине. Причины этого очень просты: Рудин прежний ни к чему не мог быть употреблен, но он никому не наступал на ногу, а базарствующий Рудин хоть тоже не может быть употреблен туда, куда годился покойный Базаров, но он *действует*. Орудия действия у обоих Рудиных одни и те же: *фразы*. Как прежний Рудин работал фразой, только чтоб «заявиться», так и базарствующий Рудин в существе дела тоже все хлопочет *«заявиться»*. Только старому Рудину для этого много нужно было говорить, а нынешнему два слова: «Не с нами, так подлец».

В порождении вот этих-то нигилистов винят обыкновенно «Современник». Я думал всегда, что это неосновательно, а теперь, после романа г. Чернышевского, я в этом даже твердо уверен.

«Современник» принял под свое покровительство нигилизм, он защищал нигилистов; а в это время Рудины заменили одни фразы другими и стали всем надоедать своей грубостью и нахальством. Чем же тут виноват «Современник»? Разве это *нигилисты?* Разве каждая гадина, набравшаяся наглости и потерявшая стыд,— нигилисты?

Нигилисты, которых мы видим и которые нам успели надоесть своими гадостями, достались нам по наследству, а сгруппировал их и дал им пароль и лозунг не «Современник», а Иван Сергеевич Тургенев. После его «Отцов и детей» стали надюжаться эти уродцы российской цивилизации. Начитавшись Базарова, они сошлись и сказали: «Мы сила». Что ж нам делать теперь? Так как они никогда не думали о том, *что* им *делать,* то, разумеется, сделали, что делают обезьяны, то есть стали копировать Базарова. Как же его копировать? Ну, обыкновенный прием карикатуристов в ход. Взял самую резкую черту оригинала, увеличил ее так, чтобы она в глаз била, вот и карикатурное сходство. То и сделано. Базаровских знаний, базаровской воли, характера и силы

негде взять, ну копируй его в резкости ответов, и чтоб это было позаметнее — доведи это до крайности. Гадкий нигилизм весь выразился в пошлом отрицании всего, в дерзости и в невежестве. Отрицание это будто бы и есть самый нигилизм, а дерзость и невежество его последствия. Дерзость и невежество нигилиствующих Рудиных не имеют пределов и доходят до злобы. Один талантливый наш беллетрист, из школы реалистов, серьезно уверяет, что дрянцо с пыльцой, называющее себя нигилистами, — *разбойники*. Это печальное убеждение он вынес из среды самых яростных нигилистов. В самом деле, у людей этого разбора сострадание не в нравах. Посадите такого господина на какое хотите место, он сейчас и пойдет умудряться, как бы ему побольнее съехать *не своего*. Сделайте его приказчиком, хоть в книжном магазине, он и там приложит свой нрав. Карячиться станет, едва говорит, и то с грубостью; велите ему двух сотрудников рассчитать: нигилисту даст деньги, а не нигилиста десять дней проводит. Что ему за дело, что человек напрасно тратит рабочее время, ходя да «наведываясь»? Что ему до того, что у этого сотрудника жена без башмаков, дети чаю не пили, хозяин с квартиры гонит? Квартира *отрицается,* потому фаланстерия будет; жена *отрицается,* потому что в «естественной» жизни (у животных, например) нет жен; дети и подавно *отрицаются,* их община будет воспитывать; родители им не нужны. Познакомьтесь с таким соколиком, да если он вас не боится и если вы не сам г. Чернышевский, то он вам во второе же свидание вместо любезностей дурака завяжет. Это ничего, это все естественно. Жалеть никого не следует, потому что

Век жертв очистительных просит.

Помогать — нечего рваться, потому что «чему уцелеть, то останется». Чувства — вздор, любовь — вздор, совесть — вздор, идеи — вздор, все вздор, не вздор только *мы,* ибо *мы* есмь *мы*. Это еще старые типы, обернувшиеся только другой стороной. Это Ноздревы, изменившие одно ругательное слово на другое. Это даже Сквозники-Дмухановские. «Я, — говорит, — тебя мучить или пытать не стану — это законом запрещено. А вот ты поешь-ко у меня селедки».

Такова в большинстве грубая, ошалелая и грязная в душе толпа пустых ничтожных людишек, исказивших здоровый тип Базарова и опрофанировавших идеи нигилизма.

Но должны же быть другие настоящие *нигилисты,* из которых вышел Базаров! Каковы же они? Что они могут делать?

Н. Г. Чернышевский отвечает на это в своем романе и говорит этим же романом, чтó следует делать в нынешнее время и при нынешних обстоятельствах людям, связанным с автором солидарностью симпатий.

Г-н Чернышевский довольно давно уже многим стал представляться каким-то всепоглощающим чудовищем, чем-то вроде Марата или чуть-чуть не петербургским поджигателем. Эту репутацию г. Чернышевскому устроила, разумеется, людская слепота и трусость, но более всего он обязан за нее нигилиствующим Рудиным.

Общество, сочинившее себе о г. Чернышевском черт знает какие представления, нельзя упрекнуть в большой дальновидности, но нельзя и удивляться, что оно дошло до весьма странных понятий о г. Чернышевском как о общественном деятеле. Стоит только сообразить, что статьи г. Чернышевского далеко не для всех симпатичны и должны быть особенно неприятны разрождающемуся на нашей земле эписиерству. Пожары и другие странные события навели страх на людей робких. «Кто это все делает? Батюшки мои! Кто?» — «А вот, вот это... видите, лохматые, грязные». — «А!» — «Право». И пошло. Стали присматриваться к «лохматым», а они как звери, что ни скажут, так как рублем подарят, а между тем все г. Чернышевского превозносят.

«А! — подумали «проницательные» люди. — Вот он каков, «миленький-то»! Если щеночки белогубые такие ядовитые, что же он сам-то, а? Страсть!»

Ну так и пошло.

А в статьях г. Чернышевского опять продолжалось только отрицание да отрицание, антипатии да антипатии, а симпатий своих ни разу не сказал. Он их не сказывал, конечно, по обстоятельствам, от него не зависящим, а «проницательные читатели» думали, что его симпатии... головорезы, Робеспьер верхом на Пугачеве. Это же думали не одни «проницательные читатели», а и многие

просвещенные писатели из разряда «узколобых». Но писатели, даже самые «узколобейшие», все-таки никогда не пугались сердечных симпатий г. Чернышевского и не пугали им ни детей, ни соседей.

Между тем г. Чернышевский из своего далека прислал нам роман, в котором открыл себя, как никогда еще не открывал ни в одной статье.

Теперь перед нами его симпатии.

Я не буду рассказывать содержание романа, потому что это не критика, да и в критических-то статьях эти выписки очень претят, а это просто письмо, которое набросано под живым впечатлением только что конченного романа.

Автор романа вывел людей, которые трудятся до пота, но не из одного желания личного прибытка. Они вовсе свободны от всеобщего эписиерства. Напротив, начав дело, так сказать, ни с чего, они тотчас вводят во все его выгоды всех мизераблей-работников и сами остаются только хозяевами-распорядителями. Отсюда, по выводу автора, вытекает все хорошее для работающих; дело идет честно, в рабочей семье поселяется взаимное доверие, совет и любовь. Удовольствия и все блага жизни каждому члену рабочей артели достаются очень дешево, никто не изнурен, не «лишний на пиру жизни». Но никто ни к чему не принуждается. Напротив, коноводы дела люди очень мягкие, с которыми каждому легко, которые никого не обрывают, а терпеливо идут к своей предположенной цели, заботясь прежде всего о водворении в общине самой широкой честности, свободы отношений и взаимного доверия. Коноводы, обрисованные подробнее других лиц, любят, женятся, сходятся и расходятся. Они сходятся по собственному влечению, без всяких гадких денежных расчетов: любят некоторое время друг друга, но потом, как это бывает, в одном из этих двух сердец загорается новая привязанность, и обету изменяют. Во всех бескорыстие, уважение к взаимным естественным правам, тихий верный ход своею дорогою, никому не подставляя ног, никого не кормя селедками à la monsieur Сквозник-Дмухановский.

Такие люди нравятся автору романа, и, познакомясь с деятельностью этих людей, «проницательный читатель» получает от него ответ на вопрос, *что делать* желает г. Чернышевский?

Такие люди очень нравятся мне, и я нахожу очень практичным делать в настоящее время то, что они делают в романе г. Чернышевского.

Я знаю, что́ такое настоящий нигилист, но я никак не доберусь способа отделить настоящих нигилистов от шальных шавок, окричавших себя нигилистами. Теперь это в Петербурге стало каким-то неопределенным понятием. «Стриженые барышни», выходящие замуж при первом удобном случае, нигилистки. Невежда, положивший ругать все, что не «Современник», — тоже нигилист, хотя он мелкий эксплуататор до конца ногтя в ножном мизинце. Героев романа г. Чернышевского тоже называют нигилистами. А между ними и личностями, надоевшими всем и каждому своим нигилизмом, нет ничего общего. Люди г. Чернышевского совсем другие, а эти фразеры; в людях г. Чернышевского прежде всего стремление — дать благосостояние возможно большему числу людей; в нигилистах наших общность интересов только на языке, а на деле жестокосердие. Кто же настоящие нигилисты? Верно, люди из романа г. Чернышевского. Их мало в натуре (*совершенно таких людей,* как у г. Чернышевского, мы даже вовсе не видали), они в натуре не ведут дел так счастливо, проваливаются, даже бывают посмешищем для экономических весельчаков... А что истины нет ни в одной из так называемых *«экономических систем»,* это ясно как солнце для каждого, кто изучал эти системы и обдумывал их без предвзятых решений. Ясно, что любая *«гармония хозяйственных отношений»,* улаженная по какой бы то ни было из систем, известных под именем «экономических», не будет гармониею одинаково благоприятною для *труда* и *капитала.* Системы умиряющей, создающей действительную гармонию, еще нет в Европе. Есть только люди, пытающиеся приладить эту систему. Над этими людьми одни смеются, другие даже признают их опасными. Такой человек был известный *нигилист* Роберт Оуэн. Врагов и порицателей у Роберта Оуэна было вдоволь, пустозвонных насмешников — и того больше. Роберт Оуэн (признававший,

между прочим, что каждый человек прежде всего имеет право на наше внимание и посильную помощь) умер, и его Нью Ленарк расплылся.

«Новые люди» г. Чернышевского, которых, по моему мнению, лучше бы назвать «хорошие люди», не несут ни огня, ни меча. Они несут собою образчик внутренней независимости и настоящей *гармонии* взаимных отношений. Они могут провалиться? Да, очень могут, но другие обойдут провал, пойдут, узнают, чего должно избегать и чего бояться. Тут нет беды, ибо все это вперед, вперед толкает. Люди растут.

Стало быть, *что же делать?* По идее г. Чернышевского, освободиться от природного эписиерства, откинуть узкие теории, не дающие никому счастья, и посвятить себя труду на основаниях, представляющих возможно более гармонии, в ровном интересе всех лиц трудящихся. Г-н Чернышевский, как *нигилист,* и, судя по его роману, *нигилист-постепеновец,* не навязывает здесь ни одной из теорий (которые ленивые нигилисты другого сорта могут прочесть хоть у Бруно Гильдебранда), но заставляет пробовать: как лучше, как удобнее?

Где же тут Марат верхом на Пугачеве? Где тут утопист Томас Мур? Г-н Громека, в эпоху своего *общинничества* и *артельничества,* наговорил в тысячу раз более утопий, которых никак и ни за что никому не втолкуешь и никуда не приложишь, а г. Чернышевский заставляет делать такое дело, которое можно сделать во всяком благоустроенном государстве, от Кореи до Лиссабона. Нужно только для этого *добрых людей,* каких вывел г. Чернышевский, а их, признаться сказать, очень мало.

Роман г. Чернышевского прочитан великим множеством русского люда. О тех, которым *идея* романа прямо не понравилась, говорить нечего. (Выполнение романа не может понравиться никому, и дело, как я уже сказал, вовсе не в выполнении.) Те же, которые приходили от него в восторг, теперь стоят на экзамене.

На этом экзамене истинные, настоящие *нигилисты* сейчас отделятся от нигилиствующих Рудиных, и эту полезную сортировку произведет полезный роман «Что делать?»

Таково мое личное мнение.

РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР В ПЕТЕРБУРГЕ

Давая в начале сезона отчет о вновь явившихся театральных пьесах, мы с дерзостью столетнего календаря предсказывали, что нынешний сезон будет необыкновенно богат новыми произведениями наших драматических писателей. Мы не ошиблись: в течение всего сезона новые пьесы так и летели одна за другою, одним скачком на сцену, а другим в реку вечного забвения. Все они были так плохи, так ничем не замечательны, кроме бездарности, что мы уже и не заговаривали о них и ныне не станем вспоминать о них. Мы уверены, что читателям нашим давно наскучило встречать в наших отчетах одни порицания; и мы рады бы хоть на один раз оторваться от этого тона и хоть к одной из новых пьес отнестись дружественно и сочувственно; но, к сожалению, ни одна из них не вызывает нас на такое отношение. Мы говорим *ни одна,* вовсе не забывая, что нынешнею зимою шли «Смерть Иоанна Грозного» гр. Толстого и «Гражданский брак» г. Чернявского. «Смерть Грозного» есть явление, которое еще ждет солидной, критической оценки и, во всяком случае, не может быть смешиваемо в одну категорию с однодневными комедийками; а «Гражданский брак» хотя и пережил более тридцати представлений, дающих всегда самые полные сборы, но мы, не стесняясь успехом этой пьесы, по справедливости не можем исключать ее из ряда пьес очень слабых.

В свое время в нашем журнале этой пьесе была посвящена целая особая статья, разъяснявшая, почему эту, увенчанную давно небывалым успехом пьесу все-таки следует считать пьесою плохою, необдуманною, ученическою и страдающею многостороннейшими недостатками, начиная хоть с самого названия, ибо, в самом деле, название «Гражданский брак» отвечает этой пьесе разве лишь потому, что в ней все действующие лица друг друга бракуют: дочь бракует любящего ее медицинского студента; студент бракует не признающего браков чиновника; чиновник бракует свою содержанку; другая содержанка бракует, в свою очередь, этого чиновника; потом дядя бракует племянника, а первая содержанка племянникова бракует дядю; два лакея бракуют один другого, и вообще действительно происходит самая горячая браковка, но никакого *гражданского брака* нет. Ни один мотив, ни одно место петербургского гражданского брака в пьесе этой не только не разыграны, но даже не тронуты; и если в настоящем или в будущем кто-нибудь пожелает написать сатиру на гражданские браки людей, называемых «болванами петербургского нигилизма», тот, не стесняясь комедиею г. Чернявского, может написать совершенно новую, может быть весьма занимательную комедию, нимало не рискуя повториться. И мы полагаем, что такая комедия из нигилистических нравов, или даже не комедия, а фарс, могла бы выйти даже довольно занимательна, ибо ни в одном из наиболее фигурирующих современных типов нет столько буфонского комизма, сколько в «болванах петербургского нигилизма»; а для большинства публики Александринского театра этот род комизма, как оказывается, есть род самый понятный и едва ли не самый любимый. Огромный и вполне незаслуженный успех «Гражданского брака» везде, где только до сих пор была дана эта пьеса, доказывает лишь, как наболели у общества раны, нанесенные ему извращением человеческих понятий об обязанностях человека к семье, и как много может сделать, коснувшись этого вопроса, писатель, обладающий истинным драматическим талантом.

Новым явлением в нашей летучей театральной критике (если только ее можно назвать критикой) было этой зимой некоторое новое отношение рецензентов к послед-

ним пьесам г. Островского. Долгое, некогда безусловное и весьма часто не в меру рабское поклонение произведениям этого драматического писателя вдруг пало и сменилось каким-то унылым сожалением. Правда, этой перемене отношений предшествовала некоторая довольно постепенная подготовка; но все-таки созерцать ее непривычными к сему положению очами довольно странно. Восторг, который г. Островский вызывал у зрителей своими прежними пьесами, начал уменьшаться еще с появлением его «Минина Сухорука» и «Шутников», а окончательно замер после «Тушина». Еще «Минин Сухорук» утомлял читателей своею длиннотою и скукою, и лишь одни ревностнейшие поклонники г. Островского упивались пленительной сладостью его стиха в этом произведении; но все прочие прочли эту пьесу не с тем нетерпением, с каким читали прежние пьесы того же писателя. Явились «Шутники» и по своей анекдотической легкости не произвели сотой доли того впечатления, какое делали на зрителей прежние драмы, сцены и комедии г. Островского. «Тяжелые дни» тоже, как переделанный для сцены анекдот, смотрелись без всякого увлечения; «Пучина» (в свое время разобранная в нашем журнале), несмотря на ее, по-видимому, серьезный замысел, прошла еще незаметнее, а поставленные еще позже на сцену исторические хроники г. Островского были приняты уже так холодно, что в Москве, как писали тамошние корреспонденты здешних газет, спектакли эти даже не давали сборов на тамошнем маленьком театре. Последняя же хроника г. Островского «Тушино», напечатанная в одном новом периодическом издании, есть пьеса такого свойства и таких достоинств, что едва ли вовсе может быть поставлена на сцену, а будучи поставленною, едва ли не усыпит зрительную залу вернее, чем усыпляли некогда немецких зрителей исторические пьесы Раупаха.

При нашей крайней бедности на литературные таланты вообще и при совершенном почти отсутствии драматических талантов постоянно падающий и даже почти сходящий на нет успех г. Островского есть явление самое печальное, над которым поневоле приостановишься и призадумаешься. У г. Островского всеми был признан замечательный талант. Некоторые из его критиков находили даже, что у него очень большой талант; иные

из них находили, что у него даже колоссальный талант, наконец даже всеобъемлющий талант, и все это manu intrepido[1] записывалось черным по белому на листы театральных хроник и критик. И публика все это читала и, пожалуй, всему этому верила. Да, сколь ни резки, даже, скажем, сколь ни странны были иногда эти весьма преувеличенные похвалы произведениям г. Островского, ни одна из них, во дни оны, не казалась ни очень резкою, ни очень преувеличенною, — до того все любили своего почти единственного драматического писателя. Когда, по поводу «Доходного места», пьесы, в которой автор, оставив гостинодворскую среду, взялся за чиновников и только что благополучно совладел с ними, один из журнальных рецензентов, заговорив по этому поводу о *всесторонности* таланта г. Островского, увлекся до того, что не оставлял ни малейшего промежутка между значением г. Островского и значением Шекспира, и никто против этого не возражал, и никто этому не противоречил... Да и как было противоречить, когда за одну попытку похвалить кого-нибудь кроме г. Островского в то время его почтенный критик говорил: *Равнять его с Коцебу!*

Ей, гляди-ко, брат...
Я отмеряю русской меркою:
Не замай его — исковеркаю.

И вот ныне, когда еще не все сапоги, сшитые в оное грозное время, износились, г. Островского не смотрят, г. Островского находят скучным, г. Островского читают только по старой памяти, и только по старой памяти его щадят газетные фельетонисты, испещряя свои отзывы о его новых пьесах выразительными многоточиями! Неужто уже г. Островский совсем отслужился и, как старый боевой конь, требует теперь только ячменя да покоя? Неужто он уже *не может* писать таких пьес, какие он писал для русской сцены, — не лучше и не хуже, а таких самых, какие он писал и за какие его прозвали «гостинодворским Коцебу»? Не хочется согласиться, что он дошел до такого бессилия, да и едва ли есть до сих пор достаточные основания подо-

---

[1] Недрогнувшей рукой *(лат.)*.

зревать такую утрату таланта в г. Островском. Положим, что

> Мы, дети севера, как русская природа:
> Цветем недолго, быстро увядаем,

а потому и г. Островский мог отцветать в то время, когда мы его считали еще растущим и укрепляющимся. Но, рассуждая о нем по его последним, хотя и относительно слабым работам, мы должны сказать, что видим в этих работах не упадок сил автора, а нечто иное, может быть более зависящее от форм его новых произведений и от выбора сюжетов. Полагаем, что теперь, после «Тушина», не рискуя впасть в большую ошибку, можно сказать, что г. Островскому не даются исторические русские хроники. Его род пьес, в которых он всего сильнее, есть бытовая драма и комедия, и мы решительно не постигаем упрямого желания этого писателя держаться неудачно взятого им нового, столь не свойственного ему и непосильного рода драматических сочинений. Положим, что бытовая жизнь наша отчасти бедна, и однообразие ее явлений может порою приводить в отчаяние посредственного писателя; но неужто же историческая жизнь допетровской Руси, с деспотической семьей и униженным положением женщины, разнообразнее и богаче драматическим содержанием? По нашему мнению, вопрос этот решается отрицательно: ибо тогдашняя жизнь, несомненно, была еще однообразнее нынешней, и упорное желание произвольно разнообразить характеры тогдашней семьи, помимо греха перед исторической правдой, может вести к целой бездне несообразностей, не исключая даже опыта изобразить в русской женщине эпохи самозванцев нигилистку XVII века, как это преблагополучно и совершил в своем «Тушине» г. Островский.

Кроме г. Островского, из прочих сценических писателей к нынешнему сезону приготовили новые драматические сочинения гг. Писемский, Боборыкин и Алексей Потехин. Пьеса г. Писемского, «Поручик Гладков», еще не поставлена на сцене и нигде не напечатана, а о ней только носятся слухи, и слухи столь разнообразные, что некстати было бы на них основывать какие бы то ни было суждения. Из пьесы Потехина сыгран в бенефис актера Васильева только один акт, и об этом отрывке

есть отчет в дальнейших строках настоящей статьи; один лишь г. Боборыкин успел окончательно написать и даже поставить на сцену свою новую пьесу. Этот плодовитейший писатель имеет неимоверную быстроту в руках и в мыслях. Произведения его размножаются, как кролики, и, как кролики, все похожи одно на другое: во всех одинакое отсутствие замысла, недостаток смысла, небрежность отделки, неестественность характеров и поразительная бедность содержания. Г-н Боборыкин давно известен как очень бездарный писатель; но особенно дурны были всегда его писания по театральной части. После того как он напечатал в своем собственном журнале драму «В мире жить, мирское творить», думалось, что авось-либо он уж и сам убедился, что написанные таким образом вещи не годятся ни для сцены, ни для печати; но не тут-то было.

Новая пьеса г. Боборыкина называется «Иван да Марья». Сюжет этой пьесы самый незанимательный, и построение ее самое бестолковое. Все дело вот в чем: *Марья,* хозяйка постоялого двора, вольная крестьянская девушка (г-жа Глебова), любит своего батрака, *Ваньку* Жигарева (г. Васильев). Марья наряжает Ивана в красные ситцевые рубашки и в желтые китайчатые кафтаны, ласкает его, точь-в-точь как некрасовская дворянская дочь должна была ласкать своего огородника, и живет Ванька у Марьи припеваючи. Марье сватают женихов, за нею ухаживает зажиточный прасол (г. Зубров); ее преследует недобрая слава — но Марья ни на что это не обращает внимания и все любит Ивана. Но вдруг Марья замечает, что ее Иван играет с проживающей в деревне бедной дворянской девушкой Пашей (г-жа Натарова). У Марьи поднимается ревность, и она дает Ивану чувствовать его батрачье положение, раздражив в то же время его ревность ласковым обхождением с прасолом. Иван не стерпливает обиды, крадет у Марьи серую лошадь и убегает на ней куда глаза глядят; но прасол его нагоняет, ловит и приводит назад на аркане. Марья выручает Ивана, объявляя, что она подарила ему лошадь, и, чтобы замять дело, дает взятку старшине, а сама целуется с Иваном, и комедия кончена... Да, комедия действительно вся здесь рассказана; но, чтобы ее сделать как можно скучнее и растянуть на три акта, г. Боборы-

кин употребил некоторую невинную авторскую хитрость. Нимало не стесняясь соблюдением живой связи действий и причинностью явлений, вызывающих драматизм сцен и борьбу характеров, г. Боборыкин напустил в свою драму по лопате всякого жита, какое было на току неотвеянным. В его комедии сначала появляется «проезжая пожилая барыня Варвара Павловна». Это — лицо, ни на что решительно в драме не нужное и поставленное единственно для замедления ее хода и для скуки. Помещица эта пьет чай, болтает с хозяйкою, потом толкует с ямщиками и, наконец, уезжает. Четыре выводимые на сцену ямщика почесались на сцене и, ко всеобщему удовольствию, увезли с нее не интересную никому «пожилую барыню». Потом, бог весть ради каких потребностей, вызывается из времени и пространства некий помещик Зудеев. Это болтун, дурак и либерал, который или дрыхнет перед публикой на сцене, или в минуты бодрствования рассказывает, как его любит народ. Довольно бы, кажется, столько вздора; но г. Боборыкин разошелся... Ему показалось еще недостаточно *шести* появляющихся совершенно беспричинно человеческих лиц, и он еще выпускает двух скотов — одного двуногого, в виде омерзительно пьяного лакея помещика Зудеева, и одного настоящего четвероногого скота — серую лошадь. Да, настоящую, живую серую лошадь! С легкой руки г. Серова, у которого, в опере «Рогнеда», Владимир Красное Солнышко выезжает на сцену верхом на коне, лошади начинают принимать все более и более деятельное участие в разыгрывании русских драматических произведений.

Мы уже вволю насмотрелись на лошадей в «Рогнеде» и в «Смерти Грозного», но в этих пьесах лошади по крайней мере действительно помогают полноте картины. Владимир Красное Солнышко, являющийся на коне среди вековечного леса, и два московские боярина, выезжающие верхами на богато убранных лошадях в середину голодной и оборванной толпы порывающегося на бунт народа, — помогают сценическим эффектам; но на что была нужна лошадь *Ивану да Марье?* На то, чтобы *Иван* украл ее у *Марьи.* Вы, конечно, можете сказать, что это можно было рассказать, вовсе не выводя самой лошади на сцену; можете сказать, что иллюзия сцены

побега могла быть достигнута гораздо вернее посредством произведения за кулисами удаляющихся ритмических ударов, подражающих ударам копыт скачущей лошади, — все это было можно, и всякий другой, может быть, так бы и распорядился;

Но пришло в мысль Боборыкину:
Ну-ка дай я штуку выкину,

и выкинул.

Удивительный этот писатель, г. Боборыкин!

За Иваном с Марьей и с лошадью в бенефис Васильева шел отрывок новой комедии г. Алексея Потехина. Для тех, кто не имеет навыка отличать одного от другого двух братьев Потехиных, Николая и Алексея, напомним, что этот отрывок принадлежит г. Алексею Потехину, автору «Мишуры», человеку, не лишенному дарований, а не г. Николаю Потехину, автору «Безобразников», человеку, имеющему, может быть, весьма замечательный политический смысл, но мало дарований литературных.

Судить о целом по отрывку, и притом не зная наверное, сколь существенную часть целого составляет этот отрывок, весьма затруднительно; но, насколько можно понимать значение сыгранного перед нами куска из новой комедии г. Алексея Потехина, комедия его, должно быть, задумана весьма недурно. Вот в коротких словах содержание сыгранного отрывка.

У отставного генерала, ветхого днями старичка, есть еще очень свежая сорокалетняя жена, которой «хочется жить», и ей нужны деньги. Эта жизнелюбивая молодая жена гонит старичка во что бы то ни стало раздобываться для нее деньгами; а старичок, кости которого просят покоя и мира, говорит, что ему денег доставать негде. Происходит семейная сцена, к концу которой генеральшу посещает некая Серафима Францевна — петербургский стряпчий в женской юбке. Фактор этот приносит весть о возможности соединить браком молоденькую дочь генеральши с страшным богачом, Кутузкиным. Генеральша себя не помнит от радости при этом предложении; она униженно подличает перед факторшей, упрашивая ее выдать Катю замуж за Кутузкина и достать пять тысяч рублей самой генеральше. По уходе факторши генеральша начинает делать дочери внуше-

ния, как хорошо будет, когда она через полтора-два года по выходе за Кутузкина будет богатой вдовою. Девушка, разумеется, не внемлет этим внушениям: она плачет и не хочет продавать себя старику Кутузкину. Но тут внезапно является ее брат, Федор Иванович, которого играл новый дебютант, г. Монахов. На этом Федоре Ивановиче надеты светлые триковые панталоны и черный бархатный пиджак, в котором он, правду сказать, очень мало похож на генеральского сына. Федор Иванович возвращается с веселого пира, где он проиграл пятьсот рублей какому-то графу Бржебржицкому.

— Все проиграл, кроме любви к родителям! — говорит Федор Иванович, ласкаясь к своей свежей еще матери и целуя ее руки; а мать ему жалуется на непокорность его сестры, которая не хочет идти замуж за миллионера Кутузкина.

Брата это удивляет.

— Катя! — восклицает он. — Да ты подумай, что ты это делаешь? От какого ты положения отказываешься? Этакую кладовую-то упустить! владеть миллионами, быть благодетельницею своих родителей, своего брата, — и т. п.

Девушка слушает все это, а братец все проповедует и наконец, доведя речь к заключению, восклицает: «Иди ж скорей, оденься пооткрытей, чтоб голое плечо блестело, чтоб ножка в тоненьком, прозрачнейшем чулке мелькала... Эх, черт возьми!»

Это «черт возьми» в устах братца звучит словно: «Эх, сам бы ел эту ягоду!»

Услышав это восклицание, сестра быстро поворачивается на одной ноге и уходит; а в ее отсутствие начинается очень занимательная сцена между сыном и матерью. Мать упрекает сына, что он дурно себя ведет: сын нимало не конфузится и держится перед матерью с невозмутимым спокойствием. Он все продолжает ласкаться к ней и не забывает про пятьсот рублей, нужных ему, чтобы рассчитаться с графом Бржебржицким. Чуть мать поднимает голос, сын становится еще нежнее и в то же время вытаскивает против нежной родительницы ее же собственные орудия; тычет ее, как кошку носом, в ее же собственные бестолковые слова — слова, которые эмансипированная дура болтала, подражая «духу времени».

— Пороки не искореняются строгостью, — говорит он, шутливо улыбаясь в глаза своей матери и повторяя ей ее собственные фразы, — нужно, мутерхен, с детьми гуманное обращение. — И мать, которая в эту же самую минуту, как змея, собирается пожрать свою собственную дочь, действительно становится гуманною по отношению к сыну и обещает выручить его пятьюстами рублями, как только состоится продажа Кутузкину Кати. Мать и сын во всей этой сцене дают право заключать, что г. Алексей Потехин основательно вдумался в эти типы и справится с ними как нельзя лучше. Гнусная мать, потатчица слабостей презренного сына, не понимающая ни одной из задач воспитания и в то же время издевающаяся над всякой дисциплиной в воспитании, — тип, который распространен необыкновенно в наше время и с каждым новым днем распространяется все более и более. Сын умнее своей матери. Принимая участие в запродаже сестры, он далеко превосходит мать в знании людей и в мастерстве их эксплуатировать. Мать его, как она ни гнусна и ни своекорыстна, не проведет даже факторши Францевны и должна ей кланяться, подличать перед ней и унижаться. Это натурка маленькая, мелконькая и трусливая: ей по силам одни мелкие подлости, достигаемые способами самыми примитивными, тогда как сын ее другое дело: это негодяй комплектный, вполне сформированный и вполне современный. Он приготовлен к негодяйству самым целесообразным воспитанием и продолжает свое развитие в вполне современной школе. «Живу, — рассказывает он своей матери, — с такими людьми, которым за одни фамилии чины дают: столпы отечества будут». Этот сын с своей матерью хотя звери и одной породы, ибо и у него, точно так же, как у нее, есть и лисий хвост и волчьи зубы, но велика разница в их уменье вилять хвостом и запускать свои зубы. Мать виляет хвостом только по инстинкту, как лиса; а он несет свой хвост тихо и не щелкает зря зубами на каждого бессильного человека. До сих пор он употребляет свой хвост пока еще только для заметания следов, которые делают его лапы; а со временем, когда войдет в постоянный возраст, будет употреблять этот хвост для затирания крови, что засочится из-под зубов его. Он не обижает нынче своего отца, потому что в том выгод не находит: зачем же ему

обижать без пользы? Он продает сестру спокойно, а ее покупателя, старика Кутузкина, располагает в свою пользу совсем иными средствами, чем стремящаяся к тому же самому мать его. Он не прибегает, для снискания этого расположения, к униженным молениям, не хнычет и не драпируется нежными чувствами, а очаровывает старца практичностью своих взглядов на жизнь и достоинством своего поведения. Не имея возможности совсем скрыть от Кутузкина свое бездельничанье, праздность и фланерство, он находит достойное оправдание своему поведению и на вопрос: почему он не студент, а вольнослушатель? отвечает, что вольнослушателем быть гораздо лучше, что у вольнослушателя *поле шире,* что вольнослушатель, посещая только избранные лекции, *изучает жизнь; а это самое главное.* Он понимает, что старый миллионер Кутузкин не из тех людей, чтобы стоять за науку. Это не масон, не птенец разрушенного новиковского гнезда, не человек плетневского или другого из кружков, группировавшихся около известных, почтенных личностей: это просто благодатный золотой кулек, невежда, который, вероятно, временами и сам сознает свое невежество и не может любить людей с основательным развитием. Федор Иванович понимает, что такой старик, взамен всех недостающих ему познаний, непременно должен считать себя знатоком людей и практической жизни, и потому он сейчас же попадает ему в ноту, заявляя и себя человеком, уважающим одни лишь эти знания и готовым идти в жизни по следам Кутузкина, то есть посвятить себя искусству разгадывать человеческие слабости и эксплуатировать их в свою пользу. *«Жизнь изучаю»,* — говорит он Кутузкину, и очарованный им Кутузкин отвечает ему, что *«это самое важное».* С этих пор вы чувствуете, что Кутузкин будет в руках Федора Ивановича, и Федор Иванович выжмет из него все, что ему нужно. Отрывок комедии кончается помолвкою Кати с Кутузкиным, и мы, к сожалению, остаемся в полной неизвестности, что сделает автор в дальнейшем ходе пьесы со всеми лицами своей комедии; но остаемся до последней степени на их счет заинтересованными, ибо Федор Иванович представляет собою один весьма рельефно выступающий, современный тип.

Не подлежит никакому сомнению, что своекорыстие, низость, жестокосердие и сластолюбие, как и всякие другие пороки человечества, стары точно так же, как старо само человечество; но несомненно и то, что формы, в которых проявляются порочные склонности человеческой натуры и отношения общества к этим проявлениям, в разные времена весьма разнообразны и всегда достойны внимательнейшего наблюдения. Рабская покорность своим страстям и преследование дурных, недостойных целей у людей простых, почвенных, невыдержанных, по преимуществу проявляются в формах столь грубых и несложных, что для распознавания их почти нет нужды ни в какой особой наблюдательности. Все пороки этих людей ходят нагишом, как ходили наши праотцы. Но те же самые пороки у людей, приученных уважать известные условия жизни и соблюдать декорум порядочности и благонамеренности, не только скрывают наготу свою, но даже не ходят с открытыми лицами, а гримируются и разнообразят эту гримировку до бесконечности. Над этим искусством цивилизованное человечество трудилось очень немало и зато усовершенствовало его до степени весьма замечательной. Нет почти ни одного благородного флага, под которым не провозились бы к своим целям контрабандою самые гнусные замыслы и стремления. Религия, филантропия, служение идее, святая любовь к родине и столь же святая любовь к человечеству — все было эксплуатируемо и еще не раз будет эксплуатировано дурными людьми для достижения самых дурных целей. Дурные люди всех решительно слоев общества эксплуатируют каждую из этих струн по-своему; но всякий из них, с помощью *своего* способа эксплуатации, достигает результатов далеко не одинаковых. Ханжа в рубище странника, вытягивающий гривенники и двугривенные на масло или на ладан от гроба господня, которыми он запасется в первой травяной лавочке, и иезуит, склоняющий больную, требующую утешения душу отписывать братству многоценные имения, которые должны были обеспечить целые семьи и которые вовсе не нужны богу, сказавшему: «Я милости хощу, а не жертвы», — это один и тот же сорт шарлатанов; но первый из представителей этого сорта, ханжа, странник, ограничивается мелкими, ничтожными срывами с легко-

верных, тогда как вторые берут в свои загребистые лапы не только целые семьи, но даже целые государства и народы. Над первым можно смеяться, но его можно терпеть; второго нельзя терпеть, и позволять ему усиливаться — преступно. Ту же разницу в значении достигаемых целей мы увидим, обратясь к деятельности разных людей, эксплуатирующих общественную филантропию. Стоит только для сравнения взять сначала самый примитивный у нас способ этой эксплуатации: нищенство и попрошайство с просительным письмом на бедное семейство, а потом самое высокое развитие этой же профессии, когда человек, эксплуатирующий общественную филантропию, сам прикидывается благотворителем, ораторствует в заседаниях обществ, устраивает благотворительные спектакли и на счет бедных дает балы и вечера, нужные лишь ему самому для сдачи с рук взрослых дочерей или для снискания общественного расположения. Проделка с просительным письмом при этом сравнении покажется нам только невинною детскою игрушкой. Опять то же самое представится нам, когда мы припомним, как люди различных цивилизаций служат одной и той же идее, положим хотя бы, например, революционной идее. Если мы припомним характер пугачевщины и вообще представим себе нашего бунтующего мужика или даже наших недавних революционеров, бесхитростно являвшихся с воззваниями к солдатам в гвардейские казармы, и посравним с их приемами тонкую неумирающую интригу поляков, то какая неизмеримая разница представится нам и в способах действий и в размерах достижения целей! Казнили Пугачева, разогнали его ватаги, и бунт пал и покорился; придет в бунтующую деревню батальон солдат с розгами, перепорет бунтующих мужиков, и нет бунта; перетряхнет полиция распространителей революционных сочинений в солдатских казармах, и нет охотников идти их дорогою. А польская революция, кажется, задушена, вывезена в другую часть света и там, еще раз задушенная, скована, и, несмотря на все это, как связанные братья Давенпорт, показывает свои бледные руки то оттуда, то отсюда, откуда их, кажется, нельзя бы высунуть и откуда их всего менее ожидаешь. Возьмите, в самом деле, нашего алчного, но простодушного революционера, заматывающего десяток рублей,

собранных для изготовления специально-демократических прокламаций, и вспомните компаньонов Мерославского, не торопившихся пачкать свои ладони в пятаках и гривнах, а солидным образом запустивших руки в патриотический карман своих соотчичей. Какая громадная разница! И так именно везде и всегда: везде грубые, менее цивилизованные плуты и эксплуататоры не отличались ни внешнею скромностью, ни благоразумием и тактом; они обыкновенно голодными псами кидаются на всякую падаль, проворовываются необыкновенно скоро, разоблачают один другого со всеусердием и обыкновенно не успеют оглянуться, как уже бывают лишены всех средств продолжать надувание почтеннейшей публики. А негодяи высшей цивилизации идут к достижению своих целей путями гораздо более верными, обдумывают свои планы зрело и осуществляют их в размерах самых полных и совершенных. Едва ли не самый лучший образчик того, как одно и то же орудие в руках бесхитростных простаков служит к их собственной пагубе, а в руках людей более и лучше дрессированных становится силою, готовою служить им для их целей, представляет нам в настоящее время безнравственное учение, известное у нас под именем учения нигилистов. Будучи изобретено воспитанниками духовных семинарий и академий, учение это прежде всего распространилось из духовных училищ между людьми самого невысокого полета, и выразилось рядом одна другую превосходящих глупостей. Цели и все задние мысли грубых людей, вводивших это безнравственное учение, были замаскированы такими плохими масками, что не прошло и пары лет, как все их планы и приемы были разгаданы и осмеяны. Нигилистическая грубость низкопробных бездельников драла глаза обществу, и общество показало этому бездельничанью свое глубокое презрение, а правительство сказало ему свое *стой!* и грубые шавки с мордашками, лаявшие на все кресты и знамения, которые чтит народ наш, замолчали. Но в то время, когда правительство уже решилось произнесть свое *слово,* в некоторых других кружках из нигилистических газет и журналов уразумели, что принципы осмеиваемого и преследуемого учения как нельзя более отвечают всем стремлениям строить свое благо, не смущаясь строгими уставами нравственности. Правда, что

это поняли еще с самого объявления нигилистических принципов даже те грубые и недальновидные люди, которые фигурируют в романах «Марево», «Взбаламученное море» и «Некуда», но они, поняв это, по простоте своей и примитивности своих характеров не сумели нимало воспользоваться всеми выгодами этого учения. Они даже не открыли близкого сходства его начал с началами иезуитов, которым некоторые, может быть не совсем безосновательно, приписывают изобретение нигилизма для еретической России. Первые русские нигилисты нимало не проникли в дух своего учения и по простоте своей и грубости хотели распространять его нахрапом. Они, как легендарные дулебы, ринулись в погоню за слабыми обрами и разбежались так шибко, что сами поскакали в море, к которому хотели припереть гонимых. Эти новые дулебы были осмеяны и, надоев всем своею грубостью и глупостью, брошены ныне без всякого внимания. Люди высших слоев, не превосходящие погибших дулебов нравственностью, но имеющие перед ними неотъемлемое превосходство в выдержанности и внешней благовоспитанности, обратив внимание на это учение, поступили иначе. Они сначала смеялись и потешались над нигилизмом как над сущею глупостью; но потом вскоре поняли, что нигилисты в существе гонятся за тем же самым, за чем гоняются и за чем готовы весь век гоняться они сами, то есть за силою, за влиянием, за угождением своей плоти и своим страстям, без всякой нравственной борьбы и пожертвований. Они увидали, что теориею нигилистов можно очень ловко воспользоваться, и взялись и за отрицание чувств, и за порицание дисциплинарных мер, и за иезуитский девиз: «цель оправдывает средства». Но, будучи выдержаннее и благовоспитаннее изобретателей нигилизма и первых апостолов этого учения, новые его адепты избегают всех грубостей и ошибок, отмечавших шествие первых «болванов петербургского нигилизма». Новые нигилисты избегают клички, тогда как те обрадовались ей и в простоте души на первый тургеневский оклик откликнулись: «да, *мы нигилисты»*. Эти не отрицают во всеуслышание чувств и не кричат *о брюхе* да о его значении, а на деле практикуют великое новое учение:

для них все nihil, все ничто, и

Только то лишь одно и действительно,
Что для ихнего тела чувствительно.

Они знают, что «бесплодно спорить с веком», ибо «обычай — деспот меж людей», и зато результаты их деятельности уже осязательны и, вероятно, будут многообильны своими последствиями. Старцы не видят в них таких врагов, каких они видели в грубых нигилистах первой эпохи нигилизма, а называют их здравомыслящими, рассудительными людьми и, пляшучи по их дудке, не замечают, что они пляшут.

У них везде будут свои друзья и защитники, а потому и борьба с ними будет гораздо труднее, чем борьба с Галкиными, Белоярцевыми, Прорвичами и гимназистом Колей. Вращаясь среди людей, которые «за одни фамилии получают чины» и «готовятся быть столпами отечества», они найдут себе и опору, и на них нельзя смотреть сквозь пальцы ни одной минуты, ибо они растут и укрепляются зело и зело.

Повторяем, нам неизвестно, что сделает г. Потехин из своего Федора Ивановича. Может быть, в целой пьесе этот Федор Иванович не только не главное, но даже и совсем не видное лицо; но в отрывке, как мы его видели, этот господин занимает очень видное место, и автор может сделать из него тип самый современный и необыкновенно замечательный. Нам этот Федор Иванович рисуется впереди очень большим лицом, и мы думаем, что в этом лице автор, несомненно, может показать одну из самых больных язв нашего века. Так ли задумано это лицо у г. Потехина, как нам чувствуется, или почтенный автор и ныне, щадя современность, будет беспощаднее к сложившей свое орудие крепостнической старости и не поведет свою комедию далее «Отрезанного ломтя»? Хотелось бы верить, что мы не ошибаемся, что г. Потехин, как русский незлопамятный человек, не будет находить долгой услады в том, чтоб карать своею сатирою давно покоренную спесь и немощь отжившего барства, а устремит свои силы на борьбу с новым злом, которое, как полированный змей, выходит на нашу землю из того самого озера, в которое еще так недавно спихнуты шершавые нигилистические дулебы.

Наступивший великий пост кладет конец наплыву наших пьес и появлению на сцене новых талантов, и мы, оканчивая статью, можем резюмировать ею всю театральную хронику нынешнего сезона.

Сезон этот прошел, как прошли многие, предшествовавшие ему, — не особенно счастливо и не особенно несчастливо. Новых пьес было мало, но все они были очень замечательны лишь одною бесталантностью авторов. «Смерть Грозного» ждет еще времени для произнесения о ней основательного приговора. До сих пор ясно только одно, что на петербургской сцене пьеса эта едва ли может долго идти, несмотря на то, что она делала громадные сборы. Публика наша смотрит ее по ее громкой славе, по сочувствию к ее автору; но самая пьеса эта, очевидно, не по плечу нашим артистам, и ее легко может ждать судьба «Воеводы». Все пересмотрят ее по разу и охладеют, ибо любоваться чьей бы то ни было игрою в этой пьесе не выпадает на нашу долю. Мы не говорили ничего об исполнении этой пьесы и не хотим утруждать читателей, приводя сравнения между игрою гг. Васильева, Самойлова, исполнявшими роль Грозного, но скажем, что мы вполне разделяем мнение того фельетониста, который, посмотрев обоих этих артистов в роли царя Ивана Васильевича, написал, что «мы видели на сцене Павла Васильевича (Васильева), потом Василья Васильича (Самойлова); но Ивана Васильича (Грозного) не заприметили».

Из новых дебютантов, которых не много и было, снискал общее внимание один г. Зубов, составляющий действительное приобретение для петербургской сцены. Дебютировавший в бенефис г. Васильева г. Монахов еще ничем не определился... По части женского персонажа новостью этой зимы был успех г-жи Струйской (первой) в «Светских ширмах» и в «Гражданском браке». Актриса эта, игравшая до сих пор вторые и третьи роли, вдруг вышла в первых ролях и очень понравилась и публике и рецензентам, но затем вдруг стала и не движется, так что говорить об ее дальнейшей игре, по нашему мнению, пока не следует, чтобы не попасть по торопливости впросак.

Итак, провожаем мы наш театральный сезон такими же скромными буржуа, какими были при его начале: щегольнуть нам нечем, а похвастаться и подавно. Провинциальные газеты говорят нечто весьма лестное о некоторых провинциальных артистах, о Стрелковой, о Виноградове; да уж боишься и верить этому говору, как вспомнишь о тех метаморфозах, какие происходят с провинциальными талантами при пересадке их на столичную сцену.

ЛИТЕРАТОР-КРАСАВЕЦ

Быть так Чуриле сам господь повелел.

Былина о красном Чуриле Опленковиче.

Перед нами литературное явление такого оригинального свойства, что его совершенно неудобно не заметить и почти преступно пройти молчанием.

С литературой нашей в последнее время поступали часто весьма странно: с ней обращались как с орудием партий, как с лавочкой, в которой выгодно торгуется тем или другим товаром, но с ней еще никто никогда не обращался как с средством рекламировать перед публикою стройность своего стана, эластичность своих мышц, блеск голубых очей, свое остроумие, великое обаяние своих талантов, свою храбрость с мужчинами и свою непобедимость у женщин. Но дошло, наконец, на днях и до этого: в русской литературе явился богатырь совершенно непобедимой красоты и столь же совершенно непобедимого бесстыдства. Этот литератор — красавец Чурила Опленкович, называется господином Авенариусом и рекламирует себя во «Всемирном труде», издающемся в *Болотной улице,* в Петербурге.

Для того чтобы похвалиться перед всеми своим ростом-дородством, лицом-красотою, медовыми речами и соколиными глазками, этот находчивый литератор сочинил такую басню (мы говорим: *сочинил,* потому что нам

все-таки не хочется допустить, что развязный литератор хвастается тем, что с ним в самом деле случалось).

Приехал будто красавец Авенариус в Сорренто, ходит он по Сорренто с мальчишками, которые просят у него мелкую монетку; а он им рассказывает, что он «сыт на свой счет: книжки пишу и за них мелкую монету получаю». Потом он «усмотрел в горах молодого живописца, которого шутя называет преемником Сальватора-Розы и не шутя делает его дурачком, способным только «нашлепывать пятно около пятна». Зная лучше этого преемника Сальватора-Розы и секреты колорита и правила перспективы, Авенариус дал итальянскому художнику несколько советов, по которым тот его признал за живописца, а он, Авенариус (бич нигилистического нахальства), в благодарность за этот комплимент прямо посоветовал живописцу «рядом с искусством для искусства заняться делом по той же части более хлебным, как-то: малеванием вывесок да, пожалуй, раскрашиванием стен».

Однако оказывается, что столь нигилистически оборванный литератором Авенариусом итальянский художник был не совсем круглая бездарность, ибо в числе его произведений нашлась головка, обворожившая самого Авенариуса. Авенариус стал просить художника «свесть» его с итальянкой, с которой написана эта головка, а художник сам влюблен в нее и отговаривается.

— Познакомиться-то с нашими барышнями, — говорит он писателю Авенариусу, — при счастии, пожалуй, иностранцу и можно, да *испытать на себе их страстность* — шалите! Как хвостом ни виляйте, не удастся: не полюбит вашего брата.

— Да разве и между нами нет молодцов из себя? — сказал в ответ на эту грубость г. Авенариус.

— Как не быть: *хоть бы вы, например?* — отвечал красавцу Авенариусу итальянец.

В самом ли деле г. Авенариус так хорош, как он себя хвалит, мы этого не знаем; но полагаем, что он, вероятно, красоты замечательной, ибо человеку обыкновенной наружности чужестранец такой любезности наверно бы не сказал, и лучшее тому доказательство — недавний случай с сотрудником «Московских ведомостей» г. Геор-

гиевским, которого туркофил Лонгворт нарочно поставил лицом к лицу против хорошо сложенного турка и сделал между ними двумя сравнение довольно невыгодное для России, имевшей, к несчастью, на этот раз своим представителем не бойкого г. Авенариуса, а скромного г. Георгиевского.

Но возвратимся к нашей истории.

Въедаясь далее в фабулу повести, г. Авенариус рассказывает о своей хитрости, как он выпытал у художника, кто именно оригинал его головки, а затем уже наступает и самая любовная басня. Там, в Сорренто, живет богатый и очень жадный итальянец, у которого была красавица дочь Анджелика, которая, собственно, и есть оригинал известного нам портрета. Г. Авенариус, пленясь портретом этой девочки, еще более пленился ею самою и вздумал ею призаняться. Для этого ему надо было устроить свидания с нею, и он их себе и устроил, и устроил самым оригинальным и притом самым простым образом, делающим большой комплимент его находчивости. Он явился к ее отцу и условился с жадным богачом платить ему по четыре франка за каждый час, проведенный в его продажном доме, и во время этих посещений беседовать с его дочерью. Не забудьте — только беседовать, более красивому Авенариусу, впрочем, ничего и не нужно: в остальном он рассчитывал во всем на свои внешние и внутренние достоинства, из-под влияния которых, как видно, женщинам черт знает чего стоит вырываться. У Анджелики, конечно, были и другие адораторы: этот самый живописец, про которого выше рассказано, и франт, фабрикант Сантакроче. Оба эти поклонника Анджелики начали свои ухаживания за нею гораздо ранее г. Авенариуса; но это такому бойкому и обаятельному красавцу, каков г. Авенариус, также ровно ничего не значило. Живописца, как мы видели, он смял, стигостил и подобрал под себя с первой же с ним встречи, когда посоветовал ему идти в малярню; а другого, фабриканта Сантакроче, обуздал своим значением. «Мой итальянец (Сантакроче), — рассказывает г. Авенариус, — имел дело с литератором (на лбу, что ли, это у г. Авенариуса написано?), с корреспондентом иностранной газеты, который печатным отзывом своим мог принести ему как пользу, так и вред».

Г-н Авенариус, как надо полагать, всем рекомендовался литератором — и нищим итальянским мальчишкам, и фабрикантам, и своей Дульцинее; но зато ему и повезло с самого первого шага: сам старик, отец Анджелики, и два ее ухаживателя — все сразу поняли и оценили важное значение г. Авенариуса в Италии и в России и держали себя с ним как нельзя деликатнее.

Получив доступ в сад жадного богача, продавшего г. Авенариусу свидания с своей дочерью, наш литературный Чурила Опленкович «окрыленным мотыльком порхнул», «весело подпевая: *не любить — погубить значит жизнь молодую,* сорвал на лету свежий портагал и стал отдирать с него оболочку». Тут является Анджелика, научает его есть апельсины и объявляет, что она в день «уплетает» этих плодов «десятка три». Говорит эта Анджелика ужасно, не хуже любой Матрены или Федосьи, но, вероятно, таков уже странный язык ее был. Потом она учит Авенариуса брать аккорды на фортепьяно и думает, что г. Авенариусу в самом деле есть чему у нее поучиться, тогда как г. Авенариус не только хороший писатель, но и хороший музыкант и нарочно лишь прикидывается неумехою; но зато эта невинная хитрость нашего Чурилы заставляет простушку Анджелику довольно близко нагибаться к нему; а он, пользуясь ее близким присутствием, не будь промах, да и влепливает ей на ее ручки одну безешку, а она его за это называет «поганым русским». Г-н Авенариус знает, что такая брань на вороту не виснет, делает дальнейшие шаги. В другой раз он, «подскочив к роялю, присел и затянул арию «Сжалься» из «Роберта». Анджелику удивило, что этакий «поганый русский», как г. Авенариус, в то же время такой великий музыкант, а он «продолжал арию и довел ее громовым голосом до конца» и «был готов расцеловать Анджелику». Наконец у г. Авенариуса с Анджеликой завязывается любовь, которой никто не мешает: отец потому, что ничего, кажется, не видит, да притом, вероятно, и чувствует важность значения г. Авенариуса, как русского литератора, а живописец потому, что признает г. Авенариуса *молодцом* и знает, что с ним у женщин не потягаешься. Тут, на этой свободе, наш Чурила Опленкович влюбился как кот, и в его «наэлектризованную душу стали сами напрашиваться *звучные*

рифмы», которые он, по скромности, его отличающей, так-таки и называет не более как только *звучными рифмами.* Но хитрый красавец и этим не ограничился: он знает, что женщину не доедешь одним стихотворством, и пускает в ход еще одну любовную хитрость: он равнодушествует с Анджеликой.

— Стихотворствую, — говорит он ей, — и потому не скучаю — даже и без вас.

— Очень, должно полагать, интересно сочиняете! Покажите-ка что-нибудь: точно ли так интересно (попросила Анджелика, и попросила вот именно этими самыми словами, которые мы приводим с скрупулезнейшею точностью).

Но эти *звучные рифмы* Авенариуса были русские, и потому он не показал их Анджелике, а написал ей итальянские стихи, которые и хотел было изорвать, «да жаль стало: *слишком естественно чувство сказалось».* Управляющая г. Авенариусом сила особенной благовоспитанности не позволяет ему манерничать и, похвалившись хорошими стихами, скрыть их от общества в папках своего интересного портфеля. Он прилагает для русских читателей хановского журнала перевод этих стихов на русский язык, но оригинала, к сожалению, не вписал, хотя вписывать стихи и свои и чужие г. Авенариус вообще первый в свете охотник. В переводе же его звучные итальянские стихи вышли, как назло, очень дурны. Чувство в них *слишком естественно* сказывается такими строфами:

Мечтательно-грустно ли бровки ты сдвинешь:
Невинно вперишь в меня огненный взгляд
И после со смехом головку закинешь
Надменно-грацьезно назад... etc.

Таких звучных рифм г. Авенариусом вписано целых восемь куплетов, вообще очень ровненьких по всесторонним своим достоинствам; но по-итальянски они все-таки, верно, еще гораздо сего превосходнейше. Есть, правда, у г. Авенариуса враги, без которых трудно прожить замечательному человеку, и эти враги, может быть готовые посягать и на его жизнь, посягают прежде на его литературную славу: они сомневаются, что г. Авенариус умеет писать итальянские стихи. Но какие же, однако, основания у этих людей сомневаться в этом,

когда г. Авенариус смело и громко говорит, что он писал эти стихи по-итальянски и потом перевел их для хановского журнала?

Стишками своими, сочинение которых г. Авенариусом непременно надо допустить, как будто оно в самом деле происходило, этот красивый писатель так зажег свою девочку, что она даже пошла с ним за это гулять в горы. На этой прогулке они сначала увидели, как бедный художник Сторачи сидел на подмостках какого-то дома и красил стену. Это их посмешило; но зато потом они попались франту Сантакроче, который, в припадке злобной итальянской ревности, забыл о всех особенностях высокого положения г. Авенариуса и грубо, как настоящий макаронник, осмеял серенькое пальтишко нашего Чурилы. Дело это, однако, окончилось без особенных последствий, потому что Анджелика защитила Чурилу и рассудительно сказала ему, что «всякий одевается по средствам». Сантакроче так гриб и съел, а в любви русского писателя с итальянкой начинается новая фаза. У красавца Авенариуса заходит с его девочкой разговор: может ли надеяться «северянин» завладеть сердцем итальянки?

«Как человеку не взобраться вверх по этому водопаду, — надменно промолвила красавица, — так иностранцу не завладеть сердцем итальянки».

Водопад, на который указала итальянка, был черт знает какой страшный — совсем неприступный. «Под острым углом сходились тут две неприступные голые стены, и по ним ниспадал водопад».

Но что же может удержать писателя Авенариуса?

«В два прыжка (говорит он в своих бесценных признаниях) я был у подножия водопада и лез уж вверх по его течению!»

«Безумец! Куда вы?» — не на шутку перепугалась девушка.

«За сердцем итальянки», — отвечал коротко Авенариус и *«при известной ловкости»,* со «смертельною опасностью», «не хуже дикой кошки или ползучего растения», взлез до вершины обрыва, который «восходил до самых небес». Были там по этому пути и ущелья, сквозь которые другому бы ни за что не пронырнуть; «но я молод, тонок в талии, в движениях эластичен (рас-

сказывает о себе наш Чурила), и протиснулся». Дело он сделал, по его описанию, сверхъестественной трудности, и вы действительно ничего подобного не найдете даже в описании опасностей, которым подвергался Тиндаль, исследуя альпийские ледники. Были моменты в этом подвиге, когда даже сам неустрашимый Авенариус отчаивался в своем спасении и, вися над бездною, спрашивал: «Господи! ужели так и покончить? *свеж, здоров, полон светлых надежд...»*

Ну, а если бы он там и покончил-то! Представьте! только представьте себе, российский читатель, всю скорбность столь рановременной утраты человека на нашем теперешнем-то литературном безлюдье! Кто у нас так может писать, как г. Авенариус? Положительно никто... Но, dei gratiae,[1] он спасся; он долез куда-то, он *«растянулся»* на траве и вскоре почувствовал у себя, на самом вдохновенном челе своем, мягкую ладонь.

«— Слава богу, жив... — послышался голос Анджелики. — Отчего он не итальянец!

Я (говорит красавец) раскрыл глаза и счастливо улыбнулся.

Итальянка вспыхнула и отдернула руку.

— Я думала, вы померли, — пробормотала она».

Извольте их разобрать, этих итальянок! Будь он их итальянец, так она б его небось зацеловала-замиловала, потому что уж видно, что невтерпеж ей совсем от своих влечений к нашему Чуриле; но как он «поганый русский», а не их макаронник, так ей даже досадно, что «растянулся» он с остатками жизни, а не совсем мертвый!

Страшные женщины!

И действительно: чуть только наш дорогой соотечественник и наш талантливый писатель стал на свои резвые ножки, как уж эта Анджелика потребовала от него еще «нового подвига», который, пожалуй, еще пострашнее неприступного водопада. А именно: эта скверная девчонка, чтобы еще раз испытать любовь и храбрость г. Авенариуса, послала его в горы к свирепым бандитам.

Как это вам нравится? Иди, в некотором смысле, кровь свою проливай для ее каприза?

---

[1] Слава богу *(итал.)*.

Другой бы кто, не такой отчаянный, как г. Авенариус, разумеется, и лыжи бы завернул, — сказал бы себе: да пропади ты совсем, если ты мною так помыкаешь; но г. Авенариус не такой. Он и на это пошел. Бандиты его помяли, покрутили, поранили его в спину кинжалом и, — что уж черт знает совсем на что похоже, — сняли с него даже панталонишки и водили санкюлотом по горам, но, наконец, отпустили его, потому что с его провожатым было письмо к бандитам от Анджелики, а почему это письмо имело столь много значения у бандитов, — это вы узнаете после. Так Авенариус вернулся к Анджелике и от бандитов и опять зачитал ей стихи и свои и майковские. Ему угрожает ревность. Анджелика просит его бежать; но он решительно от этого отказывается и говорит, что «не даст себя в обиду», и после всех этих подвигов наконец-таки допек итальянку своим умом, красотою, смелостью и талантами до того, что она решается с ним бежать в Россию. Здесь он опять делает очень много смелых и находчивых вещей для устройства ее побега, и побег удается: он доводит Анджелику до барки, в которой они должны были уплыть и в которую свезен уже и чемоданишко г. Авенариуса. Но тут своенравной красавице Анджелике приходит мысль спосылать «поганого русского» назад к дому, из которого она ушла, посмотреть, не гонятся ли за ними. Он, при своей находчивости-то, и поддайся на эту штуку, и побежал, и когда вернулся на берег — барка уже плыла далеко от берега, и вероломная Анджелика пела ему издали нечто вроде песни, приписываемой Платову:

Не умела ты, ворона,
Ясна сокола держать.

Анджелика укатила к начальнику тех бандитов, к которым посылала нашего храброго литератора с письмом.

«Мое личное самоуважение, — говорит тут наш бедный Чурила, — не дозволяло верить факту».

Но факт этот случился, и Анджелика через некое время прислала своему «поганому русскому» письмо, в котором просила у него прощения, что надула его

и ушла к бандиту, но зато сделала в этом письме следующую приятную приписку: *«Возвратитесь скорее на родину: там найдется для вас множество премилых, таких же, как вы, белокурых девушек. Вы ведь, говоря по душе, в своем роде тоже очень и очень недурны, так что, не имей этих ненавистных голубых глаз да светлых волос, быть может... но блондины моя антипатия»*.

Итак, начал г. Авенариус свою повесть тем, что итальянский живописец хвалил его наружность и называл его молодцом; во время продолжения всей этой повести все хвалил сам себя и заключил ее похвалою себе от бандитки, ради которой совершил свои неимоверные подвиги, достойные лучшей награды. Все его лихо, как мы видели, заключалося лишь в том, что он блондин с ненавистными голубыми глазами и не под стать итальянкам; но теперь он в России, он весь к вашим услугам, mesdames, и он сделал все, что мог сделать самый развязный человек для того, чтобы всем вам огулом заочно отрекомендоваться. Оцените это, белокурые российские девы: ведь это для вас, кроме писателя Авенариуса, до сих пор ни один безумец не делал и, вероятно, никогда не сделает. Полюбите, пожалуйста, этого душку: он тонок, и здоров, и эластичен, он и поет, и играет, и романы пишет, и стихи сочиняет, и под небо лазит, и к бандитам ходит, и любовь свою предает гласности, и сам себе слагает такие мадригалы, каких ни в одной литературе еще не написал себе ни один литератор и каких, по правде сказать, кроме «Всемирного труда» не напечатал бы ни за что ни один журнал во всем подлунном мире.

Читаешь — и глазам своим не веришь, что это напечатано; думаешь — и не додумаешься, что за процесс происходил в голове человека, когда он все это слагал, исправлял, читал в корректуре и знал, что это писанье его прочтут люди, знакомые с приличиями, с законами форм литературных произведений и с понятиями о позволительном и о непристойном? Жениться, что ли, думает он и, избегая посредничества свах, сам подыскивает себе белокурую деву более удобным способом, при посредстве «Всемирного труда» в Болотной улице, или уж он наивен... так наивен, что знающие его

лично могут все это извинить и в оправдание его сказать: «Быть так Чуриле сам господь повелел!»

Неимоверно! непостижимо!

И все это бездарное, исполненное неслыханного и невиданного нахальства безобразие еще украшено женским именем! Эта эпопея г. Авенариуса посвящена им даме Александре Васильевне Никитиной!.. Еще раз непостижимо!

Если эта дама не была знакома с рассказанным нами произведением красивого Авенариуса прежде появления этого нелепого произведения в печати и если она не давала этому жалкому автору свое согласие на посвящение ей истории его смешной любви, то это посвящение есть дерзость, неслыханная даже в нашей бесцеремонной литературе, и мы смеем предполагать, что г-жа Никитина не посетовала бы, если бы г. Авенариус позабыл ее имя, относя в Болотную улицу свою изумительную рукопись. Видеть свое имя связанным с деяниями такого самохвальства не радость ни для кого, тем более для женщины, хоть сколько-нибудь уважающей себя и дорожащей уважением людей, которые ценят в женщине солидность и осмотрительность, руководящие ее поступками.

Еще маленькая заметочка для истории *«быстрого, но повсеместного распространения невежества и безграмотности в русской литературе»*.

Этот же самый г. Авенариус, с любовными похвальбами которого мы только что кончили, в своей повести, следуя соблазнительному, как видно, примеру петербургских нигилистов, нашел случай заявить свое невежество и безграмотность, посмеявшись над Пушкиным.

Рассказывая свое путешествие в Hôtel du Tasso — трактирчик на обрыве над водами Неаполитанского залива, — он восклицает: «Так вот, — подумал я, —

Где пел Торквато величавый,
Где и теперь во мгле ночной
Адриатической волной

в Неаполитанском-то заливе! — (восклицание г. Авенариуса)

Повторены его октавы».

Что тут такое изумило красивого литератора? Что за несообразность, достойную своего удивительного звания, нашел он в приведенных им стихах Пушкина? Думает ли он, а с ним вместе думает ли и почтенная редакция журнала «Всемирный труд», что Торквато величавый сидел и пел, как скворец в скворечне, только в своем маленьком домике на берегу Неаполитанского залива, а Пушкин не знал ни истории жизни Тассо, ни географии?

Всеконечно у красивого Авенариуса была именно эта злодейски-меткая мысль уязвить Пушкина.

Неужто ни г. Авенариусу и никому из сотрудников, принимающих участие в издании «Всемирного труда», неизвестно, что Торквато Тассо уехал из Сорренто восемнадцати лет и что Пушкин в осмеянном г-м Авенариусом стихотворении, говоря об октавах Тассо, имел в виду значение этих октав для Италии, а не для трактирчика, устроенного в долине, где родился Тассо?

Италия! волшебный край!

говорит Пушкин в этом стихотворении, обращаясь с ним не к трактирчику, с которым связал октавы Тассо просвещенный Авенариус, *а ко всей Италии!*

Кто знает край, где небо блещет
Неизъяснимой синевой,
Где море теплою волной
Вокруг развалин тихо плещет,
Где вечный лавр и кипарис
По воле гордо разрослись,
Где пел Торквато величавый,
Где и теперь во тьме ночной
Адриатической волной
Повторены его октавы,
Где Рафаэль живописал,
Где в наши дни *резецКановы*
Послушный мрамор оживлял,
И Байрон, мученик суровый,
Страдал, любил и проклинал?
Италия, волшебный край!
Страна высоких вдохновений и т. д.

Какое надо иметь несчастное соображение, чтобы не понять, что все здесь сказанное идет к Италии, к «стране высоких вдохновений», *где* и Канова, и Рафаэль,

и Байрон, а не к трактирчику, устроенному в домике, *где* жил *Торквато* ребенком и где (то-есть в трактирчике), к которому г. Авенариус так смешно припутал строфу Пушкина, гарсоны, пожалуй, могут, не знать даже ни одной тассовской октавы. Да, да, все это сказано *к ней,* г. Авенариус, к Италии, *где* (то-есть в Италии) пел Торквато величавый, *где* (на всех итальянских водах) простые гондольеры поют стихи из его «Освобожденного Иерусалима», *где* и теперь «во мгле ночной адриатической волной повторены его октавы», ибо адриатические воды, как всем известно, есть те же воды итальянские, и на них повторялись тассовские октавы в пушкинское время и, вероятно, повторяются и ныне, в эту самую минуту, когда мы должны разъяснить красивому русскому литератору, как следует понимать читаемое по согласованию слов, ибо иначе г. Авенариус, прочитав у Лермонтова *«Я, матерь божия»*, а у Пушкина *«Христос воскрес, питомец Феба»,* может утверждать, что Лермонтов и Пушкин кощунствовали, первый — называя себя богородицею, а второй — величая Христа питомцем Феба.

Не уместнее ли здесь, перед этими саркастическими недоумениями г. Авенариуса, тот удивительный знак, который он дерзкою рукою поставил посреди стихов Пушкина и откуда никто в целой редакции не поторопился вымарать этого знака, так громогласно свидетельствовавшего о *быстром, но повсеместном распространении невежества и безграмотности в русской литературе?* Да; здесь он гораздо уместнее. Здесь уместен целый печатный лист удивительных знаков.

Глядя на книжку, в которой с такою детскою невинностью допущено такое искреннее сознание невежества участвовавших в составлении ее людей, поневоле еще и еще раз спросишь себя: что только у нас не находит себе места в печати? Поневоле задумаешься, что́ у нас в нынешних наших писателях считается подготовкою, достаточною для литературной работы? Поневоле спрашиваешь себя наконец, что делается с не лишенными знаний людьми, попадающими в коллегиальное собрание членов необразованных редакций? Что делает, например, во «Всемирном труде» г. Гиероглифов, у которого нельзя отнять ни ума, ни известной эрудиции, тогда как,

всеконечно, по одной лишь невинности остальных руководителей журнала там печатаются любовные похвальбы г. Авенариуса и совершенно умопомрачительные статьи г. Соловьева, где за серьез рассказывается, что в литературе англичан почти не было цинизма, когда в той литературе есть Свифт, Стерн, или что в нашей литературе не было романтизма, *потому что мы православного исповедания* (!). Начитанность этого столпа ханского журнала так велика, что ему даже неизвестно, что в нашей литературе была продолжительнейшая полоса романтизма и история нашей литературы упоминает целую вереницу известнейших имен писателей-романтиков. Он не знает, что русский романтизм имел своих больших друзей, был предметом больших рассуждений и толков; что его не отрицал в русской литературе ни один человек, прочитавший внимательно хоть одну хрестоматийку, и что о нем переписывался с Родзянко Пушкин, так и начинающий свое послание к Родзянко:

Ты обещал о романтизме,
О сем парнасском афеизме,
Потолковать еще со мной,
Полтавских муз поведать тайны...

Неужели и г. Гиероглифов не знает, что отрицать романтизм в нашей литературе — значит говорить глупый вздор, изобличающий в членах редакции непростительное невежество, круглое и всесовершенное незнакомство с теми литературами, о которых г. Соловьев ведет свои нескончаемые и лишь единством непрерывного бессмыслия связанные статьи? Что же он не спасает нового и неопытного в литературном деле г-на Хана?

При нынешней бедности наших литературных сил совершенно понятно, что новому изданию невозможно идти с блестящими статьями: их взять негде, и редактору нельзя ставить в вину, если издание его идет скромнее, чем бы желалось. Понятно и то, что и умный писатель, обмолвясь, может сказать иногда изрядную глупость. Но если глупости эти идут одна за другою в каждой книге, — идут, одна за другую цепляясь и одна другую догоняя, — то чего же может ждать такое издание в самом ближайшем своем будущем? А предприимчивые люди, подобные г-ну Хану, в нашей литературе,

особенно в последнее время, так редки, что не поберечь его и, стоя возле его предприятия, равнодушествовать к ходу этого предприятия с нравственной точки зрения почти преступно. Журнал г. Хана до сих пор возбуждает лишь злорадный смех литературных свистунов да удивление серьезных друзей литературы, пожимающих только плечами при чтении печатаемого в нем хлама; между тем как журнал этот, при независимости его редактора и очевидной готовности его вести свое дело в возможно совершеннейшем виде, мог бы служить обществу серьезную службу, а не быть предметом одних насмешек, к сожалению далеко не безосновательных.

БОЛЬШИЕ БРАНИ

(ОБЩЕСТВЕННАЯ ЗАМЕТКА)

То сей, то оный на бок гнется.

Опять превеликие и буйные брани настали в нашей литературе. Пребывая по возможности в стороне от всех этих турниров, мы, может быть, не без основания несем от кого-нибудь из наших читателей упрек, что мало следим за литературными явлениями и относимся к ним, по-видимому, совсем безучастно. Сознаемся, что известная доля подобной укоризны отчасти, может быть, нами и заслужена: мы действительно не пишем ни срочных обозрений русских журналов, ни периодически появляющихся критик и рецензий на новые книги. Но всего этого мы не делаем отнюдь не по невниманию или неуважению к литературе, а именно и по вниманию и по уважению к ней. Мы того убеждения, что основательных, подробных и дельных критик писать в газете невозможно, а потому и искать такой критики в какой бы то ни было газете будет всегда труд напрасный. Газеты, посвященные разработке *вопросов дня,* не могут, да и не обязаны отдавать большого места явлениям литературным. Известные газеты так это и принимают, а другие, которым такой взгляд кажется ошибочным, держатся иных обычаев. Эти последние посвящают очень большое внимание не только всему появляющемуся в печати, но даже не манкируют и тем, что происходит в самой жизненной среде литераторов. Некоторые

из таких газет, следя за поведением литераторов, при появлении произведений того или другого из них напоминают публике, что вот этот автор человек хороший, а этот сделал то-то и то-то, или даже и не объясняют, что́ именно он сделал, а просто не одобряют его с нравственной стороны. Одна из таких газет была так аккуратна, что однажды как-то заявляла даже, что один покойный критик (тогда еще живой) бывает иногда пьян; а другая обличала одного редактора, что он в карты играет.

Мы никогда не могли конкурировать в этом роде с многосторонними изданиями, о которых упомянули. Особых усилий к приобретению сколько-нибудь значащих и веских критических статей мы не употребляли как потому, что их при нынешнем совершенном отсутствии критических дарований в среде наших писателей негде достать, так опять и потому, что заботы об этом не считали своим главным делом. Повторяем снова: вполне ценя и высоко ставя значение критики, мы все-таки не гонимся за нею особенно и убеждены, что настоящее место ее в журналах, а не в газетах, ибо газета, по всем условиям ее издания, не может так внимательно заниматься критикою, как может делать это месячный журнал. Обозреть книгу журнала или какого-нибудь отдельного сочинения в газетном фельетоне, заключающемся приблизительно в трехстах коротеньких строчках, и обозреть так, чтобы тут все дело было выслежено и доказано, — это задача не только трудная, но, по нашему мнению, даже и недостижимая. Стремясь достичь эту недостижимую задачу, критик-фельетонист прежде всего манкирует доказательностью и заставляет себе верить на слово. Стесненный пределами газетной статьи, он поневоле говорит с публикою, как мог бы говорить разве только человек уже ауторизованный и аккредитованный общественным доверием. Он говорит: такой-то роман хорош, а такой-то дурен, и ему надо верить почти без всяких доказательств, потому что ему некогда, да и негде приводить эти доказательства. Отсюда у всех таких критиков укоренена привычка говорить бездоказательно, а эта привычка неминуемо влечет вслед за собою другую привычку — говорить безответственно. Развязный фельетонист объявляет одного

писателя честным, другого бесчестным, одного независимым, другого продажным, одного талантливым, другого бездарным, и тоже не станет приводить в подкрепление своих слов ничего: или приведет ничего не стоящую сплетню, вздорный намек, и, конечно, и он дальше ни за что не ответствует. Была ваша воля читать; в вашей же власти ему и верить или не верить.

Но зачем же читать, если не верить? Им верят. Справедливость заставляет сказать, что положительное отсутствие критических дарований, вследствие которого наши журналы давно в корень оскудели критическими статьями, у нас для многих отзывы фельетонистов преблагополучно заменяют критику, и публика на это не только не жалуется, но даже этих фельетончиков «спрашивает» и подчас очень нередко их «одобряет». Фельетонист объявит, что вещь дурна, и публика повторит это и позудит насчет обруганного автора. Фельетонист скажет, что этот роман *фельетонен,* и публика склоняется и к этому приговору, даже вовсе не замечая того, что самое определение фельетонности повести или романа она вычитала не более как в фельетоне. Что приобретут наши читатели от того, если мы без всяких доказательств скажем, что «Обрыв» г. Гончарова интересный и мастерской роман, а «Люди сороковых годов» г. Писемского — роман из рук вон плохой и слабый? Читатели вполне вправе не положиться на наши слова и вправе требовать, чтобы мы поддержали свое мнение доказательствами, а если мы таких доказательств не представим, то вправе не доверять нашему приговору. Излишнее доверие их в этом случае не только было бы неуместно, но оно возлагало бы на нас и слишком большую ответственность, которой мы вовсе не рискуем брать на себя.

Мы никогда не считали удобным домогаться такого безграничного доверия к нашим суждениям по литературным вопросам и, не имея возможности высказываться о литературных явлениях положительнее и доказательнее (как это могут делать журналы), находили, что газета наша и ее читатели ничего не потерпят, если мы вовсе не будем касаться чисто литературных вопросов

или будем касаться их лишь в некоторых особенных обстоятельствах и случаях.

Газета различествует от журнала не одним сроком выходов и формою издания: у нее есть свои задачи, между которыми литературная критика занимает не первое место. Если медицина поделила врачевство между специалистами, и ныне уже терапевт не мешается в болезни хирурга и ларингоскопист не врывается в область окулиста или офтальмиатра, то в литературе тем паче давно уже, кажется, пора принять деление и по неизменному закону политической экономии не стремиться в одни руки сделать *все*, а делать лишь то, что удобнее приспособлена делать наша мастерская. Здесь закон разделения труда.

Потом, у нас есть и другие причины, воздерживающие нас от вмешательств в так называемые литературные дела. Чужой, а частию и свой собственный, опыт убедил нас, что все подобного рода вмешательства весьма неприятны и небезопасны: они отклоняют издание от его прямого назначения и увлекают его нередко на путь бесконечной полемики, имеющей у нас совершенно особенный, беспокойный и для многих нестерпимый характер брани. Начнется дело будто и вправду о каком-то деле, а потом дело это бросится в сторону, а пойдет вскрывание чужих тайн, чужих побуждений и критика чужой совести. Это занятие, по нашему мнению, всего менее идет к тому, что мы должны делать, исполняя свои обязательства перед нашими читателями. А к тому же мы не питаем ни к чему подобному никаких влечений, считаем все это, с одной стороны, несколько излишним для издания, а с другой, неприятным и скучным для читателей, которым решительно все равно, например: действительно ли все сотрудники журналов «Дела» и «Недели» все люди особой честности, какой сотрудники других изданий никогда достигать не могут, или же возможно, что честный человек случайно забежит и в «Сын отечества» и в «Русский вестник»? Вмешаться в подобные разбирательства значит самим рисковать попасть в колею, которая что дальше, то грязнее, что дальше, то зловоннее, а попав в нее раз, ею придется идти, пока или самого

какой-нибудь досужий человек бесцеремонно оборвет и опачкает, или самому придется браться за такое же точно занятие и ратовать против совестливости многих добрых людей, с которыми должно счесть за лучшее на абордаж не сцепливаться. Пусть себе летят от них и бомбы и ядра — благо они существенно безвредны нам, — мы их можем оставлять без всяких ответов. На этом никто не теряет: ни мы, сохраняющие себя от излишнего труда и раздражений; ни наша газета, сберегающая на своих столбцах место для известий, из которых самое незначащее все-таки более полезно, чем целый поток ругательств; ни читатели, которые таким образом не получают намеков на то, чего не ведает никто; ни беспокойные нападчики, за которыми скорее и легче остается неоспоримым их последнее слово; ни самая литература наконец, потому что, молча о ней, мы по крайней мере не делаем вкладов в корванну ее горестных скандалов и не участвуем в выводах на позорище ее деятелей. Правда, что между последними мы знаем много людей, недостойно забрызганных «слюною бешеной собаки», и, может быть, иначе рассуждая, мы и не совсем вправе бы молчать и не поднимать голоса в защиту их долго и упрямо попираемой репутации, но мы имеем на это свой взгляд и думаем, что поднимать слово к обществу, слагающему свои мнения по тому, что ему скажет последняя печатная строчка, дело бесполезное. На выраженную вчера клевету явится сегодня опровержение, а его завтра опять подернет новою клеветою, и опять все темно и мрачно. Клевета неистощима, истина же, повторяемая раз за разом, как глас вопиющего в пустыне, так и остается, как vox clamantis in deserto.[1] Что пользы в том, если бы мы, или другая из неторопливых на осуждения газет, вступились за ведомых нам с наилучших сторон литераторов, на добрые имена которых навалены самые гнусные клеветы и покоры? Что, если бы в ответ на то, что А. или Б. люди нечестные, со всею энергиею заявлено, что все известные поступки этих людей говорят лишь в пользу их честности, а не бесчестья? На это бы очень просто ответили, что мы или еще не доросли до того, чтобы судить о честности, или

[1] Глас вопиющего в пустыне *(лат.)*.

что мы, пожалуй, и сами-то люди сомнительной честности. Такие примеры были и вполне возможны и на будущее время, пока в наших литературных нравах не произойдет благого перелома. Но, пока такого перелома не чувствуется, спрашиваем: на какую же почву может быть сведен у нас литературный спор? На суд, или на самозащиту, или на пренебрежение?

Суд!.. но где еще пока те понятия, в которых приговор суда может оправлять дело оскорбленной чести? Самозащита!.. но наши литературные люди ни пороха, ни шпаг не принимают, и остается, стало быть, одно: пренебрежение всему, что говорят, где говорят и как говорят? Прекрасно! Но тогда какая же вернейшая тактика класть хранение устам людским, как не молчание?.. Одно оно, оно, святое молчание, иже ни в чем ответ, оно источник сосредоточивающейся в себе мудрости, оно только еще и может что-нибудь здесь, где уже ничего не может сделать никакое слово и никакое убеждение.

Для подкрепления слов наших живым примером расскажем два самые свежие случая, до чего доводят русских литераторов усвоенные ими полемические приемы.

Первый из недавних случаев к неистовой полемике подали бывшие некогда именитые сотрудники именитого в свою очередь «Современника», гг. Антонович и Жуковский. Они издали книжку, в которой сильно охуждали нрав и убеждения г. Некрасова, вычисляли различные вины его против Белинского и других его сотрудников и намекали на сношения г. Некрасова с влиятельными людьми, — сношения, по мнению гг. Антоновича и Жуковского, вероятно непристойные для редактора такого журнала, каков был «Современник». Тут же, в этой книжечке, авторы коснулись и г. Елисеева и вывели на чистую воду, о чем с ними говаривал в былые времена г. Слепцов. Кстати, при этом гг. Антонович и Жуковский напомнили здесь, как водится, нечто и о рублях и этим финалом дали другим досужим людям повод к истолкованиям мотивов, которые двигали гг. Антоновичем и Жуковским к сочинению и изданию их вполне неодобрительной и притом очень дурно и бестактно написанной

книги. О деле этом до сих пор поговорили почти все газеты, и гг. Антоновича с Жуковским особенно не похвалили за их странный поступок. Книжка этих писателей, как мы сказали, в самом деле написана даже без уменья писать, — авторы как будто разучились и в этом. Кроме того, имен, обруганных в этой книжонке кстати и некстати, несть числа, и за что они здесь обруганы, тоже неведомо. Это делает книжку каким-то скучным поминаньем, а затем в ней всё личные, никому не интересные счеты. Общее впечатление, какое эта книжонка произвела в обществе, для авторов, вероятно, было нелестно. Всякий мало-мальски порядочный человек видел в пасквиле гг. Антоновича и Жуковского самую оскорбительную непорядочность, ибо понятно, что порядочные люди могут делать дело вместе и потом разойтись, могут порядочные люди разладить и во взглядах и в убеждениях и не только перестать любить один другого, а даже возненавидеть друг друга, но чтобы они, разойдясь, выводили на общественное позорище то, что, кто у кого в прежних отношениях видел на столе или о чем друг с другом говорил по-приятельски, — этого порядочные люди позволять себе не могут. Гг. Жуковский и Антонович очевидно пренебрегли этим правилом, и это им поставлено на вид всеми излагавшими свое суждение об их странном поступке. Нет сомнения, что авторы очень много повредили себе этою книжкою. Можно думать, что они могли сказать нечто очень веское вдобавок к тому, что разновременно говорилось об их врагах, но недостаток такта и чувства меры увлек их, и они своею книжкою сделали просто *проступок против нравственности,* за который и наказаны единогласным осуждением их.

Но недостойное дело, которому всего приличнее было бы тем и заключиться, однако, так не окончилось. Гг. Антонович с Жуковским убеждали общество, что люди, оставшиеся при г. Некрасове после их отхода, *«гроша не стоят»,* а г. Елисеев (сотрудник нынешних «Отечественных записок») ответил этим своим бывшим собратам, что *«за них грош дать еще можно»,* и так как статья г. Елисеева написана хорошо и уж во всяком

случае несравненно умнее, последовательнее и строже, чем полная раздраженных метаний книжечка Антоновича и Жуковского, то теперь последнее слово осталось за г. Елисеевым, и публика оповещена, что гг. Антонович и Жуковский промахнулись, променяв г. Некрасова на Тиблена, и недовольны, что «Отечественные записки» идут теперь без их подспорья, но что, однако же, сотрудники нынешних «Отечественных записок» находят, что за гг. Антоновича и Жуковского «грош дать все-таки можно».

Теперь, благодаря тому, что ни один орган, вероятно, не может предложить гг. Антоновичу и Жуковскому таких огромных районов, какие им, судя по их прежним полемическим статьям, необходимы для того, чтобы вести свои препирательства, плодотворный спор этот, вероятно, на этом и замолкнет. Но, не будь этого обстоятельства, были бы, конечно, исписаны еще целые стопы бумаги о том, за кого «можно дать грош» и кто «гроша не стоит». И кто был бы виновником этого спора, в котором дошло бы до выворачивания снов, а не только до воскрешения старых памятей? Вся, конечно, вина в этом пала бы, разумеется, на г. Елисеева, удостоившего ответа нелепую выходку гг. Антоновича и Жуковского. На подобные вещи один благоразумный ответ: *молчание*.

Второй случай еще характернее, и притом как этот случай еще в полном своем развитии, то он невесть чем и заключится.

Здесь вначале спор было пошел совсем ученый, и пошел по-человечески. Люди не соглашались во взглядах и мнениях: г. Катков, как известно, поддерживает так называемое классическое образование, а г. Стасюлевич (редактор «Вестника Европы») взялся стоять за реальное. Стояли они довольно долго друг против друга, издали лишь потачивая один на другого свои шпоры, как вдруг роковой случай, и они сразились. В одном английском журнале была статейка, в которой доводилось, что классическое образование *применимо не для*

всех. В «Вестнике Европы» стали приводить эту статью и кстати при этом выправили ее немножко так, что вышло, будто классическое образование совсем ни для кого не удобно. Г-н Катков изловил г. Стасюлевича на этой вольности в передаче чужих слов и, распространившись о деле образования, самый английский журнал, из которого была заимствована исправленная «Вестником Европы» статья, назвал уничижительным именем «журнальчика». Г-н Стасюлевич отвечал г. Каткову с заметною неловкостию, но зато с своей стороны изловил московского редактора, что «журнальчик», о котором тот в этом споре отнесся неуважительно, в прежнее время встречал в журнале г. Каткова почтенные отзывы. Г-н Катков ничем не опроверг этого, и г. Стасюлевичу так и удалось оставить на г. Каткове некий покор в том, что у него к одному случаю одно и то же издание титулуется с почетом, а к другому то же издание рядится в затрапезную кличку. Как гг. Катков и Стасюлевич продолжали спорить о самом деле, то есть о преимуществах той или другой образовательной системы, того касаться не будем. Один доказывал свое, другой свое, но вдруг оба сорвались с вопроса и повели речь совсем о постороннем. Г-н Стасюлевич в одной из своих последних статей по этому вопросу, неведомо с какого повода, напечатал нечто совершенно неуместное. Он стал в этой статье сопоставлять стояние г. Каткова за классицизм с тем, что им, г. Катковым, и г. Леонтьевым в Москве основан классический лицей, в котором определено брать по 900 р. в год за воспитанника... Этим как будто бы выяснилась вся *тайна* стояния «Русского вестника» и «Московских ведомостей» за классицизм...

Ответ на эту во всяком случае нелитературную выходку был легок и прост. На устах каждого, кто прочел такой подход г. Стасюлевича к классицизму г. Каткова, вертелось: «А разве не мог Катков завести для своих выгод реального училища, если у него о том только шло дело, чтобы собирать девятьсот рублей за ученье?»

Ответ этот был у всех, и касательствам к искренности г. Каткова в деле образования в обществе не придавали решительно никакого веского значения, как вдруг

г. Каткова обходит какой-то злейший его враг, и московский редактор с размаха палит оглушительный и безобразный выстрел в лужу.

Некто Б. М., личность, очевидно проживающая в Петербурге и не чуждая литературного мира и его сплетен, прислала г. Каткову статью своего приготовления. В этой статье, написанной тоже à la г. Антонович, без такта, без силы и без сдержанности, г. Б. М. ни более ни менее как *вступается за г. Каткова в его же, г. Каткова, газете*. Но и это бы еще пола-горя; но услужливый медведь г. Каткова нашел еще более увесистый булыжник: для того чтобы согнать муху со лба своего друга, он пустил в его газету такой самый снаряд, какой был вложен г. Стасюлевичем в статью «Вестника Европы». Одобрив убеждения, планы и искренность гг. Каткова и Леонтьева, г. Б. М. говорит, что г. Стасюлевич совсем не таков, что у него вовсе нет похвальных качеств г. Каткова, и его, г. Стасюлевича, в споре о науке скорее есть основания заподозревать в неискренности, потому что он сердится на учебное ведомство за то, что раз его с профессорской кафедры смыло, а в другой он на нее метил, да не попал. Притом г. Б. М. рекомендовал обратить внимание на то, что фамилия редактора «Вестника Европы» кончается на *ич*, а в журнале он помещает статьи, в которых сквозит желание, чтобы Россия была лишена высшего образования. А мало всего этого, так он, г. Б. М., указывает, что г. Стасюлевич еще держит в *ленном владении* такие влиятельные органы, как «Петербургские ведомости» и солидарные с этою почтенною газетою журнал «Дело» и журнальчик «Неделю» (очень ничтожную газетку, ныне запрещенную на три месяца и, как слышно, уже совсем прекратившуюся).

Таким образом, как мы видим, разговор, начатый о системах образования, сведен мало-помалу ко вскрытию тайных побуждений г. Каткова и неявных действий г. Стасюлевича. Поводом к начатию спора была перефразировка статьи, а в числе средств, при содействии которых весь ученый спор этот достиг нынешней своей зрелости, оказались сначала со стороны г. Стасюлевича,

а потом со стороны сотрудника г. Каткова сведения, собранные, что называется, «под рукою».

Одним словом, полемика эта снова доведена до степеней самых низменных, но и всему этому еще не конец, всему этому суждено идти еще дальше.

Только что нелепая выходка г. Б. М. появилась, г. Стасюлевич ею тотчас обиделся и напечатал в «Петербургских ведомостях» письмо, в котором, между прочим, по поводу окончания своей фамилии на *ич* сказал, что он тому не виноват, что по этому-де судить о направлении человека не следует и что может быть-де, что и автор напечатанной г. Катковым статьи, скрывающийся под буквами Б. М., называется *Болеславом* или другим каким не православным именем и сам имеет фамилию, кончающуюся на *ич*.

Кто хотя мало-мальски знаком с литературным миром, тому тотчас становилось понятно, в чей огород бросал г. Стасюлевич свой камушек. Здесь в Петербурге, как только прочли в «Современ⟨ной⟩ летописи» г. Каткова сказанную статейку, подписанную буквами Б. М., так сейчас же по разным то льстивым, то наглым приемам и особенно по совершенно типичному языку, который можно назвать развязно кадетским, или барчуковским, или, — принимая название, данное этому языку Л. Н. Толстым, — языком «ерническим», назвали автора без затруднений. Здесь нимало не удивлялись, что известный человек написал и имел неделикатность послать эту льстивую и в других отношениях предосудительную статью редакторам «Московских ведомостей», но все были безмерно удивлены, как редакторы «Московских ведомостей» эту статью напечатали! Как бы кто с какими чувствами ни привык относиться к изданиям г. Каткова, всяк все-таки усвоил себе привычку видеть, что издания эти не манкируют уважением к печатному слову, и... вдруг позволить самих себя расхвалить в своей газете, а противника, который, положим, сам первый перешел к личностям, отделать на все стороны, объявляя его стоящим во главе центрального управления тремя органами, в которых патриотические русские вопросы встречают обыкновенно непатриотическое

разрешение. «Петербургские ведомости» вопиют, что это *донос*... Мы давно слышим в литературе это нелитературное слово, давно у нас называют доносами и статьи, и повести, и критики, и даже объемистые романы; но имеем свой взгляд на эти доносы, по которым никого не берут, не судят, не вяжут и не могут ни брать, ни вязать, ни судить. Когда-нибудь в другое время мы поговорим и об этих доносах, и о доносчиках, в которые у нас, между прочим, зауряд попали все более известные современные романисты, начиная гг. Тургеневым и Гончаровым и заканчивая гг. Крестовским и Клюшниковым, а теперь не будем отрываться от нашего рассказа. Г-н Б. М., рассуждая в своей статье о доносах, сказал, что он не признает литературных доносов, потому что что́ то за донос, что не на ухо нашептывается, а передается посредством печати вслух всему миру? Г-н Б. М. написал, что г. Стасюлев*ич* держит в своих руках, кроме «Вестника Европы», еще «Петербургские ведомости», «Дело» и «Неделю», а г. Стасюлевич ответил, что это неправда, и почему ж теперь этой неправде непременно должно называться «доносом», а не враньем, не сплетнею и не каким-нибудь другим подобным более ей приличным именем? — Г-н Стасюлевич может почивать спокойно: никто его среди ночи по поводу статьи г. Б. М. не потревожит, да и г. Б. М. может тоже не тревожиться: он никого не погубил, ибо истинная цена слов его везде обозначена ясно. Все в этом видят ни больше, ни меньше, как *порядок вещей:* заговорили два русские ученые о деле, перешли к личностям и, наконец, оба приняли к своим услугам сплетню. — Дело обыкновенное.

Русская поговорка гласит: «Что пойдет по рукам, то будет и в песьих зубах».

По общему закону судеб, как барынино платье донашивается ее служанкою, так и вопросы, на которых столкнулись лица более крупные, *дорешаются,* так сказать, людцами более маленькими, и гг. Катков и Леонтьев после пересмотра их совести «Вестником Европы» поступили на суд таких петербургских судей, пе-

ред которыми не оправдится всяк живый. От этих теперь московские редакторы получают окончательную отделку.

В ряду этих беззаветных писателей в своем роде видное место занимает некто, пишущий в «Петербургских ведомостях» под именем *«Незнакомца»*. Этот писатель давно уже и сам ощущает свое значение и в своих фельетонах беззастенчиво говорит: «Этого даже *я* не могу», или «на это даже *я* не решуся». Мы упоминаем об этом, конечно, вовсе не в укоризну ему, а говорим потому, что упомянутый писатель в известном жанре действительно достиг замечательного совершенства и своею беззастенчивою смелостию и развязностию должен возбуждать зависть в плетущейся за ним ватажке его последователей и подражателей... Не говоря ни слова о достоинствах его стиля, его манеры и о проявляемых им способностях и талантах, мы должны сказать, что одна его неустрашимость составляет уже нечто выходящее вон из уровня. Он ни перед чем ни останавливается; всех тормошит: и актеров, и писателей, и режиссеров, и танцовщиц, и генералов, и докторов, и дам, и никого не боится. Страха в нем нет ни следа. Коснулся он как-то чересчур близко г-жи Лядовой, ему за это сделали некоторые замечания, — он извинился. Но спустил немножко, и опять за свое. Ему кто-то чем-то погрозился в анонимном письме. Он даже вовсе не скрыл этого и показал, что он вполне пренебрегает угрозами. «Что же такое, — говорил он. — Будет убийство в Бассейной улице» (здесь, верно, этот писатель живет). Это ему решительно ничего: пусть убьют, а уж он если за что взялся, не бросит. Ему и опять кто-то еще чем-то грозился, а романист Крестовский за подтруниванье над его фантазиею поступить в уланы даже обещал прямо *воздействовать* на г. *Незнакомца,* но, верно, потом раздумал. Таков уж русский человек: сгоряча погрозится, а там и сбрендит, и выйдет по пословице: «В храбром уборе, да без храбрости». Но как бы там ни было и почему бы то ни было, только не слыхать, чтобы г. Крестовский «воздействовал» на г. *Незнакомца,* как сулил ему.

Их мундиры, их султаны,
Сабли, каски, доломаны

скрылись, а г. *Незнакомец* по-прежнему продолжает свое служение обществу и от времени до времени уделяет даже немалую часть своего внимания г. Крестовскому, высказываясь о нем по-прежнему в том же малопочтительном духе, который вызывал со стороны последнего обет *воздействия*.

Этому же бесстрашнейшему человеку попались, наконец, в руки злополучные московские редакторы, гг. Катков и Леонтьев! — Ужасный *Незнакомец* взял солидных людей в свою приспешную и накрошил из них вот какую окрошку.

Г-н *Незнакомец* написал фельетон *о собаках* и в нем-то и решился отделать московских редакторов под одну стать с собаками, «которые спят в конурах и которые спят на подушках». Так как здесь и прием, и смысл речи, и все ее переходы имеют неоспоримейшие достоинства непосредственной оригинальности, то мы немножко познакомим наших читателей с этим последним произведением писателя, вносящего в газету нечто действительно неподражаемое и самобытное.

Г. *Незнакомец* прямо в первых двух строках фельетона объявляет, что «нынешний раз мы сначала будем беседовать о собаках» и, сказав несколько слов о собачьих натурах, упоминает, что «есть собаки двуногие», добирается, что значит, когда собаки лают, виляют хвостами и лижутся, и говорит:

На основании этих известных признаков можно бы построить целую диссертацию, но с тех пор, как г. Леонтьев, соратник г. Каткова, объявил, что диссертации пишутся только людьми недобросовестными, добросовестные же люди, как он, г. Леонтьев, получают ученые степени за передовые статьи в «Московских ведомостях» и за ведение счетоводства у г. Каткова, с этих пор *даже я* не решусь сочинять диссертацию; а потому займемся безразлично собаками вообще, не касаясь подробностей и не обозначая, к какой породе они принадлежат.

И вот, поговорив о собаках у садков и о собаке, которая кого-то испугала, а потом о режиссере Яблочкине (этом новом злополучном bête noire[1] наших фельето-

[1] Пугало *(франц.)*.

нистов) и о пожарном солдате, который, по мнению г. *Незнакомца,* совершенно мог бы заменить режиссера Яблочкина, г. *Незнакомец* снова увидал удобный случай сделать переход к гг. Каткову и Леонтьеву. Он говорит (о режиссерстве пожарного солдата)

что для всего этого мудрости особенной не требуется, и на нее хватит как г. Яблочкина, так и всякого пожарного. Да что? Нынче и не на такие дела мудрости особенной не требуется.

Г-н Леонтьев, профессор Московского университета и сотоварищ г. Каткова, человек, кажется, совсем не мудреный, а управляет тремя редакциями и лицеем. Мало того. Совет университета соглашается на различные его предложения, очевидно вызванные экономическими соображениями сего знаменитого классика, который, впрочем, творений никаких, вероятно, не оставит. Г-н Иванов, которого он предложил в экстраординарные профессоры и который не написал ни одного сочинения «по крайней добросовестности», как выразился г. Леонтьев, дает уроки в лицее; повысив его в экстраординарные профессоры, г. Леонтьев «по крайней своей добросовестности» вознаградит своего учителя. Хорошо и дешево.

Я знаю, что г. Б. М., который выдумал, что «С.-Петербургские ведомости», «Неделя» и «Дело» находятся в «личном владении» у г. Стасюлевича, напишет панегирик бескорыстию гг. Каткова и Леонтьева, а гг. Катков и Леонтьев, «по крайней своей добросовестности», напечатают его в одном из своих органов. Г-н Б. М. распространится, как распространился уже он в «Современной летописи», «о безвозвратных пожертвованиях деньгами и тяжком безвозмездном труде» гг. Каткова и Леонтьева, учредивших лицей будто бы единственно для славы России, не заботясь о своих карманных интересах, хотя 900 руб. годичной платы за воспитанника пойдут, несомненно, в общую кассу бескорыстных редакторов «Московских ведомостей».

Г-н *Незнакомец* трактует г. Б. М. очень невысоко и говорит:

Он развлекает своих господ Леонтьева и Каткова подьяческими шуточками вроде: «едет чижик в лодочке в генеральском чине, не выпить ли водочки по этой причине». Господа смеются, а г. Б. М. рад: почему же господа смеются? По легкомыслию, конечно, не подозревая, что «чижики в генеральском чине» суть не кто иные, как гг. Катков и Леонтьев, а «лодочка», на которой они едут, «Московские ведомости»; их лакеи и камердинеры, «по этой причине», пьют водочку и напиваются до того, что теряют разум, пишут панегирики доносам и отождествляют редакцию «Московских ведомостей» с министерством народного просвещения. Г-н Б. М. прямо говорит, что тот, «кто считает редакторов «Московских ведомостей» злыми обскурантами и гасильниками светлых педагогических идей, несомненно должен считать таковым же и нынешнее управление народного просвещения». Вот они каковы, эти «чижики в генеральском

чине», вечно отождествляющие себя то с целою Россиею, то с разными ведомствами. Самолюбие поистине громадное, хоть и не приставшее чижикам в генеральском чине, которые привлекают к себе не пением, а «щелканьем», как настоящие чижи, и, как настоящие же чижи, выбирают для своего щелканья вершины леса, как места совершенно безопасные. Настоящие чижи отличаются ловким устройством своих гнезд; чижи в генеральском чине тоже прекрасно устроили свое гнездо из веточек «Московских ведомостей», мха классического лицея, прутиков «Русского вестника» и лишаев Московского университета. Настоящий чиж совершенно особенным образом порхает перед самкою, как будто не может летать как следует. Чижи в генеральском чине тоже подобным образом порхать умеют, в особенности г. Леонтьев, порхающий перед университетом, профессоров которого он хочет приручить к своему лицею. Быть может, найдутся читатели, которые, по добросердечию, в самом деле поверят, что этим чижам в генеральском чине плохо, что они «безвозвратно тратят деньги» и поднимают «тяжкие безмездные труды». Таким читателям я повторю слова Брема, сказанные им о чижах настоящих: «Чижи, прилетающие зимою на дворы, далеко не так достойны сожаления, как думают некоторые нежные души, потому что чижам очень хорошо». Смею уверить, что и чижам в генеральском чине очень хорошо, и это блаженное состояние их продлится до тех пор, пока общественное равнодушие не пробьет дыры в их лодочке и не снимет с них генеральского чина.

В заключение же этого совета разжаловать гг. Каткова и Леонтьева из генералов в чижи, г. *Незнакомец* обращается с сожалением к тем, кто имеет имена и фамилии, выдающие не совсем русское происхождение, и употребляет тут следующее коварство:

Ах, г. Б. М., — говорит он, — хорошо вам говорить это, а каково-то это слушать таким благонамеренным гражданам, как г. *Болеслав Маркевич,* который, правда, поместил в прошлом году «Типы прошлого» в «Русском вестнике» и таким образом застраховал себя, по-видимому, от нападок «Московских ведомостей»; но кто знает, надолго ли продлится их милость?..

Вот, что называется, договорились и до шишки на носу тунисского бея и мало-помалу наведениями да сопоставлениями сблизили таинственные Б. М. с г. *Болеславом Маркевичем,* которого фамилия точно так же кончается на *ич,* как и фамилия г. Стасюлевича, и у которого вдобавок такое нескромное польское имя! Но и этого мало: вывели, что некая слабая повестца, которая напечатана в «Русском вестнике» 1868 года под заглавием «Типы прошлого», написана вовсе не г. Лесницыным (как значится в журнале), а тем же *Болеславом Маркевичем*... То есть, что г. Лесницын, подписавший

«Типы прошлого», вовсе не Лесницын, а, вероятно, псевдоним того же *польского человека Болеслава Маркевича*... «Маску долой!» Как некогда говорил г. Зайцев, так и г. *Незнакомец* тоже не дает маха и, срывая маски, действительно обнаруживает совершенные неожиданности! Поляки в «Русском вестнике»!.. Это страшно, это неистово, это ужасно, и больше всего... это смешно!.. Человек с фамилиею на *ич,* ратующий против фамилий, имеющих такое окончание; поляк, заведомо проникающий в «Русский вестник» и «Московские ведомости» под русским флагом; и потом вся эта родовая польская тонкость и способность к интриге, опростоволосившаяся до того, что ее изловили, выпотрошили, вывернули с лица наизнанку и поставили на горох на пугало, — и все это самым бесхитростным образом!.. Это черт знает как смешно! Что придумал, на что надеялся этот многонаивный польский человек Б. М., выставляя две начальные буквы своего имени? Он надеялся, что так он двум-трем лицам благонамеренно ткнет эту статейку и проворкует: «Это... эти Б. М. — это я, ваше сиятельство», а литературщики-де до имени моего не доберутся и не назовут меня, потому что не смеют. Бедный, бедный польский человек! Есть что сметь! Вот пусть-ка он теперь поведается с г. *Незнакомцем* и пошлет к нему доверенного, или... ну, да пусть, что хочет, делает, а только, наверное, не сделает ничего. *Незнакомец* же что захотел, то и расславил. Соединением усилий его труда, тайных разведок и таланта гг. Катков, Леонтьев, Б. М. и особенно бедный польский человек *Болеслав Маркевич,* пробравшийся в «Русский вестник» под именем *Лесницына,* — все они находятся теперь в прекомическом положении и должны иметь честь раскланиваться за это с своим таинственным Б. М. — Умен, тактичен, сведущ и талантлив!

Дело на сем пока кончено и рассказано вам, читатель, так, как оно было. Теперь потрудитесь сами себе ответить, насколько вся эта баталия убеждает вас в превосходствах классического образования, отстаиваемого г. Катковым, перед несовершенствами образования реального, защищаемого г. Стасюлевичем?

РУССКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗАМЕТКИ

Каждому, конечно, известна пословица: «На волка слава, а овец таскает Савва», и другая: «Чему посмеешься, тому поработаешь», но едва ли всякий поручится, что, зная первую пословицу, он по второй не поработал тому самому, над чем издевался. Дел, в которых легко наблюдать это, целая бездна, и больших, и малых, и частных, и имеющих значение вполне общественное. Не только частный человек сплошь и рядом укоряет ближнего в том, чему сам со всеусердием работает, но и целые сословия нередко упрекают друг друга в том, в чем они не имеют одно перед другим никаких преимуществ. Даже один век нередко посмеивается над другим, вовсе не замечая, что и его дни в известном смысле не лучше дней отошедшего века. Упивающийся ценным вином и проводящий непотребную жизнь барин не смущаясь разглагольствует о пьянстве и разврате народа и требует для него «узду с гремушками да бич»; ханжа, преследующий ближнего своего судебным порядком за недоплаченный грош, бестрепетно подходит к алтарю и читает: «остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим», и гремит против безверия века; празднолюбец упрекает всех в лености; грабитель корит других за корыстолюбие, и т. д., и т. д. Всего этого не перечтешь и не перечислишь, но что всего в этом замечательнее —

это то, что такие несообразности делаются не холодно, не сознательно, не *по-фарисейски,* а довольно искренно. Люди, по своему легкомыслию и страсти к осуждению, даже как бы и не замечают того, о чем лепечут, и потому не видят своей работы в пользу того самого, над чем глумятся и издеваются.

В не очень давнее время, именно во дни, предшествовавшие освобождению помещичьих крестьян от крепостного состояния, был явлен весьма крупный и внушающий пример такой неправой укоризны, поддерживаемый друг против друга целыми сословиями. В те дни,

Когда был в моде трубочист,
А генералы гнули выю,
Когда стремился гимназист
Преобразовывать Россию.

подвергалось жесточайшей опале дворянство. Сословию этому были позабыты все его заслуги и строго сосчитаны все его преступления и вины. В главнейшую вину дворянству вменялось его крепостничество — его «владение *крещеною собственностию*». Под дворян подкапывались все, не исключая купечества и даже духовенства, одного из представителей которого покойный граф М. Н. Муравьев остановил от такого труда самым энергичным образом. Малообразованное и вообще неповинное в знании отечественной истории общество русское сочувствовало и чуть не рукоплескало таким нападкам на рабовладельчество дворян, что, конечно, весьма понятно; но странно, что во все это время никому не пришло в голову, что у нас отнюдь не одни же дворяне повинны в недостойном рабовладельчестве, что у нас точно так же, как поместные дворяне, владели крепостными людьми и купцы, и духовенство, и чиновники, приписывавшие «своих людей» к городским домам и к капиталам, и даже однодворцы, которые и по своему воспитанию и по образованию, и по образу жизни были такие же крестьяне, как и та «крещеная собственность», которою они владели на всех помещичьих привилегиях. Этого у нас словно не знали, да, кажется, и в самом деле очень многие не знали,

несмотря на то, что отобрание крестьян от однодворцев происходило на живой памяти живущего поколения, которое еще не признает себя старым. Не вспомянуто было ни однажды и того, что все разночинные рабовладельцы освободили своих крестьян *по указу*, а (как бы там ни было) не по доброй воле, и освободили их без земли, в полную бесприютность, а некоторые даже (однодворцы) прямо на высылку на Кавказ и на Мангишлакский полуостров.

«Московские ведомости» недавно выразили ту мысль, что нашему обществу небесполезно еще высказывать и повторять самые общеизвестные истины, — это можно принять и развить гораздо далее: для очень многих людей нашего общества, претендующих на звание людей образованных, действительно совершенно впору и в пользу было бы, если им под видом новостей сообщать в современных изданиях рассказы из русской истории и даже из истории священной, так как у нас очень многие воспитанные люди делают непростительные промахи даже против последней, заключаемой преподаванием во втором классе гимназии.[1]

С тою же основательностью, с какою нападает человек на человека, или сословие на сословие, или даже нация на нацию, нападает даже и одно время на другое. Не вдаваясь в сопоставление многообразных и многоразличных нелепиц в этом роде (в чем невозможно встретить никакого недостатка), укажем на один пример, черпаемый не из истории, а из живого факта, и притом приводимый не нами, а другим лицом, для нас совершенно посторонним, но имеющим свое достойное общественное положение и притом высказавшим совершенную истину.

На сих днях в С.-Петербургской судебной палате разбиралось дело по обвинению некоего издателя Ща-

---

[1] Доказательства такого прискорбного невежества бездна, и к числу их, конечно, должно отнести довольно всеобщее убеждение, что северо-западный край России есть земля польская, или куриозное недоумение многих, откуда взял г. Серов *ветулийскую жену* (Юдифь). *(Прим. автора.)*

пова в издании писем Луи Блана об Англии. (Отчет по этому делу и защитительная речь присяжного поверенного г. Спасовича, к которой мы хотим обратиться, на этой неделе уже были напечатаны в нашей газете.) Обвинение было весьма сложное и, как суд признал, весьма неосновательное; но этому всему уже было свое время и свое место. Здесь мы упомянем только, что на судоговорении по этому делу даровитый защитник обвиненного и его интересов нашел возможность убедить всех, что в словах Луи Блана о том, что «две тысячи лет как искупитель пришел, а искупление еще не совершилось», нет ничего противного истине, так как две трети человеческого рода еще не исповедуют Христа, да и из исповедующих его великое большинство исповедует христианство лишь одними устами, а сердцем отстоит от него далече. Это казалось как бы *новостью!* Век наш похваляется ясностию взгляда и гуманностию, а между тем на деле на его очах лежит своя слепота, на душе его своя алчность и злопомнение, на сердце жестокость, в обычаях лукавство, возводимое даже на степень науки (дипломатия), в крови месть, и месть злостнейшая всякой вендеты уже не по тому одному, что она даже не удовлетворяется никаким отмщением, но потому, что она живет не чувством нанесенной нестерпимой обиды, а позорным чувством нетерпимости к чужому мнению, несогласному с нашим мнением.

В этом отношении XIX век (в нашем отечестве) не лучше многих пережитых Россиею веков, а очень многих положительно хуже, и кичение ему поистине не довлеет.

Среди наилучших учреждений, каких страна наша до сих пор никогда не имела и которые ныне имеет, общество упорно отказывается дать свидетельство своей толерантности по отношению к людскому разномыслию, разночувствию и разностремлению, а в то же время само в собирательном составе своем не обнаруживает, чтобы оно опиралось на твердой почве самостоятельных мнений, и в несогласном шуме своем напоминает лишь ветром колеблемые трости.

Во всяком случае все это знамение не той высокой цивилизации и не того гуманного развития, которые позволяли бы нашему веку кичиться его кичением. Путь

предстоящего нам развития еще очень велик, и задачи, предлежащие обществу к разрешению в духе, благодеющем преуспеянию человечества, многи.

Один из современных наших беллетристов печатает в настоящее время в одном из журналов роман, который называется «Панургово стадо». В этом «Панурговом стаде» автор изображает наше общество с его стадными склонностями метаться из стороны в сторону. Задача этого романа и даже самое его заглавие, конечно, очень нелестно для общества, которое дало автору для такого сочинения типы и мотивы, но, по пословице, «нечего пенять на зеркало, когда лицо криво».

С тех пор как мы имеем гласные суды, в них уже разобрано немало литературных процессов; но никогда процессов этого рода не скоплялось одновременно столько, сколько собралось их в настоящее время. В газетах опубликован целый длинный ряд дел о литераторах, обвинения которых будут рассматриваться одно вслед за другим.

По настоящему судя, нет, конечно, в этом ничего дивного и ничего странного: мир велик, и, живучи с людьми, на всех не угодишь, а народная мудрость завещевает человеку не зарекаться ни от сумы, ни от тюрьмы, а тем паче от суда человеческого. Суд не обида, обида — бессудье, а в силу того суд и не укоризна тому, кто к нему привлекается. Так на это дело смотрят во всех странах мира, и так же точно смотрят на это и у нас по отношению ко всем людям, кроме людей литературных. Тут общество относится к делу несколько иначе, и едва ли относится правильно.

Общество наше хотя и не видит в литературных процессах прямого бесчестья для привлеченных к суду литераторов и жадно устремляется наполнять судебные залы при разбирательстве литературных процессов, но оно все-таки усматривает в этих судбищах нечто компрометирующее литературную среду; нечто низводящее ее в обыденную, низменную сферу; нечто роняю-

щее литераторов в общественном мнении и, так сказать, вменяющее их со *беззаконными,* для которых в залах судилищ утверждена скамья подсудимых.

Если бы сторонний нам чужеземец, не знающий всех сформировавшихся и окрепших отношений нашего общества к литературе и литературы к обществу, наблюдал только один приведенный нами взгляд без всякой связи с иными явлениями, то он, без сомнения, имел бы право заключить, что литературные занятия нигде так высоко не чтимы, как в России, и что общество наше ревниво дорожит репутациею своих писателей и считает их людьми, которые стоят

Превыше мира и страстей.

Повторяем: чужеземец был бы совершенно прав, придя к такому выводу; но мы, «судьбину испытавшие себе на тягостную часть», мы, увы! должны чувствовать и умозаключать иначе.

Мы положительно можем сказать, что ни особой любви, ни особенного внимания в русском обществе к русской литературе и русским литераторам нет. По крайней мере, нет их далеко в той степени, в какой пользуются ими у своих соотечественников литераторы английские, французские, немецкие и польские.

Доказательств этому бездна, и на некоторые из них литература наша указывала. Так, было, например, говорено о том воодушевляющем сочувствии, которое недавно английское общество выразило Чарльзу Диккенсу при его отъезде в Америку, где он читал свои произведения. Указываемо было не раз на внимание публики иностранной и к другим писателям относительно меньшего значения, как, например, на симпатии французов к Виктору Гюго или немцев к Бертольду Ауэрбаху. Было тысячекратно заявляемо о горячих чувствах к личностям, которых и вовсе нельзя ставить наряду с упомянутыми именами, но которые, однако же, все-таки обращали на себя внимание своего общества: таковы, например, Рошфор, Шпильгаген и др. Все эти писатели действительно могут сказать, что они пользуются вниманием своей страны. В одном из наших журналов

как-то было с тщанием рассказано о том, с каким вниманием германское общество следит за каждым маленьким своим писателем, добросовестно отмечая ему всякое усовершенствование в его трудах и таланте. Так у опередивших нас по старшинству цивилизации народов не пропадают, не забиваются и не гибнут безвременно никакие силы, а все идет впрок, все складывается в общую корванну, — и червонец богача по силам и лепта литературной вдовицы. Если обратимся к своим братьям славянам, то у них увидим даже крайность превознесения, равную разве лишь нашей крайности угнетения сил и принижения русских талантов. Отношения чехов и моравов к своим народным писателям почти священные. Злословие писателя здесь так же редко, как у нас доброе слово о пишущем человеке. Поляки тоже отменно дорожат своими литературными деятелями, и это относится не к одному Мицкевичу, или даже к Красинскому, Вицентию Полю, или Сырокомле, Корженевскому, или Крашевскому; но это идет до Викентия Каратыньского и других подобных последнему писателей, ему же равных по силам и дарованиям у нас легион писателей, захаянных и изруганных всеми ругательствами. В странах, на которые мы сослались, так же как и у нас, помимо таланта автора ценится и принимается в расчет симпатичность или антипатичность его направления, и там, как и у нас, ни один писатель не угождает на все вкусы и не рабствует всем направлениям, но это несогласие автора с тем или другим кружком, с тем или другим «веянием» (как выражался покойный Григорьев), не вменяются человеку в бесчестие, дающее право взводить на него были и небылицы, даже злостные и позорные клеветы, для того только, чтобы таким достойным способом вредить ему в общественном мнении, уже не только как писателю, но даже как гражданину и человеку. В английском обществе есть очень много людей, весьма недружелюбно относящихся к деятельности Диккенса, недовольных Байроном было еще более; у Виктора Гюго тоже немало недоброжелателей во Франции, а у Лагероньера их еще более; Иосиф Фрич в последние годы нажил себе своим русофобством очень много врагов между чехами; в Галичине за многое начинают строго

укорять Шевченко и еще более Кулиша, а в Польше одно время с большою враждебностью относились к Корженевскому, но во все эти времена ни против одного из этих людей, ни прямо, ни не подсудным, но нравственно ответственным для честного человека намеком, не высказано миллионной доли того, что и тем и другим способом наговорено у нас писателями одной партии на писателей другой, в чем, разумеется, прежде всего должно видеть на одной стороне следы исторически развитого понимания и деликатности иноземцев и знания ими границ свободы слова, а на другой — недостаток этого знания и этого понимания у нас в России.

На чем же держится и от чего зависит прямая разница таких отношений у нас и за границею?

Многие находят, что определенный ответ на такой вопрос невозможен, потому-де, что хотя и ясно, что деликатность тона и благопристойность литературных приемов держатся на более или менее высоком строе общественного развития, но, с другой стороны, самою возвышенностию этою данное общество не обязано ли своей литературе? Следовательно, тут будто бы не разберешь, кто виноват в низменном состоянии литературы. Напрасное и тщетное усложнение вопроса, который сам по себе прост и ясен как нельзя более. Воспитывающее или развивающее влияние литературы отвергать, без сомнения, нельзя; но действующие силы литературы, сами литераторы как члены своей гражданской семьи обязаны своим развитием обществу. Они суть кость от костей и плоть от плоти известного поколения своей страны и всегда чрезвычайно верно отражают в себе все общие черты добродетелей и пороков своего общества. Эпоха упадка в искусстве не совпадала ли с упадком нравов и развитием стремления к наслаждениям грубым и низменным? Экономическая наука принимает за аксиому, что *запрос развивает предложение,* и аксиома эта имеет полное приложение к настоящему случаю. Период времени с 1825 года до окончания Крымской войны принято считать наистесненнейшим периодом русской литературы.

В самом деле, как говорит Тургенев в своих воспоминаниях о Белинском, мы теперь не можем даже себе представить, что это было за тягостное время для литературы, но литература держалась во все это время великолепно. Помимо того, что страницы журналов тогда украшались именами талантливейших людей, каковы Пушкин, Лермонтов, Гоголь и другие, общее настроение литературного духа и взаимное общение, в котором развивались и совершенствовались тогдашние литераторы, не имеют ничего похожего с тем, что мы видим ныне. То действовали люди александровского времени, народившиеся после великого двенадцатого года и воспитавшиеся при одних обстоятельствах, а теперь действуют иные люди, родившиеся в иное время и воспитанные при иных обстоятельствах, но по всему, — решительно по всему: по нравам, по вкусам и по обычаю, — родные и свойственные своему поколению. Они предлагают то, что у них спрашивают, они говорят с обществом о том, что, по их наблюдениям, занимает общество, и даже говорят тем языком, который, по их соображениям, более идет и более нравится.

Приведем этому несколько доказательств:

У нас в России, в вышеобозначенный нами литературный период, очень много ценился так называемый *хороший слог*. В начале же нынешнего литературного периода общество стало пренебрегать этим; составилось странное мнение, что будто бы за достоинствами слога скрывается скудость содержания, и в доказательство этого приводились «обточенные периоды» Карамзина и тяжелый язык Шлоссера. Хотя известными трактатами «о хорошем и дурном слоге» и давно разрешено, что хороший слог вовсе не то, что фразистая шумиха слов, и что хороший слог почти всегда свидетельствует о гармонии строения мысли в голове писателя, достоинства слога были презрены, и явились писатели, которые до сих пор удивляют своим неумением писать ясно, не водянисто и сдержанно. Это, всеконечно, сделал низко павший общественный вкус. Ему предлагают то, чего он спрашивал.

Примеры другого рода: Диккенс, как всем ведомо, имел скандалезнейшую историю, по поводу которой он расстался с своею женою и остался в дружественных отношениях с ее сестрою. Дело получило полную огласку, но ни одно солидное английское издание не сказало об этом ни слова: здесь действовали и уважение к талантам Диккенса и, еще более, боязнь общественного мнения, которое восстало бы против каждого органа, соблазнившегося возможностью поругать любимого писателя, и отшвырнуло бы такой орган в запамет. Органы, враждебные Диккенсу, действовали с такою же осторожностию для того, чтобы не уронить себя в общественном мнении и не ославиться злорадцами. Недавно тот же Диккенс нескудно попировал с своими литературными приятелями в своем коттедже, и гости его, перепившись, подрались с медведем, причем сам Диккенс чуть было не лишился жизни, и опять мы не прочли в английских газетах по этому поводу никаких нападок на Диккенса и его друзей, а видели только одну радость, что Диккенс остался жив. Байрон умер в Миссолунги в 1824 году, и только ныне, через сорок пять лет после его смерти, г-жа Бичер-Стоу решилась описать одно из очень черных дел великого поэта, и... в Англии очень недовольны, зачем г-жа Бичер-Стоу это сделала!

Вот от чего зависит нравственная опрятность литературы или ее неряшество, ее деликатность или беззастенчивость по отношению к писателям. Где этого не любят в обществе, там этого не делают в литературе; а где в обществе кидаются, как у нас, на всякое злословие, там это злословие в литературе развивается до таких чудовищных и ужасающих размеров, до каких оно дошло у нас, где смело можно предлагать миллиардную премию за указание хотя одного имени не обруганного и даже не опозоренного литературного человека, и такого имени никто указать не в состоянии.

В обществе думают, что в этом виноваты сами литераторы, а в литературе основательно убеждены, что в этом виновато общество. По крайней мере несомненно, что держится это омерзительно гадкое злословие на общественном вкусе.

Было бы, однако, конечно, несправедливостью сказать, что таковы поголовно все вкусы; напротив, несомненно, что в нашем обществе есть своя доля людей, которым бесцеремонность отношений литераторов к литераторам надоела и даже оскорбляет их, и вот об этих-то людях здесь тоже приходится сказать два слова, так как между ними мы должны видеть современных друзей литературы и на них в известном смысле возлагать известные надежды, ибо они-де любят литературу.

Любовь и внимание, как и всякие чувства вообще, имеют свои видимые выражения, и по тому, каковы эти выражения, можно судить о самых чувствах. Дети, устами которых, по писанию, творец «совершает хвалу», в играх друг с другом говорят так: «я тебе подарю то-то и то-то, *а ты мне что подаришь?»* В этом возрасте уже есть понятие о такой комбинации, как взаимновознаграждение даже за подарки. Одна из героинь Бальзака или Жорж Занд говорит: «Да, я пожертвую свету своею любовью, моим счастьем, *а чем свет мне за это пожертвует?* Нет, — рассуждает она далее, — не за что ему приносить такой жертвы». Более или менее так судят и большинство людей.

Любовь к писателю выражается и вещественными и невещественными знаками. В Англии и во Франции произведения любимых писателей расходятся десятками тысяч, чего у нас не бывает, и вследствие этого во Франции какой-нибудь Сарду живет синьором, имеет дома, дачи, первых лошадей и первостатейное знакомство, тогда как любой наш писатель, ему же г-н Сарду недостоин по своему таланту разрешать ремня у ног, даже ни о чем подобном не грезит в самой дерзкой мечте своей, и умирает слава богу если так, как умер Лажечников, поручая детей своих милосердию государя (и то, заметьте, не общества, а государя!), а чаще же канает на госпитальной койке и хоронится в складчину. Известно, что литература у нас состоит из бедняков, питающихся впроголодь, и самые любимейшие из наших писателей стараются устраивать себя вне зависимости от одного литературного заработка.

Стало быть, вещественных доказательств так называемой любви к литературе и литераторам у нас чрезвычайно как мало и во всяком случае меньше, чем у всех других европейских народов.

Теперь посмотрим на невещественные выражения сочувствия и симпатии. Оказывается, что и этих не более, чем первых. Если у нас в настоящее время нет общих любимцев всей публики, то несомненно, что мы имеем писателей, которые пользуются заметным вниманием известных партий, но стоит любому памфлетисту, любому записному ругателю завтра же «обработать» писателя, которого произведение читалось вчера с несомненным сочувствием, — и этому станут улыбаться, и эта ругань станет повторяться на тысячи ладов: ее будут передавать и пересказывать как нечто достойное внимания и за нею станут забывать самое произведение.

«Да, NN черт знает что пишет, но как он забавно отделал того-то или того-то», — повторяют люди, вчера именно восхищавшиеся тем, о ком нынче прочитали площадное ругательство.

Не только оскорбительнейшие выходки против автора «Петербургских трущоб», жадно читанных в свое время нарасхват всею Россиею, но и всякие обиды, чинимые Тургеневу, Гончарову и Писемскому, — все это доставляет видимое удовольствие тем самым людям, которым авторы эти доставляли очень приятные минуты и которым даже, пожалуй, известно, что порицающие Тургенева, Гончарова и Писемского не имеют ни сотой доли дарований этих писателей, ни их прав на общественное внимание и почет.

Думают, что это *ничего,* что этим никому не вредят, что это-де только для смеха, — а этим много вредят литературе, этим удерживают и утверждают в ней тот жанр, в котором, например, составили себе известность два писателя, не устающие рассказывать, что им вздумается про всех и даже друг про друга о том, чтó из них один другому говорил, едучи в вагоне с обеда.

Предложение таких вещей является в силу запроса со стороны общества, которое потому и не имеет права ни удивляться тому, что происходит в литературе, ни кичиться перед литераторами элегантностью своего обычая.

Итак, в этом коротком очерке, пределы которого стеснены местом, назначенным для него нашим изданием, мы, как могли, показали кажется, что общество в весьма значительной степени повинно во всех безобразиях современной печати, что любви и внимания к литераторам, их доброму имени и их тягостнейшей и печальной судьбе в нашем обществе нет и что общественное осуждение литературы за многие печальные в ней явления есть только фарисейское лицемерие. К клеветам и преступным намекам на писателей, и вообще к так называемым «литературным скандалам», в нашем обществе многие относятся как к камелиям: они с ними публично не раскланиваются и даже оказывают им мнимое пренебрежение, но втайне наши пуристы не чуждаются их и позволяют им грабить себя со стороны наилучшего и драгоценнейшего своего достояния: со стороны вкуса и воздаяния справедливости труженикам, более или менее честно и строго по мере сил своих и разумения служащим литературе.

Судебные дела, которых так много скопилось к этому времени на литераторов, по отношению к одним из них свидетельствуют лишь о слишком строгой к ним придирчивости, по отношению же к другим напоминают, что и литераторы такие же люди и что против каждого из них его собственные семь чувств вступают иногда в жестокие заговоры, низводящие человека с его прямого пути на скамью подсудимого. Ничего в этом необыкновенного и ничего унижающего литературу нет, и в общественных толках, носящих характер сетования и укоризн литераторам за то, что они не стоят «превыше мира и страстей», более всего поражает вопиющая несправедливость таких укоризн и требований от людей, которым общество не только не давало средств становиться «превыше мира», но принижению которых оно при всяком случае как бы радовалось и

рукоплескало: «вот-де они, нас поучающие, — сами нас не лучше и не чище!»

Поистине, велика радость и велико утешение, если даже это еще справедливо! Но справедливо ли это и имеет ли наше общество право кичливо думать, что наша литература ему не по плечу и наши литераторы достойны только тех успокоительных чувств, что «они-де никого не лучше», в этом мы в другой раз попробуем свесть наши счеты и надеемся, что, отнюдь не скрывая всех язв, разъедающих нашу строптивую литературную семью, мы все-таки не просчитаемся.

Бедные новости дня, за исключением одной *«особенной»,* бродящей в сплетнях и россказнях истории, из коей до нас, частных людей, пока доходят еще только одни

Намеки тонкие на то,
Чего не ведает никто,

ограничиваются на сей раз новою повестью И. С. Тургенева. «Любимый» русский писатель на этот раз порадовал Россию рассказцем, написанным прямо для немецкого издания и на немецком языке; но тем не менее Россия все-таки, конечно, заинтересована этим новым произведением, и о нем надо дать возможно скорый отчет.

Новая повесть И. С. Тургенева, написанная на немецком языке, называется «Странная история». Содержание ее вполне не вымышленное, а истинное: это давняя история жившего в тридцатых годах в городе Орле «блаженного Васи» и одной орловской же девицы, отрекшейся от света и пошедшей «угождать юродивому». Повесть вся крошечная: автор видит Васю, тот чем-то вроде магнетического или гипнотического воздействия на него показывает ему давно умершего его знакомого; потом автор встречает этого же Васю в другом месте в сопровождении знакомой ему девицы Б., оставившей свет ради апостольского служения при юродивом. Вот и все. Всей этой истории — всего на пол-листа, и читается она без малейшей задержечки: все ждешь, не будет ли где чего-то? и не встречаешь ничего, кроме самым

обыкновенным образом рассказанного анекдота, к которому в Орле давно уже приснащены были разные подробности, упущенные г. Тургеневым или вовсе ему неизвестные (например, электрический свет, исходивший будто бы от юродивого Васи). Вообще же произведение это нельзя назвать и произведением. Это так, литературный вздор, пустяки, не отмеченные даже ни штрихом мысли, ни тенью дарования. Замечательного в этой повести только то, что она написана по-немецки, да то, что автор в ней ручается, что он видел давно скончавшегося человека при обстоятельствах, при которых никакой обман был невозможен.

Первое, то есть немецкий диалект, на котором написана новая повесть русского писателя, многих приводит в негодование и даже прямо сердит. Чего и из-за чего? Немецкое издание прямо объясняет, что повесть эта была писана «для него». Разве же не свободен беллетрист сделать свою работу на том или на другом языке? «Вестник Европы» только теперь окончил печатание очень умного и очень скучного романа Бертольда Ауэрбаха «Дача на Рейне», которого до сих пор на немецком языке еще не было, и это в Германии никого особенно не удивляет, и Ауэрбаха никто за то не корит. Не станем и мы удивляться тому, что г. Тургенев дал какой-то ничтожный клочок своей работы в немецкое издание. Просили, он и дал, — это, может быть, самое простое и верное объяснение.

В обществе говорят, что он сделал это с досады, со злости на равнодушие, с каким были встречены его последние вещи. Какая нелепость! И где это равнодушие? — мы его вовсе не видим. «Дым» был прочитан залпом, нарасхват, с увлечением, а если «Собака», «Лейтенант Ергунов», «Бригадир» и «Несчастная» проманкированы общественным вниманием, то ведь это очевидно вещи, которым и сам автор не придавал никакого большого значения. Это были так себе — просто неудачные абрисы, которые можно было бросить, но можно было, пожалуй, и напечатать, когда пристают да просят: «Дайте, дескать, нам что-нибудь, бога ради!»

Немым молчанием, с которым публика прошла мимо этих двух безделушек, она, как нам кажется, дала г. Тургеневу только новое доказательство своей любви

и своего уважения к нему. Приведенные нами неудачные его вещи были приняты как были «пустое слово», сказанное уважаемым человеком, и его постарались почтительно *не слыхать*... Скажите же, бога ради, что тут обидного, и на кого тут сердиться?

За что ты нас возненавидел?
Какою грубостью своей
Простой народ тебя обидел?

Нет, нет, — все это вздор, все это праздные толки, в основе которых нельзя предполагать ничего достоверного. Начни глаголать разными языками г. Достоевский после своего «Идиота» или даже г. Писемский после «Людей сороковых годов», это, конечно, еще можно бы, пожалуй, объяснять тем, что на своем языке им некоторое время конфузно изъясняться; но г. Тургенев никакой капитальной глупости не написал, и ни краснеть, ни гневаться ему нечего.

Что же касается до нехитрого содержания новой безделушки г. Тургенева, то мы уже сказали, что это — известное множеству лиц довольно давнее орловское происшествие, которое, всеконечно, было известно и г. Тургеневу, как орловскому уроженцу и тамошнему землевладельцу. Рассказ тургеневский ни больше ни меньше как просто запись этого происшествия. В обществе прозревают, или, лучше сказать, заподозревают в «Странной истории» г. Тургенева нечто *спиритское,* хотя уже, если пошло на подозрения, то в ней правильнее заподозреть не спиритизм, а мистицизм; но спиритизм в моде, он поддерживается неземными веяниями «Войны и мира», и потому теперь в спириты у нас очень легко жалуют. Человек видел усопшего и погребенного... Конечно, это не всякому случается, но, однако, нет, кажется, никакого основания утверждать, что это уже ни для кого, никогда, ни при каких обстоятельствах и ни в какую минуту невозможно. Иначе пришлось бы отвергать очень многое, начиная с библейских сказаний о тени Самуила, вызванной к Саулу волшебницею аэндорскою, до засвидетельствованного протоколами видения шведского короля Карла XI, до общеизвестных и неоспариваемых случаев с ближайшими к нам людьми: с доктором Берковичем (Собрание сочинений

В. А. Жуковского, изд. шестое, том VI, стр. 59) и с Николаем Васильевичем Гоголем, слышавшим назначение ему часа отхода с земли. От подобных вещей можно, и, может быть, даже должно, не отбрыкиваться, не будучи ни мистиком, ни спиритом. Столь воспрославленный по достоинству Шекспир едва ли где-нибудь еще столь искренен, как в словах: «Нет, друг Горацио, — есть вещи, которые еще не снились нашим мудрецам», а мы все, не исключая самых умнейших и ученейших из нас, пока еще столь недалекие мудрецы, что даже не знаем сущности некоторых сил, полученных нами в обладание (электричество, магнетизм).

У г. Тургенева героиня его нового рассказа говорит, что «мертвых нет», в чем многие видят кощунство не только против естественных наук, но и против того особливого реализма, какой один чуткий критик навязал графу Л. Н. Толстому в награду за «Войну и мир». Конечно, ничто подобное верованию в бесконечность духовной жизни до сих пор естественными науками не доказано; но ведь естественные науки, надеемся, далеко еще не сказали своего последнего слова, и ими нам нимало не разъяснены знакомые множеству людей внезапные предчувствия, безотчетные симпатии и такие же антипатии и многое другое, что может быть как угодно отвергаемо, но что тем не менее все-таки ощущается, следовательно, существует. Парижский ученый и профессор Фламмарион (Flammarion) в недавно сказанной им речи указывал, что новая философия должна основываться на прочных естественнонаучных законах и направлять свою деятельность на те области природы, которые до сих пор покрыты мраком неизвестности. «В природе (сказал он) существуют такие движения и вибрации, которых мы не можем постигнуть материальною стороною своего существования. Так, например, некоторые виды лучей света нечувствительны для нас, но чувствительны для йода; мы познаем только две вибрации — света и звука, а в природе существует сто и более тысяч вибраций». Да и, наконец, естественные науки еще только одна сторона знания, а между тем Христос нам говорит, что «несть бог мертвых, но бог живых»; Дамаскин в песнопениях, повторяемых церковью, поет об «усопшем», а не об умершем брате,

и открытый критиком Страховым реалист Лев Николаевич Толстой видит в смерти «пробуждение от сна жизни»... Таким образом, если г. Тургенев (буде ему следует и в этом рассказе навязывать тенденцию), если он и верит сам с своею героинею, что «мертвых нет», то это верование во всяком случае не только очень распространенное, но и не унижающее ни чувства, ни разума тех, кто его содержит, находясь через то в мысленном единении с целою плеядою мудрецов, допускавших бессмертие духа. Компания — самая почтенная, тяготение к которой понятно как нельзя более.

Вот мысли, которые пришли нам по прочтении неважной самой по себе новой повестцы г. Тургенева и по выслушании многих мнений, выраженных на ее счет как людьми дружественными автору, так и людьми, ему издавна враждебными.

К этому еще два слова по поводу людей враждебных «любимому русскому писателю», или, лучше сказать, по поводу его отношений к этим людям.

И. С. Тургенев в своем «прекрасном далеко», куда он скрылся от нас и где (как писано) поет чужим голосом и пишет на чужом языке, всеконечно лишен большого удовольствия видеть очень веские доказательства любви к нему в России. Несмотря на то, что совсем плохая и ничтожная в литературном отношении последняя повестца его огласилась здесь, когда общество только что зачитывалось «Обрывом» г. Гончарова (из-за которого старые экземпляры «Вестника Европы» продаются теперь на книжном рынке по 25 рублей); несмотря на то, что именно теперь, в эту самую минуту, внимание читающей публики поглощено последним, заключительным томом «Войны и мира», — тургеневская безделушка, которую неловко и поминать при двух вышеназванных произведениях, прочитана и... поставлена ему очень многими людьми в заслугу. В чем могла быть здесь отыскана заслуга, и в чем она заключается? В ручательстве, которое дает ею автор «Отцов и детей», что те менуэты, которые он начинал было вытанцовывать перед иными из своих противумысленников, ему не к чину и не к летам... Пора, в самом деле, и не бояться

говорить, что думаешь: здесь ведь, дома, есть люди, которые гораздо больше г. Тургенева оттерпели и злых напраслин, и клевет, и самых низких поношений; но они не пятятся от сказанного, они не жалобятся, не дуют губы и не жмутся чужим людям под ноги, как слегка посеченная розгою фаворитная господская амишка... Что делать: «говорить правду — терять дружбу» — это пословица не новая, но тем не менее все-таки надо говорить правду, особенно когда пушистый снег уже успел покрыть все кудри и очам души невдалеке уже зрится берег той страны, «откуда путник к нам еще не возвращался»... Помилуют ли нас или не помилуют, будет ли нам утешением хоть минута раскаяния в тех, кто сторицею облыгал нас всеми лжами и клеветами, — это нам должно быть все равно: на весь мир пирога никогда не спечешь, и угодив одним, опять не потрафишь на других. Всякое подделывание и танцы менуэтов и гавотов бесполезны, а между тем смешная их сторона чувствуется.

Перед И. С. Тургеневым, как и перед всеми нами, в последний год вырос и возвысился до незнакомой нам доселе величины автор «Детства и отрочества», и он являет нам в своем последнем прославившем его сочинении, в «Войне и мире», не только громадный талант, ум и душу, но и (что в наш просвещенный век всего реже) большой, достойный почтения характер. Между выходом в свет томов его сочинения проходят длинные периоды, в течние которых на него, по простонародному выражению, «всех собак вешают»: его зовут и тем, и другим, и фаталистом, и идиотом, и сумасшедшим, и реалистом, и спиритом; а он в следующей затем книжке опять остается тем же, чем был и чем сам себя самому себе представляет, конечно, вернее всех направленских критиков и присяжных ценовщиков литературного базара. Это ход большого, поставленного на твердые ноги и крепко подкованного коня.

Теперь для оттенка ему — маленький мулик, маленький онагр. Г-н Клюшников, автор известного «Марева», после этого романа выплыл с «Большими кораблями». Плавал он на них долго, а промеж волн от него всетаки ничего не было видно. Тогда он написал «Цыган». Что это такое эти «Цыгане»? — это уж и уму непости-

жимо: это, как кто-то метко выразился, не «цыгане», а *воробьи,* на том основании, что «где они ни слетятся, тут сейчас и свадьба». Но мир им: пусть себе греются. Пример его здесь нужен лишь к тому, что бедный автор воробьев, чувствуя, что под ним разъезжаются его неокрепшие копытца, сейчас ищет спасения — в чем бы вы думали? — в неопределенности, в бесцветности. Он объявляет небывалую вещь: он хвалится, что будет издавать что-то такое, чуждое всякой тенденции... Даже чуждое и той, *воробьиной-то,* которая была, — и той уж долее не будет?.. Ну, скажите бога ради: каких действительно «у нашего царя людей нема»!

И. С. Тургеневу все юродствования наших литературных чудодеев въявь известны, ибо он своими собственными устами пророчески изрек на последней странице «Отцов и детей», что настала уже для нас горькая пора, когда одного и того же человека вполне основательно можно будет называть «русским литератором и дураком», — так неужто же и этим тоже угождать надо и их внимания и их доброго слова заискивать?.. Господи, да тогда уже и на свете бы жить не стоило!

Нет, верим и хотим верить, что г. Тургенев, несмотря на его «Несчастную», на его «Собаку», «Лейтенанта» и «Бригадира» и рассказанного немцам Васю-юродивого, еще не отжил всех лучших сил своих. Становясь определенно на одну сторону, он опять зачерпнет живой воды и поднимет на ней опару и выложит тесто в нечто стройное, в чем снова не без пользы узнают себя и подающиеся отцы и неподатливые дети, которые уже давно бросили «резать лягушек» и берутся за кое-что другое. Последнее бессилие И. С. Тургенева — это прямое следствие его зарубежничества. России нынче нельзя изображать, не живя в России, и тому, между прочим, лучшее доказательство писательница, скрывающаяся под псевдонимом Марка Вовчка. До житья ее в Париже это был если не глубокий, то чуткий и очень симпатичный талант. Все, что она написала за границею, совсем отменилось: дарований как не бывало. По возвращении на родину ею опять написана «Живая душа» — вещь чудовищная по уродливости замысла, бедности содержания и даже по неискусству ее исполнения. Но прошло мало времени, Марко Вовчок

окунулась в ходящие ходенем волны нашего житейского моря, и вот перед нами в «Отечественных записках» опять верный и мастерской рассказ («Записки причетника»). Такова сила жизни, захватывающей и увлекающей чуткую душу и диктующей ей и хваленья и пени.

Дома у нас в литературе опять, кажется, затевается бой, — по крайней мере перчатки уже брошены, и одна сторона подняла свою перчатку, а другой отмолчаться будет неудобно. *Доктор Опальный,* которому, по замечанию г. *Незнакомца* «С.-Петербургских ведомостей», «глядясь в зеркало, очень удобно узнать г. Лохвицкого», вступаясь за сего последнего, говорил не совсем почтительно о какой-то известной будто бы ему «шайке» в «Петербургских ведомостях». Те обиделись и выслали против неприятеля своего *Незнакомца.* Витязь уже выехал, навязал на конец своего кнута какой-то секретный, нарочно про г. Лохвицкого припасенный камень и протрубил, что зовет г. Лохвицкого на остатний бой, на смертельный. Дело и пустое и не пустое: пустое — если смотреть на него с той точки зрения, что в газетах люди всегда перебранивались и даже прежде перебранивались больше, чем нынче, но не пустое — если стать разыскивать, за что столь долго и столь упорно преследуется у нас доктор прав Лохвицкий, человек несомненно ученый, талантливый и смелый? В истории этой почти ничего не поймешь, если не восходить воспоминаниями к очень старой перепалке «Современника» со старыми «Отечественными записками». Доктор прав Лохвицкий тогда стоял в «Отечественных записках» и в споре чисто научном довольно сильно и логично побивал г. Антоновича, обозвав под конец своих противников «умственною кабацкою голью». Вот где причина сей бесконечной вражды, почтенный читатель; и вот еще с тех-то пор человека преследуют, где только могут, а вы изволите все это читать, даже, вероятно, не доразумевая: чего ради все это расточается, и кому то интересно: господин ли Корш лучше г. Лохвицкого, или г. Незнакомец один обоих их во всем гораздо превосходит?

Не понимаем и отказываемся понимать и эту вендету и это усердие вытаскивать наружу какие-то сокровеннейшие тайны друг друга с единою целью не мнение свое отстоять, а замарать имя противника.

Знаем, что слова эти — глас вопиющего в пустыне, но не можем не сетовать, что это все так и остается, и что в обществе в силу того сложилась даже поговорка: *он ругается, как литератор.*

Какая честь!

Не наше, разумеется, дело встревать в эту ссору, но в интересах литературы, в интересах и без того уроненной репутации литературных людей мы позволили бы себе выразить искреннейшую радость, если бы объявленный турнир по какому-нибудь счастливому случаю отменился. По крайней мере хоть на некоторое время. Нет мудреного, что эту радость нашу разделили бы с нами, может быть, и многие другие, не исключая самых подписчиков двух газет, собирающихся как можно лучше друг друга попозорить.

Газета «Весть» как раз отозвалась к нашим недавним заметкам о запрещениях. Из «Вести» мы узнаем, что существуют, или могут существовать где-то, предположения запретить дамам полусвета рассаживаться где им угодно в Большом и в Михайловском театрах, а предоставить в их распоряжение в Михайловском театре ложи бельэтажа, а в Большом бенуар. Престранная эта весть из «Вести»! Читаешь и невольно вспоминаешь, как в «Русском вестнике», в статье о консерваторах, характерно заметили, что «в «Вести» и серьезно говорят на смех». Кому в самом деле могла бы прийти в голову эта «серьезная мысль на смех»? Слова нет, что близкое соседство через один барьер в ложе с кокоткою имеет очень много своих неудобств для семейной дамы. Тут возможны и не совсем строгие разговоры и... да больше-то, кажется, и ничего невозможно. Помочь этому горю силятся отделением особого яруса для кокоток... Прекрасно. Но известно, что кокотки отнюдь не подчинены тем охранительным или стеснительным правилам, которыми управляются промышляющие своею красотой женщины низшего разряда... Кокотки

это по всей внешности их — *дамы,* и подчас даже самые казистые, самые представительные дамы, которые одеваются у Изомбар, Андриё и Мошра, которые щеголяют тысячными рысаками, экипажами и лакеями. Почем узнавать и отличать их от прочих дам — и потом *кто* может и кто будет производить эту сортировку? Кассир театра? — но он часто и не видит того, для кого у него покупают ложу? Положим, он требует имя и записывает его, но имя совершенно звук пустой, потому что у нас пока еще нет адрес-календаря кокоткам, по которому кассиры могли бы о них справляться. Капельдинер — что ли — может не впускать даму, если она на его лакейский взгляд камелеобразна? Но тогда в театральных коридорах повторятся все безобразия сцен, случавшихся у входа в пассаж гр. Штейнбока, когда в прошлом году правление пассажа вздумало было не впускать туда проституток. Честных женщин, не выдерживавших лакейской критики, без всякой церемонии оскорбляли самым наглым выводом, возникали ссоры, судбища, и, наконец, пришли к убеждению, что дело это не годится и что его надо бросить. Потом: ярусы, определенные для камелий, будут ли позорною выставкою продажной красоты? Очевидно — *да.* Это будут галереи портретов, из которых каждый за известную цену вынимается из его рамки. Прекрасно! Но прилично ли это императорскому театру заведомо учреждать такие галереи?.. Далее: с тех пор как ложи известных ярусов Большого и Михайловского театров сделаются заведомо кокотскими, могут ли в них ходить другие женщины, и пойдут ли они в эти ярусы, зная, что всякая, кто здесь сидит, по всем правам может быть считаема за кокотку и может, следовательно, подвергаться тому обращению, какому подвергаются кокотки? Очевидно, что семейные женщины туда не пойдут; но допустите ошибку со стороны заезжих, весьма возможную ошибку со стороны провинциалов, которыми Петербург всегда полон... Виновен ли будет человек, который, увидя в кокотском ярусе лож женщину не кокотку, пригласит ее к заключению кратковременного знакомства по поводу пятидесяти или ста рублей? Вероятно, не виновен! — Но допустим, что дело обойдется: вся Россия узнает,

что в петербургских театрах есть кокотские ярусы лож, и начинается новая история: вдруг (что весьма возможно) кокотки не разбирают всех лож, а другим этих лож в силу обстоятельств брать нельзя, чтобы не попасть в кокотки... Выгодно ли это будет кассам театральной дирекции?..

Нет, мы еще раз отказываемся верить, чтобы у кого-нибудь могли возникать и формулироваться такие чудовищные и совсем неудобоисполнимые предположения, и, нам кажется, действительно люди правы, приходя к заключению, что редактор «Вести» г. Скарятин как-то уже до того неряшливо растрепался, что «за слова его даже становится стыдно».

— Но, — говорят, — тем не менее соседство кокоток неприятно.

— Совершенно верно.

— И мы желаем от него избавиться.

— И это понятно.

Вопрос в том: кто же должен быть этим избавителем дам света от дам полусвета?

Как решен был бы этот вопрос в другой стране, того мы не знаем, но у нас решение ему исстари готово.

— *Правительство,* мол, должно нас освободить от кокоток; распоряжение-де сделать и *запретить* и «этцетера, а нам спать пора».

Поспешай, благодетельное начальство!

Вот уже истинно не мимо сказано, что «мы рады вмешать правительство даже в ссоры с нашими собственными женами». Сколько тут может правительство? Мы это уже видели. Кроме одной путаницы, суматохи и ближайшего сознания полнейшей непригодности всех мер ничего нельзя предсказать. И потом: за что, за какие грехи вмешать в это дело правительство? Оно кокоток не заводило, — их завело общество; оно одно властно само с ними и разделаться. С правительства же можно взять только пример, как расстаются с таким имуществом, которое стало бременем и в котором более не хотят нуждаться.

У правительства было тоже такое позорное имущество, как кокотки: это были кобылы, кнуты, плети

и клейма, которыми били и увечили людей по закону. *Вещи* эти по тому же закону составляли «казенную собственность», о соблюдении которой известные лица должны были пещися, и вот, когда телесные наказания были отменены, один такой попечительный человек, как все, верно, помнят, объявил в газетах о торгах на продажу ненужных плетей и клейм... Что же ему отвечали?

Откуда-то послышалось негромкое *тссс,* и даже чиновники, сберегавшие плети и клейма, смекнули, что говорить о таком *имуществе* бестактно, его бросили, и его нет, а вот великосветская газета этого не понимает и велеречит о том, в чем даже сознаваться бестактно, что *свет* наш одолели кокотки.

— Отчего их нет, однако, в Александринском театре и в Русской опере?

— Оттого, что там нет праздного, пустого и мотающего народа, поддерживающего кокоток. Ну, не поддерживайте их, и они исчезнут, как всякая брошенная гадость; а не можете не поддерживать, нужны они вам для услады жизни, так не жалуйтесь и не призывайте власть разыгрывать смешные роли: «Мы, мол, им будем билеты покупать, а вы их выводите — и в результате вы за всё будете смешны».

Почтенные дамы, страдающие от тягостного и неприятного соседства кокоток, должны сетовать не на начальства и власти, а на своих милых отцов, мужей, сынков и братцев, которые в оперной ложе горды, как лорды, и, может быть, целомудренно отворачиваются от кокотки, а там... «там, где море вечно плещет», там они все почти «Фаусты наизнанку».

Тру-ля-ля,
Пиф-паф-пуф,
Стан согнув,
Так рукою, так ногою...
Пиф-паф-пуф,
Пиф-пуф!

Мы уже однажды по поводу кокоток приводили старую пословицу: «где орлы, там и падаль».

Уберите, господа, падаль, и птицы разлетятся.

ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ПО ГР. Л. Н. ТОЛСТОМУ

«ВОЙНА И МИР». СОЧ. ГР. Л. Н. ТОЛСТОГО, Т. V. 1869 Г.

I. РАССУЖДАЮЩИЙ СМЕРТНЫЙ

Пятый том «Войны и мира» только что на днях вышел и до сих пор прочитан, вероятно, весьма немногими. Долгожданный, том этот, против всеобщих ожиданий, не заканчивает собою художественного и интересного сочинения гр. Толстого. Романическое движение во всех трех частях этого последнего тома относительно очень невелико, но мы в своей газетной статье не можем в подробностях следить и за этим. Признавая все значение, какое имеет новое сочинение графа Льва Николаевича для литературы, мы не можем посвятить ему такого критического разбора, какого прекрасное сочинение это заслуживает. Это дело месячных журналов, имеющих все удобства и все обязательства заняться подробным разбором всех сторон такого крупного литературного явления, как «Война и мир». Мы желаем дать только отчет об этой книге и познакомить своих читателей с интереснейшими деталями исторических дней двенадцатого года. С такою задачею мы начинаем нашу статью, которую и просим отнюдь не считать попыткою написать критику.

Романические передвижения в пятом томе заключаются в следующем: Ростовы уезжают из Москвы, Наташа встречается с раненым князем Андреем Болкон-

ским; Николай Ростов уезжает во время войны ремонтером в Воронеж и встречается там с княжною Мариею; затем кн. Андрей умирает на руках Наташи и кн. Марии; Hélène Безухова собирается выйти замуж за двух разом и умирает, приняв неосторожно усиленную порцию какого-то секретного лекарства; Пьер Безухий собирается убить Наполеона, долго остается в плену у французов и вообще мычет горькую жизнь. Все это, столь бесцветное в сухом перечне, в каком оно здесь представлено, конечно, рассказано Толстым опять с огромным мастерством, характеризующим все сочинение. В пятом томе, как и в четырех первых, нет утомительной или неловкой страницы и на всяком шагу попадаются сцены, чарующие своею прелестью, художественною правдою и простотою. Есть места, где простота эта достигает необычной торжественности, и, как на образчик красот подобного рода, мы позволим себе указать на описание предсмертных дней и самой кончины князя Андрея Болконского. Прощание князя Андрея с сыном Николушкою; мысленный или, лучше сказать, духовный взгляд умирающего на покидаемую жизнь, на горести и заботы окружающих его людей и самый переход его в вечность — все это выше всяких похвал по прелести рисовки, по глубине проникновения во святая святых отходящей души и по высоте безмятежного отношения к *смерти.* С этою страницею у нашего талантливого писателя мы могли бы поставить рядом лишь одну известную страницу, на которой пером Диккенса описана смерть маленького Домби, где некто нисходит под розовые занавесы постели больного ребенка и руководит переходом души его в одну из обителей, которых много у нашего отца; но страница, написанная нашим художником, далеко превосходит ту блестящую страницу Диккенса, о которой мы вспоминали и которая считается образцом описаний сцен подобного торжественно-грустного рода. Она превосходит ее простотою, силою и безэффектностью, в которой, собственно, и заключается свой великий и недосягаемый эффект. Здесь нет «розовых занавес» даровитого Диккенса, здесь просто *отход души* — серьезный, но не страшный, торжественный, но не эффектированный. Это описание сравнительно проще всего в этом роде, как строгая творческая

музыка композитора-драматурга по сравнению с шумихою трелей мотивиста.

Берем эту страницу за образец красот пятого тома сочинения гр. Толстого и делаем из нее выписку.

Дело идет таким образом: князь Андрей умирает от раны. Раненый, он встретился случайно с Наташею и остался на ее попечении. Он рад этой встрече. Между ним и Наташею не происходит никаких объяснений по поводу ее измены ему и всей ее печальной истории с Курагиным. И князь и Наташа молчат и снова любят друг друга. Вот как описывает автор своим волшебным пером отношения кн. Андрея к Наташе прежде, чем доходит до самой смерти Болконского:

«Это было вечером. Он (кн. Андрей) был, как обыкновенно после обеда, в легком лихорадочном состоянии, и мысли его были чрезвычайно ясны; Соня (приемыш Ростовых и невеста их сына Николая) сидела у стола. Он задремал. Вдруг ощущение счастья охватило его.

«Она. Это она вошла», — подумал он.

Действительно, на месте Сони сидела только что неслышными шагами вошедшая Наташа.

С тех пор, как она стала ходить за ним, он всегда испытывал это физическое ощущение ее близости. Она сидела на кресле, боком к нему, заслоняя от него свет свечи, и вязала чулок. (Она выучилась вязать чулки с тех пор, как кн. Андрей сказал ей, что никто так не умеет ходить за больными, как старые няньки, которые умеют вязать чулки, и что в вязании чулка есть что-то успокоительное.) Тонкие пальцы ее быстро перебирали изредка сталкивающиеся спицы, и задумчивый профиль ее был ясно виден ему. Она сделала движение, клубок скатился с ее колен. Она вздрогнула, оглянулась на него и, заслоняя свечу рукою, осторожным, гибким и точным движением изогнулась, подняла клубок и села в прежнее положение.

Он смотрел на нее не шевелясь и видел, что ей нужно было после своего движения вздохнуть во всю грудь, но она не решалась этого сделать и осторожно переводила дыхание.

В Троицкой Лавре (во время путешествия раненого и Ростовых из Москвы) они говорили о прошедшем, и он сказал ей, что если бы он был жив, он благодарил бы вечно бога за свою рану, которая свела его опять с нею, но с тех пор они никогда не говорили о будущем.

«Могло или не могло это быть? — думал он теперь, глядя на нее и прислушиваясь к легкому стальному звуку спиц. — Неужели только затем так странно свела меня с нею судьба, чтобы мне умереть?.. Неужели мне открылась истина жизни только для того, чтобы я жил во лжи? Я люблю ее больше всего на свете. Но что же делать, ежели я люблю ее?» — сказал он и вдруг невольно

застонал по привычке, которую он приобрел во время своих страданий.

Услыхав этот звук, Наташа положила свой чулок, перегнулась к нему ближе и вдруг, заметив его светящиеся глаза, подошла к нему легким шагом и нагнулась.

— Вы не спите?

— Нет, я давно смотрю на вас; я почувствовал, когда вы вошли. Никто, как вы, не дает мне той мягкой тишины, того света. Мне так и хочется плакать от радости.

Наташа ближе придвинулась к нему. Лицо ее сияло восторженною радостию.

— Наташа, я слишком люблю вас: больше всего на свете.

— А я? — она отвернулась на мгновение. — Отчего же слишком? — сказала она.

— Отчего слишком? Ну, как вы думаете? как вы чувствуете по душе, по всей душе, буду я жив? Как вам кажется?

— Я уверена, я уверена! — почти вскрикнула Наташа, страстным движением взяв его за обе руки.

Он помолчал.

Эта сцена происходит перед самой смертью князя, и вот начинается описание смерти. Наташа убеждает князя уснуть. Это нужно для его здоровья. Он послушался ее и решился заснуть.

Он выпустил, пожав, ее руку, и она перешла к свече и опять села в прежнее положение. Два раза она оглянулась на него, глаза его светились ей навстречу. Она задала себе урок на чулке и сказала себе, что до тех пор она не оглянется, пока не кончит его.

Действительно, скоро после этого он закрыл глаза и заснул. Он спал недолго и вдруг, в холодном поту, тревожно проснулся.

Засыпая, он думал все о том же, о чем думал все время, — о жизни и смерти, больше о смерти. Он чувствовал себя ближе к ней.

«Любовь? Что такое любовь?..» — думал он.

«Любовь мешает смерти. Любовь есть жизнь. Все, все, что я понимаю, я понимаю только потому, что я люблю. Любовь есть бог, и *умереть, значит мне, частице любви, вернуться к общему и вечному источнику».* Мысли эти показались ему утешительными; но это были только мысли. Чего-то недоставало в них, что-то было односторонне-личное, умственное, не было очевидности, и было тоже беспокойство и неясность. Он заснул.

Он видел во сне, что он лежит в той же комнате, в которой лежал в действительности, но что он не ранен, а здоров. Много разных лиц, ничтожных, равнодушных, является перед кн. Андреем. Он говорит с ними, спорит о чем-то ненужном. Они собираются ехать куда-то. Кн. Андрей смутно припоминает, что все это ничтожно и что у него есть другие, важнейшие заботы, но продолжает говорить, удивляя их, какие-то пустые остроумные слова. Понемногу, незаметно, все эти лица начинают исчезать, и *все заменяется одним вопросом о затворенной двери.* Он встает, идет к

двери, чтобы задвинуть задвижку и запереть ее. От того, что он успеет или не успеет запереть ее, зависит все. Он идет, спешит, ноги его не двигаются, и он знает, что не успеет запереть дверь, но все-таки болезненно напрягает все свои силы. И мучительный страх охватывает его. И этот страх есть страх смерти: за дверью стоит *она*. Но в то же время, как он бессильно, неловко берется за дверь, это *что-то* ужасное с другой стороны уже, надавливая, ломится в нее. Что-то нечеловеческое, смерть, ломится в дверь, и надо удержать ее. Он ухватывается за дверь, напрягает последние усилия, — запереть ее уже нельзя, хоть удержать ее; но силы его слабы, неловки, и, надавливаемая ужасным, дверь отворяется и опять затворяется.

Еще раз *оно* надавило оттуда. Последние сверхъестественные усилия тщетны, и обе половинки отворились беззвучно. *Оно* вышло, и *оно есть смерть*. И кн. Андрей умер.

Но в то же мгновение, как он умер, кн. Андрей вспомнил, что он спит, и, в то же мгновение, как он умер, он сделал над собою усилие, проснулся.

«Да, это была смерть. *Я умер, я проснулся*. Да, *«смерть-пробуждение»*, — вдруг просветлело в его душе — и завеса, скрывавшая до сих пор неведомое, была поднята перед его душевным взором. Он почувствовал как бы освобождение прежде связанной в нем силы и ту странную легкость, которая с тех пор не оставляла его.

С этого дня казалось для кн. Андрея, *вместе с пробуждением от сна, пробуждение от жизни*, и относительно продолжительности жизни оно не казалось ему более медленно, чем пробуждение от сна относительно продолжительности сновидения.

Ничего не было страшного и резкого в этом относительно медленном пробуждении.

Последние дни и часы его прошли обыкновенно и просто. И княжна Марья и Наташа, не отходившие от него, чувствовали это. Они не плакали, не содрогались, и в последнее время, сами чувствуя это, ходили уже не за ним (его уже не было, *он ушел от них), а за самым близким воспоминанием о нем, за его телом*. Они обе видѐли, как он глубже и глубже, медленно и спокойно, опускался от них куда-то туда, и обе знали, что это так должно быть и что это хорошо.

Какая простая и поистине прекрасная, неподражаемая картина смерти? Ни в прозе, ни в стихах мы не знаем ничего равного этому описанию. Это не шекспировское «умереть-уснуть», ни диккенсовское «быть восхищенным», ни материалистическое «перейти в небытие», — это тихое и спокойное *«пробуждение от сна жизни»*. Глядя таким взглядом на смерть, — умирать не страшно. Человек *уходит* отсюда, и это хорошо. И чувствуешь, что это хорошо, и окружающие его чувствуют, что это в самом деле хорошо, что это прекрасно. Одно это представление дает нам чувствовать в миросо-

зерцании автора нечто иное, не похожее на мировоззрение целой плеяды других наших писателей, и мы вправе сожалеть, что сочинение графа Толстого не может ожидать себе в наше время талантливого критического разбора. Мы знаем, как глядят и как взглянут на этот том те, которые у нас считают себя критиками. Каждый из них станет прикидывать его на масштаб своих *направлений* и похвалит его за то, в чем найдет нечто отвечающее его направлению, и злобно укорит за то, что ему покажется вредоносным для этого направления. Это уже было, и это будет снова, но так будет долго и долго, пока тяжелые судьбы нашей литературы будут оставлять ее без критических талантов. Графа Толстого уже упрекали в том, что он «сентиментал», «фаталист и миндальник»; другие столь же глубоко проницали свойства его творчества и хвалили его за какой-то особого рода реализм, *здоровый реализм,* имеющий честь нравиться схоластикам-идеалистам; теперь недостает, чтобы за приведенную сцену его упрекнули в *поповстве,* и этому нимало не мудрено случиться, и это опять будет столь же неосновательно, как укор в сентиментальности и похвала за особый реализм.

Но возвращаемся к роману. Красот, равных или подходящих по своему значению к выписанному нами образчику, немало заключается в пятом томе «Войны и мира», и выписывать их мы не можем в нашей, по необходимости ограниченной в своих размерах, статье. Дорожа местом, мы должны оставить романическое положение лиц и обратиться к историческим картинам отечественной войны, нарисованным автором с большим мастерством и с удивительною чуткостью. Этим мы смело надеемся доставить много интереса всем нашим читателям, которые не успели еще сами прочесть пятого тома «Войны и мира», а таких должно быть немало по всем углам и захолустьям русского царства, куда заходит наша газета и куда дорогой роман графа Толстого, при всем его громадном у нас успехе, попадет, вероятно, еще весьма не скоро. Может быть, военные специалисты найдут в деталях военных описаний графа Толстого много такого, за что они снова найдут возможным сделать автору замечания и укоризны вроде тех, какие ему уже были от них сделаны, но, по истине

говоря, нас мало занимают эти детали. Мы ценим в военных картинах Толстого то яркое и правдивое освещение, при котором он нам показывает марши, стычки, движения; нам нравится самый *дух* этих описаний, в котором волею-неволею чувствуется веяние *духа правды,* дышащего на нас через художника.

II. КНЯЗЬ МИХАИЛ ИЛЛАРИОНОВИЧ ГОЛЕНИЩЕВ-КУТУЗОВ

Прежде всего, пятый том занимающего нас сочинения по преимуществу есть том самый военный. В этом томе автор даже чаще отказывает себе в очевидной для него потребности покидать порою нить рассказа и уноситься в область рассуждений — так сказать, *пофилософствовать.* Только в начале две первые главы первой части пятого тома имеют такие этюды, по поводу которых стоило бы нечто заметить, но на которых нам в газете также не пора останавливаться. Говоря о манере автора философствовать, мы просим не заподозрить нас в том, что мы ставим это в укор гр. Толстому. Мы как нельзя более далеки от этого. Мы вполне разделяем мнение другого нашего даровитого романиста, Ив. Ал. Гончарова, который в одном месте «Обрыва», нового прекрасного романа, о котором мы также дадим отчет нашим читателям, говорит, что «роман может поглощать все», в романе терпимы и уместны всякие отступления от рассказа, все роды литературы, «кроме скучного». Мы говорим, что в пятом томе «Войны и мира» меньше философствований, просто, не придавая этому никакого особого значения. Пятый том сочинений гр. Толстого носит на себе печать тех самых отношений автора к причине событий, какая лежит на всем сказанном им в четырех первых частях его сочинения. Это тот взгляд, который вызвал уже против Л. Н. Толстого возражения Норова и многих других современников отечественной войны и новейших военных специалистов-мыслителей. Автор «Войны и мира» не признает во всех событиях войны двенадцатого года ничего предугаданного, предусмотренного и совершенного по плану. По его выводам и заключениям, *событиями* управляют не главнокомандующие, не диспозиции, а нечто

совершенно другое. Наш художник, стремясь осветить по-своему события отечественной войны, доказывает, что кн. Кутузов, которому приписана безмерная дальновидность, не имел вовсе определенного плана действий. С тех пор, как светлейший получил власть действовать в звании главнокомандующего, до тех пор, пока французы бежали из России и «старый человек», как автор называет кн. Кутузова, радостно заплакал и воскликнул богу, что «молитва его услышана», дело отечества жило духом народа и духом «старого человека», а не его и ничьими другими предусмотрениями, предначертаниями и планами. Умы кипятились и действовали только в суетливой среде одних мелких и крупных интриганов, работавших своими самолюбиями в нетленном и бесстрастном Петербурге и в штабе армии вокруг дремавшего «старого человека». В этой характеристике времени чувствуется большая правда. Каждому из нас, до кого путем семейных преданий дошли простые, не подкрашенные подогретым заносчивостью патриотическим задором, рассказы о событиях 1812 года, более или менее всегда были известны многие детали этой эпохи не в том подцвеченном виде, в каком представляли их военные историки, реляции и тенденциозные романисты (ряд которых начался не с гг. Писемского и Чернышевского), а в той простоте, в какой рисует их нынче во всей их совокупности автор «Войны и мира». Дело было гораздо проще; и делали спасение отечества не энтузиасты и не интриганы, которые во все времена пригодны лишь к тому, чтобы, не делая дела, суетиться во имя дела. Истинные спасители страны спасали ее, заботясь всяк об исполнении своего ближайшего долга. Так вели себя народ, московские обыватели, солдаты и строевые офицеры армий, Кутузов и государь Александр Павлович. Ум Руси не гарцевал, а скорее цепенел в полудремоте, надеясь на промысл и своего дремлющего «старого человека». Кн. Кутузов, как полагает автор (в том с ним и можно согласиться), не знал, что делать. Он так же не хотел отстаивать Москвы, как не хотел он и сдавать ее. В третьей главе первой части пятого тома гр. Толстой подкрепляет этот вывод описанием такой сцены:

Когда Ермолов, посланный к Кутузову для того, чтобы осмотреть позицию, сказал фельдмаршалу, что под Москвою на этой позиции нельзя драться и надо отступать, Кутузов посмотрел на него молча.

«Дай-ка руку», — сказал он, и, повернув ее так, чтобы ощупать его пульс, он сказал:

«Ты нездоров, голубчик, подумай, что ты говоришь». Кутузов еще не мог понять того, чтобы было возможно отступать за Москву без сражения.

За этим гр. Толстой представляет нам Кутузова на Поклонной горе, в шести верстах от Драгомиловской заставы. Фельдмаршал сидит на лавке, на краю дороги. Около него огромная толпа генералов, и между ними граф Растопчин. Этот «главнокомандующий Москвы» приехал из столицы и присоединился к свите фельдмаршала. В блестящем обществе, окружающем «старого человека», все говорят между собою шепотом о выгодах и невыгодах позиции; все с усилием держатся *на высоте положения.*

Одни говорили о выбранной позиции, критикуя не столько самую позицию, сколько умственные способности тех, которые ее выбрали; другие доказывали, что ошибка сделана была прежде, что надо было принять сражение еще третьего дня; третьи говорили о битве при Саламанке, про которую рассказывал только что приехавший француз Кросар в испанской мундире.

Везде и на каждом шагу видны мелкие страсти, и егозится и кишит мелкое самолюбие, переходящее при всяком случае в пышные фанфаронады. Так, например:

Гр. Растопчин говорил о том, что он с московскою дружиною готов погибнуть под стенами столицы, но что все-таки не может не сожалеть о той неизвестности, в которой он был оставлен, и что если бы он это знал прежде, было бы другое. Шестые, наконец, — прибавляет автор, — говорили совершенную бессмыслицу. Лицо Кутузова становилось все озабоченнее и печальнее. Из всех разговоров этих Кутузов видел одно — защищать Москву не было *никакой физической возможности,* в полном значении этих слов, то есть до такой степени не было возможности, что ежели бы какой-нибудь безумный главнокомандующий отдал приказ о начатии сражения, то произошла бы путаница, и сражения все-таки не было бы, не было бы потому, что все высшие начальники не только признавали эту позицию невозможною, *но в разговорах своих обсуждали только то, что произойдет после несомненного оставления этой позиции.* Как же могли начальники вести свои войска на поле сражения, которое они считали невозможным? Низшие начальники, даже солдаты (которые тоже рассуждают), также признавали

позицию невозможною и потому не могли одни драться с уверенностью в поражении. Ежели Бенигсен настаивал на защите этой позиции и другие еще обсуживали ее, то *вопрос этот уже не имел значения сам по себе, а имел значение только как предлог для ссоры и интриги. Это понимал Кутузов.*

Бенигсен, выбрав позицию, горячо выставляя свой русский патриотизм (которого не мог не морщась выслушивать Кутузов), настаивал на защите Москвы. Кутузов ясно, как день, видел цель Бенигсена; в случае неудачи защиты свалить вину на Кутузова, доведшего войско без сражения до Воробьевых гор, а в случае успеха себе приписать его; в случае же отказа очистить себя в преступлении оставления Москвы. Но этот вопрос интриги не занимал теперь старого человека. Один страшный вопрос занимал его, и на вопрос этот никто не давал ответа. Вопрос теперь состоял только в том, что *«неужели это я допустил до Москвы Наполеона, и когда же я это сделал?* Когда это решилось? Неужели вчера, когда я послал к Платову приказ отступить, *или третьего дня вечером, когда я задремал и приказал Бенигсену распорядиться?* Или еще прежде?.. Но когда же, когда решилось это страшное дело? *Москва должна быть оставлена;* войска должны отступить, и надо отдать это приказание». Отдать это страшное приказание, казалось ему, одно и то же, что отказаться от командования армиею. А мало того, что он любил власть, привык к ней (почет, отдаваемый кн. Прозоровскому, при котором он состоял в Турции, дразнил его), *он был убежден, что ему предназначено спасение России, и потому только, против воли государя и по воле народа, он был выбран главнокомандующим.* Он был убежден, что он один в этих трудных условиях мог держаться во главе армии, что он один во всем мире был в состоянии без содрогания и ужаса считать своим противником Наполеона, и он ужасался мысли о том приказании, которое он должен был отдать.

Фельдмаршал понимал, что ему решительно не на кого опереться, что мелкие страсти и интриги, кишмя кишащие вокруг него, за своими заботами совсем позабудут дело, и вот в следующей главе мы видим Кутузова в избе мужика Андрея Савостьянова. Здесь в два часа происходит военный совет. Описание этого совета тоже необыкновенно интересно. Мужики и бабы большой семьи Андрея Савостьянова теснятся в черной избе. Одна только внучка хозяина, шестилетняя девочка Малаша, остается на печке и смотрит на светлейшего, который приласкал ее за чаем и дал ей кусок сахару. Ребенок, глядя с печи на Кутузова «дедушку», детским чутьем своим понимает, что здесь «все как бы *против дедушки*». Кутузов сидел особо от всех в темном углу за печкою. Вот как изображает здесь автор *старого человека:*

Он сидел, глубоко опустившись в складное кресло, и беспрестанно покрякивал и поправлял воротник сюртука, который, хоть и расстегнутый, все-таки как бы жал его шею. Адъютант Кайсаров хотел было отдернуть занавеску в окне против Кутузова, но Кутузов сердито замахал рукою, и Кайсаров понял, что светлейший не хочет, чтобы видели его лицо.

Собирается совет. За еловым крестьянским столом мы видим Ермолова, Кайсарова, Толя, Барклая-де-Толли с его высоким лбом, сливающимся с голою головою, Уварова, кругленького Дохтурова, Остермана-Толстого, Раевского и Коновницына. Все ждут Бенигсена, «который доканчивал свой вкусный обед, под предлогом нового осмотра позиции». Его ждали от четырех до шести часов, и во все это время не приступали к совещанию и тихим голосом вели посторонние разговоры.

Только когда в избу вошел Бенигсен, Кутузов выдвинулся из своего угла и подвинулся к столу, но на столько, что лицо его не было освещено поданными на стол свечами.

Бенигсен открыл совет вопросом: *«оставить ли без боя священную и древнюю столицу России или защищать ее?»* Последовало долгое серьезное молчание. Все лица нахмурились, и в тишине слышалось сердитое кряхтенье и покашливанье Кутузова. Все смотрели на него. Малаша тоже смотрела на дедушку. Она ближе всех была к нему и видела, как лицо его сморщилось; он точно собрался плакать, но это продолжалось недолго.

— *Священную, древнюю столицу России!* — вдруг заговорил Кутузов, повторяя сердитым голосом слова Бенигсена и этим указывая на фальшивую ноту этих слов. — Позвольте вам сказать, ваше сиятельство, что вопрос этот не имеет смыслу для русского человека. (Он перевалился вперед своим тяжелым телом.) Такой вопрос нельзя ставить, и такой вопрос не имеет смыслу. Вопрос, для которого я просил собраться этих господ, это вопрос военный. *Вопрос следующий: «Спасение России в армии. Выгодно ли рисковать потерею армии и Москвы, приняв сражение, или отдать Москву без сражения?»* Вот на какой вопрос я желаю знать ваше мнение. (Он откачнулся назад на спинку кресла.)

Начинаются длинные прения, наблюдая которые, ребенку Малаше еще яснее чудится, *«что дело все только в личной борьбе между дедушкою* и «длиннополым», как она называла Бенигсена.

Прения эти бог знает чем бы окончились, если бы Кутузов не закончил:

«Итак, господа, видно мне платить за перебитые горшки». И, медленно поднявшись, он подошел к столу и добавил: «Властию,

врученною мне моим государем и отечеством, я приказываю отступление».

Таким представляет гр. Лев Николаевич этого «старого человека», против которого кипели интриги и шипело злобою все его окружавшее, но который избран к спасению отечества непостижимым образом сложившеюся и высказавшеюся волею народа, как бы отождествлял в себе дух целого народа, и в эти великие минуты, и спя и бодрствуя, он чувствовал себя ковчегом, в который сложен для чуда засохший жезл народа. Он «был убежден, что в нем суждено расцвесть этому жезлу, он в это верил, и в этой вере он черпал свою силу выжидания и не смущался кишащею вокруг его пустою суетою, которая способна была бы сбить с рельсов и обессилить всякого, менее его крепкого владычным духом».

III. ГРАФ РАСТОПЧИН

Совершенно не то, что мы видели в представленном нам графом Толстым изображении светлейшего Кутузова, являет нам другое историческое лицо того же времени — главнокомандующий Москвы, граф Растопчин. Как тот представляет нам собою образец спокойной, самообладающей силы, то дремлющей, то возносящейся в моменты действования до истинного величия, так этот может служить образцом бравурной суетливости, возбуждающей в минуты благоприятные для жизни этого героя смех, а в моменты критические — горькое сожаление о нем и о всех деятелях подобного ему характера. Фразистый патриотизм, какая-то кипяченая верченность, русская балаганность пополам с французским гаменством главнокомандующего Москвы устрояют во вверенной ему столице такой порядок, какой себе даже трудно представить. Оставление Москвы представляет ужасающую картину неописуемых беспорядков. Благоразумно и с толком столицу оставили только те из ее жителей, которые не слушались главнокомандующего и убирались кто куда мог, за добра ума. Те же, которые имели неосторожность послушать шаловливых уветов Растопчина, испили во славу его вполне

горькую чашу. Побег московских обывателей из столицы в последние дни, до которых додержал их Растопчин, хвалясь, что побьет Наполеона, выйдя на него с московскими барышнями, был ужасен. Такого беспорядка и таких несчастий нельзя было бы ожидать и сотой доли, если бы действия Растопчина были хоть на волос серьезнее и обдуманнее, или, может быть, еще лучше, если бы Москвою вовсе никто не командовал. Мы выше сказали, почему светлейший князь Кутузов не мог устроить дела иначе, как они стали. Москва *не могла* быть защищена армиею, и Кутузов должен был вести войска к отступлению, хоть он, по всей вероятности, в это время не имел никакого дальнейшего плана действий, и сам не знал, к чему поведут его эти отступления. Он видел только, что отступление армии за Москву необходимо, что держаться нельзя, что вместо того, чтобы терять Москву *и армию*, гораздо благоразумнее решиться потерять *одну Москву, без армии.* Растопчину теперь, в силу этого решения фельдмаршала, предстояло регулировать очищение жителями столицы. *Это нельзя считать очень великим: это, пожалуй, сделал бы всякий хороший* обер-полицеймейстер. Вся задача Растопчина (единственная, исполняя которую он мог бы посуетиться с пользою) заключалась в том, чтобы обсудить с остающимися в городе представителями населения положение столицы и с общего совета предпринять самые несложные меры, чтобы жители, желающие оставить беззащитную Москву, выезжали и выходили из города, соблюдая возможный порядок. Растопчину не удалось сделать путем и этого. Он прежде всего ни с кем не совещается, а шумит и ершится со своим вздутым патриотическим задором. Для него не существуют *невозможности,* обусловливающие необходимость отступления, как для Кутузова. Его поражает *срамность* необходимой меры, совершаемой на основании математически верного вычисления: что выгоднее — потерять Москву *и армию* или одну Москву *без армии?* Ему до всего этого дела нет, он видит в этом только срам и пропажу эффекта, какой бы он мог произвести с шаром Леппиха, образом Иверской и сражающимися против французов московскими барышнями. Растопчин кричит, что Москва не будет ни за что сдана, и рассылает в этом духе афиши, писанные мужичьим

языком, который его сиятельство, как и многие наши люди высокого положения, имеют слабость считать языком народным и потому особенно внятным и внушительным. Московские жители еще в июне и июле месяце предвидели или предчувствовали, что Москве не удержаться, и в начале августа начали уже выезжать из столицы. Это, конечно, было прекрасно и для тех, кто спасался, и для тех, которые оставались в городе; жизненные продукты дешевели бы, не было бы лишней суеты: каждый, имея свободу ехать или оставаться, зрелее бы обсуждал бы свое положение. Но Растопчин видел в этом вред.

«Стыдно бежать от опасности, только трусы бегут из Москвы», — говорил он по этому поводу в своих афишах, которые, как беспощадно выражается автор «Войны и мира», обыкновенно были писаны *«ерническим языком»*. Но, по несчастию, авторитет высокого положения графа Растопчина, несмотря на всю нелепость его «писанных ерническим языком афиш», все-таки был столь влиятелен, что главнокомандующему Москвы удалось кое-кого застыдить своими афишами. Название «труса» было неприятно, и потому многие, чтобы не получить этой клички, стали удирать из Москвы крадком, потихоньку. Упрекать в этом московских обывателей было смешно, а их упрекал сам главнокомандующий. Они не рассуждали о том, хорошо или худо им будет, если французы начнут управлять ими; им просто под управлением французов нельзя было быть, это им было хуже всего, и они уезжали, кто куда мог, со своими семействами. Правда, что Растопчин хвалился им даже намерением поднять Иверскую и указывал им на построенный Леппихом воздушный шар, с помощью которого Растопчин обещал погубить французов, указывал он и на другой вздор, о котором подробно писал народу в своих афишах; но москвичи знали, что войско должно драться, и если оно не может драться, то Растопчин с московскими барышнями и дворовыми людьми хоть если и выйдет на Три Горки воевать против Наполеона, то вряд ли Наполеона одолеет, и поэтому здравый смысл говорил москвичам, что балагурств поставленного над ними командира слушать нечего и надо уезжать; они и уезжали.

С этих пор Растопчина совсем покидает всякая логика. У него нет никакого курса: он не знает, куда идет, так же, как Кутузов; но он проходит путь неведения своего не тихо и скромно, по-кутузовски, с головою, спущенною на грудь, а он то мечется, то мнется, то прядает в лансадах. Вот как изображает его гр. Толстой.

Гр. Растопчин то стыдил тех, которые уезжали; то вывозил присутственные места; то выдавал никуда не годное оружие пьяному сброду; то захватывал все частные подводы, бывшие в Москве; то на 136 подводах увозил делаемый Леппихом воздушный шар; то намекал на то, что он сожжет Москву, то рассказывал, как он сжег свой дом и написал прокламацию французам, где торжественно упрекал их, что они разорили его детский приют; то принимал славу сожжения Москвы, то отказывался от нее; то приказывал народу ловить всех шпионов и приводить их к нему, то упрекал за это народ; то высылал всех французов из Москвы, то оставлял в Москве г-жу Обер-Шальме, составлявшую центр всего французского московского населения,[1] а без особой вины приказал схватить и увести в ссылку старого почтенного почт-директора Ключарева; то собирал народ на Три Горы, чтобы драться с французами; то, чтобы отделаться от этого народа, отдавал ему на убийство человека и сам уезжал в задние ворота; то говорил, что он не переживет несчастия Москвы; то писал в альбомы по-французски стихи об участии в деле. Этот человек, — говорит гр. Толстой, — не понимал значения совершающегося события и хотел что-то сделать сам, удивить кого-то, что-то совершить патриотически-геройское и, как мальчик, резвился над величавым и неизбежным событием оставления и сожжения Москвы и старался своею маленькою рукою то поощрять, то задерживать течение громадного, уносившего его вместе с собою, народного потока.

Гр. Толстой описывает, как Растопчин, во исполнение служебного принципа многих: «ничего не делай, да суетись», накидывается на ничтожного купчика Верещагина, трактирщика, который читал какую-то наполеоновскую прокламацию. Граф связывает это дело с самовластно исковерканною судьбою почт-директора Ключарева, которого почему-то ненавидел Растопчин. Ради того, чтобы раздуть само по себе ничтожное дело, главнокомандующий Москвы напускает на все это необычайную важность, заключает и Ключарева и Верещагина под стражу. Верещагин здесь и дождался вступ-

[1] Это та знаменитая Обер-Шальме, проделки которой были известны всей Москве и которую народ московский перекрестил в «Обер-Шельму». *(Прим. Н. С. Лескова.)*

ления неприятеля в Москву, причем герой московской суеты, граф Растопчин, потешил свое русское сердце, затравив pour la bonne bouche[1] узника Верещагина смятенным народом, а потом закончив свою московскую службу собственноручною расправою с народом и плаксивою жалобою на Кутузова.

Со всем этим мы познакомимся через несколько строк, в описаниях последнего дня командирства Растопчина Москвою, дня, ознаменованного всеми безобразиями малодушной бесхарактерности, ребячьего каприза и бессердечия, а теперь пока на очереди Наполеон.

IV. НАПОЛЕОН

Неприятель вступает в Москву. Вступление это опять описано у гр. Толстого необыкновенно картинно. 2 сентября в десять часов утра погода под Москвою стояла волшебная. Арьергарды русской армии выходили из Москвы через Драгомиловскую заставу, а с другой стороны в столицу вдвигались передовые войска Наполеона. По живописному выражению автора, пустая Москва, как сухая губка, «всасывала» в себя неприятельские ряды.

Москва с Поклонной горы расстилалась просторно со своею рекою, со своими садами и церквами и, казалось, жила своею жизнью, трепеща, как звезды, своими куполами в лучах солнца.

При виде странного города с невиданными формами необыкновенной архитектуры Наполеон испытывал то несколько завистливое и беспокойное любопытство, которое испытывают люди при виде форм не знающей о них чуждой жизни. Очевидно, город этот жил всеми силами своей жизни. По тем неопределимым признакам, по которым на дальнем расстоянии безошибочно узнается живое тело от мертвого, Наполеон с Поклонной горы видел трепетание жизни в городе и чувствовал как бы дыхание этого большого и красивого тела.

Всякий русский человек, глядя на Москву, чувствует, что она мать; всякий иностранец, глядя на нее и не зная ее материнского значения, должен чувствовать женственный характер этого города, и Наполеон чувствовал его.

Этот азиатский город с бесчисленными церквами, *Москва святая.* «Вот он, наконец, этот знаменитый город! Пора!» — сказал Наполеон и, слезши с лошади, велел разложить перед собою план

---

[1] На закуску *(франц.)*.

этой Moscou и подозвал переводчика. «Город, занятый неприятелем, подобен девке, потерявшей невинность». — думал он. И с этой точки зрения он смотрел на лежавшую перед ним восточную красавицу. Ему странно самому, что, наконец, совершилось его давнишнее, казавшееся ему невозможным, желание.

Гр. Толстой очень смело и с большою последовательностью рисует душевные движения, которыми был полон Наполеон, глядя на лежащую у ног его русскую столицу.

Одно мое слово, одно движение моей руки, — думает Наполеон у Толстого, — и погибла эта древняя столица des Czars.[1] Но мое милосердие всегда готово снизойти к побежденным. Я должен быть великодушен и истинно велик. Я пощажу ее. На древних памятниках варварства и деспотизма я напишу великие слова справедливости и милосердия... Александр больнее всего поймет именно это, я знаю его (Наполеону казалось, что главное значение того, что совершалось, заключалось в личной борьбе его с Александром). С высот Кремля я дам им законы справедливости, я покажу им значение истинной цивилизации, я заставлю поколения бояр с любовию поминать имя своего завоевателя. Я скажу депутации, что я не хотел и не хочу войны, что я вел войну только с ложною политикою их двора, что я люблю Александра и что приму условия мира в Москве, достойные меня и моих народов.

— Пусть приведут ко мне бояр, — обратился он к свите.

Генерал с блестящею свитою тотчас же поскакал за боярами.

Прошло два часа. Наполеон позавтракал и опять стоял на том же месте на Поклонной горе, ожидая депутацию. Речь его к боярам уже ясно сложилась в его воображении. Речь эта была исполнена достоинства и того величия, которое понимал Наполеон.

Тот тон великодушия, в котором намерен был действовать в Москве Наполеон, увлек его самого. Он в воображении своем назначал дни собраний во дворце царей, где должны были сходиться русские вельможи с вельможами французского императора. Он назначал мысленно губернатора такого, который сумел бы привлечь к себе население. Узнав о том, что в Москве много богоугодных заведений, он в воображении своем решал, что все эти заведения будут осыпаны его милостями. Он думал, что как в Африке надо было сидеть в бурнусе в мечети, так в Москве надо было быть милостивым, как цари. И, чтобы окончательно тронуть сердца русских, он, как и каждый француз, не могущий себе вообразить ничего чувствительного без упоминания о ma chère, ma tendre, ma pauvre mère,[2] он решил, что на всех этих заведениях он велит написать большими буквами: «Etablissement dédié à ma chère Mère».[3] Нет, просто: «Maison de ma Mère»,[4] — решил он сам с собою. Но что же так долго не является депутация?

---

[1] Царей *(франц.)*.
[2] Моей милой, нежной, бедной матери *(франц.)*.
[3] Заведение, посвященное моей милой Матери *(франц.)*.
[4] Дом моей Матери *(франц.)*.

Между тем в задах свиты императора происходило шепотом взволнованное совещание между его генералами и маршалами: посланные за депутациею вернулись с известием, что Москва пуста, что *все уехали и ушли из нее*. Лица совещавшихся были бледны и взволнованы. Не то, что Москва была оставлена жителями, пугало их, но их пугало то, каким образом объявить о том императору, каким образом, не ставя его величество в то страшное, называемое французами ridicule положение, объявить ему, что он напрасно ждал бояр так долго, что есть в Москве толпы пьяных, но никого больше.

Наполеон съезжает с Поклонной горы молча. Москва дала ему неприятный урок: рога его победительной гордыни надломлены, и надломлены не теми, кто делал вопрос из сдачи Москвы, а которые ушли из Москвы ради сохранения собственной жизни.

Первое поражение Наполеону нанесено москвичами, хотя они, уходя из Москвы, всего менее думали поразить этим гордого победителя, и первою ошибкою, в которую вовлекли его, открыт длинный ряд его последующих ошибок, закончивших его погибель.

Неумышленным ударом, который нанесли москвичи Наполеону, уйдя из столицы, у него как бы был отнят разум, и отселе начинаются самые гибельные и самые необъяснимые его промахи. Герой сражен был теми, кто и не помышлял вступать с ним в личное состязание.

V. МОСКВИЧИ И ОПЯТЬ ВОЖДЬ ИХ

Москву в это время гр. Толстой картинно сравнивает с обезматочившим пчелиным ульем. Еще что-то копошится вокруг, летают и толкутся ошеломленные пчелки; но тем не менее улей пуст, ему нечем держаться. В описаниях обезматочившей Москвы картины следуют за картинами. Выпущенные на волю арестанты, сумасшедшие из желтого дома, несколько задержавшихся купцов с их стотысячными лавками, которых некому защищать, офицеры, которых не слушаются солдаты, солдаты, которые шмыгают назад в улицы и переулки, не слушая останавливающих их офицеров, толпы фабричных и свалки у кабаков и на мостах, крики, пьянство, дебоширство и оргии. Рабочие куражатся в кабаках, напиваются, ничего не понимают и дерутся друг с

другом; происходят убийства, которых некому остановить и за которые неоткуда ждать никакого возмездия. Дворник дома Ростовых, рослый Игнат, стоит, красуется перед большим зеркалом в зале; казачок Мишка в опустелом доме сидит и играет одним пальцем на клавикордах; на площади подьячий читает одной группе растопчинскую афишу. Отсюда начинается сцена, которая заканчивается травлей Верещагина. Мы позволим себе выписывать всю эту сцену.

У стены Китай-города небольшая кучка людей окружила человека в фризовой шинели, держащего в руках бумагу.

— Указ, указ читают! указ читают! — послышалось в толпе, и народ хлынул к чтецу.

Человек в фризовой шинели читал афишку от 31 августа (это было 2 сентября). Когда толпа окружила его, он как бы смутился, но на требование высокого малого, протеснившегося до него, он с легким дрожанием в голосе начал читать афишу сначала.

«*Я завтра рано еду к светлейшему князю,* — читал он. (*Светлеющему,* торжественно улыбаясь ртом и хмуря брови, повторил высокий малый), — *чтобы с ним переговорить, действовать и помогать войскам истреблять злодеев; станем и мы из них дух...* («Видал? — победоносно прокричал малый. — Он тебе всю дистанцию развяжет...») — *искоренять и этих гостей к черту отправлять; я приеду назад к обеду, и примемся за дело, сделаем, доделаем и французов отделаем»*.

Последние слова были прочитаны чтецом в совершенном молчании. Высокий малый грустно опустил голову. Очевидно было, что никто не понял этих последних слов. В особенности слова: *«я приеду завтра к обеду»* видимо даже огорчили и чтеца и слушателей. Понимание народа было настроено на высокий лад, а это было слишком просто и ненужно-понятно. Это было то самое, что каждый из нас мог сам сказать и что поэтому не мог говорить указ, исходящий от высшей власти.

Все стояли в унылом молчании. Высокий малый водил губами и пошатывался.

В это время появился на дрожках полицеймейстер, сопровожденный двумя драгунами, и дал на народ добрый окрик. Приказный от лица народа выступил и робко доложил полицеймейстеру, что народ сошелся «по объявлению сиятельнейшего графа, не щадя живота послужить». Полицеймейстер объявил, что о них будет сделано распоряжение, и велел своему кучеру ехать.

«Обман, ребята, — кричит народ. — Иди к самому, пущай отчет подаст», — и толпа за полицеймейстером с шумным говором направилась на Лубянку.

«Что ж, господа да купцы повыехали, а мы за то пропадать будем; что ж мы собаки, что ли», — слышалось чаще в толпе.

XXIV глава романа представляет нам эту самую народную группу перед лицом главнокомандующего Москвы, и при этом странный, дикий и почти невозможный поступок Растопчина. Растопчин в это время был крайне недоволен Кутузовым за то, что светлейший его не спрашивал и вовсе устранял от рассмотрения его неуместные вопросы, которые вообще любят предлагать на обсуждение люди, подобные суетному и суетливому графу. В первом часу ночи Растопчин получил от Кутузова письмо. В письме этом князь излагал Растопчину, что так как войска отступают на рязанскую дорогу за Москву, то не угодно ли графу выслать полицейских чиновников для проведения войск через город. Гр. Растопчин, после свидания с Кутузовым на Поклонной горе, хотя и знал, что Москва будет оставлена, но тем не менее решительное известие об этом, сообщаемое ему, в виде простой записки, удивило и раздражило его.

Впоследствии, обсуждая свою деятельность за это время, гр. Растопчин несколько раз писал, что у него были две важные цели: *удержать спокойствие в Москве и выпроводить из нее жителей.*

Если допустить эту двоякую цель (рассуждает автор «Войны и мира»), то всякое действие Растопчина оказывается безукоризненным. Для чего не вывезена московская святыня, оружие, патроны, порох, запасы хлеба, для чего тысячи народа обмануты тем, что Москву не сдадут, и разорены? — *Для того, чтобы соблюсти спокойствие в столице,* отвечает объяснение гр. Растопчина. Для чего вывозились кипы ненужных бумаг из присутственных мест и шар Леппиха и другие предметы? — *Для того, чтобы оставить город пустым,* отвечает объяснение гр. Растопчина. Стоит только допустить, что что-нибудь угрожало народному спокойствию, и всякое действие становится оправданным. Все ужасы террора основывались только на заботе о народном спокойствии. На чем же основывался страх гр. Растопчина о народном спокойствии в 1812 году? Не только в Москве, но и во всей России не произошло ничего похожего на возмущение. 1-го и 2-го сентября более десяти тысяч человек оставалось в Москве, и, кроме толпы, собравшейся на дворе главнокомандующего, и то привлеченной им самим, ничего не было. Очевидно, что еще менее надо было ожидать волнения в народе, ежели бы после Бородинского сражения, когда оставление Москвы стало очевидно, ежели бы тогда, вместо того чтобы волновать народ раздачею оружия и афишами, Растопчин принял меры к вывозу всей святыни, пороха, зарядов и денег и прямо объявил бы народу, что *город оставляется.*

Растопчин, пылкий, сангвинический человек, всегда вращавшийся в высших кругах администрации, хотя и с патриотическим чувством, не имел ни малейшего понятия о том народе, которым он думал управлять. С самого вступления неприятеля в Смоленск Растопчин в воображении своем составил для себя роль руководителя народного чувства сердца России. Ему не только казалось (как это кажется каждому администратору), что он управлял внешними действиями жителей Москвы, но ему казалось, что он руководил их настроением, посредством своих воззваний и афиш, писанных тем ерническим языком, который в своей среде презирает народ и который он не понимает, когда слышит его сверху. Красивая роль руководителя народного чувства так понравилась Растопчину, он так сжился с нею, что необходимость выйти из этой роли, необходимость оставить Москву без всякого героического эффекта застала его врасплох, и он вдруг потерял из-под ног почву, на которой стоял, и решительно не знал, что ему делать. Он сам был занят только тою ролью, которую он для себя сделал.

Получив, пробужденный от сна, холодную и повелительную записку Кутузова, Растопчин почувствовал себя тем более раздраженным, чем более он чувствовал себя виновным. В Москве оставалось все то, что именно поручено было ему, все то казенное, что ему должно было вывезти. Вывезти все не было возможности.

«Кто же виноват в этом? кто допустил до этого? — думал он. — Разумеется, не я. У меня все было готово. Я держал Москву вот как! И вот до чего они довели дело! Мерзавцы, изменники!» — думал он, не определяя хорошенько, кто были эти мерзавцы и изменники, но чувствуя необходимость ненавидеть этих кого-то изменников, которые были виноваты в том фальшивом и смешном положении, в котором он находился.

Великому администратору было очень тяжело, когда ему пришлось испытывать тяжелую сторону администраторской позиции. Теперь дело шло не по маслу, гр. Растопчину стало *не во что упираться,* а между тем его начинают нажучивать со всех сторон требованиями разрешений, в свою очередь требующих от него, — и непосредственно от него, а не от его секретарей и помощников, — настоящих администраторских способностей, которые так редки и находятся в зависимости от самых многосложных условий, благоприятное сочетание которых едва ли возможно в человеке, убежденном, что можно управлять людьми по одному праву своего положения.

«— Ваше сиятельство, из вотчинного департамента пришли от директора за приказаниями, из консистории, из сената, из университета, из воспитательного дома, викарный прислал, спрашивает, о пожарной команде как прикажете?.. Из острога смотритель, из

желтого дома смотритель»... всю ночь, не переставая, докладывали графу.

На все эти вопросы граф давал короткие и сердитые ответы, показывавшие, что приказания его теперь не нужны, что все старательно подготовленное им дело теперь испорчено как-то и что этот кто-то будет нести ответственность за все, что произойдет теперь.

— Ну, скажи ты этому болвану, — отвечал он на запрос от вотчинного департамента, — чтобы он оставался караулить свои бумаги. Ну, что ты спрашиваешь вздор о пожарной команде? Есть лошади, пускай едут во Владимир. Не французам оставлять!

— Ваше сиятельство, приехал надзиратель из сумасшедшего дома, как прикажете?

— Как прикажу? Пускай едут все, вот и все. А сумасшедших выпустить в городе. Когда у нас сумасшедшие армиями командуют, так этим и бог велел.

На вопрос о колодниках, которые сидели в яме, граф сердито крикнул на смотрителя.

— Что ж, тебе два батальона конвоя дать, которого нет? Пустить их, и все!

— Ваше сиятельство, есть политические: Мешков, Верещагин.

— Верещагин! Он еще не повешен? — крикнул Растопчин. — Привести его ко мне!

И вот отличный администратор обращается в образцового судью, и мы видим суд, который достойно передать потомству.

К 9-ти часам утра, когда войска уже двинулись через Москву, никто больше не приходил спрашивать распоряжений графа. Все, кто мог ехать, ехали сами собою; те, кто оставался, решали сами собою, что им надо было делать.

Граф велел подавать лошадей, чтобы ехать в Сокольники, и, нахмуренный, желтый и молчаливый, сложив руки, сидел в своем кабинете.

Каждому администратору в спокойное, небурное время, — рассуждает автор, — кажется, что только его усилиями движется все ему подведомственное народонаселение, и в этом сознании своей необходимости каждый администратор чувствует главную награду за свои труды и усилия. Понятно, что до тех пор, пока историческое море спокойно, правителю-администратору с своею утлою лодочкою, упирающемуся шестом в корабль народа и самому двигающемуся, должно казаться, что его усилиями двигается корабль, в который он упирается. Но стоит подняться буре, взволноваться морю и двинуться самому кораблю, и тогда уже заблуждение невозможно. Корабль идет своим громадным независимым ходом, шест не достает до двинувшегося корабля, и правитель вдруг из положения властителя, источника силы переходит в ничтожного, бесполезного и слабого человека.

Растопчин чувствовал это, и это-то раздражало его.

Полицеймейстер, которого остановила толпа, вместе с адъютантом, который пришел доложить, что лошади готовы, вошли к

графу. Оба были бледны, и полицеймейстер, передав об исполнении своего поручения, сообщил, что на дворе графа стояла огромная толпа народа, желавшего его видеть.

Растопчин, ни слова не отвечая, встал и быстрыми шагами направился в свою роскошную, светлую гостиную и перешел к окну, из которого виднее была вся толпа. Высокий малый стоял в передних рядах и с строгим лицом, размахивая рукою, говорил что-то; окровавленный кузнец с мрачным видом стоял возле него (кузнец был избит своими же в кабаке). Сквозь закрытые окна слышен был гул голосов.

— Чего они хотят? — спросил Растопчин у полицеймейстера.

— Ваше сиятельство, они говорят, что собрались на французов, по вашему приказанию; про измену что-то кричали. Но буйная толпа, ваше сиятельство. Я насилу уехал. Ваше сиятельство, осмелюсь предложить...

— Извольте идти, я без вас знаю, что делать, — сердито крикнул Растопчин. Он стал у дверей балкона, глядя на толпу. «Вот, что они сделали с Россиею, вот, что они сделали со мною, — думал Растопчин, чувствуя в своей душе неудержимый гнев против кого-то, кому можно было приписать причину всего случившегося. — Вот он народец, эти подонки народонаселения, плебеи, которых они подняли своею глупостью. Им нужна жертва», — пришло ему в голову, глядя на размахивающего рукою высокого малого. *И потому са́мому это пришло ему в голову, что ему самому нужна была эта жертва,* этот предмет для своего гнева.

— Готов экипаж? — спросил он.

— Готов, ваше сиятельство. Что прикажете насчет Верещагина, он ждет у крыльца, — отвечал адъютант.

— А! — вскрикнул Растопчин, как пораженный каким-то неожиданным воспоминанием.

И, быстро отворив дверь, вышел решительными шагами на балкон. Говор вдруг замолк, шапки и картузы снялись, и все глаза поднялись к вышедшему графу.

— Здравствуйте, ребята, — сказал граф быстро и громко. — Спасибо, что пришли. Я сейчас выйду к вам, но прежде всего *нам надо управиться с злодеем. Нам надо наказать злодея, от которого погибла Москва.* Подождите меня. — И граф так же быстро вернулся в покои, крепко хлопнув дверью.

По толпе пробежал одобрительный ропот удовольствия. «Он, значит, злодеев управит усех! А ты говоришь, хранцуз... Он тебе всю дистанцию развяжет», — говорили люди, каждый упрекая друг друга в своем маловерии.

Через несколько минут из парадных дверей поспешно вышел офицер, приказал что-то, и драгуны вытянулись. Толпа от балкона жадно подвинулась к крыльцу. Выйдя гневно быстрыми шагами на крыльцо, Растопчин поспешно оглянулся вокруг себя, как бы отыскивая кого-то.

— Где он? — сказал граф, и в ту же минуту, как он сказал это, он увидал из-за угла дома выходившего между двух драгун молодого человека с длинною тонкою шеею и с до половины выбритою и заросшею головою. Молодой человек этот был одет в когда-то щегольской, крытый синим сукном, потертый лисий тулупчик и в гряз-

ные посконные арестантские шаровары, засунутые в нечищенные, стоптанные тонкие сапоги. На тонких, слабых ногах тяжело висели кандалы, затруднявшие нерешительную походку молодого человека.

Это-то и был тот злодей, *от которого погибла Москва* и с которым потому надо было *управиться, наказать его*. Одним словом, этот молодой человек был трактирщик Верещагин, виноватый в чтении наполеоновской прокламации.

— А! — сказал Растопчин, поспешно отворачивая от молодого человека свой взгляд и указывая на нижнюю ступеньку крыльца. — Поставьте его сюда! — Молодой человек, бренча кандалами, тяжело переступил на указанную ступеньку, придержав пальцем нажимавший воротник тулупчика, повернул два раза длинною шеею и, вздохнув, покорным жестом сложил перед животом тонкие нерабочие руки.

Несколько секунд, пока молодой человек устанавливался на ступеньке, продолжалось молчание. Только в задних рядах сдавливающихся к одному месту людей слышались кряхтения, стоны, толчки и топот переставляемых ног.

Растопчин, ожидая того, чтобы он остановился на указанном месте, хмурясь, потирал лицо.

— Ребята, — сказал Растопчин металлически-звучным голосом, — этот человек, Верещагин, *тот самый мерзавец, от которого погибла Москва.*

Молодой человек в лисьем тулупчике стоял в покорной позе, сложив руки перед животом и немного согнувшись. Исхудалое, с безнадежным выражением, обезображенное бритою головою, лицо его было опущено вниз. При первых словах графа он медленно поднял голову и посмотрел снизу на графа, как бы желая ему сказать что-то или хоть встретить его взгляд. Но Растопчин не смотрел на него. На длинной тонкой шее молодого человека, как веревка, напружилась и посинела жила за ухом, и вдруг покраснело лицо.

Все глаза были устремлены на него. Он посмотрел на толпу, и, как бы обнадеженный тем выражением, которое он прочел на лицах людей, он печально и робко улыбнулся и, опять опустив голову, поправился ногами на ступеньке.

— Он изменил своему царю и отечеству, *он передался Бонапарту,* он один из всех русских осрамил имя русского, и *от него погибает Москва* (еще не третий раз!), — говорил Растопчин ровным резким голосом, но вдруг взглянул вниз на Верещагина, продолжавшего стоять в той же покорной позе. Как будто взгляд этот взорвал его, он, подняв руку, закричал почти, обращаясь к народу:

— Своим судом расправляйтесь с ним! Отдаю его вам!

Народ молчал и только все теснее и теснее нажимал друг на друга. Держать друг друга, дышать в этой зараженной духоте, не иметь силы пошевелиться и ждать чего-то неизвестного, непонятного и страшного становилось невозможно. Люди, стоявшие в передних рядах, видевшие и слышавшие все то, что происходило пе-

ред ними, все с испуганно-широко раскрытыми глазами и с разинутыми ртами, напрягая все свои силы, удерживали на своих спинах напор задних.

— *Бей его! пускай погибнет изменник* и не срамит имени русского! — закричал Растопчин. — *Руби! Я приказываю!*

Становится страшно и ужасно даже выписывать эту возмутительную сцену! Если мы сопоставим с нею убиение князя Михаила в Орде или убийство подручниками Стеньки Разина митрополита Иосифа в Астрахани, то и дикая Орда и звероподобные астраханские наместники Разина покажутся нам в тысячу крат сноснее этого администратора, бывшего всего пятьдесят лет тому назад представителем законной, государственной власти.

Дикая Орда и разинские разбойники убивали людей, которые не только казались им опасными, но и в самом деле могли быть опасны для них, и притом убивали их с согласия большинства, а тут толпа натравливается на существо вполне ничтожное, и натравливается *одним человеком,* который привык держать в руках своих большую власть и между тем нервничает, как испорченный ребенок, требующий, чтобы для его потехи разорвали перед ним попавшего ему на глаза слепого котенка!..

Услыхав не слова, но гневные звуки голоса Растопчина, толпа застонала и подвинулась, но опять остановилась.

— Граф, — проговорил среди опять наступившей минутной тишины робкий и вместе театральный голос Верещагина. — Граф, один бог над нами, — сказал Верещагин, подняв голову, и опять налилась кровью толстая жила на его тонкой шее, и краска быстро выступила и сбежала с его лица. Он не договорил того, что хотел сказать.

— *Руби его! Я приказываю!..* — прокричал Растопчин, вдруг побледнев, так же, как и Верещагин.

— Сабли вон! — крикнул офицер драгунам, сам вынимая саблю. Другая, еще сильнейшая волна взмыла по народу, и, добежав до передних рядов, волна эта сдвинула передних и, шатая, поднесла к самым ступеням крыльца. Высокий малый с окаменелым выражением лица и с остановившеюся поднятою рукою стоял рядом с Верещагиным.

— Руби! — прошептал почти офицер драгунам, и один из солдат вдруг с исказившимся злобою лицом ударил Верещагина тупым палашом по голове.

— А! — коротко и удивленно вскрикнул Верещагин, испуганно оглядываясь и как будто не понимая, зачем это было с ним сде-

лано. Такой же стон удивления и ужаса пробежал по толпе. «О, господи!» послышалось чье-то печальное восклицание.

Но вслед за восклицанием удивления, вырвавшимся у Верещагина, он жалобно вскрикнул от боли, и этот крик погубил его. Та, натянутая до высшей степени, преграда человеческого чувства, которая держала еще толпу, порвалась мгновенно.

Преступление было начато, необходимо было довершить его. Жалобный стон упрека был заглушен грозным и гневным ревом толпы. Как последний седьмой вал, разбивающий корабли, взмыла из задних рядов эта последняя неудержимая волна, донеслась до передних, сбила их и поглотила все. Ударивший драгун хотел повторить свой удар. Верещагин с криком ужаса, заслоняясь руками, бросился к народу. Высокий малый, на которого он наткнулся, вцепился руками в тонкую шею Верещагина и с диким криком, с ним вместе, упал под ноги навалившегося ревущего народа.

Одни били и рвали Верещагина, другие высокого малого. И крики задавленных людей, и тех, которые старались спасти высокого малого, только возбуждали ярость толпы. Долго драгуны не могли спасти окровавленного, до полусмерти избитого фабричного, и долго, несмотря на всю горячечную поспешность, с которою толпа старалась довершить раз начатое дело, те люди, которые душили, били и рвали Верещагина, не могли убить его; но толпа давила их со всех сторон, с ними в середине, как одна масса, колыхалась из стороны в сторону и не давала им возможности ни добить, ни бросить его...

— Топором-то бей, что ли?... задавили... Изменщик, Христа продал!.. жив... живущ... По делам вору мука. Запором-то!.. Али жив...

Только когда перестала уже бороться жертва и вскрики ее заменились равномерным протяжным хрипением, толпа стала торопливо перемещаться около лежащего окровавленного трупа. Каждый подходил, взглядывал на то, что было сделано, и с ужасом, упреком и удивлением теснился назад.

«О, господи, народ-то что зверь, где же живому быть? — слышалось в толпе. — И малый-то молодой... должно из купцов, то-то народ! сказывают, не тот... как же не тот... О, господи. Другого избили, говорят... эх, народ... кто греха не боится...» — говорили теперь те же люди с болезненно-жалостным выражением, глядя на мертвое тело с посиневшим, измазанным кровью и пылью лицом и с разрубленною длинною, тонкою шеею.

Выписав эту сцену, не можем не пожелать, чтобы на ней остановились и над нею пораздумали те, кому по легкомыслию или злосердечию нравятся народные расправы. Вырос ли, по их мнению, народ в пятьдесят лет, отделяющих нас от этого события настолько, чтобы, расходясь, не разбирать, кого он бьет, своего или чужого, врага или товарища, и, с другой стороны, дал ли он ручательства в том, что, совершив безумное злодейство толпою, он сам не станет сетовать об этом злодействе и

скорбеть о пролитой крови, сколько бы жертва его азартной свирепости ни казалась ему за минуту пред тем преступною? Мы хотели бы, чтобы над этим остановился г. Герцен, писавший воззвание «к топорам», и те, которые легкомысленно распространяли и поддерживали некогда это воззвание... Если их успокаивала *цель,* оправдывающая средства, то цель такая была и у Растопчина, и притом, как мы сейчас увидим, это в основании своем одна и та же цель, что у всех непрошенных опекунов общественного счастия.

Произведя этот суд и расправу, гр. Растопчин уехал из города.

Покачиваясь на мягких рессорах экипажа, он физически успокоился, и, как это всегда бывает, одновременно с физическим успокоением *ум подделал для него и причины нравственного успокоения. Мысль, успокоившая Растопчина, была не новая. С тех пор, как существует мир, люди убивают друг друга, никогда ни один человек не совершил преступления над себе подобным, не успокаивая себя этою мыслию. Мысль эта есть le bien publique (общественное благо), предполагаемое благо других людей.* Для человека, не одержимого страстию, благо это никогда не известно; но человек, совершающий преступление, всегда верно знает, в чем состоит это благо. И Растопчин теперь знал это.

Растопчин знал это, как знают это все, одержимые страстию, кто призывал массы к таким страшным расправам, к какой призывал Растопчин народ, растерзавший Верещагина. Библейские цари, пророки и первые христиане — все они убивались не бесцельно, а для bien publique. Дети иудеев в Египте, равно как и сверстники Христа, — вифлеемские грудные младенцы, — все тоже были изведены *для общественного блага*, и если счесть жертвы, преступно погубленные ради этого высокого принципа, то он представится нам таким же окровавленным, каким представлялась г-же Ролан статуя французской свободы. Да, да, — все это не ново, и, к сожалению, все это до сих пор еще не устарело настолько, чтобы этим пренебрегали вместе со старым, довечным способом оправдания те новые люди, которые сулят миру новое царство им одним, в их страстном ослеплении, известных истин.

Растопчин успокоил себя совершенно тем, что затравил Верещагина публикою для bien publique, и,

подъезжая к Яузскому мосту, он кончил совсем со своею совестью. Он *убедил себя,* что ему «должно было поступить так, что этого требовало le bien publique». Но у Яузского моста предстоял еще один последний экзамен администраторским способностям Растопчина и его натуре.

Было жарко, — описывает автор. — Кутузов, нахмуренный и унылый, сидел на лавке возле моста и плетью играл по песку, когда с шумом подскакала к нему коляска. Человек в генеральском мундире, в шляпе с плюмажем, с бегающими, не то гневными, не то испуганными глазами, подошел к Кутузову и стал по-французски говорить ему что-то. Это был гр. Растопчин. Он говорил Кутузову, что явился сюда потому, что Москвы и столицы нет больше, и есть одна армия. «Было бы другое, ежели бы ваша светлость не сказали мне, что вы не сдадите Москвы, не давши еще сражения: всего этого не было бы», — сказал он.

Кутузов глядел на Растопчина и, как будто не понимая значения обращенных к нему слов, старательно усиливался прочесть что-то особенное, написанное на лице говорившего с ним человека. Растопчин, смутившись, замолчал. Кутузов слегка покачал головою и, не спуская испытующего взгляда с лица Растопчина, тихо проговорил: «Да, я не отдам Москвы, не дав сражения».

Думал ли Кутузов совершенно о другом, говоря эти слова, или нарочно, зная их бессмысленность, сказал их, но гр. Растопчин ничего не ответил и поспешно отошел от Кутузова. И странное дело!.. Главнокомандующий Москвы, *«гордый гр. Растопчин, взяв в руку нагайку, подошел к мосту и стал с криком разгонять столпившиеся повозки».*

Как малозначительна, слаба и жалка в самом деле выходит в этом верном художественном образе эта *административная лодочка,* потерявшая возможность упереться своим шестом в народный корабль, который, мнилось ей, и она в силах свести куда-нибудь.

Но обращаемся к другим, баталическим, картинам и другим типам, которые рисует нам гр. Толстой в пятом томе «Войны и мира». Французы уже в Москве, и происходит известный московский пожар, исследование, или, лучше сказать, вероятное предположение причин которого интересно не менее всего, до сих пор расказанного, и достойно всего нашего внимания.

Сожжение Москвы автор «Войны и мира» не приписывает ничьему умыслу, ни патриотическому, ни вражескому, и этим, всеконечно, опять приведет в немалое раздражение тех, кто привык и во что бы то ни стало желает видеть в сожжении Москвы один из величайших поступков русского не только безгранично большого, но и безгранично дальнозоркого патриотизма. Простота, с которою гр. Толстой относится к московскому пожару, должна очень не нравиться сентиментальным энтузиастам и фразистым патриотам, а между тем в этой простоте слышится и чувствуется такая правда, что удивляешься, как можно думать иначе?

«Копеечной свечи», от которой сгорела, по поговорке, Москва, никто не зажигал с целью поджога. Граф Толстой говорит, что великий по размерам и по своему колоссальному значению пожар московский произошел от того же, от чего происходят на Руси девяносто девять всех пожаров — *от неосторожности* в обращении с огнем, или, как выражались наши старые судебные места, «от воли божией». На московском сожжении все путались, потому что никто не хотел посмотреть на это дело просто.

Французы, — говорит граф Толстой, — приписывали пожар Москвы au patriotisme féroce de Rastopchine;[1] русские — изуверству французов. В сущности же причин пожара Москвы в том смысле, чтобы отнести пожар этот на ответственность одного или нескольких лиц, таких причин не было и не могло быть.

Москва, по мнению автора, сгорела вследствие того, что она была поставлена в такие условия, при которых всякий деревянный город непременно должен бы сгореть, независимо от того, было или не было в нем около сотни (130) плохих пожарных труб.

Москва должна была сгореть вследствие того, что из нее выехали жители, и так же неизбежно, как должна загореться куча стружек, на которую в продолжение нескольких дней будут сыпаться искры огня. Деревянный город, в котором при жителях — владельцах домов и при полиции бывают почти каждый день пожары, не может не сгореть, когда в нем нет жителей, а живут войска, курящие трубки, раскладывающие костры и варящие себе есть.

[1] Дикому патриотизму Растопчина *(франц.)*.

Автор вспоминает, что если везде, где только бывают расквартированы войска, число пожаров в той местности тотчас же увеличивается от войск своих, то тем паче число это должно было увеличиваться от войск вражеских. Нам кажется, что против второй части этой мысли автору можно бы нечто возразить: вражеское войско, несмотря на свою враждебность, для увеличения числа пожаров могло значить, пожалуй, гораздо менее своего собственного, а не более. Со стороны пожарной опасности всех опаснее те, кто невежественнее и небрежнее обращается с огнем, а в этом случае первенство у нас едва ли может быть кем-нибудь восхищено. В последнюю крымскую войну было известно очень много примеров, что побывки неприятельских войск в обывательском доме обходились хозяину несравненно дешевле, чем гостинка своих русских войск и особенно казаков. Пишущий эти строки слышал сам множество таких жалоб от верных русских людей и имел случай читать об этом картинные описания в одном из крымских очерков г. Маркова (напечатанном с бесцеремоннейшими урезками, смысла которых объяснить невозможно). Но, оставя всякий спор, в самом деле можно верить, что le patriotisme féroce de Rastopchine и изуверство французов в сожжении Москвы нимало не причинны и что *Москва*, как говорит Толстой, *«загорелась от трубок, от кухонь, от неряшливости неприятельских солдат, от жителей — не хозяев домов*. Ежели и были поджоги (что весьма сомнительно, потому что поджигать никому не было никакой причины, а во всяком случае хлопотливо и опасно),[1] то поджоги нельзя принять за причину, так как *без поджогов было бы то же самое*.

Как ни лестно было французам обвинять зверство Растопчина и русским обвинять злодея Бонапарта или потом влагать героический факел в руки своего народа, нельзя не видеть, что такой непосредственной причины пожара не могло быть, потому что Москва должна

---

[1] Французы, как известно, очень строго судили заподозреваемых в поджигательстве и карали чрезвычайно сурово. Так это представляет и Толстой, один из героев которого, Пьер Безухий, чуть не был расстрелян по одному ни на чем почти не основанному подозрению в поджогах. *(Прим. автора.)*

была сгореть, как должна сгореть каждая деревня, фабрика, всякий дом, из которого выйдут хозяева и в который пустят хозяйничать и варить себе кашу *чужих людей»*.

VII. ВЫСКОЧКИ И ХОРОНЯКИ

Гр. Лев Николаевич вообще относится без особого почтения к деятелям, манкирующим судьбою частных лиц и своими собственными ближайшими частными обязанностями, а все усиливающимся иметь в виду лишь одно le bien publique (общественное благо). Толстой приводит весьма красноречивые доказательства, как такие суетливые люди в общем великом деле не приносят никакой пользы, а еще гораздо чаще причиняют весьма осязательный вред. Этот вывод, довольно верный вообще, особенно хорошо подходит к событиям двенадцатого года. Те, которые, не быв призваны к действованию на освобождение отечества, сами вмешались в это дело и даже удивляли народ своими жертвами, нередко приносили этими жертвами гораздо более вреда, чем пользы. Полки казаков, и собранные и содержимые богачами Мамоновым и Пьером Безухим, разбойничали и грабили окрестные деревни. Честный и благонамеренный Пьер Безухий, возомнив себя призванным освободить отечество посредством лишения жизни Наполеона, чуть не расстрелян в одной категории с ворами и потом, отсиживаясь в плену, поучался успокоительной мудрости у разделявшего с ним плен у французов солдатика Платона Каратаева, который «попал в солдаты за то, что из лесу хворостину украл, а вышло это хорошо — женатого брата собою заступил». Библейская Юдифь и Вильгельм Тель были призваны и избраны, и они совершают, — Безухий делает faux pas[1] и отсиживается за это в сарае. Дальше, другие специалисты-спасители, генералы, окружавшие Кутузова и желавшие если не заменить его, то снять его с его места, pour le bien publique всё делают, чтобы достичь своих благородных целей: Бенигсен, Растопчин, Ермолов — все из кожи вон лезут и пружатся, чтобы

[1] *Ложный шаг (франц.).*

стяжать себе от честного потомка... упрек в неумении стать в критические для отечества минуты выше мелочей собственного генеральского самолюбия, и вредят делу весьма серьезно. И все то, что каждый из них делает, он делал в убеждении, что делает это pour le bien publique, и из всего выходило одно зло и один вред. Пользу приносили в благопотребную пору лишь те, кто не задавался широкими замахами для le bien publique, а действовал просто и искренно, не забывая своих ближайших частных интересов и исполняя тем свой долг. Это были Кутузов да сама publique, само население страны, которое, по выражению автора, органически сослужило отечеству свою великую службу. Всем, знакомым с толками и возражениями, которые возбудили в нашем обществе подобные воззрения автора «Войны и мира», известно, сколько этот простой и безэффектный взгляд его раздражил и раздражает некоторых историков и ветеранов двенадцатого года. Эти почтенные люди, желающие выставить каждое тогдашнее движение осмысленным, во всем видят строго обдуманный план и исполнение великих диспозиций, которые de facto,[1] действительно только писались и почти никогда не выполнялись. Нынешняя книга «Войны и мира», в которой автор, нимало не убеждаясь возражениями, сделанными ему ветеранами, еще настойчивее старается доказать, что в наиболее трудную эпоху отечественной войны никаких обдуманных планов ни у кого не было, и диспозиции, какие давались при каком-либо деле, никогда почти на практике не исполнялись, всеконечно еще более раздражает охранителей старых представлений и снова вызовет ряд опровержений, основываемых на текстах известных писателей, изображавших ту недавнюю (и уже сделавшуюся *спорной)* эпоху. Вперед можно предрешить, что во всех возражениях, которые могут быть сделаны гр. Толстому *по печатанным источникам,* автор «Войны и мира» будет непременно опровергнут. Но есть источники иные, не печатанные и даже не писанные, но тем не менее достоверные: это семейные предания, которые живо сохранились еще у многих из нас и которым мы не имеем никаких оснований не доверять.

[1] На деле *(лат.).*

Они говорят нам, что гр. Толстой не ошибается в своих заключениях, что Россию действительно спасло не геройство полководцев, не планы мудрых правителей, а та органическая сила, которая была тверда в государе, фельдмаршале, солдатах, во всем народе. Одним словом, сила спасения заключалась в тех, кто, не рисуясь и не бравируя, *делал свое дело,* даже, если угодно, в *барыне,* которая убежала из Москвы в Самару со своими карликами и шутихами, *потому что она не хотела покоряться Наполеону, тогда как Берлин и Вена его приняли торжественно, как победителя, и плясали на балах во время постыдного чужеземного владычества.* У Вены и Берлина не было этого сокровища, этой барыни с шутихами, которой не только лишь скромные дочери нашей отчизны, а все мы так стыдились и морщились от нее... Это некоторым образом был «камень, которым небрегли зиждущие» и который высокоправдивый и смелый писатель бестрепетною рукою вознес во главу угла.

Автор «Войны и мира» так говорит о вкоренившихся фальшивых представлениях на счет событий отечественной войны:

В то время, как Россия была до половины завоевана, и жители Москвы бежали в дальние губернии, и ополчение за ополчением поднималось на защиту отечества, невольно представляется нам, не жившим в то время, что все русские люди от мала до велика были заняты только тем, чтобы жертвовать собою, спасать отечество или плакать над его погибелью. Рассказы, описания того времени все без исключения говорят только о самопожертвовании, любви к отечеству, отчаянии, горе и геройстве русских. *В действительности все это так не было.* Нам кажется это только так потому, что мы видим из прошедшего один общий исторический интерес того времени и не видим всех тех личных человеческих интересов, которые были у людей. А между тем в действительности те личные интересы настоящего в такой степени значительнее общих интересов, что из-за них никогда не чувствуется, не заметен даже интерес общий. Большая часть людей того времени не обращали никакого внимания на общий ход дел, а руководились только личными интересами настоящего. И эти-то люди были самыми полезными деятелями того времени. [1]

---

[1] Да будет прощено нам, что мы считаем позволительным сделать здесь выноску для того, чтобы сказать, что это взгляд не совсем новый. Может быть, кому-нибудь неизвестно, что проводить и оправдывать этот взгляд пробовали и другие писатели *с меньшим талантом. (Прим. Н. С. Лескова.)*

Те же, которые пытались понять общий ход дел и с самопожертвованием и геройством хотели участвовать в нем, были самые бесполезные члены общества, они видели все навыворот, и всё, что они делали для пользы, оказывалось бесполезным вздором, как полки Пьера, Мамонова, грабившие русские деревни, как корпия, щипанная барынями и никогда не доходившая до раненых, и т. п. В Петербурге и губерниях, отдаленных от Москвы, дамы и мужчины в ополченских мундирах оплакивали Россию и столицу и говорили о самопожертвовании и т. п.; но в армии, которая отступала за Москву, почти не говорили и не думали о Москве, и, глядя на ее пожарище, никто не клялся отмстить французам, а *думали о следующей трети жалованья, о следующей стоянке, о Матрешке-маркитантке и тому подобное...*

VIII. БОГАТЫРЬ НЕРАССУЖДАЮЩИЙ

Как бы в противоположность прекрасно и ярко обрисованному типу рассуждающего и умного человека тогдашнего времени, в лице князя Андрея, в «Войне и мире» есть так же искусно срисованный иной тип в лице Николая Ростова. В последнем томе у автора нарисована весьма подходящая к делу картинка, на которой гусар граф Николай Ростов представлен пребывающим в Воронеже. Вояка этот не то, что князь Андрей, этот и в военное время, как и в мирное, живет, «не портя мыслью аппетита». Он на балу у воронежского губернатора ухаживает за какою-то одною замужнею блондинкою с наивнейшею бесцеремонностью, присвоенною истым гусарам тогдашнего времени, когда каждый «Бурцев, забияка, собутыльник дорогой», искренно верил, «что чужие жены сотворены для него». Ростов так бесцеремонно приударяет за чужою женою, что хозяйка дома даже считает нужным заступиться за «бедного мужа», с которым наивный гусар между тем даже считает себя другом и, может быть, думает, что он делает ему честь, увлекая его жену под сень струй...

IX. ВРАЖЬЯ СИЛА

Кроме сил, заключавшихся в величии духа государя Александра Благословенного, в старческой мудрости Кутузова, в величавом спокойствии народа и покорной преданности солдат, граф Лев Николаевич видит при-

чины нашей победы над Наполеоном еще в самой наполеоновской армии и даже в самом Наполеоне. Великая армия Наполеона, по выводам графа Толстого, принесла с собою к нам в Россию уже готовые задатки своей гибели. С Наполеоном в Москве случилось нечто необъяснимое или нечто объяснимое только русскою пословицею: «Кого бог наказать захочет, прежде всего разум отнимет». Автор не соглашается с военными писателями, что известный фланговый марш за Красную Пахру был делом строго обдуманным, как полагают писатели, много препиравшиеся о том, какому лицу приписать эту глубокомысленную диверсию? Нельзя не согласиться с автором, что нелегко в самом деле понять, в чем состоит глубокомыслие и гениальность этого движения. Что самое лучшее положение для армии, которую не гонят и не атакуют, есть то положение, в котором люди легче берегут здоровье и где более продовольствия, — это можно понимать, нисколько не будучи гением. В 1812 году всякий знал, что самое выгодное положение армии после отступления от Москвы было на калужской дороге, и потому трудно понять, какими умозаключениями доходят историки до того, чтобы видеть нечто глубокомысленное в этом маневре. Дело в том, что обыкновенно, говоря о *гениальности* этого движения, забывают, что хорошо, что случилось так, что не случилось многого такого, что легохонько могло бы случиться! Автор ставит ряд очень красноречивых вопросов:

Что было бы, если бы не сгорела Москва, если бы Мюрат не потерял из виду русских, если бы Наполеон не находился в бездействии, если бы под Красною Пахрою русская армия, по совету Бенигсена и Барклая, дала сражение? Что было бы, если бы французы атаковали русских, когда они шли за Пахрою? Что было бы, если бы впоследствии Наполеон, подойдя к Тарутину, атаковал русских хотя бы с одною десятою долею той энергии, с которою он атаковал в Смоленске? Что было бы, если бы французы пошли на Петербург? При всех этих предположениях *спасительность флангового марша могла перейти в пагубность.*

Совершенно верно, что случись одно что-нибудь из того, что насчитано Толстым, — и «гениальное» фланговое движение вышло бы вовсе не гениальным и обошлось бы нам страшно дорого. Автор смело заключает, что

в месяц грабежа французского войска в Москве и спокойной стоянке русских под Тарутиным совершилось изменение в отношении сил обоих войск, духа и численности, вследствие которого преимущество силы оказалось на стороне русских. Признаками этого были: присылка Лористона, изобилие провианта в Тарутине, и *сведения, приходившие со всех сторон о бездействии, беспорядке французов, и комплектование наших полков рекрутами, и продолжительный отдых русских солдат.*

X. ВРЕДИТЕЛИ И ИНТРИГАНЫ

Охотников вредить главнокомандующему было много повсюду, и особенно вблизи его собственной особы. Все эти люди, все эти «сподвижники», правя свои срывки с «старого человека» и копая ему ямы, вовсе и не помышляли, что они роют могилу отчизне. Автор рассказывает, что в штабе армии, по случаю враждебности Кутузова с его начальником штаба Бенигсеном, и еще более по случаю присутствия там доверенных лиц государя, шла сложная игра партий: *А* подкапывался под *В*, *D* под *С* и т. д. Решения давались не такие, какие бы желалось давать, все путалось, срывалось не на том, с кого хотелось сорвать, все друг друга подзадоривало, злило и смущало. «Старый человек» является таким многострадальным страстотерпцем, что его действительно становится необыкновенно жалко и он овладевает в душе читателя большими симпатиями. Полновластнейший князь Кутузов так осилен недостойнейшими интригами (ради bien publique), что нередко вынужден поступать против своих убеждений и, чтобы кинуть отступного докучной интриге, дает кровопролитнейшее тарутинское сражение, судьбу которого предвидел и нимало в ней не сомневался.

Здесь идет весьма замечательный рассказ о том, что побудило фельдмаршала к тарутинскому делу. Это отчасти напоминает прежние рассуждения автора о самых причинах войны с Франциею, за которые граф Толстой уже выслушал столько разнообразных замечаний. Автор рассказывает следующее:

Второго октября казак Шаповалов, находясь в разъезде, убил одного и подстрелил другого зайца. Гоняясь за подстреленным зайцем, казак Шаповалов забрел далеко в лес и наткнулся на левый

фланг армии Мюрата, стоящий без всяких предосторожностей. Казак смеясь рассказал товарищам, как он чуть не попался французам. Хорунжий, услыхав этот рассказ, сообщил его командиру.

Казака призвали, расспросили: казачьи командиры хотели воспользоваться этим случаем, чтобы отбить лошадей, но один из начальников, знакомый с высшими чинами армии, сообщил этот факт штабному офицеру. В последнее время в штабе армии положение было в высшей степени натянутое. Ермолов, за несколько дней перед этим, придя к Бенигсену, умолял его употребить свое влияние на главнокомандующего для того, чтобы сделано было наступление.

— Ежели бы я не знал вас, я подумал бы, что вы не хотите того, о чем вы просите. Стоит мне посоветовать одно, чтобы светлейший наверное сделал противоположное, — отвечал Бенигсен.

Известие казаков, подтвержденное посланными разъездами, доказало окончательную зрелость события. Натянутая струна соскочила, и зашипели часы, и заиграли куранты. Несмотря на всю свою мнимую власть, на свой ум, опытность, знание людей, Кутузов, приняв во внимание записку Бенигсена, посылавшего лично донесения государю, выражаемое всеми генералами одно и то же желание, предполагаемое им желание государя и сведение казаков, *уже не мог избежать неизбежного движения и отдал приказание на то, что он считал бесполезным и вредным,* благословил совершившийся факт.

Впоследствии Кутузов получил от государя письмо, писанное 2-го октября. Государю тоже было угодно, чтобы отступления и выжидания были заменены действиями иного рода. Кутузов по этому письму покойного императора непременно должен был бы дать сражение, которое, как выше сказано, сам он, Кутузов, считал бесполезным. Впрочем, письмо императора было получено тогда, когда сражение было уже дано.

Над ролью, которую играл в этом деле Алексей Петрович Ермолов, тоже нельзя не остановиться. О характере и правилах этого деятеля в некоторых слоях нашего общества существуют представления весьма неверные. Граф же Толстой рисует нам эту недавно оставившую свет личность в том свете, в каком большинство людей, имевших случай знать покойного Ермолова, представляли его лишь в самых интимных рассказах. Перед начинающимися сейчас строками вспомним, что Ермолов жаждал схватки и, как мы видели несколько строк назад, даже докучал этим Бенигсену. Теперь желания его исполнились. Кутузов против своей воли и против всех расчетов и соображений давал сра-

жение. Алексею Петровичу предоставлено самое распоряжение началом дела. Наступление было назначено пятого октября.

> 4-го числа утром Кутузов подписал диспозицию. *Толь прочел ее Ермолову, предлагая заняться дальнейшими распоряжениями.* Когда диспозиция была готова в должном количестве экземпляров, был призван офицер и послан к Ермолову, чтобы передать ему бумаги для исполнения.

Но посланный нигде не находил Ермолова и после долгих стараний отыскал его уже на какой-то пирушке. Этому последнему говорил его штабный товарищ, что *Ермолов отлучился не случайно.* «Это штуки, это все нарочно, чтобы *Коновницына* подкатить. Посмотри, завтра каша какая будет!»

И действительно, Ермолов «подкатил» Коновницына. Является ужасная каша, какой свой своим не должен бы, кажется, подстроить ни из каких видов, а не только из-за того, чтобы «подкатить Коновницына». Диспозиция не повела ни к чему. Сколь ни велика была власть фельдмаршала и сколь ни важными должны были казаться в эти критические минуты его приказания, они не исполнены самым дерзостнейшим образом. Виновником всего этого неисполнения, за что следовал бы самый строгий военный суд, является генерал Алексей Петрович Ермолов, тот самый Ермолов, которого общественное мнение всегда почитало крайне обиженным и желало видеть его во главе наших военных сил в последнюю крымскую войну.

Вот что рассказывает граф Толстой об этом еще очень недавно весьма популярном у нас человеке:

> На другой день рано утром дряхлый Кутузов велел разбудить себя, помолился богу, оделся и с неприятным сознанием того, что он должен руководить сражением, которое он не одобрял, сел в коляску и выехал из Леташовки, 5 верст позади Тарутина, к тому месту, где должны были быть собраны наступающие колонны. Кутузов ехал, засыпая и просыпаясь и прислушиваясь, нет ли справа выстрелов, не началось ли дело? Но все еще было тихо. Только начинался рассвет сырого и пасмурного осеннего дня. Подъезжая к Тарутину, Кутузов заметил кавалеристов, ведших на водопой лошадей через дорогу, по которой ехала коляска. Кутузов присмотрелся к ним, остановил коляску и спросил: «Какого полка?» Кавалеристы были из той колонны, которая должна была быть уже далеко впереди в засаде. «Ошибка, может быть», — подумал старый главно-

командующий. Но, проехав еще дальше, Кутузов увидал пехотные полки, ружья в козлах, солдат за кашею и с дровами, в подштанниках. Позвали офицера. Офицер доложил, что никакого приказания о выступлении не было.

— Как не было? — начал Кутузов, но тотчас же замолчал и велел позвать к себе старшего офицера. Когда был призван офицер, оказалось, что действительно приказания от Ермолова передано не было. Кутузов разругал этого офицера площадными словами. Другой подвернувшийся капитан Брозин, ни в чем не виноватый, потерпел ту же участь.

— Это что за каналья еще? Расстрелять! Мерзавцы! — хрипло кричал Кутузов, махая руками и шатаясь. Он испытывал физическое страдание. Он, главнокомандующий, светлейший, которого все уверяют, что никто никогда не имел такой власти в России, как он, он поставлен в это положение, *поднят на смех перед всею армиею!* «Напрасно так хлопотал, молился об нынешнем дне, напрасно не спал ночь и все обдумывал, — думал он о самом себе. — Когда я был мальчишкою офицером, никто бы не смел так надсмеяться надо мною...» А теперь!.. Он испытывал физическое страдание, как от телесного наказания, и не мог не выражать его гневными и страдальческими криками.

Вот какие вещи проделывали «сподвижники» с главнокомандующим, в руках которого, по-видимому, действительно была сосредоточена громаднейшая власть. Но и это еще не все. Спасители отечества не уставали в интригах и в крайних дерзостях перед единым сильным в этой брани «старым человеком». Кутузова терзали интригами на каждом шагу, а к тому же и сам он, чему легко верится, еще более терзался тем, что не знал, что предпринять и как спасти государство? Он имел один план довести французов до гибели, *«заставить их жрать лошадиное мясо»,* но как устроить эту гибель? Это не слагалось ясно в его сознании. Гибель эта устроилась, как полагает гр. Толстой, сама собою. На диспозицию в сражении никто не попал, ни гр. Орлов-Денисов, ни Греков; пехотные колонны не показывались. Гр. Орлов-Денисов шепотом скомандовал своим людям «садись», распределились, перекрестились и с богом! По лесу загремело «ура», и одна сотня за другою со своими дротиками наперевес полетели казаки через ручей к лагерю.

Один отчаянный, испуганный крик первого увидевшего казаков француза, и все, что было в лагере, неодетое, спросонков бросило пушки, ружья, лошадей и побежало куда попало.

Ежели бы казаки преследовали французов, не обращая внимания на то, что было позади и вокруг них, они взяли бы и Мюрата

и все, что тут было. Начальники и хотели этого. *Но нельзя было сдвинуть с места казаков, когда они добрались до добычи и пленных.* Команды никто не слушал.

Дальше идет картинное описание самого Тарутинского дела, при котором все сбивались, путались, не попадали на свои места по диспозиции, упрекали друг друга бог весть в чем и гибли в огромном числе, без всякой пользы.

Когда Кутузову донесли, что в тылу французов, где прежде никого не было, теперь было два батальона поляков, *он покосился назад на Ермолова.*

— *Вот просят наступления, предлагают разные проекты, а чуть приступим к делу, ничего не готово, и предупрежденный неприятель берет свои меры.*

Ермолов прищурил глаза и слегка улыбнулся, услыхав эти слова.

— Это он на мой счет забавляется, — тихо сказал Ермолов и толкнул коленкою Раевского, стоявшего подле него.

Все сражение состояло только в том, что сделали казаки Орлова-Денисова; остальные войска лишь напрасно потеряли несколько сот людей.

Но... да не посетуем на старческую мудрость и старческое равнодушие «просыпавшегося и снова засыпавшего Кутузова». Старость вообще ходит осторожно и подозрительно глядит, да и нельзя ей глядеть иначе, когда она знает «как делается история». Тарутинское сражение было дело, за которое, по словам Толя, «надо было расстрелять», а по словам Кутузова, это было дело, потерянное по непростительному неумению, небрежности и беспорядку, а между тем окончилось это дело для «сподвижников» вот чем:

Вследствие этого сражения Кутузов получил алмазный знак; Бенигсен тоже алмазы и 100 000 р.; другие по чинам соответственно получили тоже много приятного, и после этого сражения сделаны еще новые перемены в штабе.

«Вот так у нас всегда делается, все навыворот», — говорили после Тарутинского сражения русские офицеры и генералы, *точно так же, как говорят и теперь, что кто-то там глупый делает так навыворот, а мы бы не так сделали.* Но люди, говорящие таким образом, или не знают дела, про которое говорят, или умышленно обманывают себя.

Злобная, своекорыстная интрига особ, у которых на устах не остывало le bien publique (общественное благо) и которые в то же время на самом деле заботились

только о своих самолюбиях, не оставляла фельдмаршала и в последующие дни, пока не исполнился обет монарха, и ни одного неприятельского воина не осталось на земле русской. В то время, когда армия Наполеона, по непостижимым ошибочным расчетам вождя своего, двинулась бог знает какими путями, преступно растратив провиант, с которым она могла держаться и в Москве и во многих местах по дороге; когда Кутузову донесено было, что Москва свободна, и «старый человек» заплакал и, благословив бога, воскликнул *«Россия спасена!»* — все высшие чины армии почувствовали неотразимое желание отличиться, отрезать, перехватить, полонить французов, и все требовали наступления. Кутузов один все силы свои употреблял для того, чтобы противодействовать наступлению.

Кутузов не мог сказать жаждавшим резни того, что мы говорим теперь: зачем сражения, и загораживания дороги, и потери своих людей, и бесчеловечное добивание несчастных? Зачем все это, когда от Москвы до Вязьмы без сражения растаяла одна треть французского войска. Но он говорил им, выходя из своей старческой мудрости, то, что они могли понять. Он говорил им про золотой мост, и они смеялись над ним, клеветали его и рвали, и метали, и куражились над убитым зверем.

Под Вязьмою Ермолов, Милорадович, Платов и другие, находясь в близости от французов, не могли воздержаться от желания отрезать и опрокинуть два французские корпуса. *Кутузову, извещая его о их обмане, вместо донесения, они прислали в конверте лист белой бумаги.* И сколько ни старался Кутузов удерживать войска, войска наши атаковали, стараясь загородить дорогу. Пехотные полки с музыкою и барабанным боем ходили в атаку и побили и потеряли тысячи людей.

Этим кончается вновь вышедший пятый том «Войны и мира», представив нам взгляды хотя и не совсем новые, но высказанные с замечательным тактом и убедительностию, и очертив многие исторические лица не карандашом казенного историка, а свободною рукою правдивого и чуткого художника.

XI. ДВА АНЕКДОТА О ЕРМОЛОВЕ И РАСТОПЧИНЕ

Ермолов и Растопчин графа Толстого (которые, конечно, вполне ответственны для автора) отныне останутся в представлениях общества не такими, какими их изображали реляции да надутые слухи, а такими,

какими они легко и рельефно представляются каждому по художественным абрисам гр. Толстого. Его Ермолов, забывающий распорядиться Тарутинским сражением и отшучивающий кадетские шутки с фельдмаршалом Кутузовым, которому этот нетерпимейший из самолюбивых людей, как школьник, прислал вместо донесения лист белой бумаги, это тот же самый Алексей Петрович Ермолов, который после большой популярности, составленной себе на Кавказе, осевшись в Москве и потеряв всякую возможность фигурировать в хорошей позиции в влиятельных сферах, как манерная барышня принимал воздыхания, выраженные в известной (особенно в то время) басне: «У всадника, наездника лихого, был конь». Подразумевалось, что в басне этой проводилась ермоловская история, что «конь» — это был сам Ермолов, а «всадник, наездник лихой», император Александр Первый. Басня, как все, вероятно, помнят, развивалась таким образом: «Наездник лихой умер, и конь его достался новому всаднику; но новый всадник боялся, или не умел сесть на этого коня и потому держал его на стойле». Басня эта во мнении Ермолова равнялась смелости, чтобы «истину царям с улыбкой говорить», а на самом деле для общества, читавшего эту басню, все это были «намеки тонкие на то, чего не ведает никто». Ермолов, обрисованный в главных чертах своего характера графом Толстым, так оставался верным этому абрису во всю остальную свою жизнь. Так, не довольствуясь кавказскою славою первого русского героя, он не пренебрегал приобретением большей популярности в Москве через панибратские общения и либеральные разговоры с молодыми людьми, которых *смешил,* называя покойного фельдмаршала Паскевича-Эриванского графом Иерихонским и критикуя перед ними во все стороны действия правительства. Все это, конечно, было известно и двору и правительству и в глазах того и другого создавало Ермолову положение, которым покойный генерал не мог быть доволен, — от него, что называется, сторонились, избегали его. Общество к нему благоволило, но иногда и из общества слышалось ему резкое слово. Так, рассказывали, что незадолго до своей недавней кончины, говоря о людях, известных у нас под названием *нигилистов*, Ермолов спросил своего собеседника: «И скажите, пожа-

луйста, откуда такая дрянь могла взяться на нашей земле?» — а собеседник в ответ рек ему «истину с улыбкой»:

— Одни вы, ваше превосходительство, гуляя по бульвару, сотни две, я думаю, посеяли.

— Это когда? — спросил удивленный и недовольный Ермолов.

— А вот когда фельдмаршала Иерихонского с братиею разбирали! — отвечал собеседник.

Ермолов надулся.

Другой деятель и «сподвижник», гр. Растопчин, тоже, как мы видели, отлился у графа Толстого живым и не умрет в этом образе до века. Пишущий эти строки имеет в своем семействе несколько преданий и «старых памятей» о двенадцатом годе, которые весьма во многом совпадают с рассказами графа Толстого, особенно по отношению к оставлению Москвы и к графу Растопчину. Есть даже один, касающийся графа Растопчина, анекдот, которого не хочется перемолчать, да и который притом же можно очень кстати рассказать в этом месте.

Дело касается описанной гр. Толстым сцены у моста, когда графом Растопчиным овладело какое-то непостижимое бешенство, и он, вырвав из рук казака нагайку, начал ею хлестать во все стороны по столпившемуся у моста народу.

Дед мой, служивший в то время в Москве, спасался со своею семьею бегством в Орловскую губернию. Они ехали в большой, тяжело навьюченной рессорной брике, которую едва тащила пара лошадей, неслыханно дорогою ценою нанятых у какого-то калужского мужика. Семейство деда было затерто у моста необозримою толпою, которая теснилась, жалась и торопилась переправиться через мост, чтобы попасть на дорогу. Казаки и драгуны старались дать кое-какой порядок этой переправе и немилосердно рассыпали направо и налево щедрые колотушки нагайками и ножнами сабель. Угрожаемый этими блюстителями порядка, народ на минуту стихал, но потом вдруг снова рвался, как попало, вперед на мост: одни прорывались и, получив несколько ударов по спине и по шее, уезжали, других заворачивали, отчего давка и суматоха увеличивались более. Тогда люди благоразумные решили не толкаться и ждать своей

очереди по ряду, пока толпа хоть немножко разредеет. В числе этих благоразумнейших, добровольно ставших в порядок, был и мой дед. Не видя никакой возможности переправиться через мост немедленно, он съехал с дороги к берегу и остановился у затона. Здесь было гораздо свободнее, и сместившиеся сюда беглецы, стоя спокойно в стороне, наблюдали терпеливо суетливую переправу. Несмотря на всю суету и безвременье, некоторые тут же начали подкрепляться водочкою, пирожками и другими захваченными с собою в дорогу запасами, а два купеческие семейства даже поставили самовар и уселись у самой воды пить чай.

По случаю дед мой здесь столкнулся с знакомыми: это был пожилой регистратор одного из сенатских департаментов с второбрачною женою, молодою толстенькою весноватою бабочкою, известною склонностию при всяком удобном случае венчать рогами чело своего пожилого супруга. У рогожаной кибитки этого семейства, как раз грядка к грядке, пристала телега, на которой на кучах всякого домашнего скарба сидели, пригорюнясь, старушка и длинный худой молодой человек с огненно-рыжими курчавыми волосами, курносым носом, карими глазами и рядом перламутровых белых зубов. Это был приказный из той регистратуры, которою правил муж слабовольной блондинки. В своем кружке рыжий приказный слыл за отчаянного и счастливого волокиту: он очаровывал приказничих своими светскими манерами и разными приятными талантами, умел смешно копировать обманываемых им мужей, пел и играл на щипок на гитаре. Спасаясь со своею матерью из Москвы в неведомую глубь России, этот канцелярский ловелас двенадцатого года вез с собою и свою гитару, которая, как вещь бренная и хрупкая, была привязана веревочкою на самом верху воза. Пристав у затона, в ожидании пропуска на мост, приказный заметил с одной стороны своей телеги податливую жену регистратора, а с другой брику, в которой сидели моя, молодая в то время бабушка и ее две хорошенькие сестры-девушки, и почувствовал неотразимое желание обратить на себя женское внимание и приволокнуться, сколько позволяли обстоятельства. Помещаясь высоко на возу, как собака на заборе, приказный отвязал свою гитару и, подыгрывая себе, запел:

Барышни злодейки,
С вами пропадешь,
От вас, чародейки,
Места не найдешь.

Бабка моя и ее сестры несколько смешались от этого заигрывания и сидели, делая вид, что они не слышат ни песен, не замечают самого певца; но весноватая регистраторша так и выставлялась к нему всею своею полною и сочною фигурою. Мужа это приводило в ярость: он требовал, чтобы жена не смотрела на соблазнителя, и грозил чем-то самому соблазнителю; но ни жена, ни приказный его не слушали, и один продолжал петь свои песни, а другая посылала ему ответные выстрелы скоромными глазами. В это время влетел сюда в середину этих спокойно ожидавших очереди людей граф Растопчин и, хлеща с азартом кого попало нагайкою, вытянул ею со всей силы ревнивого регистратора. Чиновник взвыл и, с умыслом ли или без умысла, с одного страха и желания подставить вместо своей спины чужую, отчаянно крикнул: «Ваше сиятельство! это вот он, он разбойник!» И регистратор указал на приказного, который, разиня от удивления рот, вскочил на своем возу на ноги и стоял, вытянувшись во весь рост, с гитарою в руке.

Граф Растопчин вскрикнул: «А!», и мгновенно бросился со своею нагайкою на указанного ему приказного. Приказный как мы сказали, стоял высоко, и потому граф, примеряясь достать его, с такою силою замахнул нагайку, что ее перержавевшее ушко, соединявшее плеть с рукояткою, разорвалось, и плеть, высоко взвившись в воздух, исчезла, а в руке Растопчина осталось одно кнутовище. Сердитый граф пришел еще в бо́льшую ярость от этого несчастия и ткнул приказного концом кнутовища в живот. Приказный был заведомо необыкновенно щекотлив, до того, что с ним делались судороги, если его кто-нибудь из товарищей хватал для смеха за колено. Когда граф ткнул его в живот, он вдруг побледнел, выронил из рук свою гитару и, падая с сжатыми от судороги кулаками с воза, вскрикнул:

«Граф, я щекотлив!»

Растопчин страшно испугался. Он принял слова приказного и его прыжок совершенно в другом, несколько небезопасном для себя смысле. Отпрянув назад, граф

бросился в коляску и, крикнув оттуда приказному: «Мерзавец!», покатил и скрылся из вида.

Впоследствии, в течение моей жизни, мне довелось не раз слышать этот анекдот приснащенным другому высокопоставленному лицу, которое имело привычку ругать площадными словами и дергать за пуговицы стоящих в строю офицеров, но, имея полнейшее доверие к словам моего никогда не лгавшего деда, я имею слабость считать позднейший рассказ в этом роде вариациею на тему, действительно разыгранную графом Растопчиным и щекотливым приказным.

XII. О НЕКОТОРЫХ КРИТИКАХ, НАПИСАННЫХ ПО ПОВОДУ «ВОЙНЫ И МИРА»

Вот и весь наш отчет о последнем из вышедших до сих пор томов наилучшего русского исторического романа.

Мы оговаривались в начале нашей статьи, что мы пишем не более как *отчет,* и просили не подозревать в нас желания написать критику по этому прекрасному и многозначащему сочинению.

Это не наше дело, не дело газеты.

Но тем не менее мы находим себя и в средствах и вправе заключить наш отчет несколькими небольшими замечаниями о рассмотренной нами книге, о свойствах таланта и направления ее автора и, кстати, о некоторых наиболее заметных критиках его последнего сочинения.

Во-первых, мы не можем не заметить и не пожалеть о том, что пятый том «Войны и мира» написан местами весьма небрежно. Есть страницы, и их, к сожалению, не мало, где эта небрежность изложения достигает до того, что через нее самые мысли становятся неясными и изложение теряет много своей прелести и силы. Мы вовсе не претендуем на автора за своебытность его языка и некоторых его литературных приемов, но имеем полное право жалеть, что такое прекрасное произведение, как «Война и мир», в очень многих местах (особенно пятого тома), не свободно от таких стилистических недостатков, которые были бы довольно непростительны даже и в газете, где всякая почти работа делается на срок, а нередко и к

спеху, чего с романистом, находящимся в положении уважаемого графа, конечно, быть не могло.

Но, указав на этот недостаток романа, мы считаем долгом добавить, что всеми почти усматриваемая в «Войне и мире» шероховатость слога и некоторая неточность выражений не могут отнимать у этого сочинения имени сочинения прекрасного, точно так же как горы и овраги земного шара не могут лишать этого шара права называться круглым. Существование гор и буераков мы отрицать не можем, но шар тем не менее кругл.

Теперь, *во-вторых,* о самом авторе, о силе и духе самого творца этого произведения, составляющего гордость современной литературы.

Кроме ветреных и легкомысленных критиков, рассматривающих произведение графа Толстого лишь с одной стороны, именно с той стороны, которою «Война и мир» не подходит к бесплодному и в настоящее время уже беспочвенному направлению предвзятого отрицания, графу Толстому был сделан один забавный упрек и одно не менее забавное и неосновательное определение его значения в ряду современных романистов. Один философствующий критик упрекнул автора, что он *«просмотрел народ* и не дал ему принадлежащего значения в своем романе».

Говоря по истине, мы не знаем ничего смешнее и неуместнее этой забавной укоризны писателю, *сделавшему более чем все* для вознесения народного духа на ту высоту, на которую поставил его граф Толстой, указав ему оттуда господствовать над суетою и мелочью деяний отдельных лиц, удерживавших за собою до сих пор всю славу великого дела. Вся несостоятельность этого простодушного укора столь очевидна, что его недостойно и опровергать.

Другой, также философствующий рецензент, классифицируя творческие силы автора и стараясь проникнуть во святая души его, нашел истинно замечательный способ записать графа Толстого в особую категорию *реалистов,* категорию, которая, впрочем, не имеет ничего общего с так называемыми на языке наших философских критиков «грубыми реалистами». Замечательный вывод, одновременно свидетельствующий и о верности собственных представлений критика, угнетаемой потребностию

классификации, и о всяком отсутствии в нем столь необходимой для критического писателя чуткости!

Если уже есть неотразимая потребность ныне вновь перечислять графа Л. Н. Толстого в какую-нибудь категорию *истов,* то не позволительнее ли всего было бы отнести его совсем не к разряду каких бы то ни было реалистов (каким он *никогда* не был, ни в одной написанной им строке), а совсем к другой категории мыслителей, к другой плеяде писателей, понимающих земную жизнь не так, как может принять ее какой бы то ни было грубый или нежный реалист? Его *одухотворенный* князь Андрей в свои предсмертные минуты возносится совсем над *земным человеком:* любовь к страстно любимой женщине в нем не остается ни одной секунды на той степени, на какой мы ее видели, пока в князе говорил его *перстный Адам.* Но вот «взошло в дверь *оно»,* и... любовь князя не падает и не увеличивается по отношению к любимому лицу, а она совсем становится *иною* любовью, какою не любят никакие реалисты.

Читая это превосходное место в романе графа Льва Толстого, невольно вспоминаешь другое место у другого графа Толстого (Алексея Константиновича), и тут совершенно неожиданно и вдруг два эти однофамильные и одномысленные писатели начинают пояснять нам друг друга.

Желая проникнуть в красноречивое молчание человека, умирающего с чувством сознания высших призваний смертного, мы можем читать строки Алексея Толстого и понимать, что князь Андрей теперь в своей любви уж ощущал

Не узкое то чувство,
Которое, два сердца съединив,
Стеною их от мира отделяет.

Больной телом, но пробудившийся от «сна жизни», князь ощущал любовь, которая

Его роднила со вселенной,
Всех истин он источник видел в ней.
Всех дел великих первую причину.

Чрез ту любовь он

смутно понимал
Чудесный строй законов бытия,
Явлений всех сокрытое начало.

Он видел

все ее лучи,

раскинутые врозь по мирозданью, — лучи, которые он в себе готов *«соединить»*.

Сосредоточил бы их блеск блудящий
И сжатым светом ярко б озарил
Своей души неясные стремленья.

Он весь уже

Одно звено той бесконечной цепи,
Которая, в связи со всей вселенной,
Восходит вечно выше к божеству.
. . . .

И таков автор «Войны и мира» везде, таков он во всех тех строках своего романа, которые более рельефно выдают его субъективные чувства и отношения к людям и природе. Вспомним размышления князя Андрея перед возрождающимся дубом и подержим в памяти прочитанную теперь кончину этого самого князя... и это называется *реалист!!* Почему, — если уже философским начетчикам, разбирающим художественные произведения, необходимо классифицировать авторов по отделам *истов*, — почему, говорим, они, мудря над зачислением автора «Войны и мира» в определенную группу мыслящих людей, не вспомнили о *спиритуалистах,* с которыми давно замечено столько родного и общего у графов Толстых (Льва и Алексея Константиновича). Мы говорим о *спиритуалистах,* сильных и ясных во всех своих разумениях дел жизни не одною мощию разума, но и постижением всего «раскинутого врозь по мирозданью» владычным духом, который, «в связи со всей вселенной, восходит выше к божеству»...

Мы не имеем чести знать личные мнения автора «Войны и мира», но, знакомые со всеми высказанными им в печати чувствами, верованиями и надеждами, мы решаемся со спокойствием утверждать, что зачисление его по последней категории было бы гораздо ближе к истине, чем желание представить в нем некоторую квинтэссенцию реализма, хотя бы даже имеющего честь не

возбуждать против себя и самой безвредной злобы философских начетчиков.

Теперь — *третье и последнее замечание* насчет критиков военных, занимающихся не авторскою личностию и красотою его произведения, а правдою его выводов и заключений о вопросах, касающихся отечественной войны. Со стороны этих специалистов сделаны графу Толстому наибольшие и наичувствительнейшие укоризны. Эти критики высказали то мнение, что граф Толстой отвергает всякое значение военных талантов и баталических гениев. Им, этим критикам, показалось оскорбительным, что граф Толстой больше верит «старым памятям», чем авторитетным, по мнению критиков, записям, и что он отверг будто бы всякое значение военных способностей Кутузова с Наполеоном и их сподвижников.[1]

Нам опять приходится поневоле удивляться этим роковым для критиков мнениям. Где они в новом сочинении графа Толстого нашли отрицание военных талантов и неуважение к способностям князя Кутузова и французского императора? Автор нигде решительно не высказался в своем сочинении против значения *военного гения,* но он везде поставил его в тесную зависимость от *духа народа,* с которым заодно или врозь действует гений... Что же тут невероятного или что странного и предосудительного и для правды дела и для патриотизма автора?

---

[1] Странная претензия за внимание к старым памятям! Что можно было бы сделать без них для того, чтобы воспроизвесть очерки лиц, представленных сухими и подцензурными историками и реляторами, вполне зависимыми от тех, о ком они доносили и писали? Можно ли, например, по печатным источникам нарисовать сколько-нибудь похожий портрет Аракчеева или фельдмаршала графа Каменского, если не черпнуть живой струи из новогородских памятей о первом, который желал доказать императору Александру Павловичу, что военные поселения благоденствуют, и, показывая государю избы поселенцев, пересылал из одной избы в другую одного и того же жареного гуся, и из орловских преданий о втором, который то потешал Орел крепостным театром, то травил у себя на дворе духовенство, осмелившееся прийти к нему с христианскою требою? Все эти герои жили и свирепствовали в век цензурного гнета и литературного безмолвия, и про них не напечатано почти ничего того, что стоило бы напечатать, дабы потомство могло себе представить их такими, какими они действительно были. Семейные предания и старые памяти тут единственный материал. *(Прим. автора.)*

Не известно ли критикам, что у падавших народностей в самую крайнюю минуту их падения являлись очень замечательные военные таланты и... не могли сделать ничего капитального для спасения отчизны? Оставляя в стороне большие исторические примеры, которые должны быть на счету у всех начинающих трактовать о делах подобного рода, вспомним одну столь популярную ныне Польшу, последний воинственный вождь которой, тоже популярный и сведущий в военном деле, Костюшко, бросил на землю меч свой и воскликнул: «Finis Poloniae!» [1] В этом восклике способнейшего вождя народного ополчения поляки напрасно видят нечто легкомысленное. Костюшко видел, что в низком уровне духа страны было уже нечто невозвратно изрекшее его любимой родине «Finis Poloniae!» Столь велико и всесильно значение духа народа и столь зависимо от него значение вождя военных и всяких иных сил его! (Тем, кому это кажется темно и непонятно, рекомендуем новое сочинение Н. И. Костомарова «Последние годы Речи Посполитой», там это рассказано и доказано с большим мастерством.) Никто не может с успехом предводительствовать тем, что само в себе заключает лишь одну слабость и все элементы падения. Костюшко, воскликнув свое роковое «Finis Poloniae!», собственно говоря, не сказал этим ничего такого, что в сотой доле равнялось бы изречению Монтескье, что «всякое правительство впору своему народу». Что такое в самом деле одна «закончившаяся» Польша в сравнении с судьбою наций, управляемых правительствами, от которых они страдают и которых должны стыдиться, сознавая в то же время, что эти правительства держатся в них единственно в силу возможности в них держаться? Падение одной Польши решительно ноль в сравнении с этим неотрицаемым и наипечальнейшим мировым фактом! Всякой дурно управляемой стране дурно от ее плохого правительства потому, что такое правительство *ей впору* — другими словами, что она не умеет создать необходимости уничтожения существующего дурного правления и установления лучшего. Дело столь ясно, что становится непостижимо, каким образом строгое, но правдивое осуждение духу народов, выраженное в Мон-

[1] Конец Польше! *(лат.)*.

тескье, считается правдивым и безобидным для всех без исключения народов, а болезненный крик Костюшки, не выразивший ничего иного, как тот же самый приговор по отношению к одной Польше, вменяется ему очень многими друзьями Польши в осуждение? Дух народа пал, и никакой вождь ничего не сделает, точно так же, как сильный и сознающий себя народный дух сам неведомыми путями изберет себе пригодного вождя, что и было в России с засыпавшим Кутузовым, которого кадетствующий граф Растопчин ставил наряду с сумасшедшими из желтого дома, а Ермолов дурачил, посылая ему вместо донесения лист белой бумаги. В чем тут отрицание военного гения, военных знаний и военных талантов — мы решительно не можем доискаться, и видим во всем рассматриваемом нами сочинении автора «Войны и мира» не более как довольно старую и весьма верную мысль, что военные вожди, как и мирные правительства, состоят в непосредственной зависимости от духа страны и вне пределов, открываемых им для эксплуатации этим духом, ничего совершить не могут. Иначе с верою в независимую силу личности можно дойти до того, до чего, по одесским рассказам, доходили в Крымскую войну, во время осады Одессы, тамошние евреи. В то время, как известно, на высоте еврейской цивилизации в России засверкал редактор еврейского журнала «Рассвет» господин Рабинович. Это было время необыкновенно быстрых успехов. Маленькие люди возносились от земли в тумане всеобщего опьянения прогрессом, толклись в воздухе, как мошки, и тучами падали в родное болото. В Одессе не знали меры этой чехарде, пока, наконец, не дошли до геркулесовых столбов безумия, с которым и прокричали, через *Листок* прославленного *Общества пароходства и торговли* г. Новосильского, такое приветствие редактору этой конторской газеты:

Да здравствует прогресс, сын века,
И редактор «Листка» Громека!

Рабинович получил таким же точно совершенно не зависящим от него образом неожиданную и огромную популярность в Одессе. Популярность эта была столь велика, что одесские евреи, как рассказывают, стали считать редактора своего «Рассвета» ответственным во

всем худом и добром, что выпадало на долю их края, и при виде летевших над их городом неприятельских ядер и бомб, как и при объявлении потом рекрутских наборов, отчаянно кричали: «О, вей, Рабинович! Ай, ой, ой, Рабинович! Рабинович! Рабинович!» — как будто бы и в самом деле г. Рабинович мог защитить их от неприятельских ядер и от наборов.

Идучи путем слепого преклонения перед независимостью значения отдельных личностей, не мудрено дойти до того же самого, до чего доходили южнорусские евреи со своим г. Рабиновичем; но это отнюдь не будет ни к чести, ни к славе разделяющих такое увлечение личностию, получившею в их глазах вовсе не принадлежащее ей значение.

Та крымская война, о которой мы здесь вспомнили, дает нам тысячу примеров, оправдывающих выводы графа Толстого и убеждающих нас, как мало зависят общие судьбы дела от единичной личности, в руки которой оно попадает по тому или другому случаю. Защита Севастополя и вообще вся последняя крымская война несомненно принадлежат к геройским подвигам русских, но вспомним только, в чьих руках не перебывало это великое дело и чему оно не подвергалось? Не касаясь того, чего в настоящее время еще неудобно касаться, вспомним лишь то, что уже рискнула вскрыть наша печать: вспомним напечатанные в одном прекратившемся издании статьи «Изнанка Крымской войны», вспомним дело Затлера по продовольствию войск, отчеты профессора Гюббинета по врачебной части в армии, — вспомним тех, кто делался героями великой страды, которую несла вся Россия... вспомним сомнительного матроса Кошку, который, по отчетам газет, чуть не летал в вражий лагерь в шапке-невидимке на ковре-самолете; вспомним одного невинного офицерика и «петербургских патриотов», куривших в честь этого юноши папиросы его имени в то время, как гангренозные раны солдат русской армии перевязывались соломою, а корпия, которую щипали на своих soirées[1] наши дамы, перепродавалась, через татар и евреев, в неприятельские госпитали... Вспомним все это — и замолчим, признавая несомненную пользу прав-

[1] Вечерах *(франц.)*.

живых картин графа Толстого, или уже станем тоже, что ли, кричать что-нибудь вроде: «Ой, Рабинович, Рабинович!»

Нет, оставим всякую шутку и заключим лучше наши последние заметки о «Войне и мире» выражением желания наибольшего доверия к автору со стороны публики и приложения возможно бо́льших забот со стороны всех и каждого к воспитанию в себе и в ближнем того великого *духа,* которым крепка сила русской земли, независимо от всех погрешностей тех, которые ею в ту или другую минуту управляют и, как Растопчин, срывают подчас гневливость свою на беззащитных «маленьких шельмах», оставляя во всей неприкосновенности Обер-Шельму.

Но рассмотренное нами сочинение (написанное, по определению некоторых критиков, автором «суеверным и ребячливым фаталистом») имеет в наших глазах еще большее значение в приложении к решению многих практических вопросов, которые время от времени могут повторяться и даже несомненно повторяются со свойственною им роковою неотразимостью. Они где-то зарождаются, восстают и текут, влеча за колесами двигающей их колесницы своих Кутузовых и Болконских, Верещагиных и Растопчиных, Васек Денисовых и понизовых дам, не хотящих «кланяться французу». Если зорче осмотримся и обсчитаем весь ворох своей коробьи повернее, то увидим, что все эти бойцы и выжидатели, все эти верующие и неверные, одухотворяющиеся и лягушествующие, выскочки и хороняки — все они опять живы и с нами опять. Все это опять старые кости наших русских счет, на которых нам приходится без хитрых счислителей смекать наши капиталы и силы. Кости этих счет, может быть, и поизменились, — та подцвела, а та выцвела, но значение их на общей скале все то же — все они снова покорно ложатся на данный пруток по десятку: сто́ящий шелиг смешается в счете с алтыном, и сложится снова из них богатство и слава народа. Верно разумевая их, можем считать на них просто и верно.

Книга графа Толстого дает весьма много для того, чтобы, углубляясь в нее, по *бывшему разумевать бываемая* и даже видеть в зерцале гадания *грядущее.*

ПОПУЛЯРНЫЕ РУССКИЕ ЛЮДИ

⟨I.⟩ ГРАФ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ МИЛОРАДОВИЧ

Биографический очерк

В октябрьской книжке «Военного сборника» напечатаны собранные г. Семевским весьма интересные материалы для биографии графа Милорадовича. Заимствуем из них самые рельефные черты, определяющие нравственную и интеллектуальную физиономию этого популярного русского человека. За сим вслед поставим другой такой же очерк, представляющий Алексея Петровича Ермолова.

Все Милорадовичи по происхождению своему сербы. Они водворились в Южной России в начале прошлого столетия. Отец Михаила Андреевича Милорадовича ознаменовал себя заслугами в войнах с турками в царствование императрицы Екатерины II и умер в чине генерал-поручика, занимая тогда весьма важный, но ныне уже не существующий, пост наместника Малороссии. Сын его, герой Михаил Андреевич, родился в 1770 году. По обычаю того времени, он,

Как богатых бар потомок,
Был сержантом из пеленок.

В 1780 году, имея от роду десять лет, он был уже подпрапорщиком в лейб-гвардии Измайловском полку, любимом полку императрицы Екатерины II (при вступлении

се на престол измайловцы были первыми сторонниками ее права). Высокое положение, которое занимал отец Милорадовича, малороссийский наместник, его обширные связи, дружба с Суворовым и Кутузовым, разумеется, обеспечивали сыну хорошую карьеру.

Образование Милорадовича было самое поверхностное, несмотря на то, что юные годы свои он провел за границею и учился сначала в Кенигсбергском университете, а потом в Геттингене, в Страсбурге и в Метце. В последнем городе он изучал военные науки. Проведя несколько лет за границею, Милорадович даже не усвоил себе там основательного знания иностранных языков и по-французски во всю жизнь говорил с самыми грубыми и забавными ошибками.

Возвратясь в Россию, Михаил Милорадович имел большой успех в обществе в качестве красивого, ловкого танцора и веселого и остроумного собеседника. Общество наше тогда было очень нетребовательно. Да если припомним Онегина, то и в позднейшие времена у нас

Кто по-французски совершенно
Мог изъясняться и писать,
Слегка мазурку танцевать
И кланяться непринужденно,
То про такого свет решил,
Что он *умен и очень мил* —

следовательно, понятно, что милое невежество молодого графа нисколько не помешало ему в свете.

На службе ему тоже повезло: чины быстро сыпались на него один за другим, и в 1796 году он уже был капитаном. Находясь еще в первых обер-офицерских чинах, Милорадович участвовал в двухлетней войне с Швецией.

Когда после Екатерины II на престол вступил император Павел, то исполнительность и расторопность Милорадовича на разводах и экзерцициях, которые, как известно, страстно любил этот государь, быстро обратили на него внимание императора. В 1797 году Павел произвел Милорадовича в полковники, а менее чем через год — в генерал-майоры, и назначил шефом Апшеронского мушкетерского полка. Таким образом, выходит, Михаил Андреевич Милорадович был генералом, имея всего двадцать семь лет. Вверенный Милорадовичу полк вошел в отряде генерала Розенберга в состав армии, предводимой Суво-

ровым. 18 октября 1798 года армия эта перешла границу и направилась в Италию для борьбы с французами.

14 апреля 1799 года при селении Лекко последовал кровавый бой, в котором Милорадович обнаружил необычайную находчивость, быстроту и храбрость — отличительные свойства его дарований, развившихся еще сильнее в школе гениального Суворова. Суворов полюбил Милорадовича и назначил его дежурным генералом, иначе сказать — сделал его приближенным к себе человеком, и не упускал случая предоставлять ему возможность отличаться на поле ратном.

Между прочим, в сражении при Лекко Милорадович привез гренадерский батальон своего полка на подводах и быстрою атакою вырвал у французов победу. В сражении при Басильяно под ним убито три лошади. При штурме Альт-Дорфа Милорадович прошел впереди колонн по зажженному мосту и т. д.

Год, проведенный Милорадовичем под начальством Суворова, был лучшею для него школою: в ней развилось его действительное призвание, в ней усвоил он ту удаль, ту предприимчивость, то замечательное умение привязать к себе солдат, которые впоследствии так далеко выдвинули его из ряда современных русских генералов. С этого времени Милорадович вдруг становится популярным и в армии и в народе.

Император Павел щедро наградил Милорадовича за итальянскую кампанию: он дал ему орден святой Анны первого класса, пожаловал его командором ордена святого Иоанна Иерусалимского с присвоением ему при последнем пожаловании по тысяче рублей ежегодного дохода и наградил вдобавок орденом Александра Невского и проч.

Император австрийский и король сардинский, со своей стороны, спешили выразить свою признательность Милорадовичу; первый подарил ему осыпанную алмазами табакерку, а второй дал орден Маврикия и Лазаря большого креста.

В этом же походе Милорадович приобрел особое расположение и дружбу великого князя Константина Павловича, который вступил даже с ним в переписку и в своих письмах постоянно благодарит Милорадовича за его службу.

Когда русская армия, предводимая Кутузовым, вступила в 1805 году в Австрию на помощь беспрестанно побиваемым французами австрийцам, Милорадович командовал в этом походе бригадою, и первое сражение, в котором он принял самое живое участие, было при Амштете (24 октября); вслед за ним у города Кремса отряд, вверенный Милорадовичу, дрался целый день. Бой кончился полным поражением французов. Милорадович получил чин генерал-лейтенанта и орден св. Георгия 3 класса. (Ему было тогда тридцать пять лет.)

1806 год застает Милорадовича на другом театре военных действий. 16 ноября этого года он переправляется во главе вверенного ему корпуса через Днестр, быстро проходит Молдавию и Валахию и двумя победами над турками — 11 декабря при селении Глодиани и 13 числа того же месяца при городе Бухаресте — спасает Валахию от разорения. Затем опять идет ряд побед.

В статье г. Семевского приведены выдержки из различных писем Милорадовича. Мы не приводим их, отсылая читателей, которые заинтересуются этим, к самой статье. С нас достаточно сказать, что, судя по этой корреспонденции, действительно надо верить, что образованность героя сильно прихрамывала. Но зато из всех его писем нельзя не вывести самых приятных заключений о его отношениях к начальникам, сослуживцам и подчиненным, хотя, впрочем, в тоне его писем к Аракчееву, однако, проглядывает изрядная доля приниженности перед всесильным временщиком. «Невозможно же против рожна прати».

В начале 1810 года Милорадович должен был оставить театр военных действий на Дунае: он получил назначение командовать армиею, собиравшеюся близ Могилева на Днепре, а вслед за тем, в апреле того же года, по высочайшему повелению была ему поручена должность киевского военного губернатора.

В скором времени в жизни Милорадовича произошло какое-то особенное обстоятельство, о котором умалчивает большая часть его биографов, но о котором есть строка в его формуляре: в сентябре 1810 года Милорадович был уволен по прошению от службы... Но дело скоро уладилось, и уже 20 ноября того же года он опять был принят

на службу, а в декабре назначен киевским военным губернатором.

Наступил 1812 год. Император Александр дал Милорадовичу несколько важных поручений, и все эти поручения были им исполнены с обычною расторопностью. Пятнадцатитысячное войско было соединено под его начальством и приняло деятельное участие в Бородинском сражении. Милорадович предводительствовал здесь правым крылом и центром армии. С этого времени опять начинается длинный ряд доблестных подвигов Милорадовича. Отныне он вместе с другими сподвижниками Кутузова, в том числе и Ермоловым, становится кумиром солдат и вполне *народным* русским героем. Милорадович прикрывал отступление Кутузова от Москвы до Тарутина, в сражении под Тарутиным он командовал всею кавалериею, а затем участвовал в сражении под Малым Ярославцем. Когда же французская армия, отброшенная назад, бежала по большой смоленской дороге, Милорадович был одним из неутомимейших ее преследователей (что, если верить рассказам, будто бы сильно не одобрялось Кутузовым).

Затем в 1818 году мы видим Милорадовича начальником столицы. На этом новом поприще Милорадович сохранил всю свою популярность. Его особенно любили за доброту и сострадание. Он охотно являлся ходатаем за множество лиц, беспрестанно обращавшихся к нему. Доброта и благородная деликатность поставляемы ему были даже в упрек некоторыми лицами собственно по отношению к деятельности его как генерал-губернатора. Столица, как известно, кишела в годы его управления обществами, комитетами, управами, союзами, ложами, сплошь да рядом официально не разрешенными и даже запрещенными. Но Милорадович, полный доверчивости к людям, полный доброты и благородства, с омерзением презирал всякое шпионство, гнал от себя фискальство и не хотел поощрять сыщиков. Он не желал преследовать слова, мысли и намерения, доколе они не проявлялись в явных нарушениях закона.

Гнушаясь такими охранительными мерами, которые не обходятся без помощи шпионства, генерал-губернатор

Милорадович был неутомим в тех случаях, когда явная опасность, наступавшая для вверенной его управлению столицы, требовала от него предприимчивости и смелости... Энергический человек пробуждался в нем на пожарах, куда он являлся всегда, а еще более отличился он в страшном несчастии, постигшем Петербург 7 ноября 1824 года при наводнении.

Одною из особенностей характера графа Милорадовича была необыкновенная расточительность: он всегда был в долгу как в шелку, и ни большое содержание, которое он получал, ни аренды, назначаемые ему от государя, — ничто не могло выпутать его из его бесконечных долгов.

Родовое имущество его было сравнительно с его расходами довольно ничтожно: оно состояло из имения в Полтавской губернии, в котором было до полуторы тысячи душ крестьян. Часть этого имения он продал в удельное ведомство для уплаты долгов и стал подумывать об устройстве остальной части, рассчитывая под старость удалиться в деревню на покой. Но судьба решила иначе...

Передаем целиком рассказ о драматической смерти Милорадовича, как он стоит у г. Семевского.

Дело идет о событии, которое известно в обществе под именем *декабристского бунта* при восшествии на престол императора Николая I.

Около полудня, в понедельник, 14 декабря 1825 года, Милорадович мчался в санях с адъютантом своим, Башуцким, на Сенатскую площадь, где впереди монумента Петра I стояло каре из нескольких рот л.-гв. Московского полка и некоторых других полков, увлеченных своими офицерами. Громадные толпы народа запрудили значительную часть площади. Милорадович обскакал чрез Синий мост по Мойке на Поцелуев мост и здесь встретился с генерал-майором Алексеем Федоровичем Орловым, по распоряжению которого в это время выезжала из казарм конная гвардия.

— Пойдемте вместе убеждать мятежников, — сказал Милорадович Орлову (разговор был на французском языке).

— Я только что оттуда, — отвечал Орлов, — но советую вам, граф, туда не ходить. Этим людям необходимо совершить преступление; не доставляйте им к тому случая. Что же касается меня, то я не могу и не должен за вами следовать: мое место при полку, которым командую и который я должен привести, по приказанию, к императору.

— Что это за генерал-губернатор, который не сумеет пролить свою кровь, когда кровь должна быть пролита! — вскричал Милорадович и, сев на лошадь, взятую им у одного из офицеров конной гвардии, поехал на площадь. Его сопровождал пешком Башуцкий. С трудом пробравшись сквозь толпы народа, Милорадович близко подъехал к каре и стал убеждать солдат образумиться. Вдруг смелая и громкая речь генерала была прервана пистолетным выстрелом...

Стоявший впереди каре в группе офицеров отставной поручик л.-гв. гренадерского полка Каховский выхватил у находившегося подле него штабс-капитана л.-гв. Московского полка Михаила Бестужева пистолет и выстрелил Милорадовичу в бок.

— Сумасшедший, что ты делаешь! — закричал Бестужев, бросаясь на Каховского. Пистолет был отнят, но поздно. Милорадович упал с лошади на руки Башуцкого, который с помощью двух человек из толпившегося простонародья отнес его в манеж конно-гвардейского полка... Сюда скоро явился постоянный доктор Милорадовича, сопутствовавший ему во многих походах, Василий Буташевич-Петрашевский. Он вынул пулю, но смерть была неизбежна.

В три часа ночи на 15 декабря 1825 года графа Милорадовича не стало.

⟨II.⟩ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ ЕРМОЛОВ

Биографический очерк

Недавно, представляя нашим читателям биографический очерк графа Милорадовича, мы обещали вслед за ним напечатать очерк другого известнейшего и популярнейшего лица, генерала Алексея Петровича Ермолова.

Исполняем это обещание, заимствуя почти все наши сведения из интереснейшей статьи г. Дубровина, помещенной в ноябрьской книжке «Военного сборника».

Ермолов, как и современник его Милорадович, с которым он был почти одних лет, отличался необыкновенною храбростью, добротою, простотою и ласковостию в обращении с подчиненными и был таким же кумиром солдат и любимым народным героем; но по уму, способностям и развитию Ермолов стоит неизмеримо выше Милорадовича.

Ермолов, как и Милорадович, был образован очень поверхностно, но и в этом между ними двумя очень большая разница. Милорадовичу были даны все средства к образованию, — мы видели, что он провел юность в заграничных университетах; но он сам не воспользовался этими средствами, да и вообще, как кажется, не особенно сознавал недостаток своего образования; Ермолов же был почти совсем лишен всех средств образовать себя и всю жизнь тяжко сознавал этот недостаток и тяготился им бесконечно.

Оба героя, и Милорадович и Ермолов, симпатичны каждый по-своему; но Ермолов гораздо глубже и серьезнее. Симпатии, возбуждаемые его характером, гораздо солидней симпатий, порождаемых романтически-рыцарственным Милорадовичем. Алексей Петрович Ермолов особенно привлекателен оригинальностию и глубиною своего ума, широтою своего взгляда и меткостию суждений, указывавших в нем человека совсем не дюжинного — человека, отмеченного самою природою, человека, которого умный Кутузов справедливо называл *орлом,* а лейб-медик Вилие характеризовал, как «homme aux grands moyens».[1]

Служебный путь Ермолова далеко не был усыпан розами, но на нем, наоборот, было набросано много терний. Служебным его неудачам немало способствовало его несомненное превосходство, которого никогда не сносит окружающая посредственность, а частию Ермолову вредил много его злой и как бритва острый язык, кото-

---

[1] Человека с большими возможностями *(франц.)*.

рым крутой генерал беспощадно казнил смешные и слабые стороны своих недоброжелателей.

Алексей Петрович Ермолов родился в Москве 24 мая 1777 года.

Отец его был небогатый помещик Орловской губернии, где и служил, между прочим, председателем гражданской палаты, а в последние годы царствования императрицы Екатерины II управлял канцелярией графа Самойлова.

Мать Алексея Петровича, Мария Денисовна Давыдова, родная тетка известного партизана и поэта Давыдова, была в первом браке за Каховским, и от этого брака у нее был сын Александр. Оба ее сына как бы с самым материнским молоком всосали способность не мириться ни с чем низменным по натуре. Мать Алексея Петровича, по выражению одного близкого ее знакомого, «до глубокой старости была бичом всех гордецов, взяточников, пролазов и дураков всякого рода, занимавших почетные места в служебном мире».

Первоначальным учителем А. П. Ермолова был их же крепостной дворовый человек, по имени Алексей, который по букварю и с знаменитою указкою учил грамоте будущего великого полководца.

Отец Ермолова был слишком занят службою, чтобы заниматься сыном; сведущего учителя, которые были тогда и редки и дороги, он не мог ему нанять по недостатку средств, а потому и поместил его сначала в семейство своего родственника, орловского же помещика Щербинина, а потом в дом Левина. Отеческие же заботы о воспитании сына ограничивались тем, что он с малолетства твердил ему о необходимости усердной и ревностной службы.

Неопределенность положения Алексея Петровича Ермолова в семье его родственников заставила отца его отправить сына в Москву, в университетский благородный пансион, где он и был сдан на руки профессору Ивану Андреевичу Гейму.

Образование, стоявшее в то время вообще на низкой ступени, в последние годы царствования Екатерины приняло еще более ложное направление от нашествия в Россию иностранцев, и в особенности французов. Из всех тогдашних преподавателей не много таких, которых

нельзя было, по всей справедливости, назвать шарлатанами или невеждами.

— Бедное состояние семьи моей, — говаривал Ермолов, — не допустило дать мне нужное образование. Вознаградить впоследствии недостатка знаний не было времени. (Хотя, добавим от себя, Алексей Петрович Ермолов читал очень много и обладал начитанностию довольно замечательною.)

— Шарлатаны, — говаривал он также, — учили взрослых, выдавая себя за жрецов мистических таинств; невежды учили детей, и все достигали цели, то есть скоро добывали деньги. Между учителями были такие, которые, стоя перед картою Европы, говорили: Paris, capitale de la France... cherchez, mes enfants! [1] — потому что сам наставник не сумел бы сразу ткнуть пальцем в свой Париж.

Когда по окончании курса учения пятнадцатилетний Ермолов явился в Петербург в чине сержанта Преображенского полка, то, поступив на действительную службу, он по недостатку денег не в силах был тянуться за прочими гвардейскими офицерами, державшими и экипажи и огромное число прислуги, а потому стал искать для себя другого рода службы. 1 января 1791 года Ермолов был выпущен капитаном в Нижегородский драгунский полк, слава которого впоследствии гремела на Кавказе в течение целого полустолетия. Ермолов тотчас же отправился в Молдавию, где стоял тогда этот полк. Командиром полка в то время был двадцатилетний племянник шефа полка, графа Самойлова, Н. Н. Раевский, прославившийся впоследствии в войну 1812 года.

В бытность свою в этом полку Алексей Петрович познакомился несколько с артиллериею. При полке находились полковые пушки, имевшие, как у дяди юного Гамлета, одно специальное назначение, стрелять «в знак осушения бокалов». Раевский возымел мысль дать им более целесообразное назначение: он переделал лафеты и переменил расчет прислуги. За всем этим Ермолов тщательно следил и приспособлялся, но едва только он стал привыкать к фронтовой службе, как вдруг был вы-

---

[1] Париж, столица Франции... ищите, дети мои! *(франц.)*.

зван опять в Петербург по случаю назначения его адъютантом к графу Самойлову.

В Петербурге молодой и красивый адъютант встретил радушный прием. Наружность Алексея Петровича, прекрасная, одухотворенная, внушительная и до самых преклонных дней его старости удерживавшая на себе внимание мужчин и женщин, тогда, в пору его расцвета, привлекала на него всеобщее внимание: он был высокого роста и отличался необыкновенною физическою силою и крепким здоровьем. Его большая голова, с лежащими в красивом беспорядке волосами, маленькие, но проницательные и быстрые глаза делали его похожим на льва. Взгляд его, в особенности во время гнева, был просто страшен: из глаз его буквально сверкали молнии. Горцы говорили впоследствии о Ермолове: «Горы дрожат от его гнева, а взор его поражает на месте, как молния».

Как человек домашний у графа Самойлова, Алексей Петрович был членом высшего петербургского общества и каждое утро слыхивал самые откровенные и бесцеремонные отзывы, как нынче говорят, «высокопоставленных лиц», которые по вечерам наполняли зал у Самойлова и которых там, словно всерьез, просили «принять дань якобы подобающего им глубочайшего почтения». Шестнадцатилетний юноша присматривался не только к тем, которых осмеивали заочно, но и к тем, кто осмеивал их, и по врожденной ему проницательности угадывал все нравственное ничтожество среды, в которой вращался. Прошло очень немного времени, и Алексей Петрович стал открыто относиться к этим людям с едким сарказмом, ирониею и насмешками, что, разумеется, очень скоро наплодило ему врагов. Алексей Петрович Ермолов терпеть не мог немцев и, по-видимому, беззлобно, но непереносно проходился на их счет, где только к тому представлялся хоть малейший повод. Остроты, которыми Алексей Петрович осыпал немцев, переходили из уст в уста и, конечно, многим не нравились, а «немец немцу, по пословице, всюду *весть подавал»,* и покойный Ермолов под старость не раз говорил шутя: «Нет, господа русские, если хотите чего-нибудь достичь, то наперед всего *проситесь в немцы*».

Ермолов не мог увлекаться светскою жизнию; он беспрестанно занимался военными науками и назойливо

просил графа Самойлова зачислить его в артиллерию, что, наконец, и было исполнено.

Восстание в Польше оторвало Алексея Петровича от его научных занятий: он участвовал в этой кампании и получил орден св. Георгия за штурм Праги.

В следующем году он был отправлен за границу, в Италию, где, будучи прикомандирован к главной квартире австрийского главнокомандующего, участвовал в войне австрийцев с французами. Едва только он успел вернуться в Россию, как в 1796 году принял участие в новом походе персидском, под предводительством графа Валерьяна Зубова.

Начавши службу так удачно, Алексей Петрович с шестнадцати лет приобрел самостоятельность и репутацию, которые сулили ему блестящую будущность. Но судьба неожиданно подставила ему ногу.

Смоленский губернатор сделал донос на Каховского, брата Алексея Петровича по матери. Тот был взят по этому доносу под арест, а вместе с ним был арестован и Ермолов: его взяли и отвезли в Калугу.

Но чуть только Ермолов явился в Калугу к губернатору, ему было объявлено всемилостивейшее прощение государя и возвращена шпага. Тем не менее, однако, Ермолов счел себя всем этим крайне оскорбленным и требовал от генерала Линденера объяснений, которых тот ему, разумеется, не дал, но зато тотчас же секретно донес о нем как «о человеке неблагонадежном». Последствием этого нового доноса было то, что за Ермоловым в Калугу был прислан из Петербурга курьер, который и отвез его прямым трактом в Петропавловскую крепость, где Ермолов потомился под стражею, а затем он был сослан в Кострому.

Там он нашел другого изгнанника, Платова, впоследствии графа и атамана Войска Донского.

В ссылке Ермолов пробыл целые три года, и это время далось ему не легко. Он был исключен из службы и потерял из виду всех родных и брата своего, Каховского. Знакомые и приятели за немногими исключениями отреклись от него и даже не отвечали на его письма. Таков свет, таковы люди!

Сильный волею, энергический Ермолов, однако, не пал духом от всех этих передряг. От нечего делать он

принялся за изучение латинского языка у протоиерея Груздева, читал и переводил Юлия Цезаря и, кроме того, стал учиться играть на кларнете. По восшествии на престол императора Александра I он был освобожден вместе со всеми лицами, замешанными в деле Каховского. Тогда Ермолов приехал в Петербург, но там уже выступили на сцену новые лица и новые интересы, среди которых он был чужим на пиру. Генерал Ламб, президент военной коллегии, впрочем, взялся по старому знакомству похлопотать об Ермолове.

После долгих хлопот и не прежде, чем, по выражению Ермолова, «он наскучил всему миру секретарей и писцов», являясь ежедневно в военную коллегию, Ермолов был принят тем же чином на службу в 8-й артиллерийский полк и получил роту, квартировавшую в Вильне.

Время, проведенное Алексеем Петровичем в ссылке, отразилось навсегда на его характере неизгладимыми чертами. Он стал сосредоточен, задумчив и полюбил уединение.

«Я редко или почти никогда весел не бываю, сижу один дома, — писал он одному из своих друзей. — Я сыскал себе славного учителя на кларнете и страшно надуваю, и по-латыне упражняюсь».

Кроме того, аресты и ссылка развили в нем мнительность, и всякая безделица беспокоила его и заставляла страшиться новых неприятностей в том же знакомом роде. Вот один интересный случай, который рассказывает г. Дубровин. Один из офицеров Алексея Петровича проиграл 600 рублей казенных денег. Ермолов тотчас же арестовал его, взыскал деньги с выигравших и, уступив просьбам, а главное, «избегая случая сделать человеку несчастие, сам собою испытавши, сколько тягостно переносить оное», согласился скрыть это дело и не доносить начальству о проступке офицера. По частному письму его к начальнику офицер был переведен *по неспособности* в Кизлярскую гарнизонную роту. Офицер обиделся за то, что его признали неспособным, и решился лучше во всем признаться. Ермолов страшно встревожился; ему мерещились всяческие беды за сокрытие преступления подчиненного, и он не прежде успокоился, как тогда, когда офицер согласился не поднимать этого дела и ехать в Кизлярский гарнизон.

«Страшно боюсь я хлопот, — писал он по этому поводу к своему другу, — *трехлетнее несчастье сделало меня робким».*

Отсталое и почти запамятное положение по службе ужасно тяготило Ермолова. Благодаря всему с ним случившемуся прежние товарищи обогнали его в чинах, а ему приходилось прозябать в неизвестности и относительном бездействии.

Не имея ничего определенного в виду, он бросался из стороны в сторону: то хотел перейти в инженеры и сопровождать генерала Анрепа на Ионические острова, то хлопотал о переводе в казаки. (Тогда же, вероятно, ему пришла и комическая мысль *«проситься и в немцы»,* но тогда ему было не до шуток, к которым он нисходил порою в веселые минуты в старости.) Словом, Ермолов просил отправить его куда-нибудь, выискать для него *какой-нибудь подвиг,* а не то, писал он, «заваляешься полуполковником; русская пословица: не все хлыстом, иногда и свистом — вот мое правило с давнего уже времени».

Война 1812 года выдвинула Ермолова вперед. Еще в 1806 — 1807 годах Алексей Петрович составил себе известность храброго и замечательного офицера. Он, как говорят, создал артиллерийский строевой устав. Каждое действие Алексея Петровича в бою становилось потом тактическим правилом для артиллерии; он дал ей практические правила построения батарей. Солдаты, смотря на роту Ермолова, выезжавшую на позицию, и на храброго ее командира, бывшего всегда впереди, говаривали: «Напрасно француз порет горячку, Ермолов за себя постоит». Ермолов стал любимцем войска, кумиром офицеров и рыцарем без страха и упрека для народа, несмотря на то, что начальство, за исключением Кутузова, большею частию неблагосклонно и несправедливо относилось к нему, как будто не замечало его подвигов, и до такой степени умалчивало о них в реляциях, что отец Ермолова, к которому обратился один из почитателей его сына с просьбою выслать его портрет, прославляя его как любимого народного героя, отвечал: «Подвигов героя вашего не видал я ни разу ни в реляциях, ни в газетах, которые наполнены генералами Винценгероде, Тетенборном, Бенкендорфом и пр. и пр.».

Начальство не любило Ермолова за независимый,

гордый характер, за резкость, с которою он высказывал свои мнения: чем выше было поставлено лицо, с которым приходилось иметь дело Ермолову, тем сношения его с ним были резче, а колкости ядовитее.

Известен ответ его Аракчееву на замечание последнего, что лошади его роты дурны:

«К сожалению, ваше сиятельство, участь наша часто зависит от скотов».

Когда Ермолов был еще полковником, то один из генералов сказал: *«Хоть бы его скорее произвели в генералы, авось он тогда будет обходительнее и вежливее с нами».*

Однажды во время кампании 1812 года Барклай-де-Толли приказал образовать легкий отряд. Ермолов назначил Шевича начальником отряда, в состав которого вошли казаки, бывшие под начальством генерала Краснова. Шевич оказался моложе Краснова. Платов, как атаман, вступился за своего подчиненного и просил Ермолова разъяснить ему: давно ли старшего отдают под команду младшего, и *притом в чужие войска?*

— О старшинстве Краснова я знаю не более вашего, — отвечал Ермолов, — потому что из вашей канцелярии еще не доставлен список этого генерала, недавно к нам переведенного из черноморского войска. Я, вместе с тем, должен заключить из слов ваших, что вы *почитаете себя лишь союзниками русского государя, но никак не подданными его.*

Казаки обиделись таким ответом, и правитель дел атамана продолжал возражать Ермолову.

— Оставь Ермолова в покое, — отвечал Платов, — ты его не знаешь: он в состоянии с нами сделать то, что приведет наших казаков в сокрушение, а меня в размышление.

Но, будучи резок и даже дерзок с высшими, Ермолов был обходителен и вежлив с низшими. Он умел ценить заслуги и до конца дней своих оставался лучшим ходатаем и защитником своих подчиненных. «Ты не худо делаешь, что иногда пишешь ко мне, ибо я о заслугах других всегда кричать умею», — писал он Денису Давыдову, и имел право говорить таким образом. Будучи еще подполковником и командуя ротою, Ермолов поминутно просил то за фельдфебеля, то за рядового, постоянно предлагал разные меры к улучшению их поло-

жения и, сознаваясь сам, что надоедает своими просьбами, все-таки слал письмо за письмом с просьбою то о том, то о другом из своих подчиненных.

Наскучив неблагодарною службою, на которой все усердие его и все подвиги его никогда по заслугам не оценивались, Ермолов в ноябре 1815 года вышел в отставку и, сдав в Познани свой корпус генерал-лейтенанту Паскевичу, отправился в Россию и поселился в Орловской губернии, в имении старика отца, считая свою службу оконченною. Но назначение его главнокомандующим на Кавказ, которым он был очень доволен, призвало его к новой деятельности, которая еще более прославила его имя, если только его можно было прославить более славно, чем оно было прославлено в нашем войске и в нашем народе, знающем и величающем Алексея Петровича Ермолова едва ли не более всех отечественных полководцев.

Славу его протрубили не пристрастные газеты, не реляции, которые пишутся в главных квартирах и возвещают то, что желательно оповестить главной квартире, — славу его пронесли во всю Русь на своих костылях и деревяшках герои-калеки, ходившие с Алексеем Петровичем и в огонь и в воду и после за мирным плетением лычных лаптей повещавшие «черному народу», как «с Ермоловым было и умирать *красно»*.

Русская публика, без сомнения, будет очень благодарна г. Дубровину за его попытку воспроизвести некоторые черты из жизни недавно почившего истинного народного русского героя, и доказательством этой благодарности в настоящее время до некоторой степени может служить довольно общее внимание печати ко всему рассказанному о Ермолове г. Дубровиным. Но во всяком случае сказание это опять еще далеко не удовлетворяет бездны вопросов, поставленных русской любознательности многозначащею личностью Алексея Петровича и странною его судьбою, которую унаследовали за ним и некоторые другие, про которых где-то сказано стихами:

Послать туда таких-то,
Авось их там убьют!

За вскрытие материалов для биографии Алексея Петровича современные писатели берутся уже не в первый раз, но она, как видно, еще *жжется*... Печаталось нечто и вроде его записок; появлялись и воспоминаньица и материалы; и Л. Н. Толстой не прошел Ермолова молчанием в «Войне и мире» и представил его даже со стороны, не совсем привлекательной в его отношениях к Кутузову («старому человеку»), которому Ермолов посылал лист белой бумаги вместо донесения; пробовали даже выводить Ермолова и в романах под вымышленными именами. Так, еще при жизни Ермолова, в 1864 году, в одном из выходивших тогда романов, Алексей Петрович, как все узнали (и чего ныне не отрицает и сам автор), Ермолов был изображен под именем «полного генерала Стрепетова», и там показаны некоторые его отношения к некоторым людям нового толка, а все-таки Алексея Петровича Ермолова в полном и ясно определенном образе все еще нет... «Беспримерный начальник и невозможнейший подчиненный» в нем уже кое-как намечены, но что именно делало этого человека таким и «хорошим, да неудобным», как о нем говорили, — это ждет талантливого разъяснителя, для которого к тому же еще остается и совершенно нетронутою целая долгая полоса жизни Ермолова, полоса, которую он называл своим «московским сиденьем» и гляденьем на «Иерихонского» и других лиц, смущавших своими громкими карьерами тишину его предсмертного заката.

Алексей Петрович Ермолов поистине характернейший представитель весьма замечательного и не скудно распространенного у нас типа умных, сильных, даровитых и ревностных, но по некоторым чертам «неудобных» русских людей, и разъяснение его личности в связи со всеми касательствами к нему среды, в отпор коей он принимал ту или другую позицию, должно составить вполне глубокую и благодарную задачу и для историка-биографа и для критика. Тому-то, кто сумеет судить о Ермолове правильно и беспристрастно, предстоит завидная доля сказать многое, очень многое *«старым людям на послушание, а молодым на поучение»*.

〈О РОМАНЕ «НЕКУДА»〉

Роман «Некуда» есть вторая моя беллетристическая работа (прежде его написан один «Овцебык»). Роман этот писан весь наскоро и печатался прямо с клочков, нередко писанных карандашом, в типографии. Успех его был очень большой. Первое издание разошлось в три месяца, и последние экземпляры его продавались по 8 и даже по 10 р. «Некуда» — вина моей скромной известности и бездны самых тяжких для меня оскорблений. Противники мои писали и до сих пор готовы повторять, что роман этот сочинен по заказу III Отделения (все это видно из моих парижских писем). На самом же деле цензура не душила ни одной книги с таким остервенением, как «Некуда». После выхода первой части Турунов назначил г. Веселаго поверять цензора Деробертн. Потом велел листы корректуры приносить от Веселаго к себе и сам марал беспощадно целыми главами. Наконец еще и этого показалось мало, и роман потребовали еще на одну «сверхъестественную» цензуру. Я потерял голову и проклинал час, в который задумал писать это злосчастное сочинение. Красные помогали суровости правительственной цензуры с усердием неслыханным и бесстыдством невероятным. У меня одного есть экземпляр, сплетенный из корректур, по которому я хотел восстановить пропуски хотя в этом втором издании, но издатель мой, поляк Маврикий Вольф, упросил меня не делать

этого, ибо во вставках были сцены, обидные для поляков и для красных, перед которыми он чувствует вечный трепет. Теперь я уже охладел к этому, и третье издание будет печататься прямо с этого, второго.

Роман этот носит в себе все знаки спешности и неумелости моей. Я его признаю честнейшим делом моей жизни, но успех его отношу не к искусству моему, а к верности понятия времени и людей «комической эпохи». Покойный Аполлон Григорьев, впрочем, восхищался тремя лицами: 1) игуменьей Агнией, 2) стариком Бахаревым и 3) студентом Помадой. Шелгунов и Цебрикова восхваляют доднесь Лизу, говоря, что я, «желая унизить этот тип, не унизил его и *один* написал «новую женщину» лучше друзей этого направления». Поистине я никогда не хотел ее унижать, а писал только *правду дня,* и если она вышла лучше, чем у других мастеров, то это потому, что я дал в ней место великой силе преданий и традиций христианской или, по крайней мере, доброй семьи.

СТРАНА ИЗГНАНИЯ

Под этим заглавием недавно поступила в продажу книжка, составленная из путевых очерков и заметок одного из известных ученых русских офицеров, Сергея Ивановича Турбина. Почтенный автор этих очерков на своем веку изъездил Россию во всех направлениях и имеет с нею хорошее знакомство, а также талант рассказывать виденное правдиво, образно и беспристрастно. Поэтому все появлявшиеся до сих пор заметки полковника Турбина всегда бывали очень интересны; ныне же вышедшая его книжка еще более полна этого интереса, так как в ней собраны очерки и картины краев отдаленных и малоизвестных. Это картины «страны изгнания», то есть Сибири.

О Сибири писано немало, хотя и не особенно много; но то, что написано о ней полковником Турбиным, так непосредственно и своеобычно характеризует этот далекий край, что книжечка его никак не может быть лишнею для того, кто желал бы познакомиться с бытовою жизнью в «стране изгнания». Рекомендуя с этой стороны упомянутую книжку, мы, конечно, не затруднились бы указать на обилие хороших замечаний автора об устройстве сибирского хозяйства и проч., но всех этих заметок не перечислишь, да и в одном беглом перечне их нет никакой пользы. Для того чтобы ознакомить читателя с интересной и необыкновенно легко читаемой книжкой

г. Турбина, гораздо лучше привести из нее небольшие, но очень живые сцены, яркие картинки, которые могут служить образцом мастерства автора рассказывать с задушевною безыскусственностью и простотою. Не затрудняясь особенно тщательным выбором, берем три встречи полковника Турбина: 1) с *каторжным бродягою,* 2) с *ссыльным поляком* и 3) с *добровольными переселенцами.*

Встреча с каторжным бродягой произошла в селе Завододуховском, где полковник переменял лошадей и сварил себе раков и ел их. Вот как он рассказывает об этой встрече:

«Бряцанье цепи прервало мое гастрономическое наслаждение.

— Хозяин, что это такое?

— А надо быть, бродягу ведут.

Я выглянул в окно. Перед домом стоял рослый детина, с окладистою светло-русою бородой, в ножных кандалах, одетый в плохой побуревший армяк и стоптанные бродни, и при нем, в виде конвойного, дряхлый старичок десятский с палочкою.

— Подайте Христа ради! — проговорил бродяга.

Хозяин подал большой кусок пшеничного хлеба.

— Здравствуй, братец! — сказал я.

— Здравия желаю, ваше высокоблагородие.

— Ты какой губернии?

— Херсонской.

— Отчего же так чисто говоришь по-русски?

— Да я только родился в Херсонской губернии, а у меня отец и мать были русские.

— Ты, верно, из солдат?

— Точно так, ваше высокоблагородие.

— Где служил?

— В N кирасирском полку, ваше высокоблагородие.

— Имени не скрываешь?

— Никак нет, ваше высокоблагородие: Семен Васильев Скляров.

— За что же ты попал сюда?

— Долго рассказывать, ваше высокоблагородие.

Вот рассказ Семена Склярова, с которым мне еще раз пришлось встретиться:

— Служил я, ваше высокоблагородие, как уже докладывал, в N полку. Характер у меня, то есть, самый

неподходящий: не уважил я раз вахмистру — тот ротмистру; расправа в то время была известно какая; я заартачился, до грубости дошел большой; ну, под суд отдали; прошел полторы тысячи и попал в арестантскую роту.

— А потом?

— Потом, ваше высокоблагородие, не мог потрафить в арестантской роте.

— И что же?

— Да ничего. Попал под суд, прогнали сквозь строй, лишен солдатского звания и сослан в каторжную работу в Александровский винокуренный завод; оттуда бежал, пойман, наказан плетьми, с постановлением литеры Б. ниже локтя, с назначением в Петровский железный завод, откуда бежал вторично и добровольно явился в Омутинской волости.

— И не добровольно, а поймали, — вмешался десятский.

— Почтенный старичок, где же поймали? Как бы я хотел уйти, нечто ты укараулишь? Смотри.

Скляров тряхнул ногою, и деревенские кандалы слетели.

— Ты это видишь? То-то же!

— Куда же ты пробирался?

— Да куда глаза глядят. Мы, бродяги, всё больше так ходим. А что, ваше высокоблагородие, об манифесте ничего не слышно?

— О каком манифесте?

— Да вот памятник в Новгороде открывают, так по этому случаю?

Слухи и толки о манифесте по случаю открытия новгородского памятника в Сибири были повсеместны, и бродяги сильно на него рассчитывали.

— Что же теперь с тобою будет?

— Да ничего. Накажут плетьми, поставят *слово како* (с. к., то есть ссыльно-каторжный) на руке и на лопатке и пошлют в нерчинское ведомство. Вы, ваше высокоблагородие, куда изволите ехать?

— В Иркутск.

— Бывал-с, город хороший.

— Послушай, Скляров, ты правду мне говорил?

— А на что же мне лгать? Приедете в Иркутск, можно справиться в экспедиции о ссыльных по статейному списку.

— А из нерчинского ведомства уйдешь, или оттуда трудно?

— Это, ваше высокоблагородие, глядя по делу. Труда большого нет. Оттуда всего больше бегают. Года вот мои проходят — вот что-с! Мне ведь без года пятьдесят, ваше высокоблагородие.

На вид ему было не больше сорока.

— Надо полагать, ваше высокоблагородие, в Сибири недавно?

— Отчего ты так думаешь?

— Да нашим братом антиресуетесь. Поживите, присмотритесь; тут нас много.

— По дороге буду встречать?

— Никак нет-с. Наши тут всё сторонами пробираются, маршлут свой имеют. До самой Бирюсы, то есть до иркутской границы, по большой дороге не ходим. Ну, а там если б ехали весною, то как бараны идут. Теперь, к осени, становится меньше, а всё будут попадаться. Только теперь настоящих старых бродяг мало; в тех местах по осени идут больше перваки. Настоящие мастера проходят раннею весною.

— Ты же из каких?

— Да я что, всего по второму. А есть молодцы: *кругом шестнадцать*, или *кругом Иван Иваныч*, значит весь в клеймах. По десятому и больше. Раза по два на приковку к тачке осужден.

Скляров видимо одушевился.

— Ну, а встретишься с этаким, ничего?

— Я, ваше высокоблагородие, докладывал — бараны, бараны и есть. Мухи не обидят, не то что человека. Христа ради попросят: дали — спаси господь; нет — на здоровье.

— Ну, кое-когда и забижают, — заметил хозяин.

— С голоду разве, да и то не всегда. А что вот этим калужским, что под Омутинским живут, об тех толковать нечего. Когда-нибудь припомнят.

Мне объяснили, что живущие в Омутинской волости новоселы-калужане очень часто ловят бродяг и представляют по начальству. Скляров был задержан ими же.

— Послушай, Скляров, ты человек бывалый, скажи, где лучше: в арестантских ротах или на заводах?

— Это, ваше высокоблагородие, как кому. Для человека слободного, например для мужика, для мещанина, для приказного звания, для господ, в заводах много лучше, сравнения нет, а вот для человека казарменного, как наш брат, — беда просто...

— Отчего же это?

— Да как же, с малолетства тебя одевали, кормили, вот привычки и нет, как с собою обойтись. В заводах дадут тебе паек, жалованье, — распоряжайся, как знаешь. А наш брат, известно, жалованье — в кабак, с пайком тоже обойтись не умеет: привык к готовому. А в арестантской роте я сыт, обут, одет; сидеть под замком привык сызмала, а работа не бог знает какая. Общество большое, всё свои. А вот слободным, так тем в арестантских ротах шибко круто приходится, особенно которые с Капказа, а на заводах — ничего, скоро обживаются.

Расспросы и наблюдения, сделанные мною после, привели к убеждению, что эти слова Склярова положительно верны.

Лошади были уже давно готовы, и нужно было ехать.

— Счастливо оставаться, ваше высокоблагородие! — крикнул по-солдатски Скляров.

Я ему подал целковый, он не взял.

— Много даете, ваше вскабродие: вам дорога дальняя, — пожалуйте гривенник, больше не нужно».

Вот и вся сцена, но какая глубокая, потрясающая и характерная сцена. Этот Скляров стоит перед вами как живой, и стоит не оболганный и облаянный, à la Глеб Успенский, а очищенный и омытый своею безропотною скорбию, которую передает с такою сердечною простотою г. Турбин.

Теперь образец сцен другого рода.

Автору начинают встречаться ссыльные поляки, из которых ни один не хочет сознаться, за что он сослан, и все объявляют себя *политичными*. Настоящие *политические поляки* их терпеть не могут и чуждаются, но тем не менее те всё-таки отыгрывают свои политические роли. Лиц этого сорта очень много; но мы возьмем одно наиболее приятное исключение, — это поляк Z..., сосланный

за продажу своей лошади, — единственный ссыльный поляк, не объявляющий себя политическим.

Вот что рассказывает о нем г. Турбин:

«На почтовой станции ко мне явился человек, показавшийся по наружности отставным солдатом, но прежде чем я успел предложить ему вопрос: где он служил? — я услыхал от него такую рекомендацию: «Z., były szlachcic z Wielienskiego, pozbawiony wszelkich praw» (то есть бывший виленский шляхтич, лишенный всех прав).

На мой вопрсс: за что же он посбавлен прав? — я ожидал ответа — за что-нибудь в политическом роде, но услышал: «Za sprzedaz własnego konia».[1] За этим последовал длинный и, как видно, много раз повторенный рассказ, что Z... продавал собственную лошадь, в которую вклепался «пся вяра жид», и продавца судили и осудили как вора. В рассказе часто упоминались пани матка и пан брат, последний не иначе, как с прибавлением «бестия». Не последнее место занимал также пан исправник, с прибавлением «галган» и «лайдак». О пане городничем тоже было сказано, что когда Z... с лошадью был приведен в полицию и ему там сделали *импертиненцию* (дерзость), то он «сдубельтовал», то есть отвечал тем же, с удвоением. Z... был единственный встреченный мною в Сибири поляк (а я их встречал много) без примеси политики. Не знаю, насколько справедлив рассказ шляхтича, но в литовских местечках не раз мне случалось видеть, как у бедняков крестьян и мелких шляхтичей отбирали их собственный скот по жидовским претензиям. А тут еще присоединилось ответное *дубельтованье* сделанной *импертиненции.*

Подъезжая к селу Осмутинскому, со мною встретилось десятка два подвод, возвращавшихся порожняками. Лица, одежда и самая упряжь показались знакомыми. Громко сказанные слова: *ен* (он) и *яны* (они) сразу объяснили мне, что это за люди и почему показались знакомыми.

— Здравствуйте, братцы! Вы курские?

— А курскаи, усе (все) как есть курскаи. А твоя милость откелича? С наших сторон, что ли-ча? — посыпались вопросы.

[1] За продажу собственной лошади *(польск.).*

— Нет, братцы, я орловской, только долго жил в Курске.

— Орловской, ето значит сусед, усе едино. — Ребята, снявши шапки, побросали телеги и обступили повозку. Молодые парни, по курскому обычаю, молча разинули рты (признак особого внимания). Душою я невольно перенесся на родину.

— Давно вы переселились?

— *Дамно*. Годов тридцать есть; ети усе понародились здесева; я мальчонкой пришел, — отозвался мужик постарше. — Стариков много примерло, а кое-какие ешшо есть.

— Где же вы живете?

— А тут поблизости, версты четыре.

— И где четыре! ня буде четырех, — три.

— Я табе говорю, четыре.

— А я табе говорю, три.

Спор поднялся».

Полковник Турбин заинтересовался земляками и велел свернуть в их деревню, которую они назвали «Плетнево», потому что выселены из села этого наименования в Курской губернии. Описав весьма живо, кратко и картинно свой въезд в село и изменение в костюме курян в Сибири, автор так описывает их тоску по родине.

«Поместившись в большой и довольно чистой горнице, я стал расспрашивать о житье-бытье, и мне рассказали вот что:

— Таперича ничего, как будто попривыкли, а попервоначалу — беда. Пуще всего бабы голосом голосили. У нас они, сам знаешь, привыкши два раза в год к Владычице, Знаменью Коренской божьей матери ходить, а здесь етаго заведения нетути — ну и тосковали. Другое, опять наша сторона садовая, а здесева нет табе ни яблочка, нет табе ни дульки, — етим скучали. Веришь ли, отселева баб пять, должно быть, у Коренную, к девятой пятнице ходили. Что ж, бог привел, поворотились. Пробовали мы и яблони садить, семечками, стало быть; взой*деть,* рас*теть,* а там пропа*деть*. Что будешь делать. Климант такой, что ли-ча? А вот насчет хлебушка — ничего, земля уродимая. Пашаница растеть, рожь, только настоящей *аржи* тут самая малость, больше ярица. Скус тот же, а силы нет. Насчет скотинки тоже слободно,

а чтоб лошадей крали, как по нашим местам, здесева не слыхать.

— А каковы соседи?

— Всякие есть: и худые и добрые... Насчет сибирских, мы их чалдонами дразним, больше чаями занимаются, а работать не охочи. Иные живут справно, а есть и нищета. А то вот недалеко новоселы калуцкие: к пахоте непривычны, народ лесной, то бедуют, то есть так бедуют, что боже мой!..

Подали самовар, и, нечего греха таить, кажется, не чищенный со дня покупки.

— Э, да вы чай пьете?

— Нет, мы к нему непривычны; молодые стали баловаться. Его мы больше про чалдонов держим: яны без етаго не могут.

— А чалдоны у вас часто бывают?

— А то как же? Известно, по-суседски: хлебушка когда купить, когда взять до новины.

— Разве у них нет хлеба?

— Есть, как не быть, да всё меньше супроти нашего, им так не спахать: мы на том стоим».

В этой заботе о хлебе притупляются и со временем врачуются или гаснут порывы nostalgiae,[1] и переселенец становится старожилом, а потом и туземцем, которого новые пришельцы, в свою очередь, станут дразнить *чалдоном,* а он их считать *необразованными мужиками.*

Удивительная эта привилегия нашего русского человека слыть образцом невежества даже среди своих же братий, которые имели случай только обазиатиться, и у г. Турбина очень много чрезвычайно интересных наблюдений над этими *пионерами* русской цивилизации в Сибири, но мы уже остановимся на том, что рассказали. Кажется, и этого довольно для того, чтобы дать понятие об этой книге тем, кто ее не читал, но может прочесть с большим для себя удовольствием и с пользой.

Недавно нам довелось сказать в «Русском мире» несколько сочувственных слов в похвалу превосходным народным сценам П. И. Мельникова и указать, что не народный жанр в повествованиях этого рода опостылел читателям, а опостылела манера жанристов Успенских,

---

[1] Тоски по родине *(греч.).*

Левитова и других, прослывших за специалистов в изображении народных сцен, тогда как их справедливее, кажется, просто считать специалистами для сочинения сцен нелепых и безвкусных. Теперь же мы очень рады возможности, говоря о книге С. И. Турбина, еще раз показать, что народные сцены могут быть и интересны и приятны, если у автора, который их рассказывает, есть настоящая наблюдательность, положительный ум и добрая воля оглядеть «Ивана Ивановича кругом», а не с одной той стороны, откуда он пошлее, злее и отвратительнее.

Материал все тот же самый, но что под пером гг. Мельникова и Турбина, а еще более под пером гр. Льва Н. Толстого выходит занимательно и прекрасно, то под другими перьями нередко становится безобразно и поистине отвратительно. В чем же тут секрет? Очевидно, в том, что народные сцены хороши, когда они пишутся людьми сведущими, талантливыми и чуткими, но сцены эти отвратительны, когда они сочиняются холодными паяцами, которые всегда имеют свойство надокучать своим кривляньем всякому, кто еще не извратил своего вкуса до того, чтобы предпочитать художника фигляру.

О РУССКОЙ ИКОНОПИСИ

Я никогда не в силах буду позабыть того впечатления, которое произвело на меня некогда мое первое свидание с Васильем Александровичем Прохоровым. Почтенный археолог, после довольно продолжительного разговора со мною об упадке русского национального искусства вообще и особенно о безобразном повреждении иконографического искусства, сказал, что он не верит себе, что видит человека с любовью к одной из самых покинутых отраслей русского искусства.

Тогда я не понимал всего значения ни этого отношения почтенного ученого к моим занятиям иконографиею, ни его удивления, что он встречает во мне человека, этим интересующегося; но прошло немного времени, и я сам испытываю почти то же самое. Написав недавно заметку об адописных (см. № 192 «Русского мира») иконах, я имел в виду одну цель: поправить мнение неизвестного мне газетного корреспондента, которое мне казалось ошибочным. Ни на что другое я не рассчитывал, зная, как мало внимания дается у нас этому предмету. Но вот в 211 № «Русского мира», по поводу моей заметки, появился отзыв, который меня чрезвычайно удивил; добавлю: удивил и, прибавлю, обрадовал, так как из него я вижу, что на Руси есть люди, которые верно понимают значение иконы для нашего простолюдина. Вслед за сим,

29 и 30 минувшего августа, в «Ведомостях С.-Петербургского градоначальства» (№№ 198 и 199) появилась обширная статья, посвященная этому же предмету, в течение столь долгого времени не удостоившемуся никакого внимания. Статья эта, скомпилированная, как кажется, большею частию по Сахарову и Ровинскому, составлена весьма интересно, обстоятельно и толково; но я не буду о ней говорить более и обращусь к письму, вызванному моею заметкою. Автор упоминаемого мною письма (под коим стоят две буквы N. R.) совершенно основательно говорит, что «икона для простолюдина имеет такое же важное значение, как книга для грамотного»; но мне кажется, что икона часто имеет даже несколько большее значение. Однако я не буду спорить об этом и остановлюсь на том положении, что «икона то же, что книга», и тот, кто не может читать книги с иконы, которой поклоняется, втерживает в свое сознание исторические события искупительной жертвы и деяния лиц, чтимых церковью за их христианские заслуги. Это одно само по себе немаловажно. При том состоянии, в каком находится наш малопросвещенный народ, иконы в указанном смысле действительно приносили и приносят до сих пор огромную пользу: так называемые «иконы с деяниями» представляли поклоннику целые *истории;* но иконописное дело наше находится в самом крайнем упадке, и им занимаются невежды, которые пишут на иконных досках неведомо что и неведомо как, а потому такие иконы не могут служить той полезной для народа службы, какую они приносили прежде.

Упадком этого искусства и даже окончательным низведением его к нынешнему безобразию и ничтожеству у церкви, очевидно, отнимается одно из самых удобных средств распространения в народе знакомства с священною историею и деяниями святых.

Это такая потеря, о которой стоит пожалеть, даже помимо того, что не менее жалко и само заброшенное искусство, имевшее некогда у нас свой типический, чисто русский характер, и притом стоявшее по технике на такой высоте, что наши иконописные миниатюры своею тонкостью, правильностью и отчетливостью рисунка и раскраски обращали на себя внимание самых просвещенных людей. Таковы, например, капонийские створы

русского письма, находящиеся в Ватикане, у папы,[1] филаретовские святцы в Москве и многие другие.

Потеря эта, однако, к сожалению, до сих пор плохо и мало сознана, и только лишь в самое последнее время ее, кажется, понемножку начинают чувствовать. На это есть приметы: при С.-Петербургской академии художеств основан христианский музей с большим собранием иконописных предметов самых разнообразных русских школ; там же есть экземпляры старых греческих икон (эпохи процветания этого искусства в Греции) и превосходные рисунки, сделанные князем Гагариным с достопримечательных икон в церквах Афона. Кроме того, в этом музее есть интереснейшие образцы иконописи коптской, абиссинской и других. Во дворце ее императорского высочества великой княгини Марии Николаевны группируется другое такое же собрание, которым заведует Д. В. Григорович. При московском Румянцевском музее находится третье превосходное собрание этого рода вещей; при тамошнем же Строгановском училище рисования — четвертое. Кроме того, известны превосходные собрания иконописных вещей и в очень многих частных домах, например: в Москве у Стрелкова и др., в Петербурге у гр. Строганова (наибольшая и наилучшая из всех частных коллекций), также у князя Шаховского, у Лобанова, у Соллогуба, у купца Лабутина и др. Из последних достойно замечания обширное собрание Лабутина, хотя оно и составлено без всякой системы. Кроме того, вкус к старой иконописи видимо возрастает, и специалисты, торгующие этого рода стариною, не затрудняются в сбыте по весьма высокой цене. Все это несомненно показывает, что на Руси нашим русским иконописным искусством еще и о сю пору дорожат, но дорожат очень немногие, а все великое большинство или вовсе о нем ничего не знает, или уверено, что русское иконописание — это та «богомазня», которою заняты ребята да девки в Холуе, Суздале, Палихове и Мстерах.

Однако все названные музеи и собрания почти никем не посещаются, а если и посещаются, то без всякой пользы, потому что ни один русский художник не зани-

---

[1] Подарены Петром I греческому монаху, а тем перепроданы Капони, по имени которого ныне и называются. *(Прим. автора.)*

мается русскою иконографиею и самую мысль об этом отвергает, как нечто унизительное, смешное и недостойное его художественного призвания.

Ни один из редких экземпляров наших иконографических музеев не копируется, и благодаря тому все эти музеи, кроме исторического, никакого иного значения не имеют.

Как же помочь этому — разумеется, в том случае, если бы, хотя благодаря штундистам, наконец была создана необходимость поднять русскую иконописную школу на ту высоту, на которой она стояла до порчи ее фрязью, а может быть — и развить ее еще выше? Автор письма, напечатанного в 211 № «Русского мира», полагает, что можно бы образовать с этою целью общество и что в этом случае могло бы много помочь Общество распространения книг священного писания; а при этом он также дает мысль делать иконы хромолитографическим способом и распространять их посредством продажи при церквах.

Все это мысли очень сочувственные и в общем довольно практичные, за исключением одной мысли: о производстве икон хромолитографическим путем; это уже совершенно не годится: по желанию и вкусу русского человека, икона непременно должна быть *писанная* рукою, а не *печатная*. Хромолитографические иконы народом не принимаются, и как бы они ни были хорошо исполнены, наши набожные люди, держащиеся старых преданий, откидывают печатные иконы и называют их «печатными пряниками и коврижками».

«То, — говорят, — пряник с конем, а это пряник с Николою, а все равно пряник печатный, а не икона, с верою писанная *для моего поклонения»*.

Возбуждать об этом спор с таковыми «богочтителями» было бы, конечно, бесполезно для дела, тем более что есть и отеческие правила, возбраняющие поклонение иконам печатным и писанным на стеклах. Правил этих народ еще сильно держится, и потому надо, кажется, позаботиться о производстве хороших икон другим путем.

Иконы надо *писать* руками иконописцев, а не литографировать, но надо писать их лучше, чем они пишутся, и строго по русскому иконописному подлиннику,

Как же достигнуть того, чтобы у нас теперь нашлись мастера, которые стали бы работать в требуемом стиле при хорошем умении рисовать и обращаться с левкасом, красками, золотом и олифою, варка которой у всякого иконописца составляла «особливый секрет»?

Кажется, что в этом случае, чем ходить окольным путем, лучше всего идти прямо к цели и обратиться к самой Академии художеств и Московской художественной школе, которые без всякого затруднения могли бы открыть у себя иконописные отделения, на тех самых основаниях, на каких, например, при Петербургской академии открыто мозаическое отделение. Академия, конечно, не превзошла бы своей компетентности, если бы она обратилась к этому по собственному почину; но как она починать в этом роде, кажется, не склонна, то весьма позволительно было бы Обществу любителей духовного просвещения или Обществу распространения священного писания испробовать отнестись к президенту академии с ходатайством об учреждении иконописного отдела. Если же совет академии найдет сообразным с его участием в жизни народа отклонить от себя эту просьбу и manu intraepidae[1] впишет этот отказ в свои летописи, то тогда полезно было бы попытаться учредить премии и открыть иконописный конкурс при петербургской постоянной художественной выставке. Эта мера ни в каком случае не осталась бы без последствий, и такие мастера, как Пешехонов (сын известного реставратора фресок Киево-Софийского собора), даровитый и обладающий большим вкусом московский иконописец Силачев (подносивший свою работу государю императору) и искусный иконописец с поволжского низовья Никита Савватиев, конечно, не преминули бы явиться на конкурс с такими произведениями русской иконописи, которые обратили бы на это искусство внимание публики, ныне им пренебрегающей и не признающей в нем никаких достоинств, может быть единственно потому, что почти никто из этой публики не видал и не знает хороших образцов в этом роде. Экспоненты, конечно, тут же и продали бы свою работу и приобрели бы новые заказы. Учредить же премию, мне кажется, не было бы особенно

---

[1] Недрогнувшей рукой *(лат.)*.

трудно, а председательство по присуждению оной, может быть, не отказался бы принять на себя граф Строганов, как член постоянной художественной выставки и едва ли не первый и не совершеннейший современный знаток русского иконописания.

Таковы первые меры, которые могли бы, мне кажется, кратчайшим путем поднять русское иконописание *в его производстве;* затем, разумеется, понадобятся свои меры и для распространения хороших и вытеснения икон плохих.

На сей последний счет старое время дает нам готовый способ: встарь иконы освящались не иначе, как по рассмотрении их технического достоинства тем духовным лицом, которому икона подавалась для освящения. То же самое, разумеется, можно бы постановить построже наблюдать и теперь. (См. «Книга соборных деяний», лета 7175, г. Москва, и совместный указ святейшего синода и правительственного сената 11 октября 1722 г. о назначении Ивана Заруднева надзирателем за иконописцами.) В этом случае надо возобновить контроль, какой признавал необходимым император Петр I. Но дело в том, что, по случаю дороговизны *лицевого* подлинника (7 р.), *его нет почти* ни при одной православной церкви, и потому священник лишен возможности сверить принесенную ему икону с хорошим и правильным начертанием, принятым церковью, а святит все, что ему поднесут. От этого и распространяются иконы самые фантастические. Это бывало и встарь, и тогда изографы «много ложно ко прелести невежд писали» («Книга соборных деяний»), но за ними тогда было кому наблюдать, а теперь некому. Надо бы, чтобы *лицевой подлинник* был во всякой православной церкви, ибо без этого само духовенство наше, совершенно не сведущее в иконописании, не может определить, правильна или неправильна приносимая к освящению икона. Это второе.

Учредить склады икон при церквах — мысль прекрасная; но она одна сама по себе не достигнет своей цели, потому что «богомазы» всегда проникнут в деревню с своим товаром, с дешевизною которого хорошим иконописцам конкурировать невозможно. Притом же безобразнейшие иконы не только покупаются от разнос-

чиков, но они приносятся народом из мест, куда люди ходят на далекое поклонение. В этом особенно знаменит Киев, где теперь в продаже обращается иконопись невероятнейшего безобразия. Как бы ни хороша была икона, продаваемая дома, у ктитора своей приходской церкви, набожная база все-таки непременно предпочтет ей безобразную мазню, которую предложат ей купить на полу под колокольнями лавр и других чтимых монастырей.

И, наконец, надо кому-нибудь собраться с духом и напечатать техническую часть русского подлинника (первую часть греческого подлинника, составленного монахом Дионисием и изданного Dideron, Manuel d'iconographie chretienne, Paris, 1845[1]), где изложены рецепты приготовления досок, грунтов, полимента, холста, красок, золота, олифы и т. п. У французов, которым это сочинение дорого только как *антик,* оно переведено и издано, а у нас, для которых оно имеет живое значение, этой части подлинника до сих пор не издано, хотя В. А. Прохоров давно об этом заботится, но заботится вотще. На это нужны средства, а средства у нас не всегда находятся на то, что нужно. Без этого же наставления, или без этого *курса,* без этой *инструкции* иконописания, и самый заохоченный к иконописному делу художник будет поставлен в очень большие затруднения, потому что письмо краскою, растворенною на яйце, требует совсем не тех приемов, что письмо масляною краскою. Находящиеся же у некоторых иконописцев редкие экземпляры технической части подлинника в рукописи вообще неисправны, сокращены от лености писцов и перебиты от их бестолковости, а притом всегда очень дорого стоят (рублей 20—30). Затем у всякого мастера варка олифы, сгущение полимента, раствор золота и красок и приемы наведения плавей — это все составляет секрет, для сохранения которого в самых подлинниках повелевается, например: «творя золото, *всех вон выслать»;* другие же секреты наивно писаны латинским алфавитом, например, podobaet viedet: kako sostawit, poliment, а третьи, наконец, тарабарщиною, которой,

---

[1] Дидрон, Руководство по христианской иконографии. Париж, 1845 *(франц.).*

по народному выражению, «сам черт не разберет». Надо непременно вывесть это секретничанье, а это только удастся разоблачением секрета, то есть изданием подлинника, обеих частей разом. Без этого же иконописное дело на Руси не может поправиться, и тому есть очевидное доказательство: в иконописных школах Киево-Печерской и Московско-Сергиевской лавр в последнее время начали держаться понемножку русского стиля, то есть удлиняют фигуры от 7 до 9 головок и чертят контуры строже, а поля золотят по полименту, чеканят и пестрят «византиею», но все это отнюдь не дает иконам лаврского письма типического русского характера. Не говоря о том, что во всем рисунке все-таки остается прежняя безвкусная фрязь, а это вовсе не идет при удлиненной фигуре, самая масляная краска и позолота держатся слабо, и отчетливая мелкость, столь приятная в иконе настоящего иконного письма, отнюдь не достигается при этом смешении стиля и раскраски. С яичными же красками, дающими иконе ей одной приличный, тихий, мягкий, *бесстрастный* тон и нежность, лаврские мастера совсем обращаться не умеют, и поучить их, как видно, некому, а сами они ничего об этом нигде вычитать не могут, так как техническая часть иконописного подлинника не издана. Из всего этого и произошло то, что в Сергиевой лавре еще недурно пишут (по крайней мере икону одного преподобного Сергия), но в Киевской лавре весь стиль так перемешан и перебуравлен, что надо жалеть, зачем здесь взялись не за свое дело и покинули свой прежний римско-католический пошиб с подрумяненными мученицами и франтоватыми архангелами и ангелами в кавалерственных позах. То было похоже хоть на что-нибудь, тогда как нынешние иконы реставрированной киево-печерской школы могут свидетельствовать только о том, что одних добрых намерений писать в русском стиле весьма недостаточно, а уменья негде взять.

Так-то сведено ни к чему и поставлено *на нет* наше некогда столь славное, столь изумительно прекрасное русское иконописное искусство, о котором, благодаря счастливому случаю, нам неожиданно опять довелось сказать несколько слов, не знаю, на пользу ли ему или на то только, чтобы большее число людей имели случай убедиться, что все, кто мог бы и кому следует позабо-

титься об этом деле, считают его недостойным своего просвещенного внимания.

Кончаю мою заметку тем, что желающие поддержать вопрос о русском иконописании должны, по моему мнению, не метаться со своими пенями куда попало, а они должны не сводить своих глаз с Академии художеств, которая не только может, но, кажется, и *должна* бы явиться, по зову общества, на помощь религиозной потребности народа. Ни к кому иному, как к ней, к сей академии, надо адресовать эти справедливые требования.

КАРИКАТУРНЫЙ ИДЕАЛ

УТОПИЯ ИЗ ЦЕРКОВНО-БЫТОВОЙ ЖИЗНИ

(Критический этюд)

I

Есть сочинения, которые настойчиво требуют критической оценки, не по их литературному значению (которого они могут и совсем не иметь), а по свойству затрагиваемых ими вопросов и по условиям времени, при которых они появляются в свет. Таково во всех отношениях недавно вышедшее сочинение имеющего довольно своеобразную известность московского писателя Ф. В. Ливанова. Книга эта называется «Жизнь сельского священника — бытовая хроника из жизни сельского духовенства»; она мне кажется достойною разбора, которому я и посвящаю наступающие строки.

Мне, может быть, не следовало бы писать об этой бытовой хронике, потому что я сам напечатал хронику под заглавием «Соборяне»; но моя хроника представляла совсем иное время — в ней описан не век нынешний, а век минувший, — «догорающие свечи *старой поповки»,* которой ударил час обновления. Я не намечал новых типов и, по совести говоря, убежден, что это еще невозможно: типы эти еще не выработались, не определились, и художественное воспроизведение их не может дать ничего цельного. Конечно, среди епархиального духовенства по местам обнаруживается весьма заметное и давно желанное оживление, но все это пока еще — как тесто на опаре — пузырится и всходит, а мудрено сказать, каково оно выходится. Я всегда был того мнения, что воспроиз-

ведением новых типов из духовенства лучше не торопиться и подождать, но ожидание, вероятно, так утомительно, что после моих «Соборян» явились уже две хроники с «новыми попами», — одна принадлежит перу светского человека и называется «Изо дня в день, — записки сельского священника»,[1] другая — едва не погибшая в муках рождения — предлежащая нам книга Ливанова. О первой из этих книг совсем нельзя говорить, потому что автор ее вовсе не владеет знанием условий быта, который он хотел воспроизвесть; во второй же, написанной г. Ливановым, есть и знание быта, и есть нечто иное, тоже весьма ценное: это, если можно так выразиться, субъективная объективность автора в воспроизведенном его фантазиею идеале нового сельского священника. Сочинить такой идеал и такие положения, какие придуманы г. Ливановым, может только пылкий, мечтательный семинарист, знающий скорби духовного быта, но имеющий слишком поверхностные и уносчивые понятия о средствах для выхода из области этих скорбей. Но и самые, как говорят, «фантазироватые» семинаристы, грезящие такими мечтами в свои юные годы, не доносят их до конца семинарского курса, а г. Ливанов сохранил эти мечтания до своего солидного возраста и изданием этой книжки стремится к их распространению среди читателей, которых, по заявлению этого писателя, у него чрезвычайно много.

Его книжка, всеконечно, может быть прочитана людьми, которые заметят близкое и довольно основательное знакомство автора с одной (отрицательною) стороною бытовой жизни сельского духовенства и, может быть, не сразу отличат сильную фальшь, какая находится в других частях хроники.

Задача настоящей статьи: показать по возможности серьезность представленного в хронике *«идеала нового сельского священника»,* его борьбы, поражений, побед и окончательного торжества. Задача эта не может быть бесплодна в наши дни, когда тип «нового человека» на месте приходского пастыря действительно формируется,

---

[1] Этой книжке сделана была критическая оценка в «Страннике» за 1876 г. (см. рецензию Пр—пова в январской книжке, стр. 15—22). *(Прим. автора.)*

но еще неясен. Самый же предмет так жив и благодаря г. Ливанову поставлен так забавно, что читатели «Странника», конечно, не соскучатся и не посетуют за являющийся пред ними отчет об оригинальном новаторе сельского прихода.

II

История начинается в губернском городе с приездом туда из Петербурга нового архиерея Хрисанфа, который до того был в Петербурге ректором... Читателю может показаться это чем-то знакомым? — конечно, — имя архиерея и его прежнее служение с первого же раза что-то и кого-то напоминают; но таких сюрпризов впереди еще много, и потому не будем на этом останавливаться.

Новый архиерей Хрисанф не говорит ректору семинарии, «как прежние» (стр. 3): «что за вздор ты несешь» и даже «дурак». Он очень мягок и благороден. — Происходит публичный экзамен, на котором присутствует, между прочим, «светская девушка, племянница советника губернского правления, Вера Николаевна Татищева». Племянницы советников губернских правлений, «светские девушки», — разумеется, «светские» только в том же смысле, как всякая девушка не из духовенства; но как автор понимает эту «светскость», — неизвестно. Кажется, он ее понимает не совсем так. Тут же, на семинарском экзамене, сидят «дамы высшего круга», — они «говорили с важными господами и *нюхали букеты*» (5). Автор полагает, что «дамы высшего круга» все нюхают букеты и, получив малосвойственное им желание посетить семинарский экзамен, непременно и там будут «нюхать букеты». Это, конечно, свидетельствует о его полном незнакомстве с обычаями «дам высшего круга», которых он без всякого для себя ущерба мог бы и не описывать; но это теперь модная слабость наших писателей, из коих один, вероятно, столь же, как и г. Ливанов, знакомый со «светом», писал: «Я, как все великосветские люди, встаю поздно и сейчас же иду в трактир пить чай». На экзамене отличается студент Алмазов, производящий сильное впечатление на «светскую» племянницу советника Веру Та-

тищеву. Фамилия *«Татищева»* опять может показаться поставленною так же нецеремонно и неловко, как и имя архиерея Хрисанфа; но уже это у автора такая привычка, которая неизвестно куда заведет его. Студент Алмазов — это будущий герой хроники, а Вера Татищева — героиня. Обед кончен, владыка Хрисанф уезжает, но... «в городских церквах не звонят» (6). Архиерей Хрисанф тоже новый тип: он не только доступен, прост и вежлив, но он отменил и трезвон во время своих переездов по городу.

«Я не хочу, — сказал он ключарю, — чтобы о моих обедах и закусках, о моих выездах в гости *трезвонили по городу»* [1] (7; курсив подлинника).

Отличившийся богослов Алмазов оказывается в затруднительном положении (11): он, во-первых, назначен в академию, во-вторых, влюблен в светскую девушку, а в-третьих, пред ним ежедневно почти валялся на коленях его горемыка отец, заштатный пономарь, умоляя сына не ездить в академию. Любовь ему приключилась на уроках, которые он давал в доме, где встретился с Верою Татищевою, «институткою петербургского Николаевского института» (12), которая уже «была в четырех домах гувернанткою» (13), что, пожалуй, не составляет для нее особенно хорошей аттестации. Впрочем, не удивительно, что она переменила так много мест: очень уже она бойка. Богослов влюбился в нее, когда она «в качестве племянницы советника много выезжала, видела много людей и пришла к заключению, что на свете больше скверных людей, чем хороших». Тут ей пообычался Алмазов, и она «решилась, сблизившись с ним короче, *развивать его»*... Это *развивание* институткою богослова как две капли воды напоминает известные нигилистические романы, где герои прежде всего друг друга «развивали». Но как же эта шустрая девица берется за восполнение того, чего с ее возлюбленным не умели сделать профессора семинарии? — Очень просто: она исполняет это по общеизвестному рецепту тех же нигилисти-

---

[1] Нужно заметить, что г. Ливанов, как видно, вовсе не знает того, что «трезвон» принято производить только тогда при проезде архиерея, когда он едет в церковь совершать божественную службу; во всех же остальных случаях он ездит по городу без звона. *(Прим. ред. журнала.)*

ческих романов: она дает богослову читать книги Тургенева, Гоголя, Пушкина и Лермонтова, а «потом перешла к Шекспиру, Гете и Вальтер Скотту», и все кончено: «Алмазов, имея двадцать три года, вырос в год так, как не вырос бы в три года при рутинной замкнутости семинарской жизни». Так многомощна оказалась эта институтка, поправившая над богословом «тупость семинарского учения». Дело еще больше поправил ее дядя-советник: он стал «вывозить» Алмазова в свет (13), и богослов, очутившись в обществе, «блестящее которого есть круги, но *умнее нет»* (15), стал совсем «разносторонне развитым человеком» (14). Одно еще не ладилось: богослов хотя и был уже влюблен в Веру, но только при всем своем «многостороннем развитии» и светскости никак не мог с нею об этом объясниться; а между тем ему надо было ехать в академию, и дело могло этим кончиться. Но тут в бойкой институтке «сказалась женщина» (15), — она взяла да просто-напросто и отрезала развитому ею богослову:

«Напрасно скрываетесь; вы влюблены в меня два года и теперь любите... Да?»

Он, бедный, не успел ей ничего ответить, как она ему сейчас же ткнула:

«Вот вам моя рука».

Тот сначала «сжал руку», и так «прошло долго, долго», потом «сжал еще крепче»; потом «хотел поцеловать, но не решился». Бедовая девушка видит, что он опять очень долго копается, и сама «позволила ему поцеловать руку», и сама «поцеловала его в голову». Богослов и замечтал, — и полезло ему в голову, что нет ему нужды идти в академию, потому что он и так может счастливо устроиться. Он будет образцовым приходским священником, а жена его образцовою сельскою попадьею. Тут и начинают «фантазироваться» семинарские мечтания (18): «я делаю общие распоряжения, даю общие *справедливые пособия* (?), завожу фермы, сберегательные кассы, мастерские, и она с своею хорошенькою головкой, в простом платье, поднимая его над стройной ножкой, идет по грязи в крестьянскую школу, в сельскую больницу, к несчастному мужику и везде утешает...» Ее обожают, на нее смотрят как на ангела, на *привидение* (sic!). Она все это скрывает от мужа, «но я все знаю, —

говорит размечтавшийся богослов, — я крепко обнимаю ее и крепко и нежно целую ее прелестные глаза, стыдливо краснеющие щеки и улыбающиеся румяные губы...» Автор очень кстати здесь ставит многоточие. Развитие Алмазова, как видите, уже несомненно (21): «в нем развилась *живая сила,* и он уже задается задачею быть *идеальным пастырем сельским* и в этом найти высокое наслаждение». Вот что сделала с молодым богословом институтка Николаевского института, — *она* дает нам «идеального сельского пастыря», а не духовная школа, от которой мы, как показывает г. автор, ждали этого совершенно напрасно...

Пусть так: станем смотреть в эту сторону — что сулит нам в устройстве нашего клира участие «николаевской институтки». Алмазов так расходился, что сейчас же написал Татищевой записку с предложением быть его женою, и послал эту записку «с мальчиком семинаристом». Этот бедный маленький Меркурий сейчас же слетал и примчал ответ: «приходите к нам сегодня вечером, — вопрос решится». Богослов «опрометью побежал» с вопросом: «да или нет?» Ответ, конечно, был: «да», и затем решено от академии отказаться и просить места сельского священника. Институтка так и рвется быть попадьею: ее влечет к этому (22) «общий голос, который признает жен священников *счастливицами»* на том основании, что «семинарист вступает в семейную жизнь, *не растратив сил,* и бережет жену, так как другой ему не дадут». Практические соображения девушки в этом роде поддерживает одна опытная особа — «дама, урожденная княжна Шаховская, аристократка по рождению». Эта кн. Шаховская, по уверению автора, узнав свет, говорила, что *«если бы только она могла возвратиться опять к девичьей жизни,* то ни за кого другого не вышла бы, как за священника». Но как урожденной княжне Шаховской уже нельзя было «возвратиться к девичьей жизни» затем, чтобы сделаться «попадьею», то это делает Татищева, — она выходит за Алмазова и приносит ему пять тысяч приданого. Алмазов знал, что начальство его «неблагосклонно» смотрит на женитьбу духовных на светских девушках, но решил не отступаться от Веры, а в случае несогласия архиерея «поступить в губернское правление».

Таким образом, мы чуть было не лишились *«идеального сельского пастыря»* в самом начале его карьеры, но архиерей Хрисанф и советник спасли дело. Советник «с орденом Анны на шее вошел в переднюю архиерея, и *лакей преосвященного встретил его как давнего знакомого»* (25) и «доложил о нем». Тут в книге вставлено несколько весьма интересных замечаний об архиерейских лакеях как о весьма своеобразном и вредном сорте людей. На 26-й странице автор говорит о типе архиерейских лакеев «в манжетах и нарукавниках». Они будто бы получаются архиереями преемственно от каких-то «вельмож» и, попав к архиереям, делаются страшными взяточниками и держат себя свысока даже перед «великолепными благочинными и протоиереями». Жизнь эти лакеи проводят такую, что г. Ливанов, изображая (27) многосторонние выгоды лакейского положения у архиереев, кратко, но искренно замечает: *«блажен лакей»*, — но на 28-й странице он к этому добавляет: *«только смотри, лакей!»* Значит, есть что-то такое, что и хорошо и худо; «блажен лакей, но смотри, лакей!» — в общем, формула очень замысловатая и назидательная. Но не похожий на многих других архиерей Хрисанф и лакея имел совсем особенного: автор объясняет, что этот архиерей взял себе лакея не от вельможи, а (27) «у одной дамы», отчего выбор вышел несравненно удачнее. Алмазову разрешается жениться на «светской особе» и назначается место в селе Быкове. Происходит обручение, на которое советник пригласил «нового письмоводителя архиерейского», рассуждая, что *«всегда пригодится»*. Предусмотрительность, напоминающая гоголевского Осипа в «Ревизоре» и, вероятно, не совсем излишняя: «все пригодится» на жизненном пути. Хрисанф хорош, а всё письмоводителя не мешает иметь на своей стороне даже и при Хрисанфе... Это резон: запас беды не чинит и хлеба не просит. Потом ряд небезынтересных анекдотов об архиерейских письмоводителях, между которыми, если верить автору, совсем будто бы нет порядочных людей. Между тем во время этого пира Вера отыскивает «на кухне» своего будущего тестя и приводит его в комнаты, — богослов этим тронут и «готов упасть перед нею на колени и *молиться»* (35). Вера, по словам автора, все «вырастает», а при этом, надо сказать, и очень сильно *огрызается:* она (38)

держится «в границах светской учтивости от *подлых намеков»,* которые делают разные лица и между другими одна «губернаторская гувернантка, воспитывающая «будущего олуха». Отчего губернаторский сын непременно должен быть «олухом» — это секрет г. Ливанова, и мы не стремимся его ни опровергать, ни разгадывать, но не можем не подивиться: какую непонятную ноту держит наш странный автор? Он восстает будто бы против каких-то непочтительностей к порядкам, но сам защищает порядки весьма забавно. В десятой главе хроники у него изображается архиерейский эконом, отец Мардарий, который тоже не задачнее губернаторского сына, — он исповедует ставленников (43) «только за немалое приложение».

Поисповедавшись, Алмазов посвящается и (44) «делается батюшкою — отцом Александром, а Вера Николаевна матушкою».

На этом поворот солнца на лето, а зимы на мороз: повествование вступает в новую фазу, с которой начинается большее оживление и большая бестолковщина.

III

Молодые супруги перед отъездом из города делают визит ректору семинарии, архимандриту Вениамину, выпуская которого на сцену автор отмечает в его кондуите, что этот архимандрит «во время одного пожара, забывши свой сан, явился на пожарище *простым христианином»* (sic!). Почему архимандрит может «явиться простым христианином» только «забывши свой сан»?.. Это, вероятно, так, «с языка сорвалось». Выставив, однако, такую черту архимандрита, автор продолжает так (45):

«Читатель подумает: вот это будет архиерей так архиерей! Не торопись, читатель, заключением своим: в С. губернии лет восемь тому назад ректор семинарии был тоже необычайно энергичный человек. Все говорили: вот будет архиерей так архиерей! И что же вышло: сделавшись архиереем, он с трудом и отвращением подписывал даже срочные бумаги». «Что за причина такой апатии?» — спрашивает автор и отвечает: «причина та, что надо добыть *«ключи Петровы»,* а добывши их, можно и успокоиться,

да и обстановка архиерейская много ослабляет деятельность владык: «торжественные повсюду встречи, колокольный звон» и т. п. — все это, по словам г. Ливанова, увлекает архиереев «помечтать». И г. Ливанов очень интересно говорит об этих «архиерейских мечтаниях». Они будто бы для сих мечтателей (46) «несравненно приятнее консисторских протоколов, которых накопляются целые груды». Правду или неправду говорит об этом г. Ливанов — это уже его дело, — его и ответ, а мы следуем за повестью. Ректор хвалит Веру, что она «не побрезговала названием *матушки»,* но пожалел, что Алмазов «архиереем был бы», что, надо сказать, со стороны о. ректора не совсем тонко и деликатно. Молодые супруги делают крюк и заезжают к родителям Алмазова, в село Колывань. Село это — «почти дикое, и потому, когда хороший городской *возок,* запряженный тройкою почтовых лошадей, подъехал к маленькой, покрытой соломою избушке пономаря, то сбежалось к этой избушке чуть не целое село». Старики, поджидая гостей, решили, что они (47) отдадут молодым «горницу, а сами переселятся на сеновал». Разумеется, это несколько рискованно для старых людей, так как зимою на сеновалах очень холодно; но, по счастью для престарелых родителей Алмазова, тут со временами года совершается нечто странное: свадьба и посвящение происходят вслед за выпуском студента — стало быть, по осени; едут молодые уже в «городском возке», стало быть, по санному пути, а между тем встречающие их старики хотят спать на сеновале... Все это как-то не вяжется и *«не по сезону»,* но дальше мы увидим на этот счет нечто еще более удивительное. Обыватели «дикого села» приветствуют о. Александра с отменным простодушием: «ай-ай, Сашка, какую жену тебе бог дал»; родители суетятся, а «в это время горничная Веры, разодетая по-городски, носит разные узлы и картонки». Молодые назначают своим старикам пенсию; горничная молодых, «накормленная до пресыщения», после ужина приносит от старой попадьи «двуспальную кровать красного дерева», ставит ее «посреди комнаты, *убирает* новым бельем и подушками, вынув и шелковое одеяло для молодых»... Словом — справили их очень основательно и оставили в тепле и в холе, на двуспальной постели; а «старики» разбрелись

так: пономарь пошел «на сеновал», старушка — «на погребицу», щеголеватую же горничную «положили в сенцах, под пологом, чтобы ее мухи не беспокоили...» (?) Вот как все это оборотилось: куда девался и зимний «возок»; как понадобилось автору — все вдруг так потеплело, что даже в холодные сени и мухи залетали!

«Так, — говорит автор, — вошла в семью новых *родителей своих* (вместо *мужниных* родителей) Вера Николаевна», — и, добавим от себя, она вошла прескверно и неодобрительно: на первых же шагах она заняла бесцеремонно их единственную комнату; разлеглась там на кровати красного дерева под шелковым одеялом, а стариков отпустила «на сеновал» да «на погребицу».

«О, если бы все наши поповны подражали ей!» — восклицает автор. Да; но что же бы тут было хорошего? Напротив, делает честь «поповнам», что они гораздо скромнее и не склонны к такому подражанию.

«Идеальный священник» с своею супругою едут далее, в село Быково (53); и по этому случаю в атмосфере опять происходит что-то непостижимое: на дворе вдруг делается «сентябрь месяц», мухи исчезают, как прежде исчез возок, и супруги Алмазовы, к немалой для всех неожиданности, въезжают уже не в возке, а в тарантасе...

«Эка какой форсистый! — говорят мужики. — Чопорно очень ездит».

Да и в самом деле — и форсисто и чопорно: одну путину и на полозьях и на колесах делает. — В своем селе молодые помещаются в церковной «сторожке», которую (56) бойкая горничная «идеальной попадьи» обратила в довольно комфортабельное помещение, с «спальною за перегородкою». Опять является эта постель, кисейная занавесь с бахромою — украшением, которому, кажется, нет никакой нужды появляться на временном ночлеге с приезда, да еще в сторожке. Алмазов говорит крестьянам речь (57), открываясь в ней, что он «хочет быть пастырем добрым, душу свою полагающим за овцы свои». — Ниже мы увидим, как он это сдержит.

Положение дел в приходе г. Ливанов описывает так (60): «причетники, особенно дьяконы, почти везде недовольны священником; последний со всем своим причетом редко похвалится благочинным, — никогда не скажет доброго слова о консистории; шепотом и оглядевшись,

пожалуется и на более высокую власть; опишет множество поборов, взяток, чуть не податей, которые ему нужно платить предустановленным над ним властям... То старшина с ним обращается слишком гордо, то помещик притесняет его, то крестьяне составляют против него, или, лучше сказать, против его доходов *заговоры»* (61), «мироеды требуют, чтобы он пил с ними — иначе поп у них останется без куска хлеба». Алмазов был не таков и за то «потерпел полное фиаско на сходе». Но все это тем для нас интереснее, что Алмазов, приехавший «положить душу свою за овцы», в качестве «идеального попа» все это превозможет и переделает по самому совершенному способу, который может нам служить образцом реформаторских фантазий рьяных нетерпеливцев вроде автора рассматриваемой нами утопии.

Пятнадцатая глава называется: «Кабинет священника», — это очень курьезно: Алмазов нанимает дом в селе за 300 рублей; употребляет 200 рублей, чтобы «поставить его *на порядочную ногу»*, — дом имеет «зальце, хорошенькую гостиную, женский будуар (?!), спальную и кабинет, убранный оригинально» (62). Вот эта *оригинальность,* или, лучше сказать, — юродство (ibid.): «над письменным столом своим о. Алмазов велел столяру *устроить шатер* деревянный, оканчивающийся крестом», и обложился книгами, — одних книг Веры «доходило числом до 200 названий», но что это за названия, автор не объясняет, хотя это очень интересно. Если можно держаться поговорки: «скажи, с кем знаком, и я скажу тебе, кто ты таков», то так же удобно сказать: покажи, какие ты книги читаешь, и я скажу, «коего ты духа», — число же книг само по себе не выражает физиономии чтеца. «Идеальную попадью» Веру Николаевну более характеризуют мелочи ее домоустройства (62): «к ней пришла на подводах рояль и все будуарные вещи». В доме явились «белые кисейные занавесы на всех окнах, ковры в гостиной, будуаре, спальной и кабинете, картины и зеркала на стенах, городская мебель». И Вера, «обозрев» дом, нашла, что все добро зело, — теперь, говорит, «можно жить по-человечески»; но только что учредилась эта благодать, как сейчас же погнал на нее грех: на «идеального» священника восстали весьма материальные враги сельского пастыря. Отсюда начало борьбы,

IV

Вводя рассказ в эту фазу, автор говорит: «ничто так не *убило* духовенства в России, как унизительная *система поборов»* (курсив подлинника). Этим *«заградили ему уста* к правде» (60). На 61-й странице автор продолжает: «19 число февраля 1861 года едва ли не сделало положение сельского духовенства еще хуже прежнего». — «Новая сельская аристократия, несмотря на свое аристократическое происхождение, успела заразиться спесью бар». Алмазов вышел на борьбу с этим злом; после первой же отслуженной им обедни он является с проповедью, после которой (70) «о нем не могли уже сказать, что это поп, каких много: он прямо *ударил на жизнь современную»*.

Чрезвычайно интересно, в чем «идеальный священник» видит из-под своего балдахина эту современность в приложении к людям сельского прихода. Это и раскрывается из его проповеди, из которой мы позволим себе сделать небольшую выписку:

«Все теперь говорят, что народ нам нужно вести к лучшему. Но что такое это лучшее? Какие тут идеи, какие начала, какие цели? Вы укажете на народное просвещение, развитие народной деятельности и так далее, а мы скажем, что если все это не основано на началах строго нравственных, не проникнуто высоким духом нравственным, если при этом не имеется в виду нравственная жизнь народа, с ее потребностями и законами, тогда все это — пустоцвет, гниль. Что такое народ? — народ есть сила живая, сознательная, нравственная. Его нельзя усовершенствовать пустыми учебниками, как машину... Хотим ли мы в самом деле, чтобы народ был *истинно образованнее,* гражданственнее, деятельнее и крепче в своей жизни общественной, чтобы он умел хорошо пользоваться своими народными силами и правами?..» И так далее «идеальный священник» все говорит «слова, слова и слова» — слова громкие, едва ли понятные сельскому люду, — слова, привезенные из города за один подъем в зимнем возке и в тарантасе и слепленные под балдахином, который уже, видимо, приносит помеху. Не взмостись о. Алмазов так торжественно сочинять под балдахином, он бы, может быть, понял, что крестьянам

совсем не нужны все эти рацеи о народе и общие взгляды об образовании, и он стал бы просто-напросто изъяснять писание и вести простые — гомилетические, или нравственные, — беседы, без подмеси острых специй полемики. В народе нет теоретиков, и сам автор почувствовал это и должен был придумать «идеальному священнику» врагов не из крестьянства. Проповедью Алмазова обиделись (71) «помещики, бывшие в церкви», и особенно «нигилистка Кашеварова» (sic) ... Да, г. автору понадобилась и «Кашеварова» — иной фамилии он как будто не мог сочинить для своей «нигилистки»... Престранная эта у г. Ливанова игра с известными именами; то архиерей Хрисанф, то княгиня Шаховская, то Татищева, и, наконец, еще Кашеварова, с закрепленным за нею титулом «нигилистки»... Не хитрый, но удивительно непосредственный прием, очевидно, возможный не для всякого. Автор говорит, что «Кашеварова росла дико среди ухаживаний военного своего батюшки за деревенскими бабами и, подросши, уехала в Петербург, где возилась с медицинскими студентами, родила ребенка в каком-то подвале и, наконец, брошенная *шаршавым либералом,* возвратилась *просвещать народ* (курсив подлинника)». У нее «в комнате два человеческих скелета, карты с изображениями типов обезьян, анатомические рисунки и портреты Дарвина и Сеченова» (77). И перед всеми-то этими страстями отцу Алмазову довелось петь тропарь и предлагать к целованию крест, от чего Кашеварова отказалась и на вопрос о религии отвечала, что ее «религия — труд» (78). Словом, она, как патентованная нигилистка, в бога не верит; но тогда зачем же она приходила в церковь? — можно думать, как будто нарочно, чтобы возненавидеть «идеального священника» и отомстить ему, заставя его у себя дома петь тропарь перед скелетами, обезьянами и портретом Сеченова... Это с ее стороны очень коварно: но зачем же г. Ливанов повел своего священника в такой дом и заставил петь там перед такими страшилищами? Нынче и не «идеальные», а весьма обыкновенные, но благоразумные священники не навязываются с праздничными хождениями в те дома, где их не жалуют и не приглашают, и эти священники хорошо делают, что так осторожны. Зачем же идеаль-

ный священник добивался петь в доме Кашеваровой, которая его не звала петь? — Это, кажется, не резонно.

Но можно думать, что он все это делает с тем, чтобы «штудировать среду», так как его бойкая светская жена при приближении праздника сказала ему (74): «Ныне, наконец, случай тебе познакомиться с твоими прихожанами — помещиками», а идеальный священник у своей жены в послушании. И вот «заложен был *троичный фаэтон* отца Алмазова, в котором с дьяконом и пономарем он отправился *по чину* (?) к помещикам». — «Приехали прежде всего к Скалону (опять фамилия всем известная), тонкому и богатому аристократу, гвардейцу в отставке». У аристократа духовных прежде всего держат в передней; потом вводят в зал, где были у хозяина гости: исправник, становой, дворянский заседатель и почтмейстер уездного города (75). «На столе закуска — и тонкий аристократ с первого же слова произнес: *Водочки, отцы»* (курсив подлинника). Потом побывали у Кашеваровых, у Жигаловых; у Кашеваровых видели скелеты типов обезьян и портрет Сеченова, а у Жигаловых наслушались таких разговоров (80):

«Ваш муж все еще не перестает с бабами возиться?», — спросил непременный жену Жигалова, разговаривавшую с священником.

«— Ах, и не говорите! — отвечала та, — никому спуску не дает — просто срамота. Его недавно на гумне мужики избили было за это.

— Это все пустяки, — вмешивается Жигалов. — Нет, вот когда я на службе был, — вот это было житье! — сенные девушки, когда их господа постегают, бывало, плетью... бегут прямо в суд и кричат: «Спасите, защитите!» Извольте, мол, приходить поодиночке для объяснения дела. И с каждою, как объяснишься среди пантамин... ну и будет о любви сладкой помин» (sic).

Священнику «сунули в руку 2 рубля» и выпроводили. Скромно и вежливо приняли его у одних старичков Осокиных, живших на отлете. Эти Осокины, вероятно, были «по чину» всех ниже, потому что к ним фаэтон о. Алмазова подъехал всех позже.

Идеальный священник, вернувшись домой, все это рассказал жене и на другой день едет к «нигилисту Болтину» (опять известная фамилия?), который учился

в Московской петровской академии. Он принимает о. Алмазова «небрежно», а о. Алмазов рассказывает ему о своем намерении украсить получше церковь (85 и 86 — *два номера на одной странице*).

«Болтин, запустив в свои взъерошенные волосы пальцы рук, надменно, но с энтузиазмом сказал:

— Довольно! — Чтобы не играть нам с вами комедии, я выскажусь вам откровенно: все, что вы наговорили мне о религии и о боге, — бабьи сказки».

С этою резолюциею священник уезжает... Было зачем ему и приезжать!

Но вот повествование вступает еще в новую фазу: «идеальный священник» доживает до «хороших дней» (87) и начинает чудить на иной манер.

V

«Чтобы быть истинным пастырем, а не наемником, Алмазов решился изучить каждый двор, каждую семью своего прихода». Простой, добрый священник делает это просто: он живет, служит, знакомится с людьми в живых с ними сношениях и не только узнает весь свой приход, но делается другом прихожан и часто врачом их совести, примирителем и судьею. Это, конечно, не часто так бывает, но никак нельзя отрицать, что такие примеры есть. «Идеальный же священник» и в этом случае поступает по нигилистическому рецепту; он «изучает» людей и ставит это для себя особою задачею. Все это у него обдумано под балдахином, из-под которого он выходит для выполнения всей процедуры изучения прихода «с памятною книжкою в кармане». Всех приемов его невозможно представить в кратком извлечении, да они и неинтересны. Довольно сказать, что и здесь, как в описании помещиков, нет никакой живой образности и художественности, а везде опять тенденциозная карикатура с одною неизменною болезненною маниею везде видеть эмансипацию, нигилизм и их пагубное влияние. Так, например, мужик Васька Завертаев не любит жены и «живет с солдаткою» — событие, каких, кажется, немало повсюду; идеальный священник идет к нему в дом, чтобы его усовестить, —

это прекрасно: но Васька Завертаев, выслушав «самую строгую мораль» (96), отвечает:

«— Эфто наше дело, батюшка, сами понимаем, что делаем.

— Вот в том-то и дело, что не понимаете, — отвечал священник и думал про себя: «И сюда уже спускается наша *женская эмансипация»*.

Автор полагает, что если женатый мужик Васька Завертаев живет в связи с солдаткою, то это не оттого, что мужик Васька — просто развратный мужик. Нет, — по мнению г. Ливанова, это случилось оттого, что в обществе есть возбуждение в пользу освобождения женщин от некоторых ограничений на право более производительного труда и известной, совершенно законной, независимости от деспотизма, который действительно может быть тяжек и губителен. Автору как будто кажется, что до перевода на наш язык известных сочинений Жюля Симона и Джона Стюарта Милля в России не было и мужиков, которые не любили своих жен и грешили с солдатками. Плохой же он знаток истории России, и особенно нашего русского простонародного быта, если он полагает, что в разврате Васьки Завертаева виновата «эмансипация женщин». Всегда были такие Васьки, и всегда они отличались тем, что чего им не представляй, «а Васька слушает да ест». Со стороны священника очень грубая ошибка относить все подобные явления к «эмансипации женщин», «нигилизму» и вообще навязывать так называемым «новым идеям» вину весьма старых грехов — старых не как Россия, а как само человечество, как сам мир, от коих пор он обитаем разумными существами, низводимыми побуждениями страстей к многообразным и многоразличным безумиям. Ничего не может быть неосторожнее и вреднее, как валить все это бремя греха на *одно поколение,* которое будто бы могло испортить даже самую натуру человека, и притом в тех слоях общества, где все так примитивно, что самые корни пороков там кроются в грубости чувства, а не в извращении их научным отрицанием. Как мог не знать этого «идеальный священник»?

Отцу Алмазову в этом его пустомыслии есть одно извинение, что он читал книги, предлагаемые ему

институткою, — прежде книг, более достойных его внимания: так, на 109 странице мы узнаем, что, познакомясь с своею паствою, после двух проповедей к приходу и избирателям гласных, он «выписывает себе из синодальной лавки книги «отцов церкви» и «Деяния соборов» и погружается в их чтение. — «Тут он увидел, какой непроходимой схоластикой набивали его голову в семинарии, какая необъятная бездна лежала между истинно Христовою церковью и церковью, которую выработала рутина, и до чего посрамлена и унижена истина евангельская». Как этот чудак дочитался в выписанных им книгах до вышеупомянутого вывода, понять весьма трудно, но еще непонятнее, как священник, с отличием окончивший курс духовной семинарии, не имел понятия о «деяниях соборов» и о творениях св. отцов? Если он, «погрузясь в чтение» «этих источников», и мог усмотреть в них много нового и интересного, то все-таки общее-то понятие об этом он, конечно, должен был получить в семинарии, где не скрывают же от воспитанников, что есть творения св. отцов и деяния вселенских соборов?.. Как же могло случиться, что такой идеальный священник вышел таким невеждою?! Повторяем: не следует ли искать разгадки этого странного явления именно в том, что он в богословском классе своего семинарского курса сильно подпал под влияние бойкой институтки, которая развивала его по беллетристам, тогда как ему надлежало доучиваться? Это — обстоятельство, на которое стоит обратить внимание, потому что ежели институтки, со слов кн. Шаховской, так заинтересовались «нерастраченностью сил» наших семинаристов, что стремятся развивать их и потом женить на себе, то желательно по крайней мере, чтобы это не мешало семинаристам доучиваться. Очевидно, надо принять какие-то меры против этих барышень... Это смешно, но что делать, если все это так, как представляет г. Ливанов?..

Однако продолжаем историю: мужик Васька написал на Алмазова донос благочинному, «человеку с претензиями на светское знакомство» и женатому «на воспитаннице, — вернее, горничной, — знатной губернской барыни-ханжи».

«Светское знакомство», оказавшее такое, по мнению автора, благодетельное влияние на о. Алмазова, — на благочинном отразилось совсем иначе: дело, значит, не в светскости, а в субъективности того, кто подвергается этому влиянию.

Так тяжкий млат, дробя стекло, кует булат.

О. Алмазов — булат, а благочинный — стекло, которое раздробилось от соприкосновения с «светом».

Благочинный этот приезжает в село и, как назло, останавливается в нигилистическом доме у Кашеваровой, где, как нам уже известно, собраны скелеты, типы обезьян, портрет профессора Сеченова и другие непозволительные вещи. Сюда призывают и Алмазова (113): «Благочинный ему едва кивнул, не вставая из-за карточного стола, а Кашеварова рассказывала благочиннихе о внутренностях кошек и собак — затем переходила к душе собак. Благочинниха подобострастно слушала и благоговела перед Кашеваровою. Кашеварова напала было и на о. Алмазова, но он, послушавши бредни шаршавой девицы, ответил, что не след барышне заниматься внутренностями дохлых кошек и собак, ибо это дело живодеров...» Опять очень удивительно, что о. Алмазов не знал, что живодеры внутренностями кошек и собак не занимаются и что это совсем не «их дело», но, быть может, он сказал это, потому что был очень не в духе: его рассердил благочинный, и они наговорили друг другу порядочных грубостей. Солнце и зашло и опять взошло во гневе их, и когда благочинный на другой день стал облачаться, чтобы служить вместе с Алмазовым обедню, тот заметил ему:

«Вы, кажется, вместо правила играли накануне службы в карты». Автор изобразил такую сцену, повидимому и не подозревая, что его «идеальный священник», так зорко назирающий спицу в глазу благочинного, всегда более напоминает не кроткого служителя православного алтаря, а представленного у Рабле Панюржа, который швыряет камнем в епископа, задремавшего при обедне.

Благочинный проглотил поднесенную ему о. Алмазовым пилюлю, но зато у них возгорелось неудовольствие, для противодействия которому о. Алмазов, посо-

ветовавшись с своею женою, описал все советнику, а тот сейчас же к архиерею Хрисанфу, у которого (121) «все шло как по мановению волшебной палочки». Этим и было все предупреждено. Архиерей сказал:

«Будьте покойны: когда донос дойдет до меня, он останется без всяких последствий».

Конечно, архиерей Хрисанф очень прозорлив и милостив, но нельзя совсем отнять значение и у советника, который весьма кстати поспевает во всех затруднительных случаях отца Алмазова. Не будь он так удобоподвижен и не раскланивайся с ним архиерейский лакей «как с старым знакомым», может быть и «мановения волшебной палочки» не были бы так благопослушны затеям незримо правящей всем этим делом институтки Николаевского института.

Во всяком случае, приготовляющиеся к духовному званию молодые люди, прочитавши хронику г. Ливанова, для блага своего должны еще где-нибудь обстоятельнее удостовериться: приготовляет ли сказанное женское учебное заведение специально таких сообразительных «матерей-командирш», или это просто случайность? Ошибка в этом случае может дорого стоить.

Алмазову, однако, все становится труднее: правда, он идет очень бодро и даже задорно, но беды за ним по пятам гонятся, к чему, надо сознаться, немало поводов дает его собственная несообразительность. О. Алмазов завел, например, попечительство, которым положено было (148) «все кабаки в селе закрыть и оставить из них лишь один (стало быть, все, *кроме одного)* и на 1000 р., взятую за аренду этого кабака, построить сельское училище», но «против него восстали помещики Жигалов, Кашеваров и Скалон». И за что же, вы думаете, восстали? — «как смел не приехать к ним со славлением на рождество»... Чего бы, кажется, таким неверующим людям воспретендовать на это; но вот, однако же, воспретендовали! К ним присоединились еще волостной старшина, писарь и становой; на Алмазова пошел донос, грозящий ему уголовным судом; но, к счастью, на страницах хроники (156) опять замелькали имена советника, Веры Николаевны и архиерея Хрисанфа, «облеченного в правду», и дело «по мановению волшебной палочки» улаживается, к новому торже-

ству Алмазова. Он немножко поотдохнул и опять ринулся в бой, и притом в бой еще более отважный (165): он увидал «красных в земстве». Красные поддерживали употребление в школах книжек, изданных бароном Корфом, Водовозовым и Ушинским. О. Алмазов заговорил (167): «Пусть школа научит ученика по учебникам Корфа ловить блох; пусть ученик затвердит по Ушинскому и Водовозову всю номенклатуру естественных наук, — и познание душевных качеств свиньи и пиявки» и т. д. Но «пусть ни одна копейка земская не истребится на такие книги».[1] О. Алмазову возражают, и он возражает и много говорит о том, сколь многим наукам сам он учился в семинарии. На 169-й странице он подробно и пространно исчисляет все эти науки, после чего становится совсем непонятно: как он не имел сведений о соборах и о творениях св. отцов и почему считал семинарский курс «мертвящей схоластикой»? Бой о. Алмазова кончается тем, что (173) «красные в земстве остались побежденными».

Полнейший недостаток этого турнира заключается, однако, не в петушьем азарте Алмазова и жалкой шаткости его аргументации, а в том, что автор позабыл о председателе съезда, который на основании точных законоположений о земстве, *не мог бы дозволить* таких прений, какие сочинили слишком красные земские с слишком мрачным «идеальным попом» ливановского покроя. Это равно той, «одной из тысячи причин», по которым не звонили в колокола, встречая Фридриха, — причина была та, что «не было колоколов», и ее одной, конечно, весьма довольно, чтобы не было звона.

И вот опять передышка: разбив «красных в земстве», о. Алмазов учреждает приход, проповедует, учит и посещает с женою собратий своих. Вера Николаевна, которая, кажется, все знает лучше своего мужа, оказывается вовсе не знакомою с «сельскими попадьями», из которых, однако, одна ссужала ее двуспальною

---

[1] В приведенных строках, по нашему мнению, слышится тенденциозное намерение со стороны г. Ливанова, роняя якобы значение учебников наших известных педагогов, расчистить тем самым место для его пресловутой «золотой грамоты», хрестоматии и иных прочих произведений ливановской литературной фабрики. *(Прим. ред. журнала.)*

кроватью для ночлега с супругом у его родителей. Неужто Вера Николаевна и тогда не поблагодарила даже эту добрую «матушку», которая, уступив ей свою кровать, сама — чего доброго — переваляласъ ночку где-нибудь на жесткой лавочке? Но (179) «Вера Николаевна была *удивительная женщина!* — замечает автор. — Ее живая, восприимчивая, *легко волнуемая природа* могла мгновенно увлекаться и мгновенно *превращаться из одного существа в другое, совершенно не похожее на первое»* (?!), и она узнала «попадей», и об ней заговорили: «ну, попадья!» Все от нее без ума, и совсем не ведомо за что. Так все идет как по маслу, но вдруг опять задорины: *«в сельскую школу врываются нигилисты»!*

VI

Школа была превосходная: в ней «Алмазов занимался с мальчиками, — жена его Вера Николаевна обучала девочек»; а дома у них, вероятно, хозяйствовала экономка. О. Алмазовым «были выписаны картины свящ⟨енной⟩ истории Шнора и развешаны по стенам», на что он, мимоходом заметим, едва ли имел право, так как картины эти, кажется, не одобрены для сельских школ. Вера Николаевна «завела рукодельную — первые работы детские положено было начинать с украшений для образов своего дома», — «так шли дела», как «вдруг недели через три приезжает в школу инспектор народных училищ», который получил это место «по просьбе губернатора» за то, что был «исполнителем поручений губернаторши». Чиновник министерства народного просвещения тотчас же столкнулся с о. Алмазовым, а потом, погостив у Кашеваровой и повидавшись с Болтиным, «либеральный представитель министерства народного просвещения» предоставляет учительские обязанности нигилисту Болтину и нигилистке Кашеваровой и даже считает это «себе за честь». Каждый, кто имеет хотя малейшее понятие о личном составе людей, служивших по министерству народного просвещения, легко может судить, насколько это типично и похоже на дело? — Алмазов летит в уездный город жаловаться

на инспектора, но там ему отвечают: «Что делать — время такое». Тут явная несообразность, потому что в уездном городе на инспектора жаловаться некому; Алмазов трогает губернский город: опять пошел в ход советник, и опять успешно: архиерей Хрисанф обещал «лично рассмотреть это дело».

Меж тем нигилисты свирепствуют, и в школе царят ужасы: там водворился Болтин с собакою, которая постоянно лежит у его ног, и «сумасбродная женщина Кашеварова»: они встают и уходят не крестясь; дети забыли при них молиться богу, а между тем их хвалят в газете, издаваемой кем-то «с птичьею фамилиею» (по скромности не сказано: Воробьев, Соловьев, Скворцов или Галкин). Это махинации Лужина, «мещанина из канцелярских служителей» (и чина такого нет). — «К этим убийцам детей присоединяется все враждебное Алмазову и даже бывший благочинный» (205)... Вот какое «народное развращение» (sic! 204) устроил инспектор! Но пока одно дело портилось, — другое налаживалось стараниями Алмазова (215): он скоро «поздравил Веру Николаевну с больницею в селе»... Точно император Вильгельм поздравляет императрицу Августу с разгромом Франции. А тем часом наезжает и архиерей Хрисанф, и наезжает без келейника, — и потому «и (218) особых хлопот *по удобрению келейника* не нужно». Архиерей приехал просто и заговорил просто: «Вижу, что храм божий вы любите, но любите ли вы бога? Есть примеры, что люди строят церкви и украшают их, а все-таки плохие христиане» — «враги добра и любви». Потом он зашел в школу, увидал там Кашеварову с ее скелетом (портрет Сеченова она, должно быть, сюда не принесла) и только что возвратился в губернский город, как Болтин с Кашеваровою были изгнаны, а школа опять перешла к Алмазову. Этот опять к советнику, с просьбою об открытии двух ярмарок в его приходе, с тем чтобы доходы от этих ярмарок употребить на постройку домов для священнослужителей. Об известном вреде ярмарок для сельских нравов о. Алмазов не подумал. Радением и, надо полагать, большим влиянием советника в губернии и это дело сделалось: Алмазов на доходы ярмарочных статей построил все дома и себе «построил еще две комнаты

и украсил еще лучше дом, в котором жил» и в котором был намет с крестом над письменным столом в его кабинете. Потом он посылает «теплый возок тройкою» за своими родителями, чтобы они к нему переселились. Пономарь с пономарицею, взглянув на возок, заплакали, а когда сели и обложились подушками, проговорили: *«Эко царствие-то небесное!»* (224—225). Тепло старичкам показалось — и забредили. Покатили они «с колокольчиком», что присвоено, нужно заметить, одним должностным лицам да почтовой гоньбе, и «70 верст было *переехано»*. В Быкове дряхлому пономарю вручают «устроить хор певчих»... Надо полагать: хорош хор мог устроить «старый пономарь»... Алмазова выбирают благочинным; священник Мансветов (опять известная фамилия) говорит речь, в которой (231) признается, что он жил «не потому, что жилось ему, *а потому, что хотел и старался жить»*. Далее (232) он же заявляет, что «лет сорок тому назад и десятой доли не причащалось, что ныне». Автор, вероятно, не замечает, что, значит, дела идут не хуже, а *лучше*...

В новом положении о. Алмазов запирается в свой кабинет, садится под балдахин с крестом и пишет записку об улучшении быта духовенства в его благочинии, в котором, впрочем, и без того все быстро изменяется: «погребение бедного совершается точно так же, как и богатого; так и крещение, так и все; большая часть поборов по приходам упразднена; священники ни одной обедни не служат без проповеди», — словом, все поднимается и оживляется, «как по мановению волшебной палочки» архиерея Хрисанфа. — В это время Вера Николаевна рождает отцу Алмазову дочь, которую крестят благочестивый Осокин и благочестивая же г-жа Скалон.

Здесь автор, может быть, невзначай, но очень верно и зло характеризует в лице г-жи Скалон все наше «дамское благочестие». (Разумеется, если тут есть на кого-нибудь намеки, то мы не виноваты в этом ни перед одною г-жою Скалон, как и ни перед одною г-жою Кашеваровою) (238). «Супруги жили вместе лишь для соблюдения внешних приличий (г-н Скалон не любил г-жу Скалон). *Жена сначала искала утешения в светских наслаждениях(?!), но когда расточительность*

мужа сделала их невозможными, она решилась искать религиозных утешений»... Das ist eine alte Geschichte дамских коловращений, разрешаемых в смысле народной пословицы: «нá тебе, боже, что нам не гоже». Вера Николаевна избрала г-жу Скалон восприемницею своей дочери, *тем более* что муж ее на целых полгода уехал тогда за границу с своей фавориткой, одной модной разводкой, бросившей своего мужа. — Нигилизм в нашем русском обществе вступал уже в это время в *«свой период»*. Эти положения одно другого лучше: г-жа Скалон была избрана восприемницею, «тем более что муж ее уехал на полгода с разводкой»... Что это значит, — почему «тем более» можно взять восприемницею женщину, которую оставил муж? Что за почет такой жене быть брошенною мужем? Она, может быть, не виновата в этом несчастье, но во всяком случае почета для нее все-таки нет. Ну, а если бы муж г-жи Скалон не уехал, или если бы он уехал менее чем на полгода, или хотя и на полгода, но не с разводкою, то что же: г-жа Скалон тогда «тем менее», что ли, могла бы годиться в восприемницы?.. Понимает ли г-н автор, что он говорит? Потом — этот нигилизм, вступивший в *«свой период»*. Но в чей же, как не «свой», период мог вступать нигилизм, и чем нигилизм ответствен за разводы и за мужей, проматывающих состояние своих жен? Очевидно, г-н автор опять совсем не понимает, что говорит, если он числит браки и разводы по ведомству нигилизма. Известный русский нигилизм этим делом не интересовался, а особенно «в свой период», когда люди этой школы били на *упразднение брака,* причем разводы, конечно, уже не нужны. Г-ну автору надо бы сколько-нибудь поближе знать: какое мнение имеет об этих вещах нигилизм? — тогда он не написал бы всех этих несообразностей. Но нежелание вникать в дело и неоправдимая легкомысленность, позволяющая судить о бытовых явлениях, как говорят, «с кондачка», заставляет автора говорить и еще большие несообразности, даже весьма вредные, если они малосведущим лицом будут приняты на веру. Так, например (240 и 241): по словам г. Ливанова, «наше юношество представляет из себя печальный тип разочарованного и ни во что *не верящего сословия* (?!), молодых старич-

ков»... «И *если вы не хотите погубить своего сына при этом направлении, то отдайте его в какой-нибудь германский университет, где разрушительные принципы нашего времени не жалуются»* (sic). Автор, вероятно, хотел сказать *«на* разрушительные принципы не жалуются», но сказал, что сами эти «принципы не жалуются», — и он это хорошо сказал, потому что так оно и есть: «разрушительным принципам» по отношению к вопросам веры в германских университетах не на что жаловаться. Если бы г. Ливанов взял труд прочесть отчет берлинского генерал-супер-интенданта Бюкселя за 1875 год, — так он узнал бы, что там, куда он советует посылать нашу молодежь, *«веры нет вовсе»,* и нет ее до такой степени, что высшее духовное лицо страны в официальном отчете печатно объявляет об этом во всеобщее сведение, прибавляя, что «это напрасно было бы скрывать». Вот куда г. Ливанов направляет нашу молодежь, — он шлет ее от нашего маловерия или слабоверия к самому полнейшему рациональному безверию и думает, что стоит за веру!.. Не значит ли это советовать людям — от дождя прятаться в воду?.. И как г. Ливанов не сообразил, что те самые Бюхнер и Фейербах, имена которых он теребит всякий раз, когда хочет назвать каких-нибудь ничтожных, не стоящих его внимания людей, — оба учились в тех самых «германских университетах, где разрушительные принципы нашего времени не жалуются». Удивительно неосмотрительный автор!

Нет, мы германских университетов порицать не станем, но что касается их религиозного духа, то по поводу его можем высказаться, переменив только одно слово в характерном ответе наших славянских предков: «не гоже нам искати *веры* в немцах».

Большие ошибки допускает г. Ливанов не только по богословию и педагогии, но и по кулинарному искусству, которое изучается гораздо легче, — например (247), повествуя о похоронных обедах, он говорит: «после обеда ставят огромную миску и делают нечто вроде *гоголь-моголя или жженки»...* Г-ну Ливанову, повидимому, совсем неизвестно, что гоголь-моголь и жженка приготовляются совсем различными способами и вовсе одно на другое не похожи; да гоголь-моголь и

не пьют после обеда, а пьют его *от кашля*... Конечно, это упущение не важное, но все-таки: зачем же писать вздор? Разумеется, могло быть, что кто-нибудь на похоронных проводах промочил ноги и закашлялся, — ему сделали гоголь-моголь, а г. Ливанов обобщил это событие и легкомысленно внес его в свою серьезную книгу. Это ему урок.

Впрочем, вообще с г-ном автором к концу сочинения делается что-то совсем непостижимое: только что он оборвал г-на Скалона, кивнул неудачно на университеты и смешал гоголь-моголь со жженкой, как (247), вдруг ни с того ни с сего, без всякого права, берет за руку свободного человека, весьма почтенного старика, предназначенного к долгой еще жизни, и, не говоря худого слова, прямо толкает его в гроб. Такой жестокий и в то же время совершенно самовольный поступок (а может быть, это даже и преступление?) г. Ливанов сделал над бедным «стариком Власом», который (247)

Ходил в зимушку студеную,
Ходил в летние жары,
Вызывая Русь крещеную
На посильные дары, —

и, таким образом, как оказывается, построил ту самую «быковскую церковь», при которой г. Ливанов поставил попом своего о. Алмазова. Он и Власа сделал «членом попечительства», и потом, как своего короткого человека, взял и прикончил его, — и все это единственно только для того, чтобы *сделать похороны без обеда*. Удивительный добряк!

«По провозглашении вечной памяти над могилою Власа о. Алмазов сказал: «Мы похоронили лучшего человека *из прихода нашего*» (249).

Но да позволено будет мне самым решительным образом утверждать, что достопочтенный Влас, о котором сказаны приведенные г. Ливановым четыре стиха, быковской церкви совсем не строил и никогда не был ни членом ливановского попечительства, ни их с о. Алмазовым прихожанином. «Влас — старик седой», как очень многим людям достоверно известно, принадлежит совсем к другому приходу: его написал Н. А. Некрасов, который с г. Ливановым ничего вместе не строил;

и г. Ливанов, собственно говоря, не имел никакого права определять куда бы то ни было чужого Власа, а тем более приканчивать его по собственному произволу и причитать над ним устами своего о. Алмазова... Все это больше чем неделикатно, — это *непозволительно* больше, чем бесцеремонность с именами архиерея Хрисанфа, кн. Шаховской, Скалона, Болтина, Кашеваровой и других. Г-ну Ливанову, кажется, как будто даже неизвестно, что этого *совсем нельзя* делать в печати, и неужто он еще ожидает, чтобы ему было растолковано: *почему этого нельзя?* Это очень легко может быть не только растолковано, но и *доказано.*

И далее: схоронив Власа, без всякого на то позволения у Н. А. Некрасова, г. Ливанов так рисует «идеальное» русское почтение к памяти этого доброго крестьянина.

О. Алмазов сказал: «Не забудем никогда его могилы, украсим ее памятником». И «скоро по подписке между крестьянами» и т. д. «воздвигнут был каменный памятник, выписанный из города».

Вот и видно, что Власа и уморили и схоронили люди не его прихода: Н. А. Некрасов, редким чутьем чуявший русскую жизнь, конечно, не стал бы учреждать на могиле Власа «подписки между крестьянами» и не придавил бы своего легконогого старца «каменным памятником, выписанным из города». Н. А. Некрасов, насколько мы его понимаем, ни за что бы не распорядился так *не по-русски,* — потому что все эти подписки и памятники — нашему крестьянству дело чуждое и никуда для нас не годное, — это нам не гоже, как вера германских университетов. Г-ну Ливанову надо бы знать, что скромному и истинно святому чувству нашего народа глубоко противно кичливое стремление к надмогильной монументальности с дутыми эпитафиями, всегда более или менее неудачными и неприятными для христианского чувства. Если такая претенциозность иногда и встречается у простолюдинов, то это встречается как чужеземный нанос — как порча, пробирающаяся в наш народ с Запада, — преимущественно от немцев, которые любят «возводить» монументы и высекать на них широковещательные надписи о деяниях и

заслугах покойника. Наш же русский памятник, если то кому угодно знать, — это *дубовый крест с голубцом* — и более ничего. Крест ставится на могиле в знак того, что здесь погребен *христианин*; а о делах его и значении не считают нужным писать и возвещать, потому что все наши дела — тлен и суета. Вот почему многих и самых богатых и почетных в своем кругу русских простолюдинов камнями не прессуют, а «означают», — заметьте, *не украшают, а только «означают»* крестом. А где от этого отступают, там, значит, отступают уже от своего доброго родительского обычая, о котором весьма позволительно пожалеть. Скромный обычай этот так хорош, что духовенству стоит порадеть о его сохранении в простом, добром народе, где он еще держится; а не то, чтобы самим научать простолюдинов заводить на «божией ниве» чужеземную, суетную монументальность над прахом. Но последуем еще за нашим новатором.

VII

Схоронив у себя некрасовского Власа, о. Алмазов (255) уничтожает «мзду, неприличную при исповеди»; ведет борьбу против церковного канцеляризма; отменяет (258) и другие поборы и в то же время воюет и с нигилизмом и с расколом. Умирает в пьяной дебоши помещик Жигалов (268): «Алмазов отказал в христианском погребении тому, кто не хотел ни жить, ни умереть по-христиански». Эту строгость он соблюл беспрепятственно, и пошел потом на раскольничьего попа; но раскольничий поп, с которым заговорил о. Алмазов (272), «повернулся к нему спиною и отвечал, что «внимания не возьмет с ним и разговаривать». Впрочем, и тут дело устроилось: о. Алмазов помолился (279), и «господь услышал его молитву; этого подлеца (sic) схватили, связали веревками и отправили к жандармскому».

«Слава богу, — проговорил священник».

Потом опять настает отрадная тишина; жена о. Алмазова этим временем учреждает сельских «больничных сиделок» (281), а муж ее действует на пожаре. К ним приезжает врач Гедеонов (снова известная фамилия);

Гедеонов с приезда долго «все кланялся», а когда увидал одно прелестное создание, Лидочку Осокину в платье из белой кисеи в розовом, *с открытым лифом и короткими рукавами* и голубым фартучком, довершавшим впечатление (283), его сейчас же «ошеломило», и он влюбился по всем правилам романической теории. Пошли шептать листья и «струиться стоячие воды» в пруде, влюбленный как бы осатанел и пришел в такое состояние, что «бревном вдребезги окно разбил» на пожаре. «У Лидочки дух замер при этой *героической картине доктора»,* а «доктор и священник» все еще геройствуют «в огне и в воде». Потом они помогают погорельцам (из попечительства дали 300 р. да своих о. Алмазов ссудил 500 р.), а чтобы вперед было лучше, они учреждают сельский банк и *гостиный двор*. И все это не только удается и спеет «как по мановению волшебной палочки архиерея Хрисанфа», но и нимало не утомляет досужую Веру Николаевну. Она улаживает также «дело двух горячих сердец», то есть Лидочки и Гедеонова, и улаживает так ловко, что видевшие ее ранее этого «сельские матушки», как видно, недаром восклицали: «ну, попадья!» Читая некоторые сцены, как эта «матушка» сближает влюбленных, действительно не знаешь, что иное и сказать, кроме как: «ну, попадья!» или: «ну, сваха!» В октябре вся эта честная компания влюбленных и их руководителей уже пошла «гулять по гостиному двору» и закупать покупки.

В этой счастливой полосе жизни о. Алмазова в село приезжает молодой прокурор — сын Осокиных, Леонид (294), «с министерской выправкой в движениях своих». Что это такое за «выправка»? По превосходному критическому этюду покойного Н. Ф. Павлова — это что-то *противное*. То ли хотел сказать автор? Кашеваровы было сунулись к Леониду, но молодой юрист уже вошел во вкус своей «выправки» и отдал приказ «никого не принимать». О. Алмазов говорит проповедь. — Вера Николаевна «показала себя во всем блеске своего ума» (297), и прокурор с ними сблизился, — что им вскоре очень пригодилось. «У нигилиста Болтина родился ребенок от Кашеваровой, которая работала над каким-то великим вопросом, что не мешало ей, однако, родить и ребенка» (298). Трудно по-

нять: почему автор считает «великие вопросы» помехою чадородию? Нигилист с нигилисткою, каких невозможно встретить в природе, зовут о. Алмазова крестить новорожденного, но только так, чтобы он таинства не совершал, а «записал в метрики». Это выходит так нескладно, что не разберешь, кто здесь кого вышучивает или дурачит; но Алмазов, разумеется, отказался, и тогда происходит нижеследующая ни на что не похожая нелепость (300):

«Через полторы недели после этого состоялось крещение новорожденного: приехали какие-то две темные личности, вызванные письмами, один из Москвы, другой из губернского города, — шаршавые, грязные, с очками на носу и в поддевках крестьянских... Вечером состоялось у них крещение ребенка. *Устроили жженку из вина и в вине крестили ребенка...* «Это так делают наши русские в Швейцарии», — говорил один из шаршавых пропагандистов, *погружавший в вино ребенка»...*

«Вместо молитв таинства крещения этот шаршавый, *при погружении в вино ребенка* (автор твердо стоит на том, что было *погружение,* а не *обливанство),* произнес следующую речь:

— О ты, новая единица в государстве! Отселе я крещаю тебя во имя свободы, на попрание тирании правительственной! Возрастешь — бей, ломай все, пока не будешь свободен, как птица в небе.

— Аминь, — затянули хором нигилисты и начали пить жженку».

Нельзя не признаться, что это ни на что не похоже и совсем не отвечает ни нравам, ни стремлениям того сорта людей, которых г. Ливанов желал иметь в предмете, забывая, что люди этого сорта игнорируют государство и потому не станут говорить о «новой единице в государстве». Невозможно же ведь этак представлять «бытовую» сторону, совсем не понимая быта. И потом: если нигилистам-родителям была нужна *только запись* новорожденного, то на что же им вся эта процедура с выпискою «двух шаршавых» для погружательного крещения ребенка в вине? Кто сказал автору, что это так делается?.. Смеем его уверить, что он кругом обманут: людям, которых он желает изображать, все равно, — крестят ли их детей или не крестят. Если бы Кашева-

рова с Болтиным отвечали о. Алмазову, например, так: «пожалуй, окуните его, если это вам кажется нужным, — нам это все равно, и ребенку тоже», — то это было бы гораздо более похоже на нигилистов; а теперь это просто нелепость, которая делает смешным не Кашеварову с Болтиным, а г. Ливанова, измыслившего такой вздор, как погрузительное крещение в жженке.

Сряду после этого описано, как нигилисты закричали: «Долой попов, долой начальство! Отнимем у всех подлецов капиталы и земли», но «дверь отворили, и вошел жандармский офицер с четырьмя жандармами». «Скрутили веревками паршивое стадо и, посадив на телегу, повезли прямо в острог». Прежде *окунали* ребенка в вино, что мало вероятно, потому что для этого нужно очень много вина и велику посуду, а теперь целое «стадо» с четырьмя жандармами увозят на одной «телеге» (301)... Это совсем что-то вроде римского огурца, который был с гору величиною. Хорошо ли идти с этакими речами через мост или лучше поискать броду?

В последнем периоде книги с карикатурною важностью описывается «настоящий русский вельможа», сенатор Обручев. Он приезжал в деревню «великим постом», то есть именно тогда, когда все наши «вельможи» по преимуществу бывают в столице и в деревнях помещику нечего делать; к Обручеву вбегает становой (303) с радостною вестью, что ему предписано «взять Кашеварову». «Отлично!» — говорит вельможа и произносит речь против «новых идей». Речь эта велика и, вероятно против воли автора, свидетельствует о большой ограниченности вельможи, который полагает, например, что (303) «мы затоптали в грязь патриотизм», а лучшее средство себя исправить — нам остается (306) «скинуть шапку и поклониться» Пруссии, которая, по мнению автора, есть во всех отношениях «первое государство в мире», а мы «ташкентцы». Но говорящий все эти вещи «настоящий русский вельможа», к нашему счастью, лицо не действительное, а вымышленное, что и доказывается такою его несведущностью в делах (309): он хочет, чтобы о. Алмазов (построивший в это время еще приют для нищих) был «оценен по достоинству» и говорит: «если владыка будет бессилен в этом, я в Петербурге у святейшего синода за долг почту

силою выхлопотать награду, вполне достойную вас». Он *силою* выхлопочет у синода! — Это недурно придумано г. Ливановым. Только не напрасно ли этот сильный заранее хвалится своею силою? В повествовании, однако, его «сила» взяла: Алмазов получает наперсный крест, и Вера Николаевна, всегда делавшая все чрезвычайно вовремя и кстати для своего мужа, и на этот раз является столь же догадливою и угодливою: она (310) «вдруг умерла». Укорить ее в этом совершенно невозможно, так как она уже все поприделала, а мужу ее нужна другая карьера. Кроме того, смерть ее дает повод к изображению самых душу разрывающих и в то же самое время комичных сцен. Собрались «целых 12 священников» и множество людей; «все обливались слезами, — никто не осушал слез своих... голоса клира обрывались... отпевание прерывалось» (312). «Вечную память запел клир, и снова голос у всех оборвался... Все священники несли на плечах своих гроб», и так «свершилось»... И чуть это свершилось, сейчас же являются на сцену советник и архиерей Хрисанф, и участь о. Алмазова решена: владыка ему указывает: «идти в академию и быть архиереем» (313). «Эта мысль *окрылила* Алмазова; он вдруг понял, что смерть жены была угодна богу *именно для того, чтобы открыть ему новую дорогу* в своем отечестве»... Теперь этот доблестный деятель называется Агафангелом: об нем уже «заговорили» (317), и «он в недалеком будущем на дороге к архиерейству». — Вот чего современному, идеальному священнику указывает желать г. Ливанов... Но действительно ли *такой* проспект жизни столь заманчив, и действительно ли современные нам священники способны им так энергично «окрыляться»?

Мы постараемся это проверить, сколько то позволяет нам сумма наших наблюдений.

VIII

Хроника кончена: «идеальный священник» совершил все, что хотел, и теперь он на новой дороге — в новом положении, которое даст автору возможность написать новую хронику о том, что учредит Агафангел,

сделавшись идеальным архиереем. Это очень интересно. Прежде всего, конечно, о. Алмазов (ныне Агафангел) захочет с архиерейского места видеть повсеместно осуществление тех идеалов и той жизнедеятельности, образцом которых был он сам на месте приходского священника. Это будет как нельзя более правильно, последовательно и законно; но совсем другой вопрос: будет ли это благоразумно и удобоисполнимо?

Над этим позволим себе на минуту приостановиться и подвергнуть благонамеренную деятельность идеального священника самой краткой критической оценке.

Если статья эта попадет как-нибудь в руки самого автора утопии, названной «хроникою», то я льщу себя надеждою, что он не посетует на меня за одно — это за изложение содержания истории о. Алмазова. Не касаясь искусства и художественности, которых вообще в этой истории нет даже слабого признака и намека, я извлек из убористо напечатанной книги г. Ливанова все главные положения его сочинения и представил их в кратком изложении, позволяющем каждому читателю иметь общее понятие о хронике, рассказанной на 317 страницах. Все главное здесь сохранено, кроме деталей, сколько утомительно скучных и неискусных, столько же и не важных для суждения об изображенном идеале.

Я говорю не о хронике как о литературном произведении, а об *«идеале»,* потому что подобные идеалы предносятся, как мне случалось наблюдать, весьма многим утопистам.

Прежде всего, чем страждет этот идеал, заключается в том, что для осуществления его нужна «волшебная палочка», без которой никакой обыкновенный смертный в положении сельского священника не мог бы настроить все то, что настроил о. Алмазов. С этим, я думаю, легко согласится всякий, кто хоть мало-мальски знаком с условиями быта русского сельского духовенства. Господин автор хроники, или, как мне кажется, правильнее сказать, *утопии,* не раз говорит, что теперь настало время такого «типа священников»; но изображенный им Алмазов совсем не тип, а если уже его надо считать типом, то это скорее тип своего рода фаворита, или баловня судьбы, которому во всем счастье и удача, не по разуму и не по заслугам, а именно счастье «слепое»,

Начнем с начала: он учился в семинарии, по-видимому, не совсем хорошо. Хотя он и оканчивает курс, по словам автора, блистательно, но он, однако, не знал истории вселенских соборов и был совсем незнаком с творениями св. отцов. Значит, он был и не особенно сведущ, и не отменно внимателен и прилежен, и совсем не любознателен. Словом: как бы его автор ни нахваливал, как выводного коня, мы не видим в нем типа лучшего из семинарских студентов, которые, к счастью их, вовсе не таковы. Со стороны характера он являет какую-то плюгавость, низводящую его, студента, знакомого с философскими и богословскими науками, на степень мальчишки, подпадающего под руководство молодой гувернантки, «институтки Николаевского института», которая командует им как хочет, что и неприлично и неудобно для священника. Но, к счастью, такая смешная во всем покладливость совсем не в натуре умного семинариста, с успехом прошедшего свой довольно серьезный курс, который во всяком случае никак нельзя равнять с курсом женских институтов. Жена из институток может возобладать над мужем в своем домашнем обиходе — что и случается; но она не может учить и «развивать» мужа-священника, хотя бы и не академического воспитания. Какова бы ни была институтка, — ей нечего сказать семинаристу в его научение, ибо он и старше ее летами и опытнее, потому что по преимуществу прошел тяжелую школу жизни, и уже, конечно, несомненно ученее и начитаннее. Если же последнее и не так, — то есть если бы у институтки перед семинаристом и оказался некоторый преизбыток начитанности, то эта начитанность по существу своему не может быть важною в такой степени, чтобы за нею признать преимущества. Это доказывается и самою хроникою г. Ливанова, потому что и его институтка, взявшись за развитие молодого богослова, не нашла ничего другого сделать, как только предложить ему чтение Пушкина, Лермонтова и Тургенева — писателей, конечно, очень хороших, но зато и небезызвестных каждому семинаристу. Притом же, ничего не отнимая от заслуженной славы этих художественных писателей, никак нельзя согласиться, чтобы чтение их сочинений было существенно важно и необходимо для человека, приготовляющегося к пастырскому

служению. Такое чтение может служить в известной мере к облагороженению вкуса — и *только*, от пастыря же церкви требуется еще многое другое, чего чтение Пушкина, Лермонтова и Тургенева раскрыть и развить не может. Нигилисты, за которыми так тщательно следит повсюду г-н Ливанов, в этом случае гораздо искуснее и систематичнее: их пресловутые «пять хороших книжек», которые, по мнению одного автора этой школы, *достаточно* прочитать, действительно могут давать воспринявшему их мысли человеку известную определенную окраску. Сочинения же Пушкина, Лермонтова и Тургенева — особенно в его последней манере, едва ли могут даже подгрунтовать молодого человека таким образом, чтобы к нему пристали колера, какими хотел г. Ливанов живописать идеального священника.

Так шаток этот «идеал» в его прототипе со стороны его обхождения с наукою и литературою.

Еще шатче и жалче он перед женщиною: на многих страницах хроники институтка Николаевского института делает с этим богословом что хочет: она его не только «развивает», но она сама его на себе женит... Может быть, это произошло от незнакомства автора с институтскими типами или от иной его неловкости, но только начертанная им институтка Николаевского института является в весьма странном и неприятном для скромного взгляда виде. Начиная с ее соображений насчет благонадежности семинарских студентов со стороны их физической сохранности до привода Алмазова к решимости послать ей через маленького семинаристика записку с признанием в любви — все это говорит о недостатке в ней скромности и стыдливости, составляющих лучшее украшение молодой девушки. Чтобы жениться на такой непосредственной особе, надо иметь или много смелости и отваги, или всякое отсутствие опыта и полное неведение о настоящих качествах, которые должна иметь добрая подруга человека вообще и жена священника по преимуществу. Идеальный Алмазов ни над чем этим не задумывается: он женится и является здесь не рассудительным молодым человеком, а влюбленным простофилею, или — как Гоголь говорил — «фетюком». По хронике выходит, что о. Алмазов, женясь таким отчаянным манером, не был, однако,

несчастлив, но это только потому, что в хронике нет ничего живого, потому что в ней не показано никакого развития и столкновения характеров супругов со встретившею их жизнью в приходе, а просто расписано — кто что должен сделать по авторской затее. Немало удивительного тоже представляет собою и самая склонность институтки к семинаристу. Конечно, само по себе это явление весьма редкое, и г. Ливанов сам в одном месте хроники очень справедливо говорит, что «светские девушки» не любят делаться «попадьями», и оспаривать этого никак невозможно. Доля сельской «попадьи» во всех отношениях так непривлекательна, что не может в молодой девушке возбудить охоты посвятить себя этой бедной и полной тревог и лишений жизни об руку с человеком, для которого закрыты многие удовольствия, имеющие столько заманчивости для девицы «светского круга». Преимуществ ума и высоты характера в Алмазове до женитьбы не видно — напротив, невеста, прежде чем женить его на себе, сама его развивает и доучивает, она даже и любить-то сама его научивает. Стало быть, и с этой стороны он ее ничем пленить не мог. Остается думать, что в этом случае, вероятно, всего сильнее и неотразительнее действовала на девушку привлекательная наружность о. Алмазова да те рассудочные соображения о свойствах семинаристов, которые ею заимствованы от кн. Шаховской; но мы, благодаря предупредительности г. Ливанова, увидим, что и это предположение места иметь не может.

Женив на себе Алмазова по собственному, довольно оригинальному способу, бывшая институтка делается сельскою «попадьею», и с чего же она начинает? Прежде всего она спит под шелковым одеялом, не оставляя этого одеяла и занавесок даже на переездах, в тесной хате мужниных родителей. Это ей так необходимо, что она не конфузится, когда бедные старики, ради ее спанья под шелковым одеялом, сами удаляются из дому зимой на погребицу, чтобы не помешать невесткиной двуспальной постели... — Нет, — она даже не замечает этого нескромного и неделикатного поступка, а между тем она будто бы так ушла вперед, что уговаривается весть переписку с ректором, которому она только представлена и у которого с нею нет ничего об-

щего. Не наглость ли это, достойная выскочки и озорницы? Дальше: она одевается в будуаре, играет на фортепиано, строит школы, больницы, гостиные дворы в селе, участвует в учреждении банков и приютов, и все это необыкновенно удачно, без всяких препятствий — без крючка и задоринки, как и следует при содействии «волшебной палочки». Автор ни на минуту не остановился перед тем, что значит *завесть банк,* — как его фондировать и какие дать ему операции? Какая институтка это сделать в состоянии? Также и другие навязанные этой женщине дела разве могут так легко зреть, как легко их выдумывать «под балдахином»? И замечательно, что во всех этих неудобоисполнительных чертах Вера Николаевна действует, как говорили известные нигилистические писатели, «по направлению», а не по душе, не по побуждениям сердца, не по влечению благостной натуры, которой в ней нет никакой возможности уследить и заметить. Везде-то она появляется, делает очень трудные дела, которых не сделала еще ни одна «попадья», и сейчас же исчезает. Некоторый проблеск совести и натуры в ней замечается только при двух эпизодах: это когда она женит на себе семинариста, и потом, когда она женит на Лидочке доктора; но и тут в ней замечается только некоторая способность ловить мужчин в женские тенета, и то самого неприхотливого плетенья. Вот в этих постройках и учреждениях и весь ее ум. Ни ее начитанности, которая бы обнаружилась в разговорах, ни благородства характера, который бы показал себя в борьбе с враждебными условиями жизни, ни живой веры, кротости и упования, которые так возвышают нравственный облик женщины, — мы в ней не видим вовсе... Замечательно, что она даже вовсе не говорит о боге, даже хотя бы в той степени, в какой приятно жить в сообществе с человеком, проникнутым идеею служения божеству. Нет, она и в этом даже более цены дает экономическим заботам и соображениям о сохранности семинаристов — с точки зрения, открытой ей кн. Шаховскою...

И вот это-то будто бы «идеальная представительница духовных женщин»!.. Сохрани боже!

«Духовная женщина», или, проще и яснее говоря, жена священника или дьякона у нас поставлена непри-

глядно: это правда. Если сравнить нашу сельскую «матушку» с женою протестантского пастора из сельского прихода, то разница будет громадна и всею своею несоразмерностью обозначится не в пользу наших матушек. Так дело стоит с вида, и таково оно благодаря различному отношению к духовенству самого общества, принадлежащего к тому или другому вероисповеданию. Положение пасторши сравнительно много лучше, и сами они много образованнее наших матушек и держат себя лучше — приятнее на вкус образованного человека, и притом очень сообразно своему положению. У нас это бывает иначе: наши «матушки» или очень просты и годны только для хозяйства, чадородия и чадолюбия, или же они желают быть «дамами». Роль первых более чем скромна, и ни одну из них нельзя укорять, что они не строят в селах гостиных дворов и школ и не учреждают банков, а только домовничают, да и то с нуждою и с горем. Это совсем не значит, что все они или большинство из них — женщины тупые, эгоистические и узкие, — совсем нет. Кто из людей, знающих домашний быт нашего сельского клира, не знает там превосходящих по душе и по характеру женщин? Что до меня, то отвечаю, что их встречал, и знаю, и с самых ранних лет жизни любовался высоким нравственным изяществом такой попадьи, какую я старался воспроизвесть в жене Туберозова в «Соборянах» и в дьяконице Марье Николаевне в «Захудалом роде». Мне кажется, что нет мирнее и прекраснее сорта русских женщин, как хорошие женщины из нашего сельского духовенства, но их, конечно, *очень трудно описывать,* потому, что они по преимуществу олицетворяют собою известное положение, что «самая лучшая женщина есть та, о которой нечего рассказывать».

Но почему же во всей русской литературе так редко встречается в необезображенном виде сельская попадья или дьяконица? Почему их любят изображать робкими, застенчивыми, угловатыми, неловкими, даже неряхами и тупоумными дурочками? Потому что берут для описания одно кажущееся, одну внешность, а не скрытое от глаз духовное богатство, которое иногда бывает очень велико, и все оно изживается дома, у припечка. Такая попадья не мечется подобно Вере Николаевне

Алмазовой, потому что она *умна,* она *видит свое положение* и на всякие возбуждения может коротко отвечать: «мал мой двор — тесна моя улица», — буду лучше «дома смотреть».

И они «смотрят дома», и как зорко, как многополезно они смотрят! О, что бы сталось в бедном сельском домике на поповке, если бы руководящая им хозяйка стала жертвовать своими прямыми обязанностями жены, матушки и хозяйки тем широким и непосильным для бедной попадьи затеям, которыми соблазняет ее г. Ливанов. Но г. Ливанов и сам это предвидел, и для того он и дал своей «идеальной» сельской попадье пять тысяч рублей приданого, фортепиано, фаэтон, возок, тарантас, тройку выездных лошадей и постель с пологом и шелковым одеялом, да еще вдобавок ко всему — дядю из советников, с которым архиерейский лакей раскланивается «как с старым знакомым» и который — о чем ему ни черкнуть, все сейчас так и повернет, как его просят... Конечно, «хорошо тому жить, кому бабушка ворожит», но много ли сельских попадей в таком положении? И даже... позволю себе усомниться: есть ли хоть одна из них, которая была бы так выгодно обставлена, что ей только и дела, что фантазировать, удивлять, сватать и учреждать все на стороне для благополучия ближних? — Нет таких, да и быть их не может, именно потому, что наше сельское духовенство в большинстве очень бедно, и приданые пять тысяч рублей в духовном быту большая редкость, да и то не в селах. Без средств же попадье впору думать только о муже, о детях и о домашнем хозяйстве, и если она это делает как следует, то... она делает *свое дело,* и спасибо ей. Тогда успокоенный ею муж будет спокойно совершать свое трудное служение, находя дома отдых и одобряющее слово участия, ее дети будут расти досмотренными, в добром правиле и добром здоровье; ее дом будет светел и чист, и все знающие ее станут называть ее «матушкою» с чувством истинного почтения. — Вот что нужно прежде всего, а остальное все будет и преизбудет, *когда к тому на русской поповке явится возможность,* зависящая от других, очень серьезных причин.

Г-н Ливанов слишком опасный новатор: он с своею хроникою взмыливает женщин духовного сословия точно так, как взмыливали ее известные романисты той школы, которую сам г. Ливанов называет нигилистическою и подвергает ожесточенному преследованию. И тут, как и там, женщина была соблазняема эффектною грандиозностью общественной деятельности и отрываема от дома и от всех ближайших занятий, составляющих ее основное призвание. На женщину опытную и искушенную жизнью это, конечно, не подействует, но молодые матушки и подрастающие их дочки, бог весть, может быть и способны увлекаться примером Веры Николаевны, который так же соразмерен, как пример Веры Павловны из романа «Что делать?», с тою разницею, что там все сделано без сравнения умнее и занимательнее. Но план один и тот же.

К чему же это, однако, может пригодиться? — к тому ли, чтобы напрасно взволновать покой молодой девушки или молодой попадьи возбуждением в ней бессильных желаний строить гостиные дворы в селах и делать другие несообразности, или к тому, чтобы внушить молодым людям, что они должны стараться жениться только на институтках Николаевского института с придаными не менее пяти тысяч рублей и с случайными людьми в родстве? Прекрасно; но тогда что же ждет бедных девушек из духовенства, у которых нет ни пяти тысяч рублей, ни дяди советника, знакомого с архиерейским лакеем? Улучшилась ли или ухудшилась бы их участь, если бы проводимая г. Ливановым тенденция возобладала? Не позволительно ли его спросить:

Кто ты — их ангел ли спаситель
Или коварный искуситель?

По-моему, он действует как змий, соблазняющий скромных Ев нашей сельской поповки, и совет его не опасен разве только потому, что он очень нелеп.

Что же касается до другого вида наших матушек — матушек-«дам», которые принадлежат к городским обывательницам, то о них г. Ливанов рассказывает много дурного, и, кажется, не совсем несправедливо. Но во всяком случае они как, по уверению г. Ливанова, не хотят слушать своих мужей, так точно не захотят

читать и книгу г. Ливанова. Этих «дам», которые от одного берега отбились и к другому не пристали, ничто не переделает и не исправит. Но, быть может, большая или меньшая суетность этих «дам» в сегодняшнем строе жизни городского духовенства еще и не самое тяжкое зло, какого можно ожидать от них, если бы ими овладела страсть к общественной инициативе. Г-н автор, вероятно, не знает, что примеры в этом роде уже есть и что злополучные мужья-священники, имеющие несчастье видеть это метание своих половин, весьма охотно помирились бы с «меньшим злом» в жизни, то есть с обыкновенною женскою суетностью, которая по крайней мере хоть с годами проходит или изменяет сколько-нибудь свой острый характер, между тем как реформаторское метанье закруживает голову так капитально, что она уже никогда не в состоянии раскружиться. И сия вещь горше первыя.

Русскому священнику нет никакой нужды в жене с общественною инициативою: в молодых, да и в не совсем молодых, современных русских духовных лицах очень достаточно доброй инициативы, — им нужны в женах разумные, добрые подруги на их весьма часто тернистом пути, а такими подругами бывают женщины сердечные, которые водятся в жизни не теоретическими рассудочными соображениями, а побуждением горячего чувства. Оставьте священнику хоть этот угол, где он может отдохнуть усталою головою и взволнованным сердцем от тревог и унижений, которых так много на его житейской тропе.

Мне весьма не хотелось бы, чтобы мои слова были поняты так, как будто я считаю несовместным с положением жены священника более широкого образования и более широкой деятельности, — совсем нет: я не хотел бы только на моей родине, особенно в бедных ее селах, таких «идеальных матушек», как та, которая изображена г. Ливановым. Я не считаю удобным для священника этих инициаторш, подобно ей выдвигающихся везде на первый план и как бы стушевывающих мужа. Скромная женщина, которая только дала бы «святой покой» мужу, священнику гораздо полезнее этих учредительниц и строительниц, свах и музыкантш, «исполняющих труднейшие пассажи» и нуждающихся в

отдыхе под шелковыми одеялами. Словом, я расстаюсь с Верой Николаевной без малейшего сожаления и не понимаю, для чего так страшно плакали о ней несшие ее гроб двенадцать священников? Мне кажется, им бы надо было бояться, чтобы и их жены, увлекшись ее примером, не захотели строить гостиные дворы и банки, а им, своим мужьям, запрещать брать «неприличную мзду» за требы. Чем бы они, бедные, стали тогда жить и в каких фаэтонах скакать в погоню за нигилистами? Худо было бы этим двенадцати священникам, если бы все их жены начали тоже строить...

В оправдание автора, который вздумал соблазнить женщин русского духовенства таким неподходящим типом, можно сказать только одно, что новый положительный тип молодой женщины, находящейся в замужестве за священником, в наше время не выяснился: он еще вырабатывается среди многообразных и, смею думать, благотворных движений в бытовой жизни клира; но в таком случае, пока он не обозначается, незачем его и измышлять и описывать, потому что всякое измышление не будет *тип*, а будет *выдумка*, и если она неискусна, то из нее выйдет карикатура, — что и вышло из «идеальной попадьи Алмазовой».

Теперь поговорим о самом муже, которого эта догадливая женщина «окрылила» своею смертью, и взвесим, по возможности, тяжеловесные достоинства этого идеала.

IX

Отец Алмазов гораздо проще своей жены. Нужно заметить, что эти супруги похожи не на живые лица, а на марионетки, двигающиеся по разводам, сочиненным автором для выражения его планов. Но в жене о. Алмазова есть по крайней мере еще нечто *свое* (хотя и нехорошее). Это — известная развязность, юркость и кокетство довольно дурного тона. Но в самом «идеальном священнике» нет и того; он уже совсем автомат, действующий без всякого подобия живого человека. Автор сочинил ему проповедь, — он говорит; назначил ему построить то и другое, — и он все это строит; завел его ссориться с «взбалмошною нигилисткою Кашеваро-

вою», — и он ссорится; поставил его на молитву, — он молится, и бог будто слушает его молитву, вследствие которой являются жандармы и вяжут и нигилистов и раскольников. Словом, как все это намечено автором по плану его утопии, так все и делается, «как по повелению волшебной палочки». От этого тут нет ничего живого — ни следа драматического развития даже и в тех положениях, которым автор нарочито усиливается дать драматический характер. Только порою они оживляются тем, что переходят в смешное, как, например, когда о. Алмазов едет в возке, обращающемся в тарантас, когда он поет тропарь в виду скелетов и портрета Сеченова, когда по его молитве вяжут его врагов, или когда двенадцать священников несут гроб его жены и льется море слез, а петь никто не может. Своей инициативы, знания действительных нужд народа и сельского неустройства нет вовсе. Из мужиков, которые вчера были грубияны, кляузники и пьяницы, — в три года являются люди, вошедшие во все главнейшие фазы цивилизации. Это не повествование, а фокус, и в этом случае немецкий поэт Гейне гораздо обстоятельнее нашего автора: тот говорил, «что мужика прежде всего *надо вымыть*», а о. Алмазов так идеален, что возгнушался этой заботы, и, строя гостиный двор, по которому глубокою осенью гуляла его жена, он не вздумал даже построить в селе сносную баню, которая на первый случай была бы гораздо необходимее гостиного двора. Но ему все равно, и о соображениях его и способностях нельзя судить по его постройкам: если бы его село было при море, он бы построил и маяк и сам бы зажег его светоч; если бы не умерла его жена и он не «окрылился» бы затем в архиереи, то он построил бы полицию и каланчу для надзора за тайными движениями нигилистов, — словом, это своего рода «белый бычок», сказка про которого может быть и докучна и бесконечна. Ценить его не за что, потому что он не являет никаких личных сил, обнаруживаемых в борьбе, а автор делает им какие хочет ходы на доске — и *только,* и Алмазов послушен ему, как пешка. Весь он построен на вздоре — на случайной женитьбе с приданым, а отнимите у него это приданое, и сам он тотчас же обращается в совершенный вздор: ему не

на что будет строить постройки, одолжать погорельцев, ездить то в возке, который оказывается тарантасом, то в фаэтоне, который, надо заметить, совершенно неудобен для езды по проселочным дорогам. Все дело в этих деньгах, и без них не могло бы быть ничего описанного в этой истории. Без них сей «идеальный священник» был бы очень прост: он ездил бы в простой кибитке, сидел бы не под балдахином с крестом и, разумеется, брал бы преблагополучно «неприличную мзду» за требоисправления, и, может быть, вышел бы через это лучше. Занятый работами, он не мешался бы в несвойственные ему полицейские дела, думал бы больше о своем поле, не молился бы о наказании раскольников и нигилистов и не дерзал бы комментировать суды божьи, как он сделал это, когда (313) «вдруг понял», что жена его умерла «именно для того, чтобы открыть ему новую широкую дорогу». (Бедная жена!)

А потому о. Алмазов не разбираем и не судим: этот автомат как был, так его и нет; но за него должен быть судим автор, стремления которого представляют непостижимую путаницу. Против чего он ратует, за что хочет стоять? В начале хроники можно подумать, что он самый крепкий консерватор церковных порядков in status quo;[1] он заявляет довольно прямо, что не любит новаторов, — но это не так. Оказывается, что он сам тоже хочет обновления, но только не в том спокойном духе, в каком оно уже и совершается в епархиальной жизни почти по всей Руси. Нет, — он хочет реформ с судорожным метанием за нигилистами, в союзе духовенства с жандармами и прокуратурою... Подумал ли автор и его герой и героиня: коего они духа? Читая, как его «идеальный поп» отрекается от доходов за себя и за своих церковников, которые его к тому не уполномочивали, вы можете подумать, что он либерал и друг народной нравственности, — но и это не так. Автор не медлит опровергнуть это мнение удачными хлопотами об учреждении ярмарок, служащих местом разгула и разврата. Автор — против эмансипации женщин, но его попадья сама эмансипирована в весьма дурном смысле, потому что она порою доходит даже до изрядного бес-

[1] В существующем положении вещей (*лат.*).

стыдства, к которому отнюдь не ведет здоровая эмансипация. Автор обличает беспорядки архиерейских домов, и в то же время успехи своего героя у архиерея Хрисанфа ставит в зависимость от случайного знакомства с ним дяди своей жены — местного губернского советника; он после обличения архиереев не без некоего прозрачного намека указывает на правило древней церкви... и потом говорит, что нужны архиереи-монахи, к чему и доспевает его «окрыленный смертью жены» герой; он много пишет о звоне в колокола во время архиерейских переездов по городу, делает по этому случаю разные намеки и вообще смеется над этим, а между тем без крайней необходимости и к явной несообразности (316) заставляет звонить в колокола сельской колокольни, когда уезжает в своем фаэтоне овдовевший священник Алмазов (тогда еще даже и не Агафангел). Чего ради случилась эта невозможная нелепость — даже и понять нельзя. Могли ему все «кланяться в ноги», могли «две версты» бежать за его фаэтоном, «запряженном почтовыми лошадьми», — все это утрировано, но еще, пожалуй, возможно; *но звонить в колокола...* Чем он мог внушить людям такую дикую фантазию, — разгадать так же мудрено, как то, чем он внушил глубокую, по-видимому, страсть практической институтке Николаевского института. Всеконечно, он имел в себе что-нибудь такое, внушающее к нему и особенную любовь и особенное почтение: в тексте книги это, правда, не усматривается, но к экземплярам книги прикладывается отдельная виньетка, где в ярко-красной кайме помещен «портрет студента Алмазова». — Но это довольно грубо исполненное политипажное изображение замечательно только некоторым сходством с портретами г. Ливанова. Не в этом ли сходстве должно искать причину, почему ему начали звонить еще прежде, чем он сделался архиереем?

Что-то будет после?

X

В заключение еще два слова о необыкновенном литературном приеме с именами архиерея Хрисанфа, разъезжающего с визитами к дамам; кн. Шаховской, «по

опыту» полагающей аттестацию сохранности мужчин из духовенства; «сумасбродной женщины-нигилистки Кашеваровой»; дурного мужа Скалон, Болтина и других... Разве это позволительно в какой-нибудь стране, где известны хотя мало-мальски литературные приличия? Что сказал бы г. Ливанов, если бы в печати появилась бы какая-нибудь грязная история и героем ее был выведен человек, носящий его фамилию?.. Надо думать, что это ему было бы несколько неприятно, и он имел бы полное право назвать это большою неделикатностью и даже грубостью. И это и есть большая неделикатность, которую весьма бы желательно вывести из обычая.

И, наконец, о выходке по поводу портрета Сеченова: неужто г. Ливанов серьезно думает, что портрет профессора Сеченова, весьма обстоятельного ученого, известного даже за пределами России, есть вывеска какой-то непорядочности в доме, где этот портрет поставлен на видном месте? Позволительно ли такое обращение с именем ученого человека, делающего не бесчестье, а скорее честь своей родине! И за что же это: не за те ли «рефлексы», где после интересных наблюдений делаются интереснейшие выводы и предположения? Что же в этом за вина и какие и перед кем преступления? И если не допускать этого, то как иначе можно двигать какую-нибудь науку, не только такую, с какою имеет дело г. Сеченов, а даже хоть, например, библейскую критику, с которою имеет дело известный Бодиссан, прилагающий строго критический метод к своим исследованиям о единобожии евреев. И что же: оскорбляет ли это истинно верующих и истинно ученых? — Нимало. В одной прекрасной статье, помещенной в духовном журнале о трудах Бодиссана («Правосл⟨авное⟩ обозр⟨ение⟩», месяц апрель 1877 г.), читаем: «человеку суждено подходить к истине путем более или менее окольным. Любовь к истине так велика, что где не хватает силы ума, человек готов призвать на помощь фантазию. Но это не отнимает нашего права на благодарность к тем труженикам науки, которые из любви к истине увлекаются, чтобы уяснить то, что не ясно», и т. д. Вот правильное отношение к трудам ученого, даже в том случае, если увлечения его очевидны, чего, впрочем, г. Ливанов по отношению к исследованиям профессора Сеченова не доказал, а только

старается свести к чему-то недостойному внимания и сообщества порядочных людей...

Это ли прием человека, уважающего науку, это ли противодействие нигилизму, не есть ли это скорее проповедь невежества, или это-то и есть самый несомненный нигилизм, который, по прекрасному выражению «Московских ведомостей», отнюдь не определенное учение, а просто особенное *«умственное состояние»,* в коем человек стремится отрицать *все,* чего он не умеет понять? — С этим определением, сделанным умною редакциею московской газеты, нельзя не согласиться, тем более что следы нигилизма как «особенного умственного состояния» весьма замечаются у многих, которые отнюдь не желают считать себя нигилистами и не крестят своих детей в винной жженке. Хроника, сочиненная г. Ливановым, относится к категории явлений, еще раз подтверждающих эти выводы.

Не для того ли и писана эта книга? — Конечно, нет; автор в своих газетных рекламах категорически объясняет «цель книги» таким образом: «1) изложить всю несправедливость огульного обвинения нашего духовенства, 2) всю неестественность отношений нашего общества к духовенству, 3) всю безучастность к этому сословию нашего общества, в следствие (вследствие) предрассудков сего последнего».

Наш подробный отчет об этой книге представляет читателям достаточную возможность основательно судить: насколько достигается упомянутым сочинением указываемая автором цель?

По нашему мнению, цели эти не достигаются, и книга не представляет собою никакого живого интереса, а потому можно будет пожалеть, если широковещательные рекламы, распространяемые о ней автором с целью зазыва покупателей, найдут среди нашего бедного духовенства много людей, способных поддаться этому торговому заману.

Статья эта написана для того, чтобы по возможности предотвратить возможность такого увлечения и хотя частью обнаружить фальшь этой скучной, но в своем роде не безвредной утопии.

〈О РАССКАЗАХ И ПОВЕСТЯХ А. Ф. ПОГОССКОГО〉

Крымская эпоха была во многих отношениях важною для армии и имела огромнейшее влияние на солдатскую литературу. Солдат стали обучать в полках грамоте, и одновременно с тем открылись заботы дать новым грамотеям чтение, сообразное их воинскому званию. За это дело взялись люди, которые обещали сделать много, но едва ли исполнили то, что обещали. По крайней мере в периодической литературе специального назначения за все время после крымского периода не выдалось ничего такого, на чем бы можно было остановить внимание. Самым выдающимся писателем в новой солдатской литературе был, без сомнения, недавно умерший писатель Александр Фомич Погосский, по рождению поляк, по положению отставной офицер русской службы. Личные воспоминания об этом патентованном солдатском писателе еще и теперь, может быть, не подлежат огласке: скажу только одно, что человек этот при встречах с ним за границею вскоре после крымского замирения являл собою «смятенный вид» и не высказывал никаких намерений служить интересам русской армии; но вдруг все перевернулось, и имя Александра Фомича Погосского является в самой главе солдатских писателей новой школы. Он был необыкновенно счастлив на этом повороте своей деятельности: литературная критика того времени приветствовала его появление с самым пламен-

ным восторгом; петербургские журналы и газеты почти единогласно провозгласили его наблюдательнейшим знатоком солдатских нравов и талантливым писателем, «какого еще не было». Один большой, тогда очень влиятельный журнал, не находивший под солнцем имени выше действительно достойного почтения имени драматического писателя А. Н. Островского, даже поступился несколько величием своего фаворита и назвал Погосского «солдатским Островским». В военных кружках новый писатель так понравился, что сразу же нашел там своим писаниям самую сильную поддержку. С этих пор имя Погосского стало пользоваться авторитетом в солдатской литературе, а его сочинениями в изобилии снабжались все полки и команды. Солдаты должны были их читать, и говорят, будто бы «зачитывались». Сказкам вроде «Еруслана» и «Бовы», казалось, пробил конец, — выжита была и «скобелевщина». Теперь оказывается, что «скобелевщина» действительно исчезла, а «Бова» и «Еруслан» пережили невзгоду. Дело это в таком же положении и ныне: и теперь, если вы обратитесь в книжные склады агента военно-учебных заведений г. Фену с требованием книг *для солдатского чтения,* то вам подают пачку книг Погосского. Другого выбора почти нет, и это весьма понятно, потому что с тех пор как Погосский забрал силу и стал редижировать солдатское чтение, конкуренция с ним стала невозможна. Писать для солдат можно было только при известной поддержке, а поддержка оказывалась только Погосскому, который и делал что хотел. Если бы кто-нибудь стал писать для солдат в ином духе, он, конечно, не имел бы успеха, потому что апробованный для сего дух был специальный дух Погосского. И вкус критики и вкус начальства были в пользу этого писателя, а потом, вероятно, это в значительной мере прививалось и солдатам. Оставалось подделываться под манеру и тон Погосского, и за это было некоторые принялись, но не имели успеха: Погосский умел удержать за собою первое место при жизни, и оно остается за ним и после смерти этого «незаменимого писателя».

Что же им сделано для просвещения ума и сердца русского солдата?

Этому пора подвести итог, ввиду событий и обличений, устремляемых против церкви за ее нерадение о солдате, который не кладет в ранец евангелия, а таскает там «Еруслана» и «Бову».

Серия книг, написанных и изданных при самых благоприятных условиях А. Ф. Погосским, очень велика. Одолев ее всю прежде, чем приступить к этой статье, я решаюсь думать, что большинство критиков, так единодушно и так решительно восхвалявших талант Погосского, не имели времени и терпения, чтобы прочесть от доски до доски массу плотных листов, выпущенных в солдатскую среду этим плодовитым писателем, давшим тон и камертон для солдатской литературы. Прочесть его — это большой труд, которого, как известно, бежит спешный критик современной литературы, ловящий только «общий вывод и направление». И мы проследим только это направление и посмотрим, к какому оно может привести выводу.

Благосклонный читатель! кто бы вы ни были, — возьмите терпение пробежать со мною ряд книжек, которые я вам постараюсь представить. Если вы духовное лицо, — это вам объяснит многое, что, может быть, вас удивляло в настроении солдата, за которого теперь вас тянут к ответу; а если вы мирянин, — вы поймете, как неосновательны многие делаемые церкви укоризны, и это вам будет на пользу.

Садимся за читальный стол солдатской сборни и начинаем перебирать книжку за книжкою.

Берем по очереди, что попадет под руку.

1) *«Жареный гвоздь»*. Все содержание книжечки вертится на голой, нимало не покрытой бесстыжести: герой рассказа солдат поставлен на постой к молодой простодушной крестьянской женщине. Пользуясь своею плутоватостью и жалким легковерием молодой женщины, нежно любящей своего мужа, солдат приводит ее к нарушению брачной верности и очень доволен. Бесстыдная история эта рассказана с отвратительною развязностью и бесшабашным цинизмом. Оставя в стороне несчастную добрую бабу, которая была хорошею женою и обманута солдатом самым мошенническим образом,

автор рисует пожилую женщину Пафнутьевну, «вдову с бесконечным потомством по милости солдат и своих физических средств» (3), и ее устами рассказывает, как солдат наутро прощался с хозяйкой.

2) *«Лешев хутор»* — голая чертовщина. Рассказ вроде гоголевского «Вия», но без гоголевского таланта.

3) *«Чему быть, того не миновать, или Не по носу табак»,* — театральное представление, разыгрывая которое солдаты, исполняющие роли, говорят со сцены публике неудобные для печати слова (см. стр. 14, 19, 20 и 23); [1] но всего характернее это то, что должны осмелиться произносить публично другие женские лица играющего персонала; например (стр. 71), разговор двух девушек о кирасире.

Писатель прививает такую гадость не только солдатам, но и их дочерям и женам, для которых писаны эти *роли.* Если справедливо, что театр есть школа нравов, то чему может научить *такая* школа, с *такими* уроками?

4) *«Анчутка беспятый», «Наум сорокодум», «Собачий застрельщик»* и *«Медвежья наука»,* — четыре произведения в одной книжке и в одном роде.

5) *«Злодей и Петька»,* еще развязнее. Тут прямо ругаются по-русски...

6) *«Отставное счастье»* и *«Два кольца».*

7) *«Господин колодник».*

8) *«Подосиновики».* — Солдат приходит в отставку домой к жене, которой не видал много лет, и, застав у нее кучу рыжих детей, находит, что это так надо быть, — что это грибки-«подосиновики».

9) *«Чертовщина», «Путешествие на луну», «Мудрый судья».* В первом рассказе изображен добрый солдат, который, стоя у молодой хозяйки, слышал, как ее ночью «домовой душил», — домовой этот был его однополчанин «унтер-офицер». Второй — о кузнеце, который, при-

---

[1] Талантливый автор этой статьи приводит здесь и в обзоре содержания прочих книжек г. Погосского такие возмутительные по своему цинизму сцены и фразы, что из уважения к нравственному чувству читателей мы вынуждены их исключить. А между тем в иллюстрированной газете «Пчела», издаваемой Микешиным (№ 42), Погосский рекомендуется как превосходный народный писатель, который может иметь самое благотворное воспитательное влияние на народную массу!.. Избави ее бог от такого влияния. *(Ред. журнала.)*

няв к себе издалека хозяйку, «ахтительную красавицу, и с той поры даже с Феклистихой не водился». Но жена у него «сбежала с Оською Комолым», а в это время в село пришли солдаты, и «солдат Яшка спознался с старухою». В третьем рассказе автор касается высших сфер общества — и выводит напоказ солдатам полковых дам, которые представлены невесть какою гадостью.

10) *«Всем шильям шило»,* рассказ, в котором видим еще другую сторону автора. Тут девка Зайчиха, нарожавшая себе детей неведомо от кого, держит их, как зверят, в пещере и пьет с горя, а когда приходит к ним, то ведет такие речи (44—45): «А нема ж на вас погибели!» — «А бо-дай вас трясца замордовала, бесенята проклятые!» На 46-й: «Щоб тоби хвороба! Бо-дай ты вспухла! Сто вам чортыв!» (47) «Пиячка непотребная; видьма бесстыжая!» и т. д. Если не сальность — то хоть грубость.

11) *«Суходольщина»* — знакомит нас опять еще с одною стороною направления Погосского: тут есть, так сказать, «тенденция». Крестьянский мальчик Леша, взятый в лакейскую, в Петербурге, в течение двух лет кое-чему поучился и стал такой, что и студенты, собиравшиеся у его господина, заспорив о чем-нибудь, обращались к этому мальчишке, говоря: «Ну вот посторонний человек: ну говори, как ты об этом думаешь?»

Бедные студенты!

12) *«Жизнь без горя, без печали»,* — опять образчик в ином роде. — Это уже стихотворная штука, по размеру напоминающая «Конька Горбунка» Ершова; но с такими стихами, каких нет у Ершова. Например:

Не собьемся, братцы, с такты,
Там какая есть у нас,
Все же такта, — ну вот так-то (стр. 7).

Ты пусти меня, желанный,
В море синее гулять,
Воевода ты мой сбранный (8).

Дошло до «взбранного воеводы», — и идет далее.

13) *«Дедушка Назарыч»,* — отставной солдат лес караулит и трет табак, «пертюнец». По скромности или

по иным требованиям автор это словцо в одной букве испортил, но зато в другом поправил. Табак «пертюнец» очень понравился дьячку, и этот дьячок, чтобы отблагодарить солдата, приносит *«портрет»,* который должен служить *вывескою* для терщика. Чей же это портрет? — Благоволите, читатель, выписать себе от комиссионера военно-учебных заведений эту книжечку и полюбоваться картинкою, напечатанною на 25-й странице, и вы, конечно, узнаете и фигуру и позу. Это мужчина, который нимало не похож на Назарыча, а похож на типическое изображение совсем иного лица. В левой руке у него чаша на высокой ножке, отнюдь не похожая ни на муравленый горшок, ни на иготь, в каких трут табак. В облике нет ничего воинственного, а скорее нечто иконописное — даже древлеписные движки есть на челе, а вокруг головы венчиком расположены буквы, образующие слова: «Отменный табак». Есть тут намек и на хлеб, но при этом прималевана и бутылка... Всмотритесь в эту картинку, и вы не затруднитесь узнать нечто весьма вам знакомое и, конечно, не поверите, чтобы такую кощунственную штуку мог выкинуть человек русский... Но и этого мало: по игровой фантазии г. Погосского (26), «мальчишка Васютка приткнул свой нос к носу портрета и что сам имел под носом, то и припечатал, — отчего портрет еще живее вышел».

На этой тринадцатой книжке надо остановиться: здесь, говоря в тоне рассматриваемого нами оригинального писателя, — «чертова дюжина», далее которой забираться уже невозможно. Даже в тех целях, в которых мы должны были пошевелить ворох нашей новой солдатской литературы, следить за нею неудобно. Дальше приведенных нами тринадцати повестей стоит *«Посестра Танька»,* — это солдатская Мессалина русского сельского происхождения. *«Посестра Танька»* из всех книг Погосского самая распространенная и самая расхваленная в свое время критикою. *«Посестра Танька»* не «посестрие» в раскольничьем смысле, — не «сталая подруга» человека, имеющего свой взгляд на брак, но все-таки держащегося «любве ко единой жене произволения». *«Посестра Танька»* г. Погосского держится донжуановского взгляда по истолкованию гр. А. К. Толстого. Раз оскорбленная изменою, она «насмешке жизни мстит

насмешкой». Но quod licet Jovi, non licet bovi;[1] что у графа А. К. Толстого разыгралось в каприз сердца, то у Погосского выразилось простым муженеистовством. Байронизм Погосского годился только на то, чтобы изобразить в героине развратницу, от подробной передачи похождений которой должно отказаться самое беззастенчивое перо. Что здесь описано на одной 53-й странице, того не встретите ни в какой другой современной русской книге. Но все это, невозможное для повторения, не лишено и некоторой тенденции: проститутская практика Таньки, которой «везде было полно», связана с храмовыми праздниками, причем «всесветная и безответная, неистомная и беспардонная» красавица (86) получает себе и церковника; и тот говорит (83): «и аз аки людие». Словом, повесть совершенно невозможная для человека, в котором была бы хоть капля жалости к нравственному состоянию читателя.

И между тем этот грубейший цинизм, эта неслыханнейшая безнравственность поддерживалась не только теми, с которых нечего спрашивать литературных понятий, но она одобрялась и критикою — тою самою критикою, которая преследовала «клубничное настроение» Всеволода Крестовского. Но что же «Петербургские трущобы» г. Крестовского в сравнении с любым произведением из перечисленной нами более дюжины г. Погосского? Никакая Чуха, никакая Крыса «Трущоб» не могут идти и в сравнение с *«Посестрою Танькою»*. Если нам скажут, что «общий вывод» в солдатской литературе Погосского имеет доброе направление, то допустим, что это так; но разве меньше добрых стремлений в «книге о сытых и голодных» г. Крестовского? Если скажут, что у Погосского все искупается его литературным мастерством и знанием быта, то не станем об этом спорить. Что за мастер г. Погосский, это видно, но видно и то, какой он знаток солдатского быта. Он изучил его — это правда, но только *с какой стороны?* Допустим, что у г. Погосского были самые добрые намерения и что в его рассказах есть одобрительный «общий вывод»: но... Это напоминает известное сравнение Гейне по поводу характера женщин различных наций: «Англичанка, —

[1] Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку *(лат.)*.

говорит он, — проста и питательна, как ростбиф ее национальной кухни; а француженка — вся в приправах: здесь дело не в мясе, а в соусах. И эти *соусы*, за которыми исчезла сама француженка, отвели ей очень невысокое место и заставили предпочитать ей в воспитательном смысле простую и здоровую, как ростбиф ее национальной кухни, англичанку». Так много может вредить соус, где его переложено, а в этом нет недостатка у г. Погосского, пикантными соусами которого мы питали душу нашего солдата целые двадцать лет кряду, начав это в самую значительную эпоху — в эпоху переустройства военного быта и распространения в войсках наших грамотности! Мы никого не осуждаем, но спрашиваем: могло это благоприятствовать образованию в наших солдатах вкуса к тому чтению, которым занимаются солдаты других христианских армий, на которые нам теперь указывают, находя тут вину представителей церкви? Нет; и тысячу раз нет. Эта литература, на которую наш солдат был *направлен* тотчас же по обучении его грамоте, не могла дать ничего, кроме потворства низким его страстям, и отвести его глаза от произведений, которые ведут к иному. Этот-то *отвод глаз* от доброго чтения, — смеем сказать с горестью, — едва ли и не был причиною того, что указанное чудовищное направление находило поддержку даже там, откуда ее всего менее надлежало ожидать... И что же: несмотря на все это, чем являет себя русский солдат в нынешнюю томительную войну? — тем же храбрым, терпеливым и сострадательным человеком, каким его давно знали! Какая богатая природа и какая превосходная заправка! Откуда же взялась последняя? Если солдата поили литературною отравою, то не вдохнуло ли в него все эти силы ораторское красноречие вождей? Не много, конечно, в нашей памяти новейших образцов этого красноречия, но кое-что из самого новейшего помним. В газетах была одна речь раненого генерала, где мы в десяти строках насчитали три раза слово «черт». «Черт меня возьми, черт тебя возьми, и черт все побирай». Другой генерал говорил: «Чего боитесь смерти: у меня есть дом в Петербурге и несколько тысяч дохода, а у вас *ничего, кроме блох...*» Черти да блохи... Едва ли и это могло дать солдату чувство христианского само-

пожертвования, и опять приходится искать: не вдохнула ли этого в него воспитавшая его церковь, и вдохнула так крепко, что этого ничто не могло до сих пор из него вырвать? Вот явления характерные и замечательные, которых не следовало бы упускать из вида тем, которые так чивы на укоризны церкви за произведения, находимые в солдатских ранцах. Мы с горестью встречаем эти нападки, не потому, чтобы они были уже очень тяжелы и больны, но потому, что самое лучшее их объяснение — это непонимание дела. Но еще хуже, если в этом не столько непонимания, сколько намерения опять «отводить глаза» от настоящих причин зла, коренящихся в самом воздухе, которым дышит наш вертоград, дающий так много чертополоха и пустоцвета. Белые лилии не могут здесь расти, сколько бы их ни подсаживали.

Мы знаем, что в обществе теперь есть претензия: почему же в духовенстве нет таких самоотверженных людей, как достопочтенный пастор Дальтон, который трудится на войне и приносит раненым очень много пользы. Серьезная претензия, на которую, впрочем, отвечать очень легко. Пастор Дальтон делает прекрасное дело, потому что «его общество» дало ему средства делать это дело. Одною доброю волею и пастор Дальтон *ничего бы не сделал.* Но где такая русская община, которая снарядила подобным образом русского священника? Или их нет — таких добрых священников? Кто будет так нагл, чтобы утверждать это, тот скажет неправду. Если их и немного, то они все-таки есть, только может быть:

Этим соколам
Крылья связаны,
И пути-то им
Все завязаны...

Но, к сожалению, этого словно не допускает направленское пристрастие, или, откровеннее сказать, «направленская ложь», которая и в новом своем настроении, совершенно по-старому, и лжет, и ползет, и бесится. Это не обещает ничего хорошего для страны, которой так нужна теперь самая нелицеприятная правда.

ИЗ МЕЛОЧЕЙ АРХИЕРЕЙСКОЙ ЖИЗНИ

Число охотников выводить из всего *диффамации* у нас очень быстро увеличивается: в этом теперь преуспевают уже не только люди светского, но и духовного чина. Так, некто протоиерей Евген. Попов из Перми на этих днях издал книгу, в которой без стеснения разъясняет имена лиц, безымянно описанных в «Мелочах архиерейской жизни». Этот негодующий Евгений Попов, очевидно, «мнит службу совершити богу», а может быть, и еще кому-нибудь другому. Он утверждает, что рассказы о простых явлениях архиерейского жития составляют самый яркий признак самого ужасного и вредного нравственного падения, которое стало возможно только для нашего времени, «когда грабят и стреляют». Да, да, это именно так и написано — рассказать, что у архиереев могут случаться капризы, а также могут быть желудочные катары, нельзя, не будучи причастным ко всей безнравственности нашего времени, «когда грабят и стреляют». Приблизительно в том же роде высказался насчет этих важных вопросов и «Церк⟨овный⟩ вест⟨ник⟩», редактируемый профес⟨сором⟩ Предтеченским. Оба эти просвещенные духовные писатели, то есть Попов и Предтеченский, принадлежащие одной и той же Петербургской духовной академии, «благоугождали всяко», доказывая, что спускаться в такие сферы, как обыденная жизнь архиереев, это сплетниче-

ство и небывалое покушение оскорбить «величавые фигуры». И Попову и Предтеченскому казалось, что это *не бывало.* Они прикинулись простачками и делают вид, будто совсем позабыли про «Записки Гавриила Добрынина», где во всех видах подробно и талантливо описан пьяный и своенравный архиерей Кирилл. Им дела нет, что это писано не в наше время, когда... и т. д. Впрочем, им непростительно забывать, что надо, на то они академические историки, чтобы знать, что спрятать и что сочинять для истории. Но вот, к немалому их удовольствию, неожиданно подают им новый случай поусердствовать и — кто же? «Русский вест⟨ник⟩», журнал самый благонамеренный. В вышедшей на сих днях октябрьской книге этого московского журнала мы находим следующие интересные, но не особенно «величавые» сведения об известном сподвижнике Платона (Левшина), московском архиепископе Августине (Виноградском).

«Преосв. Августин имел много превосходных качеств: он был весьма строг, но справедлив; консисторию держал в ежовых рукавицах, и белое духовенство, в то время грубое и распущенное, его трепетало. Он иногда *по-отечески* бивал своею тростью, а не то и руками» (629). «Поживи он еще год, мы увидали бы его московским митрополитом, но господь веку ему не продлил. И отчего он умер? Не знаю, многим ли это известно. Вообще говорили, что он скончался от чахотки. Это вздор: он был *преплотный* из себя, а ему *придумали смерть от чахотки.* Он умер просто-напросто *от икры.* Неприлично. Как будто и святые не умирали съеденные от зверей; мало ли какой случай может выйти. Тут конфузного ничего нет для святителя. Вот как это случилось. Преосвященному прислал кто-то в гостинец большую банку зернистой *икры.* В субботу либо в воскресенье ему подали мало ли икры, или вовсе не подали, только он, сидя уже за столом, потребовал, чтобы принесли. Келейник бросился на погреб опрометью и от поспешности поскользнулся, упал и разбил банку. Зная горячий и вспыльчивый нрав владыки, келейник не решился доложить ему о том, что случилось. Страха ради он выбрал самые крупные осколки стекла и подал икру на тарелке» (626). Августин «кушал торопливо, не замечая,

что глотает мелкие кусочки стекла», и от этого заболел и умер. Следовательно, кажется, будет правильнее сказать, что великий святитель угас даже не *от икры,* как говорит цитируемый автор «Русского вестника», а просто — *от мелкого стекла.* Какая мелочь имела какое влияние.

Что же касается *чахотки,* которой не было и которая была придумана «преплотному» Августину ради приличия, то автор старается доказать это стихами, ходившими на счет этого святителя по рукам в Москве. Стихи же эти следующие:

Всем москвичам нам знать не худо,
Какие мы имеем чуда:
В Кремле стоит большой Ванюшка
И пребольшущая царь-пушка...
А чудо третье — Августин-Кадушка
И кроткая ханжа Марфушка (стр. 630).


ПИСЬМА

1859

1
Ф. В. ЧИЖОВУ

10 декабря 1859 г., с. Райское.

Милостивый государь
Федор Васильевич!

Многих людей с небольшими капиталами весьма интересует судьба предпринятого освещения переносным газом в Москве. Я знаю, что Вы принимали, вероятно, как редактор местного промышленного органа, участие в представлении этого дела на видимость публики, и потому считаю извинительным обратиться к Вам с просьбою известить меня, составлено ли уже это общество или нет, сколько паев еще остается свободными и какие для этого общества предполагаются организация, администрация и контроль?

Может быть, вопрос мой слишком смешон в настоящее время, но я прошу Вас извинить его, потому что Вашего журнала я, к крайнему сожалению, не встречаю в здешних местах, а другие периодические издания, кроме «Русской газеты», очень мало уделили места этому делу.

Кстати, о Вашем журнале. Здесь его почти нельзя встретить, а по духу здешнего общества, я думаю, он мог бы иметь здесь большое число подписчиков, что отчасти доказывается количеством получаемого здешнею почтовою конторою «Экономического указателя» Ивана Вас⟨ильевича⟩ Вернадского. Имея некоторое значение в нашем промышленном кругу, я надеюсь в некоторой же степени содействовать распространению Вашего журнала в Пенз⟨енской⟩ и Саратовской губер-

ниях и потому прошу Вас сообщить мне программу этого издания и несколько прошлогодних №№, хотя, например, тех, где помещено дело о переносном газовом освещении, которое интересует здешнюю публику. Сочувствие мое к «Промышленному указателю» основывается на убеждении в настоятельной надобности такого журнала, когда мелкие капиталисты не знают, за что взяться, и пускаются в операции самые нелепые и когда предстоящее получение ходовых кредитных бумаг нашими помещиками за выделяемую крестьянам землю обещает увеличить семью вопрошателей: что делать с собою и своим капитальцем?

При этом позвольте напомнить Вам, что мы с Вами немного знакомы по встречам у С. Пет. Альферьева и покойного Игнатия Фед. Якубовского, с которыми я жил вместе в Киеве, и что это дает мне право, не ради одной формы, выразить Вам совершенное мое почтение.

Ваш покорный слуга

Николай Лесков.

Адрес мой: Николаю Семеновичу Лескову.
В гор. Пензу. Удержать до востребования.

1863

2
М. М. ДОСТОЕВСКОМУ

29 апреля 1863 г., Петербург.

Милостивый государь
Михаил Михайлович!

Не смея сомневаться в Вашем внимании к данному слову, я полагаю, что Вы, вероятно, утратили мой адрес и сожалеете, что я до сих пор не получил от Вас ответа. — Я живу в доме Максимовича, на Нев⟨ском⟩ пр⟨оспекте,⟩ кварт⟨ира⟩ № 89, и ожидаю или возвращения мне рукописи, или уведомления, что она принята.

С должным уважением имею честь оставаться

Н. Лесков.

3
А. А. КРАЕВСКОМУ

22 мая 1863 г., Петербург.

Милостивый государь,
Андрей Александрович!

12-й день, как вышла книжка «Отеч⟨ественных⟩ зап⟨исок⟩», в которой напечатан мой рассказ «Овцебык». В течение этих 12 дней я был четыре раза у г. Кожанчикова и видел там очень невежливого господина Свириденко. Невежа Свириденко не дает мне

ответа, почему Вы до сих пор не платите денег нуждающимся в них сотрудникам, и денег мне не дает. К Вам я идти не хочу, потому что Вы имеете очень неприятную манеру держать по полчаса в Вашей зале, которая для меня не представляет никакого интереса, и я более люблю залы министра Головнина, где ожидают не более 5 минут и в том выслушивают извинения. Я пошел к Дудышкину, как к человеку, в котором скорее, чем в Вас, можно дощупаться до мягких сторон (я не говорю — *до мягких частей*). Дудышкина нет в городе, а то он, вероятно, избавил бы меня от неприятной необходимости писать к Вам.

Пришлите мне, Андрей Александрович, деньги сегодня или завтра, то есть в четверг, по нижеписанному адресу. Я ни к Вам, ни к Кожанчикову не пойду — это мне *претит*. Но если Вы мне не пришлете счета и денег, то я Вам не забуду завтра сообщить, как я разделываюсь с теми, которые меня донимают до зла горя.

Мы ведь с Вами встречаемся в различных местах, с Невского до Географического общества. Я Вас завтра заставлю провесть пренеприятную минуту в Вашей почтенной жизни. Мне ведь терять меньше Вашего, а я потружусь для других.

Я через Вас не исполнил моего слова перед бедным человеком, но уж на Вас зато сдержу мое слово.

24 часа перед Вами.

Николай Лесков.

Владимирская, № 3—23.
Мая 22, 1863 г., среда, С.-П—бург.

1864

4
Н. Н. СТРАХОВУ

7 декабря 1864 г., Киев.

Милостивый государь
Николай Николаевич!

Д. В. Аверкиев и покойный Ап. А. Григорьев как-то говаривали мне, чтобы я дал редакции «Эпохи» какую-нибудь свою беллетристическую работу. Имея нынче готовый очерк «Леди Макбет нашего уезда», я посылаю его особой посылкой в редакцию, но на Ваше же имя, и прошу Вас о внимании к этой небольшой работке. «Леди Макбет нашего уезда» составляет 1-й № серии очерков исключительно одних типических женских характеров нашей (окской и частию волжской) местности. Всех таких очерков я предполагаю написать двенадцать, каждый в объеме от одного до двух листов, восемь из народного и купеческого быта и четыре из дворянского. За «Леди Макбет» (купеческого) идет «Грациэлла» (дворянка), потом «Майорша Поливодова» (старосветская помещица), потом «Февронья Роховна» (крестьянская раскольница) и «Бабушка Блошка» (повитуха). Далее пересчитывать не буду, тем более что они еще не отделаны; но те, которые я назвал Вам, могут идти друг за другом, по одному в месяц, и должны, по моему расчету, все выйти к следующей зиме особым изданием. В «Библиотеку» я этих очерков не продаю, потому что там, вероятно, пойдет другая, большая моя работа, которую я кончаю и надеюсь привезти с собою; а из двух других петербургских редакций, с которыми могу иметь дело, предпочитаю Вашу. Следовательно, если бы

Федор Михайлович, прочтя посылаемую на Ваше имя «Леди Макбет», нашел ее удобною для своего издания, то печатайте ее и считайте все остальные очерки, назначаемые в эту серию, принадлежащими *преимущественно* «Эпохе» (конечно, по ее выбору). Условия мои таковы: за лист мне дайте 65 рублей (как я получал) и каждого очерка по сто сброшюрованных оттисков.

Если работа моя понравится и условия для «Эпохи» удобны, то потрудитесь известить меня об этом, адресуя: «Никол. Семен. Лескову, в Киев, в университет св. Владимира». Если же очерк окажется неудобным к помещению, то потрудитесь возвратить его Николаю Николаевичу Воскобойникову.

Беспокоя Вас моею просьбою, я рассчитываю на Вашу известную снисходительность и прошу Вас принять уверения в моем совершенном почтении.

Николай Лесков.

1865

5
Ф. М. ДОСТОЕВСКОМУ

⟨Январь 1865 г., Петербург.⟩

А. С. Ушаков просил меня взять у Вас начало какой-то его повести, конец которой находится в «Библ⟨иотеке⟩ д⟨ля⟩ чт⟨ения⟩», и еще передать Вам, что он хлопочет по какому-то Вашему поручению и будет скоро Вам писать.

Потом, Федор Михайлович, я очень нуждаюсь в деньгах и очень нуждаюсь получить мой гонорарий по работе, помещенной в первой книге «Эпохи». Сделайте милость, не откажите мне в этом, равно как и в оттисках, которых я не могу никак выпросить.

С должным уважением имею честь быть покорнейшим слугою

Н. Лесков.

6
Н. Н. СТРАХОВУ

6 марта 1865 г., Петербург.

Милостивый государь
Николай Николаевич!

Если Федор Михайлович передал Вам следующий мне гонорарий, то потрудитесь уведомить меня, когда я могу явиться к Вам, не отвлекая Вас напрасно

от дела; а если эти деньги и оттиски очерка Вам еще не доставлены, то не оставьте меня своим вниманием и похлопочите обо мне, ибо «в дороге я весьма поиздержался».

У меня есть повесть, почти роман, вовсе не тенденциозный и совсем отделанный отчетливо, — называется «Всяк своему нраву работает». Не найдете ли удобным поговорить о нем? «Библиотека» мне много должна, и я не прочь бы продать повесть «Эпохе» или «Отеч⟨ественным⟩ запискам».

Усердно прошу Вас почтить меня коротеньким ответом и принять уверение в моем глубочайшем почтении.

Ваш покорный слуга
Н. Лесков.

7
Н. Н. СТРАХОВУ

⟨Март — апрель 1865 г., Петербург.⟩

Милостивый государь
Николай Николаевич!

До последней степени затруднительное мое положение обрывает мое до последней степени продолжительное терпение, и я усердно прошу Вас, Николай Николаевич, вступиться в мое спасение. Если уж нет возможности дать мне 150 р. деньгами, пусть хоть дадут вексель, под который я могу найти отсрочку у своих кредиторов, которые приступают ко мне вовсе не так, как я к «Эпохе», и которым я не умею отвечать так, как Ф⟨едор⟩ М⟨ихайлович⟩ отвечает мне.

Будьте добры, Николай Николаевич! — Вы сами человек рабочий и можете войти в мое положение. — Вот перед Вами Бенни, который может рассказать, как *ко мне приступают.*

Ваш покорный слуга
Н. Лесков.

8

Ф. М. ДОСТОЕВСКОМУ

3 июля ⟨1865 г.⟩, с. Подберезье
Новгородской губернии.

Милостивый государь
Федор Михайлович!

Я буду в Петербурге около 15 июля и позволяю себе припомнить Вам, что к этому времени Вы изволили обещать покончить счет.

Ваш покорнейший слуга
Н. Лесков.

1866

9
С. С. ДУДЫШКИНУ

10 сентября 1866 г., Петербург.

Милостивый государь
Степан Семенович!

Известие о постановке нынешнею зимою на московской сцене Корнеля и Расина заставило меня сделать приписку по выноске из 3-й гранки. Степанов, вероятно, полезет с этим к Андрею Алекс⟨андровичу⟩, «чего терпеть я не люблю», и посылаю эту приписку со всею корректурою Вам, прося Вас сделать Вашу редакторскую помету и возвратить мне точно так же через почту; а я ее отнесу в типографию.

Ваш покорный слуга
Н. Лесков.

10
С. С. ДУДЫШКИНУ

13 сентября 1866 г., Петербург.

Многоуважаемый Степан Семенович!

Я еще третьего дня, разговаривая с Ефимом Федоровичем, выражал сомнение, возможны ли в «Отеч⟨ественных⟩ зап⟨исках⟩» сколько-нибудь горячие статьи о театре, и оба мы, соображая положение Краевского и его характер, находили, что такие статьи у него

невозможны. Конечно, надо это бросить, то есть эту напечатать, как возможно, а далее не писать.

Другую просьбу к Вам имею: как и что решили Вы с моей большою статьею о «Вопросах молодого поколения»? Навсегда ли она признана негодной, или для нее настанет время, и мне о ней не нужно беспокоиться? Беспокойство же мое Вы не осудите, если примете в соображение, что статья эта стоила мне полутора месяца самого пристального труда. Ради бога, не подумайте, что я на что-нибудь жалуюсь этими словами, а примите их, как они сказаны: просто за желание разъяснить дело, имеющее для меня весьма осязательный интерес. Я давно ждал, что Вы мне что-нибудь скажете о ней, и сам не напоминал Вам, а теперь, кажется, такое время, что она могла бы выйти (конечно, с изменениями), и я прошу Вас сказать мне слово о судьбе, которую Вы ей предначертали.

Ваш покорный слуга

Н. Лесков.

11

А. А. КРАЕВСКОМУ

〈Сентябрь — октябрь 1866 г.〉
Вторник, вечером.

Милостивый государь
Андрей Александрович.

Я исправил и по мере возможности дополнил театральную статью, имея в виду Ваши соображения, переданные мне Ефимом Федоровичем. Просмотрите и прикажите еще раз принести ко мне. Я сомневаюсь, верно ли будут набраны все мои поправки. Не печатать ли повесть более 3-х листов? Она очень трудно делится.

Будьте так снисходительны, прикажите мне дать один оттиск повести по мере ее выхода. Это «не про господ, а про свой расход».

С должным уважением имею честь быть Вашим покорнейшим слугою.

Н. Лесков.

Усердно прошу Вас (и сам на это осмеливаюсь) в объявлении при следующей книжке не печатать «большое бел⟨летристическое⟩ произведение», а объявить прямо, как мы с Еф. Фед. решили: *«Романическая хроника»* — «Чающие движения воды», ибо это будет хроника, а не роман. Так она была задумана, и так она и растет по милости божией. Вещь у нас мало привычная, но зато поучимся. Степан Семенович знал это, и Вы об этом можете спросить Зарина.

1867

12
Е. П. КОВАЛЕВСКОМУ

20 мая 1867 г., Петербург.

Ваше превосходительство
Егор Петрович!

Этим письмом я обращаюсь в Литературный фонд с просьбою, для рассуждения о которой гг. членам фонда нужно иметь более или менее подробные сведения; а потому я начну с изложения их и прошу Вас выслушать меня. Я, нижеподписавшийся, Николай Лесков, известен в русской литературе под взятым мною псевдонимом «М. Стебницкий». Существую я исключительно одними трудами литературными. Начал я мои работы назад тому шесть лет в закрытых ныне «Экономическом указателе» и «Экономисте» профессора Вернадского, где напечатан ряд моих экономических статей. Затем я писал критические и экономические статьи в «Отечественных записках». Статьи эти частью подписаны моим полным именем «Н. Лесков», частью же буквами «Н. Л.», и, наконец, есть статьи так называемые редакционные, вовсе не подписанные. Год целый работал я в газете «Русская речь» Евгении Тур; писал в «Современной летописи» Каткова; потом два года кряду, во время так называемого нигилизма, писал передовые статьи в «Северной пчеле» у г. Усова. Год провел в Париже корреспондентом этой газеты. Потом, оставив публицистику, взялся за беллетристические работы, под псевдонимом «М. Стебницкий». В беллетристическом роде мною написано несколько мелких рассказов по разным изданиям; а также более крупные очерки «Овцебык»

(напечатан в «Оте⟨чественных⟩ зап⟨исках⟩»), «Леди Макбет Мценского уезда («Эпоха»), «Русское общество в Париже» («Библиотека для чт⟨ения⟩»), «Язвительный» («Якорь»), «История одного умопомешательства» и «Воительница» («Отеч⟨ественные⟩ зап⟨иски⟩»), народная повесть «Житие одной бабы» («Библ⟨иотека⟩ для чт⟨ения⟩»), роман «Некуда» («Библиотека для чт⟨ения⟩» и два отдельные издания), роман «Обойденные» («Отеч⟨ественные⟩ зап⟨иски⟩» и отдельное издание), повесть «Островитяне» («Отеч⟨ественные⟩ зап⟨иски⟩» и отдельное издание). Наконец, в марте этого года я начал печатать в «Отечественных же записках» романическую хронику «Чающие движения воды». Продолжение этого романа встретило препятствия, которых я не имею оснований скрывать от Литературного фонда, ибо с этим делом связана самая моя просьба.

Хроника «Чающие движения воды» мной была запродана в «Отечественные записки» в июле месяце прошлого, 1866 года, когда у меня была готова только одна первая часть. Продана она была покойному редактору «Отеч⟨ественных⟩ записок» Степану Семеновичу Дудышкину по восьмидесяти рублей серебром за печатный лист. Словесными условиями между нами было положено, что редакция «Отеч⟨ественных⟩ записок», пока я кончу роман, будет давать мне до нового года по 125 руб. в месяц, с тем что забранные мною деньги будут потом удержаны из моего гонорария. С. С. Дудышкин, как вам известно, в августе месяце прошлого года скончался. Внезапная кончина этого человека поставила меня в самые крайние затруднения, ибо я ничем никогда не договаривался с г. Краевским. В это время редактор «Всемирного труда» доктор Хан обратился ко мне с просьбою о сотрудничестве в открываемом тогда им журнале. Я благодарил доктора Хана за его внимание и отвечал ему, что моя работа и мое время принадлежат уже другому изданию. Затем мы с г. Краевским не умели поразуметься. Доктор Хан, известясь об этом по литературным слухам, прислал ко мне товарища моего Всеволода Крестовского и литератора Н. И. Соловьева с предложением внести за меня г. Краевскому весь мой долг и заплатить мне за роман «Чающие движения

воды» по 150 руб. за лист. Не соблазняясь ни на минуту выгодным для меня предложением, я не дал своего согласия доктору Хану, а написал об этом г. Краевскому, предоставляя это дело его великодушию. Г-н Краевский, сообразив сделанное мне предложение доктором Ханом, известил меня через товарища моего литератора Е. Ф. Зарина, что он предлагает мне за роман по сто рублей за лист. Как это ни было невыгодно для меня потерять по 50 р. на сорокалистном романе, но я отклонил предложение доктора Хана и продолжал роман для г. Краевского. В декабре 1866 года мы положили начать мой роман не с генваря, а с марта, так как я его еще не совсем окончил, а в руках редакции был роман г-жи Вельтман. В марте начали печатать мою хронику. Первые два куска первой части прошли благополучно. В третьем отрывке вдруг оказались сокращения, весьма невыгодные для достоинства романа. Мне, как и всем другим ближайшим сотрудникам журнала, было известно, кто сделал эти сокращения: их, келейным образом, производит в «Отечественных записках» один цензор и одно лицо Главного управления по делам печати. Этих чиновников г. Краевский уполномочил и просил воздерживать неофициальным образом его бесцензурный журнал от опасных, по его мнению, увлечений его сотрудников, и оба эти чиновника г. Краевскому не отказали в его просьбе. Все предназначаемое к печатанию в «Отеч⟨ественных⟩ записках» посылается по заведенному ныне в этой редакции порядку на их предварительный дружеский просмотр, и они в две руки делают произвольные и самые бесцеремонные сокращения, точно так же, как это бывало в доброе старое время при предварительной цензуре. В числе этих сокращений бывают такие, которые, не могут не приводить в ужас благонамеренного русского человека: таковы, например, известные нам, сотрудникам, сокращения замечательных статей о Прибалтийском крае. Это поистине сокращения такого обидного свойства, что никто бы не поверил, что их сделал русский человек; их мог сделать только заклятый враг русских интересов в Остзейском крае, барон-сепаратист или его форвальтер. Но, однако, их делали не остзейские бароны.

Упоминаю о сокращениях, которые претерпела названная мною статья, не без цели. Они показали мне, что́ может случиться со всякой печатной вещью, которые прежде своего появления в нынешних «Отечеств‹енных› записках» должны пройти через незримую, бесконтрольную предварительную цензуру упрошенных г. Краевским цензоров. Я сообщил г. Краевскому, что роман «Чающие движения воды» есть роман, задуманный по такому щекотливому плану, что с исполнением его нужно обходиться очень осторожно; что я имею в виду выставить нынешние типы и нынешние положения людей, *«чающих движения»* легального, мирного, тихого; но не желаю быть, не могу быть и не буду апологетом тех лиц и тех принципов и направлений, интересы которых дороги и милы секретным цензорам бесцензурного издания г. Краевского. Я написал ему (и мои товарищи и литературные друзья знают это), что я не могу стерпеть никаких произвольных сокращений в этом романе и что если сокращения действительно окажутся необходимыми, то я прошу сделать их не иначе, как только с моего согласия, с предоставлением мне возможности по крайней мере залатывать ямы, открываемые негласными цензорами. При этом я добавил твердо и решительно, что если такое мое законное требование не будет удовлетворено, — то вынужден буду прекратить продолжение романа. Г-н Краевский говорил об этом моем требовании литератору Зарину и другим, а характер моих предыдущих отношений к этому редактору не оставлял ему никакого права думать, что я не сдержу данного мною слова. Но, несмотря на все это, в первой же следующей книжке (2-й апрельской), когда эта книжка уже была отпечатана, сброшюрована и послана к одному из негласных цензоров, удерживающих бесцензурный журнал г. Краевского от увлечений, мой роман подвергся еще бо́льшим помаркам. В силу этих помарок одно из лиц романа (протоиерей Савелий, в особе которого, по моему плану, должна была высказаться «чающая движения» партия честного духовенства) вышло изуродованным. Об этих сокращениях мне не дали знать, как я просил. Напротив, их от меня скрыли и на-

чали перепечатывать и подверстывать книжку. Узнав об этом случайно, я простер мою просьбу о том, чтобы роман с сделанными сокращениями не печатали, а дозволили бы мне объясниться с цензуровавшим его негласным цензором, которого я надеялся разубедить в его опасениях за мое легкомыслие и вольнодумство. Не знаю и не ручаюсь, удалось ли бы мне достичь этого, но я надеялся, ибо и опытность и здравый смысл ручались, что вымаранные места совершенно позволительны. Но мне измаранной книжки не дали и объявили, что сокращения будут сделаны, ибо уже таков в «Отечествен⟨ных⟩ записках» порядок, и номер выйдет. Мне оставалось одно средство защищаться — заявить в какой-нибудь газете, что роман выходит не в том виде, в каком он сделан для печати, и что он вдобавок выходит в свет почти насильно, против моего желания. Я не хотел сделать такого литературного скандала г. Краевскому, ибо, вследствие некоторых особенностей нрава и обычаев этого почтенного редактора, такие скандалы для него уже не редкость; а для публики они только открывают язвы нашей и без того много раз компрометированной литературной семьи. Я ограничился одним исполнением моего обещания г. Краевскому, то есть не дал более присланному им человеку оригинала, и рукопись романа остается у меня, пока я оправлюсь, обдумаюсь и найдусь, что́ мне можно с ней сделать, после начала романа в «Отеч⟨ественных⟩ записках».

Возвращаюсь теперь назад к моей литературной деятельности.

По массе произведенных мною литературных работ, об объеме которых Литературному фонду нетрудно будет собрать сведения, Ваше превосходительство и члены Фонда, вероятно, изволите прийти к заключению, что я не гулял, а трудился, и трудился прилежно. Получал я гонорарий довольно хороший и, следовательно, мог бы перенесть нынешнюю беду мою. Но на мою долю, по несчастью, выпали самые странные и несчастливые случайности. Газета «Северная пчела» недодала мне *800* руб., мною заработанных; журнал «Эпоха», удовлетворив почти всех своих сотрудников, остался мне должен *150* р., «Библиотека для чтения» закрылась, оставшись

мне должною *4950* рублей, и все это раз за разом, одно за другим. Долг на «Северной пчеле» я считаю безнадежным и не ищу его на г. Усове, в добросовестность которого глубоко верю, г. Достоевский и г. Боборыкин мне выдали векселя, срок которым давно минул. Векселя своего на г. Достоевского я не представляю, потому что литератор этот нынче, как говорят, сам в затруднительных обстоятельствах; а долг свой с г. Боборыкина я получу только осенью этого года, когда имение его по претензии гг. Печаткиных будет продано с аукционного торга. До тех же пор, пока последует это несомненное, но отдаленное получение, мне буквально нечего есть; у меня нет средств работать новой работы, которая бы меня выручала из беды, в которую меня поставил г. Краевский; мне нечем заплатить полутораста руб. за дочь мою, обучающуюся в пансионе Криницкой, и я не могу отдать 200 руб. долгу г. Краевскому, — что меня стесняет до последней степени.

Утомленный тяжкою работою по сочинению ныне погибшего романа, я тотчас же по его прекращении не дал себе ни минуты отдыха и сел за окончание два года назад начатой драмы «Расточитель». Три акта этой пьесы готовы, — два остальные я надеюсь дописать к будущему сезону; в покупщике на нее в журнал не сомневаюсь, в допущении на сцену тоже; но угрожающая привычка питаться, от которой до сих пор меня не отучила жизнь русского литератора, заставляет меня, отложив листы сочиняемой драмы, писать на этом листе к Вашему превосходительству это письмо с просьбою помочь мне. Я прошу Литературный фонд обеспечить мне пять месяцев жизни, ссудив меня пятьюстами руб. серебром, которые обязываюсь заплатить к новому году с десятью процентами в пользу сумм Фонда. Средства для отдачи этого долга я имею: эти средства — моя драма и получение долга с боборыкинского имения, назначенного в продажу; средства же не умереть с голода и продолжать работу без такого пособия Фонда решительно не вижу.

Ваше превосходительство будете бесконечно милостивы, если предложите мою просьбу членам Фонда в одном из ближайших заседаний и изволите распоря-

диться почтить меня уведомлением о резолюции, какой она удостоится.

С высоким уважением к Вам имею честь быть вашего превосходительства покорнейшим слугою

Николай Лесков
(М. Стебницкий).

13
Е. П. КОВАЛЕВСКОМУ

26 мая 1867 г., Петербург.

Ваше превосходительство
Егор Петрович!

П. В. Анненков известил меня, что просьба моя о заимообразной ссуде из Литературного фонда удовлетворена не будет; но что комитет поручил г. Гаевскому посетить меня и осведомиться о моем положении, дабы потом подать мне некоторое безвозвратное вспоможение.

Не имея способности принимать от кого бы то ни было безвозвратных пособий, я тем более далек от желания получить их от членов русского литературного общества, которое отозвалось, что оно меня не знает и в кредите мне отказывает. Прошу Ваше превосходительство передать г. Гаевскому мою просьбу, чтобы он не утруждал себя посещением, которого я не приму; а просьбу мою о ссуде считать не требующею никаких последствий.

Я уверен, что Вы не изволите встретить препятствий к тому, чтобы о ходатайстве моем в отчетах Фонда не упоминалось даже намеком, и прошу Вас принять засвидетельствование моего отличного к вам почтения.

Н. Лесков
(М. Стебницкий).

1868

14

Н. Н. СТРАХОВУ

4 апреля 1868 г., Петербург.

Уважаемый Николай Николаевич!

Я слышал, что Вы работаете в «Журнале министерст⟨ва⟩ нар⟨одного⟩ просв⟨ещения⟩» — мне же совсем негде работать; а пока что путное напишется, нужно выполнять все три ненавистные привычки, то есть «буар, манже и сортир». — Если бы можно было, не похлопочете ли, ради сохранения меня от глада, присовокупить мне какую-нибудь работку?

Обращаюсь к Вам так бесправно и бесцеремонно, потому что знаю, что Вы не исключаете уместности пособлять собрату подобною услугою. Ведь просто приткнуться некуда тому, кто написал «Некуда».

Отпишите мне, будьте ласковы, что́ Вы об этом думаете? Я знаю, что Вы сделаете для меня, если пожелаете, и вопрос, стало быть, только в том: сможете ли что-нибудь сделать? — А потому я и не обижусь Вашим отказом.

Почитающий Вас

Лесков.

15

М. А. МАРКОВИЧ

9 апреля 1868 г., Петербург.

Милостивая государыня
Мария Александровна!

Назад тому около четырех лет П. С. Усов, оставшись мне должным за мою работу около 800 руб. (которых я не получил и до сих пор), просил меня принять в часть

уплаты его счет с Вами на 500 р., взятые Вами через Слепцова и Бенни под рассказ «Без рода и пл‹емени›» (которого Вы г. Усову не доставили до самого прекращения им «Сев‹ерной› пчелы»). Я вынужден был принять этот счет и выясняющую его Вашу переписку с г. Усовым. В течение четырех лет я старался не беспокоить Вас напоминанием об оказании с Вашей стороны содействия к окончанию этого старого расчета; но теперь я весьма нуждаюсь в деньгах и имею обязательства, которые не ждут; а Вы, — сколько я могу судить по достойному успеху Вашего последнего произведения, — вероятно, найдете очень мало затруднений поквитать хранящуюся у меня Вашу расписку на имя г. Усова.

Прошу Вас, Мария Александровна, почтить меня уведомлением: как Вам угодно будет окончить это дело? Вы бесконечно обяжете меня, если ответите на этот вопрос с возможной скоростью.

Ваш покорнейший слуга

Н. Лесков.

16

Н. А. ЛЮБИМОВУ

25 мая 1868 г., Петербург.

Милостивый государь
Николай Алексеевич!

Петр Карлович известил меня, что он передал Вам на Ваш просмотр и заключение мою небольшую рукопись: «Шпион. Эпизод из истории комического времени на Руси». По духу письма Петра Карловича я смею заключить, что вещь эта едва ли удостоится одобрения в «Р‹усском› вестнике» (что, конечно, будет мне очень и очень прискорбно, ибо я считаю ее и честной и далеко не безынтересной, а вдобавок ко всему не имею где ее и провести, если мне в этом Вами будет отказано).

Позвольте мне, прежде чем Вы произнесете Ваш отвергающий приговор, обратить Ваше внимание на то: 1) что все написанное в этой рукописи есть факты, за верность которых я отвечаю; 2) что Бенни жил со мною и доверялся мне более чем кому-либо; 3) что из всех

деятелей комической революции *он самый честный* и самый популярный; 4) что бумаги его хранятся; 5) что о «предпринимателях» пишутся беспрестанно повести и рассказы и что «Живая душа» Марка Вовчка еще не последняя из таковых, и 6) что я согласен на всякие ваши редакторские сокращения, поправки и перемены (кроме фактических перемен).

Будьте снисходительны и взвесьте все это, прежде чем напишете свое «неудобно к напечатанию». Я бьюсь из того, чтобы нанести удар «предприятиям» и восстановить доброе имя оклеветанного человека.

Если Вы удостоите меня ответом, я приму его за величайшее с Вашей стороны одолжение.

С почтением и преданностью имею честь быть Вашим покорным слугою

Н. Лесков.

17

М. А. МАРКОВИЧ

13 августа 1868 г., Петербург.

Милостивая государыня
Мария Александровна!

Благодарю Вас за ответ. Предвидя в этом деле спор, я себя устраняю от него и Ваш ответ со всеми счетами и распискою возвращаю г. Усову.

Ваш покорный слуга
Н. Лесков.

18

А. А. ФЕТУ

16 августа 1868 г., Петербург.

Милостивый государь
Афанасий Афанасьевич!

С 1869 года с С.-Петербурге будет издаваться журнал «Заря». Издавать и редактировать этот журнал будет Василий Владимирович Кашпирев (родственник по-

койного С. С. Дудышкина). Труды его по редакторству будут разделять: Н. Н. Страхов, В. П. Клюшников и я (Стебницкий). Журналу будет принадлежать сотрудничество всех лиц, принимавших участие в старых «Отеч⟨ественных⟩ зап⟨исках⟩», дудышкинского времени.

Принимая близкое и живейшее участие в судьбах нового журнала и очень любя Ваши сельские письма, я имею честь просить Вас не отказать нам в Вашем сотрудничестве. Прошу Вас почтить меня Вашим уведомлением: можем ли мы на Вас рассчитывать и заготовить для нас к ноябрю месяцу первую Вашу корреспонденцию, в которой бы желалось по возможности видеть *общий* очерк состояния помещичьих и крестьянских хозяйств в настоящее время. Затем следующие пусть имеют характер текущих хроник.

Если же у Вас есть какие-либо готовые для печати поэтические Ваши произведения, то не откажите сообщить и их.

Прошу Вас принять уверение в общем почтении всех нас, желающих Вашего сотрудничества в «Заре».

Ваш покорный слуга

Ник. Лесков.

1869

19

А. П. МИЛЮКОВУ

4 января 1869 г., Петербург.

Милостивый государь
Александр Петрович!

Некоею порою я знал в Петербурге некоего «неразгаданного человека» Артура Бенни. Он убит при Ментане, и его интереснейшая история, мною в свое время писанная, может быть оглашена. Это вещь пряная и забористая и, кажется, очень интересная. Шуму она может возбудить множество. Я ее хотел бы напечатать в газете, но с газетами петербургскими совсем не имею связей. Не хотите ли посмотреть эту вещь? Уведомьте меня, пожалуйста, да уж прибавьте и адрес, где Вас искать; а то я ночью был, да и позабыл. Мне же писать: «В городе, Николаю Семеновичу Лескову, Фурштатская, № 62».

Ваш покорнейший слуга
Н. Лесков.

20

П. К. ЩЕБАЛЬСКОМУ

25 января 1869 г., Петербург.

Уважаемый Петр Карлович!

Я послал к Вам свой очерк в простом конверте, наклеив, впрочем, большое количество марок. Поступил я таким образом во избежание толкотни на почте, а те-

перь трушу: дошел до Вас этот конверт? Не откажите мне сказать: получили ли Вы моих «Карликов», и если можно, прибавьте: когда Н. А. Любимов думает их напечатать?

Посылаю Вам свою карточку и надеюсь, что и Вы мне тем же заплатите. «Люди сороковых годов» до сих пор еще не вызвали о себе никаких отзывов. Все подобнсе, вероятно, еще впереди, когда роман более выяснится. На «Зарю» также никаких нападков нет, ни в обществе, ни в прессе. Критический разбор «Войны и мира», по-моему, чрезвычайно длинен и водянист и вообще изъясняет гораздо менее, чем Ваша сжатая заметка (с которою я не согласен в отношении внешности издания). Вас побранивают за сочувственный отзыв к книгам Кельсиева, и побранивают, конечно, совершенно неосновательно. Я нашел Ваш отзыв и прочитал его с большим удовольствием. Кельсиев точно немножко рисуется, но от этого книги его все-таки не утрачивают интереса, а судьба его не теряет права на внимание. Патти слышать невозможно: кресла доходят до 80 р., а по 20 р. платят стоять в проходах. Раек весь абонирован, и «стойка» в оркестре закуплена. Я, однако, с помощью знакомых артистов пробираюсь за кулисы и слушаю в сообществе театральных плотников. Патти, по-моему, несравненно хуже Лукки. Лукка душа и человеческий голос, а Патти — это *инструмент,* — правда страшный, звучный и прекрасный, но совершенно бездушный. У нее в горле точно серебряные струны, а одухотворения звука — никакого. *«Шампанское Патти»* гораздо доступнее, чем сама она, и потому оно идет с чрезвычайным успехом. Носятся слухи, что сбежавший редактор Тиблен «был видим» в Нью-Йорке, где он намеревался издать какую-то книгу о России. Редакторам, позволявшим себе полемизировать с «Вестью», на днях сделано внушение, что «такой тон нетерпим». Я это знаю достоверно. Распеканцию производил «наш общий друг», и редактора (не все, но двое) дали слово вперед с «Вестью» не схватываться. Замечательно, что «Новое время» таким покровительством не пользуется. Дожди и оттепель согнали весь снег, а теперь заморозило, и пути нет ни на санях, ни на колесах.

До свидания! Отпишите мне, пожалуйста, о «Карликах» и пришлите свою карточку.

Мирре Александровне и всему Вашему уважаемому семейству прошу передать мое глубочайшее почтение.

Ваш покорный слуга

Н. Лесков.

21

Н. А. ЛЮБИМОВУ

⟨Январь 1869 г., Петербург.⟩

Усердно Вас прошу, достоуважаемый Николай Алексеевич, черкнуть мне безотлагательно два слова: идут ли «Божедомы» в феврале? Если нет, то, бога ради, возвратите их мне, — иначе я в ужасном положении. Пожалуйста, напишите *скоро*. Я расстроен даже до болезни.

Н. Лесков.

1870

22
А. С. СУВОРИНУ

5 апреля 1870 г., Петербург.

Милостивый государь
Алексей Сергеевич!

Так как Вы будете вести завтра по моей просьбе переговоры с г. Стасюлевичем о литературном суде, которого я прошу себе в защиту от тяжкой клеветы, то я нахожу нужным добавить Вам кое-что к тому, что было сказано мною.

1) Скорый отъезд Ваш не помешает быть судьею с моей стороны, потому что срок для суда можно назначить на святой неделе.

2) Если же противная сторона затянет дело, то вместо Вас я изберу Александра Петровича Милюкова.

3) Если противная сторона вовсе не пойдет на литературный суд по моему вызову через «Пет⟨ербургские⟩ вед⟨омости⟩», то «Пет⟨ербургские⟩ вед⟨омости⟩» в крайний срок вызова благоволят напечатать, что согласия на литературное разбирательство не последовало.

4) Когда таким образом суд сделается невозможным, то я прошу г. Стасюлевича и Вас в сообществе Ал⟨ександра⟩ Петр⟨овича⟩ Милюкова и графа Алексея Константиновича Толстого учинить следующее:

а) Удостоить меня просмотреть рукопись романа «Божедомы», дабы Вы могли убедиться, что роман этот не имеет 60 листов, а заключается листах в 30—32. Приблизительно это Вам нетрудно будет сделать.

в) Проверить на выбор на любой странице: играют ли в романе какую-нибудь роль «плодомасовские

карлики» и может ли этот кусочек в $1^1/_2$ листа и по существу и по объему почитаться *«существенной частью»* романа, как лжесвидетельствовал на суде г. Клюшников.

с) Прочесть бумаги, которые я представлю, и по содержанию их (они официальные) решить: предосудительно ли было с точки зрения литературных нравов мое поведение по отношению к г. Кашпиреву и составляет ли оно во всей его совокупности нарушение обычаев, существующих в литературных кружках по сделкам между писателями и редакторами?

д) Обсудить на основании тех же бумаг: отвечают ли тяжкие притязания г. Кашпирева ко мне тем обычаям, которых держатся редакторы других изданий?

е) Так как у нас никаких «правил» для продажи литературных произведений в журналы в законах нет и суды в этих делах совершенно некомпетентны, то решить, *сколько видно по бумагам*, я ли нарушил договор и оскорбил литературный обычай, или это сделано противною стороною?

ф) Постановить, может ли все мое поведение в деле с этим романом *(насколько оно будет выяснено бумагами)* почитаться честным со стороны нравственной и неуклончивым со стороны обычая?

ж) Выдать мне в том, что Вы постановите (не выходя из вашего собрания), письменное удостоверение, которое дозволите мне напечатать в газетах и предъявить суду как свидетельство экспертов.

Это, как Вы сами, вероятно, согласитесь, мне весьма необходимо, и без всякой экспертизы перенос дела в другую Палату будет выстрелом в воздух. Отказать же мне в этом *единственном* способе оправдания в тягчайших оскорблениях обвинением в подмене рукописи и исторгнутии из романа «существенной части» — будет вопиющею жестокостью к человеку, и я уверен, что Вы не напрасно похлопочете склонить Михаила Михайловича Стасюлевича быть моим судьею, или экспертом, для опровержения лжеца, нагло объявившего «существенною частью» романа анекдотик, не имеющий с романом *никакой связи* и даже подлежащий изъятию в расчетах конкретности главной нити повести.

Простите, что я пишу кое-как и не переписываю. Извините моему раздраженному состоянию, с которым я не могу совладать.

Ваш слуга
Никол. Лесков.

P. S. Ответа буду ждать, считая минуты.

Не знакомы ли Вы с г. Скабичевским, и нельзя ли попросить и его, или это лишнее? Пожалуйста, подумайте за меня сами лучше. Может быть, не пригласить ли тогда г. Страхова?

23

Н. А. ЛЮБИМОВУ

18 ноября 1870 г., Петербург.

Милостивый государь
Николай Алексеевич!

Позавчера я прочел в печати начало своего романа и два дня нахожусь под невыносимейшим для меня впечатлением. Не могу скрыть от Вас (и единственно от Вас), что я никак не ожидал и не мог ожидать выхода своей работы в таком оконфуженном виде. Иначе я, конечно, ни за что и ни при каких обстоятельствах не согласился бы на столь жестокое с нею обхождение. То, что с нею сделано, для меня во все мое литераторство, слава богу, еще новость, но, к сожалению, новость столь безотрадная, что я не знаю: чем себя утешить и как поднять к работе мои упавшие руки? Убийственнее всего на меня действует то, что я не могу взять себе в толк причин произведенных в моем романе совсем уже не редакторских урезок и вредных для него изменений. Так: выпущены речи, положенные мною в основу развития характеров и задач (например, заботы Форовой привести мужа к богу); жестоко нивелирована типичность языка, замененная словами банального свойства (например, вместо: «не столько мяса поешь, сколько зуб расплюешь» заменено словом «растеряешь»); ослаблена рисовка лиц (например,

не позволено Висленеву чесать под коленом) и даже допущен nonsens[1] (разговор о законе, имевший смысл лишь после разговора о разводах — что выброшено совсем во вред). Без всякого неуместного «авторского самолюбия» не могу горестно не сетовать, зачем все это сделано и отчего мне не сказано, что с моею работою будут делать все это?.. Что теперь сотворить и как помочь этому великому для меня горю? Повторяю: у меня пали руки, я не знаю, чем поднять их к работе, — столь все это мне кажется жестоко и столь непривычно!

Крайне расстроенный и огорченный, я не нахожу даже слов, как уместнее выразить Вам мою просьбу помилосердствовать надо мною и не отнимать у меня средства окончить работу с уверенностью, что Вы не отвергаете во мне известной доли смысла и сознания для того, чтобы соображать материал моей постройки; но сделайте милость, не взыщите с меня за форму моего обращения к Вам и не отнимите у меня совсем руки от дела, дабы как-нибудь хотя одолеть поверье, что я при всем моем тяготении к уважаемой редакции «Р⟨усского⟩ в⟨естника⟩» должен отказать себе в удовольствии служить ей моими, должно быть мало пригодными, силами.

С совершеннейшим к Вам почтением имею честь быть

Вашим покорнейшим слугою.

Н. Лесков.

24

С. А. ЮРЬЕВУ

5 декабря 1870 г., Петербург.

Милостивый государь!

Вчера я имел удовольствие прочесть объявление об издании Вами «Беседы». Объявление это очень меня обрадовало: Вы обещаете журнал в духе, который найдет, конечно, сочувствие всех истинно русских людей. Не имея чести знать Вас лично (хотя и наслышан

---

[1] Нонсенс, бессмыслица *(англ.)*.

о Вас от А. Ф. Писемского и П. К. Щебальского), я спешу приветствовать Ваше предприятие и предлагаю Вам иметь в виду мою готовность служить Вашему изданию, если Вы того пожелаете. У меня есть оконченный роман, начинавшийся уже печатанием в «От⟨ечественных⟩ зап⟨исках⟩» и известный довольно многим по этому началу. Он называется «Божедомы». Герои его несколько необыкновенны, — они церковный причет идеального русского города. Сюжет романа, или, лучше сказать, «истории», есть борьба лучшего из этих героев с вредителями русского развития. Само собою разумеется, что ничего узкого, фанатического и рутинного здесь нет. Детали романа нравятся всем, и, между прочим, Мих. Ник. Каткову, но в общей идее он для некоторых взглядов требует изменений, которых, по-моему, он вовсе не требует. Задача и стремление этого сочинения выражены лучше всего словами Вашего заявления:

«Вселенская Христова истина, сохраненная во всей ее чистоте восточною православною церковью, была просветительницею русского народа с первых веков его истории: под влиянием ее сложились его духовный строй и существенные основы его быта. Мы, согласно истинному духу нашего вероисповедания, ожидаем от полноты братской любви и свободы — всей правды в русской жизни».

Вырезаю этот прекрасный текст и наклеиваю его.

Потрудитесь подумать: не соответствовало ли бы такое сочинение Вашим требованиям, и потрудитесь тоже написать мне пару слов в ответ на мое предложение.

Если Вам подобная работа нужна, то я захватил бы про всякий случай с собою рукопись «Божедомов», когда поеду в конце генваря к М. Н. Каткову, для свидания с ним по делам ныне печатаемого в «Р⟨усском⟩ в⟨естнике⟩» моего романа «На ножах». Я бы прочел Вам моих попов и очень бы рад был слышать им Вашу оценку.

С должным к Вам уважением и безмерным желанием успехов Вашему делу имею честь быть Вашим покорнейшим слугою.

Николай Лесков (Стебницкий).

Прилагаю при этом мою карточку и адрес.

25

С. А. ЮРЬЕВУ

18 декабря 1870 г., Петербург.

Милостивый государь.

Я вчера получил Ваше почтенное и необыкновенно приятное для меня письмо и сегодня же спешу отвечать Вам. Будьте милостивы, простите мне, что я пишу эти строки даже без условного форменного вступления. Не отнесите этого к чему бы то ни было, кроме желания отвечать Вам скоро, тогда как я не знаю Вашего имени и отчества и, по нездоровью моему, не могу видеть людей, у которых мог бы о них справиться. Надеюсь, что Вы меня простите и не осудите за это, тем более что источник моей нынешней поспешности есть именно то горячее сочувствие Вашему направлению, которое Вы не напрасно увидали в моих первых строках. Будем ли мы трудиться вместе или нет, я навсегда сохраню дорогой для меня Ваш отклик на мое письмо. Я действительно горячо сочувствую Вашему направлению; я верю в его святое и высокое значение; я чту достойнейших людей Вашей партии (чести которых, к досаде своей, не умаляют даже и предатели отчизны), и я всегда тяготел к Вашему стягу, но я вышел на литературную работу тогда, когда «Русская беседа» уже не существовала, а к газетной работе я мало способен. Весть о Вашем журнале — весть радостнейшая для меня, и я хочу и готов приложить все мои силы и все мое старание для того, чтобы по возможности содействовать успеху Вашего издания. Благодарю Вас, что Вы сами «зачли меня своим сотрудником» — я буду им со всеми моими способностями и любовью к нашему честному и святому влечению служить родине словом правды и истины. Благодарю Вас искренно, горячо, от всего моего простого и нестерпимо болящего за родину сердца!

Что же бы Вы хотели и что бы я мог сделать для Вашего издания так, чтобы участие мое принесло Вам как можно большее подспорье?.. Позвольте оговорить об этом. Я, конечно, очень сжато выразился, говоря Вам в первом моем письме о романе «Божедомы». *Продолжать* его нельзя, и его надо напечатать *весь сполна;* то

есть повторить прежде напечатанные 7 листов, дав их не в счет абонемента подписчиков, и потом продолжать. Само собою разумеется, что бывшие уже в печати 7 листов должны идти бесплатно, без всякого авторского гонорария, как и предполагалось сделать в «Русском вестнике». Таким образом, у Ваших читателей будет весь целый роман, или, как он у меня назван, «история лет временных», но прежде напечатанная доля этой истории пойдет Вашему изданию бесплатно, и Вы потратитесь лишь на излишние листы, если захотите дать это особым приложением (в чем, кажется, нет и необходимости потому, что Вы не связываете себя объемом книг). «Божедомы» готовы давно, но их все-таки нужно будет пересмотреть и кое-что поизменить, кое-что выкинуть, кое-что вставить. Я это сделаю, как немножечко пооблегчусь в работе с оканчиваемым мною романом для М. Н. Каткова, и тогда увидимся и переговорим. Если же угодно, то я пришлю Вам половину рукописи, но это только в том случае хорошо, если рукопись эта Вам нужна скорее, чем я могу быть в Москве (в феврале). Напишите мне, и я сделаю так, как Вам лучше.

Далее: пять лет тому назад по поводу толков «о призвании женщины» и кривотолков о русской женщине с верою и упованием, которые были осмеяны, мне пала в голову и в сердце неотвязная мысль изобразить в живом очерке: мешают ли эти злополучные вера и упования истинной свободе чувства и независимости женщины? В обдуманном плане я уложил целую эту идею в повесть, снабдив ее и кличкой по шерсти. Повесть эта должна быть названа: «Марфа и Мария». При этом библейском названии во главе повести идет и евангельский эпиграф: «Марфо, Марфо, печешися» и пр. Отсюда, я думаю, Вам уже понятно, что́ будет сказано в этой повести? Она еще не писана, но весть о Вашем журнале и особенно радушное письмо Ваше говорят мне, что ей пора писаться и поспевать к Вам. Не откажитесь мне ответить: нравится ли Вам мой замысел поделить наших современных соотечественниц на «Марф и Марий» и показать всю тщету их «марфунства» при несомненной ясности пути Марий? С получением Вашего ответа я немедленно начну повесть и надеюсь, что напишу ее

скоро с любовью и с желанием дебютировать в Вашей «Беседе» с достойной вещью.

И еще далее: я и еще могу и желаю служить Вам. У меня есть «влеченье, род недуга» считаться с общественным настроением и шарлатанством наших лицедеев, для чего так удобен род фельетонного писания, но, конечно, не такого, какой принят петербургскими газетами. В Москве этим вовсе пренебрегают, и совершенно напрасно. Припомните фельетонный пошиб Гейне и Герцена — какая это прекрасная форма и какая ловкая и удобная! Я не хвалюсь, что я могу сделать это так же, как они, но я много раз пробовал, и, кажется, моя попытка была не без удачи, — таковы некогда «Русские обществ⟨енные⟩ заметки» в «Биржевых ведомостях», где я искал случая восстать против пошлой радости по случаю предостережения, данного Каткову; некоторые статьи бывшей «Северной пчелы» против Герцена и «Русское общество в Париже» в «Библиотеке для чтения» Боборыкина. Я люблю между большою работою ловить мимолетный случай жизни, получающий ложное освещение и толкование, с тем чтобы дать ему освещение подлежащее и толк по разуму и по совести. В «Современной летописи» М. Н. Каткова Вы на сих днях увидите такие мои очерки, озаглавленные общим заголовком: «Смех и горе», которые будут подписаны вымышленным именем «Меркул Праотцев». Не хотите ли иметь от меня раз в месяц письмо о петербургской общественной жизни? Конечно, это будут письма не о балах, новостях и скандалах (о чем я мало и знаю), но это будет летопись заблуждений, ошибок, неправд и грехов общественного неразумия и злобы по делам якобы текущего дня. Я просил бы себе для этого в журнале от листа до двух в месяц, а там увидим, как будем нравиться. О том же, что мы сойдемся *во всех воззрениях*, я считаю излишним и говорить. Благоволите ответить мне и на этот вопрос, и если ответите скоро, то я, может быть, еще успею прислать Вам письмо для первой Вашей книжки.

Теперь о Вашем издании: здесь его ждут и говорят о нем — конечно, каждый по-своему. Преобладающее мнение то, что Вас «нахлопнут». Дай боже, чтобы эта беда Вас минула. Надо больше змеиной мудрости, больше! Потом: литературщики трубят, что Вы одни, без людей.

Надо бы вначале статей уважаемых людей вроде Ив. Серг. Аксакова, Юр. Самарина и других, которые с Вами заедино. Их статьи сразу окрасят издание и подсекут толки вредителей. Безмерно жаль, что Вы запоздали с Вашим объявлением, и дай бог, чтобы это было только с объявлением... Опыт «Вестника Европы» показывает, как много значит в нашем малоразборчивом обществе своевременность выхода книжек... Трудно поверить, до чего дорого ценит это провинция и особенно читатели захолустий! Пока он разберет, чтó ему прислали, он не нарадуется и не нахвастается, что ему *уже* прислали нечто.

Помогай Вам бог на все доброе и достойное Вас и Ваших благородных и благомыслящих родине друзей.

Ваш слуга
Николай Лесков.

Не откажите, пожалуйста, высылать мне экземпляр «Беседы», адресуя ее «в Петб., Ник. Семенов. Лескову, Фурштатская, № 62».

Не укажете ли мне в Петербурге лица, через которое я мог бы сноситься с редакциею, не вверяя рукописей легкой почте, при чем легко возможны потери и проч.

26

П. К. ЩЕБАЛЬСКОМУ

19 декабря 1870 г., Петербург.

Это прекрасно, достойнейший Петр Карлович, что Вас «учили писать письма». Я сам тоже очень рад, что обучен этому и беру еще уроки у Вас: говорю сначала о Ваших поручениях.

Письмо Ваше страдает неполностью, точно Любимов «приготовил его к печати». Я не вижу из него, получили ли Вы два мои письма, в которых я подробно описывал Вам причины незадачи с Вашими депешами и затруднение со статейкою. Мне будет очень жаль, если все это остается Вам неизвестным во всей курьезной полноте, несколько облегчающей меру вины Усова и Трубникова, которые затем уже могут быть названы только

свиньями, и то с значительными преимуществами на долю последнего. Усов виноват менее, хотя ему, разумеется, пора бы знать своего премудрого принципала и надо бы знать, что образованные люди обыкновенно отвечают на письма, как отвечают на вопросы в разговоре. Но черт с ними, в самом деле!

Я сегодня ездил с Вашим счетом, отдал его кассиру и просил поверить (как это у них водится) и высчитать, сколько Вам следует за корреспонденцию, пошедшую передовою статьею. Усова я сегодня не видал, а Трубникова предпочитаю не видать вовсе. Деньги Ваши или обяжу послать Вам немедленно, или же вытребую и сам Вам отошлю, разумеется тоже немедленно. При этом, конечно, не лишу себя удовольствия и поговорить об их вежливости и любезности к заслуживающему уважения человеку. На ближайших днях отпишу Вам об этом подробно. Не знаю, что из этого выйдет, но не думаю, чтобы они «не дорожили» Вашим сотрудничеством. Нет, это просто дурь и совершенное равнодушие к настоящим достоинствам дела. Я Вам писал об отзывах Усова и еще раз сожалею, что это письмо пропало. Я буду в начале речей «мудр яко змий и незлобив яко голубь», а там увижу: пойдут ли они на поправку, или пора с ними совсем расплеваться. Может быть, еще и пойдет дело!

Теперь о своей рубашке. Я совершенно согласен с тем, что́ Вы говорите о печатании повести в «Летописи». Это действительно будет меледа, а не печатание, и для меня гораздо лучше видеть ее в «Русском вестнике», но только не по окончании романа, ибо в повестушке той много вещей, имеющих интерес временный, да и потом роман при их делении не может кончиться ранее пяти или шести месяцев. Надо печатать повесть или в журнале с псевдонимом «Меркул Праотцев», или же в «Летописи» с моею настоящею фамилиею, но во всяком случае немедленно, не ожидая окончания романа. К тому же, если и печатать ее в «Р⟨усском⟩ в⟨естнике⟩» тотчас за романом, то не все ли равно будет тянуться мое имя? Нет, бога ради скорее! Там ли, сям ли, но скорее, а то она уж и так выдыхается, да и мне позарез нужны деньги, а их мне дают с крайнею осторожностью. Устройте, пожалуйста, повесть, как сами

заблагорассудите, но лишь бы она не лежала. Мне, конечно, лучше и приятнее видеть ее *со своим именем,* но и это предаю во власть Вашу. Об ней было столько переговоров, что я сам уже не нахожу удобным снова еще раз переговариваться, и все, что Вы с нею учините, приму то за благо и ни против чего спорить и прекословить не буду. (Я думаю, что ведь гонорарий одинаков что в «Летоп⟨иси⟩», что в журнале. Это тоже важно.) В повестушке в *начале,* кажется, надо бы кое-что сдвинуть, сконкретовать... Мне помнится, таково было и Ваше мнение, да и я то же думаю, но только прошу Вас не отказаться взять это дело на себя. Пожалуйста, возьмите ее к себе! Скромностью Н. А. Любимова Вы напрасно кичитесь (с его слов, разумеется). Это просто ужасный человек, Атилла, бич литературы!.. Он что же делает-с? — он черкает не рассуждения, не длинноты, а самую *суть фабулы!!* Он обворовал Ларису ни за что ни про что, и именно в ноябрьской книжке, в разговоре Форовой с Синтяниною у реки. Раз показано было, что «Лора роковая и скрывает в себе нечто, а может быть и ничто», — далее: старик генерал о ней говорит, что «ее, как калмыцкую лошадь, один калмык переупрямит», — это все нужные, необходимые ритурнели, и их нет, и зачем их нет, это один черт знает! И добро бы это были длинноты, — нет, это говорилось в кратчайших словах... То есть просто черт его знает, чего он хочет и из чего, из какого шиша я теперь сделаю эту Ларису? Отчаяние полное и бесконечное! Я готов бросить роман недописанным, потому что все равно боюсь, что сей профессор с его резвыми руками совсем меня спутает, и романа станет *нельзя свести с концом.* Я хотел ему было писать, да боюсь, то ли напишу, что следует. Ну, художник! ну, «приготовитель к печати!» Недаром Вы запугали всех людей, тяготеющих к Вам по своему направлению. Это спаси и сохрани господи злого татарина, а не только Ф. Берга, который дописывает свою повесть, но едва ли пойдет на любимовские пытки.

Потом, что за корректура! В разговоре попа о травах «алиела» вместо *«омела»*, «родилища» вместо *«родимца»*... Эко толково! И еще: поп на приглашение Висленева выпить вина говорит: я вина никакого.

— Ну, хересу, — просит Висленев.

— Ну, разве ксересу, — отвечает поп.

Этот *ксерес,* разумеется, не сдуру же был поставлен вместо *хересу,* а для выработки типичности в языке доброго Евангела, так г. Любимов и это изволили поправить!.. Ах, сказал бы я ему за это словцо, встретя его на улице, да боюсь не позабыть бы, пока встретимся, ибо он столь мил, хорош, и прочее, и прочее.

Помогите, ради бога, если чем можете подействовать на сего ужасного оператора!

Здесь романом заинтересованы очень сильно. Хотелось бы знать: как в Москве?

Вашего «Шишкова» прочел с удовольствием и интересом большим. Я, впрочем, всегда читаю все, что Вы пишете, и занимаюсь не одним «интересом», но и способом Вашего обращения с людьми и манерою писания, которую очень люблю. Сторонних отзывов пока еще не слыхал, ибо сижу дома и точу веретена, которые Любимов в свое время потщится позатупить.

Сегодня пишу ему несколько строк о распределении частей и не вхожу ни в какие иные объяснения, — боюсь быть «увлекательным».

От Юрьева вчера получил письмо не только радушнейшее, но даже лестное, — я не полагал, чтобы они меня так знали, как вижу из его письма. Я сегодня уже отвечал ему с благодарностью и полною готовностью служить им чем могу. Корреспонденции я, думаю, буду писать им, и потому нет нужды посылать никакого пробного письма.

Веру Петровну благодарю, что она читает мой роман. У нее такое удивительно четкое лицо, что я в жизнь мою не видал ничего подобного ее выражению, и думаю, что она должна видеть полтора аршина под землею. Будущей героине повести, которую завожу для «Беседы», подарю ее благородные черты, так как Любимов мне не позволил и живописать мою видящую под землею генеральшу.

Кланяюсь Вам, чтимый, уважаемый и преданно мною любимый Петр Карлович, и прошу Вас ждать от меня на сих днях и Ваши деньги и отчет о моих объяснениях.

Ваш слуга

Н. Лесков.

P. S. Нет; решил совсем не писать Любимову! Потрудитесь ему сказать одно, что я прошу обе книги второй части назначить *самостоятельными частями,* что совершенно необходимо после уничтожения им деления частей на книги, ибо 1-я книга II части (где изображен современный нигилистический Петербург) не должна сливаться со 2-ю книгою той же части.

Третью часть я тоже разбиваю на две, и роман таким образом выйдет в *пяти частях.*

Усердно Вас прошу передать это.

Н. Л.

1871

27

С. А. ЮРЬЕВУ

6 января 1871 г., Петербург.

Милостивый государь.
Сергий Андреевич!

Вы увлекли меня Вашим письмом до некоторой восторженности, под влиянием коей я написал Вам длинное письмо с целым рядом благожеланий искренних и предложений всяческих (может быть, наполовину вовсе неуместных). Теперь при свидании в Петербурге с Ал. Феофил. Писемским я имел случай узнать кое-что более о духе и направлении, которых Вы намерены держаться в Вашем журнале, и еще более радуюсь появлению этого издания, еще более единомыслю с ним и еще более ему сочувствую и желаю служить ему. О беллетристических работах мы поговорим с Вами при личном свидании, так как я около половины февраля рассчитываю быть в Москве, но мне хотелось бы и даже совершенно необходимо знать: по обычаю ли Вам мое предложение писем из Петербурга (смешанного полубеллетристического характера)? Я говорил об этих письмах с Алексеем Феофилактовичем, и он одобряет мой замысел для Вашего журнала, и, надеюсь, одобряет не из вежливости лишь и любезности. Пожалуйста, при свидании с ним потрудитесь решить, нужны ли Вам такие письма в размере от листа до полутора листа в месяц, и не откажите мне в удовольствии получить определительный ответ на этот вопрос.

Повесть для «Беседы» я заделал и, верно, предложу ее летом на Ваше обсуждение, а план ее сообщу Вам в

феврале. Название же повести будет, как я писал Вам, «Марфа и Мария». Если бы Вы пожелали объявить о ней (если будете это делать), то, конечно, с моей стороны никаких претензий против этого нет, потому что повесть эту я не предложу никому прежде Вас.

С глубочайшим сочувствием к Вашему делу и с почтением к Вам имею честь быть Вашим покорнейшим слугою.

Никол. Лесков.

P. S. В «Совр⟨еменной⟩ летописи» идет мой фельетонный рассказ. Пожалуйста, взгляните в него: он может дать понятие, что́ я могу «возделывать» в моих письмах. Письма я, переговорив с А. Ф., полагаю подписывать или буквами, или всем собственным моим именем, без новой маски.

28

П. К. ЩЕБАЛЬСКОМУ

14 января 1871 г., Петербург.

Вы, вероятно, уже знаете, достойнейший Петр Карлович, о беде, постигшей сообщенное мною сведение о св⟨ященнике⟩ Смирнове. Поистине понять не могу, что это такое может значить, и, прилагая при сем ответ на полученный мною запрос от редакции, усердно прошу Вас передать эти строки Михаилу Никифоровичу. Я жду ответов из Ревеля скоро и надеюсь восстановить правду сообщенных сведений, ибо ошибка здесь решительно невозможна.

Посылаю это на Ваше имя потому, что так мне кажется надежнее, а Вы, пожалуйста, на меня не сердитесь за это.

«Смех и горе» сконкретованы прекрасно. Если это Вы делали, то усердно благодарю Вас. Жаль, конечно, что все это дается по таким маленьким кусочкам. Нельзя ли, чтобы хоть следующий кусочек был целым

эпизодом московских похождений героя, то есть по старому делению глав до XX главы. Это было бы мне очень желательно.

Кроме того, земно Вам кланяюсь и прошу Вас неотступно вложить в уста голубого купидона несколько раз слова *«простенько, но мило»*. Так, я желаю, чтобы он, говоря о том, как устроил свою квартиру, сказал: «оно, конечно, простенько, но мило». То же самое он должен употребить, говоря о доме своей хозяйки, об исправленном им зонтике, о комнате Ватажкова и о том, как он, не имея настоящей наблюдательности, решился донесть на него «простенько, но мило». То же самое надо сделать и далее везде, где купидон подводит приятеля. Не откажитесь, пожалуйста, если только возможно, взять корректуру и добавить эти словечки в подлежащих местах по Вашему усмотрению.

О романе не хочется и говорить: Горданову не позволяют быть во фраке, когда он охуждает неуклюжий сак Базарова; корректура ужасная; получаю книги через две недели, между тем как другим присылали корректурные листы... Нет; видно уж не везет! Пишу далее, как сухой мерин борозду гоню, чтобы кончить, да и к стороне.

Про Вашего Сушкова заговорили. Слышал от литераторствующих цензоров, что «это уж слишком». В «Биржевых в⟨едомостях⟩» фельетонист процитировал Вашу статью и, по фельетонному обычаю, скрыл источники, но Красовский вообще стал у газетчиков притчей во языцех.

Ужасно скучаю, что не могу исправить Вам никакой службы и лишен удовольствия видеть Ваши строки, служившие мне доказательством Вашего лестного мне внимания.

Ваш покорный слуга
Н. Лесков.

P. S. Алексей Филатыч приезжал сюда кряхтеть и сетовал, сколь тягостно ему было получать деньги с К⟨ашпире⟩ва. «Главное дело, — говорит, — все это, братец, надо помнить, что есть у тебя вексель; надо его в срок протестовать; десять дней *грацыи спушшщать*...

ведь это все беспокойство!» Да и впрямь так, хотя едва ли это главное.

За роман меня в «Петерб‹ургских› ведом‹остях›» выругали, а впредь еще не того ожидаю. Подписка у всех прекрасная, кроме «Зари» и «Нивы», — тако глаголет Базунов. По отзывам «Летучей библиотеки», роман мой читается нарасхват и с азартом, даже превосходящим мои ожидания. Читают ли «Смех и горе»? Пожалуй, повестушка эта так и кокнет, как разбитое яйцо в яичницу, во всяком случае, впрочем, весьма почтенную и вкусную. Я думаю, по таким маленьким кусочкам невозможно читать, а потом забудется, да так и не прочтется.

Спеша успокоить редакцию, я тотчас же по получении сегодня их письма послал им депешу и сказал, что письмо следует. Получили ли они депешу? Прилагаю квитанцию.

29

П. К. ЩЕБАЛЬСКОМУ

2 февраля 1871 г., Петербург.

Достойнейший Петр Карлович!

В пополнение всех неудач со «Смехом и горем» в печатании этой повестушки начался перерыв. Вот уже в двух номерах ее нет, и я ничего не знаю о причинах этого смеха и горя с «Смехом и горем». Усердно прошу Вас, не осудите меня за назойливость и, пожалуйста, черкните мне два слова, как намерено начальство поступить с этою злополучною моею работою? Вы, конечно, поймете, как мне, рабочему человеку, нелегко все это видеть, сносить и не уметь помочь себе ничем?

Пожалуйста, пособите и не оставьте меня в неведении.

Трубников потерял и последнего профессора Предтеченского, а с ним и всех отцов церкви. Теперь он «проклят».

Ваш слуга
Н. Лесков.

Для «Беседы» не только начал, но даже *кончаю* работу и за то от них не получаю теперь ни слова. Работу сию, надеюсь, позволите прочесть Вам.

30

П. К. ЩЕБАЛЬСКОМУ

11 февраля 1871 г., Петербург.

Ваше превосходительство меня, чтителя своего, изволили уязвить напрасно, назвав меня «чадолюбивым отцом своих творений», тогда как я их чуть ли не как щенят закидываю (чего и не поставлю себе в похвалу, а наипаче в покор и порицание). Но зато и я смею на отместку «язвануть» Вас, уважаемый и достойнейший протектор мой, Петр Карлович. Вы писали мне, что «от Усова никакого письма не получали», — это так; но Вы прибавили, что «и не получите», — в этом Вы ошиблись. Не все, значит, делается и по-Вашему. Сегодня я был «у них», в камере, оставленной «отцами», и говорил с ними насчет книжки «Письма о Киеве» Максимовича, которую меня просят проблаговестить (чего, кажется, и от Вас ожидает Ваш ветхий деньми хранитель голенищ ярославлевых и дву тьму новейших динариев, пенязей и златниц, то есть М. П. Погодин, отправивший Вам экземпляр этой в самом деле интересной книжки). При разговоре со мною «они» заявили *удивление:* почему-де Щ⟨ебальский⟩ нам не хочет давать передовых статей? На удивление это я отвечал сугубым удивлением и умеренною нотациею, добавив при сем, что мне от Вас запрещено даже и говорить об этом. Усов был моими словами крайне переконфужен и просил меня «поправить это дело»; а я ответил, что не я его испортил и не мне его поправлять, ибо я тут и сам не на радостях, краснея за них перед человеком, достойным всякого почтения. Поговорили смачно. После того Усов спросил моего мнения: поправится ли дело, если он напишет Вам сознание своей вины и попросит о возобновлении сотрудничества? Я отвечал, что ни за что не ручаюсь, но извинение есть их долг перед Вами. Тут Усов вскочил и написал Вам извинение, которое я прочел: оно нескладно, но полно. Перестаньте, пожалуйста, сердиться

и пишите им! Теперь их редакция на Литейной, и я, ходя гулять, всегда могу заносить Вашу работу, и наблюдать за ней, и производить настояния и взыскания. От Т⟨рубникова⟩ же письма ждать нельзя, потому что он практиковать это рукомесло *конфузится*... (Это истина!) Ему гнусные ѣ досаждают, и зачем же его «изнурять», как героиню романа Писемского? Не вводите в искушение его милую застенчивость и преложите гнев на милость, по покаянному канону одного Павла Усова.

Роман Писемского жив, но, по-моему, похабные места можно бы к черту, и это делу бы не помешало. Что за радость такая гадость? При девушках читать невозможно, и я именно на этом и попался. Достоевский, надо полагать, изображает Платона Павлова, но, впрочем, все мы трое во многом сбились на одну мысль. Статьи «Беседы» мне не понравились. Вы правы — это, говоря по-гамлетовски, всё «слова, слова и слова». Особенно такова перепичканная всяким шпигом статья Юрьева. «Чесо ради трата сия миру бысть?» Подписка их у Базунова, однако, двинулась, но библиотеки на них ропщут, и «Летучая библиотека» (самая сильная) показывала мне письмо, подписанное Майковым, но содержащее «слова» и бестолковщину. Я ничего не понял... Жду Вашего ответа.

Лесков.

31

Г. БЕННИ

⟨4 марта 1871 г., Петербург.⟩

Господин пастор! Я близко знал и считал своим другом брата вашего Артура Бенни, бесчестно оклеветанного в Петербурге, и Вы, вероятно, знаете немножко о моей с ним приязни. Это чувство внушило мне мысль восстановить его поруганную честь подробным рассказом об его пребывании в России. Рассказ этот напечатан в прошлом году в одной из петербургских газет («Биржевые ведомости»). Он принес свою долю пользы, но и возбудил со стороны злонамеренных людей новые толки не в пользу покойного брата Вашего, и даже во

вред мне. Все это стало делом чести Вашего семейства и моей. Я решился вновь повторить печальную историю Артура, но уже не в газете, а отдельною брошюрою в десять листов, которая уже печатается и выйдет в свет без предварительной цензуры. Зная об этом моем намерении, Иван Сергеевич Тургенев написал мне письмо, в котором, одобряя мое «хорошее и честное» (по его словам) заступничество за поруганную память покойного Артура, обещал, тотчас по выходе этой брошюры, поддержать слова мои и, с своей стороны, запротестовать таким образом против укоризн, оскорбляющих неповинного члена Вашей семьи. Книгу мою я посвящу Вашей матушке и Вашему семейству, которое уважаю и люблю по Артуру. Не оставьте сообщить об этом уважаемой матери Вашей и соблаговолите известить меня о ее имени и согласии. В книге я предпошлю письмо к Вашей матушке. Если при всем этом Вы не откажетесь сделать мне какие-либо указания, нужные для моего сведения, или почтите меня строкою от Вас или от Вашей матушки — разумеется, строкою, властною содействовать восстановлению доброго имени Артура, — то, как бы ни коротка была эта строка, я дам ей самое почетное место в моей книге. Я считал бы это даже необходимым, дабы положить конец толкам, *кто* таков был А. Бенни, так как об этом до сих пор еще спорят и желают видеть в нем какого-то «Бениславского». Во всяком случае, позвольте надеяться, что вы удостоите это письмо мое ответом в самом непродолжительном времени.

Ваш, милостивый государь, покорный слуга

Н. Лесков.

32

А. С. СУВОРИНУ

5 марта 1871 г., Петербург.

«Коварный, но милый» благоприятель

Алексей Сергеевич!

Исполняя мое вчерашнее обещание, посылаю Вам четыре книжки «Русского вестника», в которых напечатаны две первые части моего романа. Прочтите, судите

и «ругайте», если добрая совесть Ваша укажет Вам, за что́ «ругать» следует. Посылаю тоже четыре № «Современной летописи», в коих напечатана другая моя литературная безделка. Ее в Петербурге «просмотрели» (то есть не заметили), а ее тоже стоит, может быть, «обругать», а может быть, и нет. Во всяком случае, пожалуйста, пробежите ее. Тут поставлено: («окончание»), но это ошибка — будет еще отрывка три или четыре.

О делах буду писать Вам завтра.

Ваш покорный слуга
Н. Лесков.

33
П. К. ЩЕБАЛЬСКОМУ

5 марта 1871 г., Петербург.

Уважаемый Петр Карлович!

Хотите ли Вы или не хотите, но Вы упорно заставляете меня не только чтить, но и любить Вас, как никого не любил с дней моей юности! Вы сделаете меня безмерно счастливым, если позволите мне хранить в моей душе это чувство, дающее мне прекрасные и высокие минуты. Ваше слово меня животворит, одушевляет и поддерживает. Благодарю Вас, и несказанно благодарю, за все, а наипаче за внимание к моим работам, за поощрение, за совет, за указания. После покойного Дудышкина ко мне никто так не относился, и я никогда этого не забуду. Я слаб, я, на горе мое, слишком болезненно все чувствую, и поддержка для меня так дорога, что Вы не можете себе этого представить!

Я вас послушаю и не буду выходить из провинции, насколько можно, хотя роман уже попорчен страхом черканья... То, что вы читаете (и чего я еще не читал), писано в Ревеле, до страха, нагнанного мне Любимовым. С тех пор я писал кое-как — лишь бы короче, лишь бы кончить, и перенес все мои симпатии на повесть,

которую привезу Юрьеву и которую попрошу позволения прежде прочесть у Вас. Ею я сам даже доволен.

Статьи Вашей о Миртове жду, но как «Р⟨усский⟩ в⟨естник⟩» ходит к нам по допотопной почте «на волах», то вот уже 2 часа 5-го марта, а Питер еще не получил февральской книжки.

Вы бы сказали об этом.

Я писал М⟨ихаилу⟩ Н⟨икифорови⟩чу, что Ив. С. Тургенев собрал 4-го ч⟨исла⟩ (то есть вчера) всех представителей искусства на вечер (у Демута). Я хотел об этом вечере написать в «Московских в⟨едомостях⟩», да не напишу, потому что неудобно. Собралось 160 человек. Буквально были все искусники: музыканты, певцы, литераторы, артисты (то есть актеры), живописцы и ваятели. Был квартет, были речи, играл Рубинштейн, — толковали *о соединении церквей* и, кажется, остановились в положении церковного же соединения. Выбрали комиссию по два человека от цеха (Анненкова, Боборыкина, Самойлова, Васильева, Рубинштейна, Балакирева, Зичи и Клодта). Пристойно все было до нельзя более. Пьяная компания не пошла на сходку, но тонкий задор был, хотя очень слегка. В следующий четверг снова положили собраться у того же Демута, и надеемся это продолжать, покуда выпросим себе «беседу», но не клуб. Почин этого дела оказался не за Тургеневым, а за Рубинштейном, Микешиным и Самойловым. Рубинштейн и Тургенев завтра уезжают, первый к Вам на концерт (до среды буд⟨ущей⟩ недели), а второй в Мценск. Новостей бездна, да всего не изобразишь в письме.

Будьте здоровы и вечно живы и юны Вашим прекрасным сердцем.

Ваш *Н. Лесков.*

P. S. Нельзя ли Вам сказать Любимову, чтобы он присылал мне роман из дефектовых листов в конверте по почте? Ведь это просто, и несносно не знать, что напечатано. Был ли у Вас некто Гойжевский? Я *должен был* дать ему рекомендацию к Вам.

34

А. С. СУВОРИНУ

20 марта 1871 г., Петербург.
Воскресенье.

Благодарю Вас, Алексей Сергеевич, за Ваше письмо и сохраню его, как доказательство, что я *никогда* в Вас не ошибался, считая Вас человеком, ищущим правды и любящим ее. О том, кто из нас грешит в выборе путей для этого искания, говорить долго (по-моему, Вы грешите более меня, нападая на таких людей, как Катков), но довольно того, что мы уже можем опять вести хотя литературные споры (в чем, однако, заслуга принадлежит мне, ибо я доказал, что я Вам вполне верю и уважаю Вас, несмотря на нашу разность во мнениях и даже на Ваши не совсем ловкие, надеюсь, нападки на мою совесть). Благодарю Вас за указания. Роман, конечно, с большими погрешностями, но в нем еще многое и не выяснено. Я не думаю, что мошенничество «непосредственно вытекло из нигилизма», и этого нет и не будет в моем романе. Я думаю и убежден, что *мошенничество примкнуло* к нигилизму, и именно в той самой мере, как оно примыкало и примыкает «к идеализму, к богословию» и к патриотизму. Я (может быть) связан кое-чем, что не мог провести этих параллелей, а они меня даже и занимали и намечены в плане романа. «Непосредственное же продолжение» нигилизма есть майор Форов — лицо, впрочем, наиболее потерпевшее от уступок, какие я должен был в нем сделать. Они простираются очень, очень далеко, и вширь, и вдоль, и вглубь... Но тем не менее *он* есть «продолжение» нигилизма, и я советую Вам терпеливо задержаться осуждениями, пока прочтете всю третью часть романа, где уяснится и Синтянина.

«Сочинения» нет. Разве Вы не знаете «литератора-ростовщика», служащего в полиции и пишущего в «Искре»? Разве Вам не известны его проделки с Кашеваровой и мн⟨огими⟩ др⟨угими⟩? Вы жмурите глаза, мой уважаемый противумышленник! Вы не свободны и партийны, гораздо более чем я, которого в этом укоряете. Я не мщу нигилизму за клевету мерзавцев и даже не соединяю их воедино в моей голове. Я имею в виду одно: преследование поганой страсти *приставать* к направлениям, не имея их в душе своей, и *паскудить*

все, к чему начнется это приставание. Нигилизм оказался в этом случае удобным в той же мере, как и «идеализм», как и «богословие», — в этом Вы правы. Но Вы не хотите правды... Вы укоряли меня за письма о Бенни, а Ив. С. Тургенев письмом ко мне признал эти письма «делом честным». Где же истина, и за кем беспристрастие? Беспристрастны ли Вы, придираясь к Каткову за его лицей? Конечно, я не могу видеть в этих нападках того беспристрастия, какое сам я обличаю в Форове, в моем уважении к Вам и во многом другом. «Ран», нанесенных мне мерзавцами, клеветавшими на меня, я не чувствую. Поверьте мне в этом! Да и что чувствовать? Неужто у меня нет друзей, или мне заперты двери честных домов, или мне негде помещать моих работ? Боже мой! Какой же вред они мне сделали? Кто же, зная меня, не знает, что я имею право быть назван человеком не глупым и честным? Затем, когда смерть сделает свое дело, все это получит новое освещение, и стыдно будет не моим детям, а детям тех, кого я по совести называю клеветниками и подлецами.

Да, я спокоен! Верьте мне, уважаемый недруг, что я не мщу никому и *гнушаюсь* мщения, а лишь ищу правды в жизни, и, может быть, не найду ее. Остальные части романа пришлю Вам (если хотите, у меня есть корректура всей 3-й части). Жму Вашу руку и еще раз благодарю Вас.

Никол. Лесков.

Я потерял Ваш адрес и не помню его.

Прилагаю Вам клочок, — не найдете ли в себе «беспристрастия» поговорить об этом.

35

С. А. ЮРЬЕВУ

31 марта 1871 г., Петербург.

Милостивый государь
Сергий Андреевич!

Зная Ваши недосуги, теперь уж совсем боюсь беспокоить Вас моими письмами, а между тем «грех воровать, да нельзя миновать». Я должен дать Семевскому

ответ о письмах Журавского и Нарышкина и потому усердно прошу Вас сказать мне: годны ли Вам эти письма, или они не имеют для Вас интереса? В последнем случае возвратите мне их, пожалуйста, по почте.

Прошу Вас принять уверение в моем почтении, с каковым имею честь быть Вашим покорнейшим слугою.

Никл. Лесков.

P. S. Статья «о свободе совести» меня очень заинтересовала. В публике здешней о журнале почти не знают или сторонятся его, повторяя с чужих слов: «серьезно и скучно». Как Вы хотите, а мне кажется, у Вас действительно очень большое преобладание серьезного, так сказать трактующего чтения перед живым и художественным. Может быть, это в Ваших целях, но это всегда обрезало успех изданий, державшихся такой программы, и надо желать, чтобы с Вашею «Беседою» сталось иначе. Надо же брать в расчет, что журнал выписывается для *всей семьи*, для целого дома, и половина Ваших читателей женщины... Эта вся ученость не в их вкусе; а их вкуса Вы не должны забывать, ибо иначе они Вам отомстят злее всяких литературных врагов.

Я не понимаю: зачем наши современные редакторы отменили старинное деление книги на два отдела? То было гораздо удобнее, и самый разнообразный читатель находил себе тогда подходящее чтение, да и редакции виднее было, чего куда надо привесить и примерить. Я бы непременно держался этой умной и удобной старины, столь соответствующей разности наших читателей в одном и том же семействе, где получается известный журнал.

Однако же простите за приятельскую откровенность.

Н. Леск.

P. S. Милюков написал повесть «Царская свадьба». (Это сватовство и кончина Марии Темрюковны.) Изучение старины большое и воспроизведено не худо. Сегодня вечером он читает эту вещь у меня при знатоках древнего

русского быта: Семевском и епископе Ефреме. Думаю, что Вам бы нелишнее взять этакую штуку, а ей и цена не с гору.

36

А. Ф. ПИСЕМСКОМУ

6 апреля 1871 г., Петербург.

Милостивый государь
Алексей Феофилактович!

Не мне писать вам похвальные листы и давать «книги в руки», но по нетерпячести своей не могу не крикнуть Вам, что Вы богатырь! Прочел я 3-ю книжку «Беседы»... молодчина Вы! Помимо мастерства, Вы никогда не достигали такой силы в работе. Это все из матерой бронзы; этому всему века не будет! Подвизайтесь и не гнушайтесь похвал «молодших людей», радующихся торжеству Ваших сил и желающих Вам бодрости и долгоденствия.

Ваш слуга
Н. Лесков-Стебницкий.

37

С. А. ЮРЬЕВУ

6 апреля 1871 г., Петербург.

Уважаемый Сергий Андреич!

(Простите, пожалуйста, что я не хочу Вас называть «милостивым государем».) Вот в чем дело: статья Майкова «Всеславянство» превосходна! Я начал ее читать с предубеждением и дочитал ее с восторгом. Точка зрения верная; развитие прекрасное; вывод благоразумнейший. Поздравляю Вас, ибо люблю Ваш журнал и Вас самих полюбил. О повести Милюкова мне уже не отвечайте, потому что ее берет Михаил Никифорович и я ее ему отдал, а насчет писем Журавского ответьте.

Бога ради, оживляйте Ваш журнал статьями и художественною мелочью, отвечающими требованиям легкого читателя! Недостаток таких вещей не проходит безнаказанно для финансовых средств издания, а это не вздор. Что делать? Надо мешать дело с бездельем — иначе «с ума сойдешь».

Что же нет у Вас писем о петербургском театре и о петербургской жизни — особенно о петербургской семье? Я жду этих вещей с нетерпением и отзовусь на них. Разлад нашей семьи — это такая тема, на которую можно и должно отозваться живым и сердечным словом. Зачем медлит Ваш ангажированный сотрудник? Этим можно за самую жилу затронуть общество. Подгоните-ка его, — полноте все только говорить «о матерьях важних». Разве жизнь дня сего тоже не важная материя?

Роман Писемского пытаются злословить, но, по-моему, он могучая и превосходная вещь. Силы Писемского еще никогда и ни в одном из его произведений не проявлялись с такою яркостью. Это положительно так. Что бы кто ни говорил, а всем злословиям не повалить одного Элпидифора Мартыныча с акушеркой. Могучая, могучая штука! Фигуры стоят как бронзовые: им века не будет.

Затем бог Вам в помощь и сочувствие всех добрых людей. Жму Вашу руку.

Лесков-Стебницкий.

P. S. Сейчас приехала к нам доктор медицины Варвара Александр⟨овна⟩ Кашеварова и говорит, что муж ее, профессор Руднев, подписался на «Беседу». Одобряю, но спрашиваю: почему так они выбрали «Беседу»? — А потому, отвечает, что статья Майкова это восторг, это прелесть, и т. д., и т. д.

Если находите удобным, передайте автору сии «восторги» прекрасной русской женщины, каковою имеет полное право называться докт. медиц. Кашеварова (которой капитальное изучение естественных наук не помешало любить Русь и теперь не мешает молиться за раннею обеднею у Знаменья о своих трудных больных). Нет, велик, велик наш бог земли русской!

Не потрудитесь ли Вы, благосердый Сергий Андреич, отменить московский обычай не отвечать на письма? Пожалуйста, попытайтесь: это совсем не так неудобно, как принято думать в Москве на всех ее стоячих прудах.

Еще раз: здоровья Вам и успехов.

Лесков.

38

П. К. ЩЕБАЛЬСКОМУ

8 апреля 1871 г., Петербург.

Благороднейший Петр Карлович!

Как было бы досадно думать, что Вы посудите обо мне по невежеству моему, а не своему благодушию? Когда мне нужда в Вас, так я что день строчу послания, а тут не тороплюсь сказать спасибо за Ваш привет, за Ваши большие одолжения в делах и за неоценимую ничем ласку Вашей благословенной и трижды благословенной семьи! Но я не виноват, а виноват во всем... Усов с Трубниковым. (Вот Вы и подивитесь, а дело именно так!) Штука в том, что я все Ваши поручения исполнил с надлежащею точностию и аккуратностию: 1) книжка Толстому отослана; 2) Базунову все передано; 3) Семевскому книга вручена, и произведен с ним надлежащий разговор; 4) в «Бирж⟨евых⟩ ведом⟨остях⟩» заметка о книге Вашей написана и отослана туда на третий день по приезде, и с тех пор до вчерашнего дня я ожидал ее появления в печати, льстя себя надеждою с нею вместе (то есть одновременно) отрапортовать Вам, что все порученное Вами мною исполнено в точности. Ожидание это было, конечно, довольно суетное: хотелось эффекта, но его не вышло, а вышло только некое невежество, удобосоединяемое с моралью басни о «дубе и свинье». Пожалуйста, простите мне и не подумайте, что и я, как оное животное, поевши желудя, «задрал от дуба рыло». Это было бы мне несносно противу Вас, редкого и превосходного человека, расположенностью которого я дорожу безмерно! Я проэффект-

ничался, и более ничего. Теперь ждать нечего, ибо когда я вчера по поводу некоторых затей был в редакции, то оказалось, что заметка моя о Вашей книге «затерялась» у нигилиста-корректора, и ее надо написать вновь, что уже и исполнено. Мих. Ив. Семевский сказал, что о Вашей книге в «Старине» *был* отзыв, но что Вы его, верно, просмотрели (то есть не заметили). Семевский сожалеет, что Вы его не застали, а он Вас, и все закончилось только визитами. Он полон к Вам и Вашим трудам наилучшего почтения. Статья Ваша в «Беседах» Об⟨щества⟩ л⟨юбителей⟩ р⟨оссийской⟩ с⟨ловесности⟩ очень замечена любителями литературы. Мне о ней с восторгом говорил, вероятно известный Вам, актер Ив. Фед. Горбунов, прибавлявший, что он «знал об этой статье ранее ее напечатания». Сочинения мои все собрал и отдал переплесть и потом пришлю Вам с надписями. Я хочу, чтобы в милом и ласковом доме Вашем был хороший экземпляр моих литературных работ. На сих днях ко мне обратился книгопродавец Ваганов с просьбою продать ему право на «Полное собрание» моих сочинений, — я отказал. По-моему, это еще рано и невыгодно для меня, до тех пор, пока будут напечатаны «Божедомы». Здесь я вошел с Михаилом Никифоровичем несколько в иной тон отношений. Не знаю, чему это приписать? Начальное внимание его ко мне, верно, кроется в столь зримой интриге моей в пользу классического образования — интриге непредосудительной и, смею думать, даже честной... Надо же было хоть один орган удержать в пользу этого вопроса, и тут мы, разумеется, «поинтриговали». Что делать? Но потом Мих⟨аил⟩ Никиф⟨орович⟩ верно нашел, что меня пустым мешком не били, и обласкал меня, как никогда не ласкивал. (А может быть, и тут не без Вас? Скажите-ка правду? Все доброе мне из Москвы идет через Вас.) Мы виделись до сих пор всякое утро и беседовали неторопливо втроем: то есть он, Болесл⟨ав⟩ Маркевич и я. Речи бывали разные, с касательством до имен живых людей. Я опять «поинтриговал» и зародил в Трубникове желание сблизиться с М⟨ихаилом⟩ Н⟨икифоровичем⟩, а Мих⟨аил⟩ Н⟨икифорович⟩ сам пожелал быть у него, и, наконец, завтра они должны увидеться, причем желательно, чтобы Мих⟨аил⟩

Ник⟨ифорович⟩ закрепил сего Константина не великого на нашу сторону, на которой он хотя и стоит, но шатается так, что его надо постоянно держать под локти. Я жажду, чтобы там очутилось влияние Болеслава и Ваше, и тогда и сам возьмусь опять, а «один в поле не воин». Надеюсь, хотя вся эта «интрига» — новость, которой Вы, пожалуй, подивитесь, а пожалуй, хоть посмеетесь.

Но «интригу» в сторону. Вчера Мих⟨аил⟩ Ник⟨ифорович⟩ за завтраком у того же Болеслава говорил, что ему «Р⟨усский⟩ в⟨естник⟩» в тягость и что он даже думал его бросить, ибо заниматься им ему самому некогда, а он стал «просто какой-то сборник, а не журнал». Я и Болесл⟨ав⟩ М⟨аркевич⟩ с этим вполне согласились, но возражали против мысли о закрытии, и Бол⟨еслав⟩ при этом сказал: «отдайте лучше нам». (Сие *«нам»* разумеется *«ему»*). М⟨ихаил⟩ Н⟨икифорович⟩ на это отвечал: «что ж, пожалуй». Этим акт и кончился, но не знаю, совсем он кончился и не возобновлялся ли без меня? Советую Вам подумать и поговорить о старом Вашем плане прежде с Миррою Александровною, а потом с Николаем Алексеевичем, ибо с ним вместе, кажется, это вероятнее, чем без него, так как это было бы против него. Во всяком случае, прошу Вас принять все это к сведению. Трудитесь-то Вы много, а надо бы труда посытнее, к чему аренда «Р⟨усского⟩ в⟨естника⟩» как нельзя более удобна и время к сему очевидно благопотребно. Мих⟨аил⟩ Н⟨икифорович⟩ поручил мне взять у Милюкова его «Государеву свадьбу». Я ее завтра возьму и пришлю Вам в редакционном пакете. О критиках я говорил и с Милюковым и с Мих⟨аилом⟩ Ник⟨ифоровичем⟩, который их тоже хочет, но дело в том, что Милюков занят и не обещает постоянных статей, а сказал, что напишет «что-нибудь получше». Все боятся всё Ваших порядков... Это возмутительно даже! Всех людей *отпугали*. Я говорил К⟨аткову⟩: «зачем искать критиков, когда у Вас есть Петр Карлыч?» и при этом указал на те достоинства Ваших рецензий, которые знаю, то есть на их спокойный тон, резонность и силу... М⟨ихаил⟩ Н⟨икифорович⟩ к этому даже прибавлял красок, но... но Вам, одним словом, нужно перестать мечтать, а надо *брать* «Русский вестник».

Теперь на остальную часть страницы прошу Вас наложить ладонь и читать uno solo.[1]

Я посылаю кусок романа «На ножах». Кусок живой и горячий, как парная кровь, но немножко непоследовательный. Непоследовательность эта, весьма не худо, впрочем, смазанная, происходит от необходимости восстановить характер отношений Форовой к нигилисту-мужу. Это все было безрассудно вымарано, а без этого *нет идеи* романа. Теперь это все восстановлено с лицом новой «умной дурочки» — попадьи, жены отца Евангела. Само собой разумеется, что здесь нельзя йоты переставлять, если не желать оставить роман без окончания, но есть еще и мелочи, к которым я прошу Вашего внимания и милосердия о мне, грешном, люте от оного сарацина страждущем.

«Умная дурочка» написана крайне тепло, с ее собственною плотью и с ее же языком, а не с моим и не с Николай Алексеевичевым. Она говорит прекрасно, когда *чувствует сердцем,* и преглупо, когда хочет быть «умною дамою». Такой случай есть у нее в разговоре с Форовым; она говорит: «я вас еще прежде видела, но только вы теперь в сертуке и в штанах, а тогда были в мундире и *в подштанах»*.

Ходатайствую перед Вами за эти «подштаны», — они необходимы, и, имея в виду, что Тургеневу позволялось писать «портки», а Павел Ив. Мельников вчера еще писал в «Р⟨усском⟩ в⟨естнике⟩» «порты», я уповаю, что сия просьба моя не особенна и дерзновенна! Ради бога, попросите Николая Алексеевича не стягивать «подштанов» с моего майора, тем более что эти «подштаны» вовсе не «портки» Тургенева и даже не «порты» Павла Иваныча, а просто летние военные рейтузы, которые попадья низводит до низкого звания «подштанов» единственно по своей наивности, а не по фривольности. Растолкуйте ему, ради Иисуса Христа, что это не цинизм (которого я сам не терплю), а это точно такое же невинное событие, как пресуществление Павлом Ивановичем «клестера» в «клистир» за обедом при четырех дамах, из коих ни одна сего казуса не сконфузилась, несмотря на то, что оратор особенно

[1] Наедине *(итал.)*.

напирал своим «клистиром» на Ахматову и даже «трегубил» о нем. Пожалуйста, спасите мне эти «подштаны». Читая утомляющие длинноты Мельникова, я начинаю думать, что я, должно быть, пользуюсь особенным рачением добрейшего Николая Алексеевича и потому так робко трясусь за судьбу майоровских «подштанов». Еще раз, не оставьте их Вашим заступлением.

Значит, опять не обошлось без просьбы, — ну и прекрасно!

Поручаю себя Вашей опеке, почтительнейше целую руку Мирры Александровны и кланяюсь большим поклоном всем барышням.

Если в письме что-нибудь нескладно, то Вы, пожалуйста, догадайтесь, а то «перечитать всей этой литературы» некогда, ибо два часа, и я лечу, лечу и лечу, чтобы отдать письмо в вокзале.

Ваш всей душой

Лесков.

P. S. От *силы* таланта Писемского я в восторге. Это бронзовые изваяния какие-то. Могуче написано. Не могу удержаться и пишу ему.

39

П. К. ЩЕБАЛЬСКОМУ

16 апреля 1871 г., Петербург.

Некоторая многосторонность Вашего письма, уважаемый Петр Карлович, требовала собрания некоторых сведений, прежде чем ответить. Я так и сделал и вот отвечаю Вам пунктуально:

1) Милюкову я прочел строки Вашего письма, касающиеся его критики и его повести. Он Вам ответит на все это сам и сегодня же.

2) Замеченная Вами действительно хорошая статья в «Заре» под буквами NN писана стародавним сотрудником «Русского вестника», ныне губернатором, Громекою!

3) Статьи моей о книге Общества любит⟨елей⟩ росс⟨ийской⟩ слов⟨есности⟩ в «Биржев⟨ых⟩ ведомостях»

вы не увидите, потому что Трубн⟨иков⟩ боится, что это «поссорит его с цензурою», с которою ему хочется дружить. Усов этим очень сконфужен.

4) Вместо того чтобы просить Краевского, я взял набор моей заметки из «Биржев⟨ых⟩ ведом⟨остей⟩» и отдал его Милюкову с просьбою включить в первый его библиографический отчет в «Голосе», где он постоянно ведет библиографию и журналистику. Все это исполнено вчера. Милюков обещался сделать это через неделю, а набор своей заметки я дал ему потому, что у него нет книги, да и этак короче.

5) На редакцию «Р⟨усского⟩ в⟨естника⟩» трудно не жаловаться, ибо сами же Вы видите, что приходится лепить, да и перелепливать тожде да к томужде, и ото всего этого не выходит ничего иного, кроме досады, охлаждения энергии, раздражения, упадка сил творчества и, наконец, фактических нелепостей и несообразностей, вроде тех, которые Вами усмотрены. Одним словом, я дописываю роман с досадою, с злостью и с раздражением, комкая все как попало, лишь бы исполнить программу. Может быть, я излишне впечатлителен, но тем не менее я ни гроша бы не стоил с меньшею впечатлительностью. Надо же было, кажется, пожалеть и эту впечатлительность, а не раздражать ее бестолковейшими хамскими приемами, после которых я чувствую только одно, что роману уже нельзя быть таким, каким я его задумал и вел в первой части. Он убил меня, этот «милый сердцем невежда», которому не понятно ни одно живое человеческое отношение. Мне не позабыть, как его ужасало, что Форов считает себя «нигилистом». Он думает, что можно заблуждаться все только в одну сторону... Да нет; уж лучше оставим и говорить про это! Не только кровь бросается в лицо, как у людей, а даже

Все кошки в негодованье
У меня вертятся в брюхе,

как у лохматого Атта-Троля. И еще: я даже и Вам не верю в Вашу искренность, когда Вы говорите, что это «ничего». Это «ничего» стоит того «ничего», которое говорят парни неопытным девушкам, вызывая их «ночку коротать — разговаривать». Это то «ничего», которое,

по пословице, «девок портит». Вы говорите: «это миф», — хорош миф, который дело портит и которого люди как черта боятся!

6) Статья Ваша, озаглавленная «Если бы», напечатана передовою статьею в страстную субботу 27 марта. Посылаю Вам ее вырезанную из «Бирж⟨евых⟩ в⟨едомостей⟩». Барышни, значит, просмотрели, что и вполне свойственно их блаженной юности.

7) Критиков, помимо Милюкова, не знаю, где искать. Между дудышкинскими людьми есть некто Зарин, но он не подойдет, а другие все боятся Николая Алексеевича. Вчера мы обедали у Палкина (мы собираемся обедать два раза в месяц: я, Милюков, Маркевич, Данилевский и еще человек пять единомыслящих), и я укорял Милюкова за небрежение зовом, а Гр. Данилевский и многие другие заговорили, что «при Любимове нельзя писать критик», и вот Вам все и разговоры! И это «миф»? Впрочем, Милюков напишет «о непроизводительности в современном искусстве» и пошлет статью Вам. Не знаю уж, ловко ли это? Впрочем, Маркевич находит, что «ничего», а я опять повторяю мужичью присказку, что «ничего» девок портит. Впрочем, моя хата с краю, и я буду только радоваться, если критики, наконец, появятся в «Р⟨усском⟩ в⟨естнике⟩». Катков обласкал Милюкова, и тот очарован Михайлом Никифоровичем, а М⟨ихаил⟩ Н⟨икифорович⟩ здесь все повторяет, что «Р⟨усскому⟩ в⟨естнику⟩» нужна критика. Поимейте-ка это в виду! Я же остаюсь при своем, что из всех способнейший человек к критике это Вы, и Милюков все-таки не принесет той пользы литературе, которую принесли бы Вы, если бы сами взялись за это дело.

8) «Смех и горе» в отдельном издании уже заказаны в типографии Каткова, и Лавров прислал мне два первых листа корректуры, но на том все и стало. Прошу Вас: узнайте, пожалуйста, что сей сон обозначает? «Смех и горе» и здесь возбуждает у всех большое сочувствие. Могу сказать, что ни одна моя работа не шла при таком полном внимании читателей, как эта, которую «миф» «Русского вестника» продержал год под столами, все норовил откатнуть ее ногой. Благодарю Вас за приятнейшее для меня желание Ваше видеть «Смех и горе» посвященным Вам. Ничего я не делал с таким

удовольствием, как делаю это посвящение Вам, моему просвещенному руководителю, моему сердечнейшему поощрителю и драгоценнейшему и после смерти Дудышкина ни с кем несравнимому моему литературному другу. (Не бойтесь этого последнего слова, — моя дружба почтительна и помнит границы всех очертаний.) Я Вам пришлю посвящение, которое не хочу ограничить одним упоминанием Вашего имени на титуле книги, а напишу Вам несколько строк, определяющих характер драгоценнейших чувств, Вами во мне зарожденных и воспитанных. Кроме того, я скажу в том письме и о «Смехе и горе», по поводу одного весьма неприятного мне явления; все видят его «смех» и хохочут, но никто не замечает его «горя». Это мне очень досадно, и я ли тут виноват, или же и тут опять «и смех и горе»? Я пришлю это письмо к Вам, с тем чтобы Вы его обсудили, обдумали и, поправив, дали бы тиснуть в типографии и прислали мне. Надеюсь, что Вы все это сделаете, а теперь пока спросите Лаврова: за чем же стало дело? и скажите, чтобы печатали не 1800 экземпл., как было говорено, а 2400, то есть по-ихнему ровно *два завода.* Книжники к этому поощряют, и я рискую издать издание большое. Кому бы доверить московскую продажу? Вы хвалите Кольчугина. Как бы с ним уладить это дело? Молвите при случае слово. Условия я прошу те, что и Вы.

9) С Семевским об экземпляре «Старины» переговорю «при случае», как Вы сами того требуете.

Теперь рапорт весь отрапортован.

Далее позвольте начать грубить Вашему превосходительству.

Ваш «виноград», наверное, никуда не годится: это в Вас,

...своеволием пылая,
Мятется юность молодая,
Опасных алча перемен.

У литературы есть своя «священная мерзость», которою мы весьма походим на жриц публичного разврата. Возьмите Вы и рассуждайте: почему бы уличной женщине не сделаться хорошею женщиной, если ее возьмет замуж честный работник? Ведь теоретики говорят, что она будет *женою,* но на деле она все-таки останется

виконтессой Дюшкуранс! Это верно и подтверждено самыми беспристрастными наблюдателями. То же и с литературой: Вы со всем Вашим умом заблуждаетесь, что, садя виноград, Вы уже и «не заглянули бы ни в газету, ни в журнал». Нет-с; этот «разврат», которому мы поработали в поте лица и в нытье мозга костей своих, не даст нам силы обречь себя на целомудренное молчание. Не быть из литератора вертоградарю, особенно же из литератора такого живого и чуткого, как Вы. Писемский вчера прислал мне большое и задушевнейшее письмо, в котором сетует за меня, что «нет руководящей критики», и потом говорит, что «путь наш тернист». Да; противный, гадкий, колкий и голодный путь:

Жизнь без надежд —
Тропа без цели,

а все-таки мы с него не должны сворачивать, ибо куда ни повернем, везде скиксуем и потянемся опять пошляться на своей поганой литературной улице, и это наше благо. Почему? а вот почему-с, по бывалым примерам. Ни из одного литературного человека хозяина не вышло и не выйдет, а тем паче сельского хозяина. Рожь и виноград (все равно) зреют не так, как наши мысли, и разочарования в них не менее, чем на нашем тернистом пути. У меня был отец, большой замечательный умник и дремучий семинарист, в которого, однако, влюбилась моя мать, чистокровная аристократка. Отец мой был близок к Рылееву и Бестужеву, попал на Кавказ, потом приехал в Орел, женился и при его невероятной наблюдательности и проницательности прослыл таким уголовным следователем, что его какие-то сверхъестественные способности прозорливости дали ему почет, и уважение, и все что Вы хотите, кроме денег, которыми его позабыли. Он рассердился, забредил, подобно Вам, полями и огородами, купил хутор и пошел гряды копать, но... неурожаи, дрязги мужичьи, грозы, падежи и прочие прелести, о которых мы позабываем, предаваясь буколистическим мечтаниям, так его выгладили, что из него в пять лет вышла дрязга, а потом он и умер, оставив кипы бумаг, состоявших из его переводов Квинта Горация Флакка и Ювенала, сделанных

им в те годы, когда матери нечем было ни платить за нас в училище, ни обувать наши ножонки (буквально). Второй пример есть Нестор Васильевич Кукольник, потом Степан Степанович Громека, которого вот, как видите, литературный разврат выводит из стен его губернаторского кабинета, где его никто не смеет обругать и облаять. Нет-с, равви мой благий, это Вы не дело затеваете, и Вам на этом не опочить! Ходит в народе глупая сказка, что будто бы три лекаря поспорили, что один глаза у себя вынет и потом вставит, другой еще что-то (не помню), а третий «утробу» вынет себе и назад вложит. Так и сделали и отдали вырезанное спрятать кухарке, а у той ночью крысы «утробу лекаря и съели». Баба в перепуге заменила эту утробу свиною, а лекарь ее себе вставил и начал жить, но только всю жизнь потом удивлялся, что «что́, говорит, я ни ем: всякие шоколады и фруктери, а все после г....ца хочется». Вот Вам подобие силы литературной жизни, к которой *тянет* и из губернаторских кабинетов, и потянет и из виноградника, и это еще благо, что этого «г....ца хочется», а то застой, коснение, измельчание. Почему измельчание? А потому, что хозяйничать хорошо или с хорошими и не малыми средствами, или со святым смирением мужика, а у Вас не может быть ни того, ни другого, и Вы скоро почувствуете тягость сугубую от сил неодолимых и от людей, имени человеческого не заслуживающих. Я это говорю не только с верою, но и с убеждением, которое не лжет мне, когда я думаю о Вас, о Вашей семье, счастье которой мне дорого и мило, и при этом припоминаю Русь такую, как я ее знаю от Черного моря до Белого и от Брод до Красного Яру. Нет; нет; хлопочите, берите виноградник, но не делайте бесповоротного шага от литературы, сколь бы она Вам сею порою ни опротивела. Опять и это вспомянется и поманится. А ко всему этому... (Христа ради, простите) у Вас дочери девушки, девушки милые, чудесные: за что это их-то прочь от людей и в виноградник? Ведь им *жить надо;* нужны люди, а не виноград. И далее... дальше все-таки Мирра Александровна станет заниматься тщательным хранением ножниц, которыми бабушки обрезывают пупочки внучатам, а в свободное время будет

вязать свивальники и обрубливать подгузочки из ваших выслуживших сроки рубах. Как же: ее тоже в виноградник? За что? Нет, это так не будет.

Л.

40

П. К. ЩЕБАЛЬСКОМУ

19 апреля 1871 г., Петербург.

Уважаемый Петр Карлович! Я получил Ваше письмо и корректуру в 12 часов, а в 2 часа уже отослал листы в Москву. Надеюсь, что они уже дошли до Ваших рук. Я сделал поправки по Вашему указанию, да они иначе и невозможны. Досадно, что все это было в своем месте в начале романа, равно как и характер Лоры там был заквашен, и вся эта закваска вылетела вон, а теперь надо ее вправлять, как выпавшую кишку. Предосадно! На Вас мне сердиться не за что, а все только надо благодарить. Вы во всем правы, и все Ваши замечания справедливы, и я их всегда беру к «милому сердцу», как говорят нежноголосые чехи. Спасибо Вам, благороднейший из знакомых мне и присных! Не знаю: как Вас благодарить за все незаслуженные знаки Вашего расположения? Авось жизнь недаром кладет это в мое сердце. Я очень рад; несказанно рад, что мне довелось узнать Вас и на себе испытать благое влияние Вашей очаровательной мягкости. Книги мои, наконец, готовы и сегодня же Вам посылаются. Пожалуйста, проштудируйте все мои силенки и скажите мне Ваше прямое мнение. Силы должны быть, но они как-то нестройно слагаются и крепнут медленно. Я чувствую, что я все шатался до самых «Божедомов». Напишите мне письмо обо мне, ни на волос не щадя меня. Я от Вас с радостью выслушаю самый суровый приговор, ибо я верю, что теперь с критическою вервой один человек — это Вы. Мне Ваши мнения очень дороги, и я Ваше письмо приплету к тому заветному экземпляру, который передам дочери. Напишите спрохвала (по мере чтения) несколько слов в охуждение и в одобрение каждой штуки,

которую прочтете. Это будет для меня дорогой подарок. Я ведь, работая восемь лет, еще ни одного слова критики не слыхал... Каково это? Писемский (спасибо ему) сетует об этом. Я бы, кажется, воззрился в себя и окреп бы скорее, если бы мне кто-нибудь помог советом и указанием рода моих сил и преимуществ и недостатков моей манеры и приема. Ради бога и любви моей и моей веры в Вас: не читайте моих сочинений без пользы для меня, а напишите в назидание мне критическую статью обо мне. Гр. Данилевский известил меня, что такая статья готовится в «Заре» Страховым, но я жажду Ваших советов, одобрений и порицаний. Будьте ко мне строги как возможно, но пособите мне уразуметь себя и не шататься. Напечатайте эту статью где хотите — хоть у Юрьева, если не в «Р⟨усском⟩ в⟨естнике⟩», где, впрочем, пора бы обо мне поговорить. Не отказывайтесь, что Вы не критик, — для меня Вы единственный полезный мне критик, и я, как милости слабым силам моим, прошу: поставьте меня к ставцу лицом... Не откажете же Вы мне в этом, если вправду верите, что на мне может лежать некоторая доля литературных надежд? Я доведу до ведома потомства, что я, слепо и зряче веруя в Вас, просил у Вас строгой себе критики, и, может быть, Вас позднейший критик укорит, если Вы мне в этом откажете. Успокойте меня и скажите, что я прочту о себе статью за Вашею подписью.

Теперь еще просьбы: в одном месте найдете в рукописи «Смеха и горя» описание комнаты генерала Перлова. Там у него есть «портрет царя Алексея Михайловича с указом». Припишите, пожалуйста, еще «в углу большой образ святого пророка Илии с обнаженным ножом и с подписью: «Ревнуя поревновах о вседержителе».

Посвящение и письмо для первой страницы пришлю Вам на сих днях (сегодня очень устал). Пожалуйста, когда увидите Лаврова, скажите ему, чтобы корректор вел счет главам наизново. Я делаю деления, а мне порядка цифр не видно, и я просто ставлю «глава».

И еще — остальное и последнее: попросите Любимова прислать мне в бандерольке избранные листы этой части, а то у меня нет следа, ибо набирается прямо с чернового. Пусть бы он велел это сделать тотчас.

Кланяюсь Вам и семейству Вашему большим обычаем.

Ваш докучатель

Н. Лесков.

Видел я на столе у К⟨аткова⟩ Вашу статью о конкордате. Это очень любопытно по тому, что я успел пробежать; но, значит, еще книжка не скоро, если Ваша статья путешествует в Питер. Кто же это кончит дело о «Р⟨усском⟩ в⟨естнике⟩»? А его можно бы, кажется, двинуть, и это, ей-право, было бы и веселее и сытнее виноградника.

Однако я совсем сплю, и поздоровь Вам боже на то же самое.

Ник. Лес.

41

П. К. ЩЕБАЛЬСКОМУ

22 апреля 1871 г., Петербург.

Вчера на вечерушке у князя Влад. П. Мещерского я и Гр. Данилевский снова попали под струи известного потока и поплыли по нем вместе с Михаилом Никифоровичем. Вы, конечно, догадываетесь, уважаемый Петр Карлович, что я хочу сообщить Вам нужные вести о «Вестнике». Дело в том, что М. Н. К⟨атков⟩ саморешительнейше говорил о критике, то есть о необходимости критического отдела для «Р⟨усского⟩ в⟨естника⟩», дабы «не оставлять его сборником безгласным и не давать развиваться на его счет успеху «Вестника Европы». Тут был и Милюков, и я, и Данилевский, и Мещерский. Все мы, разумеется, просили не дать заглохнуть журналу, и Мих⟨аил⟩ Никиф⟨орович⟩ «бе в дусе» и сказал, что он это решил и сделает, только давайте хороших статей. Тогда аз грешный восстал и рек, что статьи будут, ибо все мы о них станем заботиться, но что одного такого критика, который бы единою своею рукою пополнил целый критический отдел, нет, да и быть не может при нынешнем развитии издательства. Что, по-

моему, надо *всем* писать, кто к чему влеком и в чем чувствует себя в силах выразить слово, а дабы все эти статьи были проникнуты единством мысли и направления, должно, во-первых, чтобы все они были без подписей, а во-вторых, чтобы они шли через одни руки и дабы этот редактор группировал их и примирял их несогласия в частностях. Мих⟨аил⟩ Никиф⟨орович⟩ мой проект очень одобрил, и все другие были тоже на моей стороне. Мих⟨аил⟩ Ник⟨ифорович⟩ сказал: «пишите и отдавайте Бол⟨еславу⟩ Мих⟨айловичу⟩, пусть он собирает». Я опынился, выразив, что этак опять дело не пойдет, потому что речь не о лице, которое бы только *собирало,* а о таком, которое бы собирало и строило отдел, то есть редактировало статьи, причем я указал, как это делалось у Дудышкина в «Отеч⟨ественных⟩ зап⟨исках⟩», где в последнее время была последняя критика, которую писали *многие,* а редактировал один. Я сказал, что хорошо бы, если бы редакционные работы «Р⟨усского⟩ в⟨естника⟩» были разделены так, чтобы, например, Вы ведали самостоятельную критику и чтобы с работою этого сорта, в форме ли больших статей или в форме мелких библиографических заметок, люди относились прямо и непосредственно к Вам, — так, чтобы Вы были ответственный министр этого министерства. Мих⟨аил⟩ Н⟨икифорович⟩ это одобрил, особенно после того, как ему стали докладывать и выкладывать, что оно даже и непозволительно вести весь журнал одному человеку, да еще занятому не одним делом. Заключилось это почти буквально таким молением: «Дайте нам Щебальского, — пусть он будет у вас для критического отдела, и *мы все* станем работать и присылать ему свои критические наблюдения и будем искать хороших работ на стороне». Мих⟨аил⟩ Ник⟨ифорович⟩ отвечал: «Что ж?.. я очень рад, очень рад, пусть так будет». Я закрепил эту просьбу еще вопросом: будет ли это слово крепко и лепко? А граф Данилевский добавил, что «не напрасно бы работать, потому что при нынешнем положении никто не хочет посылать статей?» Мих⟨аил⟩ Н⟨икифорович⟩ *дал* слово нам, что будете с нами Вы, и уполномочил нас и самих работать и искать хороших критических работ, где только могут попадаться. Вот Вам обо всем этом отчет, как к сведению, так и к надлежащему, буде

пожелаете, руководству. Мы Вас просим и испрашиваем себе и у Вас самих и у «начальства», — потянитесь же и Вы к нам на наш призыв и тяготение. На этой неделе мы хотим устроить Михаилу Никиф⟨оровичу⟩ обед от горсти нас, литераторов московского уряда мыслей, и на этом обеде, благодаря его за все им сделанное, опять станем молиться и кучиться ему порадеть об поднятии совершенного упадка литературной критики и, наверное, еще заручимся его словом, которое он дает весьма, по-видимому, некрепко. Помогайте и сим способом и сами забирайте в руки гибнущую силу популярного еще до сих пор журнала. Хотелось бы верить, что Вы слова эти примете к сердцу и отзоветесь на них.

Теперь-с вот что: пожалуйста, пришлите мне те листки «Смеха и горя», которые я написал в Москве и вручил Вере Петровне с просьбой пришить их к тетради. Отделите их снова: я хочу еще кое-чем оснастить заключение.

Ваш *Н. Лесков.*

42

А. С. СУВОРИНУ

⟨Март — апрель 1871 г., Петербург.⟩

Роман Лескова (Стебницкого) «Божедомы», бывший предметом процесса между его автором и журналом «Заря», приобретен на сих днях «Русским вестником» и начнется в этом журнале тотчас по окончании романа «На ножах». Печатание этого романа покажет, сколь справедливы были претензии редакции «Зари» в отношении размеров этого романа, и даст возможность по достоинству оценить добросовестность и компетентность литературной экспертизы г. Клюшникова, утверждавшего перед судом, что крохотный кусок этого романа, «Плодомасовские карлики», напечатанные в «Рус⟨ском⟩ вестнике», составляет *существенную часть* «Божедомов». Зачем бы, кажется, в таком случае «Русскому вестнику» приобретать остальные двадцать листов, когда все существенное, по мнению литератора Клюшни-

кова, было уже в том одном листе, на котором напечатаны «Карлики», — эпизод, рассказанный одним из лиц романа на пирушке?

Подивитесь сей странной добросовестности, столь нагло и дерзко скованной на суде! Не скажешь же, что к одному нигилизму пристают мерзавцы и что в нем одном они возможны! Это прохитное дрянцо, которого я же выписал и втер в редакцию, а оно так неосторожно стремилось доказать свою «преданность и уважение, и уважение и преданность».

Страхов был несравнимо честнее и *отказался* дать такое свидетельство, что и послужило началом к возникшему потом охлаждению между ним и редакцией... Вот каких, государь мой, имеем у себя сподвижников!

〈Без подписи.〉

43

П. К. ЩЕБАЛЬСКОМУ

7 мая 1871 г., Петербург.

Уважаемый Петр Карлович, здравствуйте! Во-первых, я скучаю, давно и давно не получая от Вас ни одной милой для меня строчки. Порою думаю: не рассердились ли Вы на меня за что-нибудь и не перестали ли любить меня понемножечку, но потом отказываюсь этому верить, потому что не знаю тому никакого повода. Не докучил ли я Вам своими письмами да комиссиями? Это легко быть может, однако и в этом случае будьте долготерпеливы и многомилостивы, ибо мне без Ваших милостей нельзя обходиться. (Хороша причина и обстоятельство!) Посылаю Вам всё, то есть переделанный конец «Смеха и горя» и *посвящение* Вам этой книги *с письмом к Вам, назначаемым для печати* во главе книжки, вместо предисловия. Учините, бесценный благодетель мой, следующие распоряжения и настояния.

1) Велите набрать и конец повести и письмо и в корректурах просмотрите, и то и другое с полномочием от меня выпустить или приписать, где что-нибудь найдете

необходимым, но ради бога не доводите этого опять до Михаила Никифоровича, потому что при его теперешней сосредоточенности на другом предмете и при его недугах это того и гляди что заляжет в длинный ящик, или снова явится перерыв или затяжка, как с Вашею статьею о конкордате. Теперь я видел, как это бывает и как трудно этому быть иначе. Лучше сами больше выпустите, если найдете нужным, но не взносите, пожалуйста, на апелляцию.

2) Само собою разумеется, что все это касается только повести, где я, однако, *непременно* прошу сберечь конец, то есть не самые последние строки, которые могут быть и не быть, а рассказ о том, как Ватажкова высекли в Одессе, и *главное,* его заключительное письмо ко мне о моей ссоре с немцами. Это ставлю conditio sine qua non.[1]

3) Письмо же к Вам, посылаемое почти без просмотра, ибо очень спешу, прошу Вас выправить, обдумавши его со многих сторон, и уже по Вашей выправке велеть тиснуть и прислать мне тот оттиск.

4) Равно прошу Вас сказать Лаврову, что я *всегда* на другой же день возвращаю корректуры и у меня ничего не задерживается. А если что не получается, то это, значит, пропало на почте.

5) Прошу г. Лаврова набрать, тиснуть и прислать мне сбертку по прилагаемому оригиналу и на такой бумаге, какую он намерен мне поставить. Я же прилагаю образчик вышедшей на сих днях книги Сарсе (изд. Гиероглифова) и заявляю желание, чтобы моя книжка была как можно более похожа на эту. Бумага дикого цвета скучна, и на ней этикет не так ярко кричит, как на желтой.

6) Надеюсь, что «Смех и горе» вы покончите теперь не более как за два приема, то есть кроме того, что уже, вероятно, приготовлено к следующему № (10 мая), останется на один номер. Пожалуйста, попротежируйте, чтобы не тянули и чтобы Лавров тоже не медлил. Вы знаете, какая большая разница выпустить книгу в мае, когда люди разъезжаются по деревням и дачам, или в июне, когда уже никого нет в городе.

---

[1] Непременным условием *(лат.).*

7) (Экая бессовестность, уже *седьмое!*) При случае устройте *800* экземпляров «Смеха и горя» *Вашему книгопродавцу Кольчугину совершенно на тех же условиях,* на каких Вы признаете удобным доверять ему Ваши издания. Что он на это скажет и как с ним надо написать условие? Я буду в Москве проездом в Киев в июле, но это надо сделать ранее, чтобы вся московская порция книги поступила к нему, как только выйдет из типографии. Пусть бы он мне написал, если он письменнее петербургских редакторов Кашпирева и Трубникова, имеющих свои понятия о вежливости и об английских королевах.

Затем что же еще? Как нахальные гости, обглодав кости, тотчас берутся за шапки и идут спать, так и я: навалил Вам три короба просьб, рекомендуюсь Вашим слугой и почитателем и этой не стоящей монетой расплачиваюсь за Ваши обязательнейшие одолжения. Впрочем, нечего более и делать и нечего сообщать. Все мы здесь поделались такими учеными, что только и речей что про образование, и уж леший знает, когда эта скука окончится? Однако порадую Вас и прогрессом: на сих днях узнаете о новом законе, по которому сослуживцы капитана Постельникова получают право входа в новые суды и имеют по-старому право участвовать в следствиях и по-новому даже производить их сами. Слышано сие из источника верного (от князя Мещерского и Бориса Обухова). Как не радоваться таким сюрпризам? «Принц голландский» по осмотре его с разных сторон, говорят, не годится. На мой взгляд, он тоже не авантажен. Я думал, что уж плоше короля Неаполитанского (похож на лакея) ничего нет хуже, но этот «голландский» превзошел мои ожидания. Имеет, однако, какое-то *фамильное* сходство с фельетонистом «Голоса» г-ном Нилом Адмирари, но как Вы таких больших людей не знаете, то, стало быть, Вам это все равно что ничего, да оно и действительно ничего. Будьте храбры и здоровы.

Н. Лесков.

Нельзя ли напомнить ее сиятельству Вере Петровне, что она со мною «не по поступкам поступает», я ее

карточку раскрасил, а она мне вместо другой шиш под нос.

Позвольте также осведомиться: получили ли Вы мои бессмертные творения?

44
А. Ф. ПИСЕМСКОМУ

17 мая 1871 г., Петербург.

Благодарю Вас покорно, достоуважаемый Алексей Феофилактович, за Ваши строки, за выраженное в них доброжелательство ко мне, и всего усерднее благодарю Вас за высокое и превысокое наслаждение, доставляемое мне «Водоворотом». Я прочел вчера IV кн. «Беседы» и совсем в восторге от романа, и в восторге не экзальтационном, а прочном и сознательном. Во-первых, характеры поражают верностью и последовательностью развития; во-вторых, рисовка артистическая; в третьих, экономия соблюдена с такою строгостию, что роман выходит совсем образцовый. (Это лучшее ваше произведение.) А наипаче всего радуюсь, что... «орлу обновишася крыла и юность его».

Зачем Вы жалуетесь на «склон своих дней», когда Вы еще так сильны и молоды душою и воображением? Это нехорошая у нас, у русских, привычка. Диккенс умер 73-х лет, пишучи роман, а мы чуть совершили пять десятков, сейчас и записываемся в «склон». Зачем это? Правда, что в нашей сторонушке нестройно живется и потому человек ранее оттрепывается, но все-таки Вы еще романист на всем знойном зените Ваших сил, и я молю бога поддержать в Вас эту мощь и мастерство поистине образцовое.

Роман Ваш вообще публике нравится, но, конечно, имеет и хулителей, но и их нападки (очень грубые) направлены против одного, что «очень-де нескромно и цинично». Вот Вам здешние толки о Вас, передаваемые со всею искренностью и прямотою. Я относительно «скороми» имею свои мнения и не почитатель ее. По-моему, она имеет для автора то неудобство, что дает на него

лишний повод накидываться, а читателя немножечко ярит и сбивает чересчур на известный лад, но «у всякого барона своя фантазия», а что эти осудители говорят по поводу «Водоворота», то это вздор, ибо, за исключением сцены в Роше де Конкаль и глагола «ты ее изнурил», остальное нимало не шокирует. Сцена же родов так целомудренно прекрасна, что в ней «виден бог в своем творении», и ее надо ставить рядом со сценою родов сына Домби у Диккенса. Это просто грандиозно, и на такой-то цинизм помогай Вам бог, что бы кто ни ворчал и ни шипел от безвкусия, мелкой злобы или безделья.

Засим примите, пожалуйста, еще раз мою благодарность и почтение глубокое и искреннее. Посылаю Вам мою карточку и прошу прислать мне Вашу с вашею надписью. Поклон мой низкий Катерине Павловне, вашему сыну и Б. Н. Алмазову.

Н. Лесков-Стебницкий.

P. S. От Юрьева нельзя добиться ответов. Я дал ему переписку Журавского и до сих пор не знаю: нужна она им или нет?

45
П. К. ЩЕБАЛЬСКОМУ

17 мая 1871 г., Петербург.

Получив Ваше письмо от 14 мая, я тотчас же принялся за то, чтобы выполнить Ваши указания, уважаемый Петр Карлович, — и вот Вам отчет по пунктам.

1) Адрес Милюкова (Александра Петровича) — Офицерская улица, д. Китнера, кв. № 5.

2) Милюков вполне согласен с Вами, что в журнале критика должна исходить от редакции, а не от одного лица, и будет присылать статьи, заготовленные таким именно образом и не подписанные. А что до меня, то я признаю это даже необходимым, по всем тем соображениям, какие имеете Вы, и еще по другим, моим собственным, весьма и весьма, по-моему, важным. Тут

важно уже одно то, что исчезает во всяком случае стеснительное авторское самолюбие, то есть исчезает в значительной мере, если не совсем, а я имею слабость думать, что Вам придется с статьями порядочно хозяйничать.

3) Рецензии, конечно, уже совсем не годится подписывать, да это и нигде не делается.

4) Обо мне, как об авторе, Милюков Вам напишет, хотя он теперь очень болен — его на старости щелкнул пострел в поясницу, и он не может разогнуться и сидит, как кикимора.

5) Милюков и я просим письма к Базунову о выдаче нам для прочтения новостей книжных под наши расписки. Это так здесь принято, да иначе нельзя, ибо невозможно покупать всех выходящих книг на свои деньги. Книга может стоить 3—5 руб., а напишешь о ней на полтинник. Лучше их брать и возвращать, по доверию редакции (конечно, если это не встретит препятствий).

6) С Мещерским увижусь в среду, но он в пятницу уезжает, и во все лето на него вряд ли можно рассчитывать.

7) Маркевичу все скажу завтра же, но я не знаю, он станет ли писать рецензии.

8) Мы рассчитываем на Данилевского, который на перо весьма боек. Впрочем, Вы вообще не беспокойтесь, — это дело пойдет.

9) Я *могу* писать рецензии, много их писал и чувствую любовь к этому занятию. Скажу более: не попал бы я более всех в Ваш тон и в манеру, так как на последнее я «обезьяну съел».

10) Желаем знать: нужны ли обзоры журналов? В таком случае я взял бы на себя *нигилистические,* то есть «Дело» и «От⟨ечественные⟩ зап⟨иски⟩» и сумел бы обходиться с ними смехом.

11) Семевского видел и имел случай спросить. Экземпляр посылается *лично* Вам.

12) О «Записках Общ⟨ества⟩ люб⟨ителей⟩ р⟨оссийской⟩ сл⟨овесности⟩» Милюков написал в «Голос» (вклеил мою заметку), но Краевский не пропустил, как кажется, по настоянию Феоктистова (а может быть, это и не так).

13) У Семевского будет отзыв об этой книге, которую он при мне же и взял у Базунова.

14) Катков уезжает послезавтра и едва ли совсем довольный делом. Толстой не умел этого ни поставить, ни провести, и вообще он не мастер орудовать.

15) Удивляюсь, что Вы не получили книг, которые Вам бог весть когда посланы! Дело в том, что Базунов соскряжничал и, вместо того чтобы послать тючок по почте, как я просил, спровадил его Соловьеву в магазин, где книги, вероятно, и вылеживаются. Пожалуйста, зайдите и справьтесь и получите или напишите. Ужасно досадно! А я уж так и пишу Любимову, что Вы *знаете* мои работы... Пожалуйста, справьтесь, что же это за притча еще?

16) О «Божедомах» жду Ваших строк и непременно ими воспользуюсь.

17) Кстати о «Божедомах»: я предложил Кашпиреву получить свои деньги с меня или прямо из редакции по моей доверенности по напечатании «Божедомов». Прилагаю Ваше письмо посредника наших отношений. Из этого письма Вы увидите, что́ тре́бует Калатузов. Само собой разумеется, я не хочу впутывать в эту дрязгу К⟨атко⟩ва (да он на это и не пойдет), но нельзя ли чего-нибудь сделать для этих... Я бы почитал удобным получить за подписом Дюбука письмо, в котором бы значилось, что вследствие-де моего заявления об уплате из причитающегося мне гонорария *1900* р. (насчитали проценты, расходы, и пр., и пр.) сумма эта по напечатании романа «Божедомы» может быть выдана Кашпиреву по представлении им на то моего согласия. Посудите с Николаем Алексеевичем — нельзя ли меня таким образом развязать с этим тягостнейшим делом?

18) Трубников совсем обремизился и *никому* не платит! Я ездил, ездил за 54 рублями, да нахожу, что уж себе дороже стоит путешествовать, а вчера ко мне пришел растерянный Усов. Труб⟨ников⟩ его отставил по неимению средств платить, и бедняк *без гроша и без работы.* Я просил у Мих⟨аила⟩ Н⟨икифоровича⟩ предоставить ему торговые корреспонденции, в чем Усов знаток. М⟨ихаил⟩ Н⟨икифорович⟩ обещал *непременно* дать мне ответ, но Усов, не дожидая этого ответа, пошлет пробные работы в редакцию, но на Ваше имя.

Он надеется, что Вы ближе многих других примете к сердцу его тяжелую долю и поможете ему поступить на экзамен. Я ему сказал, что он надеется на Вас не понапрасну, и он «дерзает». Ради бога пособите: он добрый человек и очень, очень несчастлив, по милости этого плута Т⟨рубнико⟩ва.

19) Не должен ли Вам чего-нибудь этот бездельник? В таком разе пришлите мне, пожалуйста, особую записочку, — я с ним справлюсь.

20) Комаров открывает газету с осени, ежедневную, по 12 р. Лист будет средней величины. Приглашает меня и Милюкова.

21) Где Вы изволите жить в Московской губернии?

22) Прошу Вас доложить ее сиятельству Вере Петровне два слова: «Благодарю, не ожидал».

Кажется, все отрапортовал? Теперь и до свидания.

Ваш *Лесков.*

46

П. К. ЩЕБАЛЬСКОМУ

26 мая 1871. СПб.

Очень рад, что книги мои, наконец, доехали до Вас, уважаемый Петр Карлович. Они, по моим справкам, получены в Москве Соловьевым 21 апреля, — значит «немножко пролежали». Теперь зато читайте их и, зная, что Вы сами пожелали их иметь, имейте в виду слова того хохла, который купил себе очень горькую редьку и, евши ее, со слезами говорил: «бачили очи, що куповали, топерь ешьте же». Без шуток, я очень хочу, чтобы Вы знали мои литературные шатательства и помогли бы мне понять себя и стать на мою дорогу, а для этого нужно, чтобы Вы меня прочитали. В этих «бессмертных творениях» вся моя литература, кроме еще одной книжечки, которая должна выйти на сих днях и которую я тотчас же пошлю Вам, с просьбою замолвить о ней где-нибудь подходящее словечко. Заметка моя о «Чтении в Об⟨ществе⟩ л⟨юбителей⟩ р⟨оссийской⟩ слов⟨есности⟩», наконец, вчера появилася под чужим флагом,

то есть в конце фельетона Милюкова. Имея в виду, что Вы, живучи теперь где-то в безвестных палестинах, пожалуй, не знаете, что происходит у нас, европейцев, посылаю Вам клок, оторванный от органа Андрея Краевского.

Корректуры «Смеха и горя» шлются ужасно медленно. Я просто в отчаяние прихожу от этого толстого Михаила Николаевича. Ради бога, подшпорьте его! Замечаниями Вашими непременно воспользуюсь, но сожалею, что Вы сами не прибавили того, что находили нужным. Ведь я же вас просил не церемониться. В конце июня будем видеться: я поеду к братьям в Киев и тогда с радостью все выслушаю и восприму все, что касается «Божедомов». Я сам рад с ними возиться и знаю, что это, может быть, единственная моя вещь, которая найдет себе место в истории нашей литературы.

«Ножами» здесь стали даже *очень* довольны. Милюкова видел сегодня, но до получения Вашего письма. Он все еще болен и едет проветриться в Варшаву к дочери, а оттуда в Москву, чтобы видеться с Вами и войти в ближайшие консидерации с редакцией «Р⟨усского⟩ в⟨естника⟩» (что и должно послужить новым опровержением Вашего мнения, что сия редакция есть «миф»). До осени все будут отлынивать, а не один Маркевич, но с августа должно, кажется, начаться действо. Один лишь Мещерский вряд ли будет писать — он страшно разобиделся на «миф» за самовластие с его «митральезой», из коей будто бы выстрелили не полным его зарядом. Не говорю об этом ничего более и не сужу, кто прав, кто виноват, но только он сказал, что ни за что «им» строки более не даст. Я обнаружил в этом деле часть отличающих Вас дарований соглашения и извинял редакцию ее ей одной, может быть, известными соображениями, а также сказал шамбеляну Болеславу, чтобы они с своей стороны поуспокоили княжеский гнев. Мещерского всегда жаль потерять. И что это, однако, за манера самовластничать?

Самовластительный злодей!
Тебя, твой род я ненавижу;
Твою погибель, смерть детей,
Я с злобной радостию вижу,
и т. п., и т. п.

Одним словом, это очень досадно, если Мещерского непременно придется потерять! (Хотя, впрочем, я, судя по рассказам, думаю, что редакция, блюдя единство направления, не могла печатать того, что она исключила, — но надобно было об этом *списаться,* а не трах-тарарах! да и херь во всю рукопись.)

Семевскому напишу сегодня же, чтобы он надписывал Ваши экземпляры.

Вчера был у меня Усов. Он кое к чему уже приютился, но все-таки дорожит и торговыми корреспонденциями «Моск⟨овских⟩ вед⟨омостей⟩», а я его рекомендовал Михаилу Никифоровичу как человека самого сведущего, честного и аккуратного, и М⟨ихаил⟩ Н⟨икифорович⟩ был не прочь. Теперь же Усов говорит, что он уже послал первую корреспонденцию на Ваше имя. Черкните, пожалуйста, мне о судьбе этого писания, сего злополучного изгнанника трубниковского «биржевого сквера», где все птицы поют по своему голосу. — Насчет «серьезных» разбирателей Дарвина покорно Вас благодарю и даже обижаюсь. Я думал, что Вы о нас имеете более верные понятия.

Храни Вас бог от мух и блох.

Н. Лесков.

47

П. К. ЩЕБАЛЬСКОМУ

5 июня 1871 г., Петербург.

Благодарю Вас, дорогой Петр Карлович, за память и желание знать обо мне. Я только вчера поставил точку под 5-ю частью «Ножей» и послал их Любимову. До этого события я не давал себе никакой льготы и в эту пеклую жарищу все пер и пер, как осел. Не знаю, чтó уж там и вышло! Последняя 6-я часть вся написана и переписана. Она опять сделана очень тщательно: я много пыхтел над сценами убийства и народными сценами на похоронах, и они мне удались. Шестую часть везу с собой, чтобы еще раз перечитать ее в Киеве, ибо теперь голова моя не понимает ровно ничего, кроме же-

ления отдыха, который дай бог начать с свидания с Вами, мой благороднейший доброжелатель и благодетель. Я выезжаю в Киев 7-го числа с почт⟨овым⟩ поезд⟨ом⟩, а 8-го утром должен быть в Москве, где только сложу мой саквояж в редакции да условлюсь с Лавровым относительно счетов, и затем в тот же самый день, то есть 8-го числа, в четверг, буду спешить в Балашово с нетерпением видеть Вас и Ваше милое семейство. Поистине судьба будет милостива, даруя мне возможность так, а не иначе начать мое путешествие после труда, сделавшегося просто несносным!

Милюкова нет и следа. Где бы это он пропадал?

«Смеха и горя» здесь продано *все*, что прислано, то есть 200 экз⟨емпляров⟩.

Новая работа задумана как раз в этом же роде, и я к ней рвусь с жадностью. Это будут «Чертовы куклы», — все будет о женщинах. В приеме намерен подражать «Серапионовым братьям» Гофмана. Все это мне нравится, и мы поговоримте, и Вы мне посоветуете.

До свидания!

Ваш всей душой

Н. Лесков.

48

П. К. ЩЕБАЛЬСКОМУ

8 июня 1871 г., Петербург.

Достойнейший Петр Карлович!

Благодарю Вас за Ваше письмо, хотя оно повергло меня в бездну недоумения: когда это Вы изволите диспарироваться во Псков? Это бы надо знать, потому что мне, конечно, надо Вас видеть в оба мои проезда через Москву, а так можно устроиться, что в оба и не увидишь. Вас вообще давненько стало нужно укорить некоторого рода растерянностью, благодаря которой я не знаю ни того, где Вы живете, ни того, получаете ли мои эпистолы, ни того, наконец, когда Вы уезжаете, но надо все это отнести за счет Вашей летней резиденции, где Вы там ее основали и бродите небось до упаду да мечтаете... К Вам вчера поехал Александр Петрович

Милюков, и он-то где-то просверлил носом щелку и увидал, что Вы будто живете в Мытищах, где он и намерен Вас изловить. Письмо Ваше я получил получасом позже того, как у меня был Милюков, а вчера я ездил на железную дорогу, чтобы предупредить его, что Вы собираетесь во Псков, но все глаза проглядел, а его не видал. Так он и понесся, значит, на «уру» — увидит Вас, так увидит, а не увидит, так, посетив Мытищи, получит право говорить, что он «был в Риме и не видал папы». Между тем как он едет наудачу, я так же точно шлю это письмо к Вам, с одним лишь желанием получить от Вас известие: где Вы и когда уезжаете? Если я не получу скоро ответа, то буду считать, что Вы уже, значит, укатили. Но про всякий случай пишу Вам неизменный мой ответ насчет «Божедомов». Дьякон положительно не должен быть пьян перед сценою на огороде — это мой недосмотр или, лучше сказать, забывчивость: я давно решил это зачеркнуть и поставить, что *он пил чай* за своей беседой, а не водку. Прошу Вас это сделать за меня. Дневник Туберозова, может быть, и объемист, но он нежно любим публикою и весьма почитается. Я уполномочиваю Вас, однако, сделать в нем те сокращения, какие Вы признаете полезными, но непременно Вашей рукою, осторожною и доброжелательною. Термосесова и других лиц выпускать признаю невозможным, но на некоторые сокращения опять-таки даю Вам полное доверие. А что касается до недостатка хороших людей на смену Туберозову, Захарии, Ахилле и Николаю Афанасьевичу, то и этим делать нечего, и сколько бы я ни хотел угодить почтенной любви Вашей к хорошим людям, не могу их обрести на нынешнем переломе в духовенстве русской церкви. Изображенные мною типы суть типы консервативные, а что́ дает нынешняя прогрессирующая церковь, того я не знаю и боюсь ошибиться. Разве бы пересадить туда Евангела, но это значило бы повториться. Хроника же такая, как «Божедомы», должна быть строго верна правде дня, и я возмущаюсь против Вас, мой благороднейший руководитель, и желаю оставить дело на том, что «Старогородской поповке ударил час всеобщего обновления». Как это будет обновление церкви с Дмитрием Толстым на крестовом шнурке, того мое художественное чутье не

берется предсказать мне, и Вы, простирая такое требование, мне кажется, погрешаете, стесняя свободу художественного чувства. Я не враг церкви, а ее друг, или более: я покорный и преданный ее сын и уверенный православный — я не хочу ее опорочить; я ей желаю честного прогресса от коснения, в которое она впала, задавленная государственностью, но в новом колене слуг алтаря я не вижу «попов великих», а знаю в лучших из них только рационалистов, то есть нигилистов духовного сана. Что же я стану пророчествовать? Туберозов умер с верою в лучшее; Вы живете с этой верою; я точно так же верю, и по вере нашей нам и дается; но что это и «как будет сие»? — про то я не знаю и говорить не могу. Впрочем, побеседуемте: я так верю Вам и так люблю «Божедомов», что готов всегда еще и еще с ними повозиться. Все, что Вы говорите о моей памяти, это правда. Я всегда, задумывая план, беру не в меру широко и хочу обнять целые миры и тем себе врежу. Спасибо Вам за все, и наипаче за обычай говорить со мною с уверенностью, что я люблю Ваше слово и ценю его. Жду ответа.

Н. Лесков.

49

М. Н. КАТКОВУ(?)

21 июля 1871 г., Петербург. *Ночью.*

Пишу Вам у князя Влад⟨имира⟩ Петровича Мещерского, имея перед собою гранку стенограммы «Правительственного вестника» о заседании суда по нечаевскому делу 21-го июля. Столбец этот (доставленный Гр. Данилевским) заключает в себе следующую вымарку, сделанную Эссеном (в речи *Черкезова,* — не Черкесова).

После слов «Мы должны уничтожить, стереть с лица земли лиц особенно вредных при начале движения» *вымарано:* «Опасными могли бы быть те люди, опыт, знание и таланты которых всем известны: такие люди находятся у нас в военном ведомстве, как, например: Тотлебен, Черняев и т. п. Но не этих людей хочет уничтожить

«Народная расправа», а бывшего министра вн⟨утренних⟩ дел Валуева; настоящего министра Тимашева, шефа жандармов генерала Мезенцева, петербургского обер-полицеймейстера и, наконец, пресловутого Каткова. *Устранение* этих лиц могло бы мотивировать и тем, что в руках их находится высылка административным путем; они могут делать распоряжения об обысках и арестах; г. Мезенцев заведует деморализующим шпионством, и, наконец, Катков, деятельность которого известна и о котором нельзя ничего другого сказать, как то, что выразил о нем Герцен в своих письмах к русскому путешественнику: «Это публичный мужчина в России».

Ниже через шесть строк опять вымарка в шесть же строк, где указывается на авторитет Герцена и «Незнакомца «Петербургских ведомостей».

К этому новости:

1) *Флоринский* получил приглашение быть народным учителем разом в пять школ.

2) *Орлов* на поезде в Петергоф и в самом Петергофе удостоился восторженных оваций.

3) Для *Дементьевой* идет подписка *на приданое.*

4) Гр. Пален прибыл 18-го числа, но в должность не вступал. Он страшно огорчен поведением Любимова и Половцева и *плачет*, а в министерстве объявили, что он увольняется и завтра едет в Петергоф с просьбой об отставке. — Князь Вл⟨адимир⟩ Петр⟨ович⟩, однако, имеет соображения, что это кончится ничем.

5) Шувалов тяжко болен приливом крови к почкам и потерял употребление языка (пишу со слов Шебеко).

6) Вся публика, присутствующая на суде, переписана, и оказалось, что *все* эти лица — шайка единомышленных подсудимым. Вчера несколько человек из этих господ потребовали, чтобы вывели четырех человек, назвав их шпионами III отделения, которые будто бы подбивали их сделать демонстрацию. Пристава это исполнили (со слов Гр. Данилевского).

7) При речи Спасовича две дамы сидели за судейскими столами. Председатель этого не возбранил.

Н. Лесков.

50
П. К. ЩЕБАЛЬСКОМУ

7 октября 1871 г., Петербург.

Я давно собирался писать Вам, уважаемый Петр Карлович, да все откладывал, поджидая вначале домолвок к недомолвкам Мещерского, а потом начал сам собираться в Москву (и скоро приеду). Мещ⟨ерский⟩ давно, то есть месяца два, говорил при мне с Ф. Тютчевым о Вашем труде по истории Екатерины и о неудачах, Вами встреченных, для окончательного посвящения себя этой достойной Вас работе. Сожалели об этом все, кто тут случились, и пошла речь о том, что Вам, кажется, можно бы не покидать дела и совершить его на положении свободного художника, то есть без тех казенных пособий, которых Вы искали. Не помню: не был ли тут и Гр. Данилевский, но кажется, что нет. Говорили много, конечно всё с сочувствием к Вам, и я, как человек простой, просто и молвил, что все-де сочувствия этому человеку слышать приятно, но укорять его за нежелание взяться за работу на правах вольного мастера не следует, потому что Петр Карлович этого сделать не может. А почему не может — про то опять пошли речи, в коих я еще раз наблюдал, как трудно вельблуду лезть сквозь игольное ухо. Удивлялись не тому, что права свободного художника были бы неудобны при добыче материалов, а тому, что «неужто-де Щеб⟨альский⟩ не может посвятить этому труду *каких-нибудь два, три года, чтобы потом разом»*, и пр., и пр. Я их удивил, что, мол, вероятно, не может.

— А ведь это, — говорят, — пустяки.

— Да как же, — я говорю, — не пустяки, когда будь у него наготове пятнадцать — двадцать тысяч, и он бы, конечно, охотно отдался этому труду.

Тут взахались, а Тютчев меня поддержал, что боже-де мой: неужто же у нас и такого содействия человеку не найдется? А я говорю, что этого содействия надо не промеж нас искать, где Голь, Шмоль да К°, а вот если бы Владимир Петрович довел об этом до ведома государя-

наследника да там бы поштудировал... Мещерский взогрелся и, оборотясь ко мне, отвечал:

— Знаете, вы прочитали во мне мою мысль. Где живет Щеб⟨альски⟩й?

Я назвал путь Вашей дачи.

— Я непременно к нему съезжу, — отвечал Мещ⟨ерский⟩, — и буду с ним говорить. Чтобы начать говорить с вел⟨иким⟩ князем, надо прежде хорошенько условиться с Щеб⟨аль⟩ским, что ему нужно?

С той поры Мещ⟨ерский⟩ все выезжает и никак не выедет и, наконец, на сих днях сказал мне: не поедем ли мы с ним вместе. Ко мне же неделю тому назад приехал из Киева мой брат, и вот все так перебуравилось до того, что я некоторым образом и виноват даже перед Вами, хотя часто и часто размышлял о вас и желал Мещерскому доброго почина в Вашу пользу.

«Русский вестник» совсем другое дело. По корыстным побуждениям, я, конечно, желал бы видеть Вас редактором этого журнала, но более радости было бы, если бы Вас ссудили на покойных условиях хорошею суммою и Вы предались бы стройному, созерцательному труду, который бы собрал Ваши растраченные в статейной работе силы, поднял Ваш благородный дух, освободил бы Ваш прекрасный ум от мелких забот и успокоил бы Мирру Александровну, а русской науке дал бы сочинение, в котором недостаток так осязателен. Мне кажется, что это гораздо интереснее «Рус⟨ского⟩ вестника», но если Мещ⟨ерский⟩ охладеет и вместо содействия на деле ограничится сочувствием на словах, то, разумеется, надо не сводить глаз с «Вестника», хотя я, признаться сказать, не верю в возможность тех комбинаций, о которых Вы мне пишете. Во-первых, К⟨атков⟩ уже не первый раз это говорит, и все из этого ничего не выходит, да и не выйдет. Как ни подупало издание, а сорвать его с кона настоятельной необходимости все-таки нет еще. Из-за чего же им выпускать из рук орган, когда надо только переменить при нем человека, и дело опять пойдет превосходно? Разве они этого не видят или не понимают, что ли?.. То, что говорится в сообщаемом Вами мне тоне, все это говорится по-насердкам на самих себя, что приставили они к пирожной деже сапожника

и несмотря на то, что это сами они сделали, а ничего из этого не выходит, кроме старой морали, что

Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник.

Угадал ли я или нет, а по-моему, К⟨атко⟩в сердится, что никак не разобрать этого камуфлета? Тут на выручку бы надо подоспеть Н. А. Люб⟨имо⟩ву, но он не догадывается, а к тому же, бог весть, еще и стоек ли он настолько, чтобы противустать тем ласкам, какие Мих⟨аил⟩ Н⟨икифорович⟩ непременно стал бы ему расточать, упрашивая его «не покидать». А ну как он вдруг не устоит, и... снова воспоследует его реставрация, а затем снова начнется с другой стороны сначала олимпийский покой, что все-де равно: «людей нет», а потом... опять то же самое, что ныне... Так это и будет ехать idem per idem,[1] как Кузьма с Демидом. При вашем лестном доверии к моему беллетристическому проницанию я готов бы, кажется, даже живообразно Вам представить, как должна произойти эта сцена сугубой деликатности и обоюдной уступки ко вреду дела, но авось Вы и так поверите, что в соображениях моих есть такая доля истины, при которой дело можно считать беспомощным. Аренда, конечно, могла бы разорвать эти сонные нити, которыми все перепутано, но... тут есть бездна различных «но», о которых хотелось бы лично с Вами переговорить, а не на письме, — что я вскоре же и исполню, ибо нахожусь совсем почти на пути к Вам для окончания счетов по «Ножам» и последних приноровлений «Божедомов». Пока же скажу одно: человека, о котором Вы пишете, я знаю и вдоль и вглубь: это очень хороший знакомый, предобрый сотоварищ, — человек доброжелательный и услужливый, но бесхарактерный, не в меру искательный, болтун, — вообще человек и легковерный и легковесный, верящий всем и никому не доверяющий настолько, чтобы вместе садить и поливать то горчичное зерно взаимоверия, без которого злак стебля не даст, а не только колоса не вымечет. Денег у него много — по крайней мере так говорят, и этому нетрудно верить, но он скуп почти до скаредности и если дает чувствовать свою готовность

[1] От того же к тому же *(лат.)*.

рискнуть на издание, то я подозреваю, что это не так спроста, как Вам могло показаться. По меньшей мере тут, видимо, играет важную роль желание самому фигурировать и заправлять: это я знаю *наверное*. Впрочем, я завтра же поеду к нему и выщупаю его во все его мякоти — благо у меня есть и сторонний повод посетить его, так как я всегда несу от него укоризны за мое нелюдимство. Касательно потребной в этом случае тонкости ручаться за себя, хотя и боюсь, но благодарю Вас, что Вы мне верите, и уповаю, что я сумею узнать что нужно, смаскируя все, чего ему до времени знать не надо. Вообще будьте покойны, что выраженное Вами в первых строках желание или просьба сохранить все «en toute confidence» [1] соблюдается мною в полной точности. О том, что́ Вами написано, я говорить не буду, да и незачем об этом говорить, хотя, впрочем, все-таки хорошо, что Вы меня на этот счет предупредили. Повидавшись с указанным Вами лицом (если он приехал), я Вам тотчас же напишу, так как мой отъезд может еще затянуться дней на семь, на восемь, а если *его* нет и он скоро ожидается, то я, разумеется, дождусь его и уже тогда только выеду. Вообще я *все* сделаю, что́ Вам кажется нужным, но веры в успех имею мало, по недоверию к серьезности этого лица. А впрочем, может быть чего и не может быть. Меня уж так прошколила и истрепала жизнь, что я, точно армейский разочарованный капитан, с гитарою в руках напеваю себе:

Друзья! я недоверчив стал
К пленительным любви напевам
И нынче верить перестал
И красоте и милым девам.

Может быть, все это вздор, — по крайней мере хоть в той мере, что «красота» есть и, пожалуй, есть и «милые девы».

О себе Вам скажу вот что: я некое время сам не знаю, что́ о себе думать: мне как-то все жестоко надоело, то есть так надоело, что я все держусь плана Вашего: хочу на год спрятаться в Веве, или, еще лучше, в Сорренто и что-нибудь «совершить» (как говорил Гоголь).

---

[1] В полной тайне *(франц.)*.

Мне все кажется, что все, что я пишу, вовсе не то, что я хочу и могу написать — *могу,* ибо ощущаю, что

«Жизнь хороша *потому*, что *искусство прекрасно!»*

Я думаю, что в этом настроении я могу быть Вам полезен более, чем в прилежании делу иным образом. Я знаю себя и чувствую, что во мне собралось чего-то много на что-то вроде «Некуда», и я хотел бы предаться этому с полною отторженностью от жизни, которая здесь, на Руси, меня все беспокоит, тревожит и манит, волнует и злит... Возлюбите, ради любви к искусству и идее любви, моих «Божедомов» и соблюдите их. Я на них возлагаю большие мои надежды, и по их поводу, вероятно, придется договориться до дела: будет или не будет выходить в 1872 году «Р⟨усский⟩ в⟨естник⟩»? Если не будет, то, я полагаю, надо будет передать роман в «Беседу» или, может быть, напечатать в «Совр⟨еменной⟩ летописи». Я полагаю, что последнее мне будет более по сердцу и по обычаю.

Пока же до свидания. На днях же опять Вам напишу, как только с кем нужно повидаюсь, а Вы, не ожидая того, черкните, пожалуйста, где Вы теперь обитаете. Уж и нечего говорить, какой Вы любезный, а вот адреса своего никогда не имеете привычки обозначать... Это худо и так и называется «неудобством» в «Книге общежитейской мудрости и приличий». Не знаешь никогда, куда Вам адресовать письмо и где Вас искать с приезда, между тем как желалось бы видеться с Вами прежде других. Сделайте милость, напишите, где Вы живете, — я бы хотел опять и поместиться неподалеку от Вас.

Поклон мой низкий достойнейшей Мирре Александровне. Радуюсь, что Лизавета Петровна властвует, а Вера Петровна жуирует. Это им обеим на пользу. Спасибо Вам за память, внимание и доверие.

Н. Лесков.

Post script⟨um⟩.

Насчет Ваших статей я уже писал как-то один раз Любимову. Это было именно по поводу статьи, в которой Вы столь любезно вспомянули «Некуда». Она называется «Наш умственный пролетариат». Эту статью очень любят хорошие и умные люди, и она действительно не только хороша и умна, но и боговдохновенна. Статья

о посмертных сочинениях Герцена менее нравилась, но тоже нравилась, а «Идеалисты и реалисты» даже возбудили бурю в стакане воды, и Вы, конечно, уже знаете последовавший Вам ответ Пыпина, на который желательно бы видеть Ваш ответ.

Скажите, пожалуйста, Любимову, что сегодня приехал Крестовский и во вторник выезжает в Москву с совершенно готовым романом (по его словам) в 70 листов. Впрочем, я его сам еще не видал, хотя он и был у меня, а передаю эту новость со слов моих домашних.

Н. Л.

51
П. К. ЩЕБАЛЬСКОМУ

13—14 октября 1871 г., Петербург.

Достойнейший Петр Карлович!

Лицо, с которым мне надлежало повидаться и поговорить, возвратилось, и я с ним имел разговор. Результат всего тот, какого я и ожидал: он не думает вверять денег литературному предприятию, хотя и уверен, что предприятие, о котором идет речь, совершенно верное. Он старался быть *непонятливым,* но говорил, между прочим, дело, то есть выражал ту мысль, что вместо большой возни со сдачей в аренду лучше бы просто сдать дело на нынешних условиях в единоличное Ваше заведование (что и справедливо и чего, вероятно, не будет). О Вас при речи об аренде я не заикнулся ни словом и все дело вел *по слухам,* от самого себя, с тем лишь, что Вы, *«вероятно,* не отказались бы» и проч. Но на этого человека нет и не может быть никаких расчетов. Доходило до того, что он *не понимал* даже тогда, когда я говорил, что «П⟨етр⟩ К⟨арлович⟩ не может, к сожалению, взять, потому что у него вряд ли есть капиталец».

— Вот это жалко, — отвечал он.

— Если бы, — говорю, — ему кредит какой-нибудь открыть, тогда, может быть, он бы и рискнул.

— Где же кредит: это трудно.

Я заговорил потом о кредите работами и сказал, что

наше пролетарское дело хоть этим бы поусердствовать предприятию и почтенному литератору: но и это осталось *непонятым*... Одним словом: в эту сторону не глядите, а ладьтесь как-нибудь иначе, буде же что вздумаете поручить — поручайте.

Выезд мой опять замедлился, но все-таки я через неделю или много через две буду в Москве, а до того желаю знать: где же Вы теперь живете? Крестовский едет завтра. Он, разумеется, ничего о Вашем письме не знает.

Ваш *Лесков*.

14 октября 1871 г.

Распечатываю конверт, чтобы вложить еще маленькую цидулку. Дело в том, что сейчас я виделся с Григорием Градовским и в общем разговоре о том, что М⟨ихаил⟩ Н⟨икифорович⟩, по словам Данилевского, нездоров и крайне расстроен, получил известие такого рода, что М⟨ихаил⟩ Н⟨икифорович⟩ в бытность свою здесь говорил Градовскому о неудовлетворительности журнала и приглашал *его* переехать в Москву опять-таки для поднятия этого же журнала. Изо всего этого явствует, что «Р⟨усский⟩ в⟨естник⟩» нередко приходит в голову М⟨ихаилу⟩ Н⟨икифорови⟩чу и что с журналом может случиться что-нибудь далеко не желанное, а потому, имея все это в виду, надо бы Вам быть как можно более решительным и не упускать его из своих рук. Это дело хорошее, и Вы с ним выплывете без всяких компаний, с одною подпискою, особенно если собственники не обременят Вас арендою.

Да, еще: что это значит, что в сентябрьской книге нет окончания моего романа, которое послано, кажется, своевременно? Если опять что не по нраву, то надо бы мне прислать корректуру, и я бы переделал. Сокрушил меня этот роман, и свертел я его как не думал, благодаря всем этим qui pro quo.[1]

Сделайте милость, успокойте меня: напишите, что это значит и докуда протянется?

Н. Л.

---

[1] Здесь: перипетиям *(лат.)*.

Мещерский едет в среду и, вероятно, будет с Вами видеться. Подписка на его «Гражданин» идет очень хорошо. Комаров со своим «Monde Russe»[1] совсем заехал в «Весть» и уедет в этом направлении, кажется, еще подалее. По моим наблюдениям, он вовсе неспособен к редакторству.

52
П. К. ЩЕБАЛЬСКОМУ

20 октября 1871 г., Петербург.

Достойнейший Петр Карлович! прочитал я Ваши короткие строки — как будто посмотрел на картинку Рюисдаля: нет в них ничего скорбящего, а есть *нечто* столь грустное, что любящее Вас и Вашу семью сердце мое сжалось до слез. Эти строки — рюисдалевская лодка в болотной трясине. Вы устали и перестаете верить: Вам кажется, что все «остынет». Таковы обыкновенно последствия долгих неудач, и Вам еще надо дивиться на крепость могучего Вашего духа. Но «имейте веру с зерно горчичное». Вчера я обедал у Мещерского, и мы много о Вас говорили. Соблюдая все Ваше достоинство и не пускаясь в подробности, я не таил, что Вам должно быть очень тяжело, и даже поопасался: долго ли так можно выкрепить? Он грустно слушал. Затем я спросил: не кончатся «благие намерения» на Ваш счет словами? Он пожал плечами и отвечал, что еще не может отвечать на это, а сегодня приехал ко мне и заговорил о журнале своем и о критике. Я опять прямо повернулся на то, что кроме Вас, по-моему, нет человека способного для критики вообще, и в особенности для критики исторической. Он воспрянул и отвечал, что уж это решено, что «Щ⟨ебальско⟩го надо перетащить в П⟨етер⟩бург». Я спросил: на какой конец? Мещ⟨ерский⟩ ответил, что сегодня будет решено дать Вам средства на сочинение истории Екатерины, и в общем вот как: Вам дадут на три года 9 т. р., с тем, что 4$^1/_2$ Вы получите

[1] «Русским миром» *(франц.)*.

безвозвратно, а 4½ у Вас возьмут в возврат сочинениями. Я сказал, что, вероятно, Вы это примете, но скоро ли это будет? При этом я вынул из стола Ваше последнее рюисдалевское письмо и прочел три последние строчки о вашем бивакировании и опять сказал, что это несносно знать о человеке, столь почтенном, как Вы, и что, бог весть, все может терпеться лишь до поры и до времени. «Нет, нет, — воскликнул М⟨ещерс⟩кий, — это решено, что мы его сбережем». Относя это «мы» к наследникам Карамзина, я отвечал, что это, кажется, теперь уже их прямой долг. Князь так это и принял. «Надо его как можно скорее успокоить», — сказал он и затем спросил, когда я буду в Москве? Я отвечал, что уеду послезавтра и в субботу буду у Вас, а он молвил, что выедет в субботу «и будет у Щ⟨ебальско⟩го вместе в воскресенье». С тем мы расстались, и я спешу Вам об этом сообщить, еще раз прося Вас бодриться и хранить «горчичное зерно веры» и в провидение, которое есть, и в людей, которые Вас чтут и любят.

Ваш *Н. Лесков.*

P. S. О прекращении «Р⟨усского⟩ в⟨естника⟩» забродили толки, по-моему превредные для всей партии. Видясь вчера с Маркевичем, я говорил ему, что знаю от Вас, что М⟨ихаил⟩ Н⟨икифорович⟩ действительно об этом поговаривает: М⟨аркевич⟩ был этим удивлен и хотя (как и я) толкам этим большого значения не придает, но все-таки смущается ими и хотел сегодня написать К⟨атко⟩ву. О других намерениях Ваших, разумеется, я не проронил ни звука, но Маркев⟨ич⟩ слышал от Гр. Данилевского, что Вы считаете себя в Москве не прочным.

Еще слово: евангелист просил однажды простить ему: «занеже, что недописах или переписах», — о том и я Вас прошу, буде что-либо в поведении моем касательно Вас усмотрите что-нибудь относящееся к перепису или недопису, — простите: делал как казалось лучше, ибо думаю, что скрывать Вашу зависимость от труда и обстоятельств дело напрасное, перервать хронический характер этой зависимости можно, только сразу шпигуя способных «остывать» людей опасением потерять Вас, пока эта потеря для них дорога. Если же это не так, то опять простите.

И еще.

Я с дороги прямо толкнусь в редакцию; оставьте мне, пожалуйста, там записочку: нельзя ли мне иметь на неделю комнату в тех же номерах, где живете Вы? Мещерский же остановится у Дюло.

53
А. П. МИЛЮКОВУ

⟨3 или 4 ноября 1871 г., Петербург.⟩

Любезнейший Александр Петрович!

Что опять за казус! Какой злой дух или насмешливый недруг научает Вашего театрального невежду делать сравнения? Неужто можно *сравнивать* пьяницу и забулдыгу актеришку Несчастливцева с принцем Гамлетом, который никогда не был актером, а тем менее забулдыгой и пьяницей, и именно *бежал пьянства и презирал его*. Поистине удивительно, чего же смотрите все Вы, читая рапорты этого «Эзопа с фонарем»? Что это за крайность печатать курьез за курьезом?

Ваш *Н. Лесков.*

P. S. Этот Ваш бебешка, вероятно, хотел сравнить Несчастливцева с *Кином*... Должно быть так?

1872

54
А. Ф. ПИСЕМСКОМУ

3 марта 1872 г., Петербург.

Достоуважаемый Алексей Феофилактович!

Благодарю Вас покорно за Вашу книгу и за добрые пожелания. Внимание Ваше и память меня глубоко тронули. Я всегда чтил Ваш большой ум и талант, многому у Вас учился и стою к Вам в искренних ученических отношениях того сорта, каковы были, например, отношения художников в те времена, когда они учились не в непроизводительных академиях, а в скромных студиях. Мне успех работ Ваших не внушает беспокойного чувства зависти, а я им горжусь и любуюсь,— да благословит Вас бог, которому я верую, за то, что и Вы дали мне случай увидать, что и с Вашей стороны есть ко мне теплое доброжелательство. Спасибо Вам за это от всего сердца. Во всяком случае я знаю мое место: я иду до сих пор за Вами и равняюсь Вам только в одном: в степени безумной слепой злобы, постоянно рядом читающей наши имена в своих поминаньях. Крепи Вас господь на пользу родному слову и на поучение нам, желающим принять и понести в свой черед лучшие предания и заветы учителей своих.

«Смех и горе» идет превосходно. Издания в 2400 экз. почти уже нет — все распродано, и, кажется, нужно печатать другое. Набиваются художники иллюстрировать, да боюсь, как бы это не задержало.

Роман мой в «Рус⟨ском⟩ вестн⟨ике⟩», кажется, начинают с мартовской книги. В конце поста я привезу им

для воскресных номеров вещь вроде «Смеха и горя», которая уже пишется и будет состоять из ряда повестей одного жанра кривляк в семейной жизни, как там были кривляки в жизни общественной. Общее название этой шутке дано до сих пор «Блуждающие огни». Это Вам объясняет тему: света не ищут без источника света, при мерцании теорий, а не истин, лежащих в природе духа и сердца.

Так как друга моего Петра Карловича нет более в Москве, то, если угодно, я почитаю кое-что у первых у Вас, но только Вам, а не собранию, ибо хочу не похвал, а замечаний.

Затем еще раз благодарю за память и внимание; прошу Вас не лишать меня и того и другого на будущее время и верить моей глубокой и искренней Вам преданности.

Ваш слуга и ученик

Н. Лесков.

P. S. Прошу Вас передать мое глубочайшее почтение Екатерине Павловне.

Еще P. S. Бедняга Корибут таки не вылечился и умер, потеряв здравый рассудок. Врачи говорят какую-то нескладицу, а, кажется, сами во всем виноваты.

55

П. К. ЩЕБАЛЬСКОМУ

6 мая 1872 г., Петербург.

Драгоценнейший мой Петр Карлович!

Вы, я думаю, имели уже время сопричислить меня к лику тех наших добрых знакомых, которые питают неодолимую вражду к доходам почтового ведомства и потому отвечают только на десятое письмо. Однако же я, слава богу, такой неприязни к почте не питаю и тому, что не сразу ответил Вам на Ваше доброе письмо, имею резонные причины, по коим надеюсь получить если не извинение, то хотя прощение.

Во-первых, письмо Ваше было получено одновременно с приятным уведомлением от Н. А. Любимова, что они там потеряли 4-ю часть «Божедомов», или, по-нынешнему, «Соборян». Сами можете представить, в каком я был терзании, и это терзание длилось до сего времени, когда Воскобойников, наконец, прислал мне депешу, что рукопись нашли у Михаила Никифоровича, оказывающего ей «особое» лестное внимание и потому ее то туда, то сюда закидывающего.

Славу богу, это искание кончилось, но прежде отравило мне три недели и без того не красной жизни, причем особенно возмущали вопросы и переспросы: «да послали ли Вы ее? Осмотритесь у себя, припомните мельчайшие подробности посылки» и т. п. — Тьфу! Одним словом, люди превосходнейшие, но и довольно превосходные терзатели, особенно если кого возьмут в отличное от обыкновенного внимание. Но повторяю: «Dei gratiae,[1] это пока улеглось «в ожидании лучшего», и я, пользуясь передышкой, строчу Вам наиобстоятельнейший ответ о Вашем лестном поручении.

Написать книгу, о которой Вы говорите, мне кажется, я могу; но как в письме Вашем стояло еще имя Крестовского, который может иметь в Варшаве своих аматеров, то я почел долгом прежде всего прочесть ему надлежащие строки этого письма. Он положительно от писания такой повести отказался, да я иного и не ожидал, так как эта работа совсем, мне кажется, не в его роде. Но, однако, весь декорум был соблюден. Затем, полагаясь на свои силы художественные, я задумывался над моею компетентностью. Я знаю Польшу и Русь, — это правда, но мне показалось, что для такой повести, требующей вымысла самого пестрого и в то же время реального, лучше соединиться в этой работе с человеком, у которого есть такие стороны дарований, каких нет или мало у меня. Мне пришло на мысль написать требуемую повесть *вдвоем*, как это делают французы. Подходящим для сего человеком я почитал и почитаю полковника генерального штаба Сергея Ив. Турбина, который занимался статистикой России и Сибири и был, что назы-

[1] Слава богу *(лат.)*.

вается, «не только wszędze,[1] но еще пятьдесят верст за *вшендзою*». На днях я его уловил, чаем с ромом напоил и согласие получил, но еще два дня оставался в нерешимости насчет участия рома в этом деле. Однако же вчера, то есть 5 мая, получил письмо, которое к Вам в подлиннике посылаю. Из этого письма Вы увидите, что мой колоновожатый полковник уже на походе. План его мне нравится. Сибирь и жизнь ярмарочных пунктов он знает превосходно; отношения к России у него теплые; писать он для народа опытный мастер (его много рассказов *для солдат,* печатанных у великодушного пана Погосского). Условились мы так: он должен к половине июля доставить мне *канву* повести на *десять* печатных листов с безапелляционным согласием на переработку мною этого брульона в любую художественную форму со всякими изменениями, вставками и т. п. Одним словом: его подмалевка, а моя не только ретушь, но вся *живопись.* Этак, мне кажется, я могу Вам пообещать книжку, которая не постыдит Вашей рекомендации. Подписать же эту книгу (если нужно), то мы ее желаем подписать обоими нашими именами, то есть «Н. Лесков и С. Турбин».

Теперь благоволите же, дорогой Петр Карлович, пробежать прилагаемое письмо Турбина и ответить мне по возможности скоро (я уезжаю): 1) Нравится ли Вам моя мысль писать повесть соединенными силами? 2) По вкусу ли Вам турбинский план? 3) Что нам за этот труд могут заплатить и когда? (об этом пишите так, чтобы я мог Ваши строки *показать* в подлиннике). 4) Хорош ли размер в 10 листов? По-моему, более не для чего, а менее невозможно, — ничего не расскажешь. 5) К какому времени рукопись должна быть готова, куда ее прислать и кто будет ее ценителем?

Прошу Вас не замедлить этим ответом, потому что если книга нужна к предстоящей зиме, то необходимо, чтобы я не откочевывал из Петербурга прежде, чем получу возможность поставить моего сотрудника в ясное и определенное положение, так как он тоже живет теперь *только* литературным трудом и должен быть ассюрирован. Цены Вы знаете и потому, вероятно, найдете основа-

[1] Всюду (*польск.*).

тельным, что Т⟨урбин⟩ хочет по 50 р. за брульон, а мне кажется, справедливо дать другие 50 за отделку, группировку и общую редакцию. Кроме того, рублей по 5 на лист может пасть на переписку экземпляров, что необходимо при работе вдвоем. Благословите!

Поклон низкий Вам, Мирре Александровне и всему Вашему прекрасному семейству.

Ваш *Н. Лесков.*

Роман Маркевича мне очень нравится, но в чем же тут вопрос? А если бы мать развелась да замуж вышла?

56

А. Ф. ПИСЕМСКОМУ

17 августа 1872 г., Петербург.

Достоуважаемый Алексей Феофилактович!

Желая не упустить ни мало времени для приступа к доверенным Вами мне предварительным переговорам, я на второй же день по приезде осведомился о М⟨ещерском⟩ и его издании и имею честь сообщить Вам нижеследующее. Самого сиятельного издателя нет в Петербурге, — он за границею и вернется лишь в начале сентября. Так говорят у него в доме. Редактор же его изданий г. Г. в деле ничего не значит, и говорить с ним было бы несовместно с достоинством Вашего предложения. Князь Вас просил — с ним надо вести и речи. Но вот что еще нужно Вам иметь в виду: первый томик их гражданинского сборника вышел и уже раздается. Я посмотрел хотя бегло, но довольно внимательно эту тощую серо-желтую книжку и не могу о ней сказать ничего лестного: очевидно одно, что издатель сильно заботился «пестрить обертку». Содержание самое сбродное и бесталанное; даровитейшее имя на этой обертке есть имя г. Страхова, оно же и самое популярное. Отсюда можете сами заключать об остальном. Издание серо, неопрятно и преисполнено опечаток. Каков будет второй том — я не знаю, но полагаю, что более или менее он должен быть под кадриль первому, ибо они должны составить одно целое. Второй этот том, по словам слу-

жащих в конторе, уже будто бы почти отпечатан и скоро выйдет, что и вероятно, так как с первого сентября опять уже должна выходить газета. Но отпечатан он, или печатается, или даже приготовляется к печатанию, за верность этого Вам не поручусь, а за что купил, за то и продаю. Князю я послал записку, которою прошу его уведомить меня, когда он приедет, и тогда тотчас же с ним повидаюсь и Вас о результате свидания и переговоров уведомлю. Может быть, вторая половина его сборника и неполна, а может быть, он будет приобретать Вашу пиесу для газеты: одним словом, я все это приведу в ясность и не замедлю Вас уведомить. Но как до этих переговоров еще есть время, ничем не рискуя переписаться, то я хотел бы знать Ваше мнение на тот счет: согласны ли Вы будете, чтобы Ваша прекрасная пиеса печаталась не в сборнике, а в газете? Разумеется, я спрашиваю об этом единственно на тот конец, если справедливо, что и второй том сборника уже составлен, и я услышу подтверждение этого от самого М⟨ещерского⟩.

Других новостей никаких еще не слыхал, да их, верно, и нет, точно так же как нет вовсе никакой холеры и ее ровно никто, кроме Вас, не боится.

До свидания, учителю благий. Храни Вас небо для русского искусства и любящих Вас людей. Пишите, ради бога, более и не хандрите, а приезжайте сюда к нам за «Эрфиксом», которого доброжелательствовали Кашпиреву, его же память неведомо когда и праздновать. То ли дело Хан: по крайней мере «закрыт по высочайшему повелению». Что же: падать с коня, так с хорошего.

Ваш *Н. Лесков.*

По моему мнению, печатать ли пиесу в сборнике или в газете — это совершенно все равно. Даже в газете лучше: она опрятнее и более читается.

57
А. Ф. ПИСЕМСКОМУ

4 сентября 1872 г., Петербург.

Многоуважаемый Алексей Феофилактович!

Почтенное письмо Ваше я получил, но не мог исполнить Ваших поручений, потому что князя не было в Петербурге. На сих днях он приехал, но в особом настроении, исключающем всякое удобство свиданий с ним с моей стороны. Он гневается на какое-то зложелательство ему или на что-то сему подобное, и потому выходит, что мне с ним нельзя вести переговоров. Я это слышал еще ранее от Данилевского, а теперь имею тому и подтверждение; а потому простите меня и не поставьте мне этого в вину перед Вами.

О пиесе Вашей я говорил в кружках, и об ней напечатаны два раза добрые слухи в «Русском мире». Лихих болестей здесь никаких нет, и Вам надо бы пожаловать.

Душевно преданный Вам

Н. Лесков.

58
С. А. ЮРЬЕВУ

10 сентября 1872 г., Петербург.

Милостивый государь
Сергий Андреевич!

Три года тому назад я отдал Вам переписку первого освободителя крестьян, статистика Журавского, с гр. Перовским. Три года Вы ее держите, обещая напечатать, и все не печатаете... В прошлом году, когда я, в бытность свою в Москве, требовал эту рукопись назад, Вы прислали ко мне Вашего сына, и тот при Крестовском и Щебальском просил меня оставить эту переписку у Вас до весны, что «весною-де «Беседа» ее непременно напечатает». Я поверил этим словам; но с тех пор, как присланный Вами юноша говорил их, «прошло лето, прошла

осень, прошла красная весна и наступает злое время, — то холодная зима», а статья не печатается: ответов от Вас не добьешься; в Москве бывая, Вас не застанешь... Уважаемый Сергий Андреевич, да что же это такое? Усердно прошу Вас решиться как-нибудь кончить эту комедию, вперед Вас заверяя, что я не могу оставить этого еще на неопределенные времена.

Я глубоко уверен, что Вы не найдете оснований укорить меня ни в малейшей неделикатности по этому делу и постараетесь как-нибудь успокоить меня в моих, надеюсь, самых справедливых желаниях.

Ваш покорнейший слуга

Ник. Лесков.

P. S. Прилагаю мою карточку и адрес, который, может быть, у Вас не записан, хотя я много раз его напоминал.

59
А. Ф. ПИСЕМСКОМУ

15 сентября 1872 г., Петербург.

Уважаемый Алексей Феофилактович!

Несказанно рад, что буду иметь удовольствие видеть Вас в Петербурге, и от души хотел бы, чтобы этот Ваш приезд был не как прошлый, — хотел бы, чтобы Вы видели, что среди литераторов, младших Вас по возрасту и по силам литературным, есть к Вам нелицемерная любовь и уважение. Что до меня, то я желал бы Вас встретить при самом Вашем приезде и пособить Вам устроиться с дороги; а потому прошу Вас известить меня накануне Вашего выезда. Надеюсь, что Вы это исполните.

Князь М⟨ещерский⟩ дуется на весь мир и негодует на меня за Крестовского, коего будто бы я отклонил от него, что вовсе не правда, ибо Крестовский просто требовал денег, а их недоставало, что ли, или что-то в этом роде. Но всё это мелочи.

Хандра Ваша неодобрительна, но поездку за границу нельзя не одобрить. Это лекарство чудное и едва ли не единственное, когда «на родине все омерзеет». Лучшее средство полюбить снова родину — это разлучиться с нею на время. Родина же наша, справедливо сказано, страна нравов жестоких, где преобладает зложелательство, нигде в иной стране столь не распространенное; где на добро скупы и где повальное мотовство: купецкие дети мотают деньги, а иные дети иных отцов мотают людьми, которые составляют еще более дорогое достояние, чем деньги. Но и Ева была мотовка и промотала рай, а однако Адам не мстил ей и не прогнал ее от себя, ибо без этой мотовки он стал бы совсем один. Что делать: надо смириться и полюбить самую неблагодарность в смирении своего сердца; а проехаться и отряхнуться — мысль благая: «да обновятся орлу крыле его».

Адрес Петра Карловича (у которого всем надо учиться силе и доброте) просто: в г. Сувалки, но я не знаю, там ли он теперь или в разъездах, потому что к ним поехал министр Толстой. Однако же Вы все-таки пишите: письмо, конечно, дождется его дома.

Напишите-ка мне до приезда своего: не прочтете ли Вы своей пиесы прежде литературным людям, которые по тому или по другому к М⟨ещерскому⟩ теперь не бывают? Я бы советовал это сделать, ибо в числе таких людей много хороших друзей Ваших (например, Авсеенко и др.). Если Вы найдете, что это хорошо, и не откажете нам в этом удовольствии, то не изберете ли мой дом, где люди нашего кружка бывают без чинов и без претензий? Соберемся, как Вы укажете: потеснее или пошире, и отворим двери только тому, кто Вам приятен.

Затем крепитесь и не хандрите. Хандра вещь прегадкая — это та «печаль, которая, по апостолу, спасения не соделывает». Вас любят и чтут, а многое другое бог дал Вам. Чем тосковать?

Ваш *Н. Лесков.*

60

М. Н. КАТКОВУ

29 ноября 1872 г., Петербург.

Репетиции в «Р⟨усском⟩ м⟨ире⟩» невозможны, — там являются на дело свои воззрения, с которыми ничего не поделаешь. Орган совершенно уходит из рук и, вероятно, пойдет во вред делу, если теперь не устроить его в добрые руки. Сейчас М. Г. Ч⟨ерняев⟩ имел со мною разговор, в котором передал следующее: пайщики четыре дня тому назад составили протокол о прекращении издания. Ч⟨ерняев⟩, желая спасти свои 14 тысяч, а также и сочувствуя делу, вызвался продолжать издание 2 года. Ему это уступили, но с тем, чтобы он принял еще некоторые долги, всего тысяч до 28, из коих 6 тысяч он должен уплатить 2-го дек⟨абря⟩. Ч⟨ерняев⟩ все это принял, и «тонкий — долгий — белый — волокнистый» со всею командою 26-го получили абшид, но 27-го на георгиевском празднике Ч⟨ерняев⟩ был встречен таким образом, что непременно должен поступить на действительную службу. Это поставлено так, что никакие компромиссы невозможны. Теперь дело с издательством совсем уже спуталось: но Ч⟨ерняев⟩, однако, готов скорее рисковать своими деньгами, лишь бы не дать газеты Д., который, как мне достоверно известно от Ю. Б⟨огушеви⟩ча, представлял уже двух редакторов: 1. Пыпина и 2. Белозерского (из «Основы»). Получив отказ от этих, он поставит подставное лицо, за которым будет спрятан будто бы Сув⟨ори⟩н. Так говорят в Главном управлении по делам печати. Это, кажется, верно. Ч⟨ерняев⟩, чтобы не допустить этого, хочет все-таки взять газету за себя и завтра (то есть 30 ноября) непременно подпишет условие, имея заднюю мысль тотчас же передать ее в добрые руки. Кто окажется с этими «добрыми руками» — до сих пор на горизонте не видно. Ч⟨ерняев⟩, однако, уполномочил меня написать обо всем этом Вам и, во-первых, просить Вас, не придумаете ли Вы какой-нибудь комбинации, так, чтобы спасти орган, и кому бы его сдать; а во-вторых, просить Вас и о сохранении всего этого в глубочайшей тайне, так как пайщики только ему отдают предпочтение перед Д., а если они прослышат, что он берет газету не

для себя, а для передачи, то Д. найдет основания ее перехватить и передать на более выгодных условиях во враждебный лагерь, где идет сильная забота о приобретении старой формы (так как Лонг〈инов〉 новой не дозволит). Ч〈ерняев〉 думает: не пожелаете ли Вы сами взять дело? Он не рассчитывает на это, но только так думает и просит: нельзя ли Вам черкнуть словечко в разрешение его дум? Это Вас ровно ни к чему не обяжет, а у него одна дума будет уже разрешена. Деньги 6 тысяч рублей он вносит 3-го дек〈абря〉. Затем 8 тысяч нужно уплатить в 2 года. Всего же надо уплатить до 28 тысяч. — Подписка у них сравнительно идет такая, что́ и в прошлом году (то есть, конечно, по сие время).

Я не думаю, чтобы Вы сами вошли в это дело и промолчали на этот счет Ч〈ерняеву〉, но мне кажется, что Вы можете указать путь, как бы устроить это на волоске висящее дело? Нет ли у Вас в виду кого-нибудь? Кратчайший ответ Ваш на это крайне необходим 2-го числа, ибо в этот день уже должны быть приготовлены все диспозиции. Ч〈ерняе〉ва и я боюсь, как бы он не сплоховал. Если Вам угодно будет написать мне или (еще лучше) дать иносказательную, но внятную депешу тотчас по получении этого письма, то я не промедлю минуты ориентировать Ч〈ерняе〉ва как надо. — Сделайте милость, не замедлите своим словом: оно теперь может чрезвычайно много.

Преданный Вам

Н. Лесков.

61

М. Н. КАТКОВУ

27 декабря 1872 г., Петербург.

Милостивый государь

Михаил Никифорович!

Мне кажется, что я непременно должен сообщить Вам, что́ делается в эти минуты с «Русским миром», сконфуженный редактор которого теперь состоит в Москве. Может быть, Вы захотите помочь Вашим словом гибнущей газете. Дело в том, что оба генерала,

из коих один полусобственник издания, окончательно недовольны Комаровым и его антуражем и решили его устранить от редакторства, к которому они признают его неспособным. Я говорил Вам об этом слегка и, кажется, говорил тоже, что они предлагали и предлагают это редакторство мне; но я от этого отказался, отказываюсь и всегда откажусь, как потому, что мне неприятно становиться между людьми, которых я люблю и уважаю, так и потому, что это оторвало бы меня от художественной работы, которой я душою предан. В таком положении я оставил дела и, возвратясь, застал у себя экстренные письма генералов с просьбою помочь газете в критические ее минуты. Письмо это пролежало у меня, пока я был в Москве, а встревоженные раз генералы тем временем обратились к Милюкову, который и изъявил согласие принять редакцию (Комаров об этом едва ли знает). Авсеенко, на которого я указывал вместо себя, им, кажется, не по нраву. — Теперь они склонили Комарова немедленно уехать за границу и дают ему за это 3000 р. и ящик устриц. Он согласен и едет. Отъезд его немедленный признается Ч⟨ерняе⟩вым необходимым для того, чтобы «сразу выместь весь шпионствующий, нигилистический сор», чего действительно нельзя сделать при страдающем фаминизмом Виссарионе. Но я боюсь, и, кажется, не без основания, что немедленный отъезд К⟨омаро⟩ва во время подписки (которая идет удовлетворительно) неизбежно породит слухи о прекращении газеты и страшно повредит ей. Они этого не понимают, и я вчера на генеральном совете, на который был вытребован к Ч⟨ерняе⟩ву, едва успел преклонить их на следующее: 1) Имя Комарова оставить на газете и оставить за ним внешние сношения по редакции с людьми. Я указал его достоинства: благородство, мягкость, покладливость и уменье держать связи. Это принято. 2) Придать ему в помощь Авсеенку или Милюкова (они склоняются в пользу последнего), но гласно этого не заявлять. И это принято. 3) Не высылать К⟨омаро⟩ва немедленно, а удержать его или вовсе и тем сберечь 3 тысячи, или же по крайней мере сберечь его здесь до половины февраля, то есть пока подписка выяснится и, может быть, докажет ненужность высылать. Против этого неодолимые возражения,

которые мне удалось поколебать, но опровергнуть не удается. Ф. пристал к моему мнению, что это безопаснее, чем рисков⟨ать⟩ слухами, которые подхватятся и повторятся на тысячу ладов; но Ч⟨ерняе⟩в, видимо боясь за свои деньги, минуты боится оставить К⟨омаро⟩ва и 3 тысячи на его поездку считает потерею относительно ничтожною. Значения же слухов он не понимает и думает, что их достаточно будет раз опровергнуть. — Так ли это? — Я просто дрожу за судьбу этого единственного издания в известном духе и, зная Ваше к нему внимание, сообщаю Вам все это на тот конец: не найдете ли Вы нужным и удобным тем или другим путем установить Михаила Григорьевича на настоящую и лучшую точку отправления? — Письмо это, конечно, прошу принять к единственному Вашему ведому. Из двух людей: Авс⟨еенко⟩ или Милюков, я не знаю, который удобнее? Авс⟨еенко⟩ гораздо способнее и умнее, но он человек больной и бессонных ночей не переносит, а без них редактору не обойтись. Милюков же человек опытный и ровный, но... я боюсь, не сделалась бы газета в его руках набело перепечатанным «Сыном отечества». Рутинный прием «Голоса» для него образец. «Реалисты они оба, конечно, потаенные», но у Авсеенки больше чутья, больше такта, он лучше пишет и человек вполне самостоятельных взглядов, тогда как М⟨илюков⟩ был, есть и всегда будет под рукою Андрея, которого «нет продажнее». С другой стороны, М⟨илюков⟩ покладливее, а А⟨всеенко⟩ упорен и легко разрывает связи; у М⟨илюкова⟩ большое литературное знакомство, а от А⟨всеенко⟩ люди как-то сторонятся, я полагаю, единственно по неприветливости его обычая и его холодной манере. Не хорошо ли бы было вместо того и другого дать кого-нибудь совсем иного из людей Вам известных? Ваше слово было бы в этом случае вполне действенно, тем более что на Авсеенку генералы как-то не располагаются; я ни за что в мире за это не возьмусь, а М⟨илюков⟩ими еще не усвоен последним словом. — Во всяком случае желаю, чтобы эти передряги были Вам известны, — авось уже и из одного этого делу будет какая-нибудь польза. — С глубочайшим к Вам почтением имею честь быть Вашим покорнейшим слугою

Н. Лесков.

P. S. Письмо запоздало, зато я нечто узнал и приписываю: откуда сильный напор против К⟨омаро⟩ва? — От ориенталиста Григорьева, у которого Ч⟨ерняе⟩ва окружили разные люди и совсем его обескуражили. Я этого Григорьева совсем не знаю, что он такое, но, во-первых, опасаюсь: нет ли там планов посадить своего канцелярского либерала, а во-вторых, о намерении К⟨омаро⟩ва ехать знает и рассказывает уже граф Д⟨анилевски⟩й, — значит, распространения этого слуха уже бояться нечего, а надо его принять как совершившийся факт.

1873

62
А. С. СУВОРИНУ

26 февраля 1873 г., Петербург.

Милостивый государь
Алексей Сергеевич!

Я очень благодарен Вам за Ваше внимание и считаю долгом исполнить Ваше желание, но я не совсем понимаю, что́ нужно Вам для Вашего издания: формулярные ли сведения о моем рождении, воспитании и проч. или несколько более живой рассказ о моем прошлом? Я ведь вполне *самоучка* и всем, что́ знаю и что усвоил, обязан себе и двум добрым людям, которых нельзя не вспомянуть, давая сведения обо мне как о литераторе. Удобна ли Вам по этому предмету заметка строк в 50—70? Это о времени долитературном.

Что же касается литературных моих трудов, то я стесняюсь только в одном: я решительно не могу указать, *когда* именно что было мною написано. Достаточно ли будет для Вас, если я просто перечислю мои беллетристические работы в том порядке, как они одна за другою писались и где помещались?

Равномерно позвольте мне узнать: нужна ли моя записка Вам в окончательной редакции для печати, или Вы предпочли бы иметь об этом мое письмо к Вам, из которого сами могли бы взять то, что найдете нужным?

Ответьте мне, пожалуйста, и я без замедления исполню Ваше желание.

Всегда Вам преданный
Н. Лесков.

63

А. С. СУВОРИНУ

7 марта 1873 г., Петербург.

Не посердитесь, пожалуйста, на меня, уважаемый Алексей Сергеевич, что я о сю пору не прислал Вам обещанного письма. Я его составил, но многого не могу припомнить и к тому же несколько дней лежу больной. Однако на днях все это будет сделано, и я отдам мое письмо Гр. Данилевскому, с которым Вы, кажется, видаетесь, а если это и не так, то он имеет возможность доставить его Вам с одним из сорока тысяч курьеров, какие у него есть для всяких посылок. — Благодарю Вас за добрый ответ и выраженные в нем добрые чувства. Благодарю и за искреннее мнение обо мне и моей деятельности. Как быть? Все мы люди, все человеки, — существа плохие и несовершенные перед идеею абсолютного разума и справедливости. Может быть, и я во многом виноват; может, и Вы в чем-нибудь не безгрешны. В виду нарастающих годов и естественно приближающейся смерти порадуемся хотя тому, что мы еще умели всю жизнь оставаться *литераторами* и, питаясь тощими литературными опресноками, не продавали себя ни за большие деньги, ни за малые, как это начинается у других, похваляющихся своей бесстрастностью... Кто из нас в чем был правее другого, то решать не нам, а с нас, мне кажется, довольно того утешения, что мы любили и (надеюсь) любим свое дело горячо и служили ему по мере сил и умения искренно и не бесстрастно, не ожидая себе за свою деятельность ниоткуда никаких великих и богатых милостей. В заключение скажу Вам: вряд ли многие из нас теперь в существенных вопросах так противумысленны друг другу, как это кажется. А подумайте, что впереди! Если мы поживем, то, не придется ли нам повоевать заодно против того гадкого врага, который мужает в меркантилизме совести? За что же мы *унижаем* друг друга? И перед кем? Перед людьми, которые всех нас менее совестливы...

Распря наша часто держится характера чисто сектаторского... Это худо, но помочь этому могла бы только одна талантливая критика, а ее нет. У нас есть

обидчики, но истолкователей нет, а обидчикам, конечно, всегда будет более приятно заботиться о литературной вражде, чем о единодушии и мире. Возможен ли такой мир или он есть утопия, но во всяком случае одна забота о нем сама по себе уже не осталась бы неблаготворною для литературы, и наш лагерь, мне кажется, имеет в этом случае некоторое преимущество перед Вашим. Наши люди как-то более умеют щадить самолюбие и человеческое достоинство своих противников и по крайней мере они едва ли на десять оскорблений отвечают одним, и то всегда гораздо более умеренным. Как хотите, а это несомненный признак порядочности, который нельзя не уважать в самом противумысленном нам человеке.

Вот Вам мой болтливый ответ на Ваше доброжелательное письмо, за которое еще раз благодарю Вас; *вполне* Вам верю (как и всегда верил) и желаю Вам от души наилучших и во всем успехов и наилучшего счастья.

Преданный Вам

Ник. Лесков.

Крестовский тоже пришлет Вам свою записку.

64

В. П. МЕЩЕРСКОМУ

18 марта 1873 г., Петербург.

Милостивый государь
Владимир Петрович!

Почтив меня своим посещением в начале Вашего литературного предприятия, Вы изволили просить меня приготовить для «Гражданина» какую-нибудь небольшую беллетристическую работу. Теперь я располагаю такою вещицею (рассказ листа в 4, размера «Русского вестника») и по ее относительным достоинствам, кажется, могу позволить себе предложить ее Вам. Потрудитесь известить меня: пригодно ли Вам в эту пору такое произ-

ведение? Гонорар мой в «Русском вестнике» 150 р. за лист — что я желаю получить и от «Гражданина». Рассказ писан в роде «Смеха и горя», то есть легко делится эпизодически. Прочесть его я готов, если можно, в одну из сред.

Ваш покорный слуга

Н. Лесков.

1874

65
П. К. ЩЕБАЛЬСКОМУ

4 января 1874 г., Петербург.

Уважаемый Петр Карлович!

Получив Вашу «критическую статью», я устремился в преследование нашего консервативного камергера и, наконец, настиг его сегодня и с его речей начинаю мою Вам отповедь.

Особа, о которой Вы спрашиваете, появлялась сюда для того, чтобы проситься в члены совета м⟨инист⟩ра. Граф счел это за несообразность и отказал в этом. Тогда П⟨отапов⟩ спросил через директора д⟨епартамен⟩та: «что ему делать?» (то есть он не ладит с В⟨итте⟩ и проч.). Граф на этот вопрос отвечал: «ехать на свое место». Граф им очень недоволен и очень бы рад был, чтобы он, приехав на свое место, прислал просьбу об отставке, что здесь и ожидается, так как П⟨отапо⟩ву с В⟨итте⟩ не поладить, а между тем он, кажется, уже выслужил пенсию. Но выслужил ли он *наверно,* — этого камергер не знает. Далее же, теперь здесь ничего не могут делать для Ваших интересов, а просто Вам осведомиться: что делает в Варшаве П⟨отапов⟩? Уселся ли он снова или, не стерпев афронта, уходит? Если он уходит, то перевод Ваш на его место — дело решенное в Вашу пользу. Если же он смирится и сядет на свое старое место, то... надо и Вам сидеть и ждать погоды. Перемена эта, «вероятно, состоится» (говорят), «но надо выжидать, а если П⟨отапов⟩ уходит, то Вы тотчас

будете на его месте». Об Одессе М⟨аркеви⟩ч говорил с графом, но это невозможно с сохранением выгод, предоставляемых Вам местными привилегиями. Вот Вам отчет о том, что я узнал. Теперь узнавайте сами в Варшаве и пишите сюда кому знаете. Если сочтете нужным вести что-нибудь через меня, то я, конечно, не буду неисправен и по мере сил постараюсь быть толков.

Мое собственное определение, кажется, совсем состоялось. Геор⟨гиев⟩ский сказал, что уже есть приказ, но я его еще не читал.

За критику благодарю и «приемлю оную за благо», но не совсем ее разделяю и не вовсе ею убеждаюсь, а почему так? — о том говорить долго. Скажу одно: нельзя от картин требовать того, что Вы требуете. Это *жанр*, а жанр надо брать на одну мерку: искусен он или нет? Какие же тут проводить направления? Этак оно обратится в ярмо для искусства и удавит его, как быка давит веревка, привязанная к колесу. Потом: почему же лицо самого героя должно непременно стушевываться? Что это за требование? А Дон-Кихот, а Телемак, а Чичиков? Почему не идти рядом и среде и герою? Я знаю и слышу, что «Оч⟨арованный⟩ стр⟨анник⟩» читается живо и производит впечатление хорошее; но в нем, вероятно, менее достоинств, чем в «Ангеле». Конечно, это так, — только вытачивать «Ангелов» по полугода да за 500 р. продавать их — сил не хватает, а условия рынка Вы знаете, как и условия жизни. Обижаться же мне на Вас за придирчивость ко мне я не думаю, так как в самой этой придирчивости вижу Ваше ко мне расположение. И скажу Вам откровенно, если Вы любите мой, так говоря, «талант», то я не только люблю и Вас и Ваше отношение к литературе, но считаю Ваши мнения самыми беспристрастными и основательными и потому чрезвычайно мне дорогими и милыми. На этот раз я с Вами не согласен, но это, конечно, потому, что мы не с одной точки относимся к задаче искусства. Затем о «Захудалом роде». О новом поколении не стоит говорить: я это «вокруг перста обовью», а тут самое трудное: чем изгажены князья Димитрий и Яков? Я хочу сделать так: бабушка навлечет немилость губернатора, и тот ей

отомстит доносом. Детей у нее *потребуют* в казенное заведение... (Это бывало!) Укажите, в какое заведение сдать их *поневоле?* Учитель будет сослан в отдал⟨енные⟩ губернии. Нравится ли это Вам? Пожалуйста, пособляйте, пока помощь так важна.

Душевно любящий Вас

Н. Лесков.

Мирре Александровне и всему приветливому семейству Вашему бью челом. Соловьев умер в Москве скоропостижно, от нервного удара.

66

А. С. СУВОРИНУ

11 августа 1874 г., Петербург.

Уважаемый Алексей Сергеевич!

Исполняя Ваше желание иметь мои автобиографические заметки, посылаю Вам записочку, в которой включено все, что я помню о своей литературной деятельности. Если это Вам на что-нибудь годится, то я буду очень рад и еще раз благодарю Вас за честь, которую Вы мне оказываете, интересуясь мною.

Всегда Вам преданный

Н. Лесков.

67

И. С. АКСАКОВУ

16 ноября 1874 г., Петербург.

Милостивый государь
Иван Сергеевич!

Александр Николаевич прочел мне сегодня Ваш ответ на его письмо, писанное по моему желанию. Я не знаю, почему я в эти тягчайшие минуты вздумал тревожить Вас, но я был уверен, что Вас моя просьба не обидит и что Вы сделаете все то, что возможно. Все это так и вышло... Примите, пожалуйста, мою искреннюю

благодарность и за участие и вообще за доброе слово. У Кокорева я побываю, но прошу Вас, если можно, пришлите мне Вашу карточку, с которою бы я мог к нему приехать, — это облегчает неприятность положения входящего просителя. Вы меня этим много обяжете. О том, что выйдет из нашего свидания, я расскажу Александру Николаевичу, а если это и Вас может сколько-нибудь интересовать, то извещу и Вас. Разочарований же каких, впрочем, не боюсь, — никаких удач ниоткуда давно уже не ожидаю. Чтобы иметь в это время успех и не бояться голодной смерти, надо было идти не тем путем, каким шел я, служа мою посильную службу русской литературе и русской мысли. «Р⟨усский⟩ в⟨естник⟩» был последний журнал, которого я мог еще как-нибудь держаться, терпя там значительное стеснение, — теперь и это кончено; а ни плодить материалистов других «Вестников», ни лепить олигархов «Р⟨усского⟩ мира» я не могу. Поэтому, чтобы не совсем отречься от литературы, остается на время отойти от нее в сторону и стать вне зависимости от всеподавляющего журнализма. При нынешнем тиранстве журналов в них работать невозможно, и мое нынешнее положение лучшее тому доказательство. Вы оказали мне, в письме к Ал⟨ександру⟩ Н⟨иколаевичу⟩, большую любезность; но представьте себе, что мне все говорят такие комплименты и в глаза и за глаза; а между тем... мне некуда деться! И так идет не с одним Некрасовым, а так шло и с Юрьевым, которому *первому* были предложены и «Соборяне» и «Запечатленный ангел»... Я понимаю, за кого и за что может мстить мне кружок бывшего «Современника» и вся беспочвенная и безнатурная стая петербургских литературщиков; но за что руками предавал меня в единую и нераздельную зависимость от Каткова продолжатель московской «Беседы»,— этого я о сию пору не знаю. А все это меня огорчало, томило мой дух, убивало мою энергию и веру в свои силы и в то же время давало надо мною ужасную власть людям, которые, кажется, великодушие знают только по доктрине. Теперь я все покончил и с ними: нет никаких сил сносить то, что я выносил долго. Кроме одного «Запечатл⟨енного⟩ ангела», который прошел за их недосугом «в тенях», я часто не узнавал своих собственных произведений, и, наконец, 2-я часть «Захудалого рода»,

явившаяся бог весть в каком виде, исчерпала или, лучше сказать, источила последние капли и моего терпения и всех моих сил душевных. Не ближе ли ко мне теперь станет господь, являющий силу свою в немощи человека?

Заключаю мои строки повторением еще раз моей признательности, как за Вашу готовность просить за меня, так и за доброе слово о моих работах. Вы мне среди всех зол нынешнего дня моего доставили отраднейшую минуту.

Не буду употреблять обычной фразы об уверении Вас в моем почтении, — я чувствую, что Вы знаете, что Вас уважают даже Ваши враги; а мне уж лучше позвольте любить Вас так — как это мне более привычно по отношению к роду Аксаковых.

Преданный Вам

Николай Лесков.

68

И. С. АКСАКОВУ

27 ноября 1874 г., Петербург.

Милостивый государь
Иван Сергеевич!

Я получил Ваше доброжелательное письмо и карточку, но не отвечал Вам до сих пор и не благодарил Вас потому, что хотел в моем ответе сказать что-нибудь о результатах свидания моего с Кокоревым, а его все не было в Петербурге. Он приехал только два дня тому назад, и я вчера же был у него, и попал, как кажется, весьма неудачно: утром я его два раза не заставал, и прислуга сказала мне, что самый удобный час для уединенного с ним собеседования — вечерний (7—8), когда он кончает свой послеобеденный отдых. Я так и сделал, но застал у него кучу гостей — людей мне совершенно неизвестных, и самого его за картами. Заход был совсем некстати, но назад пятиться было поздно, тем более что я вперед послал уже свою и Вашу карточки, — мы свиделись... К⟨окорев⟩ принял меня ласково и, доиграв партию, увел в гостиную, где сказал, что Вы ему обо мне говорили и что он рад мне служить чем может, но не знает, «под каким заглавием»? Ввиду его занятого в эту ми-

нуту времени и близкого соседства сторонних людей я не назвал и «заглавия», тем более потому, что оно-то и есть для меня самое худшее и едва ли не самое труднейшее для произношения. Я выразил ему свое сожаление, что застал его в такое неудобное время, и просил назначить мне другой час, а он просил меня приехать к нему утром через неделю, потому что эту неделю он очень занят, и мы на этом расстались. Всем этим я, однако, нимало не огорчился, а, напротив, оглянув, с кем готовлюсь иметь дело, весьма даже обрадовался, что вышло так, а не иначе, и сейчас же пишу к Вам, прося у Вас новой помощи и поддержки по части «заглавия». Из всех добрых людей, принимающих в эти минуты во мне участие, Вы вернее всех поняли мое положение, — мне надо выбиться из-под давления журнализма, и это вполне согласно с моим собственным взглядом и составляет самое горячее мое желание. Но как этого достичь? — Напечатать роман помимо журналов не штука: деньги, на это потребные, я могу найти и у родных, и любой типографщик мне покредитует; но ведь Вы, конечно, знаете существующие у нас разбойничьи отношения книгопродавца к автору: я издам роман, и он пойдет, а я все-таки буду биться и колотиться, да еще с долгом за плечами (чего я до сих пор не знаю). Поэтому содействие в форме субсидии или кредита мне не нужны. По моему мнению, чтобы поставить меня на ноги и дать мне возможность свободно служить литературе, меня нужно поосвободить хотя немного от полной от нее зависимости в рассуждении хлеба насущного. Издать один роман и, проедая его, снова спешить строчить новый, — на это не станет меня; а чтобы жить с семьею, мне все-таки нужно около 3 т⟨ысяч⟩ р⟨ублей⟩ в год. Одну из них я имею, по должности члена уч⟨еного⟩ ком⟨итета⟩ при гр. Толстом, а две мне хочется зарабатывать трудом не литературным — трудом, который бы требовал ума, добросовестности и прилежания, но не авторского творчества. Вот, мне кажется, мое «заглавие». Пособите, пожалуйста, мне его выговорить Вашими устами! Я помню Ваше письмо Александру Николаевичу. Вы совершенно правильно рассуждаете о несоответствии коммерческому делу людей литературных, но дело-то в том, что прежде, чем быть литератором, я был человеком коммерческим, —

я служил у Скотта и Вилькенса; я правил самостоятельное дело, получая около 6 т⟨ысяч⟩ р⟨ублей⟩ в год; мною всегда были довольны, и я, смею сказать, знаю Россию как свои пять пальцев. Я могу быть употреблен к коммерческому делу не в виде синекуры, а я могу трудиться с пользою для дела, и желаю того всемерно. Коронная служба, не скрою от Вас, мне далеко не мила, да и мне, в моем литературном чине, нельзя на это рассчитывать; а главное, она мне глубоко противна при нынешних порядках, и самого уч⟨еного⟩ комит⟨ета⟩ я держусь поневоле, — торговая же деятельность, которая дала бы мне средства урывать час-два для неспешных занятий литературою, особенно такая, при которой бы я мог освежить свои впечатления в столкновениях с новыми типами и новыми фактами русской жизни, была бы для меня самым желательнейшим. Словом: я хотел бы, чтобы меня взял к себе на службу кто-нибудь из добрых торговых людей, как брали Громеку, Данилевского, Полонского и им подобных. Взявший меня во мне литератора не заметит, а понадобится ему мое перо, — оно готово к его услугам, как перо его служащего. Вот мое «заглавие» в некотором подробнейшем развитии. Мне прежде всего *нужно отдохнуть от литературы*, чтобы служить ей несколько по-иному.

Если я изложил это понятно и для Вас убедительно, то, пожалуйста, поспешите мне на помощь, пока Кокорев здесь! Прошу Вас написать ему (Англ⟨ийская⟩ набереж⟨ная⟩, собств⟨енный⟩ дом), «под каким заглавием» он может быть мне полезен. Я человек от природы застенчивый и особенно неумелый в ролях искательного характера: облегчите мне, ради Христа, мои затруднения; я у Кокорева буду отныне через пять дней — в это время к нему может доспеть Ваше письмо, если Вы его напишете завтра или послезавтра; а это будет мне облегчением несказанным. Иначе я опасаюсь, что вследствие недоговоренности все может кончиться одним знакомством, которое, конечно, само по себе весьма интересно; но в это-то время я, к сожалению, потерял вкус ко всему на свете. По примерам, какие вижу, просьба моя Кокорева не может затруднять — коммерсантам тоже люди бывают нужны, а я работник и способный и не ленивый. Не к себе, так к другим он может меня пристроить — разумеется, если захочет.

Катков теперь здесь и совсем на меня надулся, но тем не менее отношения мои с «Р⟨усским⟩ в⟨естником⟩» я оставляю поконченными. Не думаю, чтобы это имело влияние на положение мое при Толстом, но не удивлюсь, если и там затрещит и станет рваться... Сам Т⟨олстой⟩, разумеется, ничего, — что я ему? — а другие могут быть влиятельнее. Вообще мне так мудрено, что могу кричать: кто в бога верует, — помогите!

Прилагаю Вам мою статью, посланную в поддержку освобождения России от новой повинности. Это должно интересовать Кошелева, и я усердно прошу Вас передать ему эту статейку и сказать, что 25 и 26 числа проект обязательно будет провален, несмотря на большинство (18 прот⟨ив⟩ 3), которое стояло за эту новую повинность. Три противника были: я, Майков и Страхов, и силою «доводов Кошелева» побеждали.

Нетерпеливо буду ожидать от Вас хоть коротенькой строчки.

Преданный Вам

Н. Лесков.

Графиня Толстая говорила мне, что Вы ее спрашивали: почему я знаю духовенство? Откровенно Вам отвечу: я сам этого не знаю.

69

И. С. АКСАКОВУ

5 декабря 1874 г., Петербург.

Милостивый государь

Иван Сергеевич!

Трудно сочинять благодарность, которая шла бы сколько-нибудь в меру доброго внимания Вашего к моим докукам, но зато я не стану пытаться соплетать слова в выражение моей Вам признательности: мне верится, что Вы будто знаете, как полно мое сердце Вашим участием. Не к себе будь сказано, я всегда думал, что ужасающая цифра самоубийств зависит весьма много от входящей в моду «юридической правды», которою заменяется милосердие, дорогое во время свое, как милостыня во время скудости. Утешь человека одною готовностью поддержать его, и он переживет день, а другой день при-

несет с собою и другие мысли и другие утешения. Общий эгоизм страшен безмерно, и ему мы обязаны нашею страшною цифрою самоубийств. Я, конечно, весьма далек от этого, и по обстоятельствам и по убеждениям, или, лучше сказать, мню себя быть далеким, по милости божией; но чувствую, сколь велика и важна радушная помощь в минуту тяжелой передряги. Ваши два письма меня оживили — особенно второе, где Вы журите меня за спешность. Вы правы: я отношусь ко многому — к своему положению и к не своему — «слишком нервно», но во-первых... круто пришлось, а во-вторых, так уж меня, видно, бог создал. Не осудите строго: бесстрастных ныне не недород. Что же касается данного случая, то Вы совсем и во всем правы, так что, пожалуй, и предсказания Ваши грозят сбыться: Кокорев, кажется, хочет быть мне полезным. Како будет сие? — не знаю, да и он сам, я полагаю, до сих пор не знает, но он обещал подумать, и я в том обещании слышу правду, а пока он просил меня прочесть заготовленную им книгу о бакинской нефти, за что я и взялся. Работы этой хватит недели на две, потому что он хочет иметь мои замечания на литературную часть. Сочинение это большое и, кажется, очень нескладное, и писал его некий Скальковский — человек Кокореву давно известный... Вот это немножко и щекотливо. Впрочем, поступлю по правилу: «делай что следует, и выйдет что нужно». Беседовали мы много и долго — от 9 до 12 утра — и потом вместе ездили в нефтяное общество. К⟨окорев⟩ действительно очень умен, а всего более быстр и проницателен; на меня он произвел впечатление хорошее: здесь между *да* и *нет* не существует той истомы, без которой ничего не умеют решать наши государственные мужи. Книги обе я ему отвез, и он их велел человеку положить у себя в спальне, добавив мне, что «Иван Сергеевич такої завет дал, чтобы непременно прочесть, — нельзя ослушаться». И за что это Вы за меня так работаете!.. Утешь и обрадуй бог Вас, как Вы меня утешаете и радуете Вашим горячим участием: меня браните, а сами за меня еще горячее меня идете. Что бы из этого ни вышло, но большое добро мне уже сделано: я оправляюсь духом и радуюсь, что знаю Вас, да еще вдобавок не по рассказам, а на сердце своем Вас изведал. Князь Алекс⟨андр⟩ Петр⟨ович⟩ Щербатов

(которого Вы знаете), посещая меня, прочел Ваши оба письма и ручается, что К⟨окорев⟩ сделает существенное дело, — дай бог его устами бы да мед пить.

«Захудалый род» продал Базунову, сколько вышло; 2-ю часть выпущу, восстановив все урезки; дописывать роман в целом не смогу теперь после этой встрепки и отложу до более спокойного времени; а вчера заходил ко мне кн⟨язь⟩ Вл. П. Мещерский и пожелал взять в свой «Гражданин» отдельные эпизоды 3-й части («Князь Кис-ме-квик» и «Смерть княгини Варвары Никаноровны».) Так, как с пожара, кусочки и разобрали. Занимаюсь рассказом для «Нивы» и довольно живою статьею *о штундистах* для «Гражданина», назову ее «Практические христиане на юге России»: пристойно это или нет? Я был там, изучил эту штунду и убежден, что это чистый пиетизм, родившийся не столько от чужеверного заноса, сколько от недостатка практической действенности в церковном обществе.

Преданный Вам

Н. Лесков.

Корша обязывают во что бы то ни стало взять иного редактора, причем, несомненно, имеется цель, кого он ни представит, всех браковать. Лонгинов тяжко болен — почти при смерти.

Пока приведет бог свидеться, прошу Вас принять мою фотографическую карточку.

Катков третьего дня был принят государем и говорил с ним в течение *22* минут (верно).

70

И. С. АКСАКОВУ

23 декабря 1874 г., Петербург, *(вечером).*

Милостивый государь

Иван Сергеевич!

То, что Вы называете «моими с Кокоревым делами», вчера вступило в некоторую новую фазу, и я сегодня все раздумывал, не надлежит ли мне сообщить Вам кое-что об этом, как вдруг в обед получил письмо от Вас,

Право, не знаю, как Вас благодарить за то, что Вы мною интересуетесь и возитесь терпеливо с моим устройством; а наипаче и предо всем преимущественно благодарю Вас за Ваши письма. Если Вы хотя сколько-нибудь знали меня по типам, худо или хорошо мною воспроизведенным, то Вы, конечно, знаете, что все мои симпатии клонят к простоте и искренности отношений, а потому едва ли мне нужно уверять Вас, что живые соотношения с Вами мне дороги бесконечно. Примите мой низкий поклон за Ваше обо мне памятование; а на письмо Ваше буду отвечать по пунктам. — Рассказы мои издавались спекулятором, и как они издавались — мне до того дела не было. — Штундисты меня очень занимают, и я сам становлюсь очень нетерпеливым к тому, что́ из моей работы выйдет. Заметочка, на которую Вы обратили внимание в «Гражданине», отнюдь не принадлежит к статье или к исследованию. Это именно так себе — un discours en l'air;[1] но ей посчастливилось: она понравилась очень многим, и «Гражданин» в своем завтрашнем номере, кажется, оповестит, что самое исследование тоже будет у него напечатано. На «Москву» я всегда был подписчиком (и по сей час храню корректуру статьи, написанной для «Бирж⟨евых⟩ в⟨едомостей⟩» в защиту Вашей газеты во время суда, но Трубников находил это «дело невыгодным»), однако статей Ваших о штундистах не помню. Все номера с останавливавшими мое внимание статьями у меня сбережены, а о штундистах ничего нет. Не знаю, как это могло случиться и во всяком случае прошу Вашей помощи и содействия: или укажите мне с точностью эти №№, или (если можно) пришлите их. Исследование еще все в голове, и всякий совет и всякое указание мне теперь сугубо дороги. План мой таков: я не буду держаться приема исключительно беллетристического и не стану избегать его, где он пригоден для придания образности. Кроме того, он в скользких местах гораздо удобнее со стороны ответственности. Затем я буду рассказывать истории, как их слышал и, не кривя душою, покажу, что штундизм идет не столько от немцев, сколько от небрежения нашего собственного

[1] Здесь: пустячок, безделка *(франц.)*.

духовенства, от дурной жизни клира и возмутительной холодности иерархов. Катехизис, составленный в Киев⟨ской⟩ дух⟨овной⟩ консист⟨ории⟩, я стану отвергать, как *сочинение столоначальника* (о чем имею право свидетельствовать со слов Авксентия Курки и епископа Филарета (ректора), играющего в истории со штундистами роль Гамалеева). У штунды теперь нет катехизиса, и я проведу параллели, чем штунда разнится с учением, изложенным в изъятом из обращения сочинении Новицкого. Из материалов я думаю пользоваться: 1) предисловием Юрия Федоровича к богословскому тому соч⟨инений⟩ Хомякова; 2) сочинением проф. Знаменского «О русском духовенстве»; 3) исследованием Нечаева «О пиетизме», 4) «Догматическою системою Оригена» и 5) сочинением Новицкого «О духоборцах» 1832 г. Начать я думаю это скоро — на сих днях, и если Вы можете меня познакомить с Вашими взглядами на штундистов, то, пожалуйста, не откажите в этом. За замечание Ваше о маймистах очень Вам благодарен и совершенно с Вами согласен. Это некстати; но оно бы не совсем так было, если бы не произошел довольно забавный казус: вслед за рассказом о маймистах шел рассказ о таких же делах, по нашей инициативе совершаемых, и вывод делался прекомичный, *но конец статьи не влез в номер, и его потеряли,* что Вы и можете видеть по тому, что под статьею нет моей подписи, — она вместе с концом осталась в типографии. Кокореву я прочитал (про себя, разумеется) творение Скальковского о нефти и уразумел оттуда что мог, составил реестр моих заметок и вчера их ему отдал. Его инженер и компаньон (Игнатьевский) высказались в пользу моего взгляда, и затем пока (или совсем) все тут. Книги я ему подарил, но не думаю, чтобы он прочел их: ему, я думаю, теперь не до того, у него сын болен и т. п. неладица. Конечно, кто захочет, тот на все найдет и время и средства; но а впрочем призовем пока святое терпение и благое молчание: они ничего не губят. — «Захудалый род» кончать невозможно, даже несмотря на то, что он почти весь в брульоне окончен. У меня руки от него отпали, и мне сто раз легче и приятнее думать о новой работе, чем возвращаться

на эту ноющую рану. Это свыше моих сил! Пусть пройдет время, тогда, может быть, что-нибудь и доделаю, а теперь... от этого много черной крови в сердце собирается. Надо прежде забыть.

Журавского мне было не дивно обрисовать, — я его тоже знал, и он едва ли не первое живое лицо, которое во дни юности моей в Киеве заставлял меня понимать, что добродетель существует не в одних отвлечениях. Статью Юрия Федоровича о Журавском я отлично знаю и пользовался ею для составления очерка о Журавском при основании журнала, который направляли Юрьев и Майков. Мне в то время были присланы Веригиным письма Журавского к Веригину, к Нарышкину и к Перовскому — письма, в высшей степени интересные для определения характера времени и выражения освободительных идей покойного Дмитрия Петровича. Тут же находятся спокойные, но меткие аттестации, положенные Журавским Нарышкину и Перовскому. Все это я собрал, переписал и, приведя в начале статьи слова Ю. Ф. Самарина о значении Журавского, послал мою статью в «Беседу» Юрьева. Мне казалось, что этой «Беседе» очень бы хорошо договорить по вновь открывшимся материалам то, что было не договорено Ю⟨рием⟩ Ф⟨едоровичем⟩ вскоре после смерти Журавского. Юрьев так это и понял, и у меня по этому поводу образовалась особая литература из писем почтенного Сергея Андреевича. Однако Майков или кто-то другой ему посоветовал не заниматься такими мелочами, как Журавский — борец-де только за права человека в России, в самую глухую пору, и Юрьев рассудил за лучшее сначала отложить, а потом совсем потерять мою статью... Дивными путями Писемский как-то проник, где ее надо было искать, и прислал ее мне уже гораздо после прекращения кошелевской или юрьевской «Беседы». Потом эти письма ездили к П. И. Бартеневу, и его они тоже не заняли: никакого эффекта нет. Жертвовал я их и Семевскому, — тому велики очень (их будет листа на 3). Теперь просит их у меня Шубинский, который заводит старину с портретами, но а где же взять портрета Д. П. Журавского? У меня нет его портрета. Нет ли у Юрия Федоровича? Какое бы доброе дело он сделал, если бы, имея таковой, ссудил им на время; а то земля русская дала бедняку

Журавскому три аршина, а русская литература не хочет дать трех листов для того, чтобы сберечь самые задушевные слова превосходнейшего из людей. И это при том страшном многословии и пустословии, о котором даже стыдно подумать!.. У нас зима, Патти и граф Сальяс, которого *вывозят*. Приезжал П. К. Щебальский, но ему не повезло.

Ваш *Н. Лесков*.

1875

71
И. С. АКСАКОВУ

1 января 1875 г., Петербург.

Милостивый государь
Иван Сергеевич!

Прежде всего поздравляю Вас с новым 1875 годом. — Желаю Вас видеть целым, здравым, долгоденствующим и благополучным во всех делах и начинаниях. Старый год канул в вечность, а сей новый всеми встречен как-то сумрачно и, так сказать, безуповательно: выдуманная на Страстном бульваре фраза о «пожертвованном поколении» облекается в плоть, и гнетет, и душит. Жить одним сознанием, что гимназисты учатся лучше, чем учились пять лет тому назад, — просто томление духа, и ничего себе так пламенно не желаешь, как того, чтобы не иметь никаких желаний. С такими мыслями встретили мы вчера полночь в кружке добрых людей (у Засецкой), где вспоминали Вас добром и пожелали, чтобы разомкнулись давно умолкнувшие уста Ваши, и тут же почувствовали, что на все это нет никаких надежд, что мы «пожертвованное поколение»... Дьякон Ахилла сидел под арестом «в пользу детских приютов», — мы благоденственно молчим обо всем серьезном в пользу читателей. Вот положение, ему же, по-видимому, несть конца!

Письмо Ваше я получил, взгляд мой на штундизм совершенно тот же, что и Ваш. Немец только потóм, примером доброй жизни, а мысль о протесте против церкви дали сами «требоисправители», которые в юго-западном крае бесчинны и нерадивы до крайности, а притом сверх меры своекорыстны и жадны. В Киевской губернии попы

сделались ростовщиками и бывают в сем ремесле жесточе и немилостивее жидов. В самом городе, куда, как Вам известно, сходятся летом богомольцы со всей Руси и из земель, полно единоверных, небрежение в богослужении и наглость в обирательстве неописуемы. Мы имели семейный обычай служить по отце заупокойную обедню в июле и обыкновенно съезжаемся все к матушке в Киев, и платили причту не скупо, но они уже так изучились «скорохвату», что *не умеют* отслужить лучше. Покойный Анд. Муравьев любил мешаться не в свое дело, но в ссорах с Арсением за возмутительное бесчинство в церквах он был прав. Не знаю, читали ли Вы в «Русском мире» мою статейку (заметку для археологов), что в Киев⟨ской⟩ лавре монахи по леностии и небрежению *перемешали мощи* и не могут их теперь разобрать!.. Замечательно, что они это съели молча и ни слова мне не ответили. Так там и все, по целой губернии. Мне неловко рассказать, чтó отвечал Авксентий Курка Новикову (при мне и при еп⟨ископе⟩ Филарете). Тот говорит:

— Разве все ваши священники недостойны почтения?

А Курка отвечает:

— Мы того не знаемо, яки вони уси; а що наш батюшка, то вин такій, що як владыко митрополит у нас були, то вони тода у пана, у двори кушали, а потим того на дорози до церквы подъихали... Мы стоимо и батюшка... А владыко як побачили батюшку, та отразу ему кажуть, що ты дурак; ну и наши тода говорят: що же як винь дурень, бо вже его сам митрополит дурнем зове, то що же нам от его божьего научения пытати и т. п.

А владыка, по циничному, но верному выражению Дундукова, блюдет одно: «тяжелые обеды, да легкие беседы», — вот он и весь тут, на кого вся надежда!

Вы мне ничего не ответили: нет ли у Юрия Федоровича какого-нибудь портрета Журавского? Тогда Шубинский бы охотно напечатал о нем статью, которую можно составить по имеющимся у меня письмам. Не годится ли для Об⟨щества⟩ люб⟨ителей⟩ р⟨оссийской⟩ сл⟨овесности⟩ записка Журавского об улучшении быта крестьян? Она тоже у меня. — Кокорев не позволяет ни из чего заметить, помнит ли он меня? Работу ему нужную я сделал, как должен, и на праздниках у него побывал —

он не отзывается. 1-м № «Пет⟨ербургских⟩ вед⟨омостей⟩» в «подлежащем ведомстве» недовольны — желали, вероятно, большей преданности. Как он взялся идти под столь тяжелыми и несогласимыми давлениями, — это удивительно; а если он их вынесет, то будет еще удивительнее.

Преданный Вам

Н. Лесков.

Менгден вчера говорила кн. Щербатовой, а та мне, будто гр. Л. Н. ⟨Толстой⟩ опять взял роман от Каткова? Чрезвычайно любопытно: неужто это взаправду так?

72

И. С. АКСАКОВУ

22 января 1875 г., Петербург.

Достоуважаемый Иван Сергеевич!

Спешу не замедлить ответом на письмо Ваше от 18-го сего генваря, где Вы пишете о дагерротипе Журавского, о штундистах, о книге Щапиной и о Григорьеве.

С Киевом я уже ссылался письмом об изображении Журавского, но там ничего нет и искать нечего. — Исследования о штундистах я бы очень рад был отдать редакции «Православного обозрения», против которого ничего не имею, но Вы, вероятно, видели уже, что это исследование Мещерский обещал подписчикам «Гражданина»... Как же теперь с ним заговорить об этом? Помоему, это очень неладно, да и не вижу к тому же причины или побуждений, — мне кажется, что бесцензурный и наивно смелый «Гражданин» легче пронесет эту историю, чем «Прав⟨ославное⟩ обозр⟨ение⟩». У них можно свободно говорить по вопросам экзегетики, но по живым, бытовым вопросам журналы, находящиеся в зависимости от духовной цензуры, мне кажется, совсем неудобны, и «Гражданин» в этом случае заслуживает предпочтения. Так и буду просить Вас передать почтенному редактору,

сделавшему мне честь своим вниманием, за которое прошу его от меня поблагодарить. Если же он найдет, что я рассуждаю не право, то есть что они могут быть свободнее, чем я думаю, то пусть мне объяснит об этом что-нибудь поподробнее: может быть, я найду удобным выделить для сочинения о штундизме часть, — даже самую интересную (напр⟨имер⟩, сравнение нынешнего штундистского учения с учением, описанным в исследовании Новицкого о духоборах, и определение значения, какое имеет у этих сектантов известная книга Ионикия Голятовского «Ключ Разумения», 1654 г.). Тут можно стать на строго научную точку и рассказать много интересного *в виде необходимых объяснений* к тексту и контексту. Если это редакторам «Обозрения» понравится, то об этом можно подумать и, пожалуй, можно и сделать. Теперь, принимаясь за дело, я хватился многого, о чем, в Киеве бывши, позабыл, и написал еп⟨ископу⟩ Филарету в Киев и в⟨ысоко⟩п⟨реосвященству⟩ Агафангелу в Житомир, но не знаю, будет ли их архипастырское внимание мне благоспешно. (Я, например, ничего не перемолвил об отношении штундистов к молитве за усопших... Глядя на страдания живых, позабыл о мертвых, а теперь все это затрудняет.)

В министерстве нар⟨одного⟩ просвещения есть комитет один, — он называется «Ученый»; но в нем два отдела: отдел чисто учебный и другой — для книг детских и народных. Я состою членом последнего (вместе с Майковым). О сочинениях г. Щепиной или Щапиной я имею понятие, потому что она уже представляла некоторые свои сочинения в министерство, и их рассматривал я. Помнится, что они именно «ничего», и их, кажется, «допустили». «Одобрение» у нас не дается за достоинства отрицательного свойства, — нет: в Комитете существуют *три* категории: 1) *Рекомендовать* (значит *обязательно* для школьн⟨ых⟩ библиотек), 2) *Одобрить,* то есть похвалить, указать на книгу и 3) *Допустить.* Последнее касается до тех, которые, как Вы говорите, «ничего». Впрочем, можете быть уверены, что все, что лишь только возможно сделать для обратившейся к Вам труженицы, будет сделано со всеусердием и добрым рачением. Пусть пошлет свои книжечки при просьбе *на простой бумаге,* адресуя в Ученый к⟨омитет⟩ при м⟨инистерстве⟩ н⟨арод-

ного⟩ п⟨росвещения⟩. Просьба должна быть самая простая и короткая. Формы никакой нет, — пусть выразит то, что хочет, и все тут. А чтобы ускорить дело, пусть она, послав просьбу и книги, тогда же известит меня, что они посланы. И я и Майков поддержим, сколько можем.

Ориенталист на полицеймейстерском поприще еще не показал ничего нового: до сих пор он, по-видимому, держится как человек пришлый, а не хозяин. Лонгинов еще канает, хотя совершенно безнадежен: вода дошла до живота, но все тянет. В так называемом «большом свете», ныне не чуждающемся более ни концессионных взяток, ни служебных интриг, говорят, что «это с его стороны даже неделикатно умирать так долго». На его место одни прочат Мартынова (губерн⟨атор⟩ из Полтавы), другие — Мансурова, третьи — Маркевича, а четвертые, наконец, думают, что будет оставлен Григорьев; а наверное никто ничего не знает, и потому-то очень тяготятся «неделикатностью Лонгинова», который и в сей смертный час неравнодушествует к «направлению» вообще и судьбе «Русского мира», в частности. Дивная печаль на пороге двери, открывающей неведомый путь! Вчера я слышал от людей случайных снова речи о Маркевиче, но говорят, что находят неудобным предать всю печать в руки «к⟨атков⟩ского агента», и, впрочем, право, теперь все возможно: проект Кузьмы Пруткова о введении единомыслия в России становится, по-видимому, возможным. Долго ли это так будет? — Духи Журавского ничего об этом не знают, и духи Александра Николаевича Аксакова тоже не сюда смотрят, а Черняев вчера ходил к m-me Фельд гадать на картах г-жи Ленорман, но и она ничего не сказала. Кокорев тоже ведет себя как дух. Хотелось бы знать по крайней мере, доволен ли он тем, что я для него сработал? Знаете: это просто даже уже смешно и весело становится! А впрочем, все как-то живу и — право — удивляюсь даже, а бог как-то помогает.

Низко Вам кланяюсь

Н. Лесков.

Кн. Ал. Васильчикову газета положительно не дозволена, а дела с Черняевым как-то у них позамялись.

Он этим очень недоволен и вообще продолжать издательства не желает.

Вот достойная внимания политико-экономическая новость: в Главном пр⟨авлении⟩ по дел⟨ам⟩ печати измыслили, что они потому не разрешают новых изданий, *чтобы создать ценность изданиям существующим.* Каковы доброхоты!

73

И. С. АКСАКОВУ

27 января 1875 г., Петербург.

Многоуважаемый Иван Сергеевич!

В. А. Кокорев вчера с вечерним поездом уехал в Москву и теперь должен быть там. В Москве он пробудет дня три. Перед отъездом его мы с ним виделись два раза, и он обещал мне какую-то работу. В чем эта работа будет заключаться — не знаю; но во всяком случае, если бы Вам довелось с ним видеться и заговорить обо мне, — порадейте за меня немножечко. Судя по тому, что он платил за работу «некоему», я признаю эту плату несоразмерно щедрою (напр⟨имер⟩, 4 т⟨ысячи⟩ за компиляцию о нефтяном промысле), и вообще я работе рад, но мне было бы вдвое милее, если бы он платил мне не сдельно, а вообще взял бы меня для своих работ, чтобы я делал все, что потребуется ему и что мне по силам. Это бы нас сблизило гораздо более, и, бог весть, может быть и я бы ему пригодился, как он теперь не думает. Во всяком случае: не найдете ли возможности бросить ему эту мысль?

Ваш *Н. Лесков.*

74

А. Н. ОСТРОВСКОМУ

14 февраля 1875 г., Петербург.

Милостивый государь
Александр Николаевич.

Я получил Ваше письмо и считаю себя обязанным поблагодарить Вас за этот скорый ответ, значительно разъяснивший мне дело. Соображения Ваши вполне

верны, и я, признаюсь Вам, не ожидал, чтобы Вы могли отнестись к этому иначе, а писал к Вам под давлением неотступных просьб и ввиду недоразумений, к которым постоянно припутывали Ваше имя. Мне постоянно напоминали, что об этом просите Вы, принимая в судьбе осужденного особое участие по каким-то Вашим семейным отношениям. Я был в величайшем затруднении, колеблясь между чувством сострадания и ясным пониманием неуместности и бесполезности всего стороннего вмешательства. Мне говорили, что Вы можете что-то сказать и указать и что от Вас ежедневно ждут письмо, а между тем все настаивали, чтобы я ехал и просил. Мне ничего иного не оставалось, как отнестись к Вам прямо, и я это сделал и очень благодарен Вам, что Вы мне разъяснили дело. Понятно, что как мне ни прискорбно отказать бедной матери, но я в ее пользу ничего сделать не могу.

Пользуюсь случаем при этом просить Вас верить, что я действительно высоко ценю и уважаю Ваше имя.

Ваш покорный слуга

Н. Лесков.

75

П. К. ЩЕБАЛЬСКОМУ

23 февраля 1875 г., Петербург.

Я почти такого ответа и ждал от Вас, уважаемый Петр Карлович, и ответ сей признаю справедливым, тем более что «грязная история», раскрываясь, обнаруживает такую тину, что от нее надо желать быть только подальше. Бобоша пал бесславно и низко и сносит свое падение со всей гадостью души мелкой и ничтожной,— визжит как высеченный щенок и не находит в себе сил обратиться к универсальному средству наших опальных дедов — сбежать в свои местности на Галиче и дать стихнуть мерзкому скандалу, доколе его заменит новый, еще мерзейший. Нет: он жалуется, что «взял не в том смысле, — не как взятку (или, по выражению покойного

Н. И. Соловьева, «братку»), а *как гонорар вперед за свое перо»*... Понимаете, что все это делает его еще более жалким и смешным и ничему не помогает, но он все бьется устоять на этом и хлопочет, чтобы его «принимали». На 4-й день скандала он собрался в Москву к К⟨атко⟩ву, которому в эти дни писал 3 письма и 2 депеши и ни на письма, ни на депеши ответа не получил. Насколько меня спрашивали, я не советовал и ехать, тем более что ко мне явился кн. Ш⟨али⟩ков с предсказанием, что К⟨атко⟩в Бобку *не примет. «Пусть-де прежде очистится»*. Однако он поехал, и вот уже неделя, как сидит там и все просится впустить, а тот ему не отвечает и к себе не пускает. Я говорил Ш⟨али⟩кову, что ведь, однако же, он оказывал М⟨ихаилу⟩ Н⟨икифорови⟩чу большую преданность, — нельзя быть с ним чересчур суровым, но Ш⟨аликов⟩ только сделал удивленные глаза и отвечал: «За что деньги заплочены»... Так этот Бобо и теперь *там* и пишет оттуда жене, что «надо туда совсем переехать», — все вероятно из того, чтобы встретиться с М⟨ихаилом⟩ Н⟨икифоровичем⟩ хоть на бульваре и броситься ему в ноги (чего Бобо, несомненно, желает и что привести в исполнение может). Еничку напрасно сожалеете: его фонды стоят высоко, и его во всем оправдывают: «его-де вывели из терпения». Он давно расстроился со своим антрепренером и, прекратив с ним свидания, начал ссылаться письмами: в этой-то корреспонденции и вскрылось все дело. Б⟨айма⟩ков написал в одном письме, что он не может отдать К⟨ат⟩кову газету за 120 т., потому что кроме сих 120 он «дал обязательство выплатить 50 т. *одному известному лицу в министерстве»*. Еничка списал с этого письма 4 копии и послал их одну К⟨атко⟩ву, одну гр. Т⟨олсто⟩му, третью в III отд., а четвертую — самому государю. Таким образом, все вдруг было обнято. Следствие (негласное) производил Пот⟨ап⟩ов, и Бобо выгнан в 24 часа, со снятием с него даже придворного звания. Перед рассылкою сих депеш Енька держал совет с Феклистом и подозрительным нарцизом, которые «недоумевали, кто это *известное лицо*», и будто опасались, не наводит ли это тень на них, и присоветовали все вскрыть... Таким образом, за Христа невинного один Пилат умыл руки, а за проворовавшегося Бобу трое измылися. Теперь Б⟨ай-

ма⟩ков за этот месяц прислал Еньке вместо 500 р. — всего 150, прибавив, что и «это много». Оказывается, что у них никакого письменного условия нет; но как они развяжутся, — это интересно, ибо выражена высокая воля, чтобы Енька был укреплен на этом месте; Б⟨аймаков⟩ же не отступается от газеты, если ему не возвратят его гласных и *негласных* расходов, всего 200 тысяч. Всего этого я не знал, когда писал Вам, а теперь с ужасом обоняю это смердящее болото и, конечно, не хотел бы видеть Вас в тумане его испарений. Бобо свое условие на 60 т. 12-тилетней аренды, разумеется, уничтожил и получил только 5 т. за первый год, но и в них дал *расписку*, которая представлена к делу. Желая выручить расписку, он дал Б⟨аймако⟩ву на 5 т. заручных векселей Кушелева, и Б⟨аймако⟩в векселя взял, а *расписки не отдал* и теперь по векселям взыскивает, и уже 1 т. взыскал. Общество выражает свое великолепное негодование, не разбирая, что оно негодует не на мерзость поступка, но на его глупую *неловкость*, и злорадство непойманных плутов отвратительнее изловленного неумелого Бобки, который тем провинился, что вошел в сделку письменную, а не взял «братку» наличными и не свез их в банк... До чего все это отвратительно — рассказать Вам не могу: это падение заносчивого хлыща с его двухаршинной высоты взбуравило такие нравственные подонки общественных страстей, что мнится, не стоят ли уже какие-нибудь вестготы за шлиссельбургскою заставою вашего сгнившего Рима? Что за подлые и жестокие сердца! что за низкие умы! Теперь недостает, чтобы Боба, возвратясь после своего московского сиденья, вскинулся на К⟨ат⟩кова и Т⟨ол⟩стого и начал вскрывать какие-либо их тайности. Приступ к этому он уже сделал и обнаружил, что К⟨атко⟩в хочет взять газету и Б⟨айма⟩кова и иметь Еньку своим петербургским приказчиком. Теперь остается это доказывать, — что и нетрудно. О фельетонистах тоже напрасно мечтать: всем редакциям «рекомендовано» ни одним словом не касаться этого дела, и «Голос» лишен права розничной продажи за самый отдаленный намек, заключающийся в словах: «мы, граф С⟨алиас⟩, не рапортуем там, где Вы рапортуете». Светские люди из *кружка чистого* гадливо молчат или говорят, что «М⟨аркеви⟩ч сделал для «Пе-

тербургских ведомостей» — то самое, что он делал всегда для «Московских ведомостей», то есть продал министерство Б⟨аймакову⟩, как продавал его К⟨атк⟩ову». Правды тут, разумеется, мало, но *нечто* к делу идущее есть. О двухклассных школах сейчас ничего Вам не могу сообщить и сомневаюсь: есть ли их правила напечатанные? По крайней мере мы их очень недавно еще обсуживали, и я не думаю, чтобы они были уже готовы. Вашим всем кланяюсь. Внимания «Р⟨усского⟩ вестн⟨ика⟩» к себе не заметил и не надеюсь его заметить. Будьте здоровы и долгоденственны.

Ваш *Л.*

P. S. Над Еныкою сбылась половина предсказания m-me Ленорман, записанное в «Некуда», — теперь должна исполниться вторая половина: он должен быть «первым министром».

76

И. С. АКСАКОВУ

1 марта 1875 г., Петербург.

Только хотел писать Вам о покровительствуемой Вами г-же Щепиной, как получил Ваше письмо, с которым не только вполне согласен, но даже уже и поступил таким образом. Кокорев приглашал меня на днях написать статью о Сиб⟨ирской⟩ ж⟨елезной⟩ дороге по северному направлению (в пользу сего последнего). Я взял бумаги, перечитал и *убедился*, что северное направление имеет за себя довольно много, но писать не стал: 1) потому что о сем уже слишком много написано, и пришлось бы только компилировать да рекламировать, а во-2) потому, что К⟨окорев⟩ хотел напечатать статью непременно в «Отеч⟨ественных⟩ зап⟨исках⟩», в коих я участвовать не хочу, особенно же нахожу недостойным снабжать их моею работою под сурдинкою. Я обо всем этом отписал Кокореву откровенно и получил от него письмо тоже очень теплое и задушевное, в котором он просит меня не прощаться. Я его благодарил и ответил,

что очень рад его знакомству; рад буду и работе, которая может случиться (особенно сопряженной с поездкою с описательной целью), но ни на что не напрашивался и отошел, как говорят, с «достоинством». На том дело наше и кончено. Я на него ни в малейшей претензии и думаю, что Вы не ошибетесь: он мне даже желает пригодиться, но ему не до меня. Мельница его не озабочивает: он свое (700 тысяч) получит, как собственник, не с двух обществ, так с Овсяникова, но сей почтенный муж может иметь историю, которая способна пугнуть насчет географии... А как он был нескромно весел, когда утром на другой день при мне влетел в кабинет Кокорева с восклицанием: «А мы нонче блины пекли!..» О деле этом слухи самые мерзкие, но К⟨окоре⟩ва они нимало не марают и даже вовсе его не касаются. За совет и отличное истолкование моих опрометчивых слов усердно Вас благодарю и повторяю: я уже так и сделал, как Вы пишете. Делать «все, что потребуется», я разумел о роде занятий, то есть ездить, писать, с людьми говорить и т. п., но слава богу, что и я ему этого не сказал, и Вы тоже.

Редактор «Правосл⟨авного⟩ обозр⟨ения⟩» был у меня на второй день маркевичевской истории, и при нем тут ко мне всё прибегали любопытные люди с вопросами, чтó сей сон значит? Так что я не успел с ним путем перемолвиться. Я просил его зайти ко мне вечером, но он зашел опять на другой день в часы моего обыкновенного выхода на прогулку и опять меня не застал; между тем я хотел с ним побеседовать о плане работы и вручить ему экземпляр нового издания «Захудалого рода», напечатанного с моей, а не с катковской рукописи, с тем чтобы он передал эту книжку Вам. Так это и не состоялось. — От Щепиной я получил письмо, по дамскому обыкновению без адреса, и потому не мог ей отвечать, хотя письмо ее, по моему мнению, требовало с моей стороны скорого и утешительного слова. Не откажитесь ей передать следующее: «Легкое чтение» рассматривал действительно *я* и докладывал его Комитету в заседании 7-го мая. Книга эта по представлению моему *допущена в школьные библиотеки,* но г-же Щепиной об этом не дано знать опять потому, что и в просьбе ее *нет адреса,* и потому департамент распорядился только напе-

чатать об этом в министерском журнале. В каталог же ее «Легкое чтение» будет включено, о чем она и получит теперь бумагу, которую я просил делопроизводителя послать по Вашему адресу. Новые книги г-жи Щепиной получены только на сих днях и переданы мне же: я их не задержу и, сколько можно, за них порадею. — Салиас не покидает своего с честью им занятого поста, а, напротив, укрепляется зело-зело: свыше внушено трем министрам упрочить его положение. Баймаков, говорят, в отчаянии и не знает, как его выжить? О новом редакторе нет и речи, и если бы Б⟨аймаков⟩ стал об этом хлопотать, то все его хлопоты останутся втуне, доколе новый большой скандал не даст ходу дел иного направления. Здесь ругают Каткова за «жестокосердие», что он не принял Маркевича, и ругают подло, зло и напрасно; напрасно же обвиняют его в том, что будто он хотел откупить за 120 тысяч «П⟨етербургские⟩ вед⟨омости⟩» у Баймакова и держит Салиаса своим петербургским приказчиком. После побега Маркевича в Москву жена его просила меня просмотреть в беспорядке брошенную им переписку по этому делу, и я *самоличным чтением* убедился, что Катков этого не желал и даже *был против* передачи «П⟨етербургских⟩ вед⟨омостей⟩» в руки министерства. Салиаса выписали Феоктистов и Маркевич, которым он и обещал письмами из Женевы «никогда не забыть их добра» и при этом так прельщал их своим profession de foi: [1] «Я не красный, даже не розовый или белый, а скорее подхожу к лазурному, *голубому, жандармскому*». Это так сказано всеми словами, а Ф⟨еоктистов⟩ и Марк⟨евич⟩ сим цветом пленились. Письмо это ходило *к начальству,* которое его тоже апробовало, а ныне оно ходит по рукам публики и никакого секрета не составляет, почему я и пишу о нем. В обществе все не пойманные до сих пор взяточники и картежники ревниво стремятся заявлять свое великолепное негодование к *неловкости* М⟨аркевич⟩а и тем делают невозможным негодование более правильное. Катков едет сюда 3-го числа. Нужно ожидать еще большей игры.

Ваш *Н. Лесков.*

---

[1] Символом веры *(франц.).*

77
И. С. АКСАКОВУ

19 марта 1875 г., Петербург.

Достоуважаемый Иван Сергеевич!

Спешу написать Вам, что порученные Вами моему опекунству литературные произведения г-жи Щепиной благополучно проведены мною через комитетские прения. Во вчерашнем заседании я доложил обе книги, и обе они *«допущены* в библиотеки средних учебных заведений». В народные школы они, как Вы сами судить можете, не годятся и по содержанию и по цене, сравнительно чрезвычайно высокой. Одной из этих книг я ходатайствовал о высшей апробации, то есть об *одобрении,* но должен был уступить общему голосу моих сочленов и удовольствоваться *допущением.* Эта речь шла о «Часах досуга», где, как на грех, г-жа Щепина на 91-й стр. прошлась на счет латинского учителя. Пусть она поверит, что мне стоило труда спасти ее книгу с помощью вольного толкования этого места, и вперед пусть латинских учителей или не трогает, или только хвалит. Если посылать книги в министерство, то ведь невозможно же не иметь в виду взглядов, руководящих всеми действиями этого министерства в данную минуту. Как Катерина Владимировна этого не сообразила? Я сам не нахожу удобным писать ей об этом, но Вы, может быть, сочтете возможным предупредить ее на этот счет. Она пишет мне, что Вы советуете ей сделать объявления, но, по моему мнению, с этим надо повременить, потому что выгоднее публиковать разом о всех трех книгах, а этого нельзя сделать, пока К⟨атерина⟩ В⟨ладимировна⟩ не будет извещена о допущении книг официально. Я прошу Вас сказать ей, что мое частное извещение не должно быть ей выдаваемо во всеобщее ведение: у нас на это смотрят ревниво. Впрочем, я попрошу в департаменте, чтобы ее уведомили как можно скорее, и тогда она может объявлять.

Кстати, если позволите, желаю сказать Вам несколько слов по поводу г-жи Щепиной, которая была так искрення, что сообщила мне нечто о своем положении. Очевидно, ей нужен заработок, но едва ли она стоит на

своей дороге (конечно, в литературном только отношении). Она пишет бог весть как легко и прозою и стихами, но вряд ли она когда-нибудь может сделаться детскою писательницею, или по крайней мере *теперь* она к этому положительно не готова. Не зная ее, я по одним ее письмам (написанным всегда горячо и бойко), вижу, что у нее нет устойчивости в мировоззрении и спокойного отношения к объекту, без чего невозможно написать детскую повесть не рядового достоинства. По-моему, таких способных, но не управляющих собою дам всегда бывает полезно ставить в такие условия, чтобы они не валяли наскоро во всю руку, а обдумывали бы, «что льзя, и то, чего не можно». Для этого всего лучше им упражняться некоторое время в составлении очерков по известным источникам, и мне приходит в голову даже К⟨атерине⟩ В⟨ладимиров⟩не мысль такой работы. Назад тому некоторое время попечитель Варш⟨авского⟩ уч⟨ебного⟩ окр⟨уга⟩ стал составлять книжечки о русских людях для ознакомления с ними школяров польского края. Книжечки эти все пишутся крайне бесталанно, а между тем министерство, по-видимому, неравнодушно к этой идее. Почему К⟨атерине⟩ В⟨ладимировне⟩ не написать томика два о борцах за русскую народность на окраинах России? Я уверен, что если бы Вы ей надоумили, как с этим обойтись, то это были бы произведения далеко более интересные и полезные, чем вечные Петеньки и Оленьки детских повестей невысокой пробы. По-моему, хорошо бы составить очерки эти, начиная с северо-западных святых правосл⟨авной⟩ церкви. Я боюсь сказать К⟨атерине⟩ В⟨ладимировне⟩, но Вам выскажу мое подозрение, что министерство, может быть, даже приобрело бы такую книгу или по крайней мере *рекомендовало* бы ее (то есть сделало бы ее обязательною), а это значит 30—40 тысяч экземпляров. Удачными книгами в этом роде люди составляют состояние (например, автор книги «Почему и потому» уже купил каменный дом в Петербурге). Над повестями же она будет трудиться, и все это будет меледа... Я ей пишу сегодня же, но сих моих соображений в подробности не высказываю, ибо, не зная ее характера, опасаюсь быть виновником каких-либо неосторожных увлечений; а Вы обсудите мои слова и если найдете их имеющими смысл,

по приложимости к способностям К⟨атерины⟩ В⟨ладимиров⟩ны, то сообщите ей эти мысли и направьте ее на путь, как взяться за дело. Я уверен, что это будет самое выгодное в денежном отношении и выработает ее как писательницу.

Простите меня, что я Вам все это так подробно расписываю, но мне кажется, что этой женщине надо помочь выбрать себе труд, более соответствующий ее силам и более благодарный.

Глубоко чтущий Вас

Н. Лесков.

78

И. С. АКСАКОВУ

23 марта 1875 г., Петербург.

Я получил Ваше письмо, уважаемый Иван Сергеевич, и имею побуждение отвечать на него сию же минуту: дело в том, что я позавчера отдал Базунову сверточек, подписанный на Ваше имя в Москву, и просил переслать это в магазин Соловьева. В этом тючке 4 экз⟨емпляра⟩ нового издания «Захудалого рода»: 1) для Вас, 2) для Ю. Ф. Самарина, 3) для Влад⟨имира⟩ Петр⟨овича⟩ Бегичева и 4) для К. В. Щепиной, которая просит меня подарить ей какую-нибудь книгу моей стряпни. О посылке Юрию Федоровичу оговорюсь, что хотя я лично его и не знаю, но слишком хорошо знаю его как писателя и потому, кажется, могу послать ему книгу?.. А впрочем, Вы ему скажите, что я извиняюсь перед ним за этот поступок, а совершаю его от избытка сердца. Что же касается экземпляра, посылаемого Бегичеву, то отошлите, пожалуйста, эту книжечку Киселевой (дочери Бегичева), которая живет в одном доме с Вами. Если же она теперь не живет там, то вручите книжку при случае Конст⟨антину⟩ Шиловскому или, наконец, всего проще — оставьте ее у себя, пока Бегичев пришлет за нею.

Но эти распорядки уладятся, а напишете ли Вы мне: как покажется Вам 2-я часть «Захудалых» в моем, а не в катковском сочинении? Мне очень совестно просить Вас пересматривать книгу, которая уже не имеет для Вас интереса новизны, но я не могу отказать себе в пла-

менном желании знать Ваше мнение, прав или не прав я был, остановив печатание романа? Я не говорю о принципе, но прав или не прав был я просто в рассуждении достоинств романа? Мои друзья имеют не одинакое об этом мнение, но все их мнения в сем деле для меня не имеют значения, а Ваше, напротив, значит очень много. Не откажите мне в этом, дорогой и милостивый праведник русского слова! Ваше мнение и мнение Щебальского я признаю для себя судом, против которого не пророку, не возоплю, ибо верю бесповоротно в его и Ваше доброе ко мне расположение и прямоту. Мне кажется, что перекрещивать *Жиго* в *Жиро* не было никакой надобности; что уничтожать памфлет Рогожина против Хотетовой (А. А. Орловой) не было нужды; что от перемены мною сочиненной для нее фамилия Хотетова в Хоботову дело ничего не выигрывало; что старой княгине можно было дозволить увлечься раздариванием дочери всего дорогого, причем дело дошло до подаренья ей самой Ольги Федотовны, и пр., и пр. — Вообще: скажите Ваше прямое, аксаковское слово, и оно будет мне мило. Дмитрий Самарин, встретясь со мною недавно у Щербатовых (Александра Петр⟨овича⟩), сказал мне, что, памятуя «Захудалый род», он помнит и «огромную утрировку, допущенную в лице Дон-Кихота Рогожина». Когда бы мне это говорил петербургский сановник или даже писатель реальной школы, я бы не обратил на это внимания, но Дмитрий Самарин ведь не мог же не знать наших чудаков, которыми *кишели* мелкопоместные губернии (например, Курская и юго-западные уезды Орловской, где я родился и вырос). Дон-Кихот лицо почти списанное с памятного мне в детстве кромского дворянина и помещика 17 душ Ильи Ив⟨ановича⟩ Козюлькина, который вечно странствовал, а приют имел у Анны Н. Зиновьевой. Он был очень благороден и честен до того, что требовал, чтобы у него в указе об отставке после слова «холост» было дописано: «но детей имеет». Он служил попечит⟨елем⟩ хлеб⟨ного⟩ магаз⟨ина⟩ и замерз в поле, изображая среди метели Манфреда. Почему этих чудаков нельзя вывести, чтобы сейчас даже хорошие люди не закричали, что «это утрировка»? А я утверждаю, что тут утрировки нет. Кто же прав? Однако интересно знать, что Вы об этом скажете?

Несравненный «граф» Данилевский так находчив, что до него, «разумеется, не дотянешься: он теперь, вероятно, еще у Вас в белокаменной и поучается у Михаила Петровича или даже что-то читает в Общ⟨естве⟩ любит⟨елей⟩ русской словесности. По слухам, его туда будто бы даже вызвали, чтобы прослушать его Петра III-го. Чудачок он!

Что же про «Анну Каренину»? Я считаю это произведение весьма высоким и просто как бы делающим эпоху в романе. Недостаток (и то ради уступок общему говору) нахожу один — так называемая «любовная интрига» как будто не развита... Любовь улажена не по-романическому, а как бы для сценария... Не знаю, понятно ли я говорю? Но я думаю: не хорошо ли это? Что же за закон непременно так, а не этак очерчивать эти вещи? Но если это и недостаток, то во всяком случае он не более как пылинка на картине, исполненной невыразимой прелести изображения жизни современной, но не тенденциозной (что так испортило мою руку). Однако у нас роман *дружно ругают* (Дм⟨итрий⟩ Самарин тому свидетель): светские люди раздражаются, видя свое отображение, и придираются к непристойности сцены медицинского осмотра княжны Китти, а за настоящими светскими людьми тянут ту же ноту действительные статские советники, составляющие теперь довольно значительную общественную разновидность, с претензией на хороший тон. Литературщики злобствуют потому, что роман появляется в «Р⟨усском⟩ в⟨естнике⟩» — для них этого довольно. Но есть и жаркие почитатели Карениной, по преимуществу в числе женщин среднего слоя. Вообще же успех романа весьма странный, и порою сдается, что общество совсем утратило вкус: *многим* «Женщины» Мещерского нравятся более, чем «Анна Каренина»... Что с этим делать?

Благодарю Вас за описание К. В. Щепиной: она мне как раз такою и представлялась. Оспециализировавшись в изображении этих типов, я узнаю их издали, по запаху и по перу. Мне было очень приятно узнать от Вас, что, не внушая Вам симпатий, они возбуждают в Вас живое сострадание — именно живое, *действенное*, а не брезгливое и потому ничего не стоящее. Я питаю к ним те же самые чувства, и — не удивитесь — сколько я им ни на-

носил ран, они имеют ко мне какое-то «влеченье — род недуга». Яростнейшие из них доверяли мне свои тайны и не гнушались в крутые минуты посильною моею помощью. И я, не симпатизируя им, всегда имел к ним даже какую-то слабость: в их «глупостях» я ясно видел порывы чувств, не совсем порочных. Порицая их и осмеивая в печати, в жизни я не имел никогда силы сторониться от этих жалких и трижды жалких межеумков. Этого рода щепетильность мне глубоко противна... Умно это или глупо — это мне все равно; но незапятнанный «друг грешников» никого не сторонился, а я сам гадок, сам нравственно квол и всех пороков достаточно исполнен, так поэтому мне претила мысль о всякой брезгливости. Говорю это *по поводу* К⟨атерины⟩ В⟨ладимиров⟩ны, а *не о ней,* которой не знаю. Помогать ей рад всеми силами, да силенки-то мои малы... Однако опять возвращусь к тому, что если ее необходимо приурочивать к писательству, то надо ее выдержать на корде — «в *мерный* круг» направить ее разметистый бег. Вы правы, говоря, что указанный мною труд требует подготовки и пр., но ведь за то же он и вознаграждаться может хорошо, а не как-нибудь. Пусть подчитается! Потом Вы говорите о материалах, — но для народных книжек нужны материалы не архивные, а библиотечные. Напр⟨имер⟩, возьмем хоть «Кирилла инока туровского», вдохновенные молитвы которого (XII века) беспрестанно списываются различными боголюбцами. Молитв этих отдельно напечатать нельзя, — *не позволят* (Лаврентьев пытался), но их можно все поместить среди текста жизнеописания автора, и вот Вам заручка к сбыту книги *ради одних этих молитв.* А какой же для этого нужен материал? — Просто журнал Казанской духовной академии... И таких вещей есть немало. Но если у К⟨атерины⟩ В⟨ладимировны⟩ нет любви к этим занятиям и нет доброй воли себя определить и «ограничить», то уж этого я не знаю, откуда она заполучить может... Подозревая, что святые ей «претят», я думаю, что надо ей указать хоть на грешных, но на людей исторических и заставить ее компилировать (например, по монографиям Костомарова, изменяя нечто в его иных воззрениях). Это ей, вероятно, будет *для начала* более по душе; а потом, может быть, и во вкус войдет...

Во всяком же случае ей нужен «мерный круг» и тропа развешо́нная, — иначе она изболтается в безграничном пространстве своей неопределенности, и из нее ничего не выйдет, и хлеба она себе не припасет. Мне кажется, что ей надо это откровенно высказать, и я это почти уже сделал: она не рассердилась за совет, но как бы недовольна за некоторую сдержанность тона. Надо ее утешить с этой стороны. Язык простонародный она, кажется, знает гораздо лучше Ро́стопчина и даже гр⟨афа⟩ Салиаса, но кому у нас исполнять народные пиесы и кому охота смотреть их?.. Все это она затевает «не по сезону». Если ей можно пособить чем-нибудь в репертуаре, то пусть скажет: я напишу Бе́гичеву и уверен, что он не откажет мне ей повольготеть. Не ей ли взять на себя труд передать Бегичеву книжку и при сем случае с ним познакомиться? Он (как, вероятно, знаете) парень души очень доброй и характера покладливого и дружелюбного.

Овсяников «напек блинов», но В⟨асилий⟩ А⟨лександрович⟩ к нему еще не едет. Я вчера видел «брехунца», который ведет дело, и расспрашивал, каким боком прилипает сюда В⟨асилий⟩ А⟨лександрови⟩ч? Говорит, «все дело в том, что он — К⟨окоре⟩в и что у него денег много, — не будь этой вины, не из-за чего было бы к нему и касаться». В самой *сути* одно утешительно: какой гений подсказал перестраховать мельницу в двое рук? Лично я, однако, глубоко уверен, что К⟨окорев⟩ привлекается именно так, как мне сказано. Однако второй лист исписан, и пора знать честь. Будьте благополучны; за книгами к Соловьеву пошлите и меня не осудите, если что недописал или переписал.

Ваш *Н. Лесков.*

79

И. С. АКСАКОВУ

29 марта 1875 г., Петербург.

Достоуважаемый Иван Сергеевич!

Простите, пожалуйста, мою наглость, что я шлю через Ваши руки письмо к Преображенскому. Дело в том, что он мне показался как будто легкомысленным и неустойчивым, и я боюсь, как бы он без всякого злого умысла не подвел меня впросак. Он говорил со мною

обо всем, кроме самого нужного. Я ему показывал книгу «Ключ разумения», но он о ней не имеет и понятия (как и большинство нашего образованного духовенства рационалистического пошиба), и он мне *ни слова* не сказал о средствах вознаграждения за труд, а я ведь живу этим... *Не вмешивая Вас ни во что,* я только посылаю письмо Преображенскому *открытым,* через Ваши руки, прося Вас прочесть его и передать отцу Преображенскому: я рассчитываю, что *одно такое* участие Ваше поставит его в необходимость отнестись к делу серьезнее, а не дуть в бороду, когда надо давать ясные и определенные ответы... Не осудите меня, пожалуйста, и не сочтите нахалом; а если Преображенский посоветуется с Вами о гонораре, то скажите ему наш *средний* журнальный гонорар. Если его средства ограничены, то и я этим ограничусь.

Как новость могу сообщить Вам, что Мещерский продал свой «Гражданин» Пуцыковичу, который давно подписывает это издание. Сделка состоялась на 20 тысячах, рассроченных к уплате в 5 лет (по 4 тысячи рублей. Теперь все это кончено, но как сегодня хотя и пятница, но на сей неделе еще не седьмая, то не знаю, не разделается ли это заново. Однако они завтра подписывают контракт. Пуцыкович малый неглупый и хороший.

Получили ли Вы «Захудалый род»?

Ваш *Н. Лесков*

P. S. Вчера был у меня Кушелев и сказывал, что у Александра Николаевича «духи уже ходят». Клянутся, что *«сами видели»!*

Какою дружною толпою сунутся беды на несчастного Каткова! Что это за роковой закон этой кучности несчастий? Дай ему бог силы всё снесть.

80

И. С. АКСАКОВУ

〈Конец марта 1875 г., Петербург.〉

...стоит заметить! Кн. Мещерский юродствует тоже напоследях: он скоро уедет строчить новый роман. По словам Пуцыковича, все свои нынешние аристократические

глупости он извергает по наущению некоего секретаря канцелярии Лонгинова, Юрия Богушевича, — родом поляка, по натуре чиновника. Он вечно егозит при «консерваторах» и, кажется, «консервирует» только самого себя. Кое у них общение с сим велиаром, уже и прах их не разберет: он их учит, он им и щетину всучит, а они всё с ним якшаются. Вы сравниваете Мещ⟨ерского⟩ с Валуевым... Я не согласен: у Валуева все-таки *более сознания:* тоже думает, что он аристократ и может давать концерты на своем красноречии, так что их всем приятно слушать; а этот... Это просто какой-то литературный Агасфер: тому сказано: «иди», а этому: «пиши», и он пишет, пишет, и за что ни возьмется, все опошлит. Удивительнейшее дело, что при его заступничестве за власть хочется чувствовать себя бунтовщиком, при его воспевании любви помышляешь о другом, даже при его заступничестве за веру и церковь я теряю терпение и говорю чуть не безумные речи по вкусе атеизма и безверия... Я согласен с Вами, что ему не худо бы «запретить» писать; но еще лучше — нельзя ли его склонить к этому по чести: нельзя ли ему поднести об этом адрес?

С Преображенским Вы меня совсем с толку сбили: я его называю Петром *Васильевичем* (так сказал мне Нечаев), Вам это не понравилось, и Вы в письме советуете называть его Петром *Алексеевичем.* — Я было и на это согласился, но вдруг замечаю кусочек бумаги, на котором читаю: «Петр *Александрович*». Начинаю думать, что он, вероятно, Петр, но отчество его утверждать не смею... Средний гонорар за уч⟨еные⟩ статьи я разумею именно 50—60 р⟨ублей⟩ в размере листа «Р⟨усского⟩ в⟨естника⟩», а его меньший лист надо сравнять, то есть подсчитать сравнительно с листом «Р⟨усского⟩ в⟨естника⟩» и по этой норме рассчитываться. Впрочем, я для себя тут ни о чем не хлопочу, и мне даже приятнее отложить эту работу, а взяться за иную. Уладьте, что захотите и как захотите, — со всем, что Вы учините, я буду согласен и исполню как должно. — Гриша Скоробрешко вернулся от Вас из Москвы в упоении славы, а вдогонку за ним примчались печатные похвалы его новому произведению... Он, видно, у Вас похлопотал о себе по обыкновению. Ска-

зывал он мне вчера и про Ваши похвалы, но я не мог их поддержать, потому что романа не слыхал.

«Русский вестник» с продолжением «Анны Карениной» только сейчас получил, и я сию же минуту приступаю к долгожданному наслаждению. Наши светские дамы всё кропочутся за осмотр Китти: зачем доктор *тщательно мыл руки?* Этим бесстыдницам, пересмотренным на все лады по поводу всякой лихорадки, ужасно как досадно читать, что после них «тщательно моют руки», и, — ей-право, ничего не прибавлю, — не далее, как позавчера, одна молодая, красивая, светская (настоящая светская) дама и княгиня мне отпустила следующее:

— Но *зачем он мыл? Зачем мыл?..* Я вас уверяю, что меня, может быть, сто докторов смотрели и здесь, и в Париже, и на водах, и *ни один после меня руки не мыл!*

Напустя на себя дерзость, я спросил:

— Отчего же это так?

— Оттого, — отвечала она, — что я *так готовилась.* Изволите видеть, какое чудовище — привычка!

Преданный Вам

Н. Лесков.

81

И. С. АКСАКОВУ

6 апреля 1875 г., Петербург.
Вербное воскресенье.

Достойнейший Иван Сергеевич!

Не знаю, как поступить с К. В. Щепиной: сегодня меня известили, что театральный комитет распорядился обраковать обе ее пьесы («Деловые барыни» и «Случай из обыденной жизни»). Ответа она будет ожидать напрасно, так как это надменное учреждение ответов не дает. Мне очень жаль, что я должен сообщить бедняжке такую неприятную новость, да еще в такие особенные дни, и я никак не могу написать об этом прямо ей, а прошу Вас избрать наиболее благоприятное время и способ для передачи ей этой вести; причем, кажется, неизлишне

было бы покуражить ее мыслью обратиться в Общество драм⟨атических⟩ писателей (к Радиславскому или к Бегичеву). В прошлом нашем собрании я слышал, будто было довольно случаев, когда пьесы, забракованные здешним комитетом, очень охотно ставились на провинциальных сценах и давали добрые сборы. Пусть она обратит внимание на это и толкнется к Владимиру Петровичу. По правде сказать, я в оценку драбандов театрального комитета *совсем не верю,* и легко может быть, что пьесы обракованы и напрасно.

Новости у нас малые: кн. Дм⟨итрий⟩ Обол⟨енский⟩ бьется с гр. Дм⟨итрием⟩ Толстым; Толстой отмахивается, влача за собой повсюду Георгиевского; восьмой класс в гимназиях под особым исчислением еще не совсем прошел — и только. Мещерский или у Вас, или на пути к Вам в Москву: детище свое он после седьмой пятницы оставил при себе до осени. Он сам отбежит на сторону далече, но будет авторствовать. Пуцыкович же соделывается свободным во всем, кроме обязательства печатать измышления сего прокаженного...

Кланяюсь Вам и поздравляю Вас с праздниками, на которых, может статься, соберусь в Москву. Хочу уехать месяца на три за границу и сесть за роман, а перед тем манится повидаться с Вами и посоветоваться. — Третий кус «Анны Карениной», по-моему, столь же хорош, как и первые два. Роман графа Данилевского в самом деле одобряют.

Глубоко преданный Вам

Н. Лесков.

82

И. С. АКСАКОВУ

23 апреля 1875 г., Петербург.

Воистину Христос воскресе, уважаемый Иван Сергеевич! Благодарю Вас за Ваше приветствие и Ваше откровенное письмо, которое мне вдвойне дорого: как доказательство приязненных ко мне отношений и как вполне правильное критическое указание моих ошибок. Последнее я всегда умел принимать без малейшего раздражения и сожалею только о том, что подобные

откровенные и доброжелательные указания встречал слишком редко. Вам, может быть, известно, что в печати меня *только ругали,* и это имело на меня положительно *дурное влияние:* я сначала злобился, а потом... смирился, но неискусно — *пал духом* и получил страшное недоверие к себе, импонирующее всякое начинание. То самое было и с «Захудалым родом», с которым я спутался... и в самом деле пошел выводить fantasie по полотну, довольно правильно разостланному. Этого не было со мною даже при юношеском «Некуда», не было, кажется, ни в «Зап⟨ечатленном⟩ ангеле», ни в «Соборянах». Критика Ваша вполне справедлива, и все, что Вы мне написали, я не только приемлю, но и сам так чувствую. Роман стал путаться в голове моей, и его надо было бросить. Но отчего же это случилось? Перебираю все мои муки с ним и останавливаюсь на одном, что меня путало то видение, которое неотразимо стояло передо мною с тех пор, как я отдал в редакцию 1-ю ч⟨асть⟩ романа: это видение был сам редактор, который стоял передо мною и томил меня своими недомолвками, своими томными требованиями, в которых я ничего не мог разобрать... Я не виню его, но виню себя — мою болезненную впечатлительность: меня никогда не портило доверие к моим силам (даже излишнее), но я оробеваю и путаюсь при всяком знаке недоверия и усиленных наблюдений за каждым моим словом. Это точно ошибает мне крылья, и я уже только дрыгаю, сам не зная зачем и как. Пожалуйста, не заподозрите меня в желании сваливать с своей головы на чужую; нет, я действительно запуган, заруган, и довольно чего-нибудь в этом роде еще, чтобы я совсем никуда уже не годился. Я ценю многие заслуги Каткова и за многое ему благодарен, но лично на меня *как на писателя* он действовал не всегда благотворно, а иногда просто ужасно, до того ужасно, что я мысленно считал его человеком вредным для нашей художественной литературы. Одно это равнодушие к ней, никогда не скрываемое, а, напротив, высказываемое в формах почти презрительных, меня угнетало и приводило в отчаяние. Отчаяние здесь имело свое место потому, что я мог трудиться *только с этим человеком,* а ни с кем иным. Критика могла оживить мои изнемогавшие силы,

но она всего менее хотела этого. В одном знакомом доме Некрасов сказал: «Да разве мы не ценим Л⟨еско⟩ва? Мы ему *только ходу не даем»,* а Салтыков пояснил: «А у тех на безлюдье он да еще кой-кто мотается, так они их сами *измором возьмут».* Попытки Щебальского и Полонского сказать хоть что-нибудь в одобрение меня были обкорнованы рукою, которой, кажется, это даже было самой невыгодно; но все это так шло, и дошло до того, что я совсем опешил, утратил дух, смелость, веру в свои силы и всякую энергию. Душевное состояние мое самое мучительное (о другом я не говорю): печатать мне *негде,* на горизонте литературном я не вижу ничего, кроме партийной, или, лучше сказать, направленской лжи, которую я понял и служить ей не могу. Вот и все! Что же впереди?.. Неужто *уже конец?!* Двенадцать лет тому назад, написав «Некуда», я очутился в самом невыносимом положении, среди терзания четырех цензур (оно шло, кроме обыкновенной цензуры, через руки Веселаго и Турунова, а сей последний еще передал в III отдел⟨ение⟩) и самого неистового воя и клевет: я был тогда очень молод и по впечатлительности своей пришел в состояние крайней нервной раздражительности и *бежал* из России. Прага и Париж помогли мне забыть домашние невзгоды. Я вылечился; но тогда было иное: меня ругали и мучили, но я мог работать, а теперь меня уже, кажется, совсем дошли. Около 15 мая хочу уехать за границу: хочу хоть на время не видеть всего того, что лишило меня сил и действия. Думаю пристать к какой-нибудь партии французских паломников и *сходить* с ними в Лурд. Может быть, это религиозное возбуждение людей, известных мне со стороны их нерелигиозности, займет меня, и я не буду думать о том, о чем думы так мучительны и так бесплодны. Далее, не знаю даже, зачем я еду; но только потребность уехать чувствую неодолимую, и, по возможности, на срок должайший. Благословите ли Вы меня на это или осудите мое малодушие? Хотелось бы знать: где Вы будете летом и куда написать Вам, если душа того сильно попросит. Не откажите мне черкнуть об этом.

Щепина на меня, кажется, опять сердится. Что за напасть, право! Я не знаю и *не могу знать* подробно-

стей о ее пиесах: почему они бракованы, но Милюков, по просьбе моей, справлялся у себя в Т⟨еатральном⟩ комитете и отписал, что пиесы обракованы. Я получил от нее письмо и завтра буду ей отвечать, причем приложу письмо Милюкова в подлиннике. Новая ее пиеса «Народные сцены» у меня: я не советую ее представлять потому, что в ней положительно нет *никакого движения,* а одни реплики, не имеющие никакого достоинства. Актеры не возьмут этой пиесы в спектакль, но Щ⟨епина⟩ требует, чтобы я представил пьесу. Представлю. Ученый комитет имеет делопроизводителя, ровесника и соратника М. П. Погодина, и он, имея чуть не сто лет на плечах, «спешит потихоньку». Однако в следующий вторник стану ему бить челом за К⟨атерину⟩ Владимировну. У Ахматовой (как и у Богушевич) переводчиц гибель, и я не имею там никакой надежды там что-нибудь уладить; а вот не знает ли К⟨атерина⟩ В⟨ладимировна⟩ *по-польски?* Спросите ее, пожалуйста. Я исполняю одну работу, при которой нужен переводчик с польского, и у меня сейчас лежит под рукою целый волюм, который я, переговорив с издателем, вероятно мог бы послать Катерине Владимировне. Угодно ли ей это? Только зачем это она все сердится и обижается? Сама спросит совета, а потом и обидится.

Я видел у Щ⟨ербатова⟩ действительно не Дм⟨итрия⟩, а Петра Самарина. У вас я надеялся быть проездом в Киев, где у меня захворала жена брата, но ей, слава богу, стало лучше, и я отложил свою поездку и исполнение своего желания видеть Вас и Ю. Ф. Самарина. Авось приведет бог увидеться при условиях хотя немного лучших, но хотя немножко более оживленных.

Преданный Вам

Н. Лесков.

83

П. К. ЩЕБАЛЬСКОМУ

8 мая 1875 г., Петербург.

Достойнейший Петр Карлович!

Милое письмо Ваше застало меня совсем на пути: я завтра уезжаю, а теперь уже вечер и потому не ждите от меня исполнения Вашего поручения, — не могу —

спешу безмерно. У меня все перебуравилось: вместо того, чтобы ехать на Варшаву, я еду в Киев, где тяжко занемогла молодая жена моего брата, и тот, потеряв голову, умоляет меня спешить к нему. Вследствие этого я изменил и день отъезда и маршрут мой. Выйдет, вероятно, на Ваше: если мне придется побывать в Варшаве, то разве на обратном пути, в сентябре. Очень и несказанно рад, что Вы наконец-то выбираетесь из своего захолустья в большой город, что имеет очень важное значение для разных сторон Вашей жизни. Хотелось бы знать: когда Вы переедете, хотел бы и написать Вам из-за границы, да не знаю куда? Не писнете ли мне в *Париж,* на имя нашего священника Прилежаева (rue de la Croix, в дом русской церкви)? Вы меня очень бы утешили и не напрасно, потому что я не только хандрю, но и пищать желаю... Все вынесенное, как и все выносимое, так тяжело и *обидно,* что и говорить не хочется и боишься начать, потому что, кажется, никогда не кончишь, а между тем слушать, пожалуй, будет нечего. Тоска бездействия снедает и точит, а на литературном горизонте и просвета нет. Сальяс покинул Питер и отбыл в Москву делить заботы с форейтором. Долго ли потерпит — неизвестно, но надеюсь «вкушая вкусит меду», а журнал через это становится еще тяжелее обставленным. Нет; do naszego brzegu nie plynie nic dobrego.[1] Остается сложить ружья в козлы и дремать, если тощее брюхо будить не будет. Катков приезжал (говорят), и просит 600 тысяч заимообразно, и подал о том просьбы, а решения еще нет. Пав⟨ел⟩ Мих⟨айлович⟩ умер; будто бы было завещание, и его наследники (опять-таки будто бы) приступают к определению части его состояния. Этим оканчивается бюллетень ходячих слухов, а с ними и мое письмо к Вам, дражайший Петр Карлович.

Ваш *Н. Лесков.*

С ужасом замечаю, что не сказал Вам самой новой новости: кто становится у руля «С.-П⟨етербургских⟩ в⟨едомостей⟩» вместо Сальяса. В эту минуту назы-

---

[1] К нашему берегу не плывет ничего хорошего *(польск.).*

вают белого Висю Комарова, в лице которого надеются достичь «примирения партий»... Это комбинация уже не моего, а Вашего благоприятеля Юрия Богушевича. Байм⟨аков⟩ делает Комарова пайщиком и номинально передает ему газету в собственность. Министерство своего голоса, кажется, еще не подавало, и о вероятности этой комбинации ничего нельзя сказать. Данилевский являлся ко мне ангажировать меня в новую лигу унионистов, — дело было при Маркевиче, — я отказался. Эти бедные люди думают, что образ мыслей человека зависит от Каткова или от Некрасова, а не проистекает органически от своих чувств и понятий.

Н. Л.

84

А. П. МИЛЮКОВУ

9(12) июня 1875 г., Париж.

Уважаемый Александр Петрович!

Исполнение поручения Зинаиды Васильевны встречает неодолимые препятствия: указываемого ею дома на угле улиц Navarin и Martyrs *нет*... Что далее делать? Имея в кармане письма к некоторым членам нашего посольства, я решаюсь на сих днях просить их посредства передать письмо Анатолю, путем, какой окажется возможным. Обо всем, что сделаю, тотчас же Вас извещу, а Вы напишите мне: не знает ли Зинаида Васильевна еще каких-нибудь примет, по которым можно было бы искать Анатоля? Вы знаете, что здесь в обычае переменять фамилии, и это делается даже без большой надобности: стало быть, можно предполагать, не сочинили ли французы для Анатоля такого прозвища, под которым его чужестранцу открыть весьма трудно. Я буду ждать от Вас письма и указаний. О себе пока ничего не могу сказать кроме того, что болтаюсь по городу; ем где попало и, возвращаясь к ночи домой, засыпаю, едва упаду в постель. Париж, однако, нравится мне гораздо менее, чем в первое мое здесь пребывание: этот неумолчный шум и крик ужасно утом-

ляет мои совершенно испорченные нервы. Погода здесь превосходная, и Вы правы: здесь совсем нет той изнуряющей жары, какую доводится испытывать в Петербурге, Москве и Киеве и даже в несравненной Пензе. До 12 ч. вовсе не жарко; с 12 до 4 везде можно идти в тени, а с 6 час. настает свежая и приятная прохлада. Купания Сены, по-моему, превосходны, особенно так называемые «школы плаванья», где я и ныряю по команде француза, которой решительно не понимаю, но исполняю. Земляков видел мало, но зато весьма замечательных: 1) Панютина, 2) «Чудо Костромских лесов». Первый сам узнал меня: я шел из русской церкви через парк Монсо с двумя русскими дамами и присел отдохнуть; в это время по средней аллее показалась коляска, в которой лежал закутанный *труп* и рядом с ним сестра милосердия, и вдруг этот труп, увидав меня, заметался... Коляска остановилась, и когда я подбежал, то увидел нечто похожее на Панютина, но совсем безжизненное, — я даже не вполне уверен, он ли это? Он *без голоса* прошипел мне: «Приходите в Maison de santé Dubois, rue fab. St.-Denis[1] *200*». Я на днях к нему отправлюсь, хотя до сих пор не вполне уверен, что это он, а сестра милосердия не позволила ему на воздухе говорить более. Ивана Акинфиевича, или «Чудо Костр⟨омских⟩ лесов», показывают в садике под статуею Генриха IV. Я зашел туда случайно и как заговорил по-русски, то *«человеко-собака»* (так его называют) расплакался и сильно жаловался, что его завязли *обманом, продали* за 20 р. в месяц; но третий месяц уже не дают денег, и харч жидок. Просится, чтобы его пустили к посланнику, но ничтоже не успевает. Рассказы его в высшей степени интересны. С ним сынок Ваня 6 лет, которого показывают за souplement[2] по 4 cent.[3] Дитя это возбуждает глубочайшее сострадание. Я думаю обо всем этом написать в «Р⟨усский⟩ м⟨ир⟩» и рассказать гр. Орлову. Известите меня: будет ли выходить наш «Р⟨усский⟩ м⟨ир⟩»? Читал анонс о второй книге Суворина и вижу, что они опять берутся за Крестовского. Что это за бесстрашные люди! Однако до свидания:

---

[1] Больницу Дюбуа, улица Сен-Дени *(франц.)*.
[2] Доплату *(франц.)*.
[3] Сантима *(франц.)*.

у меня преподлое перо, и Вам нелегко будет прочитать мое письмо... Поклон мой Зинаиде Валериановне и всем Вашим домашним.

Ваш *Н. Лесков.*

Прилагаю мой адрес для Зинаиды Валериановны.

85

А. Н. ЛЕСКОВУ

11 (23) июня 1875 г., Париж.

Мой милый сын!

Вот уже полтора месяца, как я тебя не вижу, и еще долго не буду видеть, и мне о тебе тяжко соскучилось: все ты мне снишься во сне, и хочется знать о тебе что-нибудь. Я уже два раза просил Протейкинского написать мне о тебе, но он, вероятно, не знает, как отцу бывает скучно о детях, и не спешит отвечать мне. Более я не хочу никого затруднять этим и пишу к тебе самому: возьми бумажку и напиши мне, как идет твое время: что ты делаешь и прочее. Я уверен, что при божией милости и внимании твоей мамы тебе хорошо, но все-таки хочу иметь от тебя слух, тем более что увидимся еще очень не скоро. Письмо свое попроси Веру надписать так: France à Paris, Monsieur Nicolas Leskow, Rue Chateaubriand, 5.

Я совсем было разболелся и хотел было уехать из невыносимо шумного Парижа к чехам, в тихую Прагу, а оттуда в Мариенбад, но доктора, с которыми я советовался, говорят, что это надо отложить на август, и я снова остаюсь в Париже, только переменяю квартиру: из шумного Латинского квартала перехожу сегодня же в гораздо более тихие Елисейские поля, где мои здешние русские знакомые устроили мне комнату окнами в старый, тенистый сад. Надеюсь, что мне здесь будет легче, и несносное мое нервное страдание будет послушнее. Тут я буду жить с семьею моск⟨овского⟩ профессора Буслаева, которым интересуется Коля; с г-м и г-жою Монтеверде, которых знает Ледаков,

и с двумя сестрами Левиными, которые учатся в здешней консерватории и будут зимою петь на Мариинском театре. Так у нас своя русская компания, и даже превеселая: мы вместе обедаем и вечером имеем даровую музыку и пение. Я ездил в Лонгшанское поле на большой парад — видел все французские гвардейские полки и самого Мак-Магона, с которым совсем случайно минут пять стоял плечо о плечо. Вспоминал при этом случае тебя: как бы ты посмотрел на чужих солдатиков... По мундирам мне больше всего нравятся их драгуны и кирасиры; лошади у них жиже наших, но необыкновенно легки и проворны. В пехоте люди очень мелки, и строевые передвижения мне не особенно нравятся, а музыка без всякого сравнения хуже нашей. Вот тебе мой рапорт по твоей военной части. Скажи Вере, что я и ее вспоминаю и часто думаю: будь она со мною, как бы с нею до упаду ходили по этому городу, на который, кажется, никогда не насмотришься! Теперь бы ей и весело было, потому что у нас в куче три молодые дамы и две девушки, и все премилые. Запечатай-ка Веру в пакет да пришли ко мне! Как она тут навострилась бы по-французски! (и каким бы гримасам выучилась!). — Впрочем, я всех вас вспоминаю и всеми интересуюсь, — интересуюсь знать: каково бабушке Александре Романовне, и есть ли у нее место? Пусть бы написала мне — я, может быть, и отсюда что-нибудь сделал бы. — Прощай, мое дитя: будь умен и послушен маме. — Детям скажи мой дружеский привет.

Отец твой *Николай Лесков.*

86

ДЕТЯМ

12 (24) июня 1875 г., Париж.

Мои добрые друзья Боря и Вера,
и ты, мой милый сын Дронушка!

Я очень вам благодарен за письмо, которое вы мне прислали: оно было для меня большою радостью на чужбине, где я скитаюсь уже два месяца, не имея никаких вестей ниоткуда, точно я нигде с людьми не жил

и никому во всю мою жизнь ничего не значил. Вы меня обрадовали, и я много, много раз перечитывал ваши коротенькие строчки — особенно Верины, так как она написала всех больше и всех обстоятельнее. Не отвечал я вам до сих пор потому, что ждал от вас ответа на мое письмо, которое вы должны были получить до 15 июня, — мой же ответ не мог прийти к вам ранее 20-го числа, а вы писали, что 15-го уезжаете в Ревель, чему я, по правде сказать, плохо верил и думал, что это вы сами сочинили, — какие нынешний год поездки к морям, когда и на юге, в затишье, холодно и всякий день дожди! Так я и не знаю наверное, где вы теперь, и это тоже длится уже целый месяц. Протейкинский мне не отвечал на 4 письма, Милюков, для которого я сделал здесь довольно трудные розыски, даже не сказал «спасибо» и тоже не ответил; писал теперь Матавкину, чтобы узнать, где вы и куда вам писать, и тоже нет ничего. Вот я как живу, без всяких вестей о тех, с кем сжился и сросся. Если можете понимать это, то не ограничивайтесь одним пониманием, а будьте внимательны к отсутствующему и пишите. Здоровье мое все худо; неудачи идут во всем до смешного: Лурд, куда я хотел идти пешком через всю Францию, во время самых моих сборов залило водою разлившейся реки Гаронны. Это ужаснейшее народное бедствие всполошило всю Францию, и вы, может быть, слыхали о нем по газетам. Женеву разорила буря. Теперь же только стал собираться ехать лечиться на воды в Мариенбад, как получено известие, что главный мариенбадский источник, Крейцбрун, стал давать воду крайне вредную, а не полезную. Тем не менее я все-таки еду послезавтра в Мариенбад, чтобы там выискать другой источник, более подходящий к моему состоянию. Так, как видите, и самая поездка, на которую я собирался с такими усилиями, мне самым невероятным образом не удается, а между тем деньги тратятся, и их жаль, а болезненное состояние духа не позволяет ничего работать. Прошу вас всех написать мне теперь уже не в Париж, а в Мариенбад, адресуя так: В Австрию. Autrich, á Marienbad, Monsieur Nicolas Leskow, Poste restante.

Надписанное таким образом письмо удержат на почте, пока я приду за ним, и, получив его, напишу вам

тогда свой мариенбадский адрес. Лечиться водами я должен никак не менее шести недель, а потом уже не знаю, что сделаю. Так как при лечении всякое спокойствие становится вдвое необходимее и дороже, а оно у человека отсутствующего всегда связано с добрыми вестями от милых, то и прошу вас, мои милые, пишите мне не один раз в два месяца, а один раз в неделю, — чего я и буду ждать с большим нетерпением. На этих днях я ездил в Версаль и был там в Национальном собрании, во время заседания депутатов республики. Это очень интересно. Вопрос шел об участии духовенства в учреждении высших школ, и говорили разные люди и монсиньор Дюпанлю. Я слышал Гамбетту, который действительно схож со мною, в доказательство чего посылаю вам его карточку. — Из театров хожу в Comédie Française,[1] где дают классические пьесы и играют удивительно, а музыки нет вовсе, и дамы в кресла не ходят. На театре же Porte St.-Martin[2] дают «Путешествие вокруг света» Верна. — Это удивительно сделано, и корабли рушатся, и льды валятся, и дикие сражаются. Посылаю вам кусок афиши. Боря по ней поймет все, что делается. Это такое представление, что глаз не отведешь. — До свидания же, мои милые, обнимаю вас и целую. Всею душою вас любящий

Н. Лесков.

Марок на письма не надо никаких, — я заплачу при получении, а вам это легче.

87
А. П. МИЛЮКОВУ

12 (24) июня 1875 г., Париж.

Уважаемый Александр Петрович!

Ко мне явился просить содействия в устройстве работы некто Чашников — человек очень акклиматизировавшийся в Париже и даже начинающий здесь разла-

---

[1] Французскую Комедию *(франц.)*.
[2] Порт Сен-Мартин *(франц.)*.

гаться. Он писал что-то в «Ниву», имеет вход в Нац⟨иональное⟩ собр⟨ание⟩, но не имеет нигде обеда и не ест дня по три. Я ему дал посильную субсидию и откомандировал его выискать, где хочет, Анатолия. Он, кажется, очень ловок на подобные дела и притом знает все закоулочки Парижа, а потому пусть Зинаида Валериановна еще не отчаивается. Вас же прошу немедленно повидаться с М. Г. Черняевым и переговорить: не желает ли он заполучить сего Чашникова как политического корреспондента, к чему он мне кажется весьма способным, особенно если отыщет Анатоля и сведет меня с ним. Буду ждать от Вас скорого себе ответа, дабы этим вознаградить нашего шпиона. Адрес мой тот же: «9, Monsieur le Prince, 9». О себе пока ничего не могу сказать: за работу не брался, да думаю, что здесь и не возьмусь, а отложу это до приезда в скучный Marienbad, куда непременно отправлюсь или думаю отправиться 2-го здешнего июля. О здоровье моем Вам нечего говорить, так как Вы знаете, что оно прекрасно, но тем не менее меня все медики в один голос шлют на самый большой курс на железистый Крейцбрун, и я поеду. Что всего удивительнее, это то, что *пока* мне советуют пить зельтерскую воду с красным вином, говоря: «хотя это и не вкусно, но пейте», а между тем моя натура *сама* указывала мне это чернильное питье! Нервозность моя, слава богу, облегчается и успокаивается, но мысль о возвращении на родину вдруг посетит и всего как варом взварит. Не знаю, как я оттуда уехал, но чувствую, что если бы еще не уехал, то последний ум мой сбился бы с толку. В Лурд я не поеду, как потому, что это стоит очень дорого, так и потому, что вполне ясно вижу и понимаю, чтó такое эти пелегринажи.

Возбуждения *религиозного* в настоящем смысле этого слова во Франции нет, а есть ханжество — некоторое церковное благочестие, напоминающее религию наших русских дам, но это столь мне противно и столь непохоже на то, что я желал видеть, что я, разумеется, и видеть этого не хочу. Вообще *идеал* нации самый меркантильный и низменный, даже, можно сказать, подлый, за которым это благочестие, конечно, всегда

легко уживается. Случай и беспримерная любезность наших отцов иезуитов Гагарина и Мартынова поставили меня в такое выгодное положение для наблюдения церковной жизни, что я не мог этого и ожидать. Иезуиты ко мне *донельзя* внимательны, — даже ректор Шаво пригласил меня в воскресенье на именины и спектакль в конгрегации, а наши русские иезуиты возили меня во все свои школы, которым, по-моему, *нет равных*. Что это за умные люди! Мартынов ярый иезуит и спорщик, а Гагарин — милый барин, от которого веет еще атмосферою пушкинского кружка. Какая разница это со всею русскою сволочью, образовавшею нынешние русские читальни в Париже. О, если бы Вы видели — какая это *сволочь!* Тургенев им, однако, благоприятствует, но, по-видимому, не без омерзения — сам от них сторонится. Курочкина и Глеба Успенского не видал — они на дачах в Пасси. Нил Адмирари «требовал попа». Я был у этого злополучного в maison de santé[1] три раза. Краевский ему ничего не дает и даже на письма не отвечает. Нил *весь сгнил,* и сидеть возле него есть уже подвиг самоотвержения: ни один garde de malade[2] не хочет к нему прикоснуться голою рукою, и все это делает его молоденькая жена, которая уже и сама заболела и попала в руки Рикора. Вчера эта бедняжка (ей 18 лет) сообщила, что ей *вырежут всю грудь*. По ней тоже пошли какие-то гнилые прыщи, но она являет дух удивительного самоотвержения. Нил дышит *через трубку* — в горле у него свистит, хрипит и брызжет, и он же еще ругается как ямщик, — к счастью, не всякое слово слышно бывает. Какое ужасное существование его, а особенно ее! Она очень похожа на М. П. Корибут, но без черных кругов под глазами и вообще en bébé.

Ваш *Н. Лесков.*

Не франкирую писем, чтобы вернее доходили. Не сердитесь за это.

---

[1] Больнице *(франц.)*.
[2] Санитар *(франц.)*.

88
ДЕТЯМ

1 (13) июля 1875 г., Париж.

Мои дорогие и милые дети
Вера и Дронушка!

Сегодня я получил ваше письмо, писанное в Ревеле 26-го июня русского стиля, и был, по обыкновению, очень обрадован вашими детскими строчками. Вы, вероятно, помните, как во всякую минуту жизни я любил, чтобы вы пришли ко мне и поговорили со мною. Так и теперь в моем отдаленном одиночестве мне кажется, будто я слышу ваши родные голоса, и мне от них и тяжело, и грустно, и отрадно. Благодарю вас, что вы меня помните и любите, — верьте, что и я не только дня, но и часа не провожу, всех вас себе не вспоминая; а в том, что я вас люблю, вы, конечно, и не сомневаетесь. Хотел бы благодарить вас и за то, что вы обо мне скучаете, но это было бы с моей стороны большим эгоизмом, а его и без того на свете много. Что делать, не всем жить так, как хочется: надо это принимать с покорностью воле божией и учиться безропотности и терпению. Бывает на свете и худшее, и, по-моему, лучше, не видясь, знать, что мы любим друг друга, чем видеться и не любить. Думайте обо мне, молитесь за меня: бог может услышать ваши молитвы и дать мне свою помощь, которая столь нужна мне. Посмотрите вдвоем при восходе луны на ее светлое яблоко, куда я так часто смотрю, сидя где-нибудь под деревцем Булонского леса, а теперь стану смотреть с Богемских гор, и глаза наши там встретятся, и я узнаю, любите ли вы меня, а вы почувствуете, легко ли мне и весело ли. Вот и забава и свидание, пока о другом еще ничего нельзя знать, и я сам о нем ничего не знаю, и вы меня об этом не спрашивайте. Прежде чем вы получите это письмо, Матавкин должен переслать вам мой ответ на первое ваше письмо. Я запоздал ответом, потому что не знал, где вы, и мало верил, чтобы вы на самом деле поехали в Ревель в такое холодное лето. Здесь невозможно купаться: холодно и дождь каждый день. Послезавтра я уезжаю из Франции в Австрию, в маленький и очень тихий городок в Богемских горах, в Мариенбад,

где буду шесть недель пить железные воды, на которые много надеюсь, по совету дяди и профессора Меринга, а также и двух парижских докторов. Вы бы меня теперь не узнали, как я похудал и изменился, — худо ем и еще хуже сплю. В Мариенбаде надеюсь дописать повесть, которую начал и которая будет называться «Соколий перелет»; а чтобы мне было веселее, здоровее и спорее работалось, вы не ленитесь и почаще мне пишите, — это моя потребность, и удовлетворение ее укрепляет меня на все лучшее, что могу делать.

Н. Лесков.

89

А. П. МИЛЮКОВУ

12(24) июля 1875 г., Мариенбад.

Уважаемый Александр Петрович!

Приехав неделю тому назад в Marienbad, я застал здесь дружелюбное письмо Ваше и такое же письмо Зинаиды Валериановны, из которого, между прочим, узнал о Вашей досаде по поводу неудачного экзамена Бибы. Зная, сколь это тяжело Вам, от всей души за Вас поскорбел, хотя и не могу некоторым образом не винить Вас самих в этой неудаче. Если Вы простите моей приязни, то я сказал бы, что мальчика надо поставить иначе: во-первых, снять его с принятой им офицерской позиции, а во-вторых, воздержаться от резонерства, одинаково вредного для его занятий и для правильности его развития. Нужно очень немного наблюдательности, чтобы не видать, как он идет в Кривороса и так едва ли выбьется на путь верный; но мне всегда казалось, что Вы и сами это замечаете, а только не решаетесь сказать: «крак — с сегодняшнего дня ты, любезный друг, на ином положении». А это надо сделать, пока еще не поздно (если только не поздно). Иначе, как хотите, это будет преступно по отношению к нему к самому, и Вы это, конечно, знаете, а потому и должны сделать. Новости, Вами передаваемые, очень интересны: я уже видел в Париже

подпись Усова, но не знал процесса этого избрания. Все это как должно и в порядке вещей: мы хотим вокруг себя видеть ничтожества и жаловаться, что «людей нет». Противная глупая песня, терзающая слух и отравляющая всякую энергию! Когда же будет какой-нибудь конец этому пошлому началу? О себе ничего не могу сказать хорошего: в Париже не мог работать, а здесь некогда, весь день с 5 час. утра до 9 вечера на водопое и на ногах. Нервические муки мои, по-видимому, утихают, и лимонная желтизна сходит или хотя убывает, но всякое воспоминание о глупости своего положения на родине опять все будит и поднимает. Не могу, решительно не могу слышать об этом издевательстве над правами разума и дарований и об этом тиранстве тупой и скупой реакции во имя будто бы «спасения» чего-то. Что может быть спасено рутиною, покровительствующею одной бездарности, или людям, способным «потрафлять чужому вкусу». Это опять начало обезличенья — от чего пошли, к тому и пришли. Едва ли весь классицизм окупит такую страшную деморализацию! «Р⟨усский⟩ мир» читал и читал «Деды» Крестовского. Что это он порет? Гришиному роману рад, потому что это сопряжено с беготнею и шумом, а стало быть и с некоторым оживлением. Впрочем, Ледаков сильно одобрял это произведение, а в нем, сами знаете, «три головы». Теперь еще дело: в «Рус⟨ском⟩ мире» было напечатано откуда-то взятое известие, что главный мариенбадский источник Крейцбрун испортился. Это было перепечатано всеми газетами и целый месяц оставило Мариенбад без приезда. Между тем все это ложь, выдуманная карлсбадскими врачами: об этом уже произведено следствие, и начинается суд. Управление Мариенбада не желает привлекать ни к какой ответственности «Р⟨усский⟩ м⟨ир⟩», который был кем-то обманут, но просят редакцию поместить на *видном месте* прилагаемое при сем письме моем их официальное опровержение клеветы на Крейцбрун. Прошу Вас покорно передать его Михаилу Григорьевичу или Федору Николаевичу с моею просьбою напечатать как можно скорее, а Вас прошу прислать мне сюда под бандеролью 5 экз. номера, где это будет напечатано. Этим Вы дадите мне случай услужить очень ласкающим меня мариенбадским врачам, из коих трое говорят по-русски, а один

(Добшевич), как видите, даже может и писать. Пожалуйста, обделайте это со свойственною Вам любезностью и точностью. Адрес мой: Marienbad, Casino Hôtel, 22. Да напишите мне, чтó значит увольнение М. Г. Черняева в чистую отставку? Меня это очень удивило. И вообще напишите мне, что есть нового в обществе и в литературе.

Душевно преданный Вам

Н. Лесков.

Здешний русский наплыв очень интересен — особенно жидки засматривающиеся на Шамбора, который ходит в одном со всеми хвосте к источнику. Жизнь здесь дороже Парижа втрое.

90

П. К. ЩЕБАЛЬСКОМУ

29 июля (10 августа) 1875 г., Мариенбад.

Уважаемый Петр Карлович!

Встретясь вчера на водах с Н. М. Благовещенским, я узнал от него, что Вы уже в Варшаве, хотя еще и без «фамилии». Радуюсь за Вас и еще более за «фамилию». Дай бог Вам счастья на новом месте, а барышням хороших мужей, которые умели бы их оценить и сберечь. Я лечусь, хандрю и не работаю ничего от хандры безысходной, но много, очень много прочел и духом возмутился: «зачем читать учился». Вообще сделался «перевертнем» и не жгу фимиама многим старым богам. Более всего разладил с церковностью, по вопросам которой всласть начитался вещей, в Россию не допускаемых. Имел свидание с молодым Невилем и... поколебался в моих взглядах. Более чем когда-либо верю в великое значение церкви, но не вижу нигде того духа, который приличествует обществу, носящему Христово имя. «Соединение», о котором молится наша церковь, если произойдет, то никак не на почве согласования «артикулов

веры», а совсем иначе. Но я с этим так усердно возился, что это меня уже утомило. Скажу лишь одно, что прочитай я все, что теперь много по этому предмету прочитал, и выслушай то, что услышал, — я не написал бы «Соборян» так, как они написаны, а это было бы мне неприятно. Зато меня подергивает теперь написать русского еретика — умного, начитанного и свободомысленного *духовного христианина,* прошедшего все колебания ради искания истины Христовой и нашедшего ее только в одной душе своей. Я назвал бы такую повесть «Еретик Форносов», а напечатал бы ее... Где бы ее напечатать? Ох, уж эти «направления»! Михаила Никифоровича я попрежнему люблю, но преимущественно когда его глупо и грубо ругают — тогда я за него; а сидя один сам с собою, я не могу не чувствовать к нему того, чего не может не чувствовать литературный человек к убийце родной литературы. Он руки отнимает от всякого начинания и мертвит мысль своею противною «пыхою». Не знаете ли: в какой должности у него прислуживает граф Сальяс? В Париже я жил с Ф. И. Буслаевым, который мне говорил, будто бы Георгиевский переходит в Москву директором Лицея, с оставлением в должности члена совета министра. Невозможного в этом нет, но верится с трудом: А⟨лександр⟩ И⟨ванович⟩ Георгиевский знает московскую кулебяку. Не знаете ли чего об этом? Да еще: напишите мне, будете ли Вы около 15-го нашего августа в Варшаве, и где Вас искать. Я бы поехал на Варшаву, чтобы повидаться с Вами и кое о чем поговорить. Мне надоел Петербург, где на одно жалованье жить нельзя, а литературствовать негде. Как хорошо они распорядились с «П⟨етербургскими⟩ вед⟨омостями⟩» — искали, искали ничтожества и наконец таки нашли... А еще ругают правительственных людей за их влечение к бездарности. Все, видно, одним миром мазаны. Прошу Вас, откликнитесь мне, и чем скорее и словоохотливее, тем лучше. Я очень скучаю и наблюдаю только одно, «како изнемождает господь плоть сынов человеческих».

Кланяюсь Мирре Александровне и всем барышням.

Преданный Вам

Н. Лесков.

91
А. П. МИЛЮКОВУ

3(15) августа 1875. Мариенбад.

Любезнейший Александр Петрович!

№№ газеты обогнали Ваше письмо: их я получил вчера и обрадовал ими эскулапов, а письмо получил сегодня и себя им радую, благодаря Вас за приязнь и доброжелательство. Насчет вод спорить не стоит; я сам того мнения, что воды сами по себе чудес не творят, а служат только подспорьем к чрезвычайно хорошим условиям здешней жизни (горный, чистый воздух, беспрестанное движение, раннее вставанье и простой, умеренный стол). Всего этого в городе не соблюдешь, а здесь соблюдешь по благоразумно устроенной невозможности выйти из этого порядка (так, после 9 ч. утра нет завтрака, позже 1 часа нет обеда, позднее 9 ч. в. нет огня во всем Marienbad). На меня все это имело свое действие, и если Вы теперь еще считаете меня нервозным, то это, конечно, только потому, что Вы не знаете, что́ со мною было. Кроме того, грязевые морбады вещь несомненно полезная. После 3-го морбада со мною сделался обморок, и когда меня обтирали, то *простыня оказалась покрытою желчью; я вспотел желчью* и с тех пор стал цветнеть и поправляться. Теперь я держу 3-ю неделю курса, самую тяжелую и самую критическую, — пью 7 кружек и всякий день беру горячую грязевую ванну.

Но довольно о себе: радуюсь, что Вы пришли к убеждению повести Бибу иначе, и думаю, что это еще не поздно. Не суровость, а спокойная твердая строгость действует благотворно не только на отроков, но и на юношей, и даже на людей совершенно взрослых, — он же, по-моему, не испорчен в основе характера, а только ужасно распущен — в чем Вы, несомненно, и виноваты. Желаю Вам исправиться и радоваться сыном; но только смотрите не откладывайте своих мероприятий со дня на день, а то будет поздно. Взгляд Ваш на министерскую выходку вполне разделяю: это глупая бестактность, в этом именно смысле и понятая всеми благомыслящими людьми во всей Европе. Над этим циркуляром везде смеются, — исполнение же его просто невозможно, как

невозможна вообще борьба со связанными руками; прежде надо развязать борцам руки, а наше слово до сих пор было сковано то цензурою, то карами, то не менее вредною силою узких направлений.

Что может говорить учитель о социализме? Во-первых, я согласен, что, по-моему, учителя сами чувствуют невольную слабость к теориям этого сорта, ибо это в духе времени, а во-вторых, разве нынешний социализм то же самое, что утопии «карбонеров бледных» или наших нечес? Социалистическое учение ныне многим поступилось и стало очень вкрадчиво, тем, что многих его современных требований по разуму нельзя не признать справедливыми (например, плата за государственные надобности соразмерно достаткам; фактическое равенство перед законом и т. п.). Как об этом спорить, да еще в классе? Иной ученик с хорошею головою и с хорошим сердцем, никогда и в глаза не видав чисто социалистической книги, поставит увещаниям учителя такие возражения, что класс весь станет на стороне товарища, а не преподавателя, — явятся выскочки, говоруны, и «будет последняя вещь горше первые». Кто это у них выдумал этот циркуляр? Бедные, жалкие люди! Они бы всё хотели устроить «канцелярским порядком»... да так, чтобы кроме них никто ничего не понимал. А надо было не затыкать рта людям благоразумным и благонамеренным и не отдавать во всем преферанса глупцам и людям без мнения, готовым служить только за выгоды. С кем они ныне на службе; с кем в литературе? — все с ничтожеством и бессилием. А жизнь идет, а не стоит, и «дух бурен» носится и разнесется: это ясно как день, и тогда схватятся, и будет поздно; да, пожалуй, и теперь уже поздно. Я здесь вижу целую коллекцию их ректоров и профессоров из избранников. Это наполовину тупицы, наполовину льстецы, сладострастно рассказывающие, как это в день Кирилла и Мефодия «графу депешу поздравительную послали».

— С чем же, — спрашиваю, — вы его поздравляли: разве он Кирилл или Мефодий?

— Нет, — говорят, — а так... он доволен был: отвечал: «благодарю, что в этот день обо мне вспомнили».

Еще ли не деятели? А того и нет, чтобы сказать графу о стоне, который стоит по всей стране за неразре-

шение переэкзаменовок за одну двойку... Кто же будет с ними? — конечно, только они сами, пока их черт возьмет куда следует. Они мне здесь и воду и воздух гадят, и на беду их тут много собралось.

В заключение скажу, что вся эта пошлость и подлость назлили меня до желания написать нечто вроде «Смеха и горя» под заглавием «Чертовы куклы», и я за это уже принялся. Предложу сегодня же это Черняеву, с тем однако, чтобы он прислал мне рублей 300, дабы я мог по окончании лечения через две недели сесть на месяц в Праге и дописать эту работу, которою здесь очень мало времени заниматься. Прошу Вас заговорить с ним об этом в мою пользу и о его ответе *немедленно* мне отписать, дабы я мог иметь свои соображения.

Преданный Вам

Н. Лесков.

92

И. С. АКСАКОВУ

29 июля (10 августа) 1875 г.,
Мариенбад.

Достоуважаемый Иван Сергеевич!

Пишу Вам это письмо наудачу, по старому московскому адресу, и желаю, чтобы оно как-нибудь нашло Вас. После разлуки с Вами в Кунцеве я пробрался через Киев за границу — сначала в Вену, а потом в Париж, откуда собирался пуститься с французскими пилигримами в Лурд, но Лурд в это самое время залила Гаронна, а меня залила не менее многоводная тоска, какой и описать невозможно. Ездил я и в Версаль слушать парламентское пустословие; видел и Дюпанлу и Гамбетту; беседовал с заклятым Мартыновым и с рыхлым Гагариным; посетил с последним все парижские иезуитские школы и другие учреждения и пользовался обильною обоих сих земляков ласкою; но все это не спасло меня от второй раз в жизни приключившегося разлития желчи — весь до зрачков глаз пожелтел, ослабел и, разнемогшись по совету врачей устремился в Мариенбад. Вот уже полтора месяца, что я здесь: испил полный курс вод; вдо-

воль измарался в грязевых ваннах; излазил все горы, вертепы и пропасти, и телом оздоровел: желчь моя убралась в свое место, нервы поокрепли, но вообще духовные силы еще далеко не в авантаже; та же тоска, то же тяжелое томление и безнадежность, убивающая всякую охоту взяться за какой бы то ни было умственный труд. Вопрос, что с ним делать и куда его деть, отнимает руки от дела, и мысль о родине, к которой рвется душа, смешивается с чем-то невыносимо грустным. Петербург, с которым я свыкся *при деле,* кажется мне совсем невыносимым без занятий, питавших и дух мой и семью. На жалованье Уч⟨еного⟩ ком⟨итета⟩ в одну т⟨ысячу⟩ р⟨ублей⟩ я не могу успокоиться, по той простой причине, что на это нельзя существовать, — в литературе же теперь искать нечего. Если бы я и хотел примкнуть к какой-либо газете, то и это было бы напрасно: им нужны столоначальники по тому или другому отделу, а не человек хоть с каким-нибудь, но с убеждением и образом мыслей. Между тем вернуться будет необходимо, и даже довольно скоро: средства истощаются; Кокореву намекнул: не сочтет ли он справедливым вознаградить меня за сделанную мною для него в декабре месяце ⟨1⟩874 года работу, за которою я без мала просидел целый месяц, — от него ни ответа, ни привета и, вероятно, уже ничего не будет. О втором издании «Соборян» есть разговоры с москвичами, но чтобы эти разговоры произвесть в дело, тоже надо приехать самому; а ехать к тому самому, от чего уехал, весьма неохота. В этих-то обстоятельствах я получил дружеское письмо от П. К. Щебальского, который теперь переведен директором народных школ в Варшаву. Ему там, по-видимому, очень полюбилось, и он сманивает меня бросить Петербург и переселиться на Вислу, причем вызывается всячески хлопотать, отыскивая такое местечко, которое не было бы только подспорьем к литературному труду (которого для меня теперь нет), а могло само пропитать в сии во всех отношениях голодные годы. Входя во все соображения этого дела, я нахожу его стоящим внимания, а к тому мог указать и на лицо, на которое, кажется, можно бы попробовать действовать в моих интересах довольно откровенно и смело: это управляющий ныне Варшавским кредитным обществом барон Менгден. Мы с бароном

довольно часто встречались у кн. Щербатова (Ал⟨ександра⟩ Петровича), не раз вели полунощные беседы о делах всякого рода и особенно о литературной деятельности гр. Льва Н⟨иколаевича⟩ Толстого, которого Менгден считает не только своим благоприятелем, но даже и «другом». С женою Менгдена и с его дочерьми я также знаком. Дочери его весьма замечательные чтицы, и мы с ними вслух читывали разные роли из пьес Гоголя и Островского у тех же Щербатовых; но короче этого я не сближался с семейством Менгдена, частью по лености, частью по нежеланию увеличивать бесцельно круг моего знакомства. Теперь же этот дом был бы мне очень нужен, а обратиться туда в качестве просителя я нахожу совершенно неудобным. Конечно, князь и княгиня Щербатовы не нашли бы никаких неудобств просить за меня Менгдена, но я не знаю, где их искать в эту минуту, да, признаться, и в силу и в значение их просьбы не много верю. Другое дело, если бы с Менгденом об этом заговорил кто-нибудь другой, — человек, более им ценимый, например, Юрий Федорович Самарин или Лев Н⟨иколаевич⟩ Толстой, из коих я лично *ни одного* не знаю. Пособите мне, пожалуйста, в этом случае! На доброту Юрия Федоровича и его участливость я более почему-то рассчитываю, чем на своенравную непосредственность Льва Николаевича, но, может статься, и самая эта непосредственность не идет так далеко, чтобы уклониться от содействия человеку, который более или менее все-таки честно служил добрым началам и, конечно, не был бы в нынешнем своем положении, если бы с тем же усердием послужил хотя половинный срок началам противуположного свойства. Не прошу Вас сделать что-нибудь определительно тем или другим путем и в той или другой форме, а вообще прошу: «порадейте». Щебальский пишет мне сегодня, что он и сам будет экзаменовать Менгдена и намерен на днях же открыть воздействие на него через какое-то другое лицо, — стало быть, дело теперь в ходу, и влиятельное подспорье, добыть которое я желаю через Вас, было бы как нельзя более ко времени и кстати. Пожалуйста, порадейте и выручайте!

Если Вы сочтете нужным сказать мне что-нибудь по поводу этой моей просьбы, то я должен объяснить Вам, что до 8 (русского) августа я остаюсь еще в Мариен-

баде, а 8-го уеду в Прагу, где, вероятно, пробуду неделю, а может быть и дней десять, и письмо, адресованное туда Poste restante,[1] должно попасть в мои руки. Далее же мне всего удобнее написать в Варшаву на имя Петра Карловича Щебальского, *по Иерусалимской аллее, № 25.*

Обременив Вас такою сложною просьбою, на которую дерзничаешь только зная Ваши свойства, хочу еще сообщить Вам кое-какие новости и впечатления. Прежде о впечатлениях: наши парижские иезуиты совершенно то самое, чем Вы их мне представили: Мартынов весь словно для того рожден, чем он сделался; Гагарин же едва ли не более пришелся бы к месту настоятеля Сергиевской пу́стыни, что за Петербургом? Что он за иезуит и почему он иезуит, — он, я думаю, и сам не знает. Так себе, во время óно увлекся и «отличился», и я не боюсь ошибиться, что теперь он об этом жалеет и кается. При Мартынове и без Мартынова он совсем не один и тот же человек и, говоря раз со мной об отце Савелии (из «Соборян»), столь увлекся, что даже сказал: «Да, я сам тоже был бы с такими православными православный», и это, видно, был порыв искренний. Кого же они считают православными? — Ту бессмысленную и неверующую орду чиновников и легковесных барынь, которые нынче носятся с своим православизмом. О Вас и Ю⟨рии⟩ Ф⟨едоровиче⟩ у нас бывали с Гагариным большие разговоры, всё по поводу известной Вашей статьи в «Дне», вызвавшей письмо Мартынова и пять ответных писем Юрия Федоровича. Мартынов ни разу не коснулся этого дела, но Гагарин многократно к нему обращался с неудержимою слабостью. Укора в тени, которую он старался бросить на былой славянофильский кружок, он не трогает и проходит молчанием, но много, много говорил о «любовной переписке, найденной, по словам Ю⟨рия⟩ Ф⟨едоровича⟩, в Московском иезуитском доме». Он отклоняет «любовный» характер найденных писем и говорит, что это просто «нехорошо перетолкованная интимность, дружеская короткость и т. п.». Ничего не зная о существе этих писем, я, разумеется, только слушал и не возражал. Всего лучше он был, когда, уезжая в Пломбир, зашел ко мне проститься, — просидел два часа, вы-

[1] До востребования *(франц.)*.

пил стакан шабли за благоденствие России и... заплакал. Мы обнялись и много раз поцеловались: мне было до смерти его жалко... Он отяжелел, остарел, без зуб и без ног (от подагры), но имеет еще очень красивую наружность, напоминающую немножко т⟨ак⟩ называемый «екатерининский» тип. Симпатии его к России, разумеется, состоят в невольной любви и невольном влечении к родине. От всего этого он еще весьма и весьма не свободен, тогда как Мартынов совершенно ни во что вменил. С Мартыновым у нас вышел маленький анекдот, но зато довольно глупый: мы говорили о церковных делах и о церковниках, то есть о клире по поводу известной брошюры Гагарина, забывшего в рассказе о наших монастырях *всех* подвижников русского иночества. Тут меня и дернуло сделать некий комплимент иезуитскому упорству и твердости в преследовании своих целей, сравнительно с ненавистною вялостью наших современных иерархов; а от⟨ец⟩ Мартынов, — прости его бог, — невесть что почуял в этом, и простер ко мне обе руки, и сказал глупость, за которую я, однако, покраснел гораздо более, чем он. Ю. Ф. Самарин, видно совершенно угадал, что «они принесли в иезуитский орден русскую наивность». Судя по отношениям к ним других иезуитов (я был представлен многим, и самому ректору), они Мартынова, очевидно, считают человеком нужным, и он у них беспрестанно то пишет, то куда-то шнырит: уезжает и возвращается; а Гагарина добродушно по плечам треплют и по пузу гладят, а при случае немножко над ним и подтрунивают. Больше о них расскажу при свидании. Был я и в нигилистическом кагале, основанном Ив⟨аном⟩ С⟨ергеевичем⟩ Тургеневым; но это уже просто мерзко. Париж мне вообще в этот раз не понравился. Здесь, на водах, по обыкновению скука, весьма ожесточаемая полнейшею невозможностью работать: дела не делаешь и от дела не бегаешь. Наш всероссийский «бомонд» в это лето блистает отсутствием. Повертелась одна Шувалова, и та скрылась. Зато тут теперь Шамбор с женою, и молодой Бисмарк с трубачом в полной прусской форме, и очень много каких-то немецких графинь хищного типа — красивых, но противных. Книг русских много навезено: все страшно дороги, и дельного очень, очень мало: кроме Хомякова и Сама-

рина нечего в руки взять. Из брошюр достойны внимания (довольно давние) «Вопросы веры и знания» и «Ответы», да «Об аристократии вообще и в особенности о русской». Покупают всего более, разумеется, переводы Ренана. Преобладающий ассортимент русской публики — интендантские чиновники.

Преданный Вам
Н. Лесков.

По народ⟨ному⟩ просвещ⟨ению⟩, слышно, пошло что-то на взятки: здесь приезжие из Кишинева рассказывают, что у них директор, какой-то Вороной, переведен в уезд⟨ную⟩ гимназию *за продажу аттестатов зрелости.*

Митрополит Арсений столь на меня осерчал, что *не велел мне посылать академического журнала,* а архиерей Филарет прямо написал укорительное письмо. Документ в⟨есьма⟩ интересный.

Не осудите меня за просьбу передать мой низкий поклон Анне Федоровне: ее дорогой привет будет мне всегда памятен, и мне хочется очень ей поклониться.

93

И. С. АКСАКОВУ

1 сентября 1875 г., Петербург.

Достойнейший Иван Сергеевич!

Вот я уже снова на своем пепелище и хочу отдать Вам отчет о том, что видел и слышал в Варшаве. С Менгденом я обедал вместе в русском клубе, где он первый отыскал меня, и мы поговорили кой о чем, нимало не касаясь моих планов. Из этого я заключаю, что или он не получал никакого письма от кн. Черкасского, или же не может ничего для меня сделать. По словам Щебальского, который штудировал это дело, можно думать, что Менгдену будет трудно что-либо устроить, потому что управляемое им учреждение чисто польское, и все производство идет (будто бы) на польском языке. Если это так и если затруднение только в этом, то я его не могу почитать неодолимым, потому что я до некото-

рой степени знаю польский язык и могу на нем объясняться и писать, но, может быть, Менгден до сих пор просто ничего обо мне не получал и все мои соображения должны окончиться на этом. Что же касается планов П. К. Щебальского, то они мне кажутся неподходящими: дело состоит в том, что в Варшаве недовольны берговскою редакциею «Варшавского дневника» и желают изъять газету из рук Н. В. Берга и передать ее в другие руки, более рачительные: такие руки оказались у П. К. Щебальского и Н. П. Воронцова — помощника попечителя Варш⟨авского⟩ уч⟨ебного⟩ округа. Оба они люди добрые и хорошие, хотя далеко (по моему мнению) не солидарные во взглядах. Принимая газету, они подали от себя условия, в числе коих стоит сохранение им субсидии и освобождение их от предварительной цензуры. По заручкам, какими они владеют, они надеются, что условия их будут приняты, и притом в самом скором времени. (Дело теперь уже у Тимашева.) Так мы накануне появления первой провинциальной газеты без предварительной цензуры... Вот к этому-то изданию меня и приглашают, но я, пробыв 5 дней в Варшаве и понюхав ее веяния, не дал на это приглашение своего согласия иначе, как под условием, что могу переехать, только имея кроме газеты другое, казенное место. До тех же пор я нахожу невозможным положиться на эту редакцию и оставить даже свое скудное жалованье по Ученому комитету. Притом в Петербурге у меня все-таки есть приятельские связи и небольшой кружок добрых людей, с которыми пришлось бы расстаться ни за что, ибо вознаграждение, которое может предложить «Варш⟨авский⟩ дн⟨евник⟩», конечно, не более того, что я могу заработать здесь, даже при нынешних неблагоприятных обстоятельствах, но времена и обстоятельства могут переменяться, и здесь у меня опять может быть выбор, а там никакого. Мы расстались на том, что я обещал «В⟨аршавскому⟩ дн⟨евни⟩ку» постоянное сотрудничество из П⟨етер-бур⟩га, а о переезде отложил думать до тех пор, пока к литературному делу не удастся присоединить более верный служебный гонорар. Кроме всего этого, настроение Варшавы произвело на меня впечатление нехорошее: со стороны русских косность, со стороны поля-

ков косина; меж тем как теперь с поляками более чем когда-нибудь можно бы заговорить в тоне весьма справедливом и дельном, и даже не только заговорить, но и договориться. Теснимые и презираемые повсеместно, начиная с Парижа, откуда Бронислав Залесский улепетывает с своею библиотекою в Краков, поляки обнаруживают много желания поговорить с русскими, но едва ли этому будет способствовать освобождение от цензуры одной русской, варшавской газеты с оставлением под цензурою всех газет, выходящих там на польском языке. Это будет игра в пользу поднятия интереса газет «Часа» и «Дневника познанского», где будут судить обо всем только вкривь и вкось, и выйдет из этого не польза, а сугубый вред. Меж тем, ошибаюсь я или нет, но мне кажется, что если бы теперь повольготить польское слово в Варшаве, то оно не дышало бы одним безумием злобы и в значительной мере стремилось бы само к отрезвлению умов, для которых русское слово долго еще будет подозрительно и бессильно. Подцензурным же изданиям, как Вам известно, нельзя разговаривать с изданиями вольноотпущенными, и вся затея о возрожденном «В⟨аршавском⟩ дневнике» мне представляется вздором, если одновременно с этим не получит права относительной свободы печать польская. Вот как мне все это показалось и побудило меня предпочесть для себя старое мое положение, доколе нет в виду никаких средств изменить его к лучшему.

Всегда Вам преданный
Н. Лесков.

Историю об освобождении «Дневника» меня просили *пока* держать в секрете.

94

П. К. ЩЕБАЛЬСКОМУ

23 сентября 1875 г., Петербург.

Разговора не было, почему я, прощаясь с Ходневым, вручил ему Ваше письмо ко мне, прося его прочесть и в следующий вторник сказать мне: что́ он найдет

возможным сделать для удовлетворения Вашей просьбы? Он мне это обещал и письмо Ваше взял с собою. Советую Вам *немедленно* же написать ему, адресуя в Уч⟨еный⟩ к⟨омитет⟩ м⟨инистерства⟩ н⟨ародного⟩ п⟨росвещения⟩, где он будет в следующий за сим понедельник и потом во вторник. Я желал бы, чтобы он получил Ваше письмо в понедельник и был им подготовлен к разговору, который может быть поднят во вторник. Просите его главнейше, чтобы речь получила почин *от него,* так как мне об этом, по множеству соображений, неудобно заговорить; а на других я не могу рассчитывать. Не худо сделаете, если, написавши Ходневу, одновременно с тем известите и меня.

Менгдену я писал — благодарил его. Интересно бы знать: не будет ли у Вас с ним обо мне каких-нибудь разговоров и не может ли оттуда последовать каких-либо полезных соображений и видов.

Байм⟨аков⟩, кажется, недоволен Усовым, который все «без людей», а работы нет как нет, и, — что всего хуже, — нет никаких средств пособить себе в этом глупом положении. Газеты, как видите, заботятся не о достоинстве статей, а только наполняются в известную меру и к известному сроку. Тут ничего не поделаешь. Корреспонденции Вам, может статься, буду писать; но откровенно Вам скажу: я мало верю в Ваши предприятия. Есть люди задачливые, есть незадачливые, — Вы и я из последнего сорта. Кроме того, при последнем нашем свидании я усмотрел промеж себя и Вас изрядный провал: Вы стали, на мой взгляд, очень большой оптимист, — что мне довольно непонятно. Вы видите свое время и понимаете, — и я его тоже вижу и тоже по-своему понимаю; а взгляды у нас выработались разные, и это случилось когда-то недавно. Что же это на Вас так воздействовало?.. Я Вас люблю и уважаю и потому, может быть, немножко смело претендую на Вашу снисходительность: я отнюдь не вижу ничего, способного настраивать меня к оптимизму, и едва ли буду в состоянии попасть в тон Вашего будущего издания, и Вам, может быть, лучше иметь здесь в виду кого-нибудь такого, чей взгляд был бы светлее и радужнее моего. Впрочем, начавши газету, пришлите мне ее: надо видеть, чего Вы

станете домогаться от этого, по-видимому много обещающего, на Ваш взгляд, порядка вещей. Оставим этот вопрос о моем сотрудничестве открытым.

Ваш *Н. Лесков.*

95

А. П. МИЛЮКОВУ

27 сентября 1875 г., Петербург.

Мне было очень приятно получить от Вас, уважаемый Александр Петрович, письмо, в котором Вы выражаете готовность поспешить на помощь несчастному Панютину. Он действительно в ужасном положении, и я ума не приложу, как ему помочь, тем более что обстоятельства не дозволяют мне располагать теперь никакими к тому средствами. «Обращаясь за сим по существу», я не могу ничего отвечать Вам на Ваши вопросы до тех пор, пока снова повидаюсь с Панютиным, который, вероятно, сам к Вам приедет; но будет ли это в воскресенье или в иной день — я не знаю. Меня же прошу извинить: мне, право, не до выездов, и я нахожу, что они мне просто вредны: я себя всего лучше чувствую у себя дома, и добрые приятели должны мне это простить. Это отнюдь не значит, чтобы я чуждался людей; а просто теперь в обществе очень много говорится такого, чего я, по своим чувствам и убеждениям, спокойно и не расстраиваясь слушать не могу. Зачем же мне неволить себя, для того чтобы быть в тягость и себе и людям? Не рассердитесь на меня и не принимайте чего-нибудь в этих словах на свой счет — это будет несправедливо: я Вас очень люблю и уважаю, но гостем позвольте мне быть тогда, когда я буду чувствовать себя к этому способным.

Душевно преданный Вам
Н. Лесков.

P. S. Поздравляю Вас со вчерашнею передовою статьею «Московских ведомостей» по герцоговинскому во-

просу. Спрашивается: почему это воистину «циническое» отношение к столь ужасным событиям считается такими умными людьми за самое уместное и благоразумнейшее? Я не могу не видать в этом, как и во многом другом, особенного самоуслаждения в противуречии лучшим инстинктам страны, как только она выходит из своей мертвящей апатии и пробует проявить какой-нибудь живой дух и симпатии. И эти унылые люди со всею их дальнозоркою расчетливостью ошибутся, и эту ошибку им покажет не кто иной, как тот, очень многими (и Вами) отвергаемый, незримый *дух* народа, о котором говорит всех смелее и, по-моему, всех лучше граф Лев Толстой в «Войне и мире». В том, в чем они хотят всех уверить, они никого не уверят, а сами изверятся у многих.

96

П. К. ЩЕБАЛЬСКОМУ

5 октября 1875 г., Петербург.

Уважаемый Петр Карлович!

Вчера я получил Ваше письмо; а Комитет — Вашу рукопись (под девизом, но с указанием на тюке, кто ее посылает!!). А. И. Ходнев сегодня сообщил мне по секрету, что все Ваши желания будут исполнены, — чему я и радуюсь.

С книгами Стрижевского нельзя было поступить иначе: Вы знаете, сколько у министерства недоброжелателей, которые не станут разбирать, что умышленно, что неумышленно, а просто пойдут на это указывать, и повторится опять история с азбукой Блинова, где тоже, вероятно, не все дурное сделано с умыслом.

В словах Ваших о «мере шпаг» нахожу много справедливого; но в конечной цели с Вами не согласен. Вы делаете комплимент моему «здравому смыслу» и знаете, конечно, что я не враг правительства и послужил ему на свой пай немало; но правительство ведь это не отвлеченная идея, а равно и не одно лицо, которое и я, как и Вы, и люблю и уважаю «не только за страх, но

и за совесть». Когда мы говорим о правительстве, мы, конечно, рисуем перед собою целую группу известных нам людей, со всеми их нравственными свойствами и способностями. Что же это за люди в данную минуту? Одним штрихом их не охватишь иначе, как применя к ним слова пророка: «Люди сии не жарки и не холодны»; а таковых, по тому пророку, «изблевывает господь с уст своих». Вы надеетесь, что загарантируете себя и проведете издание честно и интересно, а я Вам отвечаю головою, что все Ваши гарантии не поведут Вас ни к чему и издание в радость Вам не будет. Мысли эти мне не «подшепнуты славянофилами», а их родит тот самый мой здравый смысл, которому Вы воздаете столь лестные хвалы. С этими людьми «не жаркими и не холодными» ничего нельзя делать: ты их крести, а они в омут. Нет никаких таких принципов, которые можно было бы поддерживать, не поддерживая людей, сим принципам преданных и им служить готовых. Не верю я таким принципистам; а на себе вижу весьма близко шкуры моей касающийся пример их внимания: у меня нет уже не только ситного хлеба, но даже и решетного; а я и не ленив, и не коварен, и не без службы правительству в прошлом. Мог бы кто-нибудь мне бросить хоть возможность существования, о которой я бьюся *три года* и дошел до последней крайности, которой более уже *нельзя терпеть*. Не скажете ли и Вы, что «ведь нельзя же...» О, как это противно и мучительно! Все можно, когда хотят; а не делают только для очистки совести — чтобы отвязаться. Изнемогаю я, Петр Карлович, и ничего более не жду, ни от кого, и не от Менгдена; ничего он не сделает, да и никто для меня ничего не делал и не сделает, чтобы я мог хоть дух перевести. К тому же все уже и поздно: мне буквально нечем жить и не за что взяться; негде работать и негде взять сил для работы; а на 1 т⟨ысячу⟩ р⟨ублей⟩ с семьею существовать нельзя. Ждать я ничего не могу и, вероятно, пойду к брату в его деревеньку в приказчики, чтобы хоть не умереть с голоду и не сесть в долговую тюрьму. Положение без *просвета, и дух мой пал до отчаяния,* препятствующего мне и мыслить и надеяться. Если со мною случится что худое, то бумаги

мои будут присланы Вам, и Вы из них многое извлечете для характеристики литературного быта, зависящего от столь известной вам «обидной рассеянности и капризов», — прибавлю от себя — пошлых и грубых. Жму Вашу руку.

Н. Лесков.

97

П. К. ЩЕБАЛЬСКОМУ

16 октября 1875 г., Петербург.

Достойнейший Петр Карлович!

Если бы не Ваше письмо, то я и сам бы сегодня написал Вам; Алексей Ив⟨анович⟩ позавчера меня спрашивал: «успокоил ли я Вас», и при этом, узнав от меня, что дело в спешности, сам обратился к делопроизводителю с просьбою сколь можно скорее известить Вашего попечителя. Курта попросите — он старик добрый; а я тоже буду наблюдать и с своей стороны. Письмо Ваше Ходневу передам 20-го числа и о его ответе напишу Вам немедленно и аккуратно. Предрешать же, что Вам ответят, — не берусь, потому что не могу понять: как это сделать? При том же я ожидаю с этими премиями изрядных курьезов. А впрочем, — что сможем, о том будем стараться.

А. И. Георгиевский теперь должен быть у Вас, и Вам бы надо воспользоваться свиданием с ним, чтобы поставить дело «на точку вида». Вопрос о премиях непременно будет решаться при нем; а он, сколько я понимаю его, кажется расположен к Вам. По крайней мере мне всегда так казалось.

Не лишнее, может быть, известить Вас, что у нас в прошлом заседании рассмотрен «сравнительный польско-русский букварь» г. Стрижевского, и не только не одобрен и обракован, *но признан вредным,* и в сем духе, конечно, будет сделано распоряжение, которое, может быть, благоразумно было бы предупредить. Посмотрите там картину, изображающую русскую *избу* (izba)... Прочтите, как напечатано в русском столбце слово «мо-

нарх»... Как могли выпустить у Вас такую книжку?! Может быть (и даже вероятно), все это непредумышленно; но уже зато крайне несчастливо.

У меня был вчера наш Бобоша и сетует, что «Щеб⟨альский⟩ *тоже* мне ничего и написать не хочет». Он поправился и духом и брюхом; много рассказывал о последних минутах Алексея Толстого. Умирал мучительно, — говорил: «О, как тяжело разлагаться на стихийные начала». Бобоша, описывая характер покойного (в «Пет⟨ербургских⟩ вед⟨омостях⟩»), сделал легкую NB Каткову (по поводу неверности в дружбе).

Мои дела довольно скучны и довольно трудны: работы нет никакой, и деться с нею некуда. Не знаю, что́ вперед буду делать: а так идти не может. Благодарю б⟨арона⟩ Менгдена за добрые желания; но долгие и неустанные неудачи уже отняли у меня даже привычку на что-нибудь надеяться. Интересно, однако, было бы знать: в чем могут заключаться эти заботы обо мне, возбуждающие в Вас такие завистливые чувства? Нашли кому позавидовать! Мы, кажется, можем обойтись без зависти: ни того, ни другого судьба не побаловала. Да и это бы ничего; а хоть бы «реванжик» злодейка давала, — чтобы совсем не скопытиться. Мне бы к получаемой одной т⟨ысяче⟩ еще одну — но только не литературную, а казенную или вообще служебную, и я бы, может статься, опять нашел в себе силы обратиться к своему неблагодарному, но милому «литературному разврату». В душе кипит нечто и в мыслях слагается; но обстоятельства гнетут, и руки падают: ото всего остаются одни «головки да хвостики».

Письма об *оптимизме* очень жду, и, откровенно говоря, Вы его должны мне написать, потому что я на Ваш счет «попутался»; а мы так давно прожили, считая себя друг с другом в известной мере солидарными, что хотелось бы восстановить пошатнувшееся единомыслие.

Будьте здоровы. *Н. Л.*

Что там «форейтор», — как он у Вас прыгал? Не слыхали ли Вы чего про «Анну Каренину»? Данилевский утверждает, что ее не будет в «Р⟨усском⟩ в⟨естни⟩ке»... Не врет ли?

98

П. К. ЩЕБАЛЬСКОМУ

29 октября 1875 г., Петербург.

Благодарю Вас, уважаемый Петр Карлович, за Ваше письмо об оптимизме и во многом с Вами согласен: то и я чувствую, на том и я обжегся; но практически-то я все-таки не понимаю Вас. Вы человек, несомненно, либеральный, в самом хорошем смысле этого слова: но как Вы будете Ваши либеральные чувства сберегать в газете официозного характера? Не скажете ли, что Вы выговорили себе ту и ту долю свободы?.. Ах, как это все ненадежно и как самый либерализм тускнеет, когда его проводят в газете не вполне независимой! По-моему, чисто официальные издания гораздо лучше полуофициальных, или субсидиальных, и это не мне одному так кажется. Не скрою от Вас, что *хорошие* люди даже жалеют, что Вы беретесь за эту газету! С поляками считаться время, и с ними *надо* посчитаться; но — воля Ваша — и они для этого должны иметь равное с Вами право возражать Вам свободно, конечно, в пределах, дозволяемых законом, но законом общим, а не цензурными «правилами», в которых черт ногу переломит. Иначе вся Ваша правда будет принята как кривда П. И. Мельникова.

Ходнев Вам сам писал, и потому я Вам не писал; а рукописи Ваши отправлены Вам позавчера, то есть 27-го числа. От б⟨арона⟩ Менгдена я получил письмо — правда, очень милое, но едва ли могущее возбудить или поддержать зависть, которою Вы так торопливо воспылали. Это пока — *ровно ничего,* и впредь, я думаю, будет то же.

Желаю Вам всего доброго и сохранения неизменного ко мне расположения.

Ваш *Н. Лесков.*

P. S. Не знаю, чего «фсрейтор» хихикает. Он сыт, конечно; но... все бы честнее было не хихикать.

99
П. К. ЩЕБАЛЬСКОМУ

10 ноября 1875 г., Петербург.

Страдания страданиям рознь, как рознь и сила силе, уважаемый Петр Карлович. Я знаю, что Вы человек, к которому люди были далеко не справедливы; я знаю Вашу семью, очень уважаю Вас и, — без фраз, — много скорбел о Вас и о них; особенно в одно время, которому не дай бог помянуться. И тогда я видел силу Вашу и дивился ей, и с тех пор имею о ней высокое мнение, придающее моим отношениям к Вам особый характер почтительного удивления. Вы, кажется, не так «фантазироваты», как говорит об мне один мой приятель, недалекий, но очень добрый монах. Эта «фантазироватость» ужасное несчастие, и я терплю его, при всех своих религиозных и иных убеждениях, как мне кажется, довольно трезвых, определенных и стойких. Напомню Вам весьма удачные, по моему мнению, слова Искандера: «Я понимаю Курция: махнул в пропасть, да и поминай как звали, — это возможно; но мотаться над пропастью изо дня в день ряды лет — этого снести невозможно, потому что и голова закружится и погибель предпочтешь истоме терзания». Где взять, Петр Карлович, «ослиного» терпения — и именно *ослиного,* а не человеческого, потому что человеческое тут никуда не годится. С чем надо бороться: с хихикающею и ничему не внемлющею тупостию и разума и чувств? Что же против них можно сделать? Вы говорите о клеветах, несенных Вами после оставления Вашей московской службы. Знаю я их; но разве Вы не знаете клевет, которые нес я и которые так и присохли ко мне и мешают мне беспрестанно? В этом случае у Вас передо мною нет преимущества. И один и другой журнал *охотно* бы взяли у меня работу (о чем и говорил Гончарову), но... «он-де так ясно определился, и все это с Катковым, и вдобавок, говорят, он близок к III-му отделению». Ведь это, пожалуй, и смешно, только когда бы тот же Катков не отшиб последней способности сложить уста в улыбку. В «Гражданине» нет работы, — там сам редактор досуж, да и издание слишком мало, чтобы дать

человеку не только хлеб, но и подспорье. Притом же там мой (и Ваш) друг (уж не славянофил) Аполлон Майков, с его «этим высоким... этим христианским» уменьем не любить человека, в «Р⟨усском⟩ мире» — меня не зовут; в «Пет⟨ербургских⟩ вед⟨омостях⟩» тоже, хотя и там и тут сидят люди, которым я в свое время из кожи лез пособить в заработке (Усов, Милюков, Крестовский и Заинька Берг). Что же мне: идти просить и почти несомненно получить отказ? Неужто Вы посоветовали бы это? Аксаков просил за меня Кокорева — не вышло ничего, несмотря на то, что Аксаков лбом бил, а не только попросил. Черкасский тоже просил, и тоже ничего не вышло. Комитетского мало жалованья — сами знаете: на кота широко, а на собаку узко. Притом же «страннопримный» Георгиевский ко мне так странно приимен, что я, право, даже и ума не приложу, как с этим быть. Благочестивый вельможа этот забывает, что такой или сякой мой талантишко открывал мне двери, куда действительных статских советников не всех пускают, и что я приучен уже к некоторой деликатности и вниманию. Я чувствовал бы большое счастие не видать его, потому что я человек вспыльчивый и масса неудач сделали меня раздражительным; а он человек все-таки очень добрый и мне одолжения делал. Вот Вам моя ситуация, как я скажу. Добавить разве к этому сторонние и иные, так как «враги человеку домашние его», — и они не столь в этом виноваты: что им за дело до моих убеждений, до несчастных стечений обстоятельств, и проч., и проч. И они «друзья минутного, поклонники успеха», а от всего этого... хоть в воду! Однако Вы поняли не так мое письмо, и я думал, что это выйдет; да, собираясь переписать его, вдруг заболел еще хуже, и оно было отправлено. Жизнью своею я самовольно не думаю распоряжаться и боюсь этой мысли, и гоню ее, и осуждаю себя за ее противные посещения. Религия моя со мною, и Христос, с его страданием и терпением, есть моя сила, в одно и то же время меня поддерживающая и пристыжающая. Я признаю спасительную силу незаслуженных страданий как воспитательную школу для духа, в бессмертии которого ни на волос не сомневаюсь. Принимаю бессмертие не стихийное, а субъективное и не смущаюсь тем, что не могу понять его; но смущаюсь не по страху рассужде-

ния, а потому, что это дело не мое и вообще не человеческое: понять это — значит понять бога, а его дано только чувствовать, но не комментировать, ни с какой, ни с лютеранской, ни с поповской точки зрения. Scio quod Rodemptos mens vivit,[1] и надо терпеть, но... измучился, хотя и стыжусь ему это говорить; но ведь то он, а то я... тля ничтожная! Однако все-таки я Вам писал не то, что Вы поняли; а я *болен* припадками, никогда со мной не бывавшими: я *стыну* и обливаюсь *холодным* потом и несколько раз в день *теряю сознание,* при неотвязной мысли — что у меня *нет работы.* Я это вижу во сне; с этим пробуждаюсь, с этим хожу и брожу, наводя на всех постылое чувство при виде беспомощной неудачи. Милый московский Воскобойников прекрасно говорил, что «это во мне самое противное», — и я думаю, что это правда. За утешения Вас благодарю: надежда так животворна, хотя и знаешь, что она лжет своим лепетом; а все... отряхнешься будто. В помощь чью-нибудь я уже решительно не верю и не жду ее; но попытайтесь. Поговорите и с Бергом и хоть с конюхом, если есть конюх, который может дать 2000 р. своему помещику: я к нему пойду, и притом не только в Варшаву, а куда угодно. Исключение составляет одна «голубая» служба, к которой меня причислил Пав. Ив. Мельников, — остальное все что угодно: хоть горшки выносить, лишь бы было чем детей кормить и хоть дух перевести до новой трепки. Пожалуйста, пишите мне почаще.

Книга Ваша сегодня еще не получена.

Преданный Вам

Н. Лесков.

100

И. С. АКСАКОВУ

16 декабря 1875 г., Петербург.

Ах, благороднейший Иван Сергеевич: о чем бы и речь, если бы был какой-нибудь спрос на то, что Вашей снисходительности угодно величать моим «талантом»! Но в том весь и корень всех нынешних затруднений

---

[1] Знаю, что ум Искупителя живет *(лат.)*.

моих, что я, 12 кряду лет, почитал мои литературные способности не только «главным», но даже единственным, за что надо держаться. Этим, может быть, должно объяснить и многие опрометчивости, сделанные мною под теми или другими живыми впечатлениями, без оглядки на стороны; этим же я думаю себе объяснить и мою долгую, долгую веру в Каткова как в литератора. Я чувствовал, что мне, *для меня лично,* ничего не нужно, кроме сходного по мысли издания, и не видал, как в этом издании чисто литературные интересы умалялись, уничтожались и приспособлялись на послуги интересам, не имеющими ничего общего ни с какою литературою. По прямоте моего неловкого характера я остался при органе человека, которому заботы комиссии наряжать, жидов декорировать и все, что хотите, но только не литературою заниматься. Я думаю, что другого такого презрителя, как он, литература не имеет во всей России, и очень хорошо, что в этой литературе есть действительно немало достойного презрения, — иначе он презирал бы ее еще больше. Ему, как капризной приказничихе, гораздо легче обходиться с мужем, который имеет всеми заметные пороки: она с ним сварится, но и живет этим — живет, ибо может показывать и некоторое свое превосходство; но беда, если ее свесть с мужем достойным, у которого нет таких пороков, на кои можно пальцем тыкать: она с ума сойдет. Они знали, что делали, внушая мысль «понизить тон в литературе». Что же делать нынче с этим воителем?.. Кажется, самое лучшее: ничего с ним не делать. Так я и поступаю, утешаясь, что не я один немотствую; что эту участь я разделяю с людьми высокочестными и высокоумными (в наилучшем смысле последнего слова), — и я бы более всего хотел тако выдержать, хоть не на белом хлебе и даже не на ситном, а на решетном; но когда и того негде заработать!!. Вы не поверите, как в одно и то же время мне и смешно и противно не только говорить об этом, но даже знать, что это так есть! Указанный Вами мне Кокорев (за знакомство с которым я Вам очень благодарен) казался мне именно таким лицом, которое нужно. Тех же мнений был Александр Николаевич Аксаков, Щербатов и другие, кому известно мое положение и от которых я не делал из этого секрета. Кокорев в каж-

дую данную минуту мог мне сделать все, что мне нужно, ибо требования мои, кажется, очень скромные: я хотел бы иметь занятия с вознаграждением тысячи в полторы в год. И Кокореву и Губонину я этих денег стою, даже при нынешних их делах, до решения вопроса о направлении Сибирской дороги. Если бы К⟨окорев⟩ *хотел,* — он, конечно, сто раз мог бы это уладить; но... ему, видно, «хотей не велела». Вправду говорят: отношения наши с ними, с самого первого дня знакомства, до сей минуты *самые наилучшие и приятные.* Мне даже кажется, что он ко мне не без некоторого уважения; но и только... Проект Скальковского я ему разобрал и размерил, за чем прошел месяц; он мне за это недавно прислал 300 р⟨ублей⟩, и опять конец... Просил меня сказать на суде, *что знаю* в его оправдание по кляузам Овсяникова, — я, по долгу совести, сказал то, *что знал:* виделись мы любезно; расстались любезно; говорили *всегда шутя* и никогда обо мне, — вот Вам и весь отчет о характере моих к нему отношений — совершенно чистых, приятных, но, к сожалению, нимало не полезных в той мере, в какой они могли быть полезны.

В чем тут дело? По-моему, во-первых, в духе времени: Кокорев человек не без шири и не без великодушия даже, но он *мудрец практический.* Вас он чтит высоко, но как мудреца в области созерцательной, а не практической, которая ныне «едина есть на потребу». За рекомендации Вами меня он на Вас, конечно, не сердится; но ему, вероятно, неловко видеть меня между шустрыми ребятами, гожими на все руки, и он, пожалуй, думает: «Сам этот И⟨ван⟩ С⟨ергеевич⟩ не практик, и человека такого поддерживает... Парень бы ничего, если бы теперь литературою интересовались; а то что вступись за него, что нет, — никто не похвалит. А притом «катковский»... Этого никто не любит». Эти и сами подобные соображения делают то, что дело без гадости гадко. Я не раз думал просить его поговорить с Губониным, но, право, язык не поворачивается; а теперь и совсем нельзя его поворотить: точно будто стану просить услуги *в вознаграждение* за мой свидетельский труд... Бог знает, не придет ли ему это в голову? А мне это так кажется. Меж тем опять повторяю: Кокореву ничего не стоит примкнуть меня к делу, при содействии

Губонина, который тоже меня знает и *как писателя* — любит, то есть хвалит. Но как сделать, чтобы Кокорев ревниво захотел помочь мне? Ему *лично* я едва ли могу быть полезным, хотя, разумеется, порученное мне дело всегда бы справил не хуже многих; а поддержать меня для литературы, — он, кажется, не в том духе теперь. Кто о ней заботится, кроме чудаков? Губонин же благонадежнее, если бы знать, через кого за него взяться. Дел у него теперь тоже немного, но он не останавливается этим и (между нами говоря) дает, например, 6 т⟨ысяч⟩ р⟨ублей⟩ общему нашему знакомому кн. Ал⟨ександру⟩ Щ⟨ербато⟩ву за то, чтобы «в оперу ездил слушать, *что говорят*». Конечно, я для этого труда не гожусь; но есть ведь и другие труды, более черные и оплачиваемые подешевле. Нельзя ли его на это вдохновить и подвигнуть? Нет ли у Вас в Москве человека, которого мнением и словом он дорожил бы? Пособите пожалуйста! С Кокоревым же мне *теперь*, право, неловко самому заговорить, если не будет к тому побудительной причины откуда-нибудь со стороны. Генерал Шмилик Поляков пропитывал и Полонского и графа Скоробрешко, — неужто же русские люди и этого не сделают? Нет, я, право, все-таки уповаю на Кокорева, что он тот «серый волк», который меня, «Ивана-дурачка», вызволит.

Еще о литературе: Вольф предлагает мне написать роман, «превзойдя Мещерского», который, взойдя в славу, «стал дорожиться». Как превзойти Мещерского, у которого хлеб на корню покупают? — Не могу.

Вис⟨сарион⟩ Комаров был у меня на сих днях, предлагал мне написать роман для фельетонов Черняева: *«чтобы было совсем не художественно, а как можно базарнее и с похабщиной»*. Никак не мог и на это согласиться. Ком⟨аров⟩ предлагал, что он мне «сочинит сценарию», а я чтобы только «исполнил»... Ну ведь вот Вам, что́ теперь называется «литература» (litera dura). Да и помимо всего этого: я писать не могу, пока не вздохну и не поставлю себя в состояние, в котором можно наблюдать, обсуждать и резюмировать в живых образах это мертвое время. Я так напуган тем, подо что подпал, что не могу более надеяться на одну литературу и должен опереться на что-либо другое, чтобы служить

слову. С Катковым мои отношения в глупой *заминке:* ему нет стати ко мне обращаться; а я тоже не могу этого сделать. И притом он уж таков, что не беспокоить его — самое приятное. Скоробрешко говорит, что будто он «слышать обо мне не может за приостановку романа», но это, я думаю, вздор, навеянный на болтливого графа неудачами «Царственного блузника». А просто мы в таких друг к другу отношениях, что с ними нечего делать.

Душевно преданный Вам

Н. Лесков.

101

А. С. СУВОРИНУ

24 декабря 1875 г., Петербург.

Очень благодарен Вам, любезный Алексей Сергеевич, за календарь и еще более того за привет, оказываемый Вами и Вашей дочерью моей Вере. Это поистине очень хорошее дело, приносящее честь Вашему сердцу и сердцу Александры Сергеевны, а меня обязывающее глубокою Вам признательностью. Эти дети — ровесницы по возрасту, ровесницы по житейским невзгодам, которые они встретили рано, что и должно, мне кажется, быть для них хорошим уроком. Я очень рад, что они сознакомились, и еще раз благодарю Вас за добрый приветъ оказанный в Вашем доме моей дочери.

Фельетоны Ваши хороши по-прежнему, силы Ваши, по-видимому, все в сборе: мысль о «досках», что купил гробовщик, мне очень понравилась, она напомнила мне одну превосходную речь пастора Стерна (автора Тристрама). К этому размышлению всегда полезно склонять внимание людей, особенно в эпохи, подобные той, какую мы переживаем, — эпоху пошлой скуки, умаляющей цену жизни и делающей людей «к добру и к злу постыдно равнодушных». Одно скажу: замечаю в Вас уменьшение *чуткости* в выборе предмета, чем Вы отличались и чем приобрели себе любовь публики. Что такое М. П. Погодин для общества *в эту минуту?* А Вы его изъясняли очень пространно. Все, писанное

об Овсяникове, было очень живо и умно, равно как и о полиции и об адвокатах... Разве мало неправд, вопиющих гораздо громче, чем преувеличение значения личного характера кого-либо из старых людей, «в пределах земли совершивших земное».

До свиданья; желаю Вам всего доброго и, с благодарностью за дочь, жму Вашу руку и руку Вашей дочери.

Н. Лесков.

1876

102
П. К. ЩЕБАЛЬСКОМУ

4 января 1876 г., Петербург.

Я замедлил ответом на Ваше последнее письмо, уважаемый Петр Карлович, потому что хотел сообщить Вам ответ превосходнейшего молодого человека, которого хотел завербовать Вам в учители. Ответ этого молодого моего приятеля (человека лет 24—25) таков: он не желает сделать ц⟨арство⟩ Польское долгим для себя поприщем; но на 1—2 года, в виду нынешнего бездорожья для скромных людей, готов и там поработать. Он очень *сведущ в литературе;* много *начитан;* разумен; честен до болезненности; добр бесконечно — до самозабвения; происхождения не громкого, но хорошего (сын одного губернатора); не хорош собою, но добровзгляден, чудаковат, но весьма симпатичен; весьма религиозен в хорошем значении этого слова; *классик и кандидат* Петербургского университета, но... юридического факультета... Это «ошибка молодости»: он избрал факультет, специальность которого всего менее отвечает его спокойной, доброй, чисто педагогической натуре. Тем не менее он все-таки будет членом суда; а пока *не прочь побыть и учителем,* если его юридический факультет не будет признан к тому препятствием. Ответьте на это мне, не стесняясь, прямо. По министерству есть примеры, что юристы зачислялись учителями, особенно русской словесности; но не знаю, не было ли это мерою временною? *За человека же этого ручаюсь во всех отношениях* в самой высшей мере.

О себе не могу сказать ничего утешительного: напротив — вокруг меня все пустеет, и я совсем всеми позабыт. Новый год начался для меня в полной безнадежности, и слово «терпение» даже потеряло для меня всякий смысл. Нигде и ничего не вижу, и нет уже лица, к которому бы я не пытался обратиться, и все это напрасно и напрасно. Не знаю уже, что это за доля такая, — поистине какая-то роковая и неодолимая. И люди, горячо бравшиеся помогать мне, все поостыли: либо их горячность остудилась в столкновении с холодом других, либо... просто опротивело возиться с таким незадачным человеком. Я по опыту знаю, что это противно и Вам, сам не знаю, для чего об этом пишу. Поклон всем Вашим.

Преданный Вам

Н. Лесков.

103

П. К. ЩЕБАЛЬСКОМУ

15 января 1876 г., Петербург.

Уважаемый Петр Карлович!

Только призадумался о Вас в сумерки, как подали Ваше письмо от 10-го генваря. Поздравлять, конечно, не с чем, да и я вычитал в «Оракуле», что этого даже не следует делать. Впрочем, я Вас, кажется, поздравлял и пожелал Вам чего-то хорошего; да как из моих желаний почти ни одно никогда не сбывается, так я даже считаю грубым невежеством их иметь и высказывать по отношению к добрым людям, которые уже вволю настрадались и по справедливости (человеческой, конечно) достойны хоть некоторой передышки. Что делать? — а существование наше все-таки не случайность, а школа, воспитательный период, никак не более, и затем состояние, «какого не видел глаз и не слышало ухо». Иначе это уже «ад», — это царство глупого случая и злых прихотей языческого рока: тогда что же надо еще хуже этого для существа, одаренного разумом и ощущениями свойств возвышенных? Но это, конечно, не то, — это не ад, потому что в нас еще живо стремление к высшему

идеалу, — в аду, то есть в состоянии полного, неисправимого падения, конечно и этого не будет. Мне кажется, что мы черти, но еще недостаточно злые и благонадежные к некоторому исправлению, окончательным результатом которого будет что-то лучшее. Притом тут и слово Христа и догадки мудрецов древности — все это утешает, что ошибки не будет, и вдруг, таким образом, чувствуешь себя по крайней мере в очень хорошей компании. Однако за сим все-таки нельзя не попищать от впечатлений сегодняшнего дня: тяжело, и до жуткости тяжело, дорогой мой Петр Карлович! Даже, скажу Вам, бывает так тяжело, что не только охотно заснул бы на весь срок моего земного пребывания, но если бы «ради сожаления к людям сократились дни сии», то и спокойно бы лег и вытянулся. Гнетет, знаете, без отдыха и без передышки. Когда бы было что чавкать, так оно бы ничего: не страдая ни славолюбием, ни честолюбием и глядя на жизнь земную как на «переход», наблюдал бы, до чего переход этот особенно труден в России, где ничего не сделать честным трудом и где ни в чем нет последовательности, кроме преследования человека, если не острым терзательством, то тупым измором. Два года, что я уже служу, и служу ревностно — работаю усердно и, по общему замечанию, видно и хорошо, было много случаев меня хоть прикормить, хоть передвинуть с одной тысячи рублей на две, и всякий раз отыскивали для этого «свежего человека» *с улицы,* а мои труды мне как будто даже мешали. Где тут взять бодрость и энергии? В литературе за мной признают силу и с каким-то сладострастием ее убивают, если уж не убили. Я не пишу ничего — не могу! Я не обижаюсь, как барышня среднего круга, которой не замечают в круге высшем; а во мне пропала вера в себя самого и во все, что я могу делать. Если мне еще суждено быть литератором, то это, конечно, не прежде, как я опомнюсь от долгих и тяжких неудач моих. Повторяю Вам мой вывод: чтобы быть порядочным писателем в России, надо быть вне зависимости от редакторского произвола. Служба в этом случае нашему брату, бедному человеку, пока единственное спасение, и мне нужна служба, которая давала бы хотя 2 т⟨ысячи⟩ в год, дабы я мог существовать, тогда, может быть, стал бы и писать. Теперь же я способен

только грызть себя, чем и занимаюсь со всеусердием, не только наяву, но даже и во сне. Я и внешне постарел, пожелтел и опустился, и упал духом, как только можно. Никого не упрекаю, но и ни на кого более не надеюсь: верю в одно, что тот, кто призвал меня к бытию, размостил и этот путь мне, делали сей жизни едва ли заслуженный, — по крайней мере по «сравнению с сверстниками», которым идет не худо. Талантливый Усов получает 7 т⟨ысяч⟩; даровитый Милюков 4 т⟨ысячи⟩; честный Маркевич 5 т⟨ысяч⟩ у Баймакова, и газета все падает, и читать в ней нечего; а у меня работы нет... Что же делать? Вы говорите о «бароне», — барон всегда был пустельга; но и вдохновители его, мои славянофилы, умолкли... Не виню их: хорошо тому помогать, с кем это ладится; но со мною не мудрено, что у всякого отпадает охота. Все ведь хорошо в меру: а это что-то алчное и бесконечное; чтобы возиться с таким незадачником, надо лезть напролом, а не пускать письма только для очищения совести. Надо мной совершено множество ничем мною не заслуженных неправд, и в скромности, с которою я снес и сношу их, лежит корень большого для меня зла: всем кажется, что так и нужно: «люди так, и я так же». Вот что худо! Кора эта все наслояется и толстеет; а у меня, как у немощной рыбы, уж нет сил пробить и не вздохнуть, чтобы ударить хвостом и перья расправить. Вот где и в чем беда моя! Я не удивляюсь, когда меня считает дурным человеком Островский, когда считает меня чуждым себе Некрасов или Салтыков (хотя никто, как эти два, не выражаются обо мне с похвалою), — но им я досадил; не сержусь на Феоктистова, ничтожество души которого я имел неосторожность изобразить. Я бы не был так мстителен, как он; но все-таки у него есть причины не любить меня и лгать и клеветать на меня. Это дело его сердца и его совести; но причина у него есть. Но Катков, но Георгиевский и tutti frutti [1] — им что я сделал? Но все те, которые нынче будто бы стоят за принципы, которым я *прежде всех их* и самоотверженнее всех их послужил: как в их планы входит изморить меня? При определении меня членом Комитета мне было обещано Делянов-

[1] Все прочие *(итал.)*.

вым 500 р. прибавки за то, что место чин⟨овника⟩ особ⟨ых⟩ пор⟨учений⟩, обещанное мне графом, по радению Георгиевского было передано Авсеенке, жена которого умеет вести дела своего мужа. Я и тем был доволен; но для этого стоило Георгиевскому установить эту прибавку, что не стоило ни малейшего труда. Вместо того в прошлом году я ее выпросил *уже как пособие,* а в нынешнем году мне совестно показалось просить, и мне ничего не дали; а дали по Комитету тому, что получает 2800 р. и сравнительно ничего не делает. Между тем я почти завален казенною работою, и часто довольно трудною, и мои доклады, без самолюбия говоря, часто обращают на себя внимание, особенно в богословно-историческом роде, в котором едва ли не я один что-нибудь и смыслю. Но и тут что́ выходит? — недавно граф, по светским своим связям, пообещал дамам всякую поддержку их вздорному изданию, и издание это, конечно, попало *мне,* а не другому... Я должен был его браковать, разумеется снискивая себе тем не особенные симпатии. Так идет у меня все. Но я с этим делом справился, и длинный доклад мой прошел среди внимательного молчания и общего одобрения. Комитет *единогласно* отверг издание дам, и Георгиевский по окончании заседания отнесся ко мне с сочувствием и вниманием к моему видимому нездоровью и расстройству... Однако всучил мне эту щетинку, а не другому. О, как тяжелы все эти мелочи, когда крупного нет ничего, кроме досад, уничижения и горя! Но стыдно и грешно жаловаться! Будем верить, что когда и «священник отвернувшись пройдет и левит мимо идет», то за ними еще может идти самарянин, и тот будет добрее. Думаю теперь о Георгиевском (надо ли пробовать), он ко мне, видимо, стал участливее. Не воспользоваться ли этим: не попробовать ли обратить его в орудие к моему спасению? Он мог бы поговорить и с Брадке, а еще лучше с директором канцелярии по синоду, где я мог бы весьма пригодиться. Мог бы даже, ничем не рискуя, сказать при случае и графу, который два года т⟨ому⟩ назад определял меня не с тем, чтобы всегда оставить на этом старческом месте. Но я решительно плохой за себя ходок; в меру слабых сил моих я умею выпросить кое-что другим и никогда себе самому. Не найдете ли

Вы возможным от *себя* написать Георгиевскому о моем положении? Было бы достаточным поводом удивиться, что я бьюсь на 2 т⟨ысячи⟩ в Варшаву, как будто не стою их в П⟨етер⟩бурге? Он, конечно, знает наши добрые отношения и не удивится, если Вы трогаетесь моим состоянием, которое даже и он изчужа замечает. Я думаю, что Вы на этом ничего бы не потеряли, а мне, может быть, дали бы некоторый шанс... Но если вздумаете «тронуться жертвою судеб», то, пожалуйста, не дайте Михаилу Никифоровичу превзойти Вас в горячности ко мне, он некогда написал им через меня открытое письмо столь укоризненно сильное, что оно их проняло; а Вы хотя не укоряйте; но скажите же им тепло и от души, что ведь мне только сдохнуть остается за верную службу будто бы чтимых ими интересов. Попытайте еще это для меня сделать, и чем скорее, тем лучше. Протейкинскому я прочел Ваше письмо, и он, вероятно, будет писать Вам. По-моему Вы ему задачу задали, точно он не в учители, а в министры назначается. Какие же он будет выражать общие взгляды на образование? Мне это что-то мудрено кажется; а впрочем, пусть выразится. О делах Ваших, разумеется, порадею и не позабуду сфискалить Вам, когда будет о чем. О Мирре Александровне очень горько скорблю, и всего более сожалею, что она в разлуке с Вами. Много она, бедная, тоже изведала зла человеческого, и я ее никогда так не любил и не уважал, как в приснопамятный вечер залога билетов Леонтьеву. Молю бога ее хранить и для Вас и особенно для дочерей. Поклонитесь ей от меня: она знает, что я ее люблю и уважаю. Затем: мужайтесь и что можете сделайте мне.

Н. Л.

104
П. К. ЩЕБАЛЬСКОМУ

18 января 1876 г., Петербург.

Уважаемый Петр Карлович!

Вчера кн. Оболенский сказал мне, что в госуд⟨арственном⟩ совете утвержден проект назначения школьных инспекторов для Кавказского края. Каждая из

этих должностей дает вдвое более, чем Комитет, и при этом жаловании уже нельзя сдохнуть с голода. Если Вы согреетесь сочувствием к моему ужасному и незаслуженно постыдному положению и напишете Георгиевскому, то, пожалуйста, укажите на эти места. Конечно, было бы благодеянием дать мне такое место здесь, в Петербурге, чтобы я мог не терять и Комитета, но если этого нельзя, то я пойду всюду. Что делать? Не спросите ли: почему я об этом не говорю? Почему? — потому, что мне уже срама не имут отказывать, и я не могу ничего сказать без проклятого предубеждения, что из этого ничего не выйдет. Я как столб, на который уже и люди и собаки мочатся.

Н. Лесков.

105
П. К. ЩЕБАЛЬСКОМУ

24 января 1876 г., Петербург.

Уважаемый Петр Карлович!

Я получил от Веры Петровны письмецо, на которое отвечаю Вам. Не знаю хорошо ли писать Марье Ал⟨ександров⟩не; а не ее мужу? — по-моему, все нехорошо; но все надо пробовать. Поступите как сочтете за лучшее; но не ошибитесь и не принизьте меня напрасно. Я не стыжусь искать труда; но *напрасных* унижений все-таки боюсь и избегаю. О порядках кавказских я положительно ничего не знаю, да и узнать не могу; но это не важно: нет нужды указывать именно на это — есть и многое другое, например синод, где я мог бы быть с пользою употреблен при различных делах. Г⟨еоргиевско⟩му, может быть, стоило бы только заговорить обо мне с гр. Т⟨олсты⟩м и, так сказать, «извлечь меня из моря забвения»; а потому я думаю, что точность указаний в письме Вашем отнюдь не необходима; а общность ему даже более бы пошла. За что же я один гибну измором? Марья Ал⟨ександровна⟩ ко мне тоже (кажется) довольно расположена; но я не знаю: не лучше ли писать прямо ему, или, может быть, совсем

никому не писать. На сих днях я еще сделал две отчаянных попытки добыть работу и убедился, что мой «катковизм» мне загородил все двери. Более я уже и пытаться не стану. Будь — что будет!

Комаров (38 лет) женился на дочери Григорья Данилевского (16 лет) — она еще не кончила курса гимназии и будет его оканчивать. Мне нравится эта оригинальность. Рекомендую Вашему вниманию *начало* статьи Щедрина «Культурные люди».

Ваш *Лесков*.

106
П. К. ЩЕБАЛЬСКОМУ

18 февраля 1876 г., Петербург.

Уважаемый Петр Карлович!

О «Дневнике» Вы, конечно, уже всё знаете: я заключаю это потому, что Менгден давно уехал и, вероятно, все сообщил Вам. О сочинении же Вашем узнал только сегодня, оно будет доложено *на 3-й неделе поста* в комиссии, состоящей из Савваитова, Замысловского, Авсеенки и Бестужева (последний председательствует и от него, как я Вам не раз уже писал, будет многое зависеть). Он и Савваитов, по всем видимостям, на Вашей стороне; о Замысловском не знаю; а об Авс⟨еенко⟩ имею обычаем никогда ничего не узнавать. Этот человек добра не любит и просить его напрасно, — он гадит с сладострастием, так что вместо пользы можно наделать сугубый вред. Употребляйте возможное давление на Бестужева, — это, по моему мнению, — самое верное и надежное. В моих делах, разумеется, все по-старому: ни «тпру» не едет, ни «но» не везет. На днях Тертий Ив⟨анович⟩ нападал на Георгиевского за полное обо мне забвение; но, кажется, все это втуне. Отговорок, разумеется, всегда может быть столько, сколько захочется найти их. В России все возможно, если хотят, и ничто невозможно, если не хотят; это мне еще двадцать лет тому назад один старый жид в Киеве открыл, и я это до сих пор постоянно наблюдаю. Хотят же теперь только то,

в чем видят выгоду, или необходимость; а в моих делах ни для кого нет ни того, ни другого.

Бедный Виссарион Комаров женился по рассеянности на дочери Данилевского, вместо дочери Каткова, и получил вместо 25 тысяч рублей нейзильберные ложечки работы Александра Кача. Сконфужен ужасно и имеет ныне один ус книзу, а один кверху, а очи червонные, яко у рыбы, глаголемой «окунь».

Поклон мой Вам, Мирре Александровне и барышням. Простите, если чем согрешил, а наипаче надокучил своею пискотнею: буду говеть и потому каюсь. А не пищать нельзя: во-первых, будто легче, как попищишь; а во-вторых, как пророк Ваалов, хоть и знаешь деревянное сердце своего бога, а все думаешь: авось на диво, возьмет да и услышит! Пусть хоть Мирра Александровна за меня покучится отвращающемуся от просьб моих богу отцов наших; а я за нее покланяюсь, и тако исполним завет Христов.

Новостей хороших только, что на днях двое удавились на одной веревке друг против друга. Если Вы лавливали рыбу, то должны знать, что это выражает так называемую «бешенку». Скука делается просто одуряющею.

Н. Лесков.

107
П. К. ЩЕБАЛЬСКОМУ

24 марта 1876 г., Петербург.

Уважаемый Петр Карлович!

Я получил Ваше письмо, в котором Вы радуетесь, что в отечестве Вашем много людей более Вас достойных; но за то и Вы, конечно, получили мою сонную цидулку, из которой могли видеть, сколько и сия Ваша радость несовершенна. Ваша рукопись была *всех лучше* (из пяти), но Б⟨есту⟩жев наловил в ней так много *фактических* ошибок, что надо было признать необходимость их исправления. Были, правда, ошибки, которые, может быть, надо бы считать просто за описки, — напри-

мер Дмит⟨рий⟩ Донской, отправляясь на Куликово поле, у Вас берет благословение у м. Алексея, а не у св. Сергия и т. п. Однако доклад был таков, что Комитет оказал Вам много доброжелательства, не согласясь с представлением рецензента об отвержении рукописи, а постановил, что ее желательно бы видеть исправленною по замечаниям. Иного ничего Комитет не мог и сделать. Теперь о возвращении рукописи: я вчера просил об этом Савваитова, но он отклонил это от себя, — говоря, что не может без Г⟨еоргиев⟩ского, которого я всячески избегаю о чем бы то ни было просить; но для Вас пересилил себя и попросил и очень усердно и тем дело совсем прихлопнул: он проголосил, что «как же-с это-с можно-с? Это ведь не порядок... и гр⟨аф⟩ может-с сам пожелать увидеть-с сочинение-с» и т. п. Результат тот, что «нельзя» и ничего нельзя, — ни возвратить, ни домой взять и заказать писарю списать копию, потому что «граф-с может-с спросить-с». Словом, я отошел с носом и, сказав себе «дурака», решился еще крепче не беспокоить сего сановника ничем, *даже и для Вас*. Чудовищная и противнейшая подозрительность этого человека растет не по дням, а по часам и говорить с ним, поистине, сущее наказание. Они теперь ожесточенно катковствуют: завели особую домашнюю цензуру над всею прессою; назначили к сему Авсеенку и во всем видят подкопы, а посему все строчат жалобы и добиваются предостережений, направо и налево. Теперь идет дело о «Нов⟨ом⟩ вр⟨емени⟩» Суворина, который напечатал корреспонденцию из Новгорода о неудовлетворительных порядках тамошней гимназии. Повод дать предостережение был так недостаточен, что вся тройка с ног сбилась, бегая по сему делу ко «Вн. Дел.», где не хотели давать этому делу хода, — кажется более потому, что они уже очень надоели. Однако они добились, и предостережение завтра будет. До Вас ли тут и вообще до кого бы то ни было, кроме их самих? Поэтому прошу на меня не сетовать, что я Вам ничего доброго сделать не могу. Повидавшись после заседания с Савваитовым, я мог добиться от *него* в Вашу пользу только того, что рукопись можно будет выдать мне, как только граф подпишет журнал; но для этого Вы должны прислать мне записку в том, что-де рукопись под девизом

таким-то прошу выдать такому-то, и подписать это опять *не именем, а девизом же*. Пришлите такую записку поскорее, но скорого исполнения сей Вашей просьбы не ждите: может быть, возможность удовлетворить ее явится и скоро; а может быть, и не скоро, например в мае месяце: «стяжите душу вашу в терпении» или ищите иных путей. Впрочем, я думаю, ничто не поможет: у нас с Вами на удачи не ходко, и добрых людей, готовых всучить в крестный снурок свиную щетинку, на всяком месте довольно. Не усилить бы без пользы толков, что «этот Щ⟨ебальский⟩ любит докучать». По моему, лучше не докучайте: зачем? — ведь они, слава богу, сыты... О, дорогой Петр Карлович, когда бы Вы знали: как тяжело жить в этой задухе, которой и конца не видно! И *мы же сами,* может быть, все это взгромоздили и подпираем... Эта мука с платком во рту убила во мне всю силу, и всякие надежды представляются мне уже какой-то непозволительною пошлостью. Зачем они? — нет им места.

Прощайте, поклонитесь Мирре Александровне и барышням.

Ваш *Н. Л.*

Барона-«сладкопевца» я более не видал: это гораздо спокойнее.

108

Я. П. ПОЛОНСКОМУ

18 апреля 1876 г., Петербург.

Уважаемый Яков Петрович!

Посылаю к Вам юношу, имеющего страсть к поэзии и некоторые дарования, впрочем уже подпорченные гражданским направлением. Он ищет совета и указаний, — не откажите ему выслушать его и сказать ему доброе слово трезвой правды.

Душевно преданный Вам и Вас искренно любящий

Николай Лесков.

1877

109
Ф. М. ДОСТОЕВСКОМУ

Ночь на 7 марта 1877 г.,
Петербург.

Сказанное по поводу «негодяя Стивы» и «чистого сердцем Левина» так хорошо, — чисто, благородно, умно и прозорливо, что я не могу удержаться от потребности сказать Вам горячее спасибо и душевный привет. Дух Ваш прекрасен, — иначе он не разобрал бы этого *так*. Это анализ *умной души,* а не головы.

Всегда Вас почитающий
Н. Лесков.

110
Ф. И. БУСЛАЕВУ

1 июня 1877 г., Петербург.

Достоуважаемый Федор Иванович!

Внимание, Вами мне оказываемое, меня не только трогает, но даже и приводит в смущение. При всех моих человеческих недостатках я так счастлив, что не совсем утратил русское чувство скромности: я знаю свое малое значение в литературе, свои малые средства и малое искусство нравиться моим собратам по искусству. Вы человек большой, сведущность Ваша общепризнана,

заслуги Ваши родной литературе выше всяких пререканий. Вам ли у меня спрашивать мнения, и мне ли иметь наглость подавать его Вам? Но я не только уважаю Вас, но и люблю как человека и, в силу этого последнего чувства, решаюсь сказать Вам, что́ думаю о затронутом Вами интереснейшем литературном вопросе.

За Вашу брошюру, переданную мне Ал. Дм. Галаховым, я только могу Вас благодарить и поучаться; но боюсь по поводу ее что-нибудь заметить. Вопрос об «утилитарном» значении романа и вообще художественных произведений, мне кажется, до сих пор не выяснен и не выяснен именно потому, что он недавно неудачно поставлен и с тех пор, при каждой новой разработке, всегда роковым образом попадает под тот же угол зрения. Я думаю, что *роман* (то есть собственно один *роман,* — одна эта повествовательная форма) должен иметь то значение, какое Вы ему намечаете, и это, может быть, должно составлять характерную черту отличия романа от новеллы, повести, очерка и рассказа. В этом давно надо было бы произвести обстоятельный разбор, так как в наше время — критического бессмыслия в понятиях самих писателей о форме их произведений, воцарился невообразимый хаос. «Хочу, назову романом, хочу, назову повестью — так и будет». И они думают, что это так и есть, как они назвали. Между тем, конечно, это не так, и вот это-то, по-моему, стоило внимания такого знатока, как Вы. Писатель, который понял бы настоящим образом разницу романа от повести, очерка или рассказа, понял бы также, что в сих трех последних формах он может быть *только* рисовальщиком, с известным запасом вкуса, умения и знаний; а, затевая ткань романа, он должен быть еще и мыслитель, должен показать живые создания своей фантазии в отношении их к данному времени, среде и состоянию науки, искусства и весьма часто политики. Другими словами, если я не совсем бестолково говорю, у романа, то есть произведения, написанного настоящим образом, по настоящим понятиям о произведении этого рода, не может быть отнято некоторое, — не скажу «поучительное», а толковое, разъясняющее смысл значение. У нас же думают, что для этого нужна та мерзость, которая называется «направлением», или «тенденциею». Этого

укора не избежали и Вы, со своею брошюрою, которая иными в Петербурге понята так, что Вы хотите того, чего Вы, разумеется, не можете хотеть, — то есть тенденциозности, писания трактатов в лицах. Я Вас понимаю и, кажется, Алексей Дмитриевич тоже; но, я думаю, что все-таки Вам надо разъяснить свою мысль, а в этом Вам много пригодилось бы разъяснение того, что мы должны разуметь под романом, в отличие от повести, рассказа, очерка и проч.?

Роману нет нужды насильственно придавать *служебного* значения, но оно должно быть в нем как органическое качество его сущности. Если же нет этого в романе, то значит он не берет всего того, что должен взять роман, и не имеет основания называться романом. Тут, конечно, есть исключения, которые сами собою очевидны (например, романы чисто любовные, каковых, впрочем, теперь немного и скоро будет еще менее). Но и в повести, и даже в рассказе должна быть своя служебная роль — например показать в порочном сердце тот уголок, где еще уцелело что-нибудь святое и чистое. Эта задача сколь приятная, столь же и полезная, и я ее достигал порой, вовсе не имея к этому никакой теории, а тем менее «тенденции». Мне нравилось мнение китайского «царя мудрости» Кун-цзы, что «в каждом сердце еще есть добро — стоит только, чтобы люди увидали на пожаре ребенка в пламени, и все пожелают, чтобы он был спасен». Я это понял и исповедую и благодаря этому действительно находил теплые углы в холодных сердцах и освещал их. Вот *служебность* рассказа, но не тенденция. Мне кажется, надо бы перебрать это и пояснить примерами, потому что тут мы стали на всякие теоретические разговоры и нам надо «млеко», а не брашно. О самом приеме, или манере постройки романа, я с Вами еще более согласен и не далее как в прошлом году говорил об этом с Иваном Сергеевичем Аксаковым, который хвалил меня за хронику «Захудалый род», но говорил, что я напрасно избрал не общеромантический прием, а писал мемуаром, от имени вымышленного лица. Ив⟨ан⟩ Серг⟨еевич⟩ указывал мне даже места, где из-за вымышленного лица, от коего веден мемуар, проглядывала моя физиономия; но и он не замечал этого в дневнике Туберозова (в «Соборянах»).

Однако, по вине моей излишней впечатлительности, это имело на меня такое действие, что я оставил совсем тогда созревшую у меня мысль написать «Записки человека без направления». Я не совсем убедился доводами Ивана Сергеевича, но как-то «расстроился мыслями» от расширившегося взгляда на мемуарную форму вымышленного художественного произведения. По правде же говоря, форма эта мне кажется очень удобною: она живее, или, лучше сказать, истовее рисовки сценами, в группировке которых и у таких больших мастеров, как Вальтер Скотт, бывает видна натяжка, или то, что люди простые называют: «случается точно, как в романе». Но, мне кажется, не только общего правила, но и преимущества одной манеры перед другою указать невозможно, так как тут многое зависит от субъективности автора. Вопрос этот очень интересен, но я боюсь, не пришлось бы его в конце концов свести к старому решению, что «наилучшая форма для каждого писателя та, с какою он лучше управляется». От Вас, я думаю, будут ожидать более разносторонней критики различных приемов и манер, а не генерального решения в пользу одной из них. И таковые ожидания, надо признаться, будут правильны, а исполнение их плодотворно для слушателей, и Вы принесете им немалую услугу и всей литературе, совсем сбившейся и неведомо куда вьющейся без критики. — Вот мое скромное слово, которое я позволяю себе сказать в ответ на Ваше письмо, делающее мне большую и незаслуженную честь. Если я сказал что не основательное — «не дописал или переписал», — простите.

Уважаемой супруге Вашей прошу позволения засвидетельствовать мое искреннее почтение. Вы, оба, в Париже были мне бесконечно дороги, посреди Рокамболей, из коих одного недавно видел здесь. А впрочем, и они на пожаре ребенка, захваченного огнем, вероятно, пожалеют искренно... Право, пожалеют!

Душевно преданный Вам слуга и Ваш почитатель

Н. Лесков.

1878

111
Н. А. ЛЮБИМОВУ

8 марта 1878 г., Петербург.

Уважаемый Николай Алексеевич!

Недавно тому назад я получил Ваше письмо с обещанием прислать мне корректуру «Меламеда» и все ждал этой присылки, но ждал напрасно. Наконец вчера вечером, в присутствии сидевшего у меня кн. Андр. Петр. Шаликова, почтальон принес мне сверток, — весь испещренный полицейскими справками о том, когда я выбыл с Фурштатской в Выборг, из Выборга на Захарьевскую, с Захарьевской на Коломенскую, с Коломенской на Невский проспект. Словом: проследили мои переходы *за пять лет*. Причиною тому было, что сверток был послан мне по очень старому адресу, несмотря на то, что я всегда выставляю мой адрес и на письмах и на рукописях. Это одна история, — а теперь другая.

По вскрытии свертка я нашел в нем (опять при кн. Шаликове) *всего шесть* полос: 16, 17, 18, 19, 20 и 21. Где же делись первые 15 полос, — о том знать не могу. Были ли они посланы и пропали или не были совсем посланы, — не знаю и узнать не имею возможности.

Присланные шесть последних полос я прокорректировал и вместе с этим письмом послал их в Москву, адресовав в *Контору ун⟨иверситет⟩ской типографии М. Н. К⟨атков⟩а.*

Эпизода с нагайкой я не сумел ни сократить, ни переделать против того, как он уже сокращен и переделан. Не знаю: что Вам кажется, но я там шаржа не вижу. Весь этот анекдот написан с рассказа олькушского

таможенного попа, и нагайка — событие испытанное и *типичное,* в казачьем вкусе. При том же, — вынуть его из рассказа было бы все равно, что заставить повара сварить уху без рыбы. Будет вода, а не уха, — нагайка эта здесь рыба. Да и при том она уже очень достаточно усмирена, так что мне делать ничего не осталось. — Прошу Вас об одном: *если еще можно,* дозвольте мне переменить заглавие, которое мне начинает казаться *малопонятным* для публики, не знающей жидовской среды. Я прошу позволения поставить вместо «Ракушанский меламед» другое, — а именно «Страшный жид». Это будет гораздо лучше. Просьбу эту я надписал и в конце последней корректурной полосы, чтобы метранпаж не забыл спросить Вас об этом.

Затем, если есть время, — прикажите прислать мне не дошедшие до меня 15 полос, а если это может служить задержкой, — то, видно, так тому делу и быть.

Да долго ли я буду находиться под опалою по получению «Русского вестника», которого *я не вижу?* Если это так стóит за мои злодеяния, — я, конечно, не смею и плакаться, но мне все думается, что ни Михаил Никифорович, ни Вы этой обиды надо мною не учреждали. Как Вы об этом рассудите? Пожалуй, ведь это и не стоило, может быть, делать. А впрочем, поручаю себя Вашему великодушию.

Душевно Вам преданный

Н. Лесков.

Усердно благодарю Екатерину Дмитриевну за сказанный мне поклон и низко кланяюсь.

112

П. К. ЩЕБАЛЬСКОМУ

3 апреля 1878 г., Петербург.

Уважаемый Петр Карлович!

На почтенное и неленостное письмо Ваше отвечать нужно спешно, а притом и откровенно и кратко. Приглашение Ваше лестно со стороны Вашего доброго внимания, но оно совершенно невыгодно. У нас все вздо-

рожало на 50%, а гонорар поднялся едва на 20, — но все-таки за 50 р. никто писать не станет. Безобразов — дело иное: там по крайней мере скажешь, *что хочешь,* — а у Вас еще надо лезть под цензуру... Нет, на это не будет много охотников. Такой религиозности, о какой Вы пишете, — я терпеть не могу и писать о ней не в состоянии. Я люблю *живой дух веры,* а не направленскую риторику. По-моему, это «рукоделие от безделья», и притом все это на православный салтык... Тоже «философия» называется! Переводить мои бессмертные творения разрешаю на все языки, кроме чешского, потому что очень не люблю этого языка. *Для Вас лично* напишу что-нибудь из церковной жизни, и пришлю с цензорским разрешением Алекс⟨андро⟩-Невск⟨ой⟩ лавры. Может быть, это будет образцовое жизнеописание русского святого, которому *нет подобного* нигде, по здравости и реальности его христианских воззрений. Это *Нил Сорский* (Майков). Надеюсь, что это я могу сделать *Вам в угоду,* но более ничего обещать не могу. Впрочем, откровенно говоря, я в Ваше Revue не верю: у шести нянек дитя непременно не выходится. А впрочем: давай бог!

Новости, сами видите, какие... Что уж хуже этого? Я себя, в последние дни, начал чувствовать «другом мира» *во что бы то ни стало.* Да что в самом деле: это уже кажется всего беспечальнее.

Мирре Александровне и барышням низко кланяюсь.

Душевно Вам преданный

Н. Лесков.

1879

113
М. Г. ПЕЙКЕР

〈Первая половина 1879 г., Петербург.〉

Очень благодарен Вам за снисхождение к «Мелочам» и за память о самом «мелочнике». Но давать книгу не советую, чтобы больше покупали. Это не дружески (для автора) — «давать» книгу, — достаточно ее показать и опять у себя оставить. Тем более, я и не надеюсь, чтобы она долго находилась в обращении. Митрополит Исидор уже жаловался и, кажется, кн. Урусов. Вообще, — я опять ни на кого не угодил и очень этому рад, но боюсь только за моего бедного издателя, который может много пострадать на этом издании. Книга должна быть понята *верно*, цель ее — развенчать пуф и показать, что это самые обыкновенные смертные, которые и чихают, и «запираются», и нуждаются в «струменциях». Они этого и не сносят, ибо понимают, что это злее, чем дерзость. Будет обидно, если ток этих простых, но нужных понятий, будет хамски заткнут. Но думаю, что они будут тактичнее, — вся надежда на то, чтобы ход книги показал, что останавливать ее *уже поздно*. Это не проповедь, к которой я неспособен и за которую надеюсь, по милости божьей, никогда не браться, но это расчистка навоза, накопившегося у дверей храма. Это я умею и считаю моим призванием. Не высоко, кажется?

О М—ди пишется медленно и обширно. *Все* это нельзя впихнуть в журнальную статью. И при том есть места совсем без облика. «Плакала» — прекрасно, но

чтó же вызвало слезы? — Этого-то и нет. Не напомнило бы это греческого анекдота об орле, который, летя через синее море, потерял перо. Грек, который это говорил, был удивлен, что никто не плачет и сказал: «да, на вашем языке это не трогательно, но по-гречески — очень жалостно». Притом, — я всеми мерами отбиваюсь от хроники религиозного движения. Непонятливость и примитивность, обнаруженные «светом» при книге о Редстоке, — мне до смерти надоела. Кроме Бобринского, Тернера да самого Редстока, там словно «не умеют читать по-печатному» (так говорил кн. Вяземский, а не я). Мне это нестерпимо противно, и я глубоко сожалею, что публика любит почему-то, чтобы я ей об этом писал. Лучше бы это устроил какой-нибудь отец преподобный или «человек света». И чего, право, не помолитесь о чем надо!

Виктор П., вероятно, ⟨1 нрзб⟩ умалчивает, что я делаю? Я даже не могу своего дела делать, а мучусь с «законом божим». Это трудно Вам сказать, — какая не шутка. Вчера, было, хотел к Вам прибежать, но было уже 11 часов, — побоялся быть невежею, находя, что и так довольно невежлив. На днях непременно приду, но к Пашкову не пойду... Раз, что это *теперь* неудобно, а второе — и незачем... Это все одно и то же, и не одно и то же. Ужасно скучаю, если говорить по совести, и *для меня* совершенно бесполезно. Я вечером предпочитаю полежать часок с доброй книгой, которая мне открывает гораздо более, чем толкование о писании без научной подготовки. Прямо говоря, Пашков очень хорошо настроенный человек и хорош для простолюдина, но слушать его, по-моему (извините за вульгарность), значит «жеваное своим ртом прожевывать чужим». Что это за дело такое, да еще на досуге, ради хлеба насущного! Нет, «имейте мя отреченна».

О брате с Кавказа будет говорить, когда он уедет не попросивши «кишмишу», чего я очень опасаюсь. Это артист почище третьегоднешних «халдеев ⟨1 нрзб⟩», которые и ныне еще в Москве «жрут хлебы предложения». А впрочем, — это как Вам нравится; но я этому проходимцу *прямо не верю,* и увидите, что дело без «кишмиша» не обойдется.

Александру Ивановну много благодарю за перевод письма. И как это мы в десятиглавии читали «достал»,

когда надо было читать иначе! Она действительно права.

Низко Вам кланяюсь и пребываю в надежде скорого свидания Вашим слугою

Н. Лесков.

P. S. Однако прошу Вас не думать, что я говорил о «кишмише» со слов В⟨иктора⟩ П. Надеюсь, он слишком чист, чтобы его сосчитать в этом виновным. Я обыкновенно знаю то, что он не знает в своей голубиной простоте души.

114

А. С. СУВОРИНУ

⟨Первая половина 1879 г., Петербург.⟩

Вы меня просили выискать что-нибудь недорогое, интересное и тягучее, с непрерывающимся интересом для «Недельного Нового времени». Вот я Вам и прилагаю программу, что́ можно составить и что́ будет от начала до конца живо, интересно, весело и часто смешно, а в то же время нетенденциозно, но язвительнее самой злой брани.

Угодно или неугодно?

Я буду поспевать к каждому №. Гонорар обыкновенный, газетный. Бесплатные оттиски тем же набором на бумаге в мой счет, числом 2 тысячи. Вот и все. Потрудитесь дать мне ответ.

Напишу я это с любовью, выбрав материал из редкостного антика, давно скупленного и уничтоженного.

Н. Лесков.

115

М. Г. ПЕЙКЕР

9 июня 1879 г., Петербург.

Уважаемая Мария Григорьевна!

Благодарю Вас за Ваше интересное письмо с описанием Ваших дорожных приключений и посягательств Ваших на отрезвление особы Вашего урядника. Помо-

гай бог. Я дела Ваши уже все поприделал и 15-го утром намерен уехать, на что уже и билет взял. 4-й № Александр понес сегодня утром на почту. № 5 весь готов, но еще не одобрены 2 ст⟨атьи⟩, подлежавшие дух⟨овной⟩ цензуре. Вчера ездил для них к Арсению, и сегодня послал за ними Александра. Не знаю, что будет. Там Илья (моей работы) и «Два слова о вере» — перевод Вине. Если что будет не дозволено, то заменю статью «Из божественного» и № 5-й все-таки выпущу при себе, до 15-го. № 6-й тоже весь готов. Во избежание хлопот с цензурой без меня, я его составил из статей, не подлежащих духовной цензуре. Там вновь переведенный «Глазной доктор», значительно мною освобожденный от водянистого многословия и скуки, «Иоанн Дамаскин» и три отрывка. Чтобы избежать д⟨уховной⟩ цензуры «Библии» в 6 № тоже не будет, да иначе и нельзя расположить «Глазн⟨ого⟩ докт⟨ора⟩», который как раз распадается на две половины (1 — описание болезни и 2-я — приезд врача и лечение). В 6-м № идет 1-я половина, а 2-я остается для 7-го. № 6-й будет полон и жив, сколько это было возможно достичь. «Провизии» от Вас я не мог дождаться, так как иначе 6-й № не был бы при мне составлен, а поручать этого я не могу никому. Какая «провизия» придет, — то пойдет в 7-й №, с которым уже нечего спешить. Отошлю к набору и предоставлю течению естественному. Теперь журнал будет сведен в свои сроки, и 7-й, июльский № свободно может выйти в августе. Из Англ⟨ии⟩ получены 4 клише, 2 больших и 2 малые. Из больших один изображает Иосифа, представляющего своего отца фараону, а другая — большую собаку. Малые — одна лошадь, а другая — какого-то домашнего щенка. Я их послал тиснуть, и чтобы сделать 6-й № совсем независимым от Арсения, на 6-й № назначил на 1-ю страницу собаку (величиною с голову Ио⟨анна⟩ Кр⟨естителя⟩ и тоже *в кругу*), и в конце фазана. Корректуры на 6-й № уже все выправлены, и надо будет ⟨воздать⟩ особенной Витенькиной аккуратности, чтобы 6-й № не вышел через неделю же после 5-го. Надеемся — сила вещей сама его вынесет ранее. О 7-м пока не будем говорить, кроме того, что я велел набирать в него то, что будет приходить от Вас. Пусть это все собирается,

набирается и пропускается через руки Арсения, тогда увидим, как и что сделать. Во всяком случае я прошу Вас верить, что все будет сделано что должно из того, что можно. Сейчас получил депешу из Риги, что мои тамошние друзья устроили мне дачу и не хотят пускать меня в Либаву. Не знаю, настою на своем или уступлю им. Во всяком случае писать мне надо так: *«В Ригу, в редакцию «Рижского вестника»*, для передачи». Желаю Вам «всего доброго», а наиболее желаю укрепить свои нервы, чтобы зимою не «падать на ноги» (как Вы говорите). Очень буду рад, если не дали к тому причины 5 и 6 №№ моего составления. Обаче покройте все милостью: старался сделать угодное, а угожу ли, — не знаю. Прошу мне об этом написать в Ригу. — Погода изменчива и непостоянна: был холод — теперь невыносимая жара и духота. От гр⟨афа⟩ Корфа получил письмо, в котором, между прочим, пишет, что он находится в объятиях «стройной природы». Принимаю это в смысле иносказания. Алекс⟨андр⟩ Григорьевич уехал на дачу и, прощаясь, подал Витеньке два пальца. Отношу это к неточному пониманию слов псалтыри: «благо мне яко смирил мя еси». Щербинин сейчас был и ушел с баснею «Шестоверстова», — так подписался ее автор. В басне шест говорит с верстою, и говорит ужасную чепуху. Заручившись уверением, что этот «Верстошестов» не он сам, дал искренний ответ в тоне известного стиха Феокрита:

«Прежде чем станешь писать, — научись же порядочно мыслить».

А все ведет к радостному восторгу того хохла, который умиленно воскликнул: «Боже милый! Яких у нашего царя людей нэма!» Волконский издал приказ, чтобы все классические гимназисты «снимали шапки перед архиереями». Еще раз: «Яких у нашего царя людей нэма!»

Благодарю Вас за ласки и внимание, оказанные Андрюше. Прошу продлить их и впредь и не поскучать, что увезли его с собою. Усердно прошу, чтобы он больше был на воздухе и *непременно* купался — это ему необходимо. Равно позвольте просить и о лошадке: ему надо растрястись от учебной насидки. Чем Александра Ива-

новна облагодарит его цикл понятий и сведений во французском языке — за все буду ей глубоко благодарен. Прошу только непременно *час в день за*ставлять его читать по-французски и непременно *вслух.* Дел у меня неодолимая куча перед отъездом, но все-таки напишу Вам хоть открытую карточку, как идет с 5 №.

Почтительно целую Вашу руку

Н. Лесков.

P. S. Из Риги напишу. Там думаю пробыть до 26 июля, а 1 августа поеду к Вам за Андрюшею. Сию минуту прочел предъявленную мне Вашу эпистолию, где сказано, что «если он будет вести себя честно, то *тогда* бог будет с ним», и очень, очень с этим согласился. «Если», и «тогда будет». Это очень, очень верно! Вот мы и *одной веры* вышли! Я его в этом усиленно утверждал, чтобы он «преклонял к себе бога». Будьте же здоровы!

Александр сию минуту пришел от Арсения: 5 № *пропущен.* Дописано, говорит, *одно* словцо. Не знаю, что́, думаю, что ничего зловредного. Завтра увижу в сводке. Будьте покойны.

116

М. Г. ПЕЙКЕР

21 июня 1879 г., Рига, Карлсбад.

Я виноват, что не ответил путем на Ваше последнее письмо, но дело было слишком второпях и наскоре. «Мудрые заботы» мои с Вашим изданием были уже все закончены, — хорошо или худо, — это Вам судить. Конечно, я хотел сделать хорошо или как можно лучше, но трудно, и даже не трудно, а вовсе невозможно, делать что-нибудь живое в этом мертвенном, чисто буддистическом настроении притупления ума, воли и всех высших способностей, которыми «дитя света» может проявлять «свет, во тьме светящий». Недаром и английская литература *этого* направления также немощна и безжизненна, как и наша. Из всех материалов Вашего портфеля я выбрал только глазного доктора, который, впрочем, немножко советник и страдает водяною. Я его

немножечко усмирил, немножечко подживил, да значительно поспустил у него водицы, и он пошел. Вторая половина, где я более злился и стругал его со всех боков, — вышла совсем недурна и похожа на живую повесть о живых людях, а не о марионетках с религиозным заводом. Беда с этим искусственным зданием: тут машинка, там пружинка, и все одно за другое цепляется и путается само, и пряху путает, и в конце концов рвется. Так я понимаю все Ваше нервическое раздражение и понимаю его вернее самых давних и самых светских друзей Ваших; силы, дарованные Вам для работы во славу отца, светом не укладываются по этим игрушечным коробочкам. Вы усердно и добросовестно их туда мнете и тискаете, а крепкая опара все их еще поднимает... Замечательная борьба и ужасное самооскопление духа ради теории, которая не может произвесть ничего. Вы терпеливее Бобринского (умнейшего из людей Вашего союза) — он часто не выдерживает и постоянно лягается, если ему предлагают принять неудобоприемлемое, а Вы, с теми же способностями познавания, все это сносите, подчиняетесь, отыскиваете пророчиц между сорочицами и апостолов между всякими кишмишами, и все для чего? — чтобы страдать, мучиться и расстраиваться «во славу имени божия...» И это все так и будет и не может быть иначе. Вот то, чего Вы не можете не видеть и с чем, конечно, не могут сговориться ни Ваш рассудок, ни природная энергия, ни сердце, которое Вам приятно отрицать в себе, как будто в этом и у Вас есть необходимость, как у кого-нибудь другого прочего... Вы, пожалуйста, простите меня, что я позволяю себе сказать Вам это, но это важно потому, что это Вас изнуряет и исчерпывает до дна Ваши силы, и Вы так дороги для существа, которое одно ценнее многих и обладает истинною способностью служить славе божией... «Русск⟨ого⟩ рабоч⟨его⟩» надо воссоздать, чтобы он действительно шел и дело делал, или его надо бросить. Этак дело идти не может. Издание — дело заботное, и оно еще и ревниво, как влюбленная женщина, надо его строить и строить неустанно, а то оно рухнет и строителя придавит. Журнал народный, в свободном истинно христианском духе в России есть предприятие самое доброе и самое благочестивое, и число его подписчиков

должно быть 100—200 тысяч. Пусть Вас это не удивляет, — это несомненно так. Но издание надо вести заботливо, старательно и только в духе христианском, не вдаваясь ни в какую церковность, ни в ортодоксальную, ни в редстоковскую. Нельзя «задняя забывая, передняя простиратися» и разрешать проблемы, стоящие вне наших соображений, таким путем. Можете Вы нечто такое предпринять, — дело Ваше спасено, и Вы оставите по себе добрую память и достойное христианское занятие превосходной дочери Вашей (да будет всегда мило имя ее всякому, ее знающему), — а не можете или не хотите, — тогда без изнурительных колебаний следуйте смело Вашей мысли: бросьте это дело, как не стоящее того, чтобы им заниматься. Сдайте его кому-нибудь более ортодоксальному в этом направлении, а сами издавайте хорошие переводы, и увидите, что это Вас гораздо более удовлетворит, чем такая мука со связанными руками и с платком во рту. Это я Вам сказал не только как человек, Вас любящий, но и как журналист, у которого есть за плечами долгий опыт и понимание издательского дела, с которым играть нельзя. Веденное кое-как, оно падает; веденное старательно, не узко, — оно требует серьезных затрат и может расстроить дела; веденное же в угоду кружку (какому бы то ни было), оно становится в зависимость от людей этого кружка, — зависимость мелкую, докучную и в существе дела опять совершенно не стоящую хлопот, а между тем досаждающую и порой совершенно несносную. Так это или не так?.. Я уверен, что Вы если и сердитесь на меня в эту минуту, то Вы все-таки сознаете, что я говорю правду и что говорить ее меня ничто не вынуждает, кроме искренней дружбы и приязни, готовой и способной выдержать всякое испытание. Подумайте-ка, докуда свидимся и поговорим на чистом воздухе. Дело Ваше — дело хорошее, и его стоит делать, вся ошибка в приеме и в некоторой издательской неопытности, с которою, однако, решительно надо расстаться.

Теперь о себе. Я поселился согласно совету Эйхвальда на берегу моря, в $1^1/_2$ версте от Дубельна в местечке Карлсбад. Место тихое, обитаемое «литератами»,— людьми мне неизвестными. Все дачи с сосновом лесу, грунт песчаный, море мелкое и мало соленое; живу в Акцен-

Гаузе. Это длинный, как фабрика, досчатый сарай с окнами. По середине идет коридор, и по обеим сторонам кельи, из которых из одной в другую все слышно, так что надо чихать и сморкаться с осторожностью, которой немецкие «литераты», к сожалению, напрасно не соблюдают. Живу я «на харчах у немца», и харчи эти очень плохи. Прислуга не говорит ни на каком человеческом языке, а только издает какой-то утиный шелест вроде «туля сэя сипу липу како пули мосте пай». Лихо их ведает, что это значит. Скуки здесь вдоволь, а грубо циничного немецкого разврата еще более. Немецкие Дианы охотятся по лесам, поражая грубый пол своими стрелами, а людей бестолковых бьют зонтиками, что уже и со мною случилось. Познакомился я с пастором Рибнэ, переведенным в Ревель из Херсона за распространение штунды. Он здесь оберпастором сделан. Как хорошо быть немцами! Старичок он очень милый, чистенький, как холмик, толстенький, и мягкий, как сибирский кот; говорит умно, сдержанно и тепло. По-русски изъясняется свободно. Веры хорошей, — веры Гладстона, ⟨нрзб⟩, Берсье, Невиля и Вине. Мне с ним было очень приятно говорить об всем, печалующем всех нас, подданных нашего господа, идущих под его стягом, куда он хочет, но по лучшему своему разумению. Он мне сообщил кое-что о Вальденштреме и много расспрашивал о Редстоке. Все время 4-х дн⟨евного⟩ бурного плавания по морю у нас в кают-компании шли дебаты, в которых (вообразите себе) я был защитником лорда. Рибнэ считает его дело полезным, но осуждает распространяемое им и его последователями неуважение к науке, с чем и я, разумеется, вполне согласен. Четыре барона находили все это редстоковское учение «думхейтом», а мы за него поспорили, хотя «за ним не ходим». Вообще я очень рад был случаю увидеть и узнать эту «рыбку», как зовут его хохлы-штундисты, и учение его нахожу чистым, а дух, его одушевляющий, очень приятным. Но всего в письме не перескажешь. Работы у меня много, и не знаю, как ее приделать. Желаю все это кончить здесь до 20-25 июля, а к 1 августа быть у вас и обнять моего сына, о котором очень, очень сконфуженно скучаю. Пожалуйста, ласкайте его, и пусть он больше бегает, больше играет

с простыми ребятками, купается и трясется на лошади.

Целую Вашу руку. Душевно Вам преданный

Н. Лесков.

Да пишите мне побольше! Что Вы заленились.

117

А. С. СУВОРИНУ

4 июля 1879 г., Карлсбад близ Риги.

Уважаемый Алексей Сергеевич!

Назад тому два дня я послал Вам статейку «Из культа мертвых», а теперь посылаю другую — поживее. Думаю, что она имеет интерес и написана цензурно. Рассказ тоже готов и переписывается набело. Пришлю дней через пять-шесть. Экземпляр «Некуда» перед отъездом сдал в Вашу типографию. Велите, пожалуйста, печатать по вашему усмотрению, только поскорее, — книги нет. Условие напишем, когда свидимся осенью. Под сегодняшнею статьею прошу оставить «Карлсбад», — пусть не знают, какой, и оно будто «новшественнее», и не видно, что я здесь раздобыл запретный листок, по поводу которого нашлось кое-что сказать. — Людей этих я лично *нисколько* не знаю.

Преданный Вам *Н. Лесков.*

Листок «Год» действительно основывается. Это мне сообщили в редакции «Рижского вестника».

В статье, я думаю, два фельетона, и потому я сделал карандашом заметку, где ее разделить *пополам.*

118

Э. Е. БРАДКЕ

19 декабря 1879 г., Петербург.

Милостивый государь
Эммануил Егорович!

Вчера я получил из департамента несколько бумаг, присланных его сиятельству графу Дмитрию Андреевичу из Петропавловска учителем Желтышевым.

В числе этих бумаг есть два сочинения: одно, посвященное имени государя наследника цесаревича, а другое графу Дмитрию Андреевичу.

Его сиятельству угодно было поручить мне рассмотреть эту предику, но мне не сообщено, в какой форме должно быть это рассмотрение, — в форме ли подробного служебного доклада или в виде отзыва, который представил бы его сиятельству только сущность и достоинства этих сочинений.

Я теперь недвижимо болен, так что не покидаю постели и потому лично разъяснить для себя этого не могу, тем более, что таким вопросом, может быть, нужно было бы беспокоить самого графа. А между тем, может статься, его сиятельство имеет какие-нибудь причины желать немедленно знать, что содержится в сочинениях Желтышева. Поэтому я имею честь покорнейше просить Ваше превосходительство доложить, когда Вам будет угодно, господину министру, что, насколько возможно при моем болезненном состоянии, я поручение его выполнил, то есть сочинения г. Желтышева прочитал и могу о них выразить мое мнение. Оба они исполнены страстного, но нездорового патриотического духа, оба свидетельствуют о значительной душевной раздраженности и умственном непросвещении автора — не имеют никаких достоинств зрелой мысли и не содержат в себе ничего удобоприменимого сообразно с нынешними обстоятельствами России. Кроме того, они невозможны для распространения их в каком бы то ни было круге читателей. Кратко говоря, они содержат вот что: 1. Рукопись, посвященная наследнику цесаревичу, представляет народ русский в виде сказочного Иванушки-дурачка. Царь — отец, государство — мать; у них три сына: старший, «умный детина»—духовные; средний — «так и сяк» (чиновные); младший, дурак, — народ, Иванушка. У отца-хозяина кто-то стал ходить на поле топтать пшеницу; отец послал караулить старшего сына (духовных) — те проспали и ничего не уберегли; потом послал среднего сына (чиновных) — эти наелись, разленились, заснули и тоже никого не поймали, да еще солгали, донесли, что «в поле все благополучно». Теперь началась третья стража: дозором вышел Иван-дурак — народ, об уме и вообще душевных свойствах которого

идет ряд длинных, банальных, часто противоречивых, несостоятельных и смешных рассуждений, которых я в этом кратком отзыве приводить не буду. Вообще это сочинение исполнено самой младенческой мысли унизить значение образованных классов общества с желанием показать, что только в народной массе хранятся задатки плодотворных мыслей, утраченных нами под влиянием «разлагающегося Запада». По моему мнению, сочинение это не только недостойно быть посвящено имени наследника русского престола, но оно просто недостойно ничьего серьезного внимания.

Второе сочинение, посвященное графу Дмитрию Андреевичу, гораздо объемистее и разностороннее первого. Оно касается самых важных предметов с наивностью полного неведения и с узкою нетерпимостью фанатика. Политический идеал автора — московская патриархия и вообще допетровский порядок, в котором будто заключается наше спасение от современных настроений. Везде тут бездна текстов св⟨ященного⟩ писания, изречения св⟨ятых⟩ отцов, народных пословиц и присловий; масса выраженных здесь несообразностей так велика, что их нет возможности перечислять. Укажу на одно, что особенно сильно занимает автора и выработано им с особенной тщательностью: предстоящий юбилей 25-летнего царствования государя императора, и удивляется, как до сих пор не последовало «приказания всех расстрелять». Он возмущается затеею юбилея — этого языческого празднества, которое, по его предположениям, начнут молебном и окончат поклонением Бахусу. В жару религиозного и патриотического чувства автор предлагает вместо юбилея учредить по древнееврейскому обычаю всенародный пост со всенародною же складчиною на составление особой «полиции исполнительной», которая должна будет «разодрать всякое писание неправедное». И так все в этом роде, но, впрочем, то, что я привел на образец, есть самое практическое, что можно уловить в волнах этого туманного бреда.

При этом, конечно, в писаниях г. Желтышева в изобилии встречаются выходки против русских подданных нерусской веры и невеликорусского происхождения и многие другие тенденциозности не примиряющего,

а раздражающего свойства, словом — оное слабое, несостоятельное, беспокойное сочинение не заслуживает того, чтобы быть посвящено господину министру народного просвещения, да притом оно и не может быть напечатано.

С должным почтением и преданностью имею честь быть Вашего превосходительства покорнейшим слугою.

Н. Лесков.

119

А. С. СУВОРИНУ

25 декабря 1879 г., Петербург.

И Вас с праздником, мой старый коллега!

№, слава богу, хорош. Я его нетерпеливо ждал увидеть. Опытный глаз заметит, что «была спешка», но ничего — бредет. Одно стихотворение Буренина очень хорошо; другое к статье. Черниговец тоже удовлетворяет дневи, и даже очень тепло. Я, кажется, не хуже людей, хотя и есть «смазь»; но ведь (забыл сказать) без подобной связи рождественский рассказ редко обходится. Она очень часто сверкает белыми нитками даже у Диккенса. Это ничего: лишь бы осталось что-нибудь образное. Теперь вижу, что́ надо было сделать, — надо было отмарать фельетонный приступ, вызывавший необходимость обобщения в конце, и сделать просто рассказ *о дневном обороте*, — что́ русский человек в день может переколобродить. Это было бы цельнее, — было бы совсем ценно и хорошо *для нас,* понимающих дело, но можно утешиться, вспомнив, что публика не так судит, — она не столь разборчива и этих тонкостей художественной экономии не понимает. Но вперед (если доживем) надо не допускать себя до такой спешки. Что же касается до самой мысли рождественского номера — эта мысль хорошая, и она привьется.

Маслову даны известные Вам очень интересные очерки жидовской веры. Их еще нет в этом №, хотя я уже прочел корректуру. Конечно, это пойдет с *нового года.* Это хорошо, но там поставлено грубое заглавие: «Жидовская вера». Это, собственно, я подделывался к

Вам, но, по-моему, это грубо... Не благоволите ли поставить «Набожные евреи»? Я бы очень об этом просил.

К Новому году работу сделаю. Здоровье поправляется, но очень медленно, — учусь ходить. Барц говорит, что я схватил ревматизм чудовищный.

Ваш *Н. Лесков.*

Теперь вот нашел чудесную проповедь Стерна (юмориста).

120

А. П. МИЛЮКОВУ

⟨1878—1879 гг., Петербург.⟩

Позвольте мне рекомендовать Вашему вниманию слово «простец» в записках Посошкова, который и сам себя и вообще крестьян называет «простецами». Заключаю от этого, что употребление такого слова не зазорно, и оно значит совсем не то, что значит «простяк» — которое мне тоже известно, а также известно и настоящее его значение. Слово «простец» есть слово русское, правильное и притом столь ясно-выразительное, что я позволю себе за него стоять и впредь стану его употреблять ничтоже сумняся. А употребляют ли его теперь, в живой речи, «парлиируя и скрибируя», — об этом знает всяк, имевший когда-нибудь беседы со староверами. Парлянты этого слова не употребляют, но тем не менее это слово хорошее, ибо хорошо выражает то, что другим *одним* словом не выразите.

Н. Л.

1880

121
С. Н. ШУБИНСКОМУ

〈23 апреля 1880 г., Петербург.〉
Среда, вечер. Пасха.

Я с радостью приеду к Вам в понедельник, вечером м〈ежду〉 8 и 9 час. Очень рад послушать очевидца. — Книгу Вашу привезу. О Голубинском *никому* не поверю. Я читаю его страстно, но сужу не увлекаясь: он понимает *дух* нашей церк〈овной〉 истории, *как никто,* и толкует источники вдохновенно, как художник, а не буквоед. Он должен быть руган и переруган, но прав будет он, а не его судья. Он производит *реформу* и должен пострадать за правду, — это в порядке вещей, но правда, и притом вдохновенная правда, исторического проникновения, с ним, а не с Б—м и не с tutti frutti. Я, впрочем, охотно готов о нем не писать, но ему я написал, потому что я не спал четыре ночи, не будучи в силах оторваться от книги. Не думаю, чтобы суд о нем был суд правый, — митрополит Макарий не дал бы денег на издание пустячного труда, а он их дал, несмотря на то, что Голубинский много раз противоречит Макарию. О Голубинском вернее всех отозвался некто таким образом: «Он трепит исторические источники, как пономарь поповскую ризу, которую он убирает после служения». Сейчас ее еще целовали, сейчас чувствовали, как с ее «ометов» каплет благодать, а он ее знай *укладывает...* Грубо это, но ведь он знает, что под нею не благодать, а просто крашенина с псиным запахом от

попова пота. Но Голубинский, кажется, так и идет на это... Это Шер русской церковной истории, у которой до сих пор были только «кадиловозжигатели». Пусть что кому нравится, а мне нравятся Шлоссер, Ренан, Шер, Костомаров, Знаменский и Голубинский. Степени их учености и дарований различны, но прием и дух один и тот же, — это дух, единственно принадлежащий *живой науке*, и он есть дух живучий — дух будущего истории, тогда как Б. и tutti frutti останутся мертвыми, погребающими своих мертвецов.

Дружески любящий Вас

Н. Лесков.

122

А. С. СУВОРИНУ

〈Апрель 1880 г., Петербург.〉

Заметку об австрийских школах есть повод пустить немедленно и безопасно. Повод этот имеет в «Русском вестнике», месяц апрель, статья Щебальского «По поводу одн〈ого〉 юбилея» (Крашевского). Там, на 912-й странице, читаете, будто в славянских землях, подведомных Австрии, *«народ лишен образования»*. Надо начать с того, что это оч〈ень〉 относительно и противоречит другим источникам *польского же* происхождения. Тут и пустить сведения, взятые из «Zwiastuna Ewangelskiego»,[1] а что было в конце острого для сих тупых дней, то вычеркнуть бестрепетной рукою. Если же теперь упустить этот случаї, то нового невесть когда ждать, а дело интересно и непустяково.

А знаете ли Вы что-нибудь о загадочном исчезновении графа Коскуля?

Н. Л.

---

[1] «Евангельского вестника» *(польск.)*.

123

С. Н. ШУБИНСКОМУ

4 мая 1880 г., Петербург.

Посылаю Вам, уважаемый Сергей Николаевич, беллетристику, в размере 3/4 листа. Она не худа или по крайней мере — весела. Писал ее не только больной, но почти не живой. Мой 1-й доктор действ⟨ительно⟩ сплоховал, и когда я, возвратясь от Суворина, слег и у меня началась лихорадка с обмороками, то был призван Мейер и нашел у меня, кажется, *воспаление легких*. Вот Вам и сюрприз. С этим-то — в промежутки между леденящим ознобом и 40-градусным жаром — и написал Вам «Мелочи арх⟨иерейской⟩ жизни». Их так любят, что все прочтут не без удовольствия. Кажется, я был кроток и цензурен.

Вам не грех было бы меня навестить. Знаю, что «некогда», но страшно скучаю.

Преданный Вам

Н. Лесков.

124

С. Н. ШУБИНСКОМУ

16 октября 1880 г., Петербург. *Вечер.*

Уважаемый Сергей Николаевич!

«Голован» весь написан *вдоль*, но теперь надо его пройти *вопперек*. Срок, Вами мне данный, был 20-е число. 21-го можете за ним прислать. «Кустарный пророк» будет готов к 20 или 10 ноября. Я никогда и никого не доводил до затруднений, а Вас тем паче. Будьте же покойны.

Благодарю Вас за то, что Вы меня знаете лучше других, и в споре своем Вы были правы. Никаких обстоятельств с «Петерб⟨ургскою⟩ газетою» я не имею, а обещал им дать обработанным один *им подходящий* материал, которого не хотел понять г. Маслов. Более

ничего. Но на работу у меня действительно есть спрос по условиям для меня более выгодным, только это не в «П⟨етербургской⟩ газ⟨ете⟩», а в «Р⟨усской⟩ речи» и в «Руси», с которыми мне удобно, потому что я разделяю их взгляды на интересующие меня вопросы веры и народности. Вот и все.

Всегда Вам преданный

Н. Лесков.

P. S. Два письма Аксакова очень интересны по его оценке моих скромных работок в Вашем «Вестнике». Ласка идет до того, что и говорить застенчиво, а гонорар предоставляет самому себе назначить свободною рукой, лишь бы были «праведники». — «Голован», однако, вышел слабее других. Надо бы его хорошенько постругать. Не торопите до последней возможности.

125

С. Н. ХУДЕКОВУ

26 ноября 1880 г., Петербург.

Милостивый государь
Сергей Николаевич!

Освободясь от работ, которыми был обязан, разыскал и выправил мои извлечения о еврейских обрядах. По-моему, это очень интересно и весьма отвечает современному возбуждению внимания к евреям. Очерков этих будет 10—12, и, конечно, все они будут новостью для нашей публики. Все они также будут по возможности *веселы* и *незлобивы*. Так это будет всего лучше. Корректуру мне просил бы присылать или же точно определить мне день и час, когда я могу видеть ее у Вас в редакции (кроме вторника и не ранее 12 часов). Очерки лучше бы ставить один раз в неделю — в определенный день. Перенос их на будущий год для издания, вероятно, будет скорее выгодным, чем невыгоден, потому что это занимательно и интересно.

С нового года (с 1-го № 81 г.) дам Вам 30 коротких рецептов старой русской письменности — что́ в который день месяца хорошо делать.

«Блаженные на Руси» — интересно.

Ваш покорный слуга

Н. Лесков.

P. S. Пусть Николай Александрович дал бы мне знать, к какому дню недели надо присылать следующие очерки.

126

И. С. АКСАКОВУ

17 декабря 1880 г., Петербург.

Достоуважаемый Иван Сергеевич!

Я ведь работаю *медленно*, а к тому же меня тяжко одолевает оное «одабриванье». Я начал для Вас бытовую историйку (по документам), под заглавием «Дворянский бунт на Добрыньской поповке», и половину написал, но она стала выходить немножко не в Вашем вкусе. Это правдивая история о трех наших сельских попах моего родного села Добрыни (Орловск⟨ой⟩ губ⟨ернии⟩). Три поповские типа: пьяница и высокий праведник по чистоте души, при котором все жили в мире и как нежно оберегали его «в слабости», 2-й — добрый буян «гайдебур», — при котором тоже мир не нарушался, и, наконец, 3-й — «священно-ябедник», — тихоня, который выдумал заговор и доносил на моих родных и соседей губернатору, и пошло следствие, после которого все покинули свой приход, а губернатор *велел* архиерею (Поликарпу) не трогать «священно-ябедника», и тот позорно подчинился губернатору. Сведу опять к выводу прямому и правдивому, что архиереи сами не умели постоять за свое право даже перед теми, кто не смел им быть никаким указчиком. Первый поп (запивоха) написан весьма с любовью, и перебраны тут вещи нежные: мир все ему прощал, даже не вменял во грех, а только убивался по нем. Выйдут и остальные, но это, кажется, не в Вашем вкусе. Напишите.

А то еще вот что: гоню всемерно спешно рождественский рассказ для Суворина и 20—21 сдам; а затем, если хотите, — могу написать и прислать Вам *к Новому году* тоже маленький же рассказ (сибирское предание) «Как Христос на рождество к мужику в гости зашел». Это могу сделать скоро и не боюсь разномыслия. В сцене с австр⟨ийским⟩ императором Вы увидели значительно более того, что там есть. Если еще раз потрудитесь пробежать его в «Историч⟨еском⟩ вестнике» (за январь), — увидите, что рассказец ничтожный, но самый смирный. Я ему, впрочем, пришил хвост, чтобы тяжесть его влеклась по другому направлению. «Дворянским бунтом» я несколько дорожу и знаю, что там есть «проникновение», но боюсь, что Вы уж очень за архиереев-то... Стоит ли? Посадит он наш церк⟨овный⟩ корабль на сухой берег и с «верующим мирянином». Надо бы им открывать очи и «умалять их оную непомерную пыху».

«Руси» не вижу, не читаю и тем изрядно даже обижаюсь.

Горячо Вам преданный

Н. Лесков.

P. S. О студенческих беспорядках отлично сказано.

127

С. Н. ШУБИНСКОМУ

⟨1880 г., Петербург.⟩

Посылаю Вам статью о митрополите Исидоре. Она вышла, кажется, очень интересна и для журнала *заманчива* по заглавию, которое я мог ей дать *без всякой натяжки*. Это так вышло и все позволительно. Прошу Вас только *непременно* поместить ее в июньской книжке, потому что боюсь, что материал доставили *не одним нам*... Если же не можете, то возвратите ее мне, — я передам ее в «Речь».

Ваш *Н. Лесков.*

ПРИМЕЧАНИЯ

В десятом и одиннадцатом томах настоящего издания печатаются избранные статьи (с ними объединяются также некоторые публицистические очерки, воспоминания, заметки) и письма Лескова. Эта часть его литературного наследия наименее известна современному читателю, так как многие статьи и очерки писателя никогда не перепечатывались после первых газетных или журнальных публикаций, а некоторые и вовсе не публиковались; впервые печатаются и многие письма Лескова. Материал по томам делится хронологически: в десятом томе — воспоминания, статьи, письма 1860—1870-х годов; в одиннадцатом то же — за период с 1881 по 1895 год; в последнем томе помещен и справочный аппарат к изданию: именной указатель к десятому и одиннадцатому томам, алфавитный указатель произведений, вошедших в настоящее Собрание сочинений, хронологическая канва жизни и деятельности Лескова.

Публицистика Лескова обширна и чрезвычайно многообразна. Как известно, Лесков свою литературную деятельность начал статьями и корреспонденциями на социально-экономические темы («О рабочем классе», «Об ищущих коммерческих мест в России», «О найме рабочих людей», «Очерки винокуренной промышленности» и др.). В дальнейшем, став выдающимся художником, Лесков никогда не оставлял и пера публициста.

В публицистике, быть может, с наибольшей резкостью и очевидностью отразилась вся сложность и противоречивость идейно-творческих позиций Лескова в разные периоды его литературной деятельности. В 60-е годы это нашло выражение в страстных выступлениях на страницах «Северной пчелы», в резких выпадах по адресу революционно-демократического лагеря в очерках «Русское

общество в Париже», в статьях на литературные темы. Немало спорного, резкого, опрометчивого мы найдем и в его позднейших выступлениях на страницах «Биржевых ведомостей», «Гражданина», «Нового времени». Но вместе с тем в этих выступлениях было много и такого, что серьезно расходилось с катковско-суворинской прессой, весьма не нравилось идеологам реакции и свидетельствовало о глубине понимания писателем ряда важнейших вопросов современности.

Публицистика Лескова теснейшим образом связана с его художественным творчеством. Так, уже в 60-е годы появляется ряд его статей по религиозно-церковным вопросам: о расколе, о старообрядчестве, о духовной литературе («С людьми древлего благочестия», «Искание школ старообрядцами», «Модный враг церкви» и др.). Эти темы будут устойчивы у Лескова и в дальнейшем. Художественное выражение той же проблематики мы найдем в таких произведениях, как «Соборяне», «Запечатленный ангел», «Мелочи архиерейской жизни».

Важной темой публицистических статей, очерков, воспоминаний является историческое прошлое России. Множество заметок, рецензий, просто сообщений на исторические темы Лесков опубликовал на страницах «Исторического вестника». Но, интересуясь историей, Лесков свою публицистику теснейшим образом связывал с современностью. Современная тематика занимала центральное место во всем творчестве Лескова.

Являясь выдающимся художником слова, Лесков был и незаурядным знатоком искусства и литературы. Статьи и очерки о деятелях литературы, рецензии на отдельные произведения, отклики на злободневные события литературной и театральной жизни, заметки о живописи — таков далеко не полный перечень разнообразных выступлений Лескова — критика, историка, теоретика. Естественно, что эта часть публицистического наследия Лескова представляет особый интерес.

Для настоящего Собрания сочинений отобраны те работы Лескова, которые непосредственно связаны с вопросами литературы и искусства и существенны для характеристики литературно-критических воззрений писателя. Из произведений этого раздела (их исчерпывающий свод может быть осуществлен лишь в полном собрании сочинений писателя) [1] редакция стремилась представить наиболее

---

[1] См. П. В. Быков. Библиография сочинений Н. С. Лескова. За тридцать лет (1860—1889) — в книге: Н. С. Лесков. Собрание сочинений, т. X, СПб., 1890, стр. I—XXV; С. П. Шестериков. К библиографии сочинений Н. С. Лескова. «Известия отд. русского

важные и интересные выступления Лескова, суждения о существеннейших и характерных явлениях современной ему литературно-общественной жизни. Значительное место отводится документам автобиографического характера, высказываниям писателя о своих произведениях.

Большое значение для изучения жизни и творчества Лескова имеет и его эпистолярное наследие. К сожалению, переписка Лескова сохранилась далеко не полностью; особенно это относится к 1860—1870-м годам. Однако и неизвестный ныне материал (далеко еще не целиком опубликованный) весьма значителен и представляет большую общественно-политическую и литературную ценность. В настоящем издании, естественно, не могли быть напечатаны все письма Лескова; как и при отборе публицистического материала, здесь представлены письма, имеющие наибольший историко-литературный интерес.

Текстологическая работа, проделанная при подготовке десятого и одиннадцатого томов, несколько отличается от работы над текстами предыдущих томов. При подготовке статей, заметок, очерков и т. п. пришлось, как правило, пользоваться их первыми публикациями: в дальнейшем при жизни Лескова они не перепечатывались, рукописи в большинстве случаев не сохранились. Письма воспроизводятся по автографам, находящимся в архивохранилищах Москвы и Ленинграда; лишь при отсутствии автографов пришлось обращаться к публикациям. При воспроизведении текста писем, с целью помочь читателю в восприятии этого материала, расшифрованы недописанные слова, неполные инициалы, фамилии, названия произведений, периодических изданий и т. п.; унифицирована датировка писем.

Примечания к отдельным разделам томов содержат необходимые сведения, характеризующие как разделы в целом, так и составляющие их части; в примечаниях даются краткие справки об адресатах, упоминаемых лицах, произведениях, отдельных фактах, событиях и т. п. Составители стремились по возможности ввести в примечания такой историко-литературный материал, который расширяет содержание основного раздела тома; здесь, в частности, приводятся многие библиографические ссылки на произведения и письма Лескова, не вошедшие в настоящее издание, причем некоторые из этих материалов цитируются полностью или в выдержках.

В десятом томе публикуются избранные статьи, воспоминания и очерки, относящиеся к 1860—1870-м годам: первое помещаемое

языка и словесности АН СССР», т. 30, Л., 1925, стр. 312—319; Б. Я. Бухштаб. Н. С. Лесков. Указатель основной литературы Л., 1948.

здесь произведение относится к 1861 году, последнее — к 1879 году. Письма охватывают период с 1859 по 1880 год включительно.

Мировоззрение и творчество Лескова за указанные годы претерпели существенную эволюцию (об этом см. вступительную статью в первом томе настоящего издания). Публицистические, литературно-критические статьи, а также и переписка Лескова весьма ярко отражают его противоречивую позицию и проделанную им эволюцию. В статьях данного тома не раз встречаются формулировки, направленные против радикально-демократических и революционных кругов 60—70-х годов; но в этих же статьях читатель найдет ряд глубоких и интересных соображений Лескова о природе искусства, о путях развития литературы; по этим же статьям можно проследить нарастание конфликта писателя с реакционными кругами и клерикальной средой, с которыми Лесков был связан — иногда по убеждениям, иногда вынужденно — на протяжении многих лет. Особенно наглядно это вскрывается в переписке Лескова. Литературное и общественное окружение, журналы и газеты, в которых приходилось сотрудничать писателю, его острые столкновения с лицами одного с ним лагеря, — и вместе с тем тенденциозные и неприязненные оценки демократических деятелей — все это находит выражение в письмах Лескова.

Статьи и письма служат также важным источником для ознакомления со многими фактами жизни и творчества Лескова и содержат немало ценных сведений о других писателях; метко характеризуются в них и явления общественной, в частности журнальной, жизни того времени.

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

ГПБ — Отдел рукописей Государственной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград).

ИРЛИ — Отдел рукописей Института русской литературы (Пушкинского дома) Академии наук СССР (Ленинград).

ЛБ — Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина (Москва).

ЦГАЛИ — Центральный Государственный архив литературы и искусства (Москва).

ЦГИАЛ — Центральный Государственный исторический архив (Ленинград).

ГИМ — Государственный исторический музей (Москва).

А. Лесков. Жизнь Николая Лескова. — А. Н. Лесков. Жизнь Николая Лескова. По его личным семейным и несемейным записям и памятям. М., Гослитиздат, 1954.
«Шестидесятые годы». — Шестидесятые годы. Материалы по истории литературы и общественному движению. Под редакцией Н. К. Пиксанова и О. В. Цехновицера. М.—Л., издательство АН СССР, 1940.

ВОСПОМИНАНИЯ, СТАТЬИ, ОЧЕРКИ

Публикуемые в данном разделе произведения Лескова 1860—1870-х годов составляют, как уже указано, лишь небольшую часть обширной публицистики писателя за этот период. Эти произведения в основном носят характер литературно-критических статей или связаны с литературной жизнью того времени. Исключение составляют лишь очерки о Милорадовиче и Ермолове («Популярные русские люди»), но и они теснейшим образом примыкают к статье о «Войне и мире» («Герои Отечественной войны по гр. Л. Н. Толстому»).

Раздел открывают статьи (одна из них — мемуарного характера) — «Последняя встреча и последняя разлука с Шевченко» и «Николай Гаврилович Чернышевский в его романе «Что делать?». Эти статьи существенны для оценки взглядов начинавшего свой литературный путь писателя. При всей неустойчивости и противоречивости его взглядов, приведших вскоре к острым столкновениям с революционно-демократическими кругами, статьи позволяют говорить о ранних демократических симпатиях Лескова (нашедших, в частности, выражение в воспоминаниях о Шевченко), а также о серьезности попыток автора разобраться в идейном содержании программного произведения революционной демократии (статья о романе Чернышевского). О несомненных разногласиях с представителями литературной реакции (несмотря на близость к ним Лескова в 60-е годы) свидетельствует его рецензия на повесть В. П. Авенариуса «Ты знаешь край?» («Литератор-красавец»).

Весьма важным для понимания отношений Лескова к литературной реакции является и критический очерк «Карикатурный идеал». По оценке, данной в нем произведению с откровенно клерикальным и антидемократическим содержанием, можно заключить о больших идейных сдвигах в мировоззрении Лескова к концу 70-х годов.

Большой интерес представляет статья Лескова о «Войне и мире» («Герои Отечественной войны по гр. Л. Н. Толстому»). В раз-

коречивом хоре оценок этого великого произведения (как известно, роман Толстого не смогла до конца правильно понять и по достоинству оценить и передовая демократическая печать) статья Лескова поражает глубиной и меткостью суждений, содержательностью размышлений о роли народа, об исторических деятелях и др.

Статьи «Большие брани» и «Русские общественные заметки» интересны как образцы боевой, воинствующей публицистики Лескова конца 60-х годов. Содержащиеся в статьях высказывания о фактах литературно-общественной жизни показательны для идейно-творческих позиций их автора. Рецензии на произведения Погосского (‹«О рассказах и повестях А. Ф. Погосского»› и Турбина («Страна изгнания») — одно из свидетельств широты литературных интересов Лескова, хотя высказанные здесь оценки далеко не бесспорны.

В раздел включены две заметки — ‹«О романе «Некуда»› и о «Мелочах архиерейской жизни» («Из мелочей архиерейской жизни»), связанные с авторской оценкой этих произведений. Оба они, столь разные по своим идейным отправным положениям, подверглись острым нападкам различных лагерей. И если в заметке о романе «Некуда» писатель стремился прежде всего разъяснить обстоятельства появления этого произведения и этим в какой-то мере оправдаться перед общественностью за свой глубоко ошибочный шаг в литературе, то в высказываниях о «Мелочах архиерейской жизни» Лесков оставался тверд и непримирим в избранной позиции по отношению к церковникам, зло и убедительно изображенным в произведении. К статьям, связанным с творчеством самого Лескова, следует отнести и его заметку «О русской иконописи».

Обзорная статья «Русский драматический театр в Петербурге» вводит нас в мир театральных интересов Лескова. Высказанные здесь оценки связаны с общими литературно-критическими воззрениями писателя.

Таким образом, тот сравнительно небольшой круг статей, заметок, очерков, который представлен в томе, дает важный и значительный материал для характеристики литературно-общественных интересов писателя; он говорит также о сложности и противоречивости его идейно-эстетических позиций. Вместе с тем публицистические выступления представляют большой познавательный интерес; они ярко характеризуют многие явления литературно-общественной жизни 60—70-х годов XIX века.

Примечания к данному разделу тома составил Н. И. Соколов.

ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА И ПОСЛЕДНЯЯ РАЗЛУКА С ШЕВЧЕНКО

Впервые опубликовано в газете «Русская речь», 1861, № 19-20, 9 марта, стр. 314—316, за подписью: «Н. Л...ов»; печатается по тексту этой публикации.

Статья — одно из первых ярких свидетельств глубокого уважения Лескова к личности и творчеству Шевченко и вместе с тем — ценный документ о последнем годе жизни и кончине великого поэта. Личное знакомство молодого литератора с Шевченко состоялось, очевидно, во время приезда Лескова в Петербург в 1860 году и затем закрепилось в январе 1861 года; знакомству и сближению способствовали, как можно полагать, те связи с представителями украинской культуры, которые были установлены Лесковым еще в период жизни в Киеве; в частности, Лесков был знаком с художником И. В. Гудовским, о котором его расспрашивал Шевченко (о Гудовском см. в «Мелочах архиерейской жизни» — наст. изд., т. 6, стр. 450—456).

Лесков хорошо знал подробности биографии Шевченко; об этом свидетельствует и другая заметка Лескова о Шевченко — «Официальное буффонство», написанная в 1882 году (см. т. 11 наст. издания).

Стр. 7. *В мяч не любил он играть никогда...* — неточная цитата из стихотворения немецко-венгерского поэта Карла Бека (1817—1879) «Слуга и служанка» в переводе Плещеева (см. А. А. Плещеев. Стихотворения, М., 1861, стр. 78).

«Основа» — украинский журнал, выходивший в 1861—1862 годах в Петербурге под редакцией В. М. Белозерского; в журнале были опубликованы многие произведения Шевченко и материалы о его жизни и творчестве.

...после возвращения его в Петербург... — Шевченко после ссылки возвратился в Петербург 27 марта 1858 года.

Стр. 9. *...в последнее свое пребывание в Киеве.* — Шевченко последний раз был на Украине в 1859 году.

...сочиненного им малороссийского букваря... — Имеется в виду «Букварь южнорусский», изданный в 1861 году в Петербурге (см. Т. Шевченко. Повне зібрання творів, т. VI, Київ, 1957, стр. 339—365).

...другая «малороссийская грамотка»... — Речь идет о «Граматке» П. А. Кулиша, впервые опубликованной в Петербурге в 1857 году и переизданной в 1861 году; Шевченко отрицательно относился к этому пособию. По предположению И. Я. Айзенштока,

новое издание «Граматки» побудило Шевченко опубликовать письмо «К издателю «Северной пчелы», напечатанное в 1861 году 23 февраля, за подписью «Горожанин С...». Возможно, что Лесков и помог Шевченко установить связь с редакцией «Северной пчелы» (см. І. Я. Айзеншток. Із розшуків про Шевченка — «Збірник праць п'ятої наукової шевченківської конференції», Київ, 1957 стр. 116—143).

Стр. 10. *Н⟨ичипорен⟩ко,* Андрей Иванович (1837—1863) — участник революционного движения 60-х годов, член общества «Земля и воля»; об отношении к нему Лескова см. примечания к роману «Некуда» и очерк «Загадочный человек» (наст. изд., т. 2 и т. 3).

...хлопотал об издании псалмов... — Имеется в виду издание «Псалми Давидови, переложив по-нашему», СПб., 1860.

Флиорковский, В. Э. — помещик, у которого в крепостном владении находились братья Шевченко Осип и Никита, а также сестра Ирина; в июне 1860 года Флиорковский их «освободил», но без земли, и они от «воли» отказались (см. письмо Т. Г. Шевченко к нему в Собрании сочинений, т. V, М., 1956, стр. 441—442).

...библейского поэта-царя — царя Давида.

Стр. 11. *Всех речей... было произнесено девять...* — Известно, что на похоронах Шевченко выступали: П. А. Кулиш, Н. И. Костомаров, Н. С. Курочкин, Ф. А. Хартахай, В. Ю. Хорошевский; о других речах сведений нет. О похоронах Шевченко и речах на могиле см. также в «Воспоминаниях» С. Н. Терпигорева (С. Н. Терпигорев (С. Атава). Собрание сочинений, т. VI, СПб., 1899, стр. 524—527). Тело Т. Г. Шевченко в мае того же 1861 года было перевезено на Украину и 10(22) мая похоронено на Чернечьей горе над Днепром, близ Канева.

Б⟨елозерская⟩, Надежда Александровна — жена В. М. Белозерского.

К⟨остомарова⟩, Татьяна Петровна — мать историка Н. И. Костомарова.

Семья Т⟨олсты⟩х. — Речь идет о семье Федора Петровича Толстого (1783—1873), вице-президента Академии художеств; он и его жена А. И. Толстая много сделали для освобождения Шевченко из ссылки и для дальнейшего его устройства. В дневнике поэт 13 июня 1857 года писал о Толстых: «Они единственные виновники моего избавления, им и первый поклон» (Т. Г. Шевченко. Собрание сочинений, т. V, М., 1956, стр. 16—17).

Давно ли Россия схоронила Хомякова, Аксакова... — Лесков говорит о смерти известных славянофилов Алексея Степановича Хомякова и Константина Сергеевича Аксакова; первый умер 23 сентября, второй — 7 декабря 1860 года.

НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ В ЕГО РОМАНЕ «ЧТО ДЕЛАТЬ?»

Впервые опубликовано в газете «Северная пчела», 1863, № 142, 31 мая, за подписью: «Николай Горохов»; впоследствии не перепечатывалось.

Появление на страницах «Современника» знаменитого романа Чернышевского вызвало многочисленные отклики самых широких и разнообразных читательских кругов. Если революционно настроенная молодежь и передовая критика видели в романе выражение программных основ революционно-демократической идеологии и горячо приветствовали произведение, то тем ожесточеннее и яростнее были нападки на Чернышевского со стороны лагеря реакции, в котором объединились и отъявленные мракобесы типа Аскоченского и либералы типа Боткина. (Подробнее об откликах на «Что делать?» см. в комментариях Н. А. Алексеева к роману: Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, т. XI, М., 1939, стр. 705—711; см. также Г. Е. Тамарченко. Романы Н. Г. Чернышевского. Саратов, 1954, стр. 131—152).

Газета «Северная пчела», активным сотрудником которой был в то время Лесков, выступила с двумя развернутыми отзывами о романе Чернышевского. Выступлению Лескова предшествовала статья реакционного критика, цензора Ф. М. Толстого «Лжемудрость героев Чернышевского» («Северная пчела», 1863, № 138, 27 мая, за подписью: «Ростислав»). В этой статье давалось настолько разнузданное и глумливое истолкование романа, что редакция газеты сочла необходимым оговорить свое несогласие с «Ростиславом» и пообещала статью, которая более отвечает направлению газеты. Этой статьей и явился отзыв Лескова.

Спокойное и сочувственное отношение к находившемуся в заточении Чернышевскому, защита его от вздорных обвинений (вроде причастности к петербургским пожарам летом 1862 года), симпатии к некоторым явлениям, получившим отражение в романе, и т. д. — все это, несомненно, составляло положительные стороны выступления Лескова. Однако его интерпретация романа в целом была далека от правильного понимания произведения; изображение Чернышевского в качестве либерала-постепеновца было искажением позиций великого революционера. Глубоко ошибочна и высказанная Лесковым эстетическая оценка романа.

Высказывания Лескова о демократическом лагере, об «уродах нигилизма» нашли затем свое крайнее выражение в ряде антинигилистических произведений писателя («Русское общество в Париже», «Некуда», «На ножах» и др.). В рассказе «Павлин» (1874) Лесков

вступил и в прямую полемику с романом Чернышевского (см. т. 5 наст. издания, стр. 270, и примечания к рассказу).

Стр. 13. *...в... пивнице Штенбокова пассажа.* — В зале пассажа Стенбока на Невском проспекте в 1850—1860-х годах происходили общественные диспуты и собрания.

Стр. 16. *Тургеневский Рудин... — Инсаровы... Базаровы.* — Образами романов Тургенева «Рудин», «Накануне», «Отцы и дети» Лесков обозначил смены деятелей в общественном движении России.

Стр. 18. *...нигилисту даст деньги, а не нигилиста... проводит.* — Здесь, видимо, отразился эпизод, имевший место в конторе журнала «Отечественные записки» при расчете с Лесковым (см. наст. том, письмо 3).

Век жертв очистительных просит — неточная цитата из стихотворения Некрасова «В больнице» (1855); у Некрасова:

...судьба
Жертв искупительных просит.

«Чему уцелеть, то останется» — очевидно, перефразировка знаменитой формулы Писарева из статьи «Схоластика XIX века» (1861): «...вот ultimatum нашего **лагеря**: что можно разбить, то и нужно разбивать; что выдержит удар, то годится, что разлетится вдребезги, то хлам; во всяком случае, бей направо и налево, от этого вреда не будет и не может быть» (Д. И. Писарев. Сочинения, т. I, М., 1955, стр. 135).

«...А вот ты поешь-ко у меня селедки» — слова городничего (в передаче жалующихся на него купцов) из «Ревизора» (д. IV, явл. 10).

Стр. 19. *Марат,* Жан-Поль (1743—1793) — выдающийся деятель французской буржуазной революции XVIII века, один из вождей якобинцев.

...чуть-чуть не петербургским поджигателем. — В вопросе о петербургских пожарах весны 1862 года сам Лесков занимал очень сложную позицию: в «Северной пчеле» (1862, № 143, 30 мая) он выступил с передовой статьей, в которой содержались формулировки, связанные со вздорными слухами о «поджигателях» из революционного лагеря. Статья вызвала уничтожающую критику всей передовой печати по адресу автора. Насколько слухи о причастности революционных кругов к поджогам были распространенными, свидетельствует факт посещения Ф. М. Достоевским Чернышевского с целью уговорить последнего повлиять на «людей, которые сожгли

Толкучий рынок» (см. Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, т. I, М., 1939, стр. 777—778).

Эписиерство (от франц. epicier — бакалейный торговец, лавочник, человек узких взглядов) — торгашество, узость.

...«проницательные» люди. — Термин «проницательные» взят из романа «Что делать?», где Чернышевский часто говорит о «проницательном читателе».

Робеспьер, Максимилиан (1759—1794) — выдающийся деятель французской буржуазной революции конца XVIII века, глава правительства якобинской диктатуры.

Стр. 20. *Мизерабль* (франц. misérable) — несчастный, бедный, бедняк.

Стр. 21. *Роберт Оуэн* (1771—1851) — английский социалист-утопист; в романе «Что делать?» говорится о глубоком уважении, которое испытывали его герои к Роберту Оуэну, упоминается даже о переписке Лопухова с ним (см. Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, т. XI, стр. 175).

Стр. 22. *Гильдебранд,* Бруно (1812—1878) — немецкий экономист и статистик; Лесков имеет в виду его книгу: «Die Nationalökonomie der Gegenwart und Zukunft», переведенную на русский язык под заглавием «Настоящее и будущее политической экономии» (М., 1861).

Томас Мур, Мор (1478—1535) — выдающийся английский мыслитель, один из основоположников утопического социализма, автор книги «Утопия» (1516).

Громека, Степан Степанович (1823—1877) — либеральный публицист; до публицистической деятельности — жандармский офицер, затем дослужился до губернатора.

РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР В ПЕТЕРБУРГЕ

Впервые опубликовано в «Отечественных записках», 1867, март, кн. 1, стр. 35—48, за подписью: «М. С.». Впоследствии не перепечатывалось.

Во второй половине 1860-х годов Лесков проявляет большой интерес к театру: к 1867 году относится его собственная попытка драматургического творчества (драма «Расточитель»), в 1866 году и в последующие годы он ведет обозрение новых постановок в петербургских театрах, печатавшееся в «Отечественных записках» и «Литературной библиотеке» (см. Хронологическую канву жизни и деятельности Лескова, 1866 и 1867 годы — наст. изд., т. 11), а также в «Современной летописи» (1871, №№ 16, 31, 34, 36, 38, 40,

44, 45). В помещаемом обзоре, как и в некоторых других, Лесков допускает ряд выпадов против революционно-демократического лагеря («нигилистов»), характерных для литературно-общественной позиции писателя в 60-е годы. Но вместе с тем Лесков высказывает и ряд ценных мыслей, свидетельствующих о его тонком понимании сценического искусства.

Особый интерес в обзоре представляют высказывания Лескова о драматургии Островского. Творчество великого драматурга всегда привлекало Лескова, побуждая подчас к попыткам полемически ответить Островскому в своих произведениях. Так, известно, что героиня повести «Леди Макбет Мценского уезда» во многом противопоставлена Катерине из «Грозы» Островского, драма «Расточитель» является своеобразным откликом на пьесу «Пучина» (см. об этом в примечаниях к т. I настоящего издания).

Стр. 23. *«Смерть Иоанна Грозного»* — первая часть драматической трилогии А. К. Толстого (последующие части — «Царь Федор Иоаннович» и «Царь Борис»); впервые напечатана в «Отечественных записках», 1866, № 1; впервые поставлена в Петербурге в Мариинском театре 12 января 1867 года.

...«Гражданский брак» г. Чернявского. — Отрицательную оценку этой пьесы антинигилистического направления см. у М. Е. Салтыкова-Щедрина (Полн. собр. соч., т. VIII, 1937, стр. 300—308).

Стр. 24. *...целая особая статья...* — Имеется в виду рецензия Лескова (за подписью: «М. Стебницкий») «Русский драматический театр в Петербурге. «Гражданский брак» — в «Отечественных записках», 1866, декабрь, кн. 2, отд. II, стр. 258—287; рецензия была написана в связи с первой постановкой пьесы на сцене Александринского театра 25 ноября 1866 года.

Стр. 25. *«Пучина»... разобранная в нашем журнале...* — Отклик на пьесу был дан в заметке (за подписью «N. N.») «Александринский театр в Петербурге. Новая пьеса А. Н. Островского «Пучина» («Отечественные записки», 1866, июнь, кн. 1, стр. 584—604).

...хроника... «Тушино», напечатанная в одном новом периодическом издании... — Пьеса «Тушино» была опубликована в журнале «Всемирный труд», 1867, январь.

Раупах, Эрнст-Беньямин-Соломон (1784—1852) — немецкий драматург.

Стр. 26. *Равнять его с Коцебу!* — «Гостинодворским Коцебу» назвал Островского поэт Н. Ф. Щербина, автор ряда злобных эпиграмм на драматурга (см. Н. Щербина. Альбом инохондрика. Эпиграммы и сатиры. Л., 1929, стр. 49, 56, 72, 106, 144.) *Коцебу,*

Август-Фридрих (1761—1819) — реакционный немецкий драматург и романист.

Стр. 27. *Мы, дети севера, как русская природа...* — неточная цитата из стихотворения Лермонтова «Монолог» (1829).

...нигилистку XVII века... в своем «Тушине...» — Имеется в виду героиня «Тушина» Людмила, дочь воеводы Сеитова.

Пьеса г. Писемского «Поручик Гладков» — была впервые опубликована в журнале «Всемирный труд», 1867, март.

Васильев, Павел Васильевич (1832—1879) — артист Александринского театра в 1860—1875 годах.

Стр. 28. *«В мире жить, мирское творить».* — Эта пьеса была напечатана в журнале «Библиотека для чтения» (1863, IV), редактором которого был тогда П. Д. Боборыкин.

...ласкает его как некрасовская дворянская дочь... своего огородника... — Лесков называет образы стихотворения Некрасова «Огородник» (1846).

Зубров (Иванов), Петр Иванович (1822—1873) — артист Александринского театра в 1850—1873 годах.

Натарова, Анна Петровна (1835—1917) — артистка Александринского театра в 1851—1890 годах.

Стр. 29. *«Рогнеда»* — опера А. Н. Серова; написана в 1865 году.

Стр. 30. *...отрывок новой комедии г. Алексея Потехина.* — Речь идет о пьесе А. А. Потехина (1828—1908) «Виноватая», полностью опубликованной в «Современном обозрении», 1868, № 1, стр. 1—53.

...г. Николаю Потехину, автору «Безобразников»... — Имеется в виду книга Н. А. Потехина (1834—1896) «Наши безобразники. Сцены». СПб., 1864.

Стр. 31. *...новый дебютант, г. Монахов.* — Ипполит Иванович Монахов (1841—1877) — артист Александринского театра в 1865—1877 годах.

Стр. 33. *...не... новиковского гнезда...* — Имеется в виду просветительская журнальная и книгоиздательская деятельность Н. И. Новикова (1744—1818).

...не... плетневского, или другого из кружков... — Плетневский литературный кружок 1830-х годов назван по имени профессора (затем ректора Петербургского университета П. А. Плетнева (1792—1865); у него по субботам собирались многие деятели литературы, в том числе Пушкин, Баратынский, Дельвиг и др. см. Н. Л. Бродский. Литературные кружки и салоны. Первая половина XIX века. М.—Л., 1930, стр. 193—207).

Стр. 35. *...нашего бунтующего мужика... недавних революционеров... неумирающую интригу поляков...* — Речь идет о фактах рево-

люционно-освободительного движения в России: крестьянских волнениях, организациях революционной демократии, польских восстаниях.

Братья Давенпорт, Вильям (1842—1874) и Ира (р. 1840) — мистификаторы; выступали со «спиритическими» сеансами в разных странах.

Стр. 37. *«Марево», «Взбаламученное море»* — антинигилистические романы В. П. Клюшникова и А. Ф. Писемского.

...как легендарные дулебы... — Дулебы или бужане — восточнославянское племя, жившее в VI—VIII веках по реке Западный Буг.

Стр. 38. *Только то лишь одно и действительно, Что для ихнего тела чувствительно* — неточная цитата из стихотворения А. К. Толстого «Пантелей-целитель» (1866).

...«бесплодно спорить с веком»... «обычай — деспот меж людей» — строки из «Евгения Онегина» Пушкина.

...борьба с Галкиными, Белоярцевыми, Прорвичами и гимназистом Колей. — Здесь названы персонажи антинигилистических романов 60-х годов: Галкины — из романа «Взбаламученное море» Писемского, Белоярцев и Прорвич — из романа «Некуда» Лескова, гимназист Коля — из «Марева» Клюшникова.

«Отрезанный ломоть» — комедия А. А. Потехина, впервые опубликована в «Современнике», 1865, № 10.

Стр. 39. *...судьба «Воеводы».* — Пьеса Островского «Воевода» («Сон на Волге»), впервые опубликованная в «Современнике», 1861, № 1, не нашла признания в критике, хотя была в том же году с успехом поставлена на сценах Петербурга, Москвы, а затем и в провинции.

Самойлов, Василий Васильевич (1813—1887) — артист Александринского театра в 1834—1875 годах.

Зубов (Попов), Николай Николаевич (1817—1890) — артист Александринского театра в 1866—1886 годах.

Струйская (первая) — возможно, Елена Павловна Струйская (1845—1903), актриса Александринского театра в 1861—1881 годах.

Стр. 40. *...о Стрелковой, о Виноградове...* — Стрелкова — провинциальная актриса; Виноградов (Абрамов) Василий Иванович (1824—1877) — артист; до 1870 года выступал в провинции, в 1870—1878 годах — в Александринском театре.

ЛИТЕРАТОР-КРАСАВЕЦ

Впервые опубликовано в журнале «Литературная библиотека», 1867, т. IX, сентябрь, кн. 1, стр. 91—104. Впоследствии не перепечатывалось. Статья открывала намечавшуюся писателем серию ста-

тей-фельетонов под общим заглавием: «Летопись литературных странностей и безобразий», однако в печати появилась еще лишь одна статья, посвященная полемике с А. С. Сувориным («Незнакомцем») по поводу литературных псевдонимов (см. «Литературная библиотека», 1867, т. X, октябрь, кн. 2); вскоре, в феврале 1868 года, прекратился и сам журнал.

В. П. Авенариус (1839—1925), повести которого «Ты знаешь край?» посвящена статья-рецензия Лескова, в 60-е годы был известен как автор антинигилистических повестей «Современная идиллия» и «Поветрие», изданных в 1867 году отдельной книгой под общим заглавием «Бродящие силы». Уничтожающая характеристика этой книги, направленной против передовой русской молодежи, дана в рецензии М. Е. Салтыкова-Щедрина («Отечественные записки», 1868, IV, стр. 209—213) и статье Н. В. Шелгунова «Типы русского бессилия» («Дело», 1868, III, отд. 2, стр. 1—29). Позиция Лескова по отношению к революционно-демократическому лагерю и в конце 60-х годов продолжала оставаться весьма сложной. Роман «Некуда» и другие антинигилистические произведения в глазах широких читателей все еще определяли литературную репутацию писателя. Салтыков-Щедрин в вышеупомянутой рецензии называет Лескова («г. Стебницкого») «духовным родителем» произведений типа повестей Авенариуса. Однако, касаясь отзыва Лескова о новой повести Авенариуса, Щедрин считает, что рецензент «отзывается об нем (об Авенариусе. — *Н. С.*) с снисходительностью более нежели ироническою» (М. Е. Салтыков-Щедрин. Полное собрание сочинений, т. VIII, М., 1937, стр. 289). Рецензия Лескова с несомненностью свидетельствует, что выступление автора «Некуда» против низкопробных писаний Авенариуса не носило тактического характера и явилось одним из проявлений противоречивости литературно-общественной позиции писателя. Разоблачая аморализм, невежество, убогость и пошлость литературных приемов Авенариуса, Лесков способствовал дальнейшему и полному развенчанию этого представителя литературной реакции 1860-х годов.

Статья Лескова о повести Авенариуса была одновременно направлена и против журнала «Всемирный труд», издававшегося Э. А. Ханом в 1867—1872 годах. Журнал этот в 1867 году сумел привлечь некоторое внимание читателей (в первых трех номерах его были опубликованы новые произведения А. Н. Островского и А. Ф. Писемского), но затем его художественный уровень резко упал, критический же отдел заполнялся статьями представителей идеалистической эстетики (Н. И. Соловьева, Е. Н. Эдельсона и др.), принципы которой были чужды Лескову.

Стр. 41. *«Былина о красном Чуриле Опленковиче.* — Былинный герой Чурила Опленкович (Пленкович) отличался франтовством, пригожестью, молодечеством, пользовался успехом у женщин; этим и объясняется использование строк из былины в качестве эпиграфа для характеристики «литератора-красавца».

Стр. 42. *Сальватор Роза* (1615—1673) — известный итальянский живописец, гравер, поэт и музыкант.

...бич нигилистического нахальства... — намек на книгу Авенариуса «Бродящие силы».

Стр. 42—43. *...недавний случай с сотрудником «Московских ведомостей» г. Георгиевским...* — Имеется в виду корреспонденция А. Георгиевского «Лонгворт и близость катастрофы на Востоке» («Московские ведомости», 1867, № 188, 26 августа), в которой описывалась встреча с Лонгвортом, генеральным консулом Англии в Белграде.

Стр. 43. *Адораторы* (франц. adorateurs) — обожатели.

Стигостил (от тигосить) — стиснул, раздавил.

Стр. 44. *Безешка* (от франц. baiser) — поцелуй.

...арию «Сжалься» из «Роберта» — то есть из оперы «Роберт-дьявол» Дж. Мейербера (1791—1864).

Стр. 47. *Тиндаль,* Джон (1820—1893) — английский физик; в 1856—1859 годах занимался изучением ледников в Альпах.

Стр. 48. *...водили санкюлотом...* — Здесь в буквальном смысле, то есть — без штанов (франц. sans culottes).

Стр. 50. *Где пел Торквато величавый...* — Здесь и далее цитируется стихотворение Пушкина «Кто знает край, где небо блещет...» (1828).

Стр. 52. *«Я, матерь божия»* — начальные слова стихотворения Лермонтова «Молитва» (1837).

«Христос воскрес, питомец Феба» — первая строка стихотворения Пушкина «Из письма» к В. Л. Пушкину» (1816).

Что делает... г. Гиероглифов... — А. С. Гиероглифову (1827—1900) принадлежит ряд статей во «Всемирном труде» за 1867 год: «Направление идей и просвещение при Александре I», «Всеславянское народное единство», «Исторические стремления России и панславизм» и др.

Стр. 53. *...умопомрачительные статьи г. Соловьева...* — Н. И. Соловьев (1831—1874) был ведущим критиком журнала; в 1867 году (до августа) напечатал следующие большие статьи: «Принципы жизни», «Идеалы», «Дым отечества», «Русская песня»; упоминаемые Лесковым суждения об английской литературе и романтизме содержатся в статье «Идеалы» (№№ 3 и 4). Уже после выступления Ле-

скова Соловьев поместил в журнале статью «Два романиста», посвященную разбору произведений Вс. Крестовского и Лескова («Всемирный труд», 1867, № 12, декабрь, стр. 35—66).

...переписывался с Родзянко Пушкин... — Известно письмо Пушкина к Родзянке от 8 декабря 1824 года. Цитируемое послание «К Родзянке» (1825) является ответом на письмо Родзянки от 10 мая 1825 года. *Родзянко* Аркадий Гаврилович (1793—1846) — помещик Полтавской губернии, поэт, был членом общества «Зеленая лампа».

БОЛЬШИЕ БРАНИ

(Общественная заметка)

Впервые опубликована в «Биржевых ведомостях», 1869, № 153, 8 июня, без подписи; впоследствии не перепечатывалась.

1869—1870 годы — время активного сотрудничества Лескова в «Биржевых ведомостях», издававшихся в 1861—1874 годах К. В. Трубниковым. Помимо большого количества статей, посвященных церковным вопросам, старообрядчеству («Искание школ старообрядцами», «Модный враг церкви», «Русские архиереи и русские монастыри в старину» и др.), Лесков со второй половины 1869 года начал вести в газете недельный фельетон под общим заглавием «Русские общественные заметки». «1869 и 1870 годы Лесков буквально на своих плечах несет бремя заполнения трубниковских «Биржевых ведомостей», а попутно и его же «Вечерней газеты», оживляя оба эти издания своими интересными статьями (А. Лесков. Жизнь Николая Лескова, стр. 225).

Кроме «Русских общественных заметок», ему принадлежали, как указывает А. Н. Лесков, и обозрения «Наша провинциальная жизнь» (там же, стр. 91, 121). В статьях Лескова затрагивались самые различные вопросы русской жизни того времени, начиная от городского быта и кончая острейшими проблемами, связанными с революционным движением, к которому Лесков относится резко отрицательно. Статья «Большие брани» предшествует «Русским общественным заметкам», которые начали регулярно появляться с 3 августа 1869 года.

Стр. 55. *То сей, то оный на бок гнется* — цитата из поэмы И. И. Дмитриева «Ермак» (1794).

Стр. 56. *Ауторизованный* — здесь: уполномоченный, облеченный доверием, определенными правами.

Стр. 58. *Ларингоскопист* — специалист по болезням горла.

Офтальмиатр — глазной врач.

«Дело» — научно-литературный журнал демократического направления, издававшийся в Петербурге с 1866 по 1888 год; до 1880 года журнал возглавлял Г. Е. Благосветлов.

«Неделя» — либерально-народническая политическая и литературная газета, выходившая в Петербурге с 1866 по 1901 год.

«Сын отечества» — здесь: журнал, издававшийся в 1856—1861 годах А. В. Старчевским; в 1862 году журнал был преобразован в газету.

Стр. 59. *...намеков на то, чего не ведает никто...* — измененная цитата из стихотворения Лермонтова «Журналист, читатель и писатель» (1840).

Корванна, корвана (евр.) — ящик для пожертвований, стоявший при входе в иерусалимский храм.

...«слюною бешеной собаки» — из эпиграммы Пушкина на Каченовского — «Охотник до журнальной драки...» (1824).

Стр. 60. *Антонович*, Максим Алексеевич (1835—1918) — журналист и критик демократического направления.

Жуковский, Юлий Галактионович (1822—1907) — публицист и экономист.

Они издали книжку... — Имеется в виду книга «Материалы для характеристики современной литературы» (СПб., 1869), состоящая из двух частей: I. «Литературное объяснение с Н. А. Некрасовым» (автор — М. А. Антонович); II. «Postscriptum. Содержание и программа «Отечественных записок» за прошлый год» (автор — Ю. Г. Жуковский). Книга эта, содержавшая ряд недостойных выпадов по адресу редакции «Современника» и преобразованных «Отечественных записок», вызвала резкое осуждение всей передовой печати; четкая оценка выступления Антоновича и Жуковского дана в рецензии М. Е. Салтыкова-Щедрина, напечатанной (без подписи) в «Отечественных записках», 1869, № 4, стр. 273—283.

Елисеев, Григорий Захарович (1821—1891) — журналист, публицист демократического направления.

Слепцов, Василий Алексеевич (1836—1878) — писатель-демократ.

Стр. 61. *Статья г. Елисеева* — «Ответ на критику» («Отечественные записки», 1869, № 4, стр. 336—368).

Стр. 62. *...променяв г. Некрасова на Тиблена...* — Имеется в виду журнал «Современное обозрение», издававшийся в 1868 году Н. Л. Тибленом; в этом журнале принимал участие лишь Ю. Г. Жуковский, но и тот уже в февральском номере опубликовал заявление (совместно с А. Н. Пыпиным), что отказывается от сотрудничества в журнале (см. «Современное обозрение», 1868, II, стр. 106).

...г. Катков... поддерживает... классическое образование, а г. Стасюлевич... взялся стоять за реальное. — Здесь и далее речь идет об оживленной полемике сторонников так называемого реального образования (с преимущественным вниманием к естественным наукам, к предметам, тесно связанным с потребностями современной жизни), со сторонниками классического образования, насаждавшегося царским правительством с целью воспрепятствовать росту освободительных идей среди молодежи. Воинствующим проводником системы классического образования был министр народного просвещения Д. А. Толстой; активно поддерживал эту систему и Катков в возглавлявшихся им печатных органах. В «Вестнике Европы», издававшемся М. М. Стасюлевичем, в 1869 году был помещен ряд статей о классическом и реальном образовании: самого Стасюлевича (за подписью: «А.») — «Вопрос о классических языках в Англии» и «Маневр противников нашей школьной реформы», Е. С. Гордеенко — «Наши гимназии и их двойной классицизм» и др. В органах Каткова («Русском вестнике», «Московских ведомостях» и «Современной летописи») появилось большое количество статей и заметок, направленных против сторонников реального образования.

В одном английском журнале была статейка... — то есть статья Фоулера в «Fortnightly Review» («Двухнедельное обозрение»); содержание ее было изложено в статье «Вопрос о классических языках в Англии» («Вестник Европы», 1869, кн. 1, стр. 396—408).

Стр. 63. *...Стасюлевич... напечатал нечто совершенно неуместное.* — Речь идет о статье «Маневр противников нашей школьной реформы» («Вестник Европы», 1869, кн. 5, стр. 411—414).

Классический лицей — был основан в Москве, в 1868 году.

Стр. 64. *Некто Б. М. ...вступается за г. Каткова...* — Имеется в виду статья Б. М. Маркевича «Господин Стасюлевич и его диалектические и иные приемы» («Современная летопись», 1869, № 18, 18 мая).

...с профессорской кафедры смыло... — Речь идет об отставке Стасюлевича из Петербургского университета в 1861 году.

Стр. 65. *...г. Стасюлевич... напечатал... письмо...* — Это письмо было опубликовано под заглавием «Письмо в редакцию о господине Каткове» (С.-Петербургские ведомости», 1869, № 140, 23 мая); резкая отповедь Маркевичу была дана и в «Вестнике Европы» (1869, кн. 6), в статье «Московские «компрачикосы» («Урок «Современной летописи», прилагаемой к «Московским ведомостям»). Маркевич в ответ на выступление Стасюлевича написал «Письмо в редакцию «Московских ведомостей» о господине Стасюлевиче» («Современная летопись», 1869, № 20, 1 июня).

...языком «ёрническим»... — выражение Л. Н. Толстого в «Войне и мире» о языке, которым были написаны «афиши» Растопчина (см. об этом в статье Лескова «Герои Отечественной войны по гр. Л. Н. Толстому»).

Стр. 66. *...современные романисты, начиная гг. Тургеневым и Гончаровым и заканчивая гг. Крестовским и Клюшниковым...* — Речь идет о произведениях, содержавших отдельные выпады против революционно-демократического лагеря, «нигилизма» («Дым» Тургенева, «Обрыв» Гончарова) или целиком носивших антинигилистический характер («Панургово стадо» В. Крестовского, «Марево» Клюшникова, «Некуда» самого Лескова и др.).

Стр. 67. *...под именем «Незнакомца».* — «Незнакомец» — псевдоним А. С. Суворина, тогда выступавшего в «С.-Петербургских ведомостях» с фельетонами под общим заглавием «Недельные очерки и картинки».

Коснулся он... г-жи Лядовой... — Имеются в виду выпады против опереточной артистки Веры Александровны Лядовой (1839—1870) в фельетоне, напечатанном в «С.-Петербургских ведомостях», 1869, № 102, 13 апреля.

Ему кто-то чем-то погрозился в анонимном письме. — Суворин рассказал об этом в очередном фельетоне («С.-Петербургские ведомости», 1869, № 114, 27 апреля).

...за подтруниванье над его фантазиею поступить в уланы... — В конце 60-х годов В. В. Крестовский поступил на военную службу юнкером в уланский Ямбургский полк.

Стр. 68. *...фельетон о собаках...*—«Недельные очерки и картинки», напечатанные в «С.-Петербургских ведомостях», 1869, № 142, 25 мая.

Яблочкин, А. А. (1824—1895) — режиссер Александринского театра; особенный успех имели поставленные им оперетты «Прекрасная Елена», «Фауст наизнанку» и др.; о Яблочкине в газетах сообщалось, что однажды он на репетиции избил пожарного.

Стр. 70. *Брем,* Альфред-Эдмунд (1829—1884) — немецкий зоолог, автор известной книги «Жизнь животных».

...до шишки на носу тунисского бея... — выражение, идущее, очевидно, от концовки повести Гоголя «Записки сумасшедшего»: «А знаете ли, что у алжирского бея ⟨дея⟩ под самым носом шишка?»

«Типы прошлого» — роман Б. М. Маркевича, впервые напечатанный в «Русском вестнике», 1867, №№ 8—12.

Стр. 71. *«Маску долой!» ...говорил г. Зайцев...* — Приведенное выражение принадлежит не В. А. Зайцеву, а Н. В. Соколову; см. его заметку «Маску долой! (Вызов редакции «Современника»)» в «Русском слове», 1865, № 9, стр. 108.

РУССКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗАМЕТКИ

Впервые опубликованы в газете «Биржевые ведомости», 1869, №№ 236 и 340, 1 сентября и 14 декабря, без подписи. Впоследствии не перепечатывались.

На принадлежность этих статей Лескову указывает А. Н. Лесков («Жизнь Николая Лескова», стр. 195, 232 и др.) и сам писатель (см. в наст. томе письмо к С. А. Юрьеву от 18 декабря 1870 года).

«Русские общественные заметки» представляют большой интерес для характеристики сложной литературной позиции писателя в этот период. Из большого количества статей (всего более двадцати пяти) в данном издании приводятся лишь две — посвященные главным образом литературным вопросам.

Стр. 72. *...«узду с гремушками да бич»...* — неточная цитата из стихотворения Пушкина «Свободы сеятель пустынный...» (1823).

Стр. 73. *Когда был в моде трубочист...* — цитата из стихотворения Н. Ф. Щербины «Наше время» (1867).

...«владение крещеною собственностию»... — то есть крепостными крестьянами. «Крещеная собственность» — название известной брошюры Герцена, изданной в Лондоне в 1853 году (изд. второе — Лондон, 1857).

Муравьев, М. Н. (1796—1866) — реакционный политический деятель, в 1863 году руководил подавлением польского восстания, был председателем следственной комиссии по делу Каракозова; вошел в историю под кличкой «Вешатель».

Стр. 74. *«Московские ведомости» недавно выразили ту мысль...* — Очевидно, имеется в виду передовая статья в № 188 от 28 августа, посвященная открытию съезда естествоиспытателей в Москве.

...ветулийскую жену (Юдифь). — Речь идет об опере А. Н. Серова «Юдифь» (1862) на сюжет известного библейского сказания о подвиге Юдифи, спасшей иудеев, осажденных в городе Ветилуе.

Стр. 74—75... *дело... издателя Щапова...* — В заседании С.-Петербургской судебной палаты по уголовному департаменту 12 августа 1869 года разбиралось дело по обвинению П. В. Щапова в нарушении законов о печати, выразившемся в издании книги Луи Блана «Письма об Англии» (т. I и т. II, в переводе под редакцией М. А. Антоновича); издателю был вынесен оправдательный приговор. Отчет о процессе печатался в «Биржевых ведомостях», 1869, №№ 229, 231 от 24 и 26 августа.

Стр. 75. *Луи Блан* (1811—1882) — французский социалист-утопист, историк, либеральный политический деятель.

Спасович, Владимир Данилович (1829—1906) — адвокат, либеральный публицист и историк литературы.

Вендета (итал. vendetta — мщение) — обычай кровной мести на Корсике и в Сардинии.

Толерантность — терпимость к чужим мнениям и верованиям.

Стр. 76. *«Панургово стадо»* — антинигилистический роман В. В. Крестовского; печатался в «Русском вестнике» в 1869 году.

Гласные суды — то есть суды с открытым разбирательством дел; введены в результате судебной реформы 1864 года.

Стр. 77. *Превыше мира и страстей* — неточная цитата из стихотворения Пушкина «Красавица» (1832).

Ауэрбах, Бертольд (1812—1882) — немецкий писатель.

Рошфор, Анри (1830—1913) — французский буржуазный публицист и политический деятель.

Шпильгаген, Фридрих (1829—1911) — немецкий писатель.

Стр. 78. *Корванна.* — См. примечание к стр. 59.

Мицкевич, Адам (1798—1855) — великий польский поэт, революционер.

Красинский, Зигмунт (1812—1859) — польский поэт.

Поль, Викентий (1807—1872) — известный польский поэт.

Сырокомля — псевдоним известного польского поэта Людвига Кондратовича (1822—1862).

Корженевский, Иосиф (1797—1863) — польский писатель.

Крашевский, Юзеф Игнацы (1812—1887) — польский писатель.

Каратыньский, Викентий (1831—1891) — польский поэт; Лесков был лично знаком с ним (см. А. Лесков. Жизнь Николая Лескова, стр. 108).

Григорьев, Аполлон Александрович (1822—1864) — русский критик и поэт.

Лагероньер — видимо, Альфред Лагероньер (1810—1884) — французский политический деятель и публицист.

Фрич, Иосиф Вацлав (1829—1890) — чешский политический деятель и писатель радикально-демократического направления.

Стр. 79. *Кулиш,* Пантелеймон Александрович (1819—1897) — украинский писатель, критик, историк; идеолог буржуазного национализма. См. о нем также в примечании к статье о Шевченко.

Стр. 80. *...как говорит Тургенев в своих воспоминаниях о Белинском...* — «Воспоминания о Белинском» были впервые напечатаны в «Вестнике Европы», 1869, кн. 4, стр. 695—729.

Шлоссер, Фридрих-Кристоф (1776—1861) — немецкий историк буржуазно-демократического направления; его «Всемирная история»

в 19 томах была переведена на русский язык под редакцией Н. Г. Чернышевского и В. А. Зайцева (18 тт., 1861—1869).

Стр. 81. *...отшвырнуло... в запамет* — предало забвению.

...г-жа Бичер-Стоу решилась описать... — Имеется в виду нашумевшая статья американской писательницы Г. Бичер-Стоу (1811—1896) «The true story of lady Byron's life» («Истинная история жизни жены Байрона»), появившаяся в 1869 году; в статье приводились вздорные выдумки относительно нравственного облика великого поэта.

Стр. 82. *Сарду,* Викторьен (1831—1908) — французский буржуазный драматург.

...как умер Лажечников... — И. И. Лажечников умер 26 июня 1869 года. Сведения о жизни Лажечникова Лесков мог почерпнуть из статьи Л. Нелюбова «Иван Иванович Лажечников» («Русский вестник», 1869, октябрь, стр. 561—601).

Стр. 83. *...автора «Петербургских трущоб»....* — то есть В. В. Крестовского.

Стр. 85. *Намеки тонкие на то, Чего не ведает никто...* — См. примечание к стр. 59.

...рассказцем... на немецком языке... — Имеется в виду рассказ Тургенева «Странная история», впервые опубликованный в октябре 1869 года на немецком языке в берлинском журнале «Салон».

Стр. 87. *...спиритизм... поддерживается... веяниями «Войны и мира»...* — Очевидно, имеются в виду страницы романа, посвященные изображению масонов.

...начиная с библейских сказаний о тени Самуила... до... видения шведского короля Карла XI, до общеизвестных... случаев... с доктором Берковичем... — О всех этих мистических явлениях говорится в статье В. А. Жуковского «Нечто о привидениях» в издании, указанном Лесковым (ошибочно названы страницы); см. В. А. Жуковский. Собрание сочинений, изд. 6-е, т. VI, СПб., 1869, стр. 589—610.

Стр. 88. *...и с Николаем Васильевичем Гоголем...* — Возможно, что речь идет о словах Гоголя в «Предисловии» к «Выбранным местам из переписки с друзьями»: «Я был тяжело болен, смерть уже была близка...»

«Нет, друг Горацио...» и далее — слова Гамлета из одноименной трагедии Шекспира (д. I, сц. 5).

...один чуткий критик навязал... Л. Н. Толстому... — Речь идет о статье Н. Н. Страхова, см. примечание к стр. 102.

Фламмарион, Камилл (1842—1925) — французский астроном и автор ряда научно-фантастических романов.

Дамаскин, Иоанн (конец VII в. — около 754) — византийский богослов и философ, автор богословских сочинений и церковных песнопений.

Стр. 89. *«Прекрасное далеко»* — выражение Гоголя из «Мертвых душ» (т. 1, гл. XI), повторенное Белинским в письме к Гоголю (1847).

...общество только что зачитывалось «Обрывом»... — Роман И. А. Гончарова «Обрыв» печатался в «Вестнике Европы», 1869, кн. 1—5.

...менуэты... перед иными из своих противумысленников... — Речь идет об отношениях Тургенева к представителям русского революционного движения.

Стр. 90. *Онагр* (франц. onagre) — дикий осел.

Клюшников, автор... «Марева»... выплыл с «Большими кораблями»... написал «Цыган». — Роман В. П. Клюшникова «Большие корабли» (не целиком) печатался в «Русском вестнике», 1866, кн. 3, 5; роман «Цыгане» — в журнале «Заря», 1869, №№ 2—4, 6, 7, 10, 12.

Стр. 91. *...издавать... чуждое всякой тенденции...* — С 1870 года Клюшников становится редактором журнала «Нива»; видимо, об этом издании и говорит Лесков.

...на последней странице «Отцов и детей»... — Имеются в виду слова в эпилоге по адресу Ситникова: «Отец им помыкает по-прежнему, а жена считает его дурачком... и литератором» (И. С. Тургенев. Собрание сочинений, т. 3, М., 1954, стр. 370).

...писательница, скрывающаяся под псевдонимом Марко Вовчка — Мария Александровна Маркович (1834—1907), известная русская и украинская писательница демократического направления; ее роман «Живая душа» был впервые опубликован в «Отечественных записках», 1868, №№ 1—3, 5, «Записки причетника» — 1869, №№ 9—12 и 1870, №№ 10, 11. О личных отношениях Лескова и М. А. Маркович см. письма 15, 17 и примечания к ним.

Стр. 92. *Доктор Опальный... по замечанию г. Незнакомца...* — Полемике с А. В. Лохвицким был посвящен очередной фельетон Суворина «Недельные очерки и картинки», напечатанный в «С.-Петербургских ведомостях», 1869, № 336, 6 декабря.

...на остатний бой, на смертельный — неточная цитата из «Песни про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» Лермонтова.

...к очень старой перепалке «Современника» со старыми «Отечественными записками». — Критика по адресу А. В. Лохвицкого содержалась в ряде выступлений «Современника»: Н. Г. Чернышевский — «О пленных по древнему русскому праву». А. Лохвицкого»

(1856, № 1, стр. 17), М. А. Филиппов — «Г-ну Лохвицкому» (1859, № 11, стр. 58—64), Ю. Жуковский — «Губерния, ее земские и правительственные учреждения» (1864, № 8, стр. 222—225) и др.

Корш, Валентин Федорович (1828—1893) — историк литературы, журналист, в 1863—1874 годах редактор «С.-Петербургских ведомостей».

Стр. 93. *Газета «Весть»... отозвалась к нашим недавним заметкам о запрещениях.* — Имеется в виду отклик газеты «Весть» (1869, № 342, 10 декабря) на «Русские общественные заметки» Лескова, помещенные в «Биржевых ведомостях», 1869, №№ 319 и 333, от 23 ноября и 7 декабря.

...в «Русском вестнике», в статье о консерваторах... — Речь идет о статье В. Безобразова «Наши охранители и наши прогрессисты» («Русский вестник», 1869, т. 83, октябрь, стр. 389—486).

Стр. 94. *...Изомбар, Андриё и Мошра...* — строка из стихотворения Некрасова «Балет» (1866), к именам дано разъяснение поэта: «Известные модистки».

Пассаж гр. Штейнбока. — См. примечание к стр. 13.

Стр. 95. *Этцетера* (франц. et cetera) — и так далее.

Стр. 96. *...когда телесные наказания были отменены...* — Телесные наказания были отменены законом в 1863 году, однако для крестьян сохранялось применение розог по приговорам волостных судов.

«Там, где море вечно плещет» — первая строка стихотворения Пушкина «Талисман» (1827).

«Фауст наизнанку» — оперетта французского композитора Ф. Эрве (1825—1892), либретто — Г. Кремье; на русский язык переведена В. С. Курочкиным (см. издание: «Фауст наизнанку». Опера-буфф, слова Кремье, музыка Эрве. Переделка с французского В. Курочкина. Пб., 1869); в России впервые поставлена на сцене Александринского театра 17 октября 1869 года. «Тру-ля-ля, Пиф-паф-пуф» и т. д. — слова из этой оперетты.

ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ПО ГР. Л. Н. ТОЛСТОМУ

(«Война и мир». Соч. гр. Л. Н. Толстого, т. V, 1869 г.)

Впервые опубликовано в газете «Биржевые ведомости», 1869, №№ 66, 68, 70, 75, 98, 99 и 109, от 9, 11, 13, 18 марта, 11, 12 и 25 апреля; без подписи. Одновременно с 11 марта статья перепечатывалась в «Вечерней газете». В «Биржевых ведомостях» от 25 апреля указывалось, что «окончание будет», однако продолжения статьи не последовало. На принадлежность статьи Лескову впервые

указал А. Н. Лесков (см. «Жизнь Николая Лескова», стр. 291; см. также Б. Эйхенбаум. Лев Толстой. Книга вторая. 60-е годы. Л.—М., 1931, стр. 257, 415). Впоследствии не перепечатывалось.

Н. Н. Гусев считает, что Лескову принадлежит и статья о томе шестом «Войны и мира», появившаяся без подписи в «Биржевых ведомостях», 1870, № 149 от 4 апреля (см. Н. Н. Гусев. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1855 по 1869 год. М, 1957, стр. 849, 851); однако доказательства принадлежности этой статьи Лескову представляются спорными, поэтому редакция не решилась включить ее в настоящее издание.

Статья Лескова была написана в связи с выходом отдельным изданием тома пятого «Войны и мира» в 1869 году. Выход очередного тома романа вызвал новую волну отзывов о великом произведении; в возникшую полемику включился своей статьей и Лесков.

Помимо этой статьи, Лесков в 1869—1870 годах не раз касается «Войны и мира» в «Русских общественных заметках» (см. «Биржевые ведомости», 1869, №№ 229, 242; 1870, № 39).

Новейший обзор критических отзывов современников о «Войне и мире» см. в упомянутой выше книге Н. Н. Гусева; см. также В. С. Спиридонов. Л. Н. Толстой. Био-библиография, т. 1, 1845—1870, М., 1933.

Стр. 98. *...смерть маленького Домби...* — Имеется в виду эпизод из романа Диккенса «Домби и сын».

Стр. 101. *«Умереть-уснуть»* — выражение Гамлета из одноименной трагедии Шекспира.

Стр. 102. *...хвалили его за какой-то особого рода реализм...* — Несомненно, Лесков имеет в виду Н. Н. Страхова, который в первой статье о «Войне и мире» (о томах I—IV) писал: «Сущность русского реализма в искусстве никогда еще не обнаруживалась с такой ясностью и силою; в «Войне и мире» он поднялся на новую ступень, вышел в новый период своего развития... Гр. Л. Н. Толстого можно назвать по преимуществу реалистом-психологом» (Н. Страхов. Критические статьи, т. 1, Киев, 1908, стр. 194—195); впервые статья напечатана в журнале «Заря», 1869, №№ 1, 2).

Стр. 103. *...в одном месте «Обрыва»... о котором мы также дадим отчет...* — Намерение написать об «Обрыве», видимо, не было выполнено.

...возражения Норова и многих других современников Отечественной войны... — Имеется в виду ряд выступлений по поводу изображения исторических событий в «Войне и мире»: А. С. Норов. «Война и мир» (1805—1812) с исторической точки зрения и по вос-

поминаниям современников (по поводу сочинения графа Л. Н. Толстого «Война и мир») — «Военный сборник», 1868, 11, стр. 189—246; П. А. Вяземский. Воспоминания о 1812 годе («Русский архив», 1869, 1, стр. 181—216); А. Витмер. 1812 год в «Войне и мире» (СПб., 1869), и др.

Стр. 108. *...суждено расцвесть этому жезлу...* — В библии говорится о жезле Ааронове: «И вот жезл Ааронов... расцвел, пустил почки, дал цвет и принес миндали» (Четвертая Книга Царств).

Стр. 109. *Леппих,* Франц (род. в 1775 г.) — голландский уроженец; по его проекту в 1812 году в Москве строился воздушный шар для уничтожения наполеоновской армии.

Стр. 111. *...прядает в лансадах.* — Лансада (франц. lançade) — скачок лошади; прядает — здесь: прыгает.

Обер-Шальме — модная портниха в Москве в начале XIX века.

Верещагин, Михаил Николаевич (1790—1812) — сын московского купца, был обвинен в государственной измене. Сцена самосуда над ним из романа Толстого приводится в пятой главе статьи (наст. том, стр. 119—123).

Ключарев, Федор Петрович (1754—1820-е гг.) — писатель-мистик, масон; занимал должность московского почт-директора, в 1812 году смещен Растопчиным за защиту Верещагина.

Стр. 121. *...убиение князя Михаила в Орде...* — Черниговский князь Михаил Васильевич был убит в Орде 20 сентября 1246 года якобы из-за несоблюдения татарских языческих обычаев.

...убийство... митрополита Иосифа в Астрахани... — Митрополит Иосиф был убит в Астрахани войсками Разина 11 мая 1671 года.

Стр. 123. *...г. Герцен, писавший воззвание «к топорам»...* — Имеются в виду слова «Письма из провинции» (за подписью: «Русский человек»), помещенные в «Колоколе»: «...пусть ваш «Колокол» благовестит не к молебну, а звонит набат! К топору зовите Русь». Автор письма не установлен.

...вифлеемские грудные младенцы... — По евангельскому преданию, иудейский царь Ирод, стремясь уничтожить младенца Иисуса Христа, распорядился умертвить всех грудных детей в Вифлееме, где родился Христос.

Ролан, Манон-Жанна (1754—1793) — деятельница французской буржуазной революции 1789 года, жирондистка; казнена в 1793 году.

Стр. 126. *...в одном из крымских очерков г. Маркова...* — Имеются в виду очерки Е. А. Маркова «Крымские впечатления», печатавшиеся в «Отечественных записках», 1867, №№ 15, 16, 22—24.

Стр. 127. *Юдифь.* — См. примечание к стр. 74.

Вильгельм Телль — легендарный народный герой Швейцарии, предводитель швейцарцев в борьбе против австрийского ига в начале XIV века.

Стр. 130. *«Бурцев, забияка, собутыльник дорогой»* — неточная цитата из стихотворения Д. И. Давыдова «Бурцову. Призывание на пунш» (1804).

...под сень струй... — выражение Хлестакова в комедии Гоголя «Ревизор».

Стр. 138. *...в известной... басне...* — Речь идет о басне «Конь», приписываемой И. А. Крылову. (Впервые в сборнике «Утро», М., 1859.)

«...истину царям с улыбкой говорить»... — цитата из стихотворения Державина «Памятник» (1796).

«...намеки тонкие на то, чего не ведает никто». — См. примечание к стр. 59.

...либеральные разговоры с молодыми людьми... — очевидный намек на поведение Ермолова в Москве после его отставки в 1827 году.

Паскевич-Эриванский, Иван Федорович (1782—1856) — генерал-фельдмаршал, командовал русскими войсками в русско-персидской войне 1826—1828 годов.

Стр. 139. *Дед мой, служивший в то время в Москве...* — Речь идет о Петре Сергеевиче Алферьеве, деде писателя по матери (см. А. Лесков. Жизнь Николая Лескова, стр. 41—42).

Стр. 143. *Один... критик упрекнул автора, что он «просмотрел народ...»* — По предположению Н. Н. Гусева, Лесков имеет в виду взгляд, высказанный Н. Соловьевым в книге «Искусство и жизнь», часть III, 1869 (см. Н. Н. Гусев. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1855 по 1869 год. М., 1957, стр. 851).

Другой, также философствующий рецензент — Н. Н. Страхов; см. примечание к стр. 102.

Стр. 144. *...строки Алексея Толстого...* — Далее цитируются строки из драматической поэмы А. К. Толстого «Дон-Жуан».

Стр. 146. *...критиков военных...* — Очевидно, имеются в виду статьи Н. А. Лачинова («Русский инвалид», 1868, № 96, 10 апреля), Л. Витмера («Военный сборник», 1868, 12; 1869, 1), М. И. Драгомирова («Оружейный сборник», 1868, 4; 1869, 1; 1870, 1), М. И. Богдановича («Голос», 1868, № 129, 10 мая).

Фельдмаршал граф Каменский — очевидно, М. Ф. Каменский (1738—1809), помещик-самодур, убитый своими крепостными за жестокое обращение. См. также наст. изд., т. 7, стр. 538.

Стр. 147. *Костюшко,* Тадеуш (1746—1817) — польский политический и военный деятель, руководитель польского освободительного восстания в 1794 году.

...сочинение Н. И. Костомарова «Последние годы Речи Посполитой» — печаталось в «Вестнике Европы», 1869, книги 3—12.

...изречению Монтескье, что «всякое правительство впору своему народу». — Изречение взято из сочинения французского философа-просветителя Шарля-Луи Монтескье (1689—1755) «О духе законов».

Стр. 148. *Журнал «Рассвет»* — выходил в Одессе в 1861—1862 годах под редакцией О. А. Рабиновича.

«Листок». — Имеется в виду «Листок Русского общества пароходства и торговли»; выходил в Одессе в 1860 году, редактором его до № 50 был С. С. Громека.

Стр. 149. *«Изнанка Крымской войны»* — статьи Н. Н. Обручева в «Военном сборнике», 1858, №№ 1, 2 и 4.

...дело Затлера по продовольствию войск... — Барон Ф. К. Затлер (1805—1876) во время Крымской войны 1854—1855 годов был главным интендантом русской армии; после войны за плохую организацию снабжения армии, допущенные хищения и т. д. был отдан под суд и разжалован в солдаты; написал «Записки о продовольствии войск в военное время», СПб., 1860—1865.

...отчеты профессора Гюббенета... — Имеется в виду «Очерк медицинской и госпитальной части русских войск в Крыму в 1854—1856 гг.», изданный затем как приложение к «Описанию обороны Севастополя», СПб., 1870; *Гюббенет,* Х. Я. (1822—1873) — профессор хирургии в Киевском университете; во время Крымской войны служил в Севастополе.

ПОПУЛЯРНЫЕ РУССКИЕ ЛЮДИ

Побудительной причиной для написания биографических очерков о М. А. Милорадовиче и А. П. Ермолове послужил тот интерес к полководцам Отечественной войны 1812 года, который был возбужден в русском обществе успехом романа «Война и мир» Л. Н. Толстого. Очерки Лескова примыкают непосредственно к его статье о «Войне и мире», написанной в том же году. Хотя очерки представляют собой компиляцию работ других авторов, на которых Лесков сам ссылается, они в то же время дают весьма вольную художественную обработку сухого исторического материала. Лесков, как это легко видеть из сопоставления его очерков с источниками, мало интересуется историческими подробностями, документами и т. д., для него главное — дать живой облик полководцев, их человеческие черты.

⟨I.⟩ ГРАФ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ МИЛОРАДОВИЧ

Биографический очерк

Впервые опубликовано в «Биржевых ведомостях», 1869, № 329, 3 декабря, без подписи. Впоследствии не перепечатывалось.

На принадлежность этого и следующего очерков Лескову указал А. Н. Лесков («Жизнь Николая Лескова», стр. 221).

Источником для очерка послужила работа М. И. Семевского «Граф Михаил Андреевич Милорадович. 1770—1825 гг. (Материалы для его биографии)», напечатанная в «Военном сборнике», 1869, № 10, стр. 141—190. В работе Семевского приведен обширный документальный материал (письма самого Милорадовича, рескрипты Павла I и Александра I, письма М. И. Кутузова и др.). Лесков дает очень сжатый и вольный пересказ всего этого материала, вставляя свои замечания, приводя цитаты из других источников и т. д. Почти дословно воспроизводится лишь место статьи Семевского, где говорится о гибели Милорадовича 14 декабря 1825 года.

Стр. 152. *Кто по-французски совершенно...* и т. д. — неточная цитата из «Евгения Онегина».

...двухлетней войне с Швецией. — Речь идет о русско-шведской войне 1808—1809 годов, в результате которой к России была присоединена Финляндия.

Стр. 157. *Буташевич-Петрашевский,* Василий Михайлович — отец известного революционера М. В. Буташевича-Петрашевского, организатора революционного кружка в 1840-е годы.

⟨II.⟩ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ ЕРМОЛОВ

Биографический очерк

Впервые очерк опубликован в «Биржевых ведомостях», 1869, № 335, 9 декабря; впоследствии не перепечатывался.

Статья историка Н. Ф. Дубровина (1837—1904) «Алексей Петрович Ермолов при назначении его на Кавказ» («Военный сборник», 1869, № 11, стр. 19—45), на которую ссылается Лесков, являлась главой из подготовлявшегося автором сочинения «История войны и владычество русских на Кавказе».

Изображение Ермолова в очерке Лескова сильно отличается от трактовки этого деятеля, данной им на основе «Войны и мира» Толстого (см. статью «Герои Отечественной войны по гр. Л. Н. Толстому»); этим очерком Лесков внес корректив в свою оценку Ермолова. Очерк в большей степени, чем биография Милорадовича, до-

полнен размышлениями и оценками писателя, хотя он и не мог коснуться взаимоотношений Ермолова с декабристами (см. об этом в книге: М. В. Нечкина. Движение декабристов, тт. I—II, М., 1955).

Стр. 158. *Лейб-медик Вилие* — Яков Васильевич Вилье (1768—1854), известный врач, шотландец по происхождению; в 1812 году — главный военно-медицинский инспектор русской армии.

Стр. 159. *Самойлов,* Александр Николаевич (1744—1814) — граф, государственный деятель, был одно время генерал-прокурором и государственным казначеем.

Сын Александр — Александр Каховский, впоследствии активный участник смоленского офицерского кружка — одной из преддекабристских организаций (см. М. В. Нечкина. Движение декабристов, т. 1, стр. 89—90).

Гейм, Иван Андреевич (1758—1821) — профессор Московского университета.

Стр. 160. *Раевский,* Николай Николаевич (1771—1829) — генерал, герой Отечественной войны 1812 года.

...стрелять «в знак осушения бокалов» — приказывал король в трагедии Шекспира «Гамлет» (акт I, сц. 2).

Стр. 162. *Восстание в Польше* — восстание 1794 года с целью восстановления национальной независимости Польши, воссоединения польских земель, отторгнутых Пруссией и Россией в 1772—1793 годах.

Зубов, Валерьян Александрович (1771—1804) — русский генерал, брат известного государственного деятеля П. А. Зубова (1767—1822), фаворита Екатерины II.

...донос на Каховского... — Об Александре Каховском см. примечание к стр. 159; А. П. Ермолов был арестован по этому делу дважды: сначала в ноябре 1797 года и затем в конце 1798 года; был освобожден лишь после смерти Павла I.

Платов, Матвей Иванович (1751—1818) — прославленный русский генерал, атаман Донского казачьего войска; при Павле I по доносу был арестован, сослан в Кострому, а затем заключен в Петропавловскую крепость; вскоре был освобожден и возвращен на командную службу.

Стр. 164. *...хотел... сопровождать генерала Анрепа на Ионические острова...* — На Ионических островах, взятых русскими войсками в 1799 году, постоянно находилась эскадра и отряд русских войск; дивизия генерала Р. К. Анрепа (убит в 1807 году) была там в 1801 году.

Стр. 167. *...в одном из... романов...* — Речь идет о романе Лескова «Некуда»; этим устанавливается прототип образа генерала Стрепетова (см. наст. изд., т. 2, стр. 391—405).

...называл своим «московским сиденьем»... — Имеется в виду жизнь Ермолова после увольнения его в отставку Николаем I.

⟨О РОМАНЕ «НЕКУДА»⟩

Печатается по копии А. Н. Лескова с автографа. Впервые опубликовано в сборнике «Шестидесятые годы», стр. 354.

Заметка является ценным документом по истории создания романа «Некуда»; к ней примыкает и ряд других высказываний писателя о романе: в «Объяснении (По поводу романа «Некуда»)» — «Библиотека для чтения», 1864, № 12; в письме к И. С. Аксакову от 9 декабря 1881 года; в статье «О шепотниках и печатниках» (1882); в «Авторском признании» (1884); в письме к М. А. Протопопову от 23 декабря 1891 года и др. Подробнее о романе «Некуда» см. в примечании к т. 2 настоящего издания.

По сообщению А. Н. Лескова, заметка носит характер подарочной надписи «на вставном листе первого тома романа «Некуда» (2-е издание)» — «Его превосходительству Петру Карловичу Щебальскому от автора. 18 апреля 1871 г. СПб.» (см. «Шестидесятые годы», стр. 354).

Стр. 168. *...прежде его написан один «Овцебык».* — Это не совсем точно: до рассказа «Овцебык» (1863) в 1862 году были опубликованы такие «беллетристические работы», как «Разбойник», «В тарантасе», «Погасшее дело» (впоследствии «Засуха»).

...все это видно из моих парижских писем. — Имеются в виду очерки «Русское общество в Париже», впервые печатавшиеся в «Библиотеке для чтения», 1863, №№ 5, 6 и 9, а затем значительно переработанные (в частности, в связи с критикой романа «Некуда») в изданиях: «Повести, очерки и рассказы», т. 1, СПб., 1867, и «Сборник мелких беллетристических произведений», ч. 1, СПб., 1873.

Турунов, Михаил Николаевич (1813—1890) — в 1864—1865 годах занимал должность председателя С.-Петербургского цензурного комитета.

Веселаго, Феодосий Федорович — цензор, затем член совета Главного управления по делам печати.

Дероберти, Адольф Адольфович — цензор С.-Петербургского цензурного комитета.

Красные помогали суровости ...цензуры... — Очевидно, имеются в виду оценки романа революционно-демократической критикой.

...экземпляр, сплетенный из корректур... — Корректуры эти, по свидетельству А. Н. Лескова, «погибли у Вольфа».

Вольф, Маврикий Осипович (1826—1883) — известный книгоиздатель; о его книгоиздательской и книготорговой деятельности см. в книге С. Ф. Либровича «На книжном посту». Пг. — М., 1916.

Стр. 169. *«Комическая эпоха»* — термин, заимствованный из стихотворения Н. Ф. Щербины «Наше время» (ср. подзаголовок к очерку Лескова «Загадочный человек»: «Очерк из истории комического времени на Руси»).

СТРАНА ИЗГНАНИЯ

Впервые опубликовано в газете «Русский мир», 1872, № 119, 9 мая, за подписью: «Н. Лесков». Впоследствии не перепечатывалось.

«Страна изгнания» является рецензией на книгу: С. Турбина и Старожила. «Страна изгнания и исчезнувшие люди. Сибирские очерки». СПб., 1872. Лесков касается лишь очерков Турбина «Страна изгнания», имеющих подзаголовок «От Осы до Иркутска». Упоминаемые в рецензии встречи с бродягой и с переселенцами приводятся в очерке «От Тюмени до Омска», рассказ о поляке — в очерке «От Омска до Томска». Первоначально очерки Турбина печатались в «С.-Петербургских ведомостях» в 1863—1864 годах.

С беллетристом и драматургом Сергеем Ивановичем Турбиным (1821—1884) Лесков был знаком и лично. Колоритный портрет этого литератора дан в книге А. Н. Лескова. По его свидетельству, Лесков считал Турбина «нигилистом чистой расы» и «вывел, значительно смягченным, в романе «На ножах» в лице майора Форова» (А. Лесков. Жизнь Николая Лескова, стр. 232). Позднее о Турбине Лесков писал в очерке «Досуги Марса» («Русская мысль», 1888, № 2). См. также письмо 55 и примечание к нему.

Стр. 172. *...памятник в Новгороде открывают...* — Речь идет об открытии в Новгороде в 1862 году памятника тысячелетия России работы скульптора М. О. Микешина (1836—1896).

Стр. 174. *...оболганный и облаянный, à la Глеб Успенский...* — Впоследствии Лесков изменил свою оценку творчества Г. И. Успенского и положительно отзывался о его произведениях. Так, в рассказе «Интересные мужчины» (1885) Лесков характеризует Глеба Успенского как «одного из немногих литературных собратий наших, который не разрывает связей с жизненною правдою... от этого бесе-

довать с ним всегда приятно и очень нередко — даже полезно» (наст. изд., т. 8, стр. 55). См. также теплый отзыв об Успенском в заметке «Три первоклассные писателя» («Петербургская газета», 1885, № 45). В 80-х годах устанавливаются личное знакомство и переписка писателей (см. Г. И. Успенский. Собрание сочинений, т. 9, стр. 383).

Стр. 177. *...в похвалу... народным сценам П. И. Мельникова...* — Возможно, имеются в виду отзывы В. Г. Авсеенко, ведшего в «Русском мире» (за подписью: «А. О.») обозрение «Очерки русской литературы», о романе «В лесах» («Русский мир», 1872, №№ 84, 1 апреля, и 116, 6 мая); там же и в других заметках содержатся выпады критика по адресу демократической литературы.

О РУССКОЙ ИКОНОПИСИ

Впервые статья опубликована в газете «Русский мир», 1873, № 254, 26 сентября, без подписи; впоследствии не перепечатывалась.

Интерес Лескова к живописи был постоянным и проявился еще в период жизни в Киеве, где он был знаком с рядом художников. Не менее устойчивым было его внимание к русской иконописи, и не только в связи с обращениями писателя к религиозным и церковным темам, но и как к самостоятельному самобытному жанру русского искусства. Превосходное знание истории иконописания, направлений и школ и даже самой техники мастеров-иконописцев нашло отражение и в художественных произведениях писателя (см. «Запечатленный ангел» в т. 4 наст. издания).

Из статей Лескова об иконописи следует еще назвать: «Об адописных иконах» («Русский мир», 1878, № 192, 24 июля), «О художнем муже Никите и совоспитанных ему» — об иконописце Н. С. Рачейскове («Новое время», 1886, № 3889, 25 декабря).

Стр. 179. *Прохоров,* Василий Александрович (1818—1882) — археолог; был преподавателем Академии художеств, основал древнехристианский музей, в 1862--1877 годах издавал журнал «Христианские древности и археология».

...Заметка об адописных иконах... — статья Лескова «Об адописных иконах» (см. в примечании выше).

...в 211 № «Русского мира»... появился отзыв... — Имеется в виду небольшая заметка без заглавия за подписью «N.R.»; заметка снабжена обширным примечанием от редакции, которое написано, как можно судить по некоторым формулировкам и положениям, совпадающим с рядом мест статьи «О русской иконописи», самим Лесковым.

Стр. 180. *...в «Ведомостях С.-Петербургского градоначальства»... появилась обширная статья* — «Народная иконопись», без подписи; есть указание, что автором ее был С. В. Максимов (см. А. Ф. Писемский. Письма, М., изд. АН СССР, 1936, стр. 839).

Сахаров, Иван Петрович (1807—1863) — этнограф, археолог и библиограф; автор труда «Исследования о русском иконописании», СПб., 1849.

Ровинский, Дмитрий Александрович (1824—1895) — известен главным образом как историк русского искусства, автор книг «История русских школ иконописания до конца XVII века» (СПб., 1856), «Русские народные картинки» (3 тома, СПб., 1881—1893) и др.

Капонийские створы. — См. примечание к «Запечатленному ангелу» (наст. изд., т. 4, стр. 549).

Стр. 181. *Гагарин,* Григорий Григорьевич (1810—1893) — князь, занимал ряд официальных и военных должностей; художник-любитель, в 1859—1872 годах был вице-президентом Академии художеств.

Григорович, Дмитрий Васильевич (1822—1899) — русский писатель; был одно время секретарем Общества поощрения художеств, организовал при Обществе ценный художественный музей.

Стрелков, Иван Васильевич (1811—1877) — попечитель Преображенского богадельного дома в Москве, знаток и любитель древнего иконописания.

Строганов — очевидно, Сергей Петрович Строганов (1794—1882), граф, государственный деятель, в 1835—1847 годах — попечитель Московского учебного округа; отличался широким интересом к истории русского искусства, издал «Древности российского государства» (1849—1853), способствовал археологическим разысканиям.

Шаховской — видимо, Дмитрий Иванович Шаховской — земский деятель, участник изданий по вопросам народного образования и статистики.

Лобанов, Михаил Евстафьевич (1787—1846) — писатель, сторонник литературного классицизма.

Соллогуб, Федор Львович (ум. в 1890 г.) — художник, автор ряда миниатюр на исторические темы.

Лабутин, Иван Сергеевич (ум. в 1862 г.) — петербургский купец.

...о «богомазне», которою заняты ребята да девки в Холуе, Суздале, Палихове и Мстерах». — Отрицательный отзыв Лескова вызван здесь тем, что массовое иконописание в названных местах Владимирской губернии приняло характер доходного ремесла, далекого от подлинного мастерства народной живописи.

Стр. 182. *Штундисты* — одна из рационалистических христианских сект, распространенных на юге России.

Стр. 185. *Дидрон,* Адольф-Наполеон (1806—1867) — французский археолог; Лесков говорит о его сочинении «Manuel d'iconographie crhétienne, grecque et latin», Paris, 1845 («Руководство по христианской, греческой и латинской иконографии», Париж, 1845).

КАРИКАТУРНЫЙ ИДЕАЛ
Утопия из церковно-бытовой жизни
(Критический этюд)

Впервые опубликовано в журнале «Странник», 1877, август, стр. 129—143; сентябрь, стр. 259—276; октябрь, стр. 71—86, за подписью: «Н. Лесков». Впоследствии не перепечатывалось.

Статья посвящена оценке книги Ф. В. Ливанова «Жизнь сельского священника. Бытовая хроника из жизни русского духовенства», М., 1877. Автор книги, реакционный беллетрист, помимо духовенства описывал также жизнь и быт раскольников («Раскольники и острожники», СПб., 1868; «На рассвете», М., 1875); одновременно Ливанов — составитель ряда низкопробных учебных пособий для народного чтения, автор «Курса истории русской литературы» (М., 1878).

Рецензируемая книга не могла не привлечь внимания Лескова, автора «Соборян», многочисленных статей и очерков о церковной жизни, в ближайшем будущем — создателя «Мелочей архиерейской жизни». Статья является ценным свидетельством его серьезных расхождений с лагерем идейной реакции к концу 70-х годов. Лесков высмеивает не только надуманное, чуждое подлинного знания жизни произведение Ливанова, но и те низкопробные приемы реакционных беллетристов, которые они применяли в своих нападках на радикальных демократических деятелей, на прогрессивную молодежь.

Стр. 189. *«Изо дня в день, — записки сельского священника»* — СПб., 1875; автором этой книги был В. П. Мещерский (см. о нем в примечании к письму 64 в наст. томе).

Стр. 190. *...нового архиерея Хрисанфа... Читателю может показаться это чем-то знакомым?* — Здесь и далее Лесков с возмущением говорит о приеме Ливанова называть вымышленных героев именами действительных исторических деятелей. *Хрисанф* (Владимир Николаевич Ретивцев, 1832—1883) — духовный писатель, был ректором С.-Петербургской духовной академии, епископом астраханским и нижегородским.

«Я, как все великосветские люди»... и т. д. — Ср. в рассказе «Голос природы» (наст. изд., т. 7, стр. 250).

Стр. 191. *Фамилия «Татищева»...* — Татищевы — старинный графский и дворянский род; наиболее известен из этой фамилии В. Н. Татищев (1686—1750) — русский историк. В 70—80-е годы XIX века был известен С. С. Татищев — публицист и дипломат.

...известные нигилистические романы... — В первую очередь имеется в виду «Что делать?» Чернышевского, а также те произведения, которые созданы под воздействием этого романа («Трудное время» В. А. Слепцова; «Степан Рулев» Н. Ф. Бажина, «Перед рассветом» Н. А. Благовещенского и др.).

Стр. 194. *...гоголевского Осипа...* — Речь идет о словах Осипа в «Ревизоре» (д. IV, явл. 10).

Стр. 200. *Гомилетический.* — Гомилетика — учение о христианском проповедничестве.

...«нигилистка Кашеварова»... — Эта фамилия указывала на известную прогрессивную деятельницу 70-х — 80-х годов Варвару Александровну Кашеварову (Рудневу) (1844 или 1848—1899) — одну из первых русских женщин, получивших высшее образование, врача-гинеколога, доктора медицины, автора ряда научных работ. Деятельность и личность Кашеваровой, как «нигилистки», была не раз объектом выпадов реакционной критики. См. также примечание к письму 34.

Сеченов, Иван Михайлович (1829—1906) — великий русский физиолог.

Стр. 201. *...к Скалону... фамилия всем известная...* — Из дворянского рода Скалонов известен В. Ю. Скалон (1846—1907) — публицист, земский деятель.

...к «нигилисту Болтину» (опять известная фамилия?)... — Болтины — старинный боярский и дворянский род; наиболее известен И. Н. Болтин (1735—1792) — русский историк.

Стр. 203. *...известных сочинений Жюля Симона и Джона Стюарта Милля...* — Речь идет о книгах: Ж ю л ь С и м о н (1814—1896), Работница, СПб., 1861 (2-е изд. — М., 1874) и Д ж о н С т ю а р т М и л л ь (1806—1873), О подчинении женщины, СПб., 1869 (2-е изд. — 1871, 3-е — 1882).

«А Васька слушает да ест» — цитата из басни Крылова «Кот и повар».

Стр. 205. *Так тяжкий млат, дробя стекло, кует булат* — цитата из поэмы Пушкина «Полтава».

...представленного у Рабле Панюржа... — Речь идет о Панурге, персонаже романа Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль».

Стр. 207. *Корф,* Николай Александрович (1834—1883) — видный русский педагог и методист, прогрессивный деятель народного образования, автор ряда учебников и руководств для начальной школы.

Водовозов, Василий Иванович (1825—1886) — известный русский педагог, методист по вопросам преподавания русского языка и литературы; автор ряда учебных пособий для начальной и средней школы.

Ушинский, Константин Дмитриевич (1824—1870) — выдающийся русский педагог, один из основоположников русской педагогической науки и народной школы в России, автор ряда книг для начального обучения.

...пресловутой «золотой грамоты»... ливановской литературной фабрики. — Имеется в виду учебное пособие «Золотая грамота» (М., 1875) — хрестоматия для народного чтения, составленная Ф. В. Ливановым.

Стр. 208. *...свящ⟨енной⟩ истории Шнора...* — Речь идет об издании немецкого художника Юлиуса Шнорра фон Корольсфельда (1796—1872) «Библия в картинах» (Лейпциг, 1852—1860).

Стр. 209. *...в газете, издаваемой кем-то «с птичьею фамилиею»...* — Очевидно, имеются в виду «Русские ведомости», с 1864 года редактировавшиеся, а затем и издававшиеся Н. С. Скворцовым (1839—1882).

Келейник — служитель у монашествующего лица, послушник, служка.

Стр. 210. *...Мансветов (опять известная фамилия)...* — Из Мансветовых известны: Григорий Иванович (1775—1832) — духовный писатель; Иван Данилович (1843—1885) — археолог, профессор Московской духовной академии.

Стр. 211. *Das ist eine alte Geschichte...* («Все это старо бесконечно...») — строка из стихотворения Г. Гейне «Девушку юноша любит...» (пер. В. Зоргенфрея) — Книга песен («Лирическое интермеццо», 39).

Стр. 212. *Бюхнер,* Людвиг (1824—1899) — немецкий физиолог и философ — вульгарный материалист.

Фейербах, Людвиг (1804—1872) — немецкий философ-материалист.

Стр. 213. *Ходил в зимушку студеную...* и далее — цитата из стихотворения Некрасова «Влас» (1854).

Стр. 215—216. *...Гедеонов (снова известная фамилия)...* — Из Гедеоновых известны Александр Михайлович (1790—1867), занимавший в 1833—1858 годах пост директора императорских театров Петербурга (с 1833 г.) и Москвы (с 1847 г.); его сын Степан Александрович (1816—1877) был директором императорских театров (1867—1875) и Эрмитажа (1863—1877).

Стр. 216. *Павлов,* Николай Филиппович (1805—1864) — писатель, литературный критик и публицист.

Стр. 217. *...наши русские в Швейцарии...* — эмигранты, находившиеся в Швейцарии.

Стр. 218. *...вроде римского огурца...* — Здесь и далее речь идет о басне Крылова «Лжец».

Стр. 222. *...пресловутые «пять хороших книжек»...* — Возможно, имеются в виду слова Рахметова из «Что делать?» Чернышевского: «по каждому предмету капитальных сочинений очень немного; во всех остальных только повторяется, разжижается то, что гораздо полнее и яснее заключено в этих немногих сочинениях. Надобно читать только их... Берем русскую беллетристику. Я говорю: прочитаю прежде всего Гоголя. В тысячах других повестей я уже вижу по пяти строкам с пяти разных страниц, что не найду ничего, кроме испорченного Гоголя...» (Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, т. XI, стр. 203).

...как Гоголь говорил — «фетюком». — Этим словом Ноздрев обозвал своего зятя Мижуева («Мертвые души», т. I, гл. IV); к прозвищу Гоголем дано примечание: «Фетюк — слово обидное для мужчины, происходит от фиты, буквы, почитаемой некоторыми неприличною буквою».

Стр. 227. *Кто ты — их ангел ли спаситель...* и т. д. — неточная цитата из «Евгения Онегина» («Письмо Татьяны к Онегину»).

Стр. 230. *...Гейне... говорил, «что мужика прежде всего надо вымыть»...* — Неточная передача мысли Гейне из его статьи «Признания». См. также наст. изд., т. 9, стр. 355 и примечания.

Стр. 233. *...не за те ли «рефлексы»...* — Речь идет о знаменитом труде И. М. Сеченова «Рефлексы головного мозга» (1863).

В одной прекрасной статье... — Имеется в виду статья «Ветхий завет и идея о едином боге» («Православное обозрение», 1877, т. 1, апрель, стр. 716—761, за подписью: « — ъ»), посвященная книге: W. Boudissin. Studien zur Semitischen Religiongeschichte. Heft 1, 1876 (В. Будиссен. Исследования по истории религии семитов, книга 1, 1876).

⟨О РАССКАЗАХ И ПОВЕСТЯХ А. Ф. ПОГОССКОГО⟩

Впервые опубликовано в журнале «Православное обозрение», 1877, ноябрь, стр. 516—525, в очерке «Дикие фантазии (Современные заметки)», с подзаголовком «Очерк первый», за подписью: «Н. Лесков». Впоследствии не перепечатывалось.

Очерк в целом посвящен защите духовенства от обвинений в недостаточном нравственном воспитании солдатской массы, обнаружившемся в результате Крымской войны 1853—1855 годов. Очерк имеет эпиграф, взятый из библии: «Правда возвышает народ — ненавидящие обличения умрет». Притчи Соломона».

Александр Фомич Погосский (1816—1874) — писатель, журналист и общественный деятель демократического направления, автор многочисленных произведений для простонародного читателя из народной же, особенно солдатской жизни. Погосский был издателем и редактором журналов «Солдатская беседа» (1858—1867), «Народная беседа» (в 1862—1863 годах), «Досуг и дело» (в 1867—1874 годах), составителем ряда пособий для начальной народной школы и т. д. В 1860-х годах Погосский был близок к демократическим и революционным кругам. Находясь за границей, он знакомится с Герценом, Огаревым, Бакуниным. Последний в письме к Герцену и Огареву от 4 марта 1864 года дает восторженную оценку Погосскому: «...я не знаю человека, более способного говорить печатно с солдатами и, пожалуй, может быть, и с народом, чем он... Это преинтересный человек — самородок». Из этого же письма выясняется, что Погосский был автором агитационно-сатирического стихотворения «Дележ-нехорош» (1862), посвященного обличению грабительской крестьянской реформы 1861 года. В материалах архива III отделения имеются сведения (правда, малодостоверные), что Погосский был близок к революционной организации «Земля и воля» 60-х годов (см. «Литературное наследство», т. 63, М., 1956, стр. 673—676). Ряд документов свидетельствует о связях Погосского с Некрасовым, с «Современником» (см. «Литературное наследство», т. 51—52, М., 1949, стр. 464—465). Однако демократизм Погосского не был сколько-нибудь глубоким и устойчивым. Его произведения о народной жизни носили, как правило, поверхностный, лубочный характер. Д. И. Писарев в статье «Народные книжки» (1861) дал отрицательную оценку произведениям Погосского. Так, о рассказе «Первый винокур» он писал: «Поражая пьянство, он поддерживает дикие народные предрассудки. Он ратует против пьянства теми самыми доводами, которыми народ ополчался против табаку, против картофеля, против железных дорог, словом, против всякого заморского изобретения» (Д. И. Писарев. Сочинения, т. I, М., 1955, стр. 65). В связи с повестью «Дедушка Назарыч» Писарев упрекал писателя в подделке под низкие вкусы публики: «Вместо того чтобы возвысить ее до себя, автор сам унижается до нее и перенимает ее дурные привычки или невольные уклонения ее от разумности и естественности» (там же, стр. 66). Более пространную

характеристику Погосского Писарев дал в статье «Московские мыслители» (1862), где говорится, что автор рассказов из солдатского быта «известен своею замашкою идеализировать изображаемую среду и в особенности те личности, которые являются в его рассказах на первом плане» (там же, стр. 298 и сл.). Положительную оценку деятельности Погосского дал известный педагог В. П. Острогорский. Исключив некоторые произведения, которые грешили цинизмом и бессодержательностью (к ним, в частности, отнесена пьеса «Жареный гвоздь», о которой пишет и Лесков), Острогорский признавал за Погосским заслугу пропаганды образования в народе (см. В. П. Острогорский. Русские писатели как воспитательный и образовательный материал для занятий с детьми и для чтения народу, изд. 4-е, М., 1899, стр. 289—313).

Оценка, высказанная Лесковым, в значительной мере продиктована его отрицательным отношением к радикально-демократическим кругам, но вместе с тем упреки по адресу произведений Погосского в грубости, натурализме и т. п. имели серьезные основания.

Хотя к 1877 году уже имелся сборник, довольно полно представляющий произведения Погосского («Повести и рассказы», кн. I—IV, СПб., 1866), Лесков рецензирует произведения писателя по их отдельным изданиям: «Жареный гвоздь. Походная шутка в 2-х картинах», СПб., 1861; «Чему быть, тому не миновать, или Не по носу табак», 2-е изд., СПб., 1875; «Анчутка беспятый», 2-е изд., СПб., 1875; «Дедушка Назарыч», 3-е изд., СПб., 1875; «Посестра Танька», СПб., 1866 и др.; эти издания Лесков получал, очевидно, в связи с его служебной деятельностью в министерстве народного просвещения.

Наиболее полным сводом сочинений Погосского является: А. Ф. Погосский. Полное собрание сочинений в 4-х томах, СПб., 1899.

Стр. 236. *Влиятельный журнал* — очевидно, «Современник»; имя Островского названо в связи со статьями Добролюбова «Темное царство» и «Луч света в темном царстве».

Сказкам вроде «Еруслана» и «Бовы»... — В другой части очерка Лесков так характеризует сказочные лубочные произведения, издававшиеся для народа: «...что такое «Францыль Венециан», «Еруслан Лазаревич» и «Бова Королевич»? Это героические сказки, пленяющие простонародного читателя пестротою фантазии, занимательностью столкновений описываемых в них лиц» («Православное обозрение», 1877, ноябрь, стр. 515—516).

«Скобелевщина». – Имеется в виду квазипатриотическая литература, одним из типичных поставщиков которой был И. Н. Скобелев (1778—1849) — генерал и военный писатель, одно время — комендант Петропавловской крепости.

...г. Фену... — издателю произведений Погосского.

Стр. 238. *...в газете «Пчела» Погосский рекомендуется...* — Речь идет о статье А. В. Арсеньева «Александр Фомич Погосский как народный беллетрист (Критико-биографический очерк)»; статья печаталась в №№ 42 и 43 «Пчелы» за 1877 год.

Стр. 240. *Иготь* — ручная ступка.

...нечто... вам знакомое... — Описываемая Лесковым иллюстрация дана уже в издании «Повестей и рассказов» в 1866 году (ч. 1, кн. 1, стр. 29); портрет Назарыча дан в иконописной манере; видимо, это и вызвало резкую оценку Лескова.

Стр. 240—241. *...«насмешке жизни мстит насмешкой»* — перефразировка выражения героя драматической поэмы А. К. Толстого «Дон-Жуан» («...насмешкой мстить ее насмешкам»).

Стр. 241. *...известное сравнение Гейне...* — Это сравнение приводится в произведении Гейне «Из мемуаров господина фон Шнабелевопского»; Лесков приводит цитату в неточном и неполном переводе. (См. Г. Гейне. Избранные произведения, т. 2, М., Гослитиздат, 1950, стр. 356—357).

Стр. 243. *Чивы* — щедры, тороваты.

Вертоград — сад, виноградник.

Дальтон, Герман (род. в 1833 г.) — реформатский пастор, с 1858 по 1888 год жил в Петербурге, написал ряд книг о русской церкви.

«Этим соколам Крылья связаны...» и далее — неточная цитата из стихотворения Кольцова «Дума сокола» (1840).

«Направленская ложь» — несомненно, выпад против радикальных демократических кругов, отголосок давнишней полемики Лескова с ними, начиная с 60-х годов.

ИЗ МЕЛОЧЕЙ АРХИЕРЕЙСКОЙ ЖИЗНИ

Впервые заметка опубликована в газете «Новое время», 1879, № 1325, 5 ноября, без подписи; впоследствии не перепечатывалась.

Выход в свет книги Лескова «Мелочи архиерейской жизни» вызвал большое количество критических откликов — положительных в демократической печати, резко отрицательных в различных реакционных органах (подробнее об отзывах критики на «Мелочи архиерейской жизни» см. в примечаниях к т. 6 наст. изд., стр. 664—666).

Особенно злобными были отклики на произведения Лескова, как и следовало ожидать, со стороны церковной печати. Отзывы официальных представителей церкви носили, по сути, доносительный характер и впоследствии сыграли свою роль при запрещении «Мелочей...» в т. VI Сочинений Лескова (1889). Отклики церковников на «Мелочи архиерейской жизни» вынудили автора выступить и печатно. Вслед за приведенной в настоящем томе заметкой Лесков несколько дней спустя поместил в «Новом времени» (№ 1330, 10 ноября) еще одну заметку под заголовком: «Последнее слово о «Мелочах» (Письмо в редакцию)» следующего содержания:

«На сих днях снова появилось несколько замечаний по поводу небольшой моей книги: «Мелочи архиерейской жизни». Признаться, это порядочно уже надоело, и мне, при всей моей неохоте, приходится сказать свое первое и, надеюсь, последнее слово.

Зная не менее других, что́ касается моей книги, я утверждаю, что указание на Евг. Попова как на сочлена проф. Предтеченского по Петербургской академии имеет основание. Учился или не учился Попов в академии — это мне неизвестно, но Попов выбран в почетные члены академии и даже предлагался кем-то в доктора — это верно...

Статья «Церковного вестника» о «Мелочах» не есть одно воспроизведение статей епископа Никанора, литературные труды которого мне давно известны, — преимущественно со стороны их удивительно плохого стиля, образцы чего в изобилии были рассеяны и в его защите Смарагда; там есть, например, замечательное место о розе и наво́зе. Но преосвященный Никанор нигде не дописывался до того, чтобы каверзно укорять меня в «лести грубо-эгоистическим инстинктам толпы». А это именно и сказано в (№№ 12, 13) «Церковном вестнике», редактируемом проф. Предтеченским. Следовательно, это тот самый тон, которого держится избранный член академии Евг. Попов.

Примите и проч. *Н. Лесков*».

9-го ноября 1879 г.
С.-Петербург.

Упоминаемая в заметке статья «Церковного вестника» «Непоправимо-позоримая честь» (в № 12—13 названного журнала за 1879 год) — перепечатка статьи уфимского епископа Никанора «Памяти преосвященного Смарагда» из «Церковно-общественного вестника» (1879, №№ 21 и 27, 2 и 4 марта).

Стр. 244. *Диффамация* — оглашение сведений, порочащих отдельных лиц или целые учреждения.

...*Евген. Попов... издал книгу...* — Имеется в виду книга пермского протоиерея Е. А. Попова «Великопермская и пермская епархии. 1379—1879», Пермь, 1879.

Предтеченский, Андрей Иванович (ум. в 1893 г.) — духовный писатель, в 1874—1881 годах был редактором «Христианского чтения», а в 1875 и «Церковного вестника»; в последнем была помещена статья епископа Никанора, в которой содержались выпады против книги Лескова (см. в примечании выше).

Стр. 245. *Добрынин,* Гавриил Иванович (1752—1824) — служил келейником и секретарем у ряда архиереев; «Записки», о которых говорит Лесков, печатались в «Русской старине», 1871, №№ 1—10.

...*в... октябрьской книге этого московского журнала...* — Лесков далее цитирует (неточно) «Рассказы бабушки. Из воспоминаний пяти поколений. Записанные и собранные ее внуком», печатавшиеся без подписи в «Русском вестнике», 1878 (№№ 3—8) и 1879 (№№ 7—10).

Платон (Левшин) (1737—1812) — московский митрополит с 1775 года.

Августин (*Виноградский,* А. В.) (1766—1819) — был московским архиепископом в 1812—1819 годах.

ПИСЬМА

Переписка Лескова 1860—1870 годов дошла до нас далеко не полностью, в гораздо меньшей мере, чем переписка второй половины его литературной деятельности. Однако и сохранившаяся часть эпистолярного наследия писателя представляет большой интерес для изучения как жизни и творчества самого Лескова, так и литературно-общественного движения его времени.

Идейная и творческая позиция писателя в указанный период, а также личные жизненные обстоятельства в значительной мере обусловили круг адресатов и корреспондентов Лескова. Среди них — редактор и издатель «Русского вестника» М. Н. Катков, его ближайшие помощники и сотрудники Н. А. Любимов и П. К. Щебальский, издатель «Гражданина» В. П. Мещерский, издатель «Нового времени» А. С. Суворин, известный деятель славянофильства И. С. Аксаков, издательница религиозно-нравственного журнала «Русский рабочий» М. Г. Пейкер и др. Было бы, однако, неверным, судя лишь по списку адресатов, сделать вывод об узости и одно-

сторонности переписки Лескова. Письма Лескова, являясь весьма важным источником для освещения взаимоотношений писателя с лагерем литературной и общественной реакции 60—70-х годов, вместе с тем содержат и обширный материал для характеристики литературных взглядов Лескова, для изучения творческой истории многих произведений писателя, его биографии, для ознакомления с газетной и журнальной жизнью того времени и т. п.

Ряд писем Лескова ценен как свидетельство его литературных связей, хотя по содержанию некоторые из этих писем и не столь значительны. Среди них письма к Ф. М. Достоевскому, М. А. Маркович (Марко Вовчок), А. Н. Островскому, А. Ф. Писемскому, А. А. Фету, Я. П. Полонскому.

Для данного издания отобраны письма, имеющие наибольший историко-литературный интерес; письма семейно-бытового или узко-делового характера, а также те из писем, которые не вносят ничего нового по сравнению с другими, публикуемыми, — в издание, как правило, не включаются. Эта часть переписки — в извлечениях и библиографических ссылках — использована в примечаниях.

Даты писем в единообразной форме указываются с правой стороны перед текстом; даты, не проставленные автором, заключаются в угловые скобки; обоснование их дается в примечаниях. Слова, введенные Лесковым в датировку (обозначение дня, времени суток и т. п.), сохранены и отмечены курсивом.

В примечаниях ко всем письмам дана ссылка на источник текста и место первой *полной* публикации.

Примечания к письмам составили А. М. Бихтер и Н. И. Соколов.

1

Печатается по автографу (ЛБ). Публикуется впервые.

Письмо характерно как отражение интересов раннего Лескова к вопросам экономики и промышленности. Именно этим вопросам будут посвящены первые выступления писателя в печати в начале 1860-х годов.

Федор Васильевич Чижов (1811—1877) — крупный предприниматель и финансист. Получил степень магистра за диссертацию по математике. В дальнейшем занимался также историей литературы и искусства. Был близок к славянофилам. С 1858 по 1861 год издавал в Москве журнал «Вестник промышленности». Свое состояние (около шести миллионов) завещал на устройство профессиональных технических училищ в Костромской губернии.

Многих ...интересует судьба предпринятого освещения переносным газом в Москве. — Речь идет о первых опытах перевозки газа для освещения квартир. Журнал «Вестник промышленности» в 1859 году уделил много внимания вопросам техники и организации газового освещения, а также экономическим расчетам его стоимости по сравнению со свечным. См., например, статью Ф. Чижова «О переносном газе в Москве» («Вестник промышленности», 1859, № 7, стр. 30—46).

«Русская газета» — еженедельное политическое, экономическое и литературное издание. Выходила в Москве в 1858—1859 годах. Редактор — С. Поль.

...«Экономического указателя» Ивана Васильевича Вернадского. — И. В. Вернадский (1821—1884) — видный экономист. С 1857 по 1861 год издавал в Петербурге еженедельный журнал «Указатель экономический, политический и промышленный». В 1860 году в этом журнале начал свою литературную деятельность Лесков (см. А. Лесков. Жизнь Николая Лескова, стр. 131—132).

Имея некоторое значение в нашем промышленном кругу... — Лесков говорит о своей службе в коммерческой компании «Шкотт и Вилькенс» в 1857—1859 годах.

Алферьев, Сергей Петрович (1816—1884) — дядя Лескова по матери, врач, профессор Киевского университета.

Якубовский, Игнатий Федорович (1820—1851) — профессор Киевского университета по кафедре сельского хозяйства и лесоводства. Оказал значительное влияние на развитие Лескова в юные годы (см. Автобиографические заметки — наст. изд., т. 11).

2

Печатается по автографу (ЛБ). Публикуется впервые.

Переписка Лескова с братьями М. М. и Ф. М. Достоевскими связана с эпизодом кратковременного сотрудничества в издаваемых ими журналах. Письма Достоевских к Лескову неизвестны.

Михаил Михайлович Достоевский (1820—1864) — писатель и переводчик, соиздатель и соредактор брата по журналам «Время» (1861—1863) и «Эпоха» (1864—1865).

...ожидаю или возвращения мне рукописи, или уведомления, что она принята. — Непринятая рукопись была возвращена Лескову 30 апреля 1863 года (см. Хронологическую канву жизни и деятельности Н. С. Лескова — наст. изд. т. 11). Название ее установить не удалось.

3

Печатается по автографу (ГПБ). Впервые опубликовано в сборнике «Шестидесятые годы», стр. 292.

Андрей Александрович Краевский (1810—1889) — редактор-издатель (с 1839 по 1867 год) журнала «Отечественные записки».

...книжка «Отеч⟨ественных⟩ зап⟨исок⟩», в которой напечатан мой рассказ «Овцебык». — «Отечественные записки», 1863, № 4.

...я был четыре раза у г. Кожанчикова и видел там очень невежливого господина Свириденко. — Дмитрий Ефимович Кожанчиков (ум. в 1877 г.) — книготорговец и издатель. Матвей Яковлевич Свириденко (ок. 1830—1864) — служащий конторы «Отечественных записок», управляющий магазином Кожанчикова.

Головнин, Александр Васильевич (1821—1886) — министр народного просвещения с 1862 по 1866 год. Под давлением общественного движения 60-х годов проводил относительно либеральную политику в области народного просвещения. В июле — августе 1863 года Лесков по его поручению ездил в Ригу для изучения быта раскольников. (См. статью Лескова «Народники и расколоведы на службе (Nota bene к воспоминаниям П. С. Усова о П. И. Мельникове)» — наст. изд., т. 11.)

Дудышкин, Степан Семенович (1820—1866) — журналист, сотрудник «Отечественных записок». С 1846 года, после ухода Белинского и смерти В. Майкова, вел в журнале отдел библиографии и критики. С 1861 года Дудышкин — соредактор Краевского по «Отечественным запискам».

Я Вас завтра заставлю... и т. д. — На другой день после этого угрожающего письма, 23 мая 1863 года, Лесков направил Краевскому следующую записку («Шестидесятые годы», стр. 292):

«Милостивый государь Андрей Александрович!

Я вижу, что не Вы были причиною тех неприятностей, которые я перенес, получая странные отказы в заработанных мною деньгах. Меня довели истинно до зла горя. Почему это было угодно г. Свириденко — я не знаю, но сердечно сожалею о моем вчерашнем письме и прошу извинить меня.

Н. Лесков».

4

Печатается по автографу (ГПБ). Публикуется впервые.

Николай Николаевич Страхов (1828—1896) — критик, публицист и философ-идеалист. В 60-е годы — сотрудник журналов

братьев Достоевских «Время» и «Эпоха». По своим идейно-политическим убеждениям был близок к Ф. М. Достоевскому, выступал с защитой теории «почвы», «самобытного» развития России, вел полемику с «Современником» и «Русским словом».

Письма к Страхову (4, 6, 7) связаны с попыткой Лескова сотрудничать в «Эпохе», а в дальнейшем (14) — с поисками текущей журнальной работы.

Аверкиев, Дмитрий Васильевич (1836—1905) — драматург, сотрудник «Эпохи».

Григорьев, Аполлон Александрович (1822—1864) — выдающийся русский критик и поэт. Последний год жизни был сотрудником «Эпохи».

Всех таких очерков я предполагаю написать двенадцать... — Названные в письме очерки, по-видимому, остались ненаписанными.

В «Библиотеку» я этих очерков не продаю, потому что там, вероятно, пойдет другая, большая моя работа, которую я кончаю... — Издание журнала «Библиотека для чтения» было прекращено на № 7—8 (апрельском) за 1865 год. В течение этих первых месяцев никакой работы Лескова в журнале не появлялось. Очевидно, Лесков имеет в виду свой роман «Обойденные», который писался в 1864 году и был напечатан в конце 1865 года в журнале «Отечественные записки» (см. А. Лесков. Жизнь Николая Лескова, стр. 542).

Федор Михайлович — Ф. М. Достоевский.

Если работа моя понравится и условия для «Эпохи» удобны... — Повесть «Леди Макбет нашего уезда» была напечатана в № 1 «Эпохи» за 1865 год.

Воскобойников, Николай Николаевич (1838—1882) — журналист, в 1862 году печатался в «Библиотеке для чтения», в 70-е годы — сотрудник «Московских ведомостей» и «Русского вестника».

5

Печатается по автографу (ЛБ). Публикуется впервые. Датируется приблизительно, на основании данных о печатании повести «Леди Макбет нашего уезда» в «Эпохе».

Ушаков, Александр Сергеевич (род. в 1836 г.) — писатель и экономист, печатал очерки из купеческого быта в «Современнике», «Библиотеке для чтения» и др. изданиях. Имел в Москве книжный магазин и библиотеку. Известны его «Очерки Москвы», М., 1862—1866

(под псевдонимом Н. Скавронского), сборник «Из купеческого быта», М., 1862, и др.

...нуждаюсь получить мой гонорарий по работе, помещенной в первой книге «Эпохи». — Речь идет о гонораре за повесть «Леди Макбет нашего уезда», напечатанную в № 1 журнала «Эпоха» за 1865 год. О том же Лесков говорит в последующих письмах к Н. Н. Страхову и Ф. М. Достоевскому (6, 7 и 8).

6

Печатается по автографу (ГПБ). Публикуется впервые.

...«в дороге я весьма поиздержался» — неточная цитата из «Ревизора» Гоголя (д. IV, явл. 3, 4, 5, 6).

У меня есть повесть, почти роман... называется «Всяк своему нраву работает». — Лесков говорит о романе «Обойденные» (напечатан в «Отечественных записках», №№ 18—24 за 1865 год).

7

Печатается по автографу (ГПБ). Публикуется впервые.

Датируется по связи с письмами 4, 5, 6.

Вот перед Вами Бенни... — В этот период (февраль — май), до его ареста (1 июня 1865 года), А. Бенни временами жил или ночевал у Лескова. О Бенни и об отношениях к нему Лескова см. очерк «Загадочный человек» (наст. изд., т. 3, стр. 276—381), а также письма 19, 31 в наст. томе.

8

Печатается по автографу (ЛБ). Публикуется впервые.

Дата и адрес на письме: 3 июля, с. Подберезье Новгород‹ской› губ‹ернии›. Год (1865) устанавливается по времени пребывания Лескова в селе Подберезье Новгородской губернии (см. Хронологическую канву жизни и деятельности Н. С. Лескова — наст. изд., т. 11).

9

Печатается по автографу (ГПБ). Публикуется впервые.

Два письма к С. С. Дудышкину, официально соредактору, а фактически редактору «Отечественных записок» с 1861 по 1866 год

(9 и 10), и примыкающее к ним письмо Краевскому (11) связаны с работой Лескова над циклом статей «Русский драматический театр в Петербурге, печатавшихся в «Отечественных записках» в 1866—1867 годах.

Известие о постановке нынешнею зимою на московской сцене Корнеля и Расина заставило меня сделать приписку... — Очевидно, речь идет о второй статье из цикла «Русский драматический театр в Петербурге», напечатанной под псевдонимом Д. М—ев, в которой имеются следующие строки: «В Москве всё идут с переводным классическим репертуаром, и идут хорошо и смело. Ждут, что и для нас, наконец, проиграют что-нибудь из классического репертуара, кроме двух, и то редко повторяемых, классических пьес Шекспира» («Отечественные записки», 1866, № 11(21), отд. II, стр. 44).

Степанов — служащий редакции «Отечественных записок».

Андрей Алекс⟨андрович⟩ — А. А. Краевский.

10

Печатается по автографу (ГПБ). Публикуется впервые.

Ефим Федорович Зарин (1829—1892) — критик, переводчик и публицист. В 60-х годах, под псевдонимом Incognito, вел в «Отечественных записках» полемику с Чернышевским, Добролюбовым и Писаревым. В эти годы был лично близок с Лесковым. Впоследствии отношения изменились «на почве резкого расхождения во взглядах» (см. А. Лесков. Жизнь Николая Лескова, стр. 226—227).

...что решили Вы с моей большою статьею о «Вопросах молодого поколения»? — Статья Лескова не сохранилась. Она была написана в ответ на статью Ю. Г. Жуковского «Вопросы молодого поколения» («Современник», 1866, № 3).

11

Печатается по автографу (ГПБ). Впервые опубликовано в сборнике «Шестидесятые годы», стр. 292—293.

Датируется по связи с предыдущими письмами.

Я исправил и... дополнил театральную статью — «Русский драматический театр в Петербурге» («Отечественные записки», 1866, № 11). См. примечание к письму 9.

Не печатать ли повесть более 3-х листов? — Речь идет о повести «Островитяне», напечатанной в ноябрьской и декабрьской книжках «Отечественных записок» за 1866 год.

Усердно прошу Вас... в объявлении при следующей книжке не печатать «большое бел‹летристическое› произведение», а объявить прямо... «Романическая хроника — «Чающие движения воды», ибо это будет хроника, а не роман. — «Чающие движения воды» — одно из первоначальных заглавий «Соборян» (историю замысла и опубликования хроники см. в т. 4 наст. издания). Несмотря на просьбу Лескова, в объявлении «Об издании «Отечественных записок» в 1867 году», приложенном к №№ 11 и 12 журнала, было напечатано: «По принятому обычаю мы могли бы... назвать некоторые статьи, уже находящиеся в портфелях редакции, как, например, большое беллетристическое произведение в пяти книгах, под заглавием «Чающие движения воды», г. Стебницкого...»

Степан Семенович — С. С. Дудышкин, неожиданная смерть которого в сентябре 1866 года заставила Лескова обращаться по редакционным вопросам непосредственно к А. А. Краевскому.

12

Печатается по автографу (ГПБ). Впервые опубликовано в книге А. Лескова «Жизнь Николая Лескова», стр. 186—191.

Егор Петрович Ковалевский (1811—1868) — известный путешественник и писатель. Был одним из членов-основателей Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым (Литературный фонд) и до самой смерти бессменно состоял его председателем.

Письмо Е. П. Ковалевскому написано Лесковым после разрыва с «Отечественными записками» и вызвано, по словам А. Н. Лескова, необходимостью «хотя на время обеспечить покрытие житейских нужд». С этой целью «Лесков принимает по-своему героическое решение — обратиться за ссудой к заведомо мало расположенному к нему Литературному фонду» (А. Лесков. Жизнь Николая Лескова, стр. 186). В ссуде Лескову было отказано. Постановление об отказе было вручено через П. В. Анненкова. Лесков ответил на него кратким и резким письмом (см. следующее письмо).

Начал я мои работы назад тому шесть лет в закрытых ныне «Экономическом указателе» и «Экономисте» профессора Вернадского, где напечатан ряд моих экономических статей. — В 1860 и 1861 годах в петербургском журнале «Указатель экономический, политический и промышленный» были напечатаны статьи Лескова:

«Несколько слов об ищущих коммерческих мест в России», «Вопрос об искоренении пьянства в рабочем классе», «Торговая кабала» и др. В журнале «Экономист» (приложение к «Экономическому указателю», с конца 1861 года выходил самостоятельно) в течение 1861 и 1862 годов печатались стенографические отчеты о заседаниях Политико-экономического комитета при Императорском русском географическом обществе, в которых нашли отражение выступления Лескова, присутствовавшего на собраниях Комитета сначала в качестве гостя, а затем члена Комитета. См., например, его выступления о расселении крестьян (22 марта 1861 года), о рекрутской повинности (1 апреля), о земельной собственности (8 апреля) и др. Статей Лескова в «Экономисте» не обнаружено.

Затем я писал критические и экономические статьи в «Отечественных записках» — «Сводные браки в России», «О найме рабочих людей» («Отечественные записки», 1861, № 3), «Очерки винокуренной промышленности» (1861, № 4), «Русский драматический театр в Петербурге» (1866, №№ 17, 21, 24) и др.

Год целый работал я в газете «Русская речь» Евгении Тур... — Евгения Тур — псевдоним графини Елизаветы Васильевны Салиас де Турнемир (1815—1892), писательницы, критика и публициста, вначале либерального, а затем реакционного направления. Газета «Русская речь» выходила в Москве в 1861—1862 годах. Лесков сотрудничал в ней с февраля по сентябрь 1861 года. См. «Последняя встреча и последняя разлука с Шевченко» (наст. том, стр. 7), «Русские женщины и эманципация», «Русские люди, стоящие «не у дел» и др.

...писал в «Современной летописи» Каткова... — то есть в еженедельном воскресном прибавлении к «Московским ведомостям».

...два года кряду... писал передовые статьи в «Северной пчеле» у г. Усова. — В 1862 и 1863 годах Лесков сотрудничал в газете «Северная пчела» (с 1860 по 1864 год выходила под редакцией П. С. Усова). В газете были помещены статьи: «Из одного дорожного дневника», «Как отравляются угольным чадом в Париже», «Николай Гаврилович Чернышевский в его романе «Что делать?» (см. наст. том, стр. 13) и др. О передовых (неподписанных) статьях «Северной пчелы» Г. З. Елисеев писал в «Современнике»: «Нам жаль верхних столбцов «Пчелы». Там тратится напрасно сила, не только не высказавшаяся и не исчерпавшая себя, а может быть, еще и не нашедшая своего настоящего пути. Мы думаем по крайней мере, что при большей сосредоточенности и устойчивости своей деятельности, при большем внимании к своим трудам она найдет свой настоящий путь и сделается когда-нибудь силою замечатель-

ною, быть может совсем в другом роде, а не в том, в котором она теперь подвизается. И тогда она будет краснеть за свои верхние столбцы и за свои беспардонные приговоры» («Современник», 1862, № 4).

...оставив публицистику, взялся за беллетристические работы... — Помимо перечисленных в письме органов печати Лесков сотрудничал в эти годы как публицист в «Санктпетербургских ведомостях», «Современной медицине» (1860), журналах «Книжный вестник» (1861), «Время» (1861—1862) и «Век» (1862), а также в газетах «Русский инвалид» (1862) и «Голос» (1867).

С. С. Дудышкин... в августе месяце прошлого года скончался. — Дудышкин умер 16 сентября 1866 года.

...редактор «Всемирного труда» доктор Хан... — «Всемирный труд» — ежемесячный журнал, близкий к реакционным кругам. Издавался в Петербурге с 1867 по 1872 год под редакцией М. А. Хана (1824—1892), коммерсанта, редактора-издателя многочисленных журналов, автора и переводчика популярных книг по медицине и естествознанию, составителя всевозможных самоучителей.

Крестовский, Всеволод Владимирович (1840—1895) — писатель и поэт, автор «Петербургских трущоб», приятель Лескова.

Соловьев, Николай Иванович (1831—1874) — критик, сотрудник журнала «Всемирный труд» (см. также примечание к стр. 53).

...роман г-жи Вельтман. — С января 1867 года в «Отечественных записках» началось печатание большого исторического романа Елены Ивановны Вельтман (жены писателя А. Ф. Вельтмана; умерла в 1868 г.) — «Приключения королевича Густава Ириковича, жениха царевны Ксении Годуновой».

...сокращения замечательных статей о Прибалтийском крае. — Лесков, очевидно, говорит о цензурных сокращениях в статье Ю—ова (псевд. А. В. Жаклар) «Экономический и нравственный быт балтийских крестьян» («Отечественные записки», 1867, №№ 3—7).

Форвальтер (нем. Verwalter) — управляющий.

...мне нечем заплатить... за дочь мою, обучающуюся в пансионе Криницкой... — Дочь Лескова Вера Николаевна (1856—1918) до поступления в Киевский институт училась в частном пансионе.

13

Печатается по автографу (ГПБ). Впервые опубликовано в книге А. Лескова «Жизнь Николая Лескова», стр. 191—192.

Анненков, Павел Васильевич (1812—1887) — критик, биограф Пушкина и мемуарист, состоял членом Комитета Литературного фонда.

Гаевский, Виктор Павлович (1826—1888) — критик, библиограф, был в числе основателей и руководителей Литературного фонда, впоследствии его председатель.

14

Печатается по автографу (ГПБ). Публикуется впервые.

«Журнал Министерст⟨ва⟩ нар⟨одного⟩ просв⟨ещения⟩» — выходил с 1834 по 1917 год. В 60-е годы редактором его был А. И. Георгиевский.

«Буар, манже и сортир» (франц.) — пить, есть и выходить.

Ведь просто приткнуться некуда тому, кто написал «Некуда». — Эти горько иронические слова Лескова ярко характеризуют положение его в литературном и журнальном мире после опубликования романа «Некуда». Ср. у А. Лескова: «Окончательно утрачивались положение и связи в прогрессивных литературных кругах. Закрывались двери ряда журналов, изданий. Терялись друзья и знакомства» («Жизнь Николая Лескова», стр. 185).

15

Печатается по автографу (ИРЛИ). Впервые опубликовано в «Записках історично-філологічного відділу Української Акад. наук», кн. 15 (1927), стр. 207—208.

Два письма (15 и 17) к Марии Александровне Маркович (Марко Вовчок) не дают достаточного материала для характеристики отношения писателя к своему адресату. Видимо, оно было более глубоким, чем это можно судить на основании двух сохранившихся писем Лескова (ср. письмо Марко Вовчок к Лескову, опубликованное в том же издании (стр. 208—211). Об отношении Лескова к творчеству писательницы см. также «Русские общественные заметки» (наст. том, стр. 91—92).

Усов, Павел Степанович (1828—1888) — публицист, с 1849 года постоянный сотрудник, а впоследствии редактор газеты «Северная пчела» (с 1860 года до ее прекращения в 1864 году). Усов пытался придать газете умеренно-либеральный характер.

Слепцов, Василий Алексеевич (1836—1878) — писатель-демократ, сотрудничал в «Русской речи», «Северной пчеле», «Современнике».

16

Печатается по автографу (ИРЛИ). Публикуется впервые.

Николай Алексеевич Любимов (1830—1897) — сотрудник редакции «Русского вестника», один из ближайших помощников Каткова по журналу. Письма к нему (16, 21 и 23) отражают редакционные мытарства Лескова конца 60-х — начала 70-х годов.

Петр Карлович — П. К. Щебальский (см. далее письма к нему).

«Шпион. Эпизод из истории комического времени на Руси» — первоначальное заглавие очерка Лескова «Загадочный человек».

...вещь эта едва ли удостоится одобрения в «Русском вестнике»... — Не принятый в «Русском вестнике» очерк был напечатан в 1870 году в газете «Биржевые ведомости».

...«Живая душа» Марка Вовчка... — Роман «Живая душа» был напечатан в «Отечественных записках», 1868, №№ 1, 2, 3.

17

Печатается по автографу (ИРЛИ). Впервые опубликовано в «Записках істор.-філолог. відділу Української Акад. наук», кн. 15, 1927, стр. 208.

См. примечание к письму 15.

18

Печатается по автографу (ЛБ). Публикуется впервые.

Письмо к А. А. Фету вызвано необходимостью помочь новому журналу в обеспечении круга сотрудников и материала для первых номеров. Журнал «Заря», об издании которого сообщает Лесков (издатель — Василий Владимирович Кашпирев, 1836—1875), начал выходить в 1869 году, однако не имел ожидавшегося его инициаторами успеха. Фактический его редактор Н. Н. Страхов (см. примечание к письму 4) писал 24 ноября 1868 года Ф. М. Достоевскому: «Итак... начинается новый журнал, «Заря». Его непременно нужно было начать... Затеянное дело идет с успехом, превосходящим наши ожидания. К нам примкнула лучшая, преимущественно молодая часть университета; затем статьи и сотрудники притекают со всех сторон» («Шестидесятые годы», стр. 259, 260). Однако уже

в 1871 году Страхов вынужден признаться (в письме к Достоевскому от 22 февраля): «Скажу одно — публика очевидно не сочувствует «Заре»; журнал сразу попал в дурную славу, сразу стал непопулярным, претящим общему вкусу» (там же, стр. 270).

Журнал «Заря» просуществовал три года и был прекращен на № 2 за 1872 год. Участие Лескова в «Заре» не состоялось вследствие возникших между ним и В. В. Кашпиревым недоразумений, закончившихся судебным делом по поводу «Божедомов» (см. об этом письма к А. С. Суворину 22, 42 и примечания к ним).

Клюшников, Виктор Петрович (1841—1892) — реакционный писатель 60—70-х годов, автор антинигилистического романа «Марево».

...очень любя Ваши сельские письма... — Речь идет об очерках Фета «Из деревни», печатавшихся в «Русском вестнике» в 1863 году и вызвавших резкую оценку прогрессивной печати.

...не отказать нам в Вашем сотрудничестве. — Фет откликнулся на просьбу Лескова присылкой нескольких стихотворений, напечатанных в «Заре» (1870, № 11; 1871, №№ 1, 2, 3; 1872, № 1), а также продолжением очерков «Из деревни», напечатанных в № 6 за 1871 год.

19

Печатается по автографу (ПД). Впервые опубликовано в сборнике «Шестидесятые годы», стр. 294.

Александр Петрович Милюков (1817—1897) — либеральный критик и историк литературы, беллетрист; автор «Очерков по истории русской поэзии», второе издание которых (1858) вызвало статью Н. А. Добролюбова «О степени участия народности в развитии русской литературы». Письма Лескова к Милюкову относятся к концу 1860-х и к 1870-м годам. Всего известно 12 писем; полностью они опубликованы в сборнике «Шестидесятые годы», стр. 294—300.

...я знал... Артура Бенни. — Далее речь идет об очерке Лескова «Загадочный человек»; см. также письма 7, 16, 31 и примечания к ним.

20

Печатается по автографу (ИРЛИ). Впервые опубликовано в сборнике «Шестидесятые годы», стр. 303.

В переписке Лескова 1860—1870-х годов письма к Щебальскому занимают центральное место и по количеству и по содержанию (всего

известно 46 писем — все они опубликованы в сборнике «Шестидесятые годы», в данном издании печатается 35).

Петр Карлович Щебальский (1810—1886) — реакционный историк, критик и публицист; в разное время занимал ряд значительных официальных должностей: полицеймейстер Москвы, начальник учебных заведений в Сувалках, Варшаве, редактор «Варшавского дневника» и др. Знакомство Лескова с Щебальским могло состояться еще в 1861 году, когда тот и другой печатались в газете «Русская речь». Годы наибольшей близости приходятся на период сотрудничества Лескова в катковских органах, в которых активно как критик выступал и Щебальский. Впоследствии, по мере расхождения с представителями идейной реакции, Лесков охладел и к Щебальскому. В письме от 23 сентября 1875 года Лесков заявляет своему адресату: «...взгляды у нас выработались разные, и это случилось когда-то недавно». Для Лескова стал неприемлем тот казенный, верноподданнический оптимизм, которому остался до конца верен Щебальский.

Сохранилось несколько писем Щебальского к Лескову (ЦГАЛИ).

Я послал к Вам свой очерк... — «Плодомасовские карлики»; опубликован в «Русском вестнике», 1869, № 2; затем включен как третий очерк в «Старые годы в селе Плодомасове», а также в состав второй части «Соборян» (см. тт. 3 и 4 наст. изд.).

«Люди сороковых годов» — роман А. Ф. Писемского, печатался в журнале «Заря», 1869, №№ 1—9, и в том же году вышел отдельным изданием.

«Заря». — См. примечание к письму 18.

Критический разбор «Войны и мира»... — Имеется в виду статья Н. Н. Страхова «Война и мир», печатавшаяся в «Заре», 1869, №№ 1—2.

...Ваша сжатая заметка... — Рецензия П. К. Щебальского «Война и мир», сочинение графа Л. Н. Толстого» напечатана в «Русском вестнике», 1868, № 1, стр. 300—320.

...отзыв к книгам Кельсиева... — Имеется в виду статья Щебальского «По поводу сочинений В. И. Кельсиева» («Русский вестник», 1868, № 11). Василий Иванович Кельсиев (1835—1872) — политический эмигрант, сотрудник Герцена; впоследствии ренегат: в 1867 году сдался русским властям и стал активным сотрудником умеренно-либеральной и консервативной прессы. В письме Лескова речь идет о книге Кельсиева «Пережитое и передуманное», СПб., 1868. Ср. оценку этой книги П. Н. Ткачевым («Шестидесятые годы», стр. 212—218).

Патти, Аделина (1843—1919) — знаменитая итальянская певица; в 60—70-х годах выступала в Петербурге.

Лукка, Паулина (1842—1908) — известная венская певица.

...редактор Тиблен... — Н. Л. Тиблен издавал в 1868 году журнал «Современное обозрение»; бежал за границу от долгов.

«Весть» — реакционная газета, издававшаяся в Петербурге в 1863—1870 годах под редакцией В. Д. Скарятина и Н. Н. Юматова.

«Наш общий друг» — очевидно, Ф. М. Толстой, член совета Главного управления по делам печати.

Мирра Александровна — М. А. Щебальская, жена П. К. Щебальского.

21

Печатается по автографу (ИРЛИ). Публикуется впервые.

...идут ли «Божедомы» в феврале? — Речь идет об очерке «Плодомасовские карлики», главы I—V, напечатанном в февральской книжке «Русского вестника» за 1869 год и включенном впоследствии в хронику «Соборяне». В письме к П. К. Щебальскому от 25 января 1869 года (см. письмо 20) Лесков, беспокоясь о судьбе посланного очерка, спрашивал: «получили ли Вы моих «Карликов»... когда Н. А. Любимов думает их напечатать?» О том же говорится и в настоящем письме, что позволяет датировать его январем 1869 года.

Опубликование «Плодомасовских карликов» в «Русском вестнике» послужило одним из поводов для возбуждения В. В. Кашпиревым иска о взыскании с Лескова аванса за «Божедомов».

22

Печатается по автографу (ИРЛИ). Публикуется впервые.

Переписка с А. С. Сувориным (1834—1912), в 1860-е годы — либеральным журналистом, впоследствии издателем реакционного «Нового времени», занимает довольно значительное место в эпистолярном наследии Лескова. Письма эти частично опубликованы: в книге «Письма русских писателей к А. С. Суворину», Л., 1927 (17 писем 1883—1892 годов), в журнале «Литературный современник», 1937, № 3 (14 писем — частично в извлечениях), и др. изданиях (см. Б. Я. Бухштаб. Н. Лесков. Указатель основной литературы, Л., 1948, стр. 44). Настоящее издание включает значительное количество (75) писем к Суворину (в том числе и неопубликованных), поскольку в них многогранно отражены литературные взгляды и симпатии Лескова, вопросы творческой истории ряда его

произведений, а также (в 80-е—90-е годы) и дальнейшая эволюция его идейно-политических взглядов.

В первом из опубликованных писем Лесков обращается к Суворину как к предполагаемому участнику третейского суда по делу о «Божедомах». Летом 1869 года редактор-издатель «Зари» В. В. Кашпирев обратился в С.-Петербургский окружной суд с требованием возвращения Лесковым полученного им аванса (в сумме 1700 рублей) за ненапечатанную в журнале хронику «Божедомы», на том основании, что ее окончательный объем намного превысил договорный и что Лесков в нарушение своего обязательства перед Кашпиревым напечатал в «Русском вестнике» часть этого произведения под названием «Плодомасовские карлики». Лесков предъявил встречный иск об уплате ему гонорара за ненапечатание не по его вине части хроники. 12 августа 1869 года состоялось заседание С.-Петербургского окружного суда, о котором газета «Судебный вестник» (№ 176 от 13 августа 1869 года) сообщала в следующей заметке:

«Журнальное дело. Вчера (12 августа) в V отделении окружного суда рассматривалось выходящее из ряда по содержанию дело: по иску издателя журнала «Заря» Кашпирева на литератора г. Лескова и по встречному иску последнего. Г-н Кашпирев приобрел от г. Лескова его роман, размер которого был определен в тридцать печатных листов, и дал автору 1700 руб. вперед. Впоследствии г. Лесков взял свой роман обратно, чему не противился издатель, так как он выходил не в тридцать, а в шестьдесят печатных листов. Г-н Кашпирев требовал обратно своих денег, г. Лесков предъявил ему встречный иск об убытках за ненапечатание романа. Впрочем, на судоговорении г. Лесков не отказывался возвратить г. Кашпиреву взятых денег, но только с рассрочкой по частям. Суд отказал г. Кашпиреву в его иске и г. Лескову во встречном иске».

Из полного протокольного изложения дела («Судебный вестник», № 179) видно, что в течение всего судебного заседания представитель Кашпирева, присяжный поверенный Головков, пытался морально опорочить Лескова, подчеркнуть его писательский неуспех и проч. Так, он говорил, что Лесковым возвращается не та вещь, о которой было условлено, а совсем другая, притом худшего достоинства, так как одна из частей романа «Божедомы» уже была напечатана в февральской книжке «Русского вестника». Подчеркивалось также, что издания произведений Лескова, находящиеся у книготорговца Базунова, не расходятся и, следовательно, не могут служить гарантией своевременной выплаты им исковой суммы. В протоколе отмечена ответная реплика Лескова: «Разве от прикоснове-

ния к г. Кашпиреву исчезла и тень моего таланта, признанного даже моими врагами...» (см. также опубликованный в «Судебном вестнике» полный текст решения окружного суда (№ 209) и разъяснения по поводу вынесенного решения (№ 224), а также письмо Лескова в редакцию «Биржевых ведомостей» (1869, № 219). Несмотря на то, что решение окружного суда было в целом воспринято Лесковым как выигрыш дела (см. А. Лесков. Жизнь Николая Лескова, стр. 270—271), он намеревался перенести дело в другую палату, добиваясь предварительно еще и «литературного» третейского суда, который должен был дать литературную экспертизу романа и опровергнуть обвинения Кашпирева.

Литературный суд, однако, не состоялся. Обстоятельства, связанные с его подготовкой и упоминаемые в настоящем письме, освещены у А. Н. Лескова.

23

Печатается по автографу (ИРЛИ). Публикуется впервые.

Позавчера я прочел в печати начало своего романа... и т. д. — Первые главы романа «На ножах» печатались в № 10 (октябрьском) «Русского вестника» за 1870 год. Авторский текст романа не был восстановлен: редакторские изменения, о которых с возмущением говорит в письме Лесков, сохранились и в отдельном издании романа (М., 1871).

24

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано в книге: «Щукинский сборник», выпуск V, М., 1906, стр. 454—455.

Сергей Андреевич Юрьев (1821—1888) — театральный критик, переводчик, журналист, близкий славянофильским и отчасти западническим кругам; редактор-издатель журналов «Беседа» (1871—1872) и «Русская мысль» (1880—1885), выходивших в Москве.

Письма Лескова к Юрьеву связаны с попыткой писателя напечатать «Соборян» (в письме: «Божедомы») и наладить сотрудничество в открывшемся новом журнале. Однако Юрьев по каким-то соображениям от того и другого уклонился, хотя Лесков и получил от него «письмо не только радушнейшее, но даже лестное» (см. письмо 26).

Детали романа нравятся... Каткову... — «Соборяне» в конце концов и были напечатаны в «Русском вестнике» Каткова (1872, №№ 4—7).

...по делам ныне печатаемого... романа «На ножах». — Об осложнениях отношений Лескова с «Русским вестником» в связи с печатанием романа «На ножах» см. письмо 26.

25

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано в «Щукинском сборнике», V, стр. 455—458.

...получил Ваше... письмо... — Упомянутое письмо не сохранилось.

«Русская беседа» — славянофильский журнал, издававшийся в Москве в 1856—1860 годах.

...прежде напечатанные 7 листов... — Очевидно, имеется в виду часть «Соборян» («Божедомов»), печатавшаяся в «Отечественных записках» (1867, №№ 6—8) под заглавием «Чающие движения воды»; при издании «Соборян» эта часть была значительно переработана.

...оканчиваемым мною романом для М. Н. Каткова... — то есть романом «На ножах».

Повесть... «Марфа и Мария». — Произведения под таким заглавием в печати не появлялось; повесть, видимо, не была написана.

...«влеченье, род недуга»... — слова Репетилова из «Горя от ума» Грибоедова (д. IV, явл. 4).

«Русские обществ‹енные› заметки в «Биржевых ведомостях». — См. наст. том, стр. 72—96, а также примечания к ним.

...против пошлой радости по случаю предостережения, данного Каткову... — Об этом Лесков писал в «Русских общественных заметках», напечатанных в «Биржевых ведомостях», 1870, № 27, 18 января.

...статьи бывшей «Северной пчелы» против Герцена... — Лесков был автором ряда передовых статей в период его сотрудничества в «Северной пчеле» в 1862—1863 годах (см. об этом А. Лесков. Жизнь Николая Лескова, стр. 143 сл.).

«Русское общество в Париже». — См. примечание к стр. 168.

«Смех и горе». — См. наст. изд., т. 3.

...письмо о петербургской общественной жизни? — Предложение, видимо, не было принято; «Письма» в «Беседе» не появились.

Аксаков, Иван Сергеевич. — См. примечание к письму 67.

Самарин, Юрий Федорович (1819—1876) — публицист, один из видных деятелей славянофильского лагеря.

26

Печатается по автографу (ПД). Впервые опубликовано в книге: А. В. Багрий. Литературный семинарий. Вып. V, Баку, 1928, стр. 4—6.

Письмо Ваше... два мои письма... — Письмо Щебальского, как и упоминаемые письма Лескова, неизвестны и, видимо, не сохранились.

...затруднение со статейкою. — Речь идет о сотрудничестве Щебальского в «Биржевых ведомостях».

...вины Усова и Трубникова... — то есть редакции «Биржевых ведомостей».

«Мудр яко змий и незлобив яко голубь» — неточная цитата из евангелия (от Матфея, X, 16).

...о печатании повести... — Имеется в виду повесть «Смех и горе»; печаталась в «Современной летописи», 1871, № 1—3, 8—16.

Меледа — мешкотное дело, бесконечная работа.

...не по окончании романа... — Роман «На ножах» печатался в «Русском вестнике», 1870, №№ 10—12, и 1870, №№ 1—8, 10.

...взять это дело на себя. — О творческой истории повести «Смех и горе» см. в т. 3 наст. издания, стр. 614—616.

Лариса, Форова, Синтянина, старик генерал, Висленев, Евангел — персонажи романа «На ножах».

...Ф. Берга... повесть... — видимо, рассказ «Необычайный случай», напечатанный в «Русском вестнике», 1871, № 2.

Вашего «Шишкова»... — статью Щебальского «А. С. Шишков, его союзники и противники» в «Русском вестнике», 1870, № 11, о книге: «Записки, мнения и переписка адмирала А. С. Шишкова», 2 тома, Берлин, 1870, изд. Н. Киселева и Ю. Самарина.

От Юрьева вчера получил письмо... — См. письмо 25.

Вера Петровна — дочь П. К. Щебальского.

...повести... для «Беседы»... — видимо, «Марфа и Мария»; см. примечание к письму 25.

27

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано в «Щукинском сборнике», V, стр. 458—459.

...я написал Вам длинное письмо... — Имеется в виду письмо 25.

...при свидании в Петербурге с... Писемским... — Об отношениях Лескова к А. Ф. Писемскому см. в примечании к письму 36.

«Марфа и Мария». — См. примечание к письму 25.

В «Совр‹еменной› летописи» идет мой фельетонный рассказ — «Смех и горе».

28

Печатается по автографу (ИРЛИ). Впервые опубликовано в сборнике «Шестидесятые годы», стр. 306—307.

...сведение о св‹ященнике› Смирнове — было послано с письмом Щебальскому от 21 декабря 1870 года (см. сб. «Шестидесятые годы», стр. 306) для опубликования в «Московских ведомостях».

...в уста голубого купидона... слова «простенько, но мило». — Голубой купидон — жандармский капитан Постельников, персонаж повести «Смех и горе»; слова «простенько, но мило» не были включены в текст повести.

О романе не хочется и говорить... — Речь идет о романе «На ножах».

Про Вашего Сушкова... — Имеется в виду статья Щебальского «Литератор старого времени. Н. В. Сушков», напечатанная в «Русском вестнике», 1871, № 8.

Алексей Филатыч — Алексей Феофилактович Писемский.

«Нива» — еженедельный иллюстрированный журнал, выходивший в Петербурге с 1870 по 1918 год.

29

Печатается по автографу (ИРЛИ). Впервые опубликовано в сборнике «Шестидесятые годы», стр. 307.

Трубников потерял и последнего профессора Предтеченского... — Имеется в виду уход профессора Петербургской духовной академии А. И. Предтеченского из «Биржевых ведомостей»; о дальнейшем отношении Лескова к Предтеченскому см. заметку «Из мелочей архиерейской жизни» в наст. томе и примеч. к ней.

Для «Беседы»... кончаю работу... — Видимо, речь идет о «Соборянах»; см. письма к Юрьеву 24, 25.

30

Печатается по автографу (ИРЛИ). Впервые опубликовано в сборнике «Шестидесятые годы», стр. 307—308.

...назвав меня... — Речь идет о неизвестном письме Щебальского к Лескову.

«У них» — то есть в редакции «Биржевых ведомостей».

...насчет книжки «Письма о Киеве» Максимовича... — Рецензия Лескова («Иннокентий Таврический и старый ректор Киевского университета») на книгу М. А. Максимовича «Письма о Киеве и воспоминания о Тавриде» опубликована в «Биржевых ведомостях», 1871, № 50, 21 февраля.

Погодин, Михаил Петрович (1800—1875) — реакционный историк и публицист.

...как героиню романа Писемского? — Здесь и далее имеется в виду роман «В водовороте», печатавшийся в «Беседе», 1871, №№ 1—6.

Достоевский... изображает Платона Павлова... — Речь идет о романе «Бесы», печатавшемся тогда же в «Русском вестнике», 1871, №№ 1, 2, 4, 7, 9—11, 1872, №№ 11, 12. *Павлов* Платон Васильевич (1823—1895) — либеральный историк; подвергался репрессиям со стороны царского правительства. За речь о тысячелетии России (1862) был выслан в Ветлугу; впоследствии профессор Киевского университета. Лесков, очевидно, сближает с П. Павловым отдельные черты образа Степана Трофимовича Верховенского, хотя в литературе о Достоевском обычно указывается иной прототип — историк Т. Н. Грановский.

...все мы трое... — Лесков к упомянутым романам Писемского и Достоевского присоединяет и свой роман «На ножах».

31

Печатается по тексту «С.-Петербургских ведомостей», 1871, № 256, 17 сентября, где впервые опубликовано. Автограф неизвестен.

Лесков обратился с письмом к пастору Герману Бенни, брату Артура Бенни, в связи с намерением издать отдельной книгой очерк «Загадочный человек», посвященный характеристике Артура Бенни и его окружения (см. наст. изд., т. 3). Г. Бенни в ответном письме к Лескову выразил недовольство очерком; считая, что брат не нуждается в чьей-либо защите, Г. Бенни был против того, чтобы «поднимать праздную суматоху около имени моего покойного брата. Поэтому я протестую и прошу Вас более ничего о брате моем не писать и его уже никогда не защищать». Однако Лесков не пожелал считаться с волей семьи Бенни, и очерк вышел отдельным изданием («Загадочный человек. Эпизод из истории комического времени на Руси, с письмом автора к И. С. Тургеневу». СПб., 1871). Выход книги заставил Г. Бенни обратиться с открытым «Письмом к редактору «С.-Петербургских ведомостей», датированным 5 сентября 1871 года, в котором он опубликовал обращенное к нему письмо Лес-

кова и свой ответ. По поводу выхода книги Г. Бенни заявляет, что он «вместе со всем остальным нашим семейством глубоко возмущен появлением в свет нового сочинения Лескова» («С.-Петербургские ведомости», 1871, № 256, 17 сентября).

Письмо Лескова датировано на основании данных в письме Г. Бенни.

...Тургенев написал мне письмо... — Об этом упоминается и в письме Лескова, опубликованном в отдельном издании очерка (см. наст. изд., т. 3, стр. 276—277); письмо Тургенева, видимо, не сохранилось.

32

Печатается по автографу (ИРЛИ). Публикуется впервые.

...четыре книжки «Русского вестника», в которых напечатаны две первые части моего романа. — Части первая и вторая романа «На ножах» напечатаны в №№ 10, 11 и 12 «Русского вестника» за 1870 и в № 1 за 1871 год.

...четыре номера «Современной летописи», в коих напечатана другая моя литературная безделка — «Смех и горе. Разнохарактерное Pot-pourri из пестрых воспоминаний полинявшего человека» («Современная летопись», еженедельное приложение к «Русскому вестнику», 1871, №№ 1—3, 8—16).

33

Печатается по автографу (ИРЛИ). Впервые опубликовано в сборнике «Шестидесятые годы», стр. 308—309.

Вначале говорится, видимо, о неизвестном нам письме Щебальского.

Роман — «На ножах».

Повесть — очевидно, «Соборяне».

Статьи Вашей о Миртове... — то есть статьи Щебальского об «Исторических письмах» Лаврова (Миртова), напечатанной в «Русском вестнике», 1871, № 2.

...писал М⟨ихаилу⟩ Н⟨икифорови⟩чу... — Это письмо неизвестно.

...Тургенев собрал 4-го числа... — Имеется в виду организационное собрание литературно-художественного кружка, состоявшееся 4 марта 1871 года в гостинице Демута (см. М. К. Клеман. Летопись жизни и творчества И. С. Тургенева, М. — Л., 1934, стр. 200).

Самойлов. — См. примечание к стр. 38.

Васильев. — См. примечание к стр. 27.

Зичи, Михаил Александрович (1829—1906) — художник-акварелист.

Клодт — Михаил Константинович (1832—1902) или Михаил Петрович (1835—1914); оба — художники.

Микешин, Михаил Осипович (1836—1896) — скульптор.

Гойжевский — видимо, Н. Гойжевский, мелкий журналист.

34

Печатается по автографу (ИРЛИ). Публикуется впервые.

...Вы грешите... нападая на таких людей, как Катков... — В ранних фельетонах Суворина (Незнакомца) содержались резкие выпады против М. Н. Каткова.

Роман, конечно, с большими погрешностями... — Здесь и дальше Лесков отвечает Суворину на его замечания по поводу романа «На ножах».

Разве вы не знаете «литератора-ростовщика, служащего в полиции и пишущего в «Искре»? Разве Вам не известны его проделки с Кашеваровой... — О ком говорит Лесков — установить не удалось. *Кашеварова*-Руднева, Варвара Александровна (см. о ней примечание к стр. 200), в 60-е и 70-е годы подвергалась неоднократно травле со стороны реакционной печати, в том числе, в дальнейшем (1879), и суворинского «Нового времени» (см. об этом О. М. Антонович-Мижуева. М. А. Антонович (из воспоминаний дочери). — М. А. Антонович. Избранные статьи, Л., 1938, стр. 499—500).

Вы укоряли меня за письма о Бенни, а... Тургенев признал эти письма «делом честным». — См. примечание к письму 31.

...придираясь к Каткову за его лицей? — Речь идет о фельетонах Суворина (см. выше, примечание к наст. письму).

35

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано в «Щукинском сборнике», V, стр. 459—460.

Я должен дать Семевскому ответ о письмах Журавского и Нарышкина... — Речь идет о публикации статьи Лескова «Из глухой поры. Переписка Дмитрия Петровича Журавского и два письма Льва Александровича Нарышкина (касающиеся личности Журавского)

1843—1847 года»; рукопись эта была послана Юрьеву для опубликования в «Русской беседе», но не была напечатана и в сентябре 1872 года через Писемского возвращена автору (см. А. Ф. Писемский. Письма, стр. 249, 695—696); не увидела света статья и в «Русской старине», издававшейся историком М. И. Семевским (1837—1892). К личности Д. П. Журавского (1810—1856) — статистика, сторонника освобождения крестьян от крепостной зависимости — Лесков относился с большим интересом: о нем он писал в «Русских общественных заметках» («Биржевые ведомости», 1869, № 242, 7 сентября), в письмах к И. С. Аксакову (см. письма 70, 71), в романе «Захудалый род»; статья же, несмотря на все старания, так и осталась неопубликованной (хранится в ЦГАЛИ); *Нарышкин,* Л. А. (1785—1846) — государственный деятель, член военного совета.

Статья «о свободе совести»... — Имеется в виду статья Н. П. Аксакова «Вопрос о свободе совести» («Беседа», 1871, №№ 2, 9).

...повесть «Царская свадьба» — впервые под заглавием «Царская невеста» была опубликована в «Русском вестнике», 1872, №№ 5, 6; а затем несколько раз выходила отдельным изданием.

36

Печатается по первой публикации («Новь», 1895, № 9, стр. 289). Автограф неизвестен.

Переписка Лескова и Писемского сохранилась далеко не в полном виде: известно лишь 6 писем Лескова (они публикуются в данном томе) 1871—1872 годов и 9 писем Писемского 1868—1872 годов (опубликованы в книге: А Ф. Писемский. Письма, М., изд. АН СССР, 1936). Личное знакомство писателей состоялось еще в 1860-е годы и не прерывалось вплоть до кончины Писемского. Как видно из переписки, Лесков высоко ценил творчество Писемского, с уважением относился и лично к писателю, с готовностью хлопотал по делам, связанным с печатанием его произведений. Живой интерес проявлял и Писемский к Лескову.

Автографы писем Лескова и Писемского не сохранились, они, очевидно, погибли при пожаре в издательстве Вольфа в 1918 году (см. указанное издание «Писем» Писемского, стр. 19); в нашем издании они печатаются по публикации В. Русакова (псевдоним С. Либровича) в журнале «Новь», 1895, № 9 от 1 марта.

Письмо является отзывом на роман Писемского «В водовороте», печатавшийся в «Беседе», 1871, I—VI. Более подробно об этом же романе Лесков говорит в письме от 17 мая 1871 года.

Писемский ответил письмом от 12 апреля 1871 года (см. А. Ф. Писемский. Письма, стр. 244—245).

37

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано в «Щукинском сборнике», V, стр. 460—461.

Статья Майкова «Всеславянство». — Статья А. А. Майкова опубликована в «Беседе» 1871, № 3; написана в связи с выходом книги «Slownik Naučny» — «Научный сборник». Ред. Фр. Ригер и Як. Молый, т. VIII, Прага, 1871.

Повесть Милюкова — «Царская свадьба»; см. письмо 35 и примечание к нему.

Михаил Никифорович — М. Н. Катков.

...насчет писем Журавского... — См. письмо 35.

Роман Писемского — «В водовороте».

Варвара Александр⟨овна⟩ Кашеварова. — См. примечание к стр. 200.

38

Печатается по автографу (ИРЛИ). Впервые опубликовано в сборнике «Шестидесятые годы», стр. 309—310.

...книжка Толстому отослана... — Здесь и далее имеется в виду книга Щебальского «Политическая система Петра III», М., 1870; один экземпляр ее был переслан для министра народного просвещения Д. А. Толстого.

...заметка о книге Вашей написана... — В «Биржевых ведомостях» заметка не появилась и была передана для использования в «Голосе» (см. следующее письмо).

...в «Старине» был отзыв... — Имеется в виду сочувственный отзыв о книге Щебальского в «Русской старине», 1871, III, стр. 290.

Статья Ваша... — «Материалы для истории русской цензуры. 1803—1825 гг.» («Беседы в Обществе любителей российской словесности при Московском университете», 1871, вып. III, стр. 6—46).

...пока будут напечатаны «Божедомы». — Речь идет о «Соборянах».

...интриге моей в пользу классического образования... — До 1871 года, когда был введен новый гимназический устав, Лесков был сторонником насаждения классического образования, явившись

в этом вопросе единомышленником Каткова и Д. А. Толстого; затем он, однако, убедился в отрицательных последствиях их системы.

...он даже думал его бросить... — Катков до конца жизни остался редактором-издателем «Русского вестника».

Николай Алексеевич — Н. А. Любимов.

...у Милюкова его «Государеву свадьбу». — Имеется в виду повесть «Царская свадьба»; см. письмо 35 и примечание к нему.

Ходатайствую... за эти «подштаны»... — Слово в романе было сохранено.

Ахматова, Елизавета Николаевна (1820—1904) — беллетристка, переводчица, издательница журнала «Собрание переводных романов, повестей и рассказов» (1856—1885); в 1880-х годах переписывалась с Лесковым (ИРЛИ).

...длинноты Мельникова... — В это время в «Русском вестнике» печатался роман П. И. Мельникова «В лесах».

...пишу ему. — См. письмо 36.

39

Печатается по автографу (ИРЛИ). Впервые опубликовано в сборнике «Шестидесятые годы», стр. 311—313.

Письмо является ответом на несохранившееся письмо Щебальского.

...его повести. — Очевидно, речь идет о повести Милюкова «Царская свадьба».

...статья в «Заре» под буквами NN... — Статьи под этой подписью в «Заре» за 1871 год нет; Лесков, очевидно, ошибается в названии журнала.

Статьи моей о книге Общества... — то есть о статье Щебальского, опубликованной в «Беседах в Обществе любителей российской словесности» (см. примечание к письму 38).

...моей заметки из «Биржев⟨ых⟩ ведом⟨остей⟩»... — Заметка Лескова была передана Милюкову, который использовал ее в разделе «Библиография и журналистика» в «Голосе», 1871, № 143, 25 мая.

...дописываю роман... — Имеется в виду роман «На ножах».

...«милый сердцем невежда», далее *«миф»* — Н. А. Любимов.

Статья... «Если бы»... — посвящена отношениям России с Францией при Николае I.

Зарин. — См. примечание к письму 10.

...боятся Николая Алексеевича — то есть Н. А. Любимова.

«Смех и горе» в отдельном издании — вышло в 1871 году.

Своеволием пылая... и т. д. — неточная цитата из поэмы Пушкина «Полтава».

Писемский вчера прислал... письмо... — Имеется в виду письмо от 12 апреля 1871 года (см. А. Ф. Писемский. Письма, стр. 244—245).

...был близок к Рылееву и Бестужеву... — Других данных об этой близости не имеется (см. А. Лесков. Жизнь Николая Лескова, стр. 22).

40

Печатается по автографу (ИРЛИ). Впервые опубликовано в сборнике «Шестидесятые годы», стр. 314.

...получил Ваше письмо... — Письмо не сохранилось.

...корректуру... — продолжение романа «На ножах».

Писемский... сетует об этом. — Имеется в виду его письмо от 12 апреля 1871 года (см. примечание к письму 39).

...напишите... статью обо мне... готовится в «Заре» Страховым... — Ни Щебальский, ни Страхов со статьями о творчестве Лескова не выступили.

Припишите, пожалуйста... и т. д. — Эта деталь была вставлена лишь в отдельных изданиях «Смеха и горя».

...Вашу статью о конкордате — статью Щебальского «История русского конкордата», по поводу соч. А. Н. Попова «Сношения России с Римом с 1845 по 1850 год»; напечатана в «Русском вестнике», 1871, № 4, стр. 610—663.

41

Печатается по автографу (ИРЛИ). Впервые опубликовано в сборнике «Шестидесятые годы», стр. 315.

...обед от горсти нас... — Обед в честь Каткова был дан 26 апреля 1871 года в ресторане «Мало-Ярославец».

Решение поставить Щебальского во главе критического отдела «Русского вестника» не было осуществлено; с сентября 1871 года Щебальский занял должность начальника Сувалкской учебной дирекции.

42

Печатается по автографу (ИРЛИ). Публикуется впервые.

Роман... «Божедомы», бывший предметом процесса между его автором и журналом «Заря»... — См. примечание к письму 22.

...приобретен на сих днях «Русским вестником»... — Во время пребывания в Москве с 9 по 19 марта 1871 года Лесков продал «Божедомов» М. Н. Каткову для «Русского вестника» (см. А. Лесков. Жизнь Николая Лескова, стр. 272), что позволяет датировать настоящее письмо мартом — апрелем 1871 года.

Клюшников. — См. примечание к письму 18.

43

Печатается по автографу (ПД). Впервые опубликовано в сборнике «Шестидесятые годы», стр. 316—317.

...посвящение Вам этой книги с письмом к Вам, назначаемым для печати... — Отдельное издание повести «Смех и горе» (1871) имело посвящение («Посвящается Петру Карловичу Щебальскому») и следующее открытое «письмо», выходящее за рамки личного обращения к адресату:

«Милостивый государь
Петр Карлович!

Ничего не писал я с таким большим удовольствием, как настоящее посвящение Вам «Смеха и горя». Незначительный вклад, который я делаю в русскую литературу этим неважным сочинением, конечно, не давал бы мне права украсить его Вашим почтенным именем, но по мере того, как очерки, составляющие эту книгу, выходили в периодическом издании, Вы оказывали так много сочувствия их скромному успеху, так дружески служили мне опытными и всегда полезными советами и указаниями, что я не могу отказать себе в удовольствии выпустить этот невеселый смех и это досаждающее горе в сопровождении страницы, выражающей мою Вам признательность и мое к Вам почтение.

Пусть равномерно страница эта удержит на себе и ту тягостную для меня грусть, которую я ощущаю, выпуская это издание «Смеха и горя». Как ни странно мне, весьма малоискусному беллетристу, жаловаться, что мое произведение не понято, но, однако, эта жалоба невольно срывается с моих уст, и я не могу не высказать.

Вам и многим другим расположенным ко мне литературным людям, неравнодушно прислушивавшимся к общественным толкам во все время продолжения этих очерков в периодическом издании, известно, что наша публика нашла в моих очерках много такого, что ее смешило, и проглядела все, что, кажется, не могло бы ее не огорчать. Говоря короче, в «Смехе и горе» общество заметило и удостоило вниманием своим один смех и не усмотрело никакого горя. Это для меня тоже смех и горе. Но есть еще нечто и более грустное: меня прямо укоряют в недобром намерении осмеять все, и лишь снисходительнейшие из укорителей винят меня только в неразборчивости и неосторожности, благодаря которым я будто осмеял рядом с явлениями, достойными насмешки, явления серьезнейшие и достойные почтения. Что я могу сказать на это? Критика у нас или безмолвствует, или, нетерпимая и пристрастная, давно позабывшая свое литературное призвание и лишь полицейски ограждающая одни интересы партий, часто не стóящих никакого ограждения, она давно уже отучила русских писателей от всякой надежды услышать ее беспристрастный голос. Она у нас для писателя не защитник, не советник и не друг, а недруг. Самому за себя мне отвечать нельзя, да и у меня недостало бы и времени опровергать все возражения, делаемые мне с разных сторон по поводу «Смеха и горя»; остается, следовательно, желать одного, чтобы новые читатели этой книги прочли ее без предвзятых намерений видеть в моем рассказе одну только злость, которою я и не обладаю. Если бы я мог, я бы просил их верить, что смех мой — не смех злорадства, а смех скорби, которую, кажется, легче понять, чем не понять ее.

Н. Лесков».

В последующих переизданиях «Смеха и горя» и посвящение Щебальскому и «письмо» были Лесковым сняты.

Учините... следующие распоряжения и настояния. — См. об этом в примечании к повести в т. 3 наст. издания.

...с Вашею статьею о конкордате. — См. письмо 40 и примечание к нему.

Книга Сарсе. — Имеется в виду книга Фр. Сарсе «Осада Парижа. 1870—1871». Перевод с 5-го французского издания. СПб., 1871.

...сослуживцы капитана Постельникова... — жандармского офицера, персонажа повести «Смех и горе».

Обухов, Борис — знакомый Лескова.

«Принц голландский» (Оранский) — находился в России с 15 по 24 мая 1871 года; предполагалось, что он женится на одной из великих княжон.

Нил Адмирари — псевдоним журналиста Л. К. Панютина (1831—1882).

Вера Петровна — дочь Щебальского.

...мои бессмертные творения? — Речь идет о сочинениях Лескова, посланных Щебальскому (см. письмо 40).

44

Печатается по тексту первой публикации («Новь», 1895, № 9, стр. 289—290). Автограф неизвестен.

Письмо является ответом на письмо Писемского от 12 апреля 1871 года.

...«орлу обновишася крыла и юность его» — неточная цитата из библии (Псалтирь, псалом 102); в библии: «обновляется, подобно орлу, юность твоя».

...со сценою родов Домби... — Речь идет о сцене из романа Диккенса «Домби и сын».

Катерина Павловна — Е. П. Писемская (1829—1891) — жена писателя.

Алмазов, Борис Николаевич (1827—1876) — поэт, критик и переводчик, сотрудник «Москвитянина».

От Юрьева нельзя добиться ответов. — См. письма к Юрьеву и примечания к ним.

45

Печатается по автографу (ИРЛИ). Впервые опубликовано в сборнике «Шестидесятые годы», стр. 317—318.

...Ваше письмо от 14 мая... — Письмо не сохранилось.

...нужны ли обзоры журналов? — Сотрудничество Лескова в критическом отделе «Русского вестника» не было осуществлено.

...мою заметку... — См. письмо 39.

Кстати о «Божедомах»: я предложил Кашпиреву... — О тяжбе с Кашпировым см. письмо 22 и примечание к нему.

Комаров открывает газету... — Имеется в виду газета «Русский мир», начавшая выходить с 1 сентября 1871 года; Лесков сотрудничал в газете до 1874 года.

46

Печатается по автографу (ИРЛИ). Впервые опубликовано в сборнике «Шестидесятые годы», стр. 318—319.

...в конце фельетона Милюкова. — См. примечание к письму 39.

Михаил Николаевич — видимо, М. Н. Лавров, служащий издательства Каткова.

Шамбелян Болеслав. — Речь идет о Б. М. Маркевиче Шамбелян — камергер, придворное звание.

Самовластительный злодей!.. и далее — неточная цитата из «Вольности» А. С. Пушкина.

...«биржевого сквера»... — то есть «Биржевых ведомостей».

47

Печатается по автографу (ИРЛИ). Впервые опубликовано в сборнике «Шестидесятые годы», стр. 319—320.

...5-ю частью «Ножей»... — то есть романа «На ножах».

«Чертовы куклы». — Замысел романа остался незавершенным; начало опубликовано лишь в 1890 году в журнале «Русская мысль» (кн. 1); в ЦГАЛИ хранится ряд черновых рукописных отрывков романа (в некоторых вариантах: «повесть», «рассказ»).

48

Печатается по автографу (ИРЛИ). Впервые опубликовано в сборнике «Шестидесятые годы», стр. 320—321.

...Ваше письмо... — Упоминаемое письмо не сохранилось.

Диспарироваться (от франц. disparaître) — исчезать, уезжать.

...насчет «Божедомов». — Имеются в виду «Соборяне», печатавшиеся в «Русском вестнике», 1872, №№ 4—7.

Евангел — поп Евангел, персонаж из романа «На ножах».

49

Печатается по автографу (ИРЛИ). Публикуется впервые.

Отношения Лескова к М. Н. Каткову, одному из столпов воинствующей реакции 60—80-х годов прошлого столетия, было весьма сложным и претерпело существенную эволюцию. Сотрудничая в катковских органах в конце 1860-х — начале 1870-х годов, Лесков в своих статьях не раз заявлял о солидарности с Катковым по некоторым вопросам, говорил о сочувствии ему; но и в тот период Лесков с недовольством переносил редакторский произвол Каткова и его помощников, выражавшийся в беззастенчивой правке произведений писателя. Позднее, становясь все более в оппозицию к реакции, Лесков назовет Каткова «убийцей родной литературы» (см. письмо 90). В неопубликованной статье «Из литературной жизни» Лесков говорит о Каткове как о «злом старике», «для которого все, что людям горе,— ему смех, и, наоборот, где льются слезы, там он является с холодными резонами, которые никого не успокаивают, а только хуже злят и мутят душу» (ЦГИАЛ). Итог своему отношению к Каткову Лесков подвел в статье «На смерть Каткова» (см. наст. изд., т. 11).

Данное письмо написано с информационной целью в Москву, очевидно в редакцию катковских органов. Важность и характер сообщаемых сведений дает основание предположить, что адресатом был сам Катков. Возможно также, что письмо адресовано П. К. Щебальскому.

«Нечаевское дело», или «дело о заговоре, составленном с целию ниспровержения существующего порядка управления в России», слушалось в С.-Петербургской судебной палате с 1 июля по 27 августа 1871 года. Стенограмма процесса печаталась в петербургской газете «Правительственный вестник», а также в «Московских ведомостях» и «Современной летописи» Каткова и др. газетах.

21 июля происходило заседание суда, на котором слушались показания подсудимого Черкезова (см. ниже). Об этом и сообщает Лесков в письме своему адресату, выписывая по имевшемуся в его руках документу (гранки стенограммы «Правительственного вестника») не попавшие в печать места текста из показаний Черкезова. (Приведенные Лесковым слова в газетной публикации отсутствуют.)

Князь Владимир Петрович Мещерский (1839—1914) — реакционный публицист и беллетрист, издатель журнала «Гражданин».

Данилевский, Григорий Петрович (1829—1890) — писатель; об отношении к нему Лескова см. в письмах (по указателю имен).

Эссен, Отто Васильевич (ум. в 1876 г.) — сенатор, обер-прокурор сената, с 1871 года — товарищ министра юстиции.

...в речи Черкезова, — не Черкесова. — В судебном следствии в качестве обвиняемых фигурировали: князь Варлаам Николаевич (Джон Асланович) Черкезов (1846—1925) — участник нечаевского кружка, впоследствии анархист, и Александр Александрович Черкессов (1839—1908), — участник подпольных кружков 60-х годов, в 1867—1869 годах владелец книжного магазина и библиотеки в Петербурге.

Тотлебен, Эдуард Иванович (1818—1884) — граф, выдающийся военный инженер, генерал, впоследствии главнокомандующий.

Черняев, Петр Александрович (1815—1890) — министр внутренних дел с 1861 по 1867 год.

Тимашев, Александр Егорович (1818—1893) — генерал-адъютант; с 1856 года управляющий III Отделением, с 1867 по 1877 год министр внутренних дел.

Мезенцев, Николай Владимирович — генерал-адъютант, шеф жандармов; убит С. М. Степняком-Кравчинским на Михайловской площади в Петербурге в августе 1878 года.

Петербургский обер-полицеймейстер — по-видимому, Трепов, Федор Федорович (1803—1889) — петербургский градоначальник и полицеймейстер с 1868 по 1878 год.

...что выразил о нем Герцен... — В письме «В редакцию «Инвалида» (204 лист «Колокола» от 15 сентября 1865 года) Герцен назвал Каткова: «публичный мужчина всея России» (см. А. И. Герцен. Полн. собр. соч. и писем, П., 1920, т. XVIII, стр. 199).

...авторитет... «Незнакомца «Петербургских ведомостей». — Под псевдонимом «Незнакомец» в газете «Петербургские ведомости» сотрудничал А. С. Суворин.

Флоринский, Иван Иванович (род. ок. 1845 г.) — в 1869 году был студентом Московской земледельческой академии. Арестован в связи с нечаевским делом, приговорен к тюремному заключению и последующей высылке под надзор полиции.

Орлов, Владимир Федорович (1843 — конец 1890-х гг.) — сельский учитель. В 1869 году принимал участие в студенческих сходках. Привлекался к суду в связи с нечаевским делом, был оправдан.

Дементьева, Александра Дмитриевна, по мужу Ткачева (1850—1922) — участница революционного движения 60-х — 70-х годов. В 1868—1869 годах принимала участие вместе со своим женихом П. Н. Ткачевым в петербургском студенческом движении. В 1869 году отпечатала в своей типографии воззвание Ткачева «К обществу». Привлекалась к суду в связи с нечаевским делом. Была

приговорена к тюремному заключению и последующей высылке. Впоследствии принимала участие в революционном движении в 1905 году.

Пален, Константин Иванович (1833—1912) — граф, член государственного совета, министр юстиции с 1867 по 1878 год.

Любимов, А. С. — председатель С.-Петербургской судебной палаты, председательствовал на процессе.

Половцев, В. А. — прокурор С.-Петербургской судебной палаты, вел обвинение на процессе.

Шувалов, Петр Андреевич (1827—1889), граф — начальник III отделения, шеф жандармов.

Шебеко, Н. И. — адъютант шефа жандармов.

50

Печатается по автографу (ИРЛИ). Впервые опубликовано в сборнике «Шестидесятые годы», стр. 321—323.

...о Вашем труде по истории Екатерины... — Щебальскому принадлежит ряд статей о Екатерине II; среди них наиболее крупная работа — «Екатерина II, как писательница» («Заря», 1869, №№ 2, 3, 5, 6, 8, 9; 1870, №№ 3, 6, 7); предполагавшийся новый «труд», видимо, не был осуществлен.

...где Голь, Шмоль да К⁰... — В «Биржевых ведомостях», 1869, №№ 234 и 274, в заметке Лескова упоминается комедия-шутка Стебницкого «Голь, Шмоль, Ноль и компания — банкирский дом на взаимном доверии», но среди печатных работ Лескова пьеса неизвестна.

...человека, о котором Вы пишете... — О ком идет речь, установить не удалось; возможно, о Г. П. Данилевском.

«Наш умственный пролетариат» — статья Щебальского, напечатанная в «Русском вестнике», 1871, № 8.

Статья о посмертных сочинениях Герцена — статья Щебальского «Лучше поздно, чем никогда». Материалы для биографии Герцена («Русский вестник», 1871, № 8); написана в связи с выходом книги: «Сборник посмертных статей А. И. Герцена», Женева, 1871.

«Идеалисты и реалисты» — так называлась статья Щебальского о книге А. Н. Пыпина «Общественное движение в России при Александре I», СПб., 1871 («Русский вестник», 1871, №№ 7 и 9).

...ответ Пыпина... — «Заметка» о статье П. Щебальского «Идеалисты и реалисты»; напечатана в «Вестнике Европы», 1871, X, стр. 940—958.

...готовым романом... — видимо, романом «Вне закона».

51

Печатается по автографу (ИРЛИ). Впервые опубликовано в сборнике «Шестидесятые годы», стр. 323—324.

Градовский, Григорий Константинович (1842—1915) — публицист и драматург, был редактором «Гражданина» и сборников «Гражданина» в 1872 году.

...моего романа... — романа «На ножах».

«Весть» — реакционная газета, издававшаяся в Петербурге в 1863—1870 годах.

52

Печатается по автографу (ИРЛИ). Впервые опубликовано в сборнике «Шестидесятые годы», стр. 324—325.

...Ваши короткие строки... — Речь идет о не дошедшем до нас письме Щебальского.

Рюисдаль — очевидно, Яков Рейсдаль (1628 или 1629—1682), известный голландский художник-пейзажист.

Бивакирование — расположение, местонахождение.

О прекращении «Р⟨усского⟩ в⟨естника⟩»... — Эти слухи оказались неосновательными.

53

Печатается по автографу (ИРЛИ). Публикуется впервые.

Датируется на основании упоминаемого отчета о постановке «Леса» Островского в Александринском театре («Биржевые ведомости», 1871, 3 ноября).

Кин, Эдмунд (1787—1833) — великий английский актер.

54

Печатается по первой публикации («Новь», 1895, № 9, стр. 290). Автограф неизвестен.

Является ответом на не дошедшее до нас письмо Писемского.

Благодарю... за Вашу книгу... — очевидно, за роман «В водовороте», вышедший в 1872 году отдельным изданием.

...в степени безумной слепой злобы... — Речь идет прежде всего об откликах демократической критики на антинигилистические ро-

маны Лескова («Некуда», «На ножах») и Писемского («Взбаламученное море»).

«Смех и горе» идет превосходно. — Имеется в виду отдельное издание повести в 1871 году.

Роман мой... — Очевидно, Лесков говорит о «Соборянах»; печатание романа началось в «Русском вестнике» с апреля 1872 года.

«Блуждающие огни» — первоначальное заглавие повести «Детские годы. (Из воспоминаний Меркула Праотцева)» — см. наст. изд., т. 5.

Петр Карлович — П. К. Щебальский.

Корибут — знакомый Лескова.

55

Печатается по автографу (ИРЛИ). Впервые опубликовано в сборнике «Шестидесятые годы», стр. 326—327.

...Ваше доброе письмо... — Письмо это не сохранилось

Аматер (франц. amateur) — любитель.

...написать... повесть вдвоем... — Намерение написать повесть совместно с С. И. Турбиным (1821—1884) не осуществилось. Лесков проявлял интерес к произведениям Турбина и написал рецензию на его очерки о Сибири — «Страна изгнания» (см. наст. том, стр. 170—178). Позднее о Турбине Лесков писал в очерке «Досуги Марса» («Русская мысль», 1888, № 2).

...печатанных у... Погосского — то есть в журналах, издаваемых А. Ф. Погосским; см. о нем на стр. 518—519.

Ассюрирован (от франц. assurer) — заверен, обеспечен.

Роман Маркевича... — Имеется в виду роман «Забытый вопрос», напечатанный в «Русском вестнике», 1872, №№ 1—4

56

Печатается по первой публикации («Новь», 1895, № 9, стр. 290). Автограф неизвестен.

В письме речь идет о хлопотах Лескова по напечатанию пьесы Писемского «Подкопы»; задержанная сначала цензурою, пьеса не была пропущена в сборнике «Гражданин» и появилась в газете «Гражданин» лишь в 1873 году. О цензурных мытарствах в связи с пьесой «Подкопы» Лесков впоследствии рассказал в заметке «Заповедь Писемского» («Петербургская газета», 1885, № 264, 26 сентября). См. также А. Ф. Писемский. Письма, стр. 697—698.

...на второй же день по приезде... — Лесков в первой половине августа был в Москве, где при встречах с Писемским и шла речь о печатании пьесы «Подкопы».

...о М⟨ещерском⟩ и его издании... — Речь идет об издании: «Гражданин». Журнал политический и литературный. Сборник 1872 г.»; вышли две части сборника.

Редактор... г. Г... — Градовский (см. примечание к письму 51).

...даровитейшее... имя г. Страхова... — В первом сборнике «Гражданина» напечатана статья Н. Н. Страхова «Ренан и его последняя книга».

...согласны ли Вы... чтобы Ваша... пиеса печаталась... в газете? — Писемский в ответ на это предложение писал Лескову в письме от 20 августа 1872 года: «Что же касается до помещения пиесы моей в газете, то для меня конечно бы это было все равно; но в газете она не может быть помещена вся, а должна печататься по частям, что я считаю совершенно неудобным» (А. Ф. Писемский. Письма, стр. 248; в данной публикации ответ Писемского ошибочно датирован 20 июля 1872 года). Пьеса «Подкопы» была напечатана в газете «Гражданин», 1873, №№ 7—10.

...доброжелательствовали Кашпиреву... — Речь идет о журнале В. В. Кашпирева «Заря», прекратившем выход со второго (февральского) номера за 1872 год.

То ли дело Хан... — Журнал «Всемирный труд», издававшийся М. А. Ханом с 1867 года, был закрыт в 1872 году.

57

Печатается по первой публикации («Новь», 1895, № 9, стр. 290). Автограф неизвестен.

...письмо Ваше я получил... — Речь идет о письме Писемского от 20 августа 1872 года (см. примечание к письму 56).

58

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано в «Щукинском сборнике», V, стр. 461—462.

...переписку... Журавского с гр. Перовским. — Лев Алексеевич Перовский (1792—1856) — государственный деятель, в 1841—1852 годах министр внутренних дел, в 1852—1856 — министр уделов. См. также примечание к письму 35.

59

Печатается по первой публикации («Новь», 1895, № 9, стр. 290—291). Автограф неизвестен.

Письмо является ответом на несохранившееся письмо Писемского.

...видеть Вас в Петербурге... — Писемский смог приехать в Петербург лишь в конце сентября (см. А. Ф. Писемский. Письма, стр. 250).

...не прочтете ли Вы своей пиесы... — Речь идет о пьесе «Подкопы». Писемский 19 сентября 1872 года в ответ на это писал: «Прочесть у Вас пиесу мою буду душевно рад» (А. Ф. Писемский. Письма, стр. 249).

Авсеенко, Василий Григорьевич (1842—1913) — беллетрист и критик реакционного направления; сотрудничал в «Русском вестнике», «Биржевых ведомостях» и др.

60

Печатается по копии, хранящейся в ЛБ; местонахождение автографа неизвестно. Публикуется впервые.

Письма 60 и 61 к Каткову освещают закулисную возню, связанную с изданием консервативной газеты «Русский мир», в которой Лесков сотрудничал в 1871 году.

Газета «Русский мир» выходила в Петербурге с 1 сентября 1871 года (до 1873 года редактор-издатель В. В. Комаров) по 1880 год. Фактическим ее основателем и главным пайщиком был генерал М. Г. Черняев (1828—1898), оставивший военное ведомство и выступавший против военных реформ; впоследствии главнокомандующий сербской армией в войне Сербии с Турцией. К руководству газетой был близок и другой генерал, консервативный публицист Ростислав Фадеев (1824—1884).

Абшид (нем. Abschied) — отставка, увольнение.

Д. — очевидно, Н. Дементьев, один из арендаторов газеты, ставший ее издателем с конца 1879 года.

Богушевич, Юрий Михайлович (1835—1901) — журналист и библиограф.

Пыпин, Александр Николаевич (1833—1904) — историк литературы, профессор Петербургского университета.

...Белозерского (из «Основы»). — В. М. Белозерский — редактор украинского журнала «Основа» («Южнорусский литературно-ученый

вестник»), издававшегося в Петербурге с января 1861 по сентябрь 1862 года.

Лонгинов, Михаил Николаевич (1823—1875) — библиограф, историк литературы; в молодости — либерал, член кружка «Современника», в 60-е годы — сотрудник «Русского вестника», с 1871 по 1875 год — начальник Главного управления по делам печати, известный своим жестоким гонением не только революционной, но и либеральной мысли.

61

Печатается по копии, хранящейся в ЛБ. Местонахождение автографа неизвестно. Публикуется впервые.

...оба генерала, из коих один полусобственник издания... — М. Г. Черняев и Р. А. Фадеев (см. примечание к письму 60).

Милюков, Александр Петрович. — См. примечание к письму 19.

Авсеенко. — См. примечание к письму 59; в «Русском мире» вел критический фельетон.

Виссарион — Виссарион Виссарионович Комаров, редактор-издатель «Русского мира» с 1871 по 1873 год.

Ф. — Р. А. Фадеев.

Михаил Григорьевич — М. Г. Черняев.

«Сын отечества» — политическая и литературная газета, выходила в Петербурге с 1862 по 1900 год. В 1870-е годы редактором ее был А. П. Милюков.

«Голос» — политическая и литературная газета (1863—1884). Издатель и редактор — А. А. Краевский.

...под рукою Андрея... — то есть А. А. Краевского.

Григорьев, Василий Васильевич (1816—1881) — ориенталист, профессор Петербургского университета, в 1874—1880 годах — начальник Главного управления по делам печати, редактор «Правительственного вестника».

Граф Данилевский — одно из шутливых прозвищ писателя Г. П. Данилевского, который обычно подписывался: Гр. Данилевский.

62

Печатается по автографу (ИРЛИ). Публикуется впервые.

...что́ нужно Вам для Вашего издания... — Суворин обращался к Лескову, как и к другим общественным и литературным деятелям,

с просьбой сообщить автобиографические сведения для «Словаря русских современников»; об издании «Словаря» неоднократно объявлялось в 1874—1876 годах, но книга так и не появилась в свет, видимо не пропущенная цензурой.

Автобиографическая заметка была написана Лесковым и направлена Суворину лишь в августе 1874 года (см. письмо 66).

...обязан себе и двум добрым людям... — по-видимому, И. Ф. Якубовскому (см. примечание к письму 1) и Д. П. Журавскому (см. примечание к письму 35). «Добрыми» людьми, оказавшими влияние на развитие Лескова в юные годы, он считал также А. Л. Вельтера, А. В. Марковича и некоторых других (см. Автобиографические заметки — наст. изд., т. 11; ср. также А. Лесков. Жизнь Николая Лескова, стр. 78).

63

Печатается по автографу (ИРЛИ). Публикуется впервые.

Я его составил... — См. примечание к письму 62.

Сорок тысяч курьеров. — У Хлестакова в «Ревизоре» (д. V, явл. 6) — тридцать пять тысяч курьеров.

Опреснок — пресный хлеб, пирог, лепешка.

...наш лагерь... имеет... некоторое преимущество перед Вашим. — В 1873 году Лесков еще причисляет Суворина к либералам, а себя к лагерю «Русского вестника».

64

Печатается по автографу (ИРЛИ). Публикуется впервые.

Данное письмо — единственное из дошедших до нас писем Лескова к В. П. Мещерскому; несомненно, что в связи с сотрудничеством писателя в «Гражданине» этих писем было больше. Несмотря на участие в реакционном органе Мещерского (оно продолжалось до 1877 года, хотя и не было активным), Лесков весьма критически относился и к «Гражданину» и к его издателю; это, в частности, видно из ряда замечаний в письмах к другим адресатам. Однако самый факт сотрудничества свидетельствует о недостаточно принципиальной литературно-общественной позиции писателя в 1870-е годы.

«Гражданин» — газета-журнал, орган крайней реакции, издавалась В. П. Мещерским (1839—1914) с 1872 года в Петербурге;

особенно активную роль играла после 1882 года; просуществовала до смерти издателя.

...рассказ листа в 4... — О каком произведении идет речь, сказать трудно, так как до 1874 года Лесков в «Гражданине» не печатался, а в указанном году поместил лишь две статьи на церковные темы; возможно, что это рассказ «Очарованный странник», напечатанный в 1873 году в газете «Русский мир» (см. наст. изд., т. 4).

65

Печатается по автографу (ИРЛИ). Впервые опубликовано в сборнике «Шестидесятые годы», стр. 327—328.

...Вашу «критическую статью»... — Речь идет о письме Щебальского с замечаниями об «Очарованном страннике», вышедшем в 1874 году отдельной книжкой.

...нашего... камергера... — Имеется в виду Б. М. Маркевич.

Особа, о которой Вы спрашиваете... — А. А. Попов, начальник варшавской дирекции училищ; в 1875 году на эту должность был назначен Щебальский.

Витте, Федор Федорович (ум. в 1879 г.) — сенатор, в 1867—1879 годах — попечитель Варшавского учебного округа.

Граф — Д. А. Толстой.

Мое... определение... — С 1 января 1874 года приказом министра народного просвещения Д. А. Толстого Лесков «причислен к министерству народного просвещения, с назначением членом особого отдела Ученого комитета по рассмотрению книг, издаваемых для народного чтения», с окладом — 1 тысяча рублей в год.

Георгиевский, Александр Иванович (1829—1911) — в 1866—1881 годах член совета министра народного просвещения.

Телемак — здесь: герой романа Фенелона «Приключения Телемака».

...чем в «Ангеле» — то есть в рассказе «Запечатленный ангел».

Затем о «Захудалом роде». — Об истории создания и печатания этого произведения см. в т. 5 наст. изд.

Соловьев умер... — Имеется в виду критик Н. И. Соловьев.

66

Печатается по автографу (ИРЛИ). Публикуется впервые.

...посылаю Вам записочку... — См. примечание к письму 62.

67

Печатается по автографу (ИРЛИ). Публикуется впервые.

Александр Николаевич прочел мне сегодня Ваш ответ на его письмо, писанное по моему желанию... У Кокорева я побываю... — Начало переписки Лескова с И. С. Аксаковым (1823—1886), видным деятелем славянофильства, носит чисто деловой характер и связано со служебным положением Аксакова, занимавшего пост директора Московского общества взаимного кредита. Озабоченный в 1874 году подысканием постоянного заработка, «Лесков при содействии А. Н. Аксакова вступает в переписку с И. С. Аксаковым в надежде найти через него сколько-нибудь достаточный заработок в каком-нибудь крупном коммерческом деле... Александр Аксаков... старается сосватать творца «Соборян» и «Ангела» с бывшим винным откупщиком, сейчас нефтяником, директором и учредителем «Волжско-Камского банка» В. А. Кокоревым» (А. Лесков. Жизнь Николая Лескова, стр. 303).

Александр Николаевич — А. Н. Аксаков (1832—1903), двоюродный брат И. С. Аксакова, автор и переводчик ряда книг по вопросам богословия, философии и спиритизма.

«Р⟨усский⟩ в⟨естник⟩» был последний журнал, которого я мог еще как-нибудь держаться... теперь и это кончено... — Лесков говорит о своем разрыве с Катковым в 1874 году, после опубликования «Захудалого рода» (см. т. 5 наст. изд., стр. 578).

...так шло и с Юрьевым, которому первому были предложены и «Соборяне» и «Запечатленный ангел»... — Первоначально «Соборяне» («Божедомы») и «Запечатленный ангел» были предложены Лесковым для опубликования С. А. Юрьеву, редактору журнала «Беседа».

...и, наконец, 2-я часть «Захудалого рода», явившаяся бог весть в каком виде... — Подробнее об этом см. в письме 78, а также в примечаниях к «Захудалому роду» (наст. изд., т. 5, стр. 577—578).

68

Печатается по автографу (ИРЛИ). Публикуется впервые.

...по должности члена уч⟨еного⟩ ком⟨итета⟩ при гр. Толстом... — См. примечание к письму 65.

...я служил у Скотта и Вилькенс... — О службе Лескова в английской компании «Шкотт и Вилькенс» см. А. Лесков. Жизнь Николая Лескова, стр. 118—124.

...я хотел бы, чтобы меня взял к себе на службу кто-нибудь из добрых торговых людей, как брали Громеку, Данилевского, Полонского и им подобных. — С. С. Громека (1823—1877) — публицист; до начала литературной деятельности служил железнодорожным жандармским офицером, потом был начальником отделения в министерстве внутренних дел. Г. П. Данилевский в 50-х годах служил при министерстве народного просвещения, получая неоднократные командировки в архивы южных монастырей, Крым, Харьковскую, Полтавскую и др. губернии. Я. П. Полонский в 1846—1848 годах служил в канцелярии наместника в Тифлисе; в 1847 году ему было поручено составление статистики города Тифлиса и всего уезда.

...положение мое при Толстом... — то есть в министерстве народного просвещения (см. выше).

Кошелев, Александр Иванович (1806—1883) — публицист славянофильского лагеря, издатель «Русской беседы» (1858—1860), фактическим редактором которой был И. С. Аксаков.

Майков — очевидно, Аполлон Николаевич Майков (1822—1897) — поэт, с 1852 года служил цензором Петербургского комитета цензуры иностранной.

Страхов. — См. примечание к письму 4.

Графиня Толстая — графиня Софья Андреевна Толстая, жена А. К. Толстого.

69

Печатается по автографу (ИРЛИ). Публикуется впервые.

Скальковский, Константин Аполлонович (1843—1906) — административный деятель и писатель; был секретарем Горного ученого комитета, впоследствии директором Горного департамента. Многочисленные статьи и книги его посвящены самым различным вопросам (ср. «Суэцкий канал и его значение для русской торговли», «Танцы и балет и их место в ряду изящных искусств», «О женщинах» и др.). О нем как о «хватком дельце» и взяточнике см. А. Лесков. Жизнь Николая Лескова, стр. 304.

Книги обе я ему отвез... — Аксаков в письме от 28 ноября 1874 года сообщал Лескову: «...я предлагал Кокореву непременно прочесть «Запечатленного ангела»... Поэтому... вы подарите ему и «Ангела» и «Соборян» («Исторический вестник», 1916, № 3, стр. 787).

Щербатов, Александр Петрович — князь, генерал-майор, один из близких знакомых Лескова. С ним связан анекдотический эпизод о царедворце Маркевиче, милостиво протянувшем Щербатову два

пальца (рассказано А. Лесковым; см. «Жизнь Николая Лескова», стр. 299).

«Захудалый род» продал Базунову... — Речь идет об отдельном издании хроники «Захудалый род». СПб., 1875. *А. Ф. Базунов* — петербургский издатель и книгопродавец.

Занимаюсь рассказом для «Нивы»... — очевидно, рассказом «Блуждающие огоньки» (впоследствии: «Детские годы. Из воспоминаний Меркула Праотцева»). Опубликован в журнале «Нива», 1875, №№ 1—11.

...статьею о штундистах для «Гражданина»... — Очевидно, имеется в виду статья «Несколько слов по поводу записки высокопреосвященного митрополита Арсения о духоборческих и других актах», напечатанная в «Гражданине», 1875, №№ 1, 16.

Корша обязывают... взять иного редактора... — Валентин Федорович Корш (1828—1883) — историк литературы и журналист; с 1863 по 1874 год издавал «Петербургские ведомости». В конце 1874 года произошла смена издательской аренды, а также редактора газеты: либеральная фигура Корша не устраивала правительственные круги. См. примечание к письму 71.

Лонгинов. — См. примечание к письму 60.

70

Печатается по автографу (ИРЛИ). Публикуется впервые.

Рассказы мои издавались спекулятором... — По-видимому, речь идет об издании: «Сборник мелких беллетристических произведений», СПб., тип. Скарятина, 1873, в котором были сброшюрованы вместе (с новым титульным листом): «Повести, очерки и рассказы», т. 1, СПб., 1867, и «Рассказы», т. 2, СПб., 1869. В предисловии от издателя указывалось, что «сборник сложен из двух томов прежнего издания... которые до сих пор стоили в продаже три рубля, а теперь в форме этого всею полностью совмещающего их сборника предлагаются за два рубля».

Заметочка... в «Гражданине»... — статья Лескова «Об обращениях и совращениях (Un discours en l'air)». — «Гражданин», 1874, № 49 от 9 декабря.

«Гражданин»... оповестит... — В № 51 от 23 декабря 1874 года редакция «Гражданина» сообщала, что «для будущего года... мы можем обещать «Исследование о штундистах» г-на Лескова, почтенного автора «Соборян» и т. п.».

«Москва» — газета политическая, экономическая и литературная. Выходила в 1867—1868 годах под редакцией И. С. Аксакова (во время цензурной приостановки — под названием «Москвич»).

Трубников, Константин Васильевич (1829—1904) — редактор-издатель газеты «Биржевые ведомости».

...статей Ваших о штундистах... — О штундистах известна лишь одна статья И. С. Аксакова «Некоторые безобразия русской жизни, и в частности причины распространения штунды» («Москвич», 1868, 25 января; см. также И. С. Аксаков. Полное собрание сочинений, т. IV, М., 1886, стр. 65—72).

Авксентий Курка — таращанский штундист; о нем Лесков говорит в вышеуказанной статье «Об обращениях и совращениях».

Филарет (Филаретов, 1824—1882) был ректором Киевской духовной академии с 1860 по 1877 год, затем — епископом рижским.

...роль Гамалеева. — Может быть, Лесков вспоминает о предательской политике Григория Михайловича Гамалея, полковника, генерал-есаула (вторая половина XVII века), бывшего одним из главных приверженцев гетмана Брюховецкого и перешедшего затем на сторону его противника.

...в изъятом из обращения сочинении Новицкого. — Духовной цензурой была запрещена к обращению книга: «О духоборцах, сочинение студента Киевской духовной академии Ореста Новицкого», Киев, 1832. Второе, дозволенное издание этой книги, под названием «Духоборцы, их история и вероучение», — Киев, 1882.

...предисловием Юрия Федоровича к богословскому тому соч⟨инений⟩ Хомякова... — Речь идет о предисловии Ю. Ф. Самарина ко второму тому Полного собрания сочинений А. С. Хомякова (Прага, 1867).

Сочинение проф. Знаменского «О русском духовенстве» — по-видимому, книга П. Знаменского «Приходское духовенство в России со времени реформы Петра», Казань, 1873.

Исследование Нечаева «О пиетизме»... — П. Нечаев. Пиетизм и его историческое значение, М., 1873.

«Догматическая система Оригена» — магистерское сочинение священника Гр. Малеванского.

Маймисты (от финск. Maa-mies — крестьянин) — русское наименование проживавших в Петербургской губернии финнов протестантского исповедания.

...творение Скальковского. — См. примечание к письму 69.

Статью Юрия Федоровича о Журавском... — Имеется в виду статья Ю. Ф. Самарина «Воспоминания о Д. П. Журавском» («Русская беседа», 1857, № 6).

...письма Журавского к Веригину, к Нарышкину и к Перовскому... — См. примечания к письмам 35, 58.

Бартенев, Петр Иванович (1829—1912) — издатель исторических и литературных памятников и документов, с 1863 года — редактор журнала «Русский архив».

Семевский, Михаил Иванович (1837—1892) — историк, с 1870 года — редактор-издатель исторического журнала «Русская старина».

Патти, Аделина (1843—1919) — итальянская оперная певица; в 60—70-х годах пела в петербургской итальянской опере.

Граф Сальяс — Салиас, Евгений Андреевич (1842—1908) — писатель, автор многочисленных исторических романов.

71

Печатается по автографу (ИРЛИ). Публикуется впервые.

...выдуманная на Страстном бульваре фраза... — На Страстном бульваре в Москве помещалась редакция «Московских ведомостей» Каткова.

Засецкая, Юлия Денисовна — дочь партизана Д. В. Давыдова, участница одной из религиозных сект.

Дьякон Ахилла — персонаж из хроники «Соборяне».

Муравьев, Андрей Николаевич (1806—1874) — духовный писатель и поэт. О нем Лесков рассказывает в очерке «Синодальные персоны» («Исторический вестник», 1882, № 11).

Арсений (Москвин, 1795—1876) — митрополит киевский с 1860 по 1876 год.

Авксентий Курка. — См. примечание к письму 70.

Новиков — возможно, И. П. Новиков, генерал-лейтенант, попечитель Киевского, а затем Петербургского учебного округа.

Филарет. — См. примечание к письму 70.

Дундуков — очевидно, Александр Михайлович Дондуков, князь (1820—1893) — генерал; с 1869 года киевский, подольский и волынский генерал-губернатор.

Как он взялся идти... — Лесков говорит о новом редакторе «Петербургских ведомостей» Е. А. Салиасе, сменившем В. Ф. Корша с 1 января 1875 года.

...гр. Л. Н. Толстой... взял роман от Каткова? — Лесков говорит о распространившихся слухах по поводу того, что Толстой собирается печатать роман «Анна Каренина» не в «Русском вестнике», а в каком-то другом журнале (см. об этом Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 20, М., 1939, стр. 615).

72

Печатается по автографу (ИРЛИ). Публикуется впервые.

...о книге Щапиной... — Екатерина Владимировна Щепина, детская писательница 1870-х годов, автор «Детских сказок, переложенных в стихи» (1873), «Книжек для детей в стихах и прозе» (1874) и др. Аксаков просил Лескова оказать ей содействие.

...о Григорьеве. — См. примечание к письму 61.

«Православное обозрение» — духовный журнал, издававшийся в Москве с 1860 по 1891 год под редакцией священника Н. А. Сергиевского. В нем принимали участие Ю. Ф. Самарин, И. С. Аксаков, В. С. Соловьев и др.

Мещерский обещал подписчикам «Гражданина»... — См. примечание к письму 70.

Экзегетика, или герменевтика — учение об истолковании речей или сочинений по возможности близко к смыслу, вложенному в них автором. Применяется главным образом к толкованию библейских текстов.

Агафангел (Иоанн Соловьев, 1812—1876) — архиепископ, автор сочинения «Высшая администрация русской церкви», противник церковно-судебной реформы графа Д. А. Толстого. См. о нем в т. 6, наст. изд., стр. 530—531.

Ориенталист на полицеймейстерском поприще — очевидно, В. В. Григорьев, назначенный в 1875 году на пост начальника Главного управления по делам печати; был также редактором «Правительственного вестника» (в 1869—1870 и 1874—1880 годах).

Мансуров, Борис Павлович (1828—1910) — член Государственного совета, управляющий делами палестинского комитета.

Маркевич, Болеслав Михайлович (1822—1884) — реакционный беллетрист и публицист. С 1866 года — чиновник особых поручений при министерстве народного просвещения, впоследствии член совета министра, камергер. См. также примечание к письму 75.

М-me Фельд — петербургская гадалка.

Г-жа Ленорман, Мария-Анна-Аделаида (1772—1843) — известная французская гадалка на картах, услугами которой пользовались члены императорских фамилий и представители высшего света.

Кн. Ал. Васильчиков — очевидно, Александр Илларионович Васильчиков (1818—1881) — общественный деятель и писатель, в 1870-е годы — участник так называемой валуевской комиссии для исследования положения сельского хозяйства в России, председатель петербургского отдела славянского комитета.

73

Печатается по автографу (ИРЛИ). Публикуется впервые.

...платил за работу «некоему»... — то есть Скальковскому (см. примечание к письму 69).

74

Печатается по автографу (Музей имени А. Бахрушина). Впервые опубликовано в сборнике «Неизданные письма к А. Н. Островскому», М. — Л., «Academia», 1932, стр. 202—203.

...ответ, значительно разъяснивший мне дело. — Письмо А. Н. Островского Лескову, так же как и предыдущее письмо Лескова, неизвестно. Факты биографии Островского не дают возможности установить, в чем заключалось дело, о котором говорит Лесков.

75

Печатается по автографу (ИРЛИ). Впервые опубликовано в сборнике «Шестидесятые годы», стр. 328—329.

...ответ сей... — Ответ Щебальского неизвестен.

«Грязная история». — Речь идет о закулисной истории с арендой газеты «С.-Петербургские ведомости». Аренду газеты с 1 января 1875 года перенял от В. Ф. Корша банковский деятель Ф. П. Баймаков (1834—1907), дав при этом крупную взятку Б. М. Маркевичу; в результате разоблачения получивший взятку Маркевич («Бобоша») был уволен со службы по министерству народного просвещения и лишен звания камергера.

Шаликов, Андрей Петрович — князь, брат жены Каткова.

Еничка — граф Салиас де Турнемир, писатель; с 1 января по 27 мая 1875 года был редактором «Петербургских ведомостей».

...не может отдать К⟨ат⟩кову газету... — Речь идет о намерении Каткова снять в аренду «С.-Петербургские ведомости».

Пот⟨ап⟩ов, Александр Львович (1818—1886) — в 1871 — 1876 годах шеф жандармов и начальник III отделения.

...с Феклистом... — то есть с Е. М. Феоктистовым.

...за самый отдаленный намек... и далее. — Имеется в виду фельетон Г. К. Градовского «Гаммы» («Голос», № 47 от 16 февраля 1876 года).

...половина предсказания m-me Ленорман... в «Некуда»... —

Е. А. Салиас де Турнемир представлен в «Некуда» в образе студента Онички, сына маркизы де Бараль; о предсказании французской гадалки см. в романе (т. 2 наст. изд., стр. 324).

76

Печатается по автографу (ИРЛИ). Публикуется впервые.

Овсяников — Степан Тарасович Овсяников — крупный купец, арендатор паровой мельницы, принадлежавшей Кокореву. За участие в поджоге застрахованной мельницы был сослан на поселение в Сибирь (см. А. Ф. Кони. Избранные произведения, М., Госюриздат, 1956, стр. 749—756).

Редактор «Правосл‹авного› обозр‹ения›»... — См. примечание к письму 72.

Маркевичевская история. — См. примечание к письму 75.

Салиас не покидает своего... поста... — Граф Е. А. Салиас был назначен и состоял редактором «Петербургских ведомостей» с 1 января по 27 мая 1875 года.

Баймаков. — См. примечание к письму 75.

Феоктистов, Евгений Михайлович (1829—1896) — крупный чиновник, впоследствии начальник Главного управления по делам печати; враждебно относился к Лескову.

77

Печатается по автографу (ИРЛИ). Публикуется впервые.

«Часы досуга» — сборник пьес Е. В. Щепиной: «Часы досуга», театральные пьесы для детей старшего возраста». М., 1874.

...автор книги «Почему и потому» уже купил каменный дом в Петербурге. — Возможно, Лесков имеет в виду редактора или переводчика (с немецкого) книги О. Уле (1820—1876) «Почему и потому. Вопросы и ответы по наиболее важным отраслям естественных наук». СПб., издание Трубниковой и Стасовой, 1869 (впоследствии переиздавалось).

78

Печатается по автографу (ИРЛИ). Публикуется впервые.

Базунов — См. примечание к письму 69.

Магазин Соловьева — книжный магазин И. Г. Соловьева на Страстном бульваре в Москве.

Бегичев, Владимир Петрович (1830—1891) — драматург-дилетант консервативного направления. С 1864 года — начальник репертуарной части московских императорских театров.

...в моем, а не в катковском сочинении? — то есть после восстановления допущенных при печатании романа в «Русском вестнике» пропусков и искажений (см. примечания к роману в т. 5 наст. изд.).

Самарин, Дмитрий Федорович — брат Ю. Ф. Самарина, общественный деятель, славянофил, сотрудник изданий Аксакова.

Щербатов, Александр Петрович. — См. примечание к письму 69.

Манфред — герой одноименной драматической поэмы Байрона.

Михаил Петрович — Погодин.

...прослушать его Петра III-го — то есть роман «Мирович» (первоначальное заглавие «Царственный узник»). Был запрещен цензурой; разрешен к печати в 1879 году по докладу министра внутренних дел.

«Женщины» Мещерского — «Женщины из петербургского большого света», «Ужасная женщина» и другие бульварные романы Мещерского из великосветской жизни.

«Влеченье — род недуга» — слова Репетилова из «Горя от ума» (д. IV, явл. 4).

«в мерный круг» — цитата из стихотворения Пушкина «Кобылица молодая...» (1828).

...по монографиям Костомарова... — Лесков имеет в виду исторические сочинения Н. И. Костомарова: «Бунт Стеньки Разина» (1858), «История Смутного времени» и др.

Язык простонародный она... знает гораздо лучше Растопчина... — Называя Растопчина, Лесков имеет в виду тот псевдонародный язык, которым были написаны афиши Растопчина в 1812 году. См. также примечание к стр. 65.

Овсяников «напек блинов»... — См. примечание к письму 76.

79

Печатается по автографу (ИРЛИ). Публикуется впервые.

Преображенский — очевидно, П. А. Преображенский, сотрудник журнала «Православное обозрение».

«Ключ разумения» — сочинение Иоаникия Голятовского; издавалось в 1633 и 1659 годах.

...Мещерский продал свой «Гражданин» Пуцыковичу... — На протяжении всего времени издания «Гражданина» (1872—1914)

Мещерский оставался его фактическим владельцем и вдохновителем. В. Ф. *Пуцыкович* — редактор «Гражданина» до конца 1870-х годов.

Кушелев, Сергей Егорович (1821—1890) — генерал-адъютант, близкий к Александру II; доброжелательно относился к Лескову (см. А. Лесков. Жизнь Николая Лескова, стр. 297).

...у Александра Николаевича «духи уже ходят». — Речь идет о спиритических сеансах у А. Н. Аксакова (см. примечание к письму 67).

80

Печатается по автографу (ИРЛИ). Публикуется впервые. Начало письма не сохранилось.

Валуев, Петр Александрович (1814—1890) — министр внутренних дел с 1861 по 1868 год.

Преображенский — См. примечание к письму 79.

Гриша Скоробрешко — Г. П. Данилевский.

...чудовище — привычка! — цитата из «Гамлета» Шекспира (д. III, сц. 4).

81

Печатается по автографу (ИРЛИ). Публикуется впервые.

Радиславский, Владимир Иванович (1828—1885) — посредственный драматург и переводчик, один из учредителей и бессменный секретарь Общества русских драматических писателей и оперных композиторов.

Бегичев, Владимир Петрович. — См. примечание к письму 78.

...кн. Дм⟨итрий⟩ Обол⟨енский⟩ бьется с гр. Дм⟨итрием⟩ Толстым... — Речь идет о спорах вокруг вопросов школьного образования. Дмитрий Александрович Оболенский (1822—1881) — член Государственного совета, писатель-славянофил, знакомый Лескова. Дмитрий Андреевич Толстой (1823—1889) — министр народного просвещения с 1866 по 1880 год.

...детище свое... — то есть «Гражданин».

Пуцыкович. — См. примечание к письму 79.

Третий кус «Анны Карениной»... — В третьем номере «Русского вестника» за 1875 год напечатаны XI—XXVII главы второй части романа.

Роман графа Данилевского — по-видимому, роман «Девятый вал», опубликованный в журнале «Вестник Европы» за 1873 год и пользовавшийся большим успехом.

82

Печатается по автографу (ИРЛИ). Публикуется впервые.

...это видение был сам редактор... — то есть Катков.

...терзания четырех цензур... — О цензурной истории романа «Некуда» см. наст. изд., т. 2, стр. 711—713.

...через руки Веселаго и Турунова... — Ф. Ф. Веселаго — цензор; М. Н. Турунов — председатель Петербургского цензурного комитета в 1864—1865 годах.

...бежал из России. — Лесков выехал из Петербурга 6 сентября 1862 года. Его поездка по Литве, Галиции, Польше, Чехии и Франции (Париж) продолжалась до марта 1863 года.

...хочу уехать за границу... — Вторая поездка Лескова за границу (Париж, Мариенбад, Прага, Варшава) продолжалась с конца мая до 1 сентября 1875 года.

Лурд — город на юго-западе Франции. Был известен во второй половине XIX века, как центр католического паломничества. Лурд и его многочисленные паломники описаны в романе Э. Золя «Лурд» (1894) (см. т. 11 наст. изд., письмо 290).

...ровесника... М. П. Погодина... — В 1875 году Погодину было 75 лет.

83

Печатается по автографу (ИРЛИ). Впервые опубликовано в сборнике «Шестидесятые годы», стр. 330.

...письмо Ваше... — Письмо не сохранилось.

Прилежаев, Василий Александрович (1832—1887) — священник русской посольской церкви в Париже.

Форейтор — Н. А. Любимов.

Пав⟨ел⟩ Мих⟨айлович⟩ — П. М. Леонтьев (1822—1874) — историк, профессор Московского университета; ближайший помощник Каткова по «Русскому вестнику» и «Московским ведомостям».

Вися Комаров — о В. В. Комарове см. примечание к письму 61.

Богушевич, Юрий Михайлович (1835—1901) — журналист, издатель, в 1870-х годах чиновник цензурного ведомства.

84

Печатается по автографу (ИРЛИ). Впервые опубликовано в сборнике «Шестидесятые годы», стр. 295.

Зинаида Валерьяновна (у Лескова ошибочно — *Васильевна*) — З. В. Нарден, гражданская жена Милюкова.

Анатоль — близкий знакомый или родственник З. В. Нарден.

...в первое мое здесь пребывание... — В первый раз Лесков был в Париже в конце 1862 — начале 1863 года.

Панютин, Лев Константинович (1831—1882) — журналист, сотрудничал в «Голосе», «Биржевых ведомостях», «Неделе» и др. (псевдоним — Нил Адмирари).

Иван Акинфиевич — неустановленное лицо.

Орлов, Николай Алексеевич (1827—1885) — граф, в 1870—1882 годах — посол во Франции.

...о второй книге Суворина... — Имеется в виду издание: А. С. Суворин (Незнакомец). Очерки и картинки. Собрание рассказов, фельетонов и заметок. Кн. 1 и 2, СПб., 1875.

85

Печатается по автографу (Архив А. Н. Лескова). Впервые опубликовано в книге: А. Лесков. Жизнь Николая Лескова, стр. 312—314.

...два раза просил Протейкинского... — Очевидно, имеется в виду В. П. Протейкинский, домашний учитель; письма к нему неизвестны.

...с семьею... Буслаева... — См. письмо 110 и примечание к нему.

Ледаков, Анатолий Захарович — художник.

Мак-Магон, Мари-Эдмонд-Патрис (1808—1893) — французский маршал и реакционный политический деятель; возглавлял войска, подавлявшие парижских коммунаров.

86

Печатается по автографу (Архив А. Н. Лескова). Впервые опубликовано в книге: А. Лесков. Жизнь Николая Лескова, стр. 314—315.

...Милюков, для которого я сделал... трудные розыски... — См. письмо 84.

...писал теперь Матавкину... — Письма Лескова к М. А. Матавкину не опубликованы (хранятся в ИРЛИ); они в основной своей части варьируют письма из-за границы к семье и Милюкову.

Дюпанлу, Ф.-А. (1802—1878) — проповедник и писатель, архиепископ орлеанский.

Гамбетта, Леон-Мишель (1838—1882) — французский либеральный политический деятель.

87

Печатается по автографу (ИРЛИ). Впервые опубликовано в сборнике «Шестидесятые годы», стр. 295—296.

М. Г. Черняев. — См. письма 60, 61 и примечания к ним.

Пелегринаж (франц. pélegrinage) — паломничество, путешествие.

Гагарин, Иван Сергеевич (1814—1882) — представитель русской знати, в ранние годы был знаком с Пушкиным, входил в «кружок шестнадцати», сблизился с Чаадаевым; впоследствии перешел на положение эмигранта, попал под влияние католицизма и стал иезуитом. Лесков симпатизировал Гагарину, защищал его от обвинений в авторстве анонимных писем Пушкину (см. статью Лескова «Иезуит Гагарин в деле Пушкина» в «Историческом вестнике», 1886, № 8; сохранились 4 письма Гагарина к Лескову, все они относятся к 1875 г. (ЦГАЛИ). О Гагарине см. также в «Литературном наследстве», т. 62, стр. 61—63.

Мартынов, Иван Михайлович (ум. в 1894 г.) — эмигрант, так же, как и Гагарин, стал иезуитом; много писал по церковным вопросам, вел во французских газетах хронику русской культурной жизни.

...русские читальни в Париже. — Имеются в виду читальни, вокруг которых группировались революционные и демократические круги русской эмиграции; Тургенев сочувствовал организации этих читален и помогал им; так, в феврале 1874 года состоялось литературно-музыкальное утро у Виардо в пользу русской читальни (см. Г. И. Успенский. Собрание сочинений, т. 9, М., 1957, стр. 254).

Курочкин — Н. С. Курочкин.

Нил Адмирари — Л. К. Панютин (см. примечание к письму 84).

Рикор, Филипп — французский врач.

М. П. Корибут — знакомая Лескова

88

Печатается по автографу (Архив А. Н. Лескова). Впервые опубликовано в книге А. Лесков. Жизнь Николая Лескова, стр. 315—316.

...повесть... «Соколий перелет»... — Вместо повести Лесков решил написать роман «Соколий перелет», который начал печататься лишь в 1883 году в «Газете А. Гатцука», но не был окончен,

89

Печатается по автографу (ИРЛИ). Впервые опубликовано в сборнике «Шестидесятые годы», стр. 296—297.

Биба — сын Милюкова.

Криворос — общий знакомый Милюкова и Лескова.

...подпись Усова... — П. С. Усов с 1875 года стал редактором «С.-Петербургских ведомостей».

«Деды» Крестовского — «Деды. Историческая повесть из времен императора Павла I»; печаталась в «Русском листке», 1875, с № 61.

Гришиному роману рад... — Речь идет о романе Г. П. Данилевского «Девятый вал».

Михаил Григорьевич — М. Г. Черняев.

Федор Николаевич — Ф. Н. Берг (1839—1909), писатель и переводчик.

Шамбор (1820—1883) — представитель династии Бурбонов, претендент на французский престол.

90

Печатается по автографу (ИРЛИ). Впервые опубликовано в сборнике «Шестидесятые годы», стр. 330—331.

Благовещенский, Николай Михайлович (1821—1892) — профессор-филолог, в 1872—1885 годах — ректор Варшавского университета.

...Вы уже в Варшаве... — в связи с назначением Щебальского начальником Варшавской учебной дирекции.

«Зачем читать учился» — цитата из «Автоэпиграммы» В. В. Капниста.

«Еретик Форносов» — произведение под таким заглавием у Лескова неизвестно и, видимо, не было написано.

Сальяс де Турнемир де Турнефор Е. А., граф (1842—1900) — исторический романист, сотрудник «Русского вестника».

...жил с Ф. И. Буслаевым... — О Буслаеве и отношениях к нему Лескова см. письмо 110 и примечания к нему.

Георгиевский, Александр Иванович (1830—1911) — председатель Ученого комитета министерства народного просвещения в 1873—1901 годах.

...распорядились с «П⟨етербургскими⟩ вед⟨омостями⟩»... — Очевидно, имеется в виду назначение редактором П. С. Усова.

91

Печатается по автографу (ИРЛИ). Впервые опубликовано в сборнике «Шестидесятые годы», стр. 297—298.

...обрадовал ими эскулапов... — См. письмо 89.

...министерскую выходку... — Речь идет о циркуляре министра народного просвещения Д. А. Толстого попечителям учебных округов от 24 мая 1875 года; в циркуляре давались указания по борьбе с революционной пропагандой в мужских и женских гимназиях (см. «Журнал министерства народного просвещения», 1875, № 6, стр. 45—47).

Граф — Д. А. Толстой.

...под заглавием «Чертовы куклы»... — Произведение (роман) под таким заглавием появилось лишь в 1890 году («Русская мысль», 1890, кн. 1).

92

Печатается по автографу (ИРЛИ). Публикуется впервые.

...видел и Дюпанлу и Гамбетту... — Лесков присутствовал на заседании Национального собрания в Версале, слушал выступления депутатов. См. примечание к письму 86.

...беседовал с заклятым Мартыновым и с рыхлым Гагариным... — См. письмо 87 и примечания к нему.

Барон Менгден, Константин Фердинандович — камергер; в 1875 году состоял при варшавском генерал-губернаторе.

...лично... не знаю. — Личное знакомство Лескова с Л. Н. Толстым произошло позднее, в апреле 1887 года.

...по поводу известной Вашей статьи в «Дне»... — И. С. Аксаков поместил в газете «День» (1864, № 12) передовую статью (без подписи), вызвавшую письмо Мартынова и ответы на него Ю. Ф. Самарина («День», 1865, №№ 45—52).

...по поводу известной брошюры Гагарина... — Речь идет, по-видимому, о книге И. С. Гагарина «La Russie sera-t-elle catholique?» (Париж, 1856) в русском переводе — «О примирении русской церкви с Римом» (Париж, 1858).

Ренан, Эрнест-Жозеф (1823—1892) — французский историк религии и философ-идеалист. По своим политическим взглядам был открытым врагом демократии и Парижской Коммуны.

Был я и в нигилистическом кагале, основанном И. С. Тургеневым... — Речь идет о библиотеке-читальне в Париже. См. примечание к письму 87.

93

Печатается по автографу (ИРЛИ). Публикуется впервые.

...снова на своем пепелище... — Лесков возвратился в Петербург из заграничной поездки 30 или 31 августа 1875 года.

Черкасский, Владимир Алексеевич, князь (1824—1878) — общественный деятель умеренно-либерального направления; был близок к славянофилам.

Что же касается планов П. К. Щебальского... — См. примечание к письму 94.

Берг, Николай Васильевич (1823—1884) — писатель, переводчик и публицист. В 1874—1877 годах — редактор «Варшавского дневника».

Тимашев, Александр Егорович (1818—1893) — с 1856 года начальник штаба корпуса жандармов и управляющий III отделением.

«Час» и «Дневник познанский» — польские газеты.

...об освобождении «Дневника»... — от предварительной цензуры.

94

Печатается по автографу (ИРЛИ). Впервые опубликовано в сборнике «Шестидесятые годы», стр. 331—332.

Ходнев, Алексей Иванович (1818—1883) — химик, член Ученого комитета министерства народного просвещения; далее (см. также и в последующих письмах) речь идет о книге Щебальского, присланной им в Ученый комитет на одобрение и премию; очевидно, имеется в виду «Русская история для грамотного народа и для начальных училищ», выпуски II, III и IV, изданные в Варшаве в 1875—1878 годах (выпуск I, под заглавием «Начало Руси», вышел в СПб., 1862).

Менгден. — См. примечание к письму 92.

Корреспонденции Вам... — Очевидно, речь идет о сотрудничестве в газете, которую намеревался издавать в Варшаве Щебальский (см. также письма 97, 99).

95

Печатается по автографу (ИРЛИ). Впервые опубликовано в сборнике «Шестидесятые годы», стр. 299.

...поспешить на помощь несчастному Панютину. — См. письмо 84.

...передовою статьею «Московских ведомостей»... — Речь идет о статье, помещенной в указанной газете 25 сентября и посвященной вопросам отношений Турции к Боснии и Герцеговине.

96

Печатается по автографу (ИРЛИ). Впервые опубликовано в сборнике «Шестидесятые годы», стр. 332—333.

...Ваше письмо... — Данное письмо неизвестно.

С книгами Стрижевского... — Как видно из письма 97, речь идет о «Сравнительном польско-русском букваре».

...история с азбукой Блинова... — Николай Николаевич Блинов (род. в 1839 г.) — священник и прогрессивный педагог, автор ряда учебных пособий для начальной народной школы, в том числе «Лыдзон. Азбука для вотских детей» (Вятка, 1867), о которой, очевидно, и упоминает Лесков.

97

Печатается по автографу (ИРЛИ). Впервые опубликовано в сборнике «Шестидесятые годы», стр. 333—334.

...Ваше письмо... — данное письмо неизвестно.

Алексей Ив⟨анович⟩ — А. И. Ходнев.

Курт, Андрей Вернерович — экзекутор департамента народного просвещения.

Бобоша — Б. М. Маркевич.

...описывая характер покойного... — Имеется в виду заметка Маркевича об А. К. Толстом в «С.-Петербургских ведомостях», 1875, № 266, 5 октября.

«Форейтор» — Н. А. Любимов.

Не слыхали ли... про «Анну Каренину»? — После апреля 1875 года печатание «Анны Карениной» прервалось до января 1876 года; этот перерыв послужил причиной различных толков о печатании романа.

98

Печатается по автографу (ИРЛИ). Впервые опубликовано в сборнике «Шестидесятые годы», стр. 334.

...письмо об оптимизме... — Данное письмо неизвестно.

...как кривда П. И. Мельникова. — Имеется в виду брошюра Мельникова «О русской правде и польской кривде» (1863).

99

Печатается по автографу (ИРЛИ). Впервые опубликовано в сборнике «Шестидесятые годы», стр. 331—335.

Является ответом на неизвестное нам письмо Щебальского.

«...он близок III-му отделению». — Речь идет о слухах, распространявшихся в связи с «антинигилистическими» произведениями Лескова в 1860-е годы.

Аксаков просил за меня Кокорева... — См. письма к Аксакову (67—70) и примечания к ним.

Черкасский. — См. примечание к письму 93.

«Друзья минутного, поклонники успеха» — неточная цитата из стихотворения Пушкина «Полководец» (1835).

Воскобойников. — См. примечание к письму 4.

...надежда... лжет своим лепетом... — выражение из «Евгения Онегина» (гл. пятая, строфа VII).

Берг. — См. примечание к письму 93.

«Голубая» служба — то есть служба в жандармском управлении.

100

Печатается по автографу (ИРЛИ). Публикуется впервые.

Губонин, П. И. — крупный русский промышленник.

Генерал Шмилик Поляков... — Лесков называет генералом Самуила Соломоновича Полякова (1836—1888), крупного железнодорожного концессионера, имевшего чин тайного советника.

Вольф, Маврикий Осипович (1825—1883) — издатель и книгопродавец.

...неудачами «Царственного блузника». — Роман Г. П. Данилевского «Царственный узник» был запрещен цензурой. См. примечание к письму 78.

101

Печатается по автографу (ИРЛИ). Публикуется впервые.

Фельетоны ваши... — Речь идет об отдельном издании фельетонов Суворина (см. примечание к письму 84).

...речь пастора Стерна (автора Тристрама). — Имеется в виду Лоренс Стерн (1713—1768) — известный английский писатель; Лесков мог читать речи Стерна в издании: «Нравоучительные речи и некоторые нравственные мнения г. Стерна». М., 1801. Возможно также, что Лесков пользовался пародийным «Кораном», приписанным Стерну (см. примечание в т. 3 наст. изд., стр. 628).

«К добру и к злу постыдно равнодушных» — неточная цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Дума» (1838).

Погодин, Михаил Петрович (1800—1875) — историк и публицист, издатель «Москвитянина». Умер 8 декабря 1875 года.

Овсяников. — См. примечание к письму 76.

«В пределах земли совершивших земное» — неточная цитата из стихотворения Е. А. Баратынского «На смерть Гете» (1833).

102

Печатается по автографу (ИРЛИ). Впервые опубликовано в сборнике «Шестидесятые годы», стр. 337.

В письме речь идет о рекомендации учителем В. П. Протейкинского, бывшего репетитором в семье Лесковых.

103

Печатается по автографу (ИРЛИ). Впервые опубликовано в сборнике «Шестидесятые годы», стр. 337—339.

...газета все падает... — Лесков говорит о «Биржевых ведомостях».

Барон — К. Ф. Менгден.

...мои славянофилы... — Очевидно, речь идет прежде всего об И. С. Аксакове, к которому Лесков обращался с просьбой о приискании заработка (см. письма к нему).

...имел неосторожность изобразить. — Е. М. Феоктистов был изображен в романе «Некуда» в образе Сахарова.

Делянов, Иван Давыдович (1813—1897) — в 1882—1897 годах — министр народного просвещения.

«..издание это.... попало мне... — Очевидно, журнал «Русский рабочий» (см. письма к М. Г. Пейкер и примечания к ним).

Брадке — См. письмо 117 и примечание к нему.

Протейкинскому я прочел... — См. письмо 102.

104

Печатается по автографу (ИРЛИ). Впервые опубликовано в сборнике «Шестидесятые годы», стр. 339—340.

Новые старания о подыскании службы, о которых идет речь в письме, также ни к чему не привели.

Оболенский, Дмитрий Александрович. — См. примечание к письму 81.

105

Печатается по автографу (ИРЛИ). Впервые опубликовано в сборнике «Шестидесятые годы», стр. 340.

Вера Петровна — дочь П. К. Щебальского.

Марья Ал‹ександров›на — М. А. Георгиевская.

...начало статьи Щедрина «Культурные люди». — Имеется в виду очерк, напечатанный в «Отечественных записках», 1876, 1.

106

Печатается по автографу (ИРЛИ). Впервые опубликовано в сборнике «Шестидесятые годы», стр. 340—341.

О «Дневнике»... всё знаете... — Речь идет о газете «Варшавский дневник».

О сочинении же Вашем... — См. примечание к письму 94.

Савваитов, Павел Иванович (1815—1895) — правитель дел Ученого комитета министерства народного просвещения, историк.

Замысловский, Егор Егорович (1841—1896) — историк, профессор Петербургского университета.

Бестужев-Рюмин, Константин Николаевич (1829—1897) — историк, член Ученого комитета министерства народного просвещения.

Тертий Ив‹анович› — Т. И. Филиппов.

Нейзильберные — мельхиоровые.

Кач, Александр — владелец фабрик металлических изделий.

107

Печатается по автографу (ИРЛИ). Впервые опубликовано в сборнике «Шестидесятые годы», стр. 341.

...мою сонную цидулку... — Очевидно, речь идет о письме 106.
Барона-«сладкопевца»... — то есть К. Ф. Менгдена.

108

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Публикуется впервые.

109

Печатается по автографу (ЛБ). Публикуется впервые.

Письмо Достоевскому написано под впечатлением от прочитанного Лесковым «Дневника писателя» за 1877 год. В нем Достоевский говорит о «негодяях Стивах» и «чистых сердцем Левиных» (февраль, гл. II, «Злоба дня»).

110

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано (с пропусками и с неверной датой) в «Литературной газете», 1945, № 11, 10 марта.

Письмо вызвано присылкой брошюры Ф. И. Буслаева «О значении современного романа и его задачах. (Особый оттиск из «Газеты А. Гатцука»)», М., 1877; содержанием брошюры явился доклад, прочитанный Буслаевым в Обществе любителей российской словесности 16 января 1877 года. С Ф. И. Буслаевым (1818—1897) Лесков был знаком с 1861 года, особенно близко сошелся с ним в Париже летом 1875 года; в 1877 году он посвятил Буслаеву повесть «Некрещеный поп» (см. наст. изд., т. 6).

Галахов, Алексей Дмитриевич (1807—1892) — историк литературы, педагог, автор ряда учебников и хрестоматии для средней школы.

...Ваше письмо... — письмо Буслаева неизвестно.

Рокамболь — герой романа французского писателя Понсон дю Террайля «Приключения Рокамболя».

111

Печатается по автографу (ИРЛИ). Публикуется впервые.

...прислать мне корректуру «Меламеда»... — Речь идет о рассказе «Ракушанский меламед», опубликованном в журнале «Русский вестник», 1878, № 3.

Шаликов. — См. примечание к письму 75.

112

Печатается по автографу (ИРЛИ). Впервые опубликовано в сборнике «Шестидесятые годы», стр. 342.

...письмо Ваше... — Имеется в виду письмо Щебальского от 21—26 марта 1878 года; часть его опубликована в сборнике «Шестидесятые годы», стр. 353.

Приглашение Ваше... — Щебальский предлагал Лескову принять участие в издании «Revue Slave» («Славянское обозрение»).

Безобразов — дело иное... — Очевидно, имеется в виду издание В. П. Безобразова (1828—1889) «Сборник государственных знаний», осуществленное в 8 томах в 1874—1880 годах.

Нил Сорский. — Жизнеописание Нила Сорского (1433—1508), известного духовного писателя, видимо, не было написано.

113

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Публикуется впервые.

Адресат письма Мария Григорьевна Пейкер (умерла в 1881 году) — поклонница английского проповедника Редстока, издательница и редактор религиозно-нравственного журнала «Русский рабочий», выходившего в Петербурге в 1875—1886 годах; после смерти М. Г. Пейкер журнал стал издаваться ее дочерью А. И. Пейкер. Переписка и знакомство Лескова с обеими Пейкер связаны в основном с изданием журнала. В 1876 году Лесков выступил с критической статьей «Семейное благочестие. Ежемесячное издание под заглавием «Русский рабочий» («Православное обозрение», 1876, март, стр. 526—551). Довольно резкая оценка журнала, данная в статье, не помешала позднейшему сближению с издательницей, более того — в 1879 году Лесков даже принимает участие в журнале: редактирует ряд номеров, помещает свои материалы и т. д. Так, в этом году им помещалась в журнале подборка суждений о библии; эта подборка вышла потом отдельной брошюрой под заглавием: «Изборник отече-

ских мнений о важности священного писания. Собрал и издал Н. Лесков» (СПб., 1881). Судя по письмам Лескова к А. И. Пейкер (не опубликованы, хранятся в ЦГАЛИ), он интересовался журналом и позднее.

После смерти М. Г. Пейкер Лесков написал некролог, напечатанный в «Новом времени» (1881, № 1798, 1 марта); приводим его полностью, так как он помогает разъяснению и отношений писателя к Пейкер и малоизвестного эпизода его журнальной деятельности.

«Вчера, 27 февраля, почти внезапно скончалась Мария Григорьевна Пейкер, урожденная Лашкарева. Покойница всецело принадлежала большому свету, в котором и провела всю свою молодость, отличаясь выдающимся умом и дарованиями, при весьма серьезном направлении. Рано овдовев и оставшись с единственной дочерью, при сравнительно небольших средствах, Марья Григорьевна всю себя отдала общественной деятельности в христианском духе, и в числе других дел, подчиняясь сильному религиозному возбуждению, она предприняла издание иллюстрированного народного журнала под заглавием «Русский рабочий». В этом издании очень полно выразился дух ее благочестия — англоманский, но чистый и высокий. С журналом своим покойница имела множество хлопот и досаждений, не покидавших ее до последнего дня жизни. Духовная цензура имела за г-жою Пейкер такое усиленное смотрение, что пишущему эти строки часто приходилось видеть Марью Григорьевну в полном недоумении, чего от нее требуют и что ей возбраняют? Бывали случаи, что ей даже воспрещали печатание текста священного писания и с трудом дозволяли приводить мнения св. отцов. Но еще досадительнее бывало иногда предложение услуг оттуда, откуда их не просили. Словом, издание имело множество причин идти неудачно, несмотря на его дешевизну (1 р. в год) и на его превосходную, художественную внешность.

Находя в себе силы подавлять обиды, причиняемые некоторыми весьма странными распоряжениями, Марья Григорьевна недавно шутя говорила:

— Всем немножко полегчало, а моему маленькому журнальцу еще потяжелело. Должно быть, я в самом деле самый опасный человек в русском государстве.

Марья Григорьевна была замечательно хорошо образована и имела много высоких друзей в самых больших центрах Европы; она присутствовала в 1872 году на Всемирном тюремном конгрессе в Лондоне и была директрисою здешнего тюремного комитета, которым по ее почину и ее стараниями устроено в Петербурге

«убежище для женщин, освобождаемых из тюремного заключения». Этим убежищем М. Г. несколько лет кряду заведовала, с самым нежным участием. Так же полезной она умела быть для крестьян с. Ивановского и для множества людей, искавших у нее совета или помощи. Вообще это была такая умная и образованная женщина, каких не много, и притом сильно убежденная христианка.

Николай Лесков».

Об отношениях к Пейкерам см. также А. Лесков. Жизнь Николая Лескова, стр. 341—342.

Данное письмо относится к 1879 году (см. упоминание первого отдельного издания «Мелочей архиерейской жизни»), но, видимо, до последующих писем, связанных с изданием «Русского рабочего».

Митрополит Исидор уже жаловался и, кажется, кн. Урусов. — Об отношении церковных и правительственных кругов к «Мелочам архиерейской жизни» см. в примечаниях к т. 6 наст. изд., стр. 664—669.

...боюсь за моего... издателя... — Первые два издания «Мелочей...» осуществил И. Л. Тузов.

...пишется медленно и обширно. — О какой работе идет речь, установить не удалось.

...книге о Редстоке... — Имеется в виду очерк Лескова «Великосветский раскол (Лорд Редсток, его учение и проповедь)», М., 1877, и в том же году — второе издание: СПб., 1877.

Бобринский — очевидно, А. П. Бобринский (1826—1894) — последователь Редстока, спирит.

Тернер — очевидно, Карл Иванович (род. в 1832 г.) — преподавал английскую литературу в Александровском лицее и Петербургском университете; автор ряда работ (на английском языке) о русской литературе.

Вяземский — очевидно, Павел Петрович (1820—1888), занимавший в 1870—1881 годах пост председателя комитета цензуры иностранной.

Виктор П. — видимо, В. Протейкинский (см. о нем примечание к письму 85).

...к Пашкову не пойду... — В. А. Пашков — руководитель религиозной секты; характеристику Пашкова и его секты Лесков дал в заметке «Моления в Пашковском согласии» («Новое время», 1881, № 1821, 24 марта, без подписи), где, в частности, говорится: «Несмотря на то, что пашковцы — раскольники не русского пошиба, а иностранной заправки, лишенное права открытого богомоления рус-

ское население смотрит на них как на своих «в рассуждении одной участи». Пашково согласие, состоящее по преимуществу из людей зажиточных и со связями в «большом свете», долго пользовалось широкими льготами, — особенно во время министерства А. Е. Тимашева, который имеет супругою сестру г-на Пашкова».

Александра Ивановна — дочь М. Г. Пейкер.

114

Печатается по автографу (ИРЛИ). Публикуется впервые.

По-видимому, Лесков говорит в письме о замысле рассказа «Однодум», написанного летом 1879 года и опубликованного в журнале «Еженедельное новое время», 1879, №№ 37—39. Датируется приблизительно на основании этих данных.

115

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Публикуется впервые.

...Ваших дорожных приключений... — Пейкеры уехали на лето в свое имение, село Ивановское близ Череповца; туда же был взят и сын Лескова Андрей; сам Лесков уезжал под Ригу.

4-й № Александр понес... на почту. — Речь идет о выходе очередного номера журнала «Русский рабочий».

Арсений — архимандрит, духовный цензор.

Там Илья (моей работы)... — Имеется в виду переложение библейской истории «Пророк Илия у вдовы» («Русский рабочий», 1879, № 5).

«Два слова о вере» — заметка «Два слова о свойствах веры» с подзаголовком «Мнение Винс» (там же).

«Глазной доктор» — с подзаголовком «Поучительная история в чужеземном городе» («Русский рабочий», 1879, №№ 6 и 7).

«Иоанн Дамаскин». — Речь идет об отрывках из поэмы А. К. Толстого.

...один изображает Иосифа... — Картина эта была помещена на обложке № 1 «Русского рабочего» за 1880 год.

...другая — большую собаку. — Клише собаки с надписью «Сторож» отпечатано на первой странице «Русского рабочего», 1879, № 6.

...с голову Ио⟨анна⟩ Кр⟨естителя⟩... — Речь идет о картине в «Русском рабочем», 1878, № 8.

Граф Корф — очевидно, Николай Александрович Корф (1834—1883) — см. о нем примечание к стр. 207.

Щербинин Михаил Петрович (1807—1881) — князь, занимал крупные должности в цензурном ведомстве.

Феокрит (III в. до н. э.) — греческий поэт, один из создателей пастушеской, буколической поэзии.

Андрюша — Андрей Николаевич Лесков (1866—1953), сын писателя, автор книги «Жизнь Николая Лескова».

116

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Публикуется впервые.

...выбрал только глазного доктора... — См. примечание к письму 115.

Гладстон, Вильям Эварт (1809—1898) — известный английский государственный деятель и писатель по вопросам религии и церкви.

Берсье, Евгений (1805—1889) — французский проповедник, выступал против католичества.

Невиль — французский теолог первой половины XVIII века.

Вине — Винер Георг-Бенедикт (1789—1858), немецкий богослов, автор «Библейского реального словаря».

Вальденштрем, П. (род. в 1838 г.) — шведский богослов и политический деятель; Лесков писал о нем в статье «Религиозные новаторы. Редсток и Вальденштрем» («Новое время», 1879, № 1165).

Думхейт (нем. Dummheit) — глупость.

117

Печатается по автографу (ИРЛИ). Публикуется впервые.

«Из культа мертвых». — Имеется в виду очерк «Честное слово. Этюд из культа мертвых. (К материалам «Петербургского Декамерона»)»; был напечатан в «Новом времени», 1879, № 1214, 17 июля.

...посылаю другую... — статью «Запретная печать. (По поводу одного малоизвестного листка)», напечатанную в «Новом времени», 1879, № 1233, 5 августа; «Листок», о котором идет речь в статье (см. ниже: «раздобыл запретный листок»), — «Вестник правды», журнал политико-религиозный, издававшийся в Женеве.

Рассказ тоже готов... — Очевидно, «Однодум», над которым Лесков работал в июне 1879 года.

Экземпляр «Некуда»... сдал в Вашу типографию. — Роман «Некуда» вышел четвертым изданием (считая и журнальную публикацию) в издательстве А. С. Суворина в 1879 году.

Листок «Год». — Под таким названием новый печатный орган в 1879—1880 годах не появлялся; возможно, что это «Рижский епархиальный листок», начавший выходить в 1880 году.

118

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Публикуется впервые.

Адресат Лескова — директор департамента народного просвещения Эммануил Егорович фон Брадке. Письмо Лескова характерно как пример выполнения тех официальных поручений, которые выполнял писатель по службе в министерстве народного просвещения.

Граф Дмитрий Андреевич — Д. А. Толстой, министр народного просвещения.

119

Печатается по автографу (ИРЛИ). Публикуется впервые.

№... хорош. — Речь идет о «рождественском» номере «Нового времени» от 25 декабря 1879 года, в котором был напечатан рассказ Лескова «Рождественский вечер у ипохондрика» (впоследствии «Чертогон»).

Одно стихотворение Буренина очень хорошо; другое к статье. — В номере помещены стихотворения В. Буренина: «Двадцать пятое декабря» и «Несчастные».

Черниговец тоже удовлетворяет... — то есть стихотворение Черниговца (псевдоним Ф. В. Вишневского) «Рождество Христово».

Теперь вижу, что́ надо было сделать... — Речь идет о рассказе «Рождественский вечер у ипохондрика»; в позднейшей редакции рассказ был подвергнут существенной переработке — см. т. 7 наст. изд., примечания, стр. 653—654.

Маслов, А. Н. — сотрудник редакции «Нового времени».

...грубое заглавие... — Очерки не были приняты «Новым временем»; напечатаны под заглавием «Религиозные обряды евреев» в «Петербургской газете» (1880, №№ 244, 245, 252, 254 и 255).

...чудесную проповедь Стерна (юмориста). — См. примечание к письму 101.

120

Печатается по автографу (ИРЛИ). Впервые опубликовано в книге: А. В. Багрий. Литературный семинарий. Вып. II, Баку, 1927, стр. 26—27.

Датируется на основании адреса, по которому Лесков проживал в 1878—1879 годах (см. письмо 115 и А. Лесков. Жизнь Николая Лескова, стр. 372).

...слово «простец» в записках Посошкова... — Имеется в виду сочинение выдающегося русского экономиста и публициста И. Т. Посошкова «Книга о скудости и богатстве», изданное в 1842 году М. П. Погодиным (И. Посошков. Сочинения, ч. I, М., 1842; ч. II, М., 1863).

121

Печатается по автографу (ГПБ). Впервые опубликовано в книге: А. И. Фаресов. Против течения. СПб., 1904, стр. 221—223.

Письма Лескова к С. Н. Шубинскому занимают важное место в эпистолярном наследии писателя; основная часть писем приходится на 1880—1890-е годы (см. т. 11 наст. изд.). С. Н. Шубинский (1834—1913) — беллетрист и историк, на протяжении многих лет, начиная с 1880 года, был редактором журнала «Исторический вестник», активным сотрудником которого стал Лесков; сотрудничеству в журнале, произведениям, которые посылал Лесков, и посвящены в основном его письма к Шубинскому.

Данное письмо датируется по календарю («Среда, вечер. Пасха»).

О Голубинском никому не поверю. Я читаю его страстно... — Речь идет о книге профессора Московской духовной академии Е. Е. Голубинского (1834—1912) «История русской церкви», т. 1, первая половина тома, М., 1880.

Б—м — очевидно, Е. В. Барсовым. Барсов напечатал в 1880 году «Письмо проф. Е. Е. Голубинскому с возражениями на его книгу «История русской церкви», т. 1, М., 1880».

Митрополит Макарий — Михаил Петрович Булгаков (1816—1882), митрополит московский, церковный историк, академик. Лесков писал о нем в рецензии «Макарий, высокопреосвященный митрополит московский» («Исторический вестник», 1880, № 2).

Шер — Шерр Иоганн (1817—1886) — немецкий историк литературы и публицист. Лесков имеет в виду, очевидно, его «Всеобщую

историю литературы» (1854), русский перевод которой вышел в 1867 году.

Шлоссер. — См. примечание к стр. 80.

Ренан. — См. примечание к письму 92.

Знаменский, Петр Васильевич (род. в 1836 г.) — историк русской церкви, автор «Руководства к русской церковной истории» (1870).

122

Печатается по автографу (ИРЛИ). Публикуется впервые.

Датируется по связи с упоминаемой в письме статьей П. К. Шебальского «По поводу одного юбилея и одной брошюры», опубликованной в апрельском номере «Русского вестника» за 1879 год.

Заметку об австрийских школах... — В другом (также недатированном) письме Лескова к Суворину об этой заметке говорится: «Посылаю Вам несколько строк по поводу взятых Вами известий из статьи Авсеенко. Я привязал это к положению школьного дела в Австрии, потому что это интересно само по себе, а главное дает безопасный повод высказаться сравнительно о нашем положении. Написано это так, что, кажется, можно повернуть на передовую статью, — что было бы лучше. Впрочем, как Вы хотите» (ИРЛИ); иных сведений о заметке не имеется, среди опубликованных работ Лескова она не значится.

...о загадочном исчезновении графа Коскуля? — Н. Ф. Коскуль (Кошкуль) в 1859—1860 годах был чиновником государственной канцелярии, с 1866 по 1867 год — вице-директором департамента духовных дел иностранных вероисповеданий. После истории с физическим оскорблением, нанесенным ему чиновником департамента, и суда по этому делу — вынужден был уйти в отставку.

123

Печатается по автографу (ГПБ). Впервые опубликовано в книге: А. И. Фаресов. Против течения, стр. 153—154.

...беллетристику, в размере ³/₄ листа. — Имеется в виду очерк «Из мелочей архиерейской жизни. 1. Случай с генералом у митрополита Филарета. 2. Владычий взгляд на военное красноречие»; напечатано в «Историческом вестнике», 1880, № 6, стр. 255—267.

124

Печатается по автографу (ГПБ). Впервые опубликовано в книге: А. И. Фаресов. Против течения, стр. 154—155.

«Голован» — «Несмертельный Голован. Из рассказов о трех праведниках»; см. наст. изд., т. 6.

...обстоятельств с «Петерб⟨ургскою⟩ газетою»... — См. письмо 125.

«Русская речь» — журнал литературы, политики и науки, издавался А. А. Навроцким в 1879—1882 годах в Петербурге; о сотрудничестве Лескова в журнале сведений не имеется.

«Русь» — двухнедельная газета, издававшаяся И. С. Аксаковым в 1881—1886 годах; сотрудничество Лескова в «Руси» было незначительным.

125

Печатается по автографу (ЦГИАЛ). Публикуется впервые.

Переписка с С. Н. Худековым — издателем «Петербургской газеты» — связана с участием Лескова в этом органе. За период сотрудничества Лесков поместил в «Петербургской газете» большое количество статей, заметок, коротких очерков и т. д., шедших в основном без подписи. В архиве хранится 20 писем Лескова к Худекову; большинство их не опубликовано.

...извлечения о еврейских обрядах. — Имеются в виду очерки «Религиозные обряды евреев» (см. примечание к письму 119).

...30 коротких рецептов... — Произведения подобного рода в газете не появлялось.

«Блаженные на Руси» — очерки под таким заглавием (без подписи) в «Петербургской газете» печатались в ноябре и декабре 1880 года.

Николай Александрович — Н. А. Лейкин (1841—1906), писатель, активный сотрудник «Петербургской газеты».

126

Печатается по автографу (ИРЛИ). Публикуется впервые.

«Дворянский бунт на Добрыньской поповке» — этот очерк опубликован под названием «Дворянский бунт в Добрынском приходе» («Исторический вестник», 1881, № 3).

...рождественский рассказ для Суворина... — «Белый орел»; напечатан в газете «Новое время», 1880, № 1735 (от 25 декабря), с подзаголовком «Святочный рассказ».

...могу... прислать Вам к Новому году... маленький рассказ... «Как Христос на рождество к мужику в гости зашел». — Рассказ под заглавием «Христос в гостях у мужика» опубликован в детском журнале «Игрушечка», 1881, № 1.

В сцене с австр⟨ийским⟩ императором... — Речь идет об очерке «Император Франц-Иосиф без этикета» («Исторический вестник», 1881, № 1).

«Русь». — См. примечание к письму 124.

127

Печатается по автографу (ГПБ). Публикуется впервые.

Датируется по упоминанию статьи, напечатанной в июне 1880 года.

...статью о митрополите Исидоре. — «Митрополит Исидор в его литературных интересах» («Исторический вестник», 1880, т. II, июнь, стр. 396—402); впоследствии вошла в состав «Мелочей архиерейской жизни», гл. XVI (см. наст. изд., т. 6, стр. 528—538).

СОДЕРЖАНИЕ

ВОСПОМИНАНИЯ, СТАТЬИ, ОЧЕРКИ

ПИСЬМА

Н. С. ЛЕСКОВ

Собрание сочинений, т. 10

Редакторы А. Бихтер и П. Сидоров

Художник Г. Епифанов

Художественный редактор Л. Чалова

Технический редактор Л. Крючкина

Корректор М. Рубинович

Подписано к печати 25/VIII 1958 г. Бумага 84 × 108$^{1}/_{32}$ — 18.75 печ. л. = = 30,75 усл. печ. л. 29,91 уч.-изд. л. Тираж 300 000 экз. Заказ № 1816. Цена 12 р.

Гослитиздат, Ленинградское отделение. Ленинград, Невский пр., 28.

Ленинградский Совет народного хозяйства. Управление полиграфической промышленности. Типография № 1 «Печатный Двор» имени А. М. Горького. Ленинград, Гатчинская, 26.

